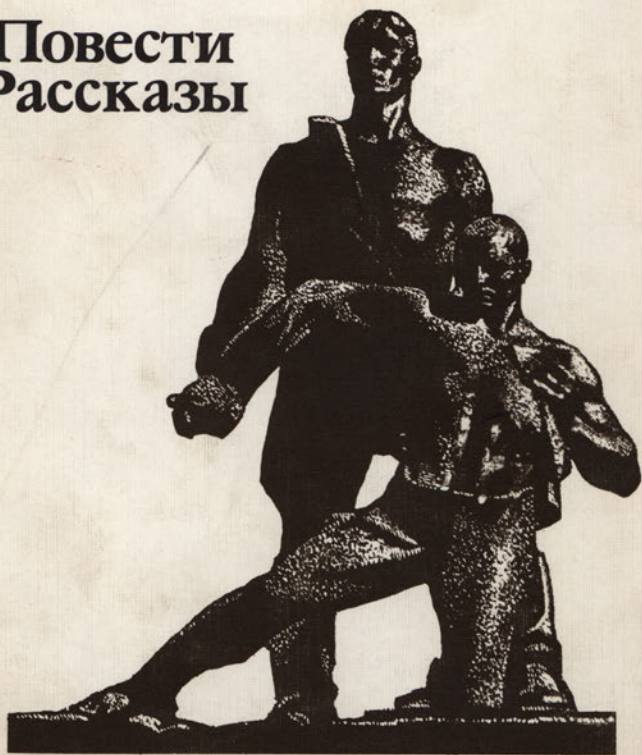


1945  
1985

# победа

Повести  
Рассказы



Повести • Рассказы



К 40-летию победы Советского  
Союза в Великой Отечественной  
войне издательство  
«Художественная литература»  
выпускает серию из четырех книг,  
в которую включены произведения  
о войне и освобождении Европы  
от фашизма.

Творчество советских писателей  
представлено тремя книгами:  
«Стихи военных лет»; «Повести.  
Рассказы»; «Публицистика.  
Очерки».

Отдельную книгу: «Произведения  
писателей социалистических стран  
Европы» — составляют рассказы и  
очерки писателей Албании,  
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши,  
Румынии, Чехословакии и  
Югославии.



Повести и рассказы, включенные в настоящий сборник, отражают народный характер Великой Отечественной войны, воссоздают героический образ советского человека, прошедшего через тяжелейшие испытания борьбы с германским фашизмом.

В сборник вошли написанные в годы войны и в послевоенное время произведения тридцати трех писателей, представляющих многонациональную советскую литературу и принадлежащих к разным поколениям.



1945  
1985

---

---

# победа

---

---

Повести  
Рассказы

Повести • Рассказы

---

---













к 40-летию  
ПОБЕДЫ



# победа

Произведения  
советских писателей  
и писателей  
социалистических стран Европы

•

СТИХИ  
ПОВЕСТИ  
РАССКАЗЫ  
ПУБЛИЦИСТИКА  
ОЧЕРКИ



Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1985



# победа

Повести  
Рассказы



Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1985

*Составление и подготовка текста*  
Л. ПОЛОСИНОЙ



*Оформление художника*  
В. АЛАДЬЕВА

**На суперобложке:**  
памятник советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской Армии,  
расстрелянным фашистами (Дарницкий концлагерь)  
*Скульпторы: В. Винайкин, В. Гречаник.*

# Повести

---

---





# Чингиз Айтматов

(р. 1928)

## РАННИЕ ЖУРАВЛИ

Сыну Аскару

Аксай, Коксай, Сарысай — земли  
обошел,  
Но нигде такую, как ты, не нашел...

*Киргизская народная песня*

И приходит к Иову вестник и говорит:  
«А отроков сразили острием меча...»

*Книга «Иова»*

Вновь и вновь пахари пашут поле,  
Вновь и вновь бросают зерно в землю,  
Вновь и вновь дожди посылает небо...  
.....

С надеждой люди пашут поле,  
С надеждой люди семена сеют,  
С надеждой люди уходят в море...

*«Тхерагатха» 527—536. Из памятников  
древнеиндийской литературы*

### I

Озябшая, закутанная в грубовязаную шерстяную шаль, учительница Инкамал-апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли. А послушаешь — чего там только нет: и обезьяны, и слоны, и бананы (фрукты какие-то), и чай самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды, и невиданные растения. Но самое завидное — жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй: ни тебе сапог, ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужно совсем. А дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, не надо таскать на себе, согнувшись в три погибели, тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь! Ходи себе как ходится, грейся на солнце, а нет — прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест — ну тогда птицеверблюдов<sup>1</sup> гоняй, птицеверблюды-то там водятся, непременно должны водиться, где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам. Умные птицы на Цейлоне — пожалуйста, тоже есть: попугай. Захочешь — поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. А что — попугай такая птица, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из айльных сам видел на джамбульском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки...

Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе и ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стегает, как рабов. Угнетатель! Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать.

<sup>1</sup> Птицеверблюды (страусы) — тюякуш (тюрк.).

И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам, никаких разговоров: работай сам за себя, и все! Известно, от них ведь и фашисты происходят... Вот и война оттого... Сколько уже людей в аиле погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала: куда я, говорит, тогда с четырьмя...

Поеживаясь в стылом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал-апай продолжала рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Веря и не веря услышанному (уж очень распрекрасно получалось в тех краях), Султанмурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизни!» — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любуется в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном непогодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупую. Снежинки тупо шурушали, скреблись, ударяясь в стекла. На стеклах выросла наледь. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода, местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На Цейлоне, наверно, и замазка не нужна, — думал он. — А зачем она? Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями — и живи...»

От окна все время поддувало, слышно было даже, как ветер посвистывает укладкой в щелях рамы, уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкамал-апай сама пересадила его сюда, к окну. «Ты, — говорит, — Султанмурат, самый сильный в классе. Ты выдюжишь». А раньше, до холодов, здесь сидела Мырзагуль, ее перевели на место Султанмурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если б ее оставили тут же, на этой парте. Все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми как со всеми, а подойдет он, она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда горазды придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки: «Султанмурат + Мырзагуль = эки ашик<sup>1</sup>». А так сидели бы рядышком — и ничего не скажешь...

За окном несло. Сыплет снег, сыплет... В ясный день глянешь из класса, горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке, над аилом стоит высоко. Аил внизу, школа наверху. Потому отсюда, из школы, видимость хорошая. Дальние снежные горы как на картинке видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания.

Ноги стынут, и руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе! Раньше, до войны, школу топили слежавшимся овечьим кизяком. Как уголь, сильно горел кизяк. А теперь привезут соломы. Ну погудит-погудит солома в печах, а толку нет. Через пару дней и соломы нет. Один сор только от соломы.

Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Климат другой, и жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что, не побоялись бы. Первым сел бы на слона, прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по аилу. Тут народ со всех сторон: «Смотрите, бегите — Султанмурат, сын Бекбая, на слоне!» Пусть бы тогда Мырзагуль полюбовалась, пожалела бы... Подумаешь, красавица! Нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету. Усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит, на слоновой спине всем классом можно разместиться. Это уж точно, как пить дать! Не с чужих слов, сам знает.

Слона живого он видел своими глазами, об этом всем известно, и обезьяну живую видел, и разных других зверей. Об этом все знают в аиле, сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему тогда, посчастливилось...

До войны, как раз за год до войны, произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бекбай, в тот год возил горючее из Джамбула на нефтесклад здешней МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе набивал: я, говорит, не простой арабакеч, а золотой — за меня, за моих коней, за бричку

<sup>1</sup> Эки ашик — двое влюбленных.

колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю. Потому бухгалтер, завидев меня, с лошади слезает поздороваться...

Бричка у отца была специально оборудована для перевозки керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек, впереди, на самом облучке, сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжи у отца.

Чалый мерин Чабдар и гнедой мерин Чонтору. И сбруя подогнана к ним добротная, как по примерке. Хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Чонтору в лад, в равном усердии, гривами вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, любо смотреть! Люди издали узнавали по стуку колес: «Это Бекбай покотил в Д жамбул». Туда и обратно — два дня занимало. Назад возвращался Бекбай — вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди: «У Бекбая бричка, как поезд по рельсам, идет!» Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает. А у Бекбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверно, и поручали ему самые ответственные поездки.

Так вот, в позапрошлом году, только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит:

— Хочешь, в город возьму?

Султанмурат чуть не задохнулся от радости. А то бы! Как отгадал отец, что ему в город давно хотелось! Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово!

— Только ты того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. — А то младшие такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда.

Это верно, Аджимурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как ишак. Когда отец дома, к нему не пробыешься, бывало, из-за Аджимурата. Все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Аруукан — строгая, сухая, как палка, со скрипучим голосом, ее все боятся. Так вот она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо:

— Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец! Быть на земле большой беде! Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу! Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду!

Мать отшепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке Аруукан прекословить не смела. Ее все боялись.

А она, бабка Аруукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко Аджимурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня-завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву: «Дай бог, дай бог, чтобы отец завтра приехал». И так каждый день. Чудной. Думает, уснет, проснется — и все изменится, произойдет какое чудо?

Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджимуратовским и пусть носит Аджимурата на руках, на голове. Только бы приехал наконец. Лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него, с Султанмурата, и этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец.

Как бы он теперь хотел, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогоним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев, все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал.

А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули. Дети вскочили. Отец! Худющий, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на

нем, говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. Аджимурат первым добежал, кинулся на шею отца и прилип, как вцепился, так и не отпустил. А сам плачет взахлеб и только одно твердит:

— Ата, атаке, ата, атаке...<sup>1</sup>

Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались. Смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегает вокруг, хочет отнять Аджимурата от отца:

— Да отпусти же ты отца! Хватит. Не ты один. Дай и другим. Ну какой же ты неразумный. Боже, посмотри, вон пришли поздороваться...

А тот ни в какую...

Султанмурат почувствовал, как что-то стонулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда и ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки. Встряхнулся.

А урок шел. Инкамал-апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же — чудесные земли, вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес! Детеныша в сумку на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или, вернее, придумалось же такое в природе...

Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел. А жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких зверей других посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь...

В тот день, когда отец сказал, что возьмет его с собой в город, Султанмурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга, но вот беда — сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал, был бы большой рев: почему ему, Султанмурату, можно, а мне нельзя, почему отец берет его с собой, а почему меня не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неумейной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться. Но отец и особенно мать наказали строго-настроено не делать этого. Пусть младшие узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был такой прилежный, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде поспевал. И теленка перearканил пастих на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать, и самую младшую, Алматай, умыл, когда та упала в грязь, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, приснула со смеху, качая головой.

— Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. — Всегда бы такой — вот счастье! Как бы не сглазить! А может, не отпустить тебя в город? Уж больно помощник ты у меня хороший.

Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеди. Масла натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила.

Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились у арыка, под яблоней. Отец сидел в окружении младших — с одного боку Аджимурат, с другого девочка. Мать чай наливала, а Султанмурат подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он будет уже в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того — разыграл на глазах брата.

— А что, Аджике, — прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну. — Черногривого своего не объездил еще?

— Нет, ата, — начал жаловаться Аджимурат. — Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонка. Я его кормлю, пою, один раз даже в школу прибегал. Стоял под окном, ждал, когда я выйду на перемену, весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же и еще лягается...

<sup>1</sup> Ата, атаке — папа, папочка.



— И некому тебе помочь объездить его как следует?— посоветовал отец вроде бы между делом.

— Я это сделаю, Аджике,— с готовностью отозвался Султанмурат.— Обязательно сам объезжу...

— Ура-а!— сорвался с места младший.— Пошли!

— Ну-ка сядь на место!— осадил его мать.— Сядь, не суетись. Попьете чаю как люди, потом успеете.

Речь шла об ишачонке-двулетке, любимце Аджимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери — Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен подсобный ослик — то на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступит к нему. Чуть что — не трогайте ослика! Я сам его накормлю, я сам его напою. Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепало от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султанмурат. Когда же настало время объезжать ослика, отмахнулся: раз он твой, сам и объезжай, а меня не проси, мне дела нет. Хотя именно в этом деле Султанмурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укрощать неуков. Это как борьба, кто кого. Всех соседских жеребят, бычков, ишачков объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султанмурату почтительно: «Султанмурат, милый, будет время, поезди на нашем бычке». Или: «Султаке, дорогой, наставь на ум-разум нашего молодого крикуна ишака. Мухе не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить...»

Вот какой славой пользовался он, а брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот навернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил Аджимурата:

— Он за тобой вместо собаки будет следом бегать! Ты еще наплачешься с ним!

Эх, как негоже было, оказывается. Только тогда это понял, когда отец наекнул. Вот каким дураком выглядел он, с младшим счеты сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, такие угрозы совести и раскаяние захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все, что угодно.

После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали Черногривого — так торжественно называл своего ослика Аджимурат. Отец держал Черногривого за уши, а Султанмурат изловчился накинуть уздечку.

Потом подтянул штаны потуже — дело-то предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Секрет заключается в том, что, падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади и тем более с верблюда дает возможность человеку сориентироваться. С ишака неопытный ездок падает мешком, не успевает даже сообразить.

У Султанмурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать! Почему люди говорят, что с ишака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что, падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади и тем более с верблюда дает возможность человеку сориентироваться. С ишака неопытный ездок падает мешком, не успевает даже сообразить.

Султанмурат знал это по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки. У одного из них оказалась собачонка, она

решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе, и стала с лаем гоняться по пятам за Черногривым. Тот с испугу еще больше припустил, а Султанмурат, на зависть всем, стал показывать «джигитовку», как осовахиновцы. На бегу прыгивал с Черногривого и снова запрыгивал, прыгивал и снова запрыгивал.

Вот так до войны кавалеристы-осовахиновцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же сильные джигиты занимались после работы. Лозу рубили, на бегу прыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки, на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осовахиновцы джигитовали. Где-то они теперь? На конях или в окопах. Конница, говорят, уже не применяется на войне...

И, глянув во двор за окном, Султанмурат подумал, что лошади к тому же мерзнут зимой, а танку и холод нипочем. А все равно лошадь лучше!

...То-то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться. Понял, что требовалось от него: шагом ходил, рысью ходил, по кругу ходил и напрямую...

— А теперь садись, — позвал Султанмурат брата, — езжай, все в порядке!

Разрумянился от гордости Аджимурат, пристукнул Черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался — все теперь видели, какой у него умелый агай<sup>1</sup>, как тут было не похвастаться!

Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, но довольные. Аджимурат верхом на Черногривом въехал во двор показаться матери.

Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А Султанмурату не спалось. Думал о том, как завтра очутится в городе, что там увидит, что ожидает его. Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью.

— Я бы и того взял, вдвоем бы им веселее было, — говорил отец, — да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке, впритык под бочкой. А дорога дальняя, задремлет малый да упадет под колеса.

— Что ты! — перепугалась мать. — Не приведи бог, и не думай, не надо, — зашептала она. — В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты и за этим гледи в оба. Думаешь, большой, куда там...

Сладко засыпалось Султанмурату, сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители, сладко было думать, что утром, рано-рано утром им отправляться с отцом в путь-дорогу...

И, уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, несказанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать дано человеку. А он летал. Не совсем как птица. Птица машет крыльями. А он лишь распротер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел плавно, свободно, неизвестно откуда и неизвестно куда, в беззвучном, «улыбающемся» пространстве... То был полет духа, то он рос во сне.

Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:

— Вставай, Султанмурат, поехали.

И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали».

Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубашу, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников, в прошлом году отец привез ее с Чуйского канала, и ботинки, береженные, тоже привезенные отцом с канала.

— Попробуй надень, не жмет? — спросила она про ботинки.

— Нет, не жмет, — сказал Султанмурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть жали. Но это не беда, растопчутся.

Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка-керосиновозка, громяхая, пошла по воде через большой каменный арык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг,

<sup>1</sup> Агай — старший брат.

ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город.

Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось исподволь, наклеивалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из аила. Только собаки на окраине брякнули спронеья на колесный перестук...

Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдаль лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь.

Сытые лошади деловито трусили ровной рысцой, казалось, не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе, привычно пофыркивая и встряхивая челки над глазами. Дорога была им хорошо знакома, в который-то раз проделывали они этот путь; хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на передке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал тянуть лямку...

Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромыхая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце тем временем всходило где-то сбоку, в щелке между горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной волной на припoteвшие спины лошадей — Чабдар теперь становился чалым, как перепелино яйцо, а Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился; свет и тепло коснулись бронзовых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его, держащие вожжи, стали еще крупнее и жилистей; свет и тепло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком; свет и тепло проникали в тело, в глаза; свет и тепло одаряли жизнью все на земле...

Хорошо, отратно, вольготно было на душе Султанмурата в то дорожное утро.

— Ну как, проснулся? — пошутил отец.

— Давно уже, — ответил сын.

— Ну тогда держи, — передал ему вожжи.

Султанмурат благодарно улыбнулся, этого он ждал с нетерпением. Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить — тут тебе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки, недовольно уши прижали, коснулись друг друга на бегу, точно бы бунтовать-подрататься решили при ослабшей власти. Но Султанмурат сразу дал о себе знать — энергично дернул вожжами, прикрикнул:

— Эй вы! Я вам!

Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства. И оно не покидало его всю дорогу. Громыхающая керосиновозка другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади, дорога, по которой катились колеса, лошади, дружно печатающие копытами, ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтем, легкие белые облака, кочующие высоко над головой; еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые; арыки и ручьи, разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко снующие взад и вперед, иной раз чуть ли не задевая морды лошадей, — все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо, когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть. И что отец у него такой, лучше которого не может быть.

Вот даже желтобокие черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колючках или в кустарнике одну и ту же зауценную трель неспроста. Они знают, для кого они высвистывают. Они-то знают, как их любит Султанмурат: Птички



эти — сарайгыры<sup>1</sup>, а прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца: «Чу, чу, сарайгыр! Чу, чу, сарайгыр!» Чудные птахи сарайгыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал в аил киномеханик, веселый русский парень. Султанмурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. В динамо-машине вырабатывается электрический ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения.

Так вот киномеханик этот прислушался и спросил:

— Что это за птичка за забором поет?

— Это сарайгыр,— объяснил ему Султанмурат.

— А что она поет?

— Чу, чу, сарайгыр!

— А что это значит?

— Не знаю. По-русски должно быть: «Но-о, но-о, желтый жеребец!»

— Во-первых, жеребцы желтыми не бывают, но допустим. Но почему все время: «Чу, чу, сарайгыр!»?

— Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу верхом на сарайгыре, едет, едет, но не доедет, и потому кричит: «Чу, чу, сарайгыр!»

— А я слышал другое. Будто сарайгыр играл в карты на базаре. И чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл. И потому поет: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля.

— Но когда же он их выиграет?

— А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет.

— Вот потеха...

Действительно, с виду не очень уж приметная пичужка, а оказалась такая знаменитая.

Сарайгыры пели всю дорогу. Султанмурат улыбался им:

— Поехали с нами, и там, на базаре, выиграем три рубля!

А они все выстылали: «Чу, чу, сарайгыр!»— а в другой раз: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!»

Спешил Султанмурат, быстрее, быстрее в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султанмурат лошадей:

— Чу, чу, сарайгыр!— Это он относил к Чабдару.— Чу, чу, торайгыр!—

Это он относил к Чонтору.

А отец приуныл его немного:

— Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут, и тело берегут.

— А который из них лучше, ата, Чабдар или Чонтору?

— Оба хороши. И на шаг и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя, да вдосталь, да за упряжью следы — никогда не подведут. Надежные лошадки. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сазах. Брички с грузом увязали по самые ступицы. Засядет, бывало, кто-нибудь — и ни туда и ни сюда. Хоть караул кричи. Ну прибегут — выручай. Просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чонтору, перепряжем — и вот ведь смотри: говорим — скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам — и они, дай бог чтобы постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их, на Чуйском канале, все знали, завидовали: повезло, говорят, тебе, Бекбай. Может, и повезло, да только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет.

Чабдар и Чонтору деловито трусили все той же ровной заводной рысцой, будто им совсем дела не было, что о них говорили. Бежали себе с припотевшими подбрюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух.

<sup>1</sup> Сарайгыр — сары — соловая масть, айгыр — жеребец.

— Ата, а который старше?— спросил отца Султанмурат.— Чадбар или Чонтору?

— Чонтору старше года на три. Замечая я, Чонтору начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чадбар в самой силе. Крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставил многих. Раньше о таких лошадях говорили: конь джигита.

Султанмурат обрадовался за Чадбара, потому что Чадбар ему больше нравился. Мать необыкновенная — чалая, в крапинку. Да и сам мерин норова не вредного, красив, силен.

— А мне Чадбар больше нравится,— сказал он отцу.— Чонтору злой. Так и косит глазом.

— Не злой, а умный,— усмехнулся отец.— Не любит, когда ему докучают без дела.— И, помолчав, добавил:— Оба хороши.

Сын тоже согласился.

— Оба хороши,— повторил он, погоняя коней.

Через некоторое время отец сказал:

— Ну-ка, придержи малость, останови бричку.— И посвистел спокойно, выжидательно.— Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо.

И в самом деле, оба мерина начали мочиться на дорогу шумными, пенистыми струями, и плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу.

Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше.

Вскоре завиднелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки. И правильно сделал. Теперь Султанмурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушил шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах.

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому на свете: на Атчабаре, на большом джамбулском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению: человек первый раз приезжает в город — тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.

## 2

В комнату смеха он ходил три раза. Нахочется, успокоится и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела! Век думай, не придумаешь такого — хоть стой, хоть падай!

Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца — со здешними узбеками. «Ассалам алейкум! Вот мой старший сын!» — представлял Бекбай сына. Узбеки привечали Султанмурата, привстав с места и прикладывая руку к груди. «Вежливый народ!» — довольно отзывался отец. — Узбек не посмотрит, что ты младше годами, — всегда уважит...»

Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слоны, медведи, обезьяны, мартышки — кого там только не было...

Особенно запомнился Султанмурату огромный, серо-пепельный, как бугор после выжженной травы, слон, все переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли люди, глазели на слона и всякие байки рассказывали. Что он мышей боится. Что дразнить его нельзя, не дай бог, сорвется с цепей, порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился Султанмурату рассказ одного старика узбека, тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет с земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет.

Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, цокая языком, и каждый раз обращался к сыну: «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!»

Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. Там над самим собой смеешься сколько тебе влезет...

Султанмурат покосился на Мырзагуль, сидящую через несколько парт. «Тебя бы туда, в комнату смеха! — подумал он озорно. — Сразу бы по-другому заговорила, красавица! Как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать». Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал, что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает, и «жаман»<sup>1</sup> схватывает.

Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Мырзагуль сделалась красной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то, а если оно случайно оказалось в ее руках...

Глянув еще раз в ту сторону, Султанмурат пожалел ее. Посинела Мырзагуль, съезжилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни, может быть, она плачет. Ведь у нее отец и брат на фронте... А он о ней так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак.

Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривиться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инкал-апай покосилась на него многозначительно и продолжила свои объяснения.

### 3

После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. Аджимурату — пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прямо как всамделишный наган. А девочкам — какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку — и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили и потом разных сладостей...

Весь базар обошли, все повидали, на карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит, года через два женишь тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу, залить бочки — да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже клонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраиной, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад.

В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоящий на запахах летних трав. Лягушки затурчали в придорожных арыках. Лошади шли мерным шагом, с полными бочками не очень-то побежишь. Мало-помалу Султанмурата стало клонить ко сну. Устал. Как не устать — день-то был всем дням день. Жаль, что негде было на бричке растянуться и уснуть. Уж очень хотелось спать. Привалился Султанмурат к плечу отца и заснул как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неодолимым сном. И перед тем как уснуть, всякий раз успевал подумать: как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плече. А бричка погромыхивала и поскрипывала, кони стучали копытами.

Не помнил Султанмурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес.

— Вот какой вымахал, не утащишь. Тяжеленный какой стал, — бормотал он, прижимая его к груди.

<sup>1</sup> Ж а м а н — оценка «плохо».

Потом уложил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал:

— Ты спи, а я выпрыгну лошадей попать.

Султанмурат даже глаз не открыл, так хорошо спалось. Только подумал опять: как здорово, что на свете есть отцы...

Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они жали, оказывается, целый день, эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги?

И он снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву и как переступали они вокруг копыны, позвякивая опущенными удилами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стбит ему открыть глаза — и он действительно увидит звезды, падающие с неба...

Но ему не хотелось открывать глаз, уж очень хорошо спалось. После полуночи стало подожлаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он приткнулся под боком, и тогда отец обнял его спрсонась, поплотней прижал к себе. В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке...

Часто потом вспоминался ему звездный сон...

Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах... Наверно, все перепелки на свете счастливые.

#### 4

— Султанмурат, что с тобой?— Инкамал-апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее.

— Да нет, ничего.— Как бы оправдываясь, Султанмурат встал с места.

В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель.

— То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса,— недовольно проговорила Инкамал-апай, зябко передергивая плечами.— Иди лучше принеси соломы и затопи печь.

Султанмурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость.

Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не Цейлон! Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как спешился с коня председатель колхоза Тыналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходил кособоко. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал, десантником назывался. А до войны агрономом был, говорят. Султанмурат, однако, этого не помнил. Все довоенное — как иной мир, уже и не верится, что была она, довоенная жизнь...

Захватив большую охапку соломы, Султанмурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашушукались, оживились.

— Тише, не отвлекайтесь!— потребовала Инкамал-апай.— А ты, Султанмурат, занимайся своим делом, и без лишнего шума.

В печи, в самой сердцевине нагоревшей соломенной золы сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще, печь загудела, пожирая солому. Успевая только подкидывать. Веселей стало в классе.

Хотелось обернуться к ребятам, показать кое-кому рожицу, посмешишь,



а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к Мырзагуль, случается, пристаёт. Дулю бы ему показать. На, на! Но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да, мол, и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир, артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны, что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала в аил и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле, оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал-апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом. Тот выбегает во двор и, если письмо, во весь дух назад. Существует даже очередь — кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы.

Когда приходит письмо, это целый праздник! Инкамал-апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое письмецо, и когда поднимает голову от бумаги, то вроде бы другая учительница появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным, видя, как радуется твоя учительница с седыми прядями, аккуратно подоткнутыми под платок, невозможно, чтобы сердце не сжалось при виде слез на ее глазах.

— Всем вам, ребята, большой привет. Ваш агай жив-здоров. Воюет, — говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в следующую минуту она напоминает: — А теперь, ребята, продолжим наше занятие.

И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении: слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Это ее взлет, и класс сидит завороженный...

В последние дни что-то тревожит ее, что-то тревожит... И, наверное, потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Тыналиев в сопровождении завуча, Инкамал-апай медленно отступает к доске. И все-таки находит в себе силы сказать:

— Встаньте, ребята. А ты, Султанмурат, иди на свое место.

Захлопнув дверцу печки, Султанмурат быстро вернулся к своей парте.

Пришедшие поздоровались.

— Здравствуйте! — ответил им класс.

Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже.

— Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал-апай перехваченным голосом.

— Ничего плохого не случилось, Инкамал-апай, — успокоил ее сразу Тыналиев. — Я пришел по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что на урок вторгся, извините — мне разрешили, — кивнул он в сторону пожилого завуча.

— Да, разговор важный, — подтвердил завуч. — Садитесь, ребята.

Класс разом сел.

Председателя колхоза все знали, хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел. Да и с чего бы? Ученики седьмого класса — это уже приметный в аиле народ. С каждым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе, на дороге, где придется в аиле. Но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор, какой может быть разговор? Летом другое дело, все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор?

— Дело у меня такое, — начал Тыналиев, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время сисясь держаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособокость. — Холодно у вас в школе, помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно, вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, вывозили с гор вначале вьюком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джамбуле у спе-

кулянтов. Это уголь для кузницы. Купил я железа для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров двести озимой пшеницы. Никто не виноват. Война. Можно и так. Но если везде, во всех колхозах и совхозах недоберут, недосеют, недоделают, как мы у себя, то, может случиться, врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб и снаряд. Я и пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Время не ждет, надо готовить тягло к весновспашке, а тягло у нас — страшно смотреть, довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая, надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом... К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте! А это значит сверх плана собственными силами дополнительно вспахать и засеять двести гектаров яровых. Две-е-сти! Вы понимаете? А где взять силы, на кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей, двуххлещников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, в Аксае. Людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам...

Вот так говорил председатель Тыналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армейской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз, в серой ушанке, с озабоченным заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку...

Вот так говорил председатель Тыналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствие и плюй в потолок...

Вот так говорил председатель Тыналиев в школе, топленной соломой, от которой больше сора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Аксае поднять дополнительно сотни гектаров яровых для фронта, пар шел из его рта, как на дворе...

Вот так говорил председатель Тыналиев...

А за окном все вьюжило, кружило, задувало в щели. Султанмурату у окна было видно, как перетапывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра запуржавевший председательский конь у столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал набок распущенный хвост. Холодно было коню...

Да, тут тебе не Цейлон...

— Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы,— объяснил Тыналиев.— Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а может, и раньше, буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина...

Потом говорил завуч. Потом снова Тыналиев. Когда в классе началось оживление — ребята стали тянуть руки: я, мол, я хочу на работу,— Тыналиев сразу внес ясность:

— Если кто думает, что мне нужны всякие ученики, тот ошибается. Кто плохо учится, тот плохо работает. А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султанмурат, вроде бы самый большой в классе...

Ребята зашумели:

— У нас Анатый самый большой. Ему скоро шестнадцать лет.

— Я не о возрасте сейчас. О росте говорю. Да и не это главное. Ну вот ты, Султанмурат,— снова обратился к нему председатель.— Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь?

— Да,— ответил Султанмурат и встал с места.— Пахал на Аральской улице.

— На двуххлещном, четырехконном?

— Да, на двухлещном, четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сартбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь.

— Я знаю об этом. Потому с тебя и начал,— сказал председатель.

Все оглянулись на Султанмурата. Он поймал на себе взгляд Мырзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось.

— Я тоже пахал огороды!— выкрикнул с места Анатай.

— И я,— вставил Эркинбек.

Вслед за этим еще раздался голос.

Но Тыналиев попросил тишины.

— Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы. Как у тебя с учебой?— опять обратился он к Султанмурату.

— Да не очень,— проговорил Султанмурат.

— Что не очень?

— Ну, не очень плохо.

— Но и не очень хорошо,— вставила все это время молчавшая Инкамалапай.— Я ему всегда говорю: ты мог бы учиться гораздо лучше, во сто раз лучше. Он очень способный. Но вот беда — ветер в голове гуляет.

— Да-а,— задумчиво протянул председатель.— А я-то рассчитывал.. Ну ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Анатай?

— Да так же,— ответил тот, набычившись и поднимаясь с места.

— Выходит, один другого не лучше,— усмехнулся Тыналиев и, помолчав, сказал:— Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я, по себе знаю. Чуть что — а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай?

Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался:

— Не знаю.

— Я тоже не все знаю,— сказал Тыналиев,— но не будь войны, пошел бы учиться, еще поучился бы.

В классе послышался откровенный смех. Смешно — совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе!

— А что смешного?— улыбнулся Тыналиев.— Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже, поймете.

И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя:

— Башкарма-агай, а правда, что вы прыгали с самолета?

Тыналиев кивнул.

Мальчишка не унимался:

— Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена — и то колени задрожали!

— Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно,— объяснил Тыналиев.— Это такой купол над головой, он распускается, как юрта...

— Знаем, знаем,— хором загудел класс.

— Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа.

— А что такое десант?— снова раздался чей-то голос.

— Десант, говорите? Это отряд подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого, важного задания. Ясно, понятно?

В классе молчание.

— В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей,— объяснил Тыналиев.— Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если не все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты садись, что ты стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет.

- И мой!
- И мой тоже!
- И мой!
- И мой!

Тыналиев поднял руку:

— Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу, и тебе придется на год, а возможно, и больше оставить школу.

— Я тоже! И я! И я! — начали было высказывать некоторые. Ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия — в школу не ходи. Работай на лошадях. Чего еще надо?

— Нет, погодите! — успокоил их председатель. — Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркинбек. Ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркинбек, прошу. Помоги нам. Придется тебе землю пахать вместо учебы в школе. Ничего не поделаешь. А матери твоей я сам объясню...

Потом председатель Тыналиев назвал еще двоих ребят — Эргеша и Кубаткула. И сказал, чтобы завтра с утра все названные им были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров.

Дома уже, поздно вечером, когда собирались ко сну, Султанмурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устало потирая лоб, — целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, — а Аджимурат, глупый, возликовал некстати:

— Вот это да! Не учиться в школе! Плугарем быть, на лошадях! Я тоже хочу!

Мать строго спросила:

- Уроки учил?
- Да, выучил, — ответил Аджимурат.
- Иди ложись спать и ни слова чтобы! Ясно?

А старшему она ничего не сказала.

И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле лампы, решила, наверное, что Султанмурат уже спит, заплакала, положила голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султанмурата, хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее, пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце (как-то он там, на войне), и о детях (четверо их), и о доме, и о разных других нуждах.

Женщина, она есть женщина. Часто они плачут, женщины. И учительница Инкамал-апай, когда ушел председатель Тыналиев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, а она сидела за столом и не уходила. И класс сидел, никто не выбежал, ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Инкамал-апай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах. Мырзагуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да, конечно, женщины есть женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь, ну год, ну два, а война кончится — снова можно пойти в школу...

С этими мыслями засыпал Султанмурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном летучим снегом.

На другой день утром все так же мело. Поземка курилась по насту. Небо отяжелело в сплошных тучах. Замерз Султанмурат, пока дошел до конного двора.

Дело, задуманное председателем Тыналиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал Султанмурат вчера. Во-первых, с председателем и бригадиром, тощим, рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоуздка, пошли к загону у старой конюшни. Здесь на заснеженном дворе понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони



бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа да кости. Работали-работали на них, а зима грянула — бросили в общем дворе. Кормить, следить некому. Корма в обрез. А что есть, берегли на весновспашку.

Ребята остановились в полной растерянности.

— Ну что устались! — заворчал старый Чекиш. — Думали, вам здесь Манасовых тулпаров<sup>1</sup> на расчалках будут удерживать? Выбирай с краю — и не ошибется. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь! Лошади семижильные — им только корм да уход! А остальное они сами знают!

— Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, — подсказал председатель. — Начинайте. Каждому четверка. Какие приглынутся.

И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чонтору. Вначале Султанмурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чонтору. Головастые, взерошенные, на худющих ногах, толкнешь — свалятся. Обрадовался и испугался Султанмурат. Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какие они были, эти кони, в руках отца. И теперь. Как уверенно и прочно бежали в упряжке справные и сильные тогда Чабдар и Чонтору. И теперь.

— Вот они, поглядите, вот кони моего отца! — крикнул Султанмурат, обернувшись к председателю и бригадиру. — Вот эти, Чабдар и Чонтору! Вот они!

— Правильно! Верно! То бекбаевские лошади были! — подтвердил старик Чекиш.

— Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских, — распорядился председатель.

К отцовским конягам Султанмурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карею. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей.

С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года...

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногую молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устак<sup>2</sup> вас зовет к себе!

Ребята прибегали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый воронено-сизый, заново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, поддержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А? Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожи-то свои будете разглядывать в таком лемехе! А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственно, зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге — лемех!

<sup>1</sup> Манасовы тулпары — легендарные скакуны из войска Манаса, героя народного эпоса «Манас».

<sup>2</sup> Устак (уста) — мастер.

Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен — борозда сильна. Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка...

Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинется. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам, как умел, подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшню. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днем и ночью...

По расчетам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Аксае. Но потом аксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому, что Аксай — место далекое, безлюдное. Да и поля там неполивные, и лежат они все больше по пригоркам... Бригадир Чекиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Аксая пахарь или по миру пойдет, или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти. Перво-наперво — вовремя отсеять. А второе — от дождей зависит урожай на Аксае. Так говорил старик Чекиш.

«Земледелец всегда рискует, но всегда надеется» — так говорил Тыналиев. На то и рассчитывал Тыналиев, на то и готовил силы плугарей — с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский...

Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного, дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Зима вроде задумалась, засобиралась. И потому на день лошадей выводили на солнышек, к наружным акурам<sup>1</sup>. На солнышке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта, стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Это Тыналиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло — бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. Об аксайском десанте весь аул уже говорил. И все знали, что командиром десанта Тыналиев назначил сына Бекбая Султанмурата. Назначение это не обошлось, правда, без сшибки с Анатаем. Тот сразу заспорил:

— А почему командир Султанмурат? Может быть, мы его не хотим!

Султанмурата эти слова обожгли. Не утерпел:

— А я вовсе не хочу быть командиром! Хочешь, так сам будь!

Ребята, Эркинбек и Кубаткул, тоже вмешались:

— Ты, Анатай, завидуешь!

— Что тебе, жалко? Раз сказали — значит, командир Султанмурат!

А Эргеш заступился за Анатая:

— А чем Анатай не годится? Он сильный! Только ростом чуть ниже Султанмурата. В школе мы выбирали старосту, давайте и командира выбирать... А то чуть что — Султанмурат, Султанмурат!

<sup>1</sup> А кур — глинобитные кормушки для стойловых лошадей.

Тыналиев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал.

— Ну-ка прекратите шум!— приказал он.— Идите сюда. Встаньте в ряд. Вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня. Запомните, командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником.

— А того начальника кто назначает?— перебил Эргеш.

— Еще более вышестоящий начальник!

Наступило молчание.

— Вот что, ребята,— продолжал председатель.— Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли, у троих отцы на фронте. Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с парашютистами на далекий Аксай. Много дней и ночей будете одни в степи, как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете?

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем ребят на конном дворе. Вышедший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку.

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бекбая Султанмурата.

— Ты отвечаешь за все,— говорил он.— За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Аксае. Отвечать — значит выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира. А пока никаких и ничьих возражений не принимаю.

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта.

Плугари преданно и восхищенно смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас, сивогривый, грозный, в кольчуге, а они перед ним — как верные батыры его. Со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал Манас надежды свои?

Первым был славный витязь Султанмурат. Пусть не самый старший, пятнадцать шло уже годов. Но за ум и за храбрость командиром назначен был он, сын Бекбая Султанмурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеко, на большой войне. Своего боевого коня Чабдара он оставил ему, Султанмурату. Еще братец малый у Султанмурата — Аджимурат. Очень любил он братца, хотя тот, случилось, и досаждал ему. А еще тайно любил Султанмурат красавицу Мырзагуль-бийкеч. Прекрасней всех улыбка у Мырзагуль-бийкеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела как снег, а глаза — как костры на горе темной ночью...

Вторым витязем был славный Анатай-батыр. Самый старший в отряде, почти шестнадцать лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть. Зато силой наделен был самой большой. Конь у него, как подобает батыру, прозывался Октор — гнедая стрела! Отец Анатая тоже был на большой войне, в далеком походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу луноликую — Мырзагуль-бийкеч. Очень жаждал он поцелуя красавицы...

Третьим витязем был милый юноша Эркинбек-батыр. Самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он, бывало, и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеко, защищая Москву. Конь боевой Эркинбека, как подобало батыру, прозывался Акбайпак-кулюк, что означало скакун в белых носках!

А четвертым батыром был Эргеш-батыр. Тоже друг и товарищ. Пятнадцати лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был



человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеко. Конь Эргеша, как подобало батыру, прозывался Алтынтуяк — золотое копыто!

Среди этих батыров был еще пятый батыр — Кубаткул-батыр! Тоже пятнадцати лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеко, в той большой войне погиб смертью героической в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня Жибекжала — шелкогривого скакуна!

Вот такие батыры стояли перед Тыналиевым. А за ними, за их шуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки — пять четверок, двадцать кляч извозных, которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай...

На Аксай, на Аксай пашню орать, как только снег сойдет! На Аксай, на Аксай плугом ходить, как только земля задышит!

Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно. Однако дни приближались. И все шло к тому...

## 5

И приближались те дни...

Плуговых лошадей для Аксая называли по-разному — кто десантные, кто аксайские, — но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные аксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз прибывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский нор, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, обращаясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коня: «А ну-ка, прими ногу, отступи! Стой, стой, дурья башка, успеешь! Ишь тянется, ласкается, хитрюга! Только дулю тебе, ты у меня не один!»

В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полусонные, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке и Кубаткул на Жибекжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке.

Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий. Тем более когда много лошадей сразу хотят пить. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султанмурат и здесь установил строгое дежурство: кому в какой день заниматься подготовкой водопоя.

Не спеша, не толкаясь, пили лошади под призором плугарей чистую студеную проточную воду. Вода выбегала отсюда из-под льда по каменистой отмели и снова утекала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась о наст...

Лошади как бы прислушивались, переставали пить, пригревались в коротких солнечных лучах и снова принимались тянуть в себя воду. Напившись, они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь в конюшню, начинали играть, храпя, раздувая ноздри, распутив хвосты, носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы. Ребята скакали вокруг, гарцевали, шумели.

Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Вроде бы совсем и не те клячи, а заново рожденные. Старики не упускали случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работающих, добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра, с кончик мизинца, а она тебе сторицей отплатит. И разные истории рассказывали: какие были кони в старину!

И только председатель Тыналиев был скуп на похвалу. Взыскательным, коlichem взором осматривал он лошадей и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как пluğu, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колене — если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки? А попоны, когда наконец попоны будут готовы? На Аксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Горопил, напоминал, что времени остается все меньше, до криков, до ругани доходило, выговаривал бригадир Чекишу, когда ездовые на мажарах не успевали вовремя подвезти клеверное сено, особо берегаемое для плуговых лошадей, и в первую очередь для аксайских.

И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант, сроду такого не слышали, мало того что мужья на войне, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра и до ночи... И многое другое справедливое, если разобраться.

Султанмурату больше всего перепало, на то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала: «Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спихватись, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет...» Жалко было мать, очень жалко, но что мог поделать Султанмурат, да и любой на его месте. У каждого из десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисти, корма готовь, и снова корми, пои, чисти, навоз выноси, и снова сначала... А какой это труд — промывать и лечить лишаи старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие растворы да мази, лечить приходится самим. Каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как. Ни одного коня не было целого, все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат, попробуй удержать.

Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка, каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, «в плугу вода пойдет с него и пустое место останется». И тут случилась крупная неприятность...

Выехали как-то проминать лошадей все впятером на своих лучших «боевых» конях. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке, Кубаткул на Жибекжале. Вначале рысью, как полагалось, шли. Вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили. День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые и такие спокойные и ясные, что появившись муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригреть стало на солнце.

Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось поразмяться, порезвиться. Припустили поводья, быстрее и быстрее. Так и подмывало понестись галопом. Султанмурат впереди. А Анатай подначивал сзади:

— Давай быстрее, что так тихо!

Но Султанмурат как командир не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей, чтобы потом, в упряжи, им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голос. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс, седьмой, шел с уроков, и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султанмурат ее, Мырзагуль, узнал сразу. Как он ее отличил, сам не знает, но то была она. По лицу, мелькавшему в полшальке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то кричала и размахивала сумкой. Вроде бы даже крикнула: «Султанмура-а-а!» И то, как бежала она, раскинув

руки, как устремлена была к нему, врезалось в память как вспышка, и понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни... И от радости точно бы волна какая-то подхватила его, и понесла, и понесла, и понесла, закружила...

Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогарцевать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султанмурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его Октор был резвый конь.

— Стой, куда ты, не скачи! — предупредил его Султанмурат, но Анатай даже не оглянулся.

Странная мысль ожгла Султанмурата: «Это он хочет, чтобы она увидела его!» И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, заигикал, прилег к гриве, настигать стал Анатай. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они наперегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удалство и превосходство. Ох как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султанмурат, настигая Анатай, как вихрь! А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспыхнувшим состязанием, и видел, видел среди них ее, на нее-то главным образом и смотрел. Ради нее вступил он в это единоборство. И одерживал верх! Обгоняя Анатай, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней, и хорошо, то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону, иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая поводья, Султанмурат оглянулся — Анатай позади не было. С трудом умерив разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский Октор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом встающему со снега.

Перепугался Султанмурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатай и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мырзагуль. Бледная и растерянная была она и все равно самая красивая... Анатай, придя в себя, побегал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводьях. Тем временем подоспели сзади остальные десантники. Все вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал Султанмурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно.

Вот таким конфузом обернулась попытка батыров покрасоваться на глазах у Мырзагуль-бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И только приближаясь к аилу, заметил Эргеш, что Октор под Анатаем хромает.

— Стой! — окрикнул он. — Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?

— Хромает? — растерянно спросил Анатай.

— Ну да! И еще как!

— А ну поезжай вперед, — велел Султанмурат. — Поезжай, а мы посмотрим.

В самом деле, Октор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили. Сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть. Готовили, готовили коня к плугу и вот доигрались. Разве можно было устраивать перегонки по заснеженному склону, ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще сами не убились.

— Это ты виноват! — сказал вдруг Анатай, раскрасневшись и разозлившись. — Это ты пошел наперегонки!

— А разве я тебе не кричал: «Стой, куда ты!»?

— Так не надо было обгонять!

— А зачем же ты поскакал?

Расшумелись, заспорили. До драки чуть не дошли. Однако опомнились.



Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смирные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охромевшего Октора тоже привязали у акура, а как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились. Понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили Анатаю: иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось, вот, мол, захромал Октор, как быть? А он ни в какую:

— Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир. Пусть он докладывает.

И опять заспорили, и опять чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало Султанмурата то, что Анатай вовсе не считал себя виноватым.

— Баба ты! — обзывал его Султанмурат. — Ты на словах только герой! А чуть что — в кусты! Думаешь, боюсь? Раз случилось такое — сам пойду и расскажу.

— Вот и иди! На то ты и командир, — не унимался Анатай.

Пришлось Султанмурату набраться духу, рассказать конюху все как было. Тот всполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать — шуточное ли дело, тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрянул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу Октора, пытался определить, отчего опухоль — растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись — бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешился. И пошел к ним, грозный и взерошенный.

— Что у вас тут?

— Да вот думаем, аксакал, растяжение или трещина?

— А что думать! — взорвался Чекиш, багровея от гнева. — Да я их сейчас всех под трибунал! Стрелять буду на месте!

Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали врассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось, только еще больше посинел старик от удущья и, все больше распаляясь, кричал, грозя кнутом:

— Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители! Фашисты! Стрелять всех до одного! Сколько трудов, сколько корму извели впустую! А на чем тепер пахать?

Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали, Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.

— А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! — И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: — Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запорю!

Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не своя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять...

— Ну ладно! — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. — Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!

Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:

— Ты ему говоришь — беги, а он стоит! Ну подумай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить — на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили...

Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколько труда, сколько стараний пропадало — куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том — Чекиш и

другие знающие люди сказали,— что повреждение неопасное. Пришлось отвести анатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользоваться лошадой. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.

И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десятков овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще, корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие будылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится — кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колочку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже — кизяк на исходе, хвороста — курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Сена накашивал отец, на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить, вся жизнь была устроена при отце поиному — надежно, разумно, красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бричек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках...

Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.

Отчего же так? Выходит, нет отца — и худо стало... Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое — когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.

Позавчера к рассвету собака вдруг залилась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раздался стук в окно. Мать встрепелулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.

— Дядя наш Нургазы приехал,— сказала она сыну,— иди встречь.— А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.

Брат матери, дядя Нургазы, жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призвали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был, нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать, что к чему, да вернуться пораньше на место.

Обветренный, заиндевший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и крижистый, пропахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих твердых, трудно гнувшихся темно-коричневых пальцах.



Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:

— Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Хóлода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил... Горячей шурпы<sup>1</sup> с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. — А ты, Султанмурат, сними с седла курджун, занеси что там есть в дом, а курджун освободи... Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.

Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чаю. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, неодетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай, надел на себя, камчу дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня.

— Как тебе не стыдно! Слезы! — Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам позволял:

— Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.

Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, заревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.

Дядя Нургазы рассердился даже.

— Это ты его? — с упреком глянул на Султанмурата.

— Нет, тайаке<sup>2</sup>, я его не трогал.

— А почему он так заплакал?

— Не трогал он его, — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. —

Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца как ни слуху...

Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберечь силы для детей, рассказывал разные случаи, когда человека считали уже убитым, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война...

В этот раз, подле больной матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу придет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.

Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот, совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно бы подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:

— Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.

— Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, — похвалила Инкамал-апай.

— А если бы вы видели, какие они были, — рассказывал Султанмурат. — Совсем доходяги. В лишаих. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите какой! Отцовский конь. А это Акбакай, вот Джелтаман...

Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши...

<sup>1</sup> Шурпа — мясной суп.

<sup>2</sup> Тайаке — дядя по матери.

Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь видит — не зря пошли на эту жертву. Главное теперь — победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно...

Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью, как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то — сама убедится — письма пойдут одно за другим... Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшню возчик, с которым люди ездили в район.

Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.

Да, тяжело и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.

Он еще не понимал толком, как называется все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверно, парню попроситься с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалась смешной и эта затея и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула.

Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:

Аксай, Коксай, Сарьсай — земли обошел,  
Но нигде такую, как ты, не нашел...

И вдруг он догадался: он тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему...

За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству было во дворе и дома, наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:

— Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?

Мать горько улыбалась в ответ:

— Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу...

А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях, а как только дело коснулось бумаги, слова не вязались. Прежде всего хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в аиле, и не только в аиле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней. Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать, — как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему, как музыка, как водопад, как пламя огня...

Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще, мать лежала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не вязалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.

В аиле давно уже перестали светиться окошки, давно уже перестали влзавать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они — ночь и он со своими думами о Мырзагуль.

Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашиктык кат»<sup>1</sup>, написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:

Аксай, Коксай, Сарысай — земли обожел,  
Но нигде такую, как ты, не нашел...

## 6

На другой день, после того как Аджимурат пришел из школы, отправились они с братом за топливом в поле. Оседлали аджимуратовского ишака Черногривого, веревки для вязанок, серпы и рукавицы приторочили к ишачьему седлу. Собаку Актоша позвали с собой. Она охотно побежала с ними. Аджимурат, по праву младшего, устроился верхом, а старший пошел рядом, погоняя ишака. Не погонишь — не

<sup>1</sup> Ашиктык кат — любовное письмо.



поторопится. Место неблизкое. Знал Султанмурат один уголок, богатый хворостом-сухостоем. Далеко было то место, в балке Туюк-Джар. Весной и летом в ту балку стекались со всех сторон талые и особенно дождевые воды. Гремела балка от взбурлившихся ливневых потоков и грозových раскатов, а к осени вымахивали в ней заросли твердостеблстых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал. Зато пустынь не вернешься.

Поблизости весь курай давно собран. Вот и пришлось снарядиться в Туюк-Джар. Пообещал Султанмурат матери, что топливом обеспечит, перед тем как уезжать на Аксай.

Вначале Султанмурат шел озабоченный разными мыслями и не очень-то откликался на разговоры словоохотливого брата. Было о чем думать. Приближалось время выхода пахарей на Аксай. Оставались считанные дни. Перед выездом всегда обнаруживается, как много еще не сделано. Особенно по мелочам. А ведь там, на Аксае, и гвоздя не найдешь, если вдруг потребуется. Хорошо, что председатель Тыналиев заглянул накоротке к ним домой. Проведать приехал, как здоровье матери, как дела у командира десанта. Да и сам рассказал кое-что. Рассказал, как будет с жильем на пашне — решили поставить юрту, — как с подвозом кормов и питанием, а главное, хорошо, что поговорил с матерью. Мать в последнее время стала нервной от болезни, оттого, что нет писем от отца. Ну и заспорила с председателем. Говорит: куда вы шлете этих детишек? Сгинут они там, в степи. Не пушу, говорит, сына. Сама больна. Дети малы. От мужа никаких вестей. Сена нет, топлива нет в доме. А председатель говорит: сеном поможем самую малость, больше никак нельзя — весновспашка на носу. Насчет топлива ничего не обещал даже. Поблудил даже, будто скрутило его изнутри, и говорит: а насчет детишек в степи, это вы напрасно. И в расчет не возьму ваши слова, хотя в душе понимаю. Это, мол, фронтное задание такое. А раз так — хочешь или не хочешь, не имеет значения. Требуется выполнять. И никаких отговорок. Вот если бы ваши мужья перед атакой начали бы плакать по дому, того нет, этого нет, не топлено, не кормлено, куда, мол, нам в атаку! Что бы это было? Кто кому может позволить на войне такое? А для нас Аксай — это наша атака. И идем мы в ту атаку с последними нашими силами — с ребятами школьных лет. Других людей нет.

Вот такой разговор состоялся. И мать жалко, и председателя Тыналиева, его тоже надо понять, не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он Султанмурата побыстрее выходить на работу. Время, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорее берись за дела...

Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя, по дому начала кое-что делать. Можно было уже вернуться к ребятам на конюшню. Однако хоть из-под земли, но требовалось добыть топливо. Нельзя оставлять семью без огня, без тепла...

День стоял предвесенний. Теплый полуденный час. Ни зима, ни весна. Безмятежное согласие сил. Чисто, умиротворенно, просторно вокруг. Кое-где темнели широкие рваные прогалины среди осевших, ослабевших снегов. В прозрачном воздухе ослепительно белели громады снеговых гор вдаль. Какая большая земля лежала вокруг и как много забот было на ней человеку!

Султанмурат приостановился. Попытался разглядеть Аксайское урочище там, на западе, на степном скате предгорий Великого Манасового хребта. Но ничего не разглядел в той дали, называемой аксайской стороной. Только пространство и свет... Вот туда предстояло отправляться днями. Как-то там будет? Что ждет их в том краю? Тревожный холодок пробежал по спине...

Но день был чудесный. Аджимурат — тот совсем ошалел от радости, от вольного дня, оттого, что брат рядом и собака преданно бегаёт возле, что в целом мире они сами по себе, что едут добывать топливо домой. Сам же на ишаке. Голосок тонкий, песни поет разные, еще довоенные:

Бер команда, маршалдар  
(Дайте команду, маршалы),  
Калбай тегиз чыгабыз  
(Все, как один, выступим).

Мин-миллион жоо келсе да  
(Пусть идет тысяча миллионов врагов),  
Баарын тегиз жагабыз  
(Всех до единого уничтожим).

Эх, глупыш! Дитя несмышленное...

Но Аджимурату дела нет ни до чего. Он самозабвенно продолжал свое:

Бир-эки, да, бир-эки  
(Раз и два, раз и два),  
Катаранды тюздеп бас  
(Держи ровнее строй)...

Султанмурат тоже повеселел. Смешно было смотреть на этого храбрца верхом на ишаке. А когда проезжали мимо прошлогоднего гумна, поутихли неволью. В этом укромном месте, среди полуразвалившихся скирд соломы уже повеяло весной. Тишина полевая. Как отмолотились в прошлом году, так все и утихло здесь. Пахло мокрой соломой, прелью и духом угасшего лета. Валялось в арыке поломанное колесо без обода. И пока сохранялся большой шалаш, крытый обмолоченными снопами. В нем отдыхали от зноя молотильщики. На припеке, посреди тока, где оставалось отвейное охвостье, уже зазеленели густо проросшие стебельки опавших зерен.

Актош засновал, бегал взад-вперед, вынюхивая что-то по гумну, и вспугнул диких голубей. Они выпорхнули из-под нависающей кручи обледеневшей соломы. Здесь кормились всю зиму в затишке. Шумно, весело закружили они над полем, держась плотной стремительной стайкой. Актош беззлобно потявкал, побегал вслед и потрусил дальше. Аджимурат тоже покричал, попугал и быстро забыл о них. А Султанмурат долго следил за птицами, любовался их гибким полетом, переливающимся перламутровым блеском перьев на солнце и, заметив, как отделилась от стаи пара сизарей и полетела в сторону бок о бок, вспомнил молодого учителя по математике, ушедшего в армию:

Я сизый голубь, летящий в синем небе,  
А ты голубка, летящая крыло в крыло.  
Нет счастья большего на белом свете,  
Чем неразлучно вместе быть с любимой...

Захмелел учитель у бозокера, когда его провожали, и, уезжая на бричке из аила, долго, пока было слышно, пел о том, что он сизый голубь, летящий в синем небе, а она — голубка, летящая крыло в крыло... Тогда смешной показалась Султанмурату эта песенка, и учитель грозный вдруг оказался таким смешным. А сейчас, провая взглядом удаляющуюся пару диких голубей, замер, почувствовав озноб в теле. Пронзительно его ударила эта песенка учителя математики. И понял мальчишка, что то он сам, вон тот летящий в синем небе голубь, а то она, летящая с ним бок о бок, крыло в крыло, и дух захватило от желания быть немедленно рядом с ней, с Мырзагуль, чтобы лететь вот так, как эти голуби, выводящие над зимним полем широкий наклонный круг. Вспомнил о письме для нее и решил, что слова песни про голубей «Аккептер» тоже должны быть включены в письмо... Все дело теперь заключалось в том, как вручить ей письмо. Он понимал, что при ребятах она никогда не возьмет от него письма. Ведь даже на переменах избегала его. А теперь и в школу он не ходит. Домой к ней не пойдешь, семья строгая... Да и как, даже если прийти, что сказать, как объяснить? Почему, спрашивается, надо вручать письмо, живя в одном аиле?

Но чем больше он думал, тем сильнее хотелось, чтобы она знала о том, как он думает о ней. Очень важно, чрезвычайно важно, преодолимо важно было, чтобы она знала об этом.

Всю дорогу думал он то о ней, то о предстоящем выезде на Аксай, то об отце на фронте и не заметил, как добрались до балки Туюк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того курая, который оставался в овраге по обочинам замерзшего ручья да среди колючей поросли облепихи, и того было предостаточно. Приходилось беспокоиться не о том, как взять курай, а как увезти.

Недолго думая, принялись за дело. Ишака Черногривого отпустили поспастись по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. Актош не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая неизвестно чего и кого. Братья работали споро. Серпами сжинали сухой, складывали срезанные стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча.

Вскоре стало жарко, разделись — сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густо и когда он твердостеблистый. Вокруг аила такого не найти. Где там! А здесь одно удовольствие, выжинаешь пучками под самый корень. Курай сухо шуршит и позванивает в коробочках, в стручках сухими семенами, густо осыпаящими снег. И снова остро пахнет горькой пыльцой, как будто летом, как будто в августе. Спину разогнуть трудно. Но курай здесь отменный, жар от него будет сильный. Мать, сестренки останутся довольны. Когда в доме хорошо горит печь, и настроение хорошее.

Они уже сделали немало, собирались было передохнуть, когда вдруг отчаянно и дико залаял Актош. Султанмурат поднял голову и закричал, роняя серп:

— Аджимурат, смотри, лисица!

Впереди по балке, по отвердевшему за зиму насту бежала от собаки вспугнутая лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными торчком ушами и дымчато-красной спиной и таким же дымчато-красным длинным хвостом. Актош яростно и беспорядочно преследовал ее, но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снегу.

— Лови ее! Держи! — завопил Аджимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами.

Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник и, когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону. Конечно, лиса запросто обвела бы своих преследователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки, как в мешке, здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неутомимой собаки, затаилась бы лиса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек, но собака хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лису.

А братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней сломя голову, потные и разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаке, или прорываться мимо людей к выходу из оврага.

И лисица огляделась и, вместо того чтобы убежать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица, почти не торопясь, приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно рассчитав возможности идущего по следу и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актоша. Бедный Актош совсем одурел от лая и бега. Он уже не замечал, как здорово повела его лиса по глубокому насту.

Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, завороженные подбегающим чудом, — настолько красива была лиса на бегу, как лодка, стремительно пущенная по течению. Лисица шла точно между ними, как бы стараясь пройти посередке, чтобы никому не было обидно. Но затем она взяла чуть левее и проскочила со стороны Султанмурата, в двух-трех шагах от него. За это короткое мгновение он разглядел ее всю, как во сне, веря и не веря тому, что видит. Пробегая мимо с напряженно вытянутой головой, лиса посмотрела ему в лицо черными блестящими глазами. Султанмурат успел подивиться этому мудрому звериному взгляду. Такой она и осталась в его памяти — с поднятой головой и так же ровно поднят看ным пушистым хвостом, с бесельным подбрюхом, черными быстрыми лапами и умным, все оценивающим взглядом... Она знала, что Султанмурат не тронет ее.

Он опомнился, когда Аджимурат, швырнув серпом в лисицу, завизжал:

— Бей ее! Бей!

Султанмурат же не успел сделать даже этого, как лисица юркнула в курай, за ней помчался Актош, и они быстро удалились вниз по балке.

— Вот это да!— вырвалось у Султанмурата.

Братья побежали, потом остановились. Лисы и след простыл. Только Актош взлаивал то там, то тут.

— Эх ты,— сказал потом Аджимурат.— Упустил такую лису. Стоишь, даже рукой не шевельнешь.

Султанмурат не знал, что и ответить. Брат был прав.

— А зачем она тебе?— пробормотал он.

— Как зачем?— И, не объяснив, что хотел сказать, махнул рукой.

Потом они молча собирали накошенный хворост в общую кучу. Надо было еще немного покосить, чтобы сделать полные вязанки. И тут Аджимурат заговорил обиженно:

— Зачем, зачем, говоришь! Отцу сшили бы лисью шапку, как у дяди Нургазы, а ты стоял!

Султанмурат опешил: значит, вот о чем он думал, гоняясь за лисицей. И теперь пожалел, что не удалось поймать действительно такую красивую лисицу, и представил себе отца в пушистом теплом малахае, как у дяди Нургазы. Такая шапка очень пошла бы отцу. Мысли Султанмурата прервались всхлипываниями Аджимурата. Братишка сидел на куче хвороста и горько плакал.

— Ты что? Что с тобой?— подошел к нему Султанмурат.

— Ничего,— ответил тот сквозь слезы.

Султанмурат не стал особенно допытываться. Он сразу догадался, вспомнив, как недавно плакал Аджимурат, когда приезжал дядя Нургазы. Понял он, что мальчик расплакался с тоски по отцу. Лисица и лисий малахай были лишь напоминанием...

Не знал Султанмурат, как помочь братишке. Он и сам загрустил. Проникаясь жалостью и состраданием к брату, он решил поделиться с ним самым сокровенным.

— Ты не плачь, Аджике,— сказал он, присаживаясь возле.— Не плачь. Понимаешь, я хочу жениться, когда вернется отец.

Аджимурат перестал плакать, удивленно уставился:

— Жениться?

— Да. Если ты мне поможешь в одном деле.

— Какое дело?— сразу заинтересовался Аджимурат.

— Только ты никому ни слова!

— Никому! Никому не скажу!

Теперь Султанмурат заколебался. Говорить или не говорить? Он молчал в растерянности. Аджимурат начал приставать:

— Ну скажи, какое дело, скажи, Султан. Честное слово, никому ни слова.

Султанмурат pokrылся испариной и, не глядя в лицо брату, с трудом проговорил:

— Надо передать одно письмо одной девушке. В школе.

— А где письмо, какое письмо?— живо придвинулся к брату Аджимурат.

— Потом я тебе покажу. Не здесь же письмо.

— А где?

— Где надо. Потом увидишь.

— А кому, какой девушке?

— Ты ее знаешь. Потом скажу.

— Так скажи сразу!

— Нет, потом.

Аджимурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султанмурат вынужденно сказал запинаясь:

— Письмо надо... это... передать Мырзагуль.

— Какой Мырзагуль? Та, что в вашем классе?



— Да.

— Ура! — заорал то ли от радости, то ли от озорства младший брат. — Я ее знаю, она такая, воображает, что очень красивая! С младшими классами не разговаривает.

— А ты что кричишь? — рассердился старший.

— Ладно, ладно! Не буду! Ты ее любишь, да? Как Айчурек и Семетей<sup>1</sup>, да?

— Перестань! — прикрикнул на него Султанмурат.

— А что? Говорить нельзя? — вредничал младший.

— Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет!

— Вот и залезу и буду кричать! Ты любишь эту Мырзагуль! Вот! Вот! Ты любишь...

Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, Султанмурат дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился и сразу заревел на весь овраг:

— Когда отец на войне, ты меня бить? Ну подожди! Подожди! Ты еще отетишь! — орет во все горло.

Теперь надо было успокоить его. Вот морока! Когда они помирились, Аджимурат говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу:

— Не думай, я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться... А письмо передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу драться... На перемене отдам, отзову в сторону. А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец приедет на станцию и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на Чабдара и первыми поскачем впереди всех. Ты и я. Чабдар ведь теперь твой. Ты впереди, а я сзади на коне, и поскачем. И мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, а навстречу мама и все люди...

Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал Султанмурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку.

— Ладно, Аджике, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем, только бы отец вернулся...

Когда собрали весь скошенный курай и когда начали вязать, получилось три добрых вязанки. Султанмурат мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеючи стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно лежит на спине, ее и нести удобней. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они и привели с собой Черногривого, а одну дополнительную вязанку Султанмурат решил взять на себя. Далековато было нести, но лучше уж сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюк-Джар.

Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу Аджимурат. Султанмурат шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом — веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки.

Так они шли — впереди Аджимурат, на поводу у него Черногривый, за ним Султанмурат с ношей на спине, замыкал это шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади.

Когда несешь курай, очень важно долго не позволять себе отдыхать. После первого привала интервалы переходов сокращаются — второй привал вполноу первого перехода, третий вполноу второго и так далее. Султанмурат хорошо знал

<sup>1</sup> Айчурек и Семетей — герои эпоса «Манас».



это, потому, рассчитывая силы, шел размеренным шагом, широко расставляя ноги. Теперь он ничего не видел вокруг, смотрел только вперед, под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь.

Шел он и думал, как завтра с утра выйдет на работу на конный двор и снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди считанные дни до выхода на Аксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные, плуги и запасные лемеха готовы, сбруя тоже, а все равно двинешься на поле — что-нибудь да и обнаружится, это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит: глаз — трус, а рука — храбрец, надо смело выходить в поле, а там по ходу дела видно будет как и что, всего не предусмотреть. Может быть, он и прав.

Думал Султанмурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продукты нет. Все сама да сама. Толи, вари, стирай. Девчухи еще малы, а с Аджимурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть, вот-вот уедет на Аксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить... А их всего пять упряжек. А остальное тягло и плуги все на старых землях будут работать. Здесь работы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы близости от аила. В случае чего женщины смогут встать за чапыги. Совсем не женское дело. Но теперь они и арыки копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают...

Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал...

Но больше всего думал он о том, что завтра передаст письмо, вот только надо дописать слова из песни «Аккептер». Пытался представить себе Мырзагуль читающей его послание, то, что она подумает при этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви! Получается совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать, никакая бумага не уместит в себе то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил?.. Тогда как?..

Балка Туук-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку, в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей — умиротворенность, улада, затишье, чтобы все это вмиг столкнуть, сбить, смешать, разнести вдребезги. В таких случаях надо прошептать: «К добру, к спокойствию!» — чтобы упредить злые силы. Иногда помогает. «К добру, к спокойствию», — сказал про себя Султанмурат, высматривая впереди удобное место для первого привала.

Место приходится выбирать с горочкой, такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик курая раскачивается на спине, лежа на вязанке, раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно, если больше, чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колена встать на ногу, на вторую и затем с заклиниванием «о, пирим!» выпрямиться, насколько позволит груз. Зато проще простого отдыхать — надо смело падать навзничь.

Султанмурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил глаза. Ах, как хорошо было распустить веревки на груди! Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал. Когда он сможет, отдыхая после тяжелого перехода, думать только о ней?

— Только ты быстрее ответь на мое письмо, слышишь? — сказал он беззвучным шепотом, улыбаясь себе. И прислушался.

Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле в светлом, незаметно смеркающемся предвечерии.

## 7

И приближались те дни...

Тревожное, томительное ожидание ответа от Мырзагуль не покидало его весь день, пока он не сваливался к ночи мертвецким сном. Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал

своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мырзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать вприпрыжку, размахивая руками, прыг-скок, если нет, то не бежать, а идти и чтобы руки были в карманах.

Султанмурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день, братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султанмурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставлял брата уже давно спящим. А хотелось выспросить еще какие-нибудь подробности. Но выпрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мырзагуль-бийкеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, Аджимурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку.

Не понимал Султанмурат, что бы это значило. Если Мырзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит, почему не скажет об этом прямо? Почему молчит, неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа?

С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля, вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевай только...

Однажды Султанмурат сказал брату:

— Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай, надолго уеду...

Ответ вернулся односложный...

— Знаю, — передала она, и больше ничего.

Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побегать в школу, дожидаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнение, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу...

Да и работу не бросишь. Работы неупрото. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра до вечера работа, работа, и чем ближе подходил срок выхода на Аксай, тем больше всяких забот наваливалось.

Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь. По-весеннему стало на водопое, веселей, просторней. Лед исчез, как мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам по каменистому перекату. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же, в ту кучу. Смех, вскрики от холодных брызг, наскоки...

Именно в такой момент, находясь на водопое, увидел ее Султанмурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы, казалось, обмер? Мырзагуль была не одна. Четверо было их. Девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть. Мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось! Глянул случайно и обмер, придерживая Чабдара на месте, сразу узнал ее. Она шла по переступкам и тоже узнала его, закачалась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону. И, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был поскакать, полететь за ней — за обещанным счастьем, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее. И что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он умирал и воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята

их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поит Чабдара...

А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше увидеть ее, встретить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там, на переступках через речку, всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не пришло это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме.

Он понял потом, что встречи такие могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть попозже обычного. Очень досадно было Султанмурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась почти там же Мырзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто...

Теперь он решил дождаться ее. На другой день Султанмурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чабдару, а ребята попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя: привязать их на место, задать им корм.

И опять Анатай!

Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал.

— А я знаю, кого ты ждешь,— сказал он вызывающе.

Ох и противный тип!

Султанмурат тоже хорош. Нет чтобы спокойно урезонить: «Знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься», так он вместо этого обозвал Анатая:

— А ты шпион фашистский!

— Это кто шпион? Я шпион?

— Ты шпион!

— А ну докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал! А нет, я тебе морду набью!

И они сшиблись, понукнули коней навстречу друг другу и, тесня друг друга, закружились посреди речки. Угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как петухи, не на шутку разошлись. Вода закипела вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрежеща подковами по камням, и тогда Эркинбек крикнул:

— Эй вы, опять лошадей покалечить хотите!

Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов.

Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню, Султанмурат все еще тяжело дышал и, чтобы как-то унять себя, поехал рысцей вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад и тут увидел ее. Как и вчера, Мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами, и дела им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына: «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как!» Успокоил маму, а сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда, и действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у большого, лицо вытянулось, шея сделалась длинной, вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да! Совсем другой стал, не узнать... Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется...

Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Мырзагуль глянула раза два в сторону водопоя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подружками. Они как ни в чем не бывало перескочили с переступки на переступку через речку и пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу, выехал огородами на улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее из одного конца улицы в другом конце. Здесь он поехал медленно. И чем ближе схо-



дидлись они, тем страшней становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними, и все ждут, как они встретятся и что он скажет ей.

А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется. Ведь учились вместе в одном классе, ничего не стоило отобрать у нее что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Теперь ему хотелось избежать этой встречи, но было уже поздно. И, наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул. И был очень благодарен ей. Как страшно, оказывается, встречаться один на один...

А потом корил себя и ругал за малодушие. Плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней, дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды, днями ему уезжать на Аксай и пусть все это останется между ними. Так и скажет.

С этим твердым решением начинал он тот день, с этим намерением работал, с этим намерением еще раз отправился на речку после водопоя. Ехал на Чабдаре. Проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом аиле на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как амебы, каких рисовали они когда-то в тетрадах на уроках зоологии.

Вчера же на конном дворе председатель Тыналиев и бригадир Чекиш устроили смотр аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султанмурату достался плуг номер один. Затем каждый обрядил своих лошадей в сбруи, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в ряд. В общем-то, со стороны смотреть, здорово, внушительно получалось! Как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугари подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Тыналиев ходил перед десантом суrowый, как командующий армией. К каждому подходил:

— Доложи твою готовности!

— Докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов.

Прямо как в армии! Только бригадир Чекиш хмурился. Ну конечно, он старик, где ему понять!

Смотр прошел хорошо. Но по двум пунктам все же завалились десантники. Председатель Тыналиев подозвал всех к упряжи Эргеша.

— Ну-ка обнаружьте неполадку в сбруе,— предложил он.

Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Тыналиев сам показал:

— А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедого коренника на боку перекручен. Вот, смотрите! А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бок вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет! Значит, плуг будет простаивать из-за халатного отношения к сбруе! Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму?..

Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы, и надо же!

— Султанмурат,— наставлял председатель Тыналиев,— ты, как командир десанта, обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно?

— Ясно, товарищ председатель!

Второй пункт,— наставлял погорел десант, оказался более серьезным. Причем погорел сам командир. Председатель Тыналиев спросил их:

— Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?

Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов.

— А ты как думаешь, командир?

— Я тоже так думаю. На полосе, где распряжем, там и оставим сбрую, возле плугов. Не носить же ее с собой?

— Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Аксае некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбрую намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь? Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье! Таков закон! Это ваше оружие! А каждый солдат прежде всего бережет оружие!

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день перед аксайским отрядом, выстроенным для смотра в полной боевой готовности.

Вот так говорил председатель Тыналиев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались. И все шло к тому...

Вот так говорил председатель Тыналиев, наставляя их уму-разуму...

Вот так...

Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Аксай, и тогда, конечно, не увидится с Мырзагуль до самого лета. Подумав об этом, Султанмурат испугался. Трудно, невозможно было представить себе такое — не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени! А еще собрался заявить ей сегодня, что, мол, да или нет, если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда, на Аксае дела поважнее...

Султанмурат все поглядывал на дорогу, проезжаясь берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки! Однако Мырзагуль среди них не оказалось. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султанмурат огорчился. Что ж оставалось, раз такое дело. Расстроенный поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога: а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось? Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек. Повернул Чабдара вслед за ними. И тут увидел ее, Мырзагуль возвращалась одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султанмурат припустил слегка Чабдара, чтобы успеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвался с уст: «Родная моя!»

Он встретил ее на переступках. Спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему.

Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему.

— Смотри не уподи! — крикнул он ей, хотя упасть с таких широких, выложенных поверху дерном переступок было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики!

Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь.

— Смотри не уподи! — сказал он еще раз.

А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он был чудак, писал какие-то письма, терзался, ждал ответа...

Он взял ее ладонь, когда она протянула ему руку. Столько лет учась в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. «Вот я здесь! — сказала рука. — Я так рада! Разве ты не чувствуешь, как я рада?» И тут он посмотрел ей в лицо. И поразился — в ней он узнал себя! Как и он, она стала совсем другой за это время, выросла, вытянулась, и глаза светились странным, рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что



она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила, и эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно мгновение.

— А я думал, ты заболела,— сказал он ей дрогнувшим голосом.

Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, сказала другое:

— Вот.— Она достала предназначенный ему сверточек.— Это тебе!— И, не задерживаясь, пошла дальше.

Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек! Доставал из кармана, и снова прятал, и снова рассматривал. Величиной с тетрадный лист, платочек был ярко расшит по краям узорами, цветочками, листиками, а в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буквы среди узоров: «S. g. M.», что означало «Султанмурат джана Мырзагуль»—«Султанмурат и Мырзагуль». Эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословное письмо и стихи.

Султанмурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему и что никто другой не сможет быть так счастлив, как он. И, однако, очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек...

Зато работалось хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сено. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скребком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом. И все время чувствовал платочек в нагрудном кармане перешитой солдатской гимнастерки. Будто там горел незримый огонек. И от этого ему было радостно и тревожно. Радостно оттого, что откликнулась Мырзагуль на его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого...

Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень захотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его, улавливая среди травяных запахов особый запах платочка, вроде бы хорошим мылом пахло. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы. И теперь вспомнил, это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся — Анатай!

— А-а, ты уже платочки получаешь от нее!

Султанмурат густо покраснел:

— Дай сюда!

— А ты не спеши. Сперва погляжу.

— А я тебе говорю, дай сюда!

— Да не кричи ты, отдам. Нужен очень!

— Отдай немедленно!

— А ты посильней кричи! Кричи, что у тебя дареный платочек отобрали!—

И сунул его в карман.

Что произошло дальше, Султанмурат уже не помнил. Только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом лицо Анатая, затем он со всей силой нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнувшись, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-под скирды с еще большей ненавистью и яростью на подлого Анатая. Прибежали ребята. Заметались. Втроем стали разнимать их. Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай! Отдай!»— только одно твердил Султанмурат, понимая, что исход может быть лишь один: или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжистый, сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне Султанмурата была справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся подле скирды. И тут руки сами

схватились за вилы. Он вскопил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам:

- Стой!
- Остановись!
- Опомнись!

Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив руки и ноги, озираясь, куда бы отскочить, но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой — стена конюшни. Именно в эти минуты Султанмурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было.

— Отдай,— сказал он Анатаю,— иначе будет плохо!

— Да на! На!— заторопился Анатай, пытаясь обратить все в шутку.— Тоже мне! Пошутить нельзя! Дурак!— и он кинул ему платочек.

Султанмурат положил его в нагрудный кармашек. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султанмурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплывавая кровь из разбитой губы, пошел как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя...

## 8

К вечеру они с Анатаем хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе, стыдно было, что все так глупо получилось. Но при этом Султанмурат понимал, что прошел важное испытание, что, прояви он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта.

В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, залепанные грязью. Тыналиев и старик Чекиш с рассветом уехали в Аксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Через пару дней можно двинуться на Аксай. Земли удобной много. Паши сколько сможешь. Загоны определили. Степь задыхала. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.

— Ну как, ребята?— обратился к ним Тыналиев.— Как настроение? Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спохватиться, когда уже будете далеко от аила.

Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было, и все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово.

— У нас есть командир,— промолвил Эргеш.— Он все знает, пусть сам скажет.

И тогда Султанмурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет, все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы, короче говоря — они, их плуги и кони готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет.

Потом обсудили разные другие дела — о кашеваре, о топливе, о юрте — и пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, то пора выходить в поле...

А погода стояла хорошая, хотя и облачная, но с большими окнами — солнце то выглянет, то спрячется, земля парила, пахло сырой, освобождающейся из-под снега землей...

И приближались те дни... И все шло к тому...

Как ни готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон, те, что имелись, были совсем старые, дырявые, их нечего было везти с собой на Аксай. Ночи ранней весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты... Чекиш говорил, что прежде, когда

пахали еще сохой, в первые дни, бывало, ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков... А продрогший за ночь конь, не покрытый попоной, уже не рабочее тягло.

Пришлось побегать Султанмурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза в аиле еще две добротные попоны...

И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мырзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз, у переступок через речку... Каждый раз надеялся — и не удавалось. Спешил Султанмурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную, тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и Мырзагуль думает о нем, в этом он убедился в тот раз по первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мырзагуль сама будет искать встречи с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово, она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы, мужские...

Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом, он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье.

Накануне выезда на Аксай, когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого Султанмурат и хотел дожидаться Мырзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза.

— Вы куда?

— Коней поить.

— Пойдите. Вот что, Анатай, ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад. Чтобы мигом, я вас жду здесь!

И дорбгой на речку, погоняя табунок на рысях, смотрел Султанмурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался: нет, не видно Мырзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался бы ее! Так хотелось снова повидаться на переступках...

Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чекиш собрал их четверых, отозвал в сторонку.

— Разговор есть, — буркнул он.

Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала. Председатель Тыналиев любил разговаривать стоя, сам стоял, и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот — он предпочитал разговор неторопливый, сидячий. Старик, одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал:

— Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни. По горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот сегодня у одного из нас большая беда — отец Анатай, Сатаркул, убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить. Собирайтесь. Будете встречать и провожать людей. Лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатай, как малолетние, если плакать, то плачьте громко, по-мужски, чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатай. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил...

Они шли гуськом по тропинке к дому Анатай на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон.

День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный, низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой,



изнывающей от страха и жалости душой шел Султанмурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется в аиле, как пламя пожара над крышей, еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося и выросшего под этими отцовскими горами, не дождутся с войны, никогда и никто его не увидит... «А что с отцом, до сих пор нет ни писем, ни вестей никаких? Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это, только бы не так!»

Они уже приблизились ко двору, когда в доме Анатая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ...

Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их Чекиш:

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

В эту минуту, в минуту общего горя, отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается их близкими лишь тогда, когда они его лишаются... Так было всегда и так будет...

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

С этими скорбными словами десантники проследовали за Чекишем через толпу и, войдя во двор, увидели у самых дверей Анатая. Горе умаляет человека. Самый старший из них, грозный и сильный Анатая, оказался совсем беззащитным мальцом. Раздавленный свалившимся на его плечи горем, он по-детски, в голос рыдал, приткнувшись к стене, как жеребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез. А рядом громко плакали младшие его братья и сестры.

Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатая заплакал еще больше, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его, помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла Султанмурата. А они растерянно топтались возле, не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не мог ему помочь. И никто не подозревал, что Султанмурат только что выскочил со двора с автоматом в руке и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без передыха прямо на фронт, и там, крича от ярости и гнева, плача и крича, расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, неумоляющего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные аилу страдания и беды...

Жалко, что не было у него автомата!

И тогда Султанмурат сказал Анатаю (ведь он был командиром десанта):

— Не плачь, Анатая. Что ж делать. Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь. От моего отца тоже писем нет давно. Война. Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатая, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче...

Но Анатая, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдать из себя. Эти слова не утешили его, наоборот — горько разбередили, и он стал задыхаться от нахлынувших слез, посинел от удушья. Султанмурат побежал, принес ему в ковше воды.

И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных от соседей, встречали и провожали, верховым старикам помогали спешиться...

А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнование семье погибшего, другие уходили, выполнив свой долг. А десантники оставались весь день во дворе Анатая.

Самые трудные минуты пережил Султанмурат, когда пришла учительница Инкамал-апай и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мырзагуль. Так плакала Инкамал-апай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила

она им. Вот и плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мырзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Она вызывала в нем самое глубокое сочувствие и гордость ею. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью...

...Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч,  
Я сизый голубь, летящий в синем небе,  
А ты голубка, летящая крыло в крыло...

И потом, когда зазвучала во дворе молитва и когда все, кто был, умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетие назад из неведомой Аравии, возвещавшей вечность мира в рождениях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу, — Султанмурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная, юная Мырзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице. Но она не смотрела на него.

Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд перед уходом и кивнув ему. Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч...

Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие; гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещают человека самые мрачные мысли.

Анатай сидел у стены, уронив голову. Страшно было Султанмурату смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптало несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал, уж лучше бы рвал на себе одежду и метался.

Султанмурат не знал, как выволить его из этого горестного безысходного одиночества. Но надо было помочь ему, надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голову положить за него.

— Пошли, Анатай, у меня к тебе отдельный разговор, — сказал ему Султанмурат.

Анатай встал с места, и они отошли в угол.

— Ты не думай, Анатай, — начал Султанмурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова. — Ведь я это самое... Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем.

Анатай горестно улыбнулся.

— Что ты, Султан! Не надо, — ответил он. — Это твое, и ты его никому не отдавай. А я... Ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда так не буду, Султан. Мне уже ничего не надо... Мой отец, он был... Мы так ждали... И, захлебываясь, давясь слезами, Анатай снова зарыдал.

Теперь они плакали вместе наедине со временем, в котором они жили и росли...

## 9

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день, не умолкая, понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу свежеспаханый начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь как погода поведет себя, так и дело пойдет.

В этом огромном предгорном пространстве у подножия Великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в чимкентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовьья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след.

Пока здесь ходили три плуга. Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней в аиле — бросили на подмогу, на бороньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу



в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Аксае время не ждет: чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до вечера, иначе не успеть, иначе все труды пропадут. Султанмурат беспokoился, ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали, из-за этого поругался он с бригадиром Чекишем. Серьезно поругался.

— Передайте, — говорит, — аксакал, пусть председатель Тыналиев приезжает, пусть разберется. Тремя плугами здесь делать нечего. Задачу не выполним...

А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, как пожар под ногами, хочет поспеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет — хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отошал, дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для большого за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать — сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь — останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справное, но тоже ненадолго при такой нагрузке.

Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война на фронтах, конца-краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят...

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается... Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым шагах в двухстах — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни.

Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади.

Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в аиле упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе — с плугами, с конями, с землей, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям...

Загон находился далеко от полевого стана — от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка — большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома — дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам как лошадь, а после кормит, поит, ухаживает за четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног... А на рассвете снова за дело... Самое трудное встать на рассвете...

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять — двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружной берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья... Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати...

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Черные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине...

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шел вперед.

А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:

— Ана-та-ай!

— Эркин-бе-ек!

— Султанмура-а-ат!

По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай и Эркинбек, что втроем они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашающих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты<sup>1</sup>, подружней налегайте. Ведь не каждый день будет так тяжело. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу! Потерпите, рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжело, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.

Чабдар, ты мой брат, мы мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город... Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут —

<sup>1</sup> Камбар-Ата — мифический покровитель лошадей.

это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали анатаевского отца, больше всех и большее всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают... Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе устать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет и мне неинтересно будет жить...

Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног. И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем — двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.

Странная она старуха, глаз у нее завидующий. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жира, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир — зардеп, слово-то какое, — говорит, снимали сверху, зачерпывали дополна половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного — сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей. Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила — мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор, двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте — первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускались с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь — никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил... Совсем выбились из сил...»

Лошади остановились, изнемогли... Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекавших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал.

А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными, окочевшими руками растягивал петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара и, плача, шептал: «Простите меня, простите!» — ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота...

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.



Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся вполне заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе — неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи...

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засасало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.

Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить: аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле...

Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полумерсте Эркинбек...

Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом мравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд...

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи, как умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот прибудет сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем десантом навалятся, пойдет дело, пойдет...

Погоня упряжку, Султанмурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выездженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:

— Эй, охотник, заворачивай к нам!

Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:

— Эй, охотник, спасибо за ширалгу!<sup>1</sup> Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!  
Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь.  
Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.

А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издали поглядывал в их сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит — люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх — в чистом, беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное, огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрал голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую неожиданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай, урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многогласно, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал он, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней... Прямо к ней с журавлиным пером...

<sup>1</sup> Ширалга — часть добычи.



Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные... Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их. Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.

— Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть,— сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.

— Брось, дурило! С пульей не шутят, не целясь зря,— ответил ему другой, что придерживал лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.

Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.

— Не высовывайся, тебе говорят,— приказал ему тот, что держал коней.— Набегаются — уйдут. Тебе-то что?

Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются? И чего, спрашивается? Бегут и смеются...

Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту... Значит, раздумали. А может быть, только показало, что журавли садятся?

Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах.

Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала можжара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать — завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не расстраиваются, все решено уже, завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через пару дней приедет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик можжары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.

С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом — большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения.

Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетасили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.

Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.

Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двадцать голов, тоже поставили на свои места у старой можжары без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в можжаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить

коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогреть сил не хватило.

Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны жога.

Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось.

Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умогнулся на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще сукончу<sup>1</sup> потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать. У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встретить его на станции поскочут они вместе верхом на Чабдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей... Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы... Потом он во сто раз больше отработал бы...

Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет...

Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его...

И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.

— Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодящий пот прошиб, и тело стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?

— Ну, этот готов, — прошептал один другому. — Давай тех.

Они копошились в темноте, там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили.

А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застонал и сразу утих.

Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот, он задыхался, руки сводило от веревки. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступали с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что?

Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:

— Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный. Мы вас связали, вы не будете отвечать, вы ни при чем. Запомнил? — говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. — Будете умными — все обойдется. Когда вас найдут

<sup>1</sup> Суюнчу — подарок за радостную весть.

здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трехпыхнет сейчас, прежде времени, прибыю, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.

И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетапывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, шелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.

Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получилось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.

— Ребята, это я! — подал он голос, приподнимая голову. — Это я! Это я говорю!

Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.

— Ребята, — сказал он тогда, — не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?

Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с места.

— Анатай, подожди! Будь на месте! — Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. — А теперь ложись спиной ко мне, подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки...

Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатаю потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу...

## 12

Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости уносить ноги сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать — от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлись...

Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле на застряло... Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет на расхват по килограммам, по граммам, люди там торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрей бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут — сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уж ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют — крышка! Трибунал. Только хрен им ишачий! Деньги будут — жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель...

Не зря говорят — судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка, побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь — мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать — как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху — каждому свое определил.

Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо бу-

дет — оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..

Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..

Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам посередке в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать...

### 13

Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:

— Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только ты быстрее. А ты, Эркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..

А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.

Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрее, быстрее, я понимаю — темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрее, быстрее! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед, Чабдар, вперед... Не упади, Чабдар, не упади...

### 14

— Погоня! — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.

И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохладяться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.

Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.

— Стой! Не уйдете, сто-ой! — кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.

Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.

Султанмурат быстро поравнялся с конокрадами, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.

— Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! — кричал Султанмурат.

Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец Чабдар, молодец!

Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел с боку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.

— Назад! Назад! — кричал он.

— Уйди, убую! — орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.



И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону.

А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг огромному пространству Аксае и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него...

А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку, колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать...

Истощенно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:

— Сто-ой! Не уходите! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!

Он бежал не помня себя, он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться — пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободренные в кровь. Чем быстрее и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки...

Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь, превозмогая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах...

Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло...

И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посеять им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернуться с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не подивится ему... Сохрушались мечты. Оттого и плакал он...

## 15

Принюхиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебил зиму — пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксае в Большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!

Волк бежал на маящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей... То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со стаей загонять лошадей.

Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.

Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал — переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел — человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно.

— Эй! — вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.

Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.

Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.

Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.

Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце — оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом...

Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь...

# Владимир Богомолов

(р. 1926)

## ЗОСЯ

### 1

**Б**ыл я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный...

После месяца тяжелых наступательных боев — в лесах, по пескам и болотам, — после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже в Польше, под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели — для отдыха и пополнения в тылах фронта.

Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверно, не примечательной польской деревушке Новы Двур.

Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал: что же произошло?.. Куда я попал?..

Наш тупорылый «додж» стоял в каком-то саду, под высокой ветвистой грушей, возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности командира батальона, а я — начальника штаба, или, точнее говоря, адъютанта старшего.

Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины.

Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой — молоденький радист с перебинтованной головою: последнюю неделю из-за нехватки людей мы были вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых, впрочем, некоторые и сами не желали покидать батальон.

Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступившей сквозь бинты; он спал так крепко и сладко, что я не решился — рука не поднималась — его разбудить.

Обнаружив под трофейным одеялом в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую кринку топленого молока с ломтем черного хлеба; затем достал из своего вещмешка обернутый в кусок клеенки однотомник Есенина, из Витькиного — полпечатки хозяйственного мыла и, отыскав щель в изгороди, вылез на улицу.

Мощенная булыжником дорога прорезала по длине деревню; вправо, неподалеку, она скрывалась за поворотом, влево — уходила по деревянному мосту через неширокую речку; туда я и направился.

С моста сквозь хрустальной прозрачности воду отлично, до крохотных камешков проглядывалось освещенное солнцем песчаное дно; поблескивая серебряными чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сновали во всех направлениях; огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бороздки, переползал от одного берега к другому.

Шагах в семидесяти ниже по течению, стоя по пояс в воде, спиной к мосту и наклонясь, сосредоточенно возились трое бойцов; в одном из них я узнал любимца батальона гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре уничто-

жившего четыре вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряг и под берегом: очевидно, ловили раков или рыбу.

Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Там же, на берегу, над маленьким костром висели два котелка; на разостланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов.

Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побить одному — я не стал их окликать и, спустясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега.

День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы; в тишине мерно и весело, с завидной слаженностью трещали кузнечики.

Голубые, с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом; я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел.

С удовольствием вдыхая чудесный душистый воздух, я медленно шел вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг.

Как может перемениться жизнь человека! Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114 (я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет) и короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор, немцев из танковой гренадерской дивизии СС «Фельдхернхалле», перебежавших и упрямо ползших вверх по склону.

Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалеv от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную запасным стволом от пулемета; выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, ставшимся — и довольно успешно — меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой.

Все это было позавчера, но оттого, что я сутки спал и только проснулся, оттого, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад.

Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, но неизбежным. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделся и дважды старательно выстирал грязные, пропитанные потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, ставшие буквально черными портянки и пилотку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешника, спустился в воду и, простирнув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением принялся скрести ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний раз я мылся по-настоящему недели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной.

Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них интересные и красивые я отобрал, решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмоскowie, у меня хранился в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин — собирать их я пристрастился еще в раннем детстве.

Немного погодя я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял наконец книжку.

Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя недавно, когда в начале наступления, в развалинах на окраине Могилева, нашел этот одномник; стихи поразили и очаровали меня.



На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборник, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям; многие четверостишия я знал уже наизусть и декламировал их (чаще всего про себя) к месту и не к месту. Но отдаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке мне еще не доводилось.

Я начал читать, то заглядывая в книжку, то по памяти; начал с ранних, юношеских стихотворений:

...Ах, поля мои, борозды милые,  
Хороши вы в печали своей!  
Я люблю эти хижины хилые  
С ожиданием седых матерей.

...Ой ты, Русь, моя родина кроткая,  
Лишь к тебе я любовь берегу.  
Весела твоя радость короткая  
С громкой песней весной на лугу.

Светлая речка в берегах, поросших ивняком, скошенный луг со стожками зеленого сена и молодыми березками на той стороне, золотистые ржи, уходящие к самому горизонту, и даже небо, светло-синее, с перистыми, прозрачно-невесомыми облаками — все до боли напоминало исконную срединную Россию и больше того — подмосковную деревушку, где родилась моя мать и где прошло в основном мое детство. И потому все вокруг было удивительно созвучно стихам Есенина, его восторженной любви к родному краю, к раздолью полей и лугов, к русской природе и человеку.

С волнением я читал, вернее, увлеченно декламировал, размахивая рукой и повторяя по два-три раза то, что мне более всего нравилось:

...Много дум я в тишине продумал,  
Много песен про себя сложил,  
И на этой на земле угрюмой  
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове...

Ах, до чего же хорошо, до чего же здорово!.. Я читал и читал, нараспев, захлеб, растроганный до слез и забыв обо всем.

...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?  
Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне...

Очарованный, я был как в забытьи, и не знаю даже, почему обернулся — сзади меж двух орешин стояла и с любопытством смотрела на меня невысокая необычайно хорошенькая девушка лет семнадцати.

Она не смеялась, нет; лицо ее выражало лишь любопытство или интерес, но в глазах — зеленоватых, блестящих, загадочных, — как мне показалось, прыгали смешинки.

Я крайне смутился, и в то же мгновение она исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги и крепкую ладную фигурку под полинялым платьем, из которого она выросла; успел заметить корзинку в ее руке.

Она появилась словно бы мимоходом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение. Понятно, я не верил в чудеса, и мне подумалось даже, что она спряталась в орешнике. Я проворно натянул шаровары — смешно же, наверно, я выглядел со своей декламацией, в самодельных, из портяночного материала плавок — и обошел весь кустарник, не обнаружив, однако, ни девушки, ни каких-либо видимых ее следов.

В раздумье вернулся я на берег, раскрыл томик и начал было снова читать, но не мог — мне вроде чего-то не хватало. Ну что за чертовщина; собственно

говоря,— чего?.. И вдруг со всей ясностью я осознал, что мне страшно хочется еще увидеть эту девушку, хоть на минутку, хотя бы одним глазком.

Я даже спрятался, присев под кустом, и прислушивался, надеясь, что, быть может, она появится. В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда?.. Да что я ее съем или обижу?..

По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание; в траве по-прежнему весело и неумолчно стрекотали кузнечики; но ни звука шагов, ни шороха я, как ни сиделся, уловить не смог.

Единственно, что я вскоре различил,— негромкий, нарастающий шум мотора. Спустя какую-то минуту, оборотясь, я увидел медленно ехавший через мост «виллис»; в офицере на переднем сиденье я сразу узнал командира нашей бригады подполковника Антонова. Живо сообразив, какая получится неприятность, если подполковник застанет и часового и комбата спящими, я с лихорадочной быстротой оделся, натянул сапоги и, на ходу поправляя и одергивая еще влажные местами гимнастерку и шаровары, во весь дух помчался к деревне.

Грешным делом я почему-то надеялся, что командир бригады проследует, направляясь в другой батальон, или же, не заметив наш «додж», проедет в конец деревни, и я успею добежать. Но увы... Выскочив на улицу, я увидел машину комбрига возле дома, где мы остановились.

Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник — высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в новенькой полевой фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной глянцевиной лайкой кисть протеза недвижно торчала из левого рукава. Было ему лет тридцать пять, но мне в мои девятнадцать он казался пожилым, если даже не старым.

Он приказал водителю отъехать, отвечая на мое приветствие, молча поднял руку к фуражке и, окинув меня быстрым сумрачным взглядом, поинтересовался: — Вас что, корова жевала?.. Погладить негде?..— Он взял у меня книгу, с ловкостью двумя цепкими пальцами раскрыл, посмотрел и отдал обратно.

В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, потирая глаза и оглядываясь по сторонам, торопливо вышел Витька, заспанный, без пилотки и без ремня, грязный и небритый.

— Чудесно!— сказал подполковник.— Комбат спит как убитый, начальник штаба почитывает стишата, а люди предоставлены сами себе! Охранение не выставлено, единственный часовой и тот спит! Кино!— возмущенно закричал он.— Безответственность!!! Немыслимая!!!

Витька недоуменно и растерянно посмотрел на меня. И только тут я вспомнил, что позапрошлой ночью, когда километрах в четырех от передовой мы грузились на машины, он приказал мне по прибытии на место выставить сторожевое охранение и набросать план действий в случае нападения противника. Однако люди валились с ног от усталости, а никакого наступления со стороны немцев не ожидалось (они ожесточенно сопротивлялись и даже контратаковали, но только накоротке — обороняясь). К тому же по дороге я убедился, что между передовой и Новы Двур, куда мы следовали, расположены части второго эшелона, что само по себе предохраняло от внезапного нападения. Успокоенный этим, я не смог более держаться, и сон мгновенно сморил меня.

Несомненно, я один был во всем виноват, но сказать об этом сейчас не решался: комбриг не любил, когда перед ним пытались оправдываться и не терпел пререканий; считалось, что если он чем-либо недоволен, то лучше всего молчать. Виноват был я, а отвечать теперь в основном приходилось Витьке, причем я знал, что, как бы ему ни доставалось, в любом случае он и слова не скажет обо мне.

Мы стояли перед комбригом: я, вытянув руки по швам, покраснев и виновато глядя ему в лицо, а Витька — наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед.

— В чем дело?! Объяснитесь!— после короткой паузы потребовал подполковник.— Может, война окончилась?..— с самым серьезным видом язвительно осведомился он.— Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командование!..

И снова, помолчав, недовольно, с сердцем заявил:

— Воевать вы еще можете, но из боя вас выведешь, и — ни к черту не годитесь! Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы у вас на речке, посреди деревни, голышом, как на пляже, устроились! — с негодованием сообщил он. — И еще водку, наверное, пьют!

— Люди измучены, — хрипловатым голосом упрямо проговорил Витька, хотя делать это ему бы не следовало. — Они заслужили отдых...

— Это не отдых, а разложение! — раздражаясь, вскричал комбриг. — Вы неопытны и не понимаете азбучных истин! Бездействие, как и безделье, разлагает армию! Пока прибудет пополнение и техника, мы простоим, возможно, не менее полутора-двух месяцев. Вы, что же, так и будете погоду пинать?! Да вы мне весь батальон разложите!.. С завтрашнего дня, — приказал он, — каждое утро два часа строевой подготовки со всем личным составом! И три часа занятий по уставам и по тактике — ежедневно!..

В глубине двора послышался резкий неприятный скрип: створка ворот стоящей на задах большой риги приоткрылась, и оттуда, из темноты, появился лейтенант Карев — новоиспеченный командир роты, третий из уцелевших офицеров батальона. Ну надо же было ему в эту минуту вылезти! Долгоногий, худощавый юноша, он в одних шароварах стал на траве, жмурясь от яркого солнца и не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками, улыбаясь и выгнув грудь.

— Потягушеньки! — сдерживая негодование, с язвительной насмешливостью произнес подполковник. — Это просто кино! — яростно воскликнул он. — А план действий на случай нападения противника у вас есть?! О боевом обеспечении вы позаботились?..

Витька, засопев, одарил меня исподлобья мгновенным бешеным взглядом; злой желвак перекатывался на его похуделой щеке.

— Я вас спрашиваю обоих, — повторил подполковник, — о боевом обеспечении вы позаботились?!

— Я, т-товарищ подполковник, п-понимаете... — начал я, но тут же умолк.

— Плана нет, — со свойственной ему прямоотой без обиняков сказал Витька угрюмо. — И боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю.

— Я недоволен вами! — властно и зло объявил Витьке подполковник (эти три слова выражали у него крайнее неодобрение) и немного погодя обратился ко мне: — Вот вы развлекаетесь, а донесения, требуемые по выходе из боя, отправлены?.. Похоронные заполнены? Списки потерь составлены?

Чувствуя себя кругом виноватым, я, потупясь, молчал.

— Даю вам час времени, — сообщил нам подполковник. — Выставить охранение, навести порядок и доложить!

И после короткой паузы продолжал:

— Создайте людям все условия. Обед сегодня по усиленной раскладке. Получить и выдать всему личному составу по сто граммов водки. Но никаких пьянок и никаких женщин!..

Он вскинул руку к фуражке и вместо ожидаемого обычного «Выполняйте!», уже поворотясь и отходя, приказал:

— Отдыхайте!

Мы с Витькой, не двигаясь, наблюдали, как он быстрым и твердым шагом подошел к машине, сел, и тотчас «виллис», набирая скорость, покатился и скрылся за поворотом.

Витька перевел взгляд, посмотрел на меня, на томик Есенина в моей руке и, буквально дрожа от ярости, бешено выдохнул:

— Сюсюк!!!

И возмущенно, с непередаваемым презрением выкрикнул то, что уже не раз говорил мне, когда я читал стихи и упустил что-либо по службе:

— Пи-и-ижонство!.. А также гнилой сентиментализм!..

Минут десять спустя я сидел за столиком в саду и торопливо составлял требуемые документы. К сожалению, я почти не знал батальонного делопроизводства и к тому же с детства испытываю неприязнь ко всякому письму. Но оба писаря были убиты, и по необходимости мне предстояло несколько дней самой упорной писанины.

Прибыли вызванные по тревоге командиры подразделений — старшина-артиллерист и четверо сержантов, — подошел и лейтенант Карев. Не отрываясь от бумаг, я сообщил, что необходимо немедленно выставить охранение, представить отчетность по трем формам, а также выделить наряд на полевую кухню и послать машину на бригадный обменный пункт. Как я и ожидал, они начали спорить меж собой и препираться: в одной роте осталось четырнадцать человек, а в другой лишь пять, из них двое раненых; люди отсыпаются, моются, стирают и сушат обмундирование и так далее и тому подобное. Начался шумный разговор, но Витька прикрикнул, и все мгновенно умолкло.

Он брился, стоя у машины, поглядывая в зеркальце и напевая про себя, вернее, мыча мотив какого-то воинственного марша, что было у него признаком дурного настроения. Я чувствовал себя перед ним виноватым и, составляя документы, спешил и старался вовсю.

Мне он не сказал больше ни слова, но его ординарцу Семенову — ушлому, редкой смелости, однако бесцеремонному бойцу — крепенько попало. Поставленный часовым возле штабной машины, Семенов вздумал грызть яблоки. В другой день Витька не обратил бы на это внимания, но тут он с чувством высказал Семенову все, что о нем думал, и пригрозил, что заставит «месяц на кухне картошку чистить».

Отдав необходимые приказания, я отпустил командиров подразделений и снова занялся донесениями, когда послышался звонкий приятный голосок, певший польски, и я не без волнения увидел ту самую девушку, что уже видел мельком в орешнике на берегу.

Она шла тропинкой через сад, раскачивая в руке плетеную корзинку, ловко и грациозно ступая маленькими загорелыми ногами — как бы чуть пританцовывая, — и, словно не замечая нас, напевала что-то веселое.

Витька — он кончал завтракать, — опустив руку с куском хлеба, смотрел на девушку как зачарованный.

— Кто это? — прожевывая, с некоторой растерянностью спросил он Семенова, как только она скрылась за углом хаты. — Семенов, кто это?

— Как кто? — обиженно сказал Семенов. — Хозяйкина дочь...

— Ясен вопрос, — медленно проговорил Витька, и, поняв по его лицу и по голосу, какое впечатление произвела на него маленькая полька, я не на шутку огорчился.

Дело в том, что он был старше меня, несравненно молодцеватей и представительнее; он уже знал женщин и, более того, считал себя — да и мне казался — бывалым и лихим сердцеедом.

— Города берут смелостью, — серьезно и значительно говаривал он, — а женщины — нахальством.

При этом у него делалось такое лицо, словно он сподобился постичь что-то настолько таинственное и необъяснимое, чего ни мне, ни другим понять никогда не суждено.

Не знаю, где он это услышал, у кого позаимствовал, но он так говорил, и я тогда в это верил.

Теперь-то, спустя многие годы, мне совершенно ясно, что Витька не был бабником, да и нахальничать, наверно, не умел — это не соответствовало его характеру; просто легкий успех у двух-трех одиноких женщин, встреченных им на дорогах войны, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Но тогда я всего этого не понимал и, убежденный в его неотразимости и нисколько не сомневаясь, что в любом случае ему будет отдано предпочтение,



помнится, болезненно огорчился, заметив впечатление, произведенное на него девушкой, которая мне так понравилась.

С хмурым лицом подписав уже готовое донесение, он по моей просьбе расписался еще на нескольких листах чистой бумаги, чтобы я и без него мог отправить наиболее срочные документы, и ушел в подразделение.

Вернулся он через несколько часов, уже после полудня. Все это время я, не разгибаясь, сидел над бумагами, по неопытности путаюсь и переписывая документы, затем наконец отправил два донесения с мотоциклистом в штаб бригады и, получив в ответ приказание незамедлительно представить отчетность еще по пяти формам, а также донести «о всех мероприятиях по маскировке, сохранению военной тайны, ПВО, ПХЗ<sup>1</sup> и ПТО<sup>2</sup>», пришел в совершенное отчаяние. Та нескончаемая писанина, какая одолевает штабы, когда часть выводят из боя, и с которой в батальоне еле справляются три-четыре человека, навалилась на меня одного со всей своей силой и неумолимостью. С непривычки отнималась рука, болела и плохо соображала голова, я чувствовал, что не справлюсь, но поделаться ничего было нельзя — любому бойцу или сержанту, кого я захотел бы привлечь себе в помощники, потребовался бы допуск к секретной работе; Витька же и Карев были заняты с людьми в батальоне.

В душе, несомненно, завидуя им и мечтая поразиться: побродить с одноотомником во ржах за деревней или поплавать, позагорать на речке, — я сидел как привязанный и писал, мучаясь и многое переделывая. Между тем Зося — так звали маленькую польку, — помогая матери, возилась по хозяйству. Ее ясный голосок слышался то у хаты, то на огороде, то совсем близко за моей спиной или где-нибудь сбоку.

Каждый раз, когда она, напевая и ловко уклоняясь от веток, проходила или пробегала через сад у меня перед глазами, я непроизвольно смотрел ей вслед и, проводив взглядом ее легкую фигурку, давал себе слово больше не отвлекаться и не обращать на нее внимания; однако спустя некоторое время она появлялась опять, и все повторялось.

Ее мать, пани Юлия, седоволосая, лет сорока пяти женщина, с молодежью, добрым лицом и припухлыми усталыми глазами, стирала в тени у хаты; затем они обе ушли на огород, откуда доносились их негромкие голоса: живой и веселый — Зоси и медленный глуховатый — матери.

В полдень пани Юлия принесла мне чуть ли не полную крынку парного тепловатого молока и, что-то сказав, поставила на стол. Я поблагодарил зауценным «бардзо дзенку» и, когда она ушла, с удовольствием выпил часть, оставив большую половину Витьке.

Он вернулся веселый и, как всегда, полный энергии и жажды деятельности. Приветливый — словно утром ничего не произошло и комбриг не ругал его по моей вине, — он подошел ко мне и выложил на стол два спелых желтоватых яблока — видно, кто-то угостил его, а он принес мне. Пока я их ел, он, присев рядом на корточки, с увлечением рассказал, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне, и посмеялся, что кое-кто даже не пришел обедать — так хорошо здесь с продуктами и столь надоело бойцам котловое вариво.

Тут же он предложил приготовить свое любимое блюдо — пельмени по-сибирски, — живо поднялся и послал Семенову на мотоцикле раздобыть муки и мяса, а сам, смахнув пыль с сапог, пошел в хату знакомиться с хозяевами.

Минут через пять я увидел его на дворе возле поленницы, — скинув ремень и гимнастерку, он колот дрова.

С малолетства привычный ко всякой крестьянской работе, ловкий, широкогрудый, обладая медвежьей, без преувеличения, силой, он легко и скоро разделался с небольшим штабелем — как семечки пощелкал — и помог пани Юлии уложить наколотые ровными четвертинками полнца. Потом в ожидании Семенова какое-то

<sup>1</sup> Противохимическая защита.

<sup>2</sup> Противотанковая оборона.

время сидел на виду во дворе и, тихонько пощипывая струны, сосредоточенный и важный, любовно настраивал свою гитару.

Это была его гордость и очень дорогая игрушка — захваченная в немецком генеральском блиндаже, инкрустированная перламутром роскошная концертная гитара, изготовленная собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком, чье имя и фамилия вместе с тремя призовыми медалями были выведены золотом на нижней деке, в провале голосника.

Витька болезненно дорожил этим редкостным по красоте и звучанию инструментом и даже приятелям неохотно давал в руки, что не раз служило поводом для товарищеской подначки. Во время боев гитара хранилась на складе хозчасти батальона в специальном футляре, под замком, обернутая еще поверх для пущей предосторожности трофейными одеялами.

Я слышал, как подъехал Семенов и как Витька одобрил привезенное им мясо. Когда примерно через час я отправился к хате, чтобы подписать документы, стряпня была в полном разгаре.

Пани Юлия готовила салат из огурцов и редиски со сметаной, а Витька и под его руководством Семенов и Зося дружно и споро делали пельмени. На широкой кафельной плите уже что-то тушилось или жарилось.

Зося раскатывала нарезанное маленькими кружочками тесто в крохотные тонкие блинчики, а Семенов во второй или третий раз — для большей нежности — пропускал фарш через мясорубку.

Витька же, с головой, покрытой вместо поварского колпака чистым носовым платком, успевая приглядывать за помощниками, поправлять, поторапливать и подбадривать их, выполнял самые трудные и ответственные операции: кончиком финки проворно клал небольшие кусочки фарша на раскатанные блинчики, затем, подготовив таким образом несколько рядов, быстрыми сноровистыми пальцами мгновенно защипывал края.

Я не стал заходить в хату; Витька, прямо на подоконнике подписав принесенные мною документы, поинтересовался:

— Еще много?

— Хватит,— промолвил я, уголком глаза незаметно наблюдая за старательными движениями Зосиных рук.

— Ты давай закругляйся!— распорядился он и, посмотрев на часы, с шуточной официальнойностью объявил:— В шестнадцать тридцать — обед по усиленной раскладке. Форма одежды — парадная; явка офицерского состава — обязательна!— Он весело приложил руку к носовому платку на голове.— Выполняйте!..

### 3

Я пришел последним, когда в большой, сравнительно прохладной комнате, за столом, по-праздничному уставленным едой и питьем, уже сидели и хозяева и гости. Кроме Карева, Семенова и меня, приглашены были, надо полагать хозяйской, еще трое — худой, с тонким орлиным носом, вислыми, как у запорожца, усами и светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан — двоюродный брат пани Юлии, и две женщины: рыжевато-седая, не улыбочивая соседка, за весь обед не сказавшая и пяти, наверное, слов и посматривавшая на нас недоверчиво, с очевидной настороженностью, и Ванда, молодая, красивая, с подбритыми бровями, сильным телом и высокой торчащей грудью.

Витька чинно помещался во главе стола. Возле него сидели с одного боку пани Юлия, а с другого — Стефан. Когда я вошел, старик рассказывал, как нелегко и трудно жилось при немцах. Хотя наведывались они в Новы Двур не часто, но внезапно и довольно опустошительно: рыская по хатам, ригам и погребам, забирали вещи и некоторые продукты; год тому назад, оцепив неожиданно деревушку, угнали всех мужчин от семнадцати до пятидесяти пяти лет, а отступая, увели лошадей — нещадно, до единой.

Последствия этого недавнего мародерства тревожили Стефана, пожалуй, более всего.

— Что делать, а?..— озабоченно спрашивал он у Витьки.— Ни землю вспахать, ни дров привезти, что же теперь — капут?..

Он свободно с незначительным акцентом говорил по-русски, нередко и к месту употребляя простонародные речения, старые присловицы и прибаутки. Как далее я узнал, многие годы он служил солдатом в царской армии, воевал еще с японцами, в Маньчжурии, а спустя десять лет — и с немцами, где-то в Галиции. Слушая, он тут же с ходу переводил; разговор за столом велся в основном с его помощью.

Я сел на свободное место между Стефаном и молчаливой полькой; напротив меня оказались Карев и Зося.

Она была в нарядной цветастой блузке с короткими рукавами; у шеи, в небольшом вырезе виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят натальные крестики. Впрочем, и блузку и цепочку я разглядел позднее: первое время — до того, как немного охмелеть, — я и глаз на Зосю не решался поднять.

Стол по военному времени был обильный и весьма аппетитный: тарелки с салатами и огурцами; вазочки, полные сметаны; два блюда с розоватыми, веером разложенными ломтиками сала; большущая, только что снятая с плиты сковорода молодого тушеного картофеля; горки щедро нарезанного, нашего армейского, а также хозяйкиного, невешенного, домашней выпечки, светлого и пышного хлеба. Еще предстояли пельмени, придерживаемые Витькой как гвоздь обеда.

И питья тоже хватало: графины с бимбером — ароматным и очень крепким польским самогоном, пол-литра водки, полученной Семеновым на нас четверых, и высокие бутылки с коричневатой пенистой брагой.

На комодке за спиной Карева торжественно покоилась великолепная Витькина гитара; чуть выше на стене висело несколько фотографий, причем я обратил внимание на две большие, одинакового размера карточки чем-то весьма похожих мужчин — юноши и пожилого — в польской военной форме.

Витька налил бимбер в стаканы себе и Стефану и, передав графин Кареву, плеснул мне в рюмку немного водки, заметив при этом вскользь, что я не совсем здоров.

Это было неверно. Просто я не любил, да и не умел пить, и он наверняка побаивался, что я опьянею.

— За освобождение Польши! — поднимаясь со стаканом в руке, провозгласил он затем.

Мы выпили и принялись закусывать.

Я проголодался, но, чувствуя себя несколько стесненно, ел маленькими кусочками, медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой совсем отвык.

Стефан продолжал рассказывать, как им жилось при немцах, как их обирали. Витька, с аппетитом уминая тушеный картофель, слушал его, не перебивая, но, думается, и без особого сочувствия: мы прошли Смоленщину и Белоруссию — порушенные города и спаленные дотла деревни, где в целой округе не то что коровы, но и кошки живой не сыщешь; мы видели такое страшное опустошение и обнищание, после которых Польша да и Западная Белоруссия, как бы они ни пострадали, могли нас только удивлять и радовать своим сравнительным достатком.

Витька не терпел, чтобы его называли «пан», как это принято в Польше, и здесь он уже успел провести разъяснительную работу: Стефан, обращаясь к нему или к кому-нибудь из нас, говорил «товарищ офицер» или же просто «товарищ».

Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количество водки, но, выпив затем в два приема еще около стакана браги и почувствовав себя чуть свободнее, смелее, я начал вскоре украдкой поглядывать на Зосю.

Нет, я не обманул, мне ничуть не пригрезилось... Все было пленительно в этой маленькой девушке: и прекрасное живое лицо, и статная женственная фигурка, и мелодический звук голоса, и темно-зеленые сияющие глаза, и то радушие и вопрошающее любопытство, с каким она смотрела на нас.

Держалась она непринужденно и просто, как и подобает хозяйке. Помогая



матери, угощала гостей, бегала в кухню за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера — поморщилась, но глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он говорит и какое впечатление производит на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые и непослушные каштановые волосы.

Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с невольным трепетом я ловил в ее глазах поощряющую приветливость, ласковость и еще что-то, волнующее, необъяснимое, причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так...

Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами: подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. Понаблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде, но она поспешно и весело воскликнула: «Дзенкуе! Не!..»<sup>1</sup> — подкрепив отказ энергичным жестом; на меня посмотрели, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дав себе слово больше не вылезать.

Витка обычно легко сходилась с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану приятельски, на «ты», дымил вместе с ним забористым само-садом, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно, по-своейски — Степа.

Используя свое крайне скудное, как и у всех нас, знание польского языка — десятка три-четыре слов, — Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному произношению, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками.

Витка через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе; без удовольствия наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить.

Я полагал даже, что имею некоторое преимущество. У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады в одном-единственном экземпляре «Краткий русско-польский разговорник», который, очевидно, должен был облегчить общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжицу.

Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше тридцати коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах: «Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры?.. Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность?.. Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим?..» Или: «Можно ли перейти реку вброд?.. Где?.. Могут ли переправиться танки?.. Сколько сброшено парашютистов?.. Где приземлились пилеры?..»

Ну к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда?..

Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний — «Разговор на общие темы». К великой досаде в нем оказалось всего лишь пятнадцать фраз, из них самыми невоенными и человеческими были: «Здравствуйте!.. Благодарю вас!.. Как вас зовут? (Но я с утра знал, что ее зовут Зося...) Пожалуйста, закурите... (Еще не хватало, чтобы я предложил ей закурить!) Каж

<sup>1</sup> Спасибо! Не хочу!.. (польск.)



истинный поляк вы должны нам помочь в борьбе против нашего общего врага — немца... Где находится ближайшая аптека (больница, баня)?..»

Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее.

Стефан — слушал ли он или говорил — своими умными с хитринкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, «радецкие», за люди, насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверно, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать?

Слегка, приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть длительноее, как вдруг она мгновенно осадил меня: посмотрела в упор, строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности.

Ошеломленный, я и представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал?.. Неужто позволил лишнее?..

А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной?.. Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие.

Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зося взглянула на меня с прежней веселостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся.

Вскоре я заметил, или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно: ласково и выжидательно — словно хочет со мною заговорить либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решает. И всем существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною не изведенного. Я уже почти не сомневался: между нами что-то происходило!

Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно посматривала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой: по Витькиному убеждению наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться; к тому же он не признавал в жизни ничего легкого, достигающегося без труда и усилий.

Я снова поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зоси и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену — у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно.

Надо было действовать! Не теряя времени, немедля!

«Смелостью берут города... — подбодрил я себя. — Не будь рохлей!.. Ну!» И с внезапной решимостью я подвинул вперед ногу. В тот же миг Карев поморщился от боли — у него осколком была задета коленная чашечка — взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня.

Я сидел, сгорая от конфуза, но Зося, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подала. Немного погодя она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне:

— Товарищ молится богу?

— Нет, почему? — удивился я.

— Зоська говорит, что товарищ на речке молился.

Так вот что ее интересовало! Только-то и всего?!

— Это не молитва... — Я покраснел и опечалился. — Совсем...

— Это стихи, — услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, с укоризной посмотрел на меня. — Вот видишь...

Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию, — он ее просто не понимал.

— Чушь! — например, от души возмущался он. — Да где он видел розового коня?! Я же сам из крестьян! Навыдумывают черт-те что!

Стефан, должно быть, не знал или позабыл, что означает слово «стихи», и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами.

— Ну, Пушкин... — еще более смутясь, проговорил я.

— А-а-а... — Он улыбнулся и сказал что-то Зосе.

Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь — это опиум и средство угнетения трудящихся и что с религией и с богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные несознательные старики, отживающие элементы, а молодежь-де такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоси — он показал на нее взглядом — постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом...

Кажется, он не сказал ничего обидного, но, как только Стефан перевел, произошло неожиданное: Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской, ее нежное, матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка.

Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплчется, но она, с гневом и презрением посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытасила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь.

В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого презрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклоня голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетели и как бы желая во всеуслышание заявить: «Вы видите, что она вытворяет?!»

Пани Юлия быстро, умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо, но твердо сказал ей несколько слов, очевидно предлагая спрятать крестик, однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась маленькая грудь.

В напряженной тишине угрожающе сопел Витька, и, зная его, я, конечно, понимал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать он будет просто не в состоянии.

— Кстати, у нас, в Советском Союзе, — вдруг послышался голос Карева, — свобода вероисповедания! И чувства верующих уважаются государством!

Он сказал это, ни к кому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька исподлобья посмотрел на него, сосредоточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах.

Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с пани Юлией и Стефаном и даже улыбался, однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить — она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или, во всяком случае, не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться, однако крестик так и не убрала — он по-прежнему висел поверх блузки.

Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелки и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом, и неудивительно, что, отдавав, и пани Юлия, и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два больших блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и, наверно, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю — в тот час мне было не до пельменей.

Все это время я то и дело поглядывал на Зосю, впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них я смотрел, не стесняясь, пре-

имуущественно по необходимости, для маскировки, а на Зосю — украдкой, как бы мимоходом и невзначай, млея от нежности и затаенного восторга.

Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись.

Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз, причем впервые, когда мне было всего пять или шесть лет и моей «пассии» примерно столько же. Последний же предмет моих сокровенных вздыханий, санитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах.

Тогда, в юности, я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось:

Дорогая, сядем рядом,  
Поглядим в глаза друг другу...

Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел!..

Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном — хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непонятный для меня или Карева — о землях и пахоте, об урожаях, надоях и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не заинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях: будут ли в Польше колхозы и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь?

Витька — он был родом из-за Омска, — как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился.

— Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! — сбывшись, рассерженно воскликнул он. — С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что — место каторги и ссылки?! Ты ее видел?.. Из окошка? Проездом?.. Да я свою Михайловку на всю вашу округу не променяю! — потемнев от негодования, запальчиво вскричал он. — На всю вашу Европу!.. С чужого голоса поешь! От немцев нахватался?! Позор!.. Я за такие байки любому глотку порвать могу — учти!..

Стефан — он был заметно под хмельком, — ошарашенный столь внезапным оборотом до того спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал «пшепрашам паньства» и, как мог, извинялся. Остальные притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев.

— Давайте выпьем за Михайловку, — весело предложил он, доливая в стакан Стефану, — и за Новы Двур!

Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги.

Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах и Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал.

До того дня мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы слабоваты против нас — пьют крохотными рюмками, — на меня повлияло и присутствие Зоси, и стремление обрести наконец смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым — да что, в самом деле, я хворый, что ли?!

Впрочем, отступить было уже невозможно; я с небрежным видом — мол, подумаешь, эка невидаль! — поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию: «Сто лят, панове!..» Запомнилось, что пани Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подперев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка.

Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок,— настоящий горлодер! Я ожегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и, с ужасом чувствуя, что вот сейчас оконфужусь, я, еле превозмогая себя, умудрился выпить все без остатка и, лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный и вроде насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел, наверно, не только лицом, но даже спиной и ягодицами.

Мне сразу сделалось жарко и неприятно; я сидел стесненный, ощущая ядерный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая мало-сольный огурец и кусок хлеба, которые совал мне сбоку Стефан, напевавший при этом:

Мы млодзи, мы млодзи,  
Нам бимбер не зашкодзи.  
Венц пиймы го шклянками,  
Кто з нами, кто з нами!..<sup>1</sup>

Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое,— и дернула меня нелегкая выпить эту свирепую гадость! Я пьянел стремительно и неотвратно; все вокруг затягивало прозрачной пеленой — и стол, и лица людей я видел уже как сквозь воду.

Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, но одна мысль ни на мгновение не оставляла меня; я должен — во что бы то ни стало! — заговорить с Зосей.

Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, повернувшись, крепко взял Стефана за руку — чтобы привлечь его внимание — и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал:

— Прошу вас — переведите!

Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех: «Минутку!» — и, для внушительности строго уставясь Стефану в лицо и стискивая ему руку, громко, должно быть, чересчур громко продекламировал:

Дорогая, сядем рядом!  
Поглядим в глаза друг другу!  
Я хочу под кротким взглядом  
Слушать чувственную вьюгу!

Стефан и рта не успел раскрыть — недоумело улыбаясь, он смотрел на меня, — как слева оглушительно захохотал Семенов, и еще кто-то засмеялся.

— Сюсюк! — тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки. — Даже пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом!.. Проводить тебя?!

— Не-е-ет! — замотав головой, громко и решительно заявил я.

Мне теперь и море было по колено. Я смотрел на Зосю, но уже не видел отчетливо: ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, а мне было жарко и худо, спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить.

Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то натываясь, двинулся к дверям.

Карев догнал меня в сенях и, полубокаясь, вывел на крыльцо, но мне это не понравилось, и я вывернулся, оттолкнув его.

— Я провожу вас...

— Не-ет! — сердито закричал я. — Сам!

И он послушно ушел.

Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный

<sup>1</sup> Мы молодые, мы молодые,  
Нам бимбер не повредит.  
Так пьем же его стаканами,  
Кто с нами, кто с нами!.. (польск.)



на все и на всех, затем решил: «А ну их к черту!»— шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом.

Потом я оказался на задах, у риги, и Семенов — это был он,— держа меня под руку, презрительно говорил:

— Эх, назола! Всю рожу ободрал...

Он пригнул мою голову книзу, сунул мне в рот свои пальцы и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал:

— Газировочку надо пить. И не больше стакана — штаны обмочите...

\* \* \*

Я очнулся поздним вечером в душной риге на охапке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд.

Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тихонько повизгивая, возились, играя, какие-то собаки — три или четыре,— не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, а руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели — я весь был искусан блохами.

Откуда-то издали доносилось запоздалое пение одинокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех.

Играл Витька, откровенно сказать, неважно. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу, правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной — семиструнной. Да и пел он средние, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось.

Сейчас он не пел, а брэнчал что-то похожее на вальс — там, возле хаты, танцевали. И Зося тоже, наверное, танцевала; собственно говоря, а почему бы и нет?.. Там, несомненно, было весело; и ей, очевидно,— тоже. Ну и пусть, и пусть...

Не жалею, не зову, не плачу,—

убеждал я самого себя.—

Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевно: злые неумные блохи жияли меня, жгли как огнем.

Немного погодя в ригу, чуть прихрамывая и нетвердо ступая, пришел Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня, необычным полупьяным голосом заговорил:

— Вы не спите?.. Пойдемте на воздух — здесь полно блох. Вас не кусают?

Я был нещадно искусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня.

— Нет!— ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я.— Никуда я не пойду.

Карев, обычно молчаливый, подвыпив, становился словоохотливым и сейчас, взяв с сена свою шинель и встряхнув ее, продолжал:

— А какой все-таки молодчага наш командир батальона! Простоват, но орел орлом!.. Великая это вещь — обаяние силы! Вы заметили: они все смотрят на него восторженно и влюбленно!

— Так уж все?

— Клянусь честью — и старые и молодые! А со Степой он дважды целовался... Молодчага и хват,— воскликнул Карев восхищенно,— ничего не скажешь! Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко!.. А я вот еде держусь... И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и решительные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность,— раздум-

чиво и огорченно вздохнул он,— будь она трижды неладна!.. Тут, понимаете... с женщинами необходима боевая наступательная тактика,— он взмахнул сжатой в кулак рукой,— напористость, граничащая с нахальством!..

Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец — потомственный рабочий, а мать — ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить. И я лишь заметил, медленно и с трудом прозвоня слова:

— А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравиться. Тем более женщинам. Меня это ничуть не волнует...

#### 4

Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою опьянелость и мальчишески-дурацкое поведение. Встал хмурый, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу и на скуле багровые ссадины,— совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда — не завтракая, я тотчас принялся за работу.

Когда поднялся Витька, я уже закончил донесения о мероприятиях по маскировке, ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады.

Мы позавтракали у машины втроем: Витька, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением.

После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными.

Мне предстояло заполнить двести три совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый: адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения.

Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа, несравненно более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений,— как же, однако, я ошибался!

Многих из убитых я знал лично, некоторые были моими товарищами, двое — друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания; я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей.

И вновь на моих глазах тонули в быстром холодном Немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два сплутя — уже на плацдарме — раздавленного тяжелым немецким танком.

Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец разбитой параличом матери.

Я снова видел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и сляясь преодолеть возрастную одышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанный пулеметной очередью.

И, прокусив от страшной, нечеловеческой боли насквозь губу, еще раз корчился сожженный струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко.

И, лежа на дне окопа с животом, распоротым осколком мины, тихонько стонал и в забытии слабеющим, еле слышным голосом звал: «Ма-ма... Ма-ма... Ма-моч-

ка...» — командир батареи Савинов, старый — по возрасту годный мне чуть ли не в дедушки — учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек.

И снова... Опять... И вновь...

Все они, да и десятки других убитых были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди. Заполняя извещения, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, припоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной, я слышал их голоса и смех — как это было совсем недавно — и еще раз переживал их гибель.

Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все они имели родных: матерей и отцов, жен и детей, — имели родственников и, несомненно, друзей. Где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишения.

Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий разом оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением: «...в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм... был убит». Страшно было даже представить, — но что я мог поделать?..

Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не понравилось указанное в присланном образце официально-казенное обращение: «Гр-ке...». Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга Серже Защипина, Евдокии Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерше. Я ее знал: дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобными на меду домашними лепешками, и все звала меня после войны к себе в гости, на Волгу. И я почувствовал, что назвать ее «гр-ка» или даже «гражданка» я не могу и не должен. Уважаемая?.. Товарищ?.. Милая?.. Дорогая?.. Я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил почему-то Есенина и после некоторого колебания вывел: «Дорогая Евдокия Васильевна!»

Посоветоваться мне было не с кем, а время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать «дорогая» или же «дорогой», а затем указывал полностью имя и отчество.

В строке «Похоронен» я везде писал «на поле боя», и эти три слова все время беспокоили меня.

Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за двести километров разыскивать могилу Алеши, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две, так ничего и не найдя, она вернулась, измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет.

Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал «дорогие», захотят, если не сейчас, то после войны, разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, а потому не знали точно места захоронения, и указать его при всем желании я не мог.

Единственно, что после долгих размышлений я еще надумал — вписать в каждое из двухсот трех извещений перед «Ваш сын (муж, отец, брат...)» следующие слова: «С глубоким прискорбием сообщаем, что...»

Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самодельностью печатью, что ж, я перепису все заново — в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков.

Часов в десять утра приехали поверяющие из бригады: начальник строевого отдела, молодой, молчаливый и неулыбчиво-строгий капитан и инструктор политотдела, подвижной и шумный старший лейтенант, тоже в годах; увидев меня, он еще с улицы, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин (Иван-город).

Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин — где-то южнее Белостока и тоже недалеко; я никогда не был ни там, ни там, и эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чисто писарской, наверное, точки зрения — многими пачками похоронных.

Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделения.

Похоронные заняли у меня не менее шести часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя по мере того, как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витьке и Кареву: не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами, и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносились слова бодрой строевой песни:

Шко-ола мла-адших командиров  
Ком-состав стра-не лихой кует.  
Сме-ело в бой идти готовы  
За-а трудящийся народ!  
В сме-ертный бой идти готовы  
За трудящийся народ!

Как и вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками и медом. Как и вчера, Зося с утра возилась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем пани Юлия не однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зосю, как без меры, до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью тридцать девятого года сына и мужа.

Пробегая поутру через сад, Зося на ходу приветливо бросила мне: «День добрый!» — и я смущенно пробормотал ей вслед: «День добрый...» Я сидел, переставив стол так, чтобы густая огузлая ветвь яблони свисала у самого моего лба, прикрывая оцарапанное лицо.

Потом Зося еще много раз, напевая что-то игриво-веселое, проходила или пробегала мимо меня, то с маленьким ведерком — носила воду в бочки на огород, — то с цапкой или еще с чем-то.

Поглощенный похоронными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера; я вообще почти не поднимал глаз и если видел ее мельком, то лишь случайно, непреднамеренно. Отвлекаться и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кошунственным неуважением к памяти погибших. Уверен, что, если бы она знала, чем я занят и что содержат эти сероватые бумажки, она бы не пела так радостно и не бегала бы через сад мимо меня.

Часа в два пополудни, заполнив последнюю похоронную, я послал часового с приказанием в пятую роту, предложив ему заодно пообедать самому и принести мне обед с батальонной кухни. Когда он ушел, я занялся было донесением, но затем, передумав, достал из планшетки однотомник, решив позволить себе короткую передышку.

Я огляделся: в саду и на дворе никого не было — начал читать и сразу же увлекся. Выйдя из-за стола, я с удовольствием декламировал то, что мне более всего нравилось, преимущественно по памяти, почти не обращаясь к тексту.

Я отчасти забылся, однако стоял лицом к хате и смотрел перед собой, чтобы вовремя заметить возвращение бойца.

Я читал с выражением и любовью, наслаждаясь каждой строкой и в душе радуясь, что часового еще нет и мне никто не мешает.

...Пусть порой мне шепчет синий вечер,  
Что была ты песня и мечта.  
Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —  
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных...



Я стремительно обернулся на шорох — сбоку от меня, шагах буквально в десяти, под яблоней, держась рукою за ствол, стояла Зося.

Не знаю, что могла она ощущать, не понимая языка, но лицо у нее было сосредоточенное, взволнованное, словно она что-то переживала, а открытые широко глаза напряженно смотрели на меня. Возможно, ее захватила проникновенная мелодичность, прекрасное, подобное музыке, звучание есенинских стихов или она силилась догадаться, о чем в них говорилось, — не знаю.

Умолкнув на полуслове, я залился краской и, тотчас вспомнив о ссадинах, поспешно отвернулся, однако явственно расслышал, как у меня за спиной она тихо сказала: «Еще!» И по-польски и по-русски это слово означает одно и то же.

Я совсем растерялся, по счастью, в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Из-за ветви, краем глаза я видел, как Зося, сняв с сучка небольшой, сверкнувший на солнце серп, медленно, гордо и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Когда она скрылась в конце сада, я начал есть, положив перед собой раскрытый однотомник; впрочем, минут через пятнадцать я уже составлял очередное донесение.

Вскоре вернулись Витька и Карев. Настроение у них было приподнятое — поверяющие остались довольны батальоном. Как признался Витьке политотделец, они ожидали худшего, поскольку командир бригады приказал им бывать у нас чуть ли не через день, контролировать и помогать.

По моей просьбе Витька, присев с краю стола, за какие-нибудь полчаса подпisał все похоронные. При этом он не вздыхал, не раздумывал и вообще не проронил ни слова, однако по-своему переживал: наклоня голову и насупись, тяжело, натужно сопел, то и дело, очевидно, встречая фамилии хорошо знакомых ему людей, морщился, как от кислого или от боли, сдавленно кряхтел и с ожесточением скреб пятерню затылок.

Закончив, так же молча поднялся, умылся возле машины и, уже вытираясь, позвал меня на обед, приготовленный пани Юлией. Мне не хотелось туда идти, и, поблагодарив, я показал под яблоню на порожние котелки — не настаивая, он и Карев ушли в хату.

## 5

После обеда Витька, прослышав, что в лесу неподалеку имеется заготовленный еще при немцах швырок, решил привезти по машине пани Юлии и Стефану. Это было в его обычае.

— Мы не просто воины, а освободители, — не однажды с достоинством говорил он бойцам. — Кого мы освобождаем?.. Обездоленных!.. Мы обязаны, чем возможно, помогать им. Мы должны не брать, а давать...

Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли, в свободные минуты охотно помогал жителям: заготавливал для них топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами.

Еще он очень любил и также полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек — то-то бывало крику, визга и радости! — покатать их вдоволь с ветерком, как, стоя во дворе у машины, Витька расспрашивал Стефана о дороге и как тот убеждал его не ездить. По словам Стефана, леса вокруг буквально кишели немцами, пробирающимися из окружения к линии фронта; дня три назад на хуторе невдалеке они вырезали польскую семью, а позавчера в том самом лесу, куда собирался ехать Витька, обстреляли из чащобы наш санитарный автобус, убив водителя и фельдшера, а машину с ранеными сожгли.

И пани Юлия тоже упрашивала Витьку, и подоспевшая к ним Зося по-свойски грезила ему кулачком и что-то быстро, с возмущением говорила матери и Стефану, как я понял, требуя, чтобы они запретили Витьке ездить.

Однако все эти уговоры могли только подзадорить Витьку. Снисходительно, благодушно усмехаясь, он велел Семенову принести два автомата, запасные диски и штук шесть гранат, проверив мелком оружие, уселся за руль — Семенов поместился рядом — и поехал со двора. В самый последний момент Стефан, не на шутку рассерженный его упрямством, от души ругаясь по-польски и по-русски, помяная холе-ру, «дзябола», а также Витькиных родителей, уже на ходу вскочил сзади в кузов.

Я сидел под яблоней и писал, но мысленно находился в лесу с Витькой. Мне очень хотелось поехать с ним и чтобы на нас в самом деле обязательно напали — вот тогда бы я себя и проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню, причем я тяжело и опасно ранен, а в кузове, навалом — убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зося и пани Юлия, а Стефан и Витька наперебой рассказывают им, что если бы не я, то никто бы вообще не уцелел.

Смешно и нелепо, что я мог об этом мечтать, да и зачем было бы привозить из леса трупы врагов, но, помнится, я этого действительно сильно желал. Чтобы Зося — и не только она — на деле убедилась, что я не просто писаришка, не какой-нибудь юнец с окорябанным носом, способный лишь корпеть над бумажками и читать стихи, а мужчина и воин. Понятно, она видела награды у меня на гимнастерке, однако ордена получали и в штабах, перепали они подчас тем же писарям, и потому мне очень хотелось наглядно проявить себя.

Я так размечтался, что испортил донесение о наличии инженерного имущества в батальоне, и пришлось все переделывать.

Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные и веселые, на машине, груженной выше бортов отменным березовым швырком. Пани Юлия тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему. Как объяснял Витьке Стефан, она не желала дров, из-за которых кто-то мог погибнуть, и заявила, что они с матерью проживут и обойдутся и без этого швырка. Она столь темпераментно протестовала и выражала свое возмущение, что пани Юлия быстро сдалась, отказалась от дров и попросила Витьку увезти их на двор к Стефану.

Против обыкновения, Витька даже не попытался настаивать, машина тут же развернулась и уехала, пани Юлия и Зося ушли куда-то по своим делам, и я остался с злополучными бумажками. Несмотря на все мои старания и усилия, их вроде и не убывало, а мне так хотелось закончить наконец и со спокойной душой написать письмо матери.

Я трудился, не разгибаясь, меж тем Витька привез вторую машину дров, и, пользуясь отсутствием Зоси и пани Юлии, он с Семеновым и Стефаном проворно сбросили швырок и за минуту-другую сложили в поленницу возле риги.

Я помнил, что требуется сменить часового в саду, и, как только Семенов освободился, поставил его на пост. Стефана тем временем позвали — к нему приехали родичи, — и он ушел, еще раз поблагодарив Витьку и пригласив его зайти и распить со свояком бутылку бимбера. Витька обещал — малость погода.

Прежде чем отогнать машину, он сидел на подножке и курил, в задумчивости оглядывая ровную поленницу, когда на дворе появилась какая-то нищенски одетая, жалкая и грязная старуха и обратилась к нему плачущим голосом.

Она запричитала, часто повторяя «ниц нема»<sup>1</sup> и показывая то на поленницу, то через улицу, на хилую хатенку, где, очевидно, она жила.

— Завтра, мамаша, завтра, — сразу поняв ее, заверил Витька. — Обязательно!

Я не сомневался, что он и ей завтра привезет дров, но она этого не понимала и продолжала плакать, стучая себя костлявой рукой по груди и упрямо повторяя «ниц нема».

<sup>1</sup> Ничего нет (польск.).

— Вот чертова бабка, колись она пополам! — поднимаясь, в сердцах воскликнул Витька, не переносивший слез; он остроил свирепое лицо и, словно ища сочувствия, посмотрел в мою сторону. — Как банный лист!

Сделав последнюю затяжку, он загасил каблуком окуроч и живо взялся за дверцу кабины.

Я почувствовал, что он решил съездить сейчас же, причем один, а солнце уже садилось, и в лесу наверняка смеркалось, отчего опасность нападения намного возростала. Поспешно собрав бумаги, я запер их в металлический ящик и, схватив из «доджа» свой автомат, бросился на двор.

— Ты куда?.. — высовываясь из кабины, удивленно спросил Витька. — За дровами?.. Ты давай с бумажками кончай! — распорядился он. — Я быстренько!

И, отжав сцепление, ходко поехал со двора, а я постоял, глядя ему вслед, подумал еще, что мне бы надо было проявить настойчивость и не отпускать его одного, и затем вернулся в сад.

Писать я уже физически не мог. Рука онемела и совсем отнималась; как я ни напрягал глаза, в смуром полусвете под яблоней буквы и строки различались с трудом; голова разламывалась и не соображала. К тому же Семенов, видимо недовольный тем, что я на весь вечер поставил его часовым, и уверенный, должно быть, в моем мягкосердечии и своей безнаказанности, набрал в подол гимнастерки яблоч и, развываясь на сиденье «доджа», демонстративно, с невероятным хрустом жрал их и, швыряя огрызки, нагло и вызывающе поглядывал на меня.

Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе овладели мною. Произошло это не по моему желанию, а произвольно, и я, как мог, пытался перебороть себя.

Действительно, какое мне дело до этой Зоси?..

И собственно говоря, что она такое и что в ней особенного?.. Самая обыкновенная девчонка, каких в моей жизни — если, понятно, я уцелею — встретится еще немало. Причем, без сомнения, будут среди них и лучше и красивее.

Да и что может быть общего между мною — комсомольцем, убежденным атеистом — и какой-то католичкой? Что?! Ведь она, если вдуматься и назвать вещи своими именами, — религиозная фанатичка. И к тому же еще, должно быть, ярая националистка...

Царевич я. Довольно, стыдно мне  
Пред гордою полячкой унижаться...

Теоретически все было правильно и логично, но, увы, только теоретически. И напрасно я то заставлял себя думать о другом, то, наоборот, старался выискать в ней что-нибудь дурное, уговаривая себя и домысливая черт знает что.

Я шагал и шагал полями, не задумываясь, куда и зачем, и лишь очутясь на опушке большого, угрюмого в наступающих сумерках леса, остановился, оглядываясь и соображая.

Догадка осенила меня, когда я случайно рассмотрел на песчаной дороге свежие рубчатые следы шин «студебеккера».

Очевидно, это был тот самый лес, куда ездил Витька за дровами, и все объяснялось несложно: я слышал, когда после обеда Стефан отвечал Витьке, как проехать к полянке с заготовленным швырком, запомнил его рассказ и теперь, в глубине души беспокоясь за Витьку, сам о том не думая, шел по этой дороге.

В лесу крепко пахло хвоей, было темно, душно и мрачно. Я углубился, наверное, не более, чем на пятьсот метров, когда увидел перед собой что-то очень черное, большое и не вдруг сообразил, что это — сожженный немцами наш санитарный автобус.

Подойдя, я не стал заглядывать внутрь — за полтора года я перевидал достаточно трупов, — а присел на корточки и, не без труда различив на обочине след «студебеккера», двинулся дальше.

Не помню точно, испытывал ли я страх в том зловещем враждебном лесу, но не волноваться, безусловно, не мог. Если бы с Витькой что-либо случилось, я бы никогда не сумел простить себе, что отпустил его одного.

Я шел в глубь густого массива, пока не услышал где-то впереди шум мотора, и,



определив, что машина движется мне навстречу, скользнул в сторону и спрятался за деревьями.

Минуты две спустя мимо меня, тускло присвечивая затемненными фарами, проехал «студебеккер», груженный швырком; Витька, настороженно всматриваясь в полумрак, сидел за рулем.

У меня и в мыслях не мелькнуло его окликнуть. Просто мне хотелось и я считал своим долгом в случае чего быть рядом с ним. Однако я не сомневался, что, если бы он меня теперь увидел, если бы он узнал или, может, сам догадался, что меня привело в лес беспокойство, тревога за его жизнь, он наверняка бы посмеялся и, думаясь, сказал бы без злости, но и не скрывая своего презрения, что-нибудь вроде: «Телячьи нежности!» или «Пижонство, а также гнилой сентиментализм!»

И еще, должно быть, крепенько отругал меня: ведь я был совершенно безоружен; выходя, я не предполагал, что окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял. Он проехал к деревне, а я немного погоды выбрался на дорогу и побрел следом, мимо сожженной машины, к опушке.

Помнится, я даже не ощутил особой радости, когда лес наконец кончился и чересполосица ржей снова окружила меня. Что хорошего обещал мне этот вечер и что ждало меня в деревне?..

Будто сочувствуя, сиротливо шелестела колосьями рожь, и, не переставая, с утомительной монотонностью стрекотали кузнечики.

Я добрал до околицы, когда совсем уже стемнело и первые звезды набрали яркость, а луна, утратив начальную желтизну, сделалась серебристой.

В ее призрачном сиянии распятый Христос страдал на высоком деревянном кресте; признаться, мне тоже было нелегко: тоскливо и одиноко.

Еще подходя, я услышал гитару — играл Витька. Он, конечно, уже успел сгрузить дрова, поставил машину, переоделся, поужинал и теперь отдыхал. Будучи человеком действия, он скоро и решительно сделал нужное дело, а я в это же время со своим томлением и переживаниями телепался, как цветок в проруби, никчемно и бесполезно.

Там, возле хаты пани Юлии, видимо, как и вчера, собрались, чтобы потанцевать и повеселиться. Ну и ладно... А меня там не будет — я туда и не покажусь. И пусть Зося — да и не только она — думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня есть дела поинтересней и поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания.

А Витька, аккомпанируя себе на гитаре, с чувством пел:

Разбирая поблекшие карточки,  
Орошу запоздалой слезой  
Гимназисточку в беленьком фартучке,  
Гимназисточку с русой косой...

Вспоминаю, и кажется нелепым и неправдоподобным, что Витька, столь мужественный, сильный и цельный парень, не терпевший никаких сантиментов и нежностей, мог под настроение распевать подобную чувствительную дребедень. Нелепо и неправдоподобно, но, как говорится, из песни слова не выкинешь — было...

Вы теперь, вероятно, уж дамою,  
И какой-нибудь мальчик босой  
Называет вас, боже мой, дамою,  
Гимназисточку с русой косой.

Ну и пусть... В невеселом раздумье я стоял у креста; идти в деревню, с кем-либо общаться и разговаривать мне не хотелось, и я не знал, что же теперь предпринять. Куда себя деть и чем заняться до сна?..

От ближних хат тянуло жильем и аппетитным запахом свежеспеченного хлеба; я даже ощутил некоторый голод и не без грусти подумал, что, может, никто и не вспомнил, ужинал я или нет.

Постояв еще немного, я задворьем тихонько прошел к хате Стефана, где около крыльца размещалась батальная кухня.

Из завешенного — для светомаскировки — дерюжкой окна доносилась русская и реже польская речь, но на дворе возле двухколесных автомобильных прице-



пов с полевыми котлами никого не было. Не желая звать повара — я узнал его по голосу, слышному из хаты,— я сам приподнял крышки и в одном из котлов обнаружил темный тепловатый чай, а в другом — остатки вкусно пахнувшей мясом и дымом каши.

Я посмотрел вокруг, однако ни черпака, ни ложки, ни котелка нигде не нашел. Тогда я подобрал малую саперную лопатку, обмыл ее водой из бочки, осторожно, чтобы не запачкаться, перегнулся в котел и зачерпнул ею изрядную порцию густого крупяного варева. Это оказалась еще не совсем остывшая и удивительно вкусная гречневая каша, обильно сдобренная трофейным шпиком, свиной тушенкой и жареным луком. Присев на чурбачок у прицепа, я, орудуя щепкой, с аппетитом и большим удовольствием принялся есть, только теперь почувствовав, насколько проголодался.

В хате выпивали и были уже порядком под хмелем. Кроме повара, пожилого степенного ефрейтора Зюзина, называемого всеми в батальоне Фомичом, я узнал по голосу Стефана, а также Сидякина, молоденького ершистого автоматчика из пятой роты. Был там еще кто-то, очевидно, свояк Стефана, говоривший мало и только польски.

Стефан все расспрашивал о колхозах, причем Фомич с пьяноватым спокойствием, растягивая слова, говорил:

— Ничего-о... Жить мо-ожно...

Сидякин же, наоборот, ссылаясь на свою деревню, ругался и с жаром советовал Стефану, если начнется коллективизация, податься в город на заработки, поскольку, мол, толку все равно не будет.

— Не бойсь...— успокаивая старика и невозмутимо противореча Сидякину, тянул нараспев Фомич.— Не пропаде-ешь...

Я немного отвлёкся, слушая их разговор, и, должно быть, охотно посидел бы еще, но получалось, что я подслушивал, и потому, доев всю кашу, поддетую на лопатку, я попил воды и, так никем и не замеченный, вернулся на задворье.

Тем временем Витькино пение под гитару сменилось гармонью. Играл любитель батальона, гранатометчик Зеленко, играл с редким талантом и мастерством. Что бы он ни исполнял: украинскую народную песню или старинный вальс, чеканил ли озорную плясовую или строевой браваурный марш — приходилось лишь удивляться, как из старой обшарпанной трехрядки с пробитыми и залатанными мехами ему удается извлекать такие чистые, мелодичные и берущие за душу звуки.

Вкусная сытная каша подкрепила меня не только физически, но и морально, я почувствовал себя бодрее и как-то увереннее. Зеленко играл, и меня неодолимо влекло туда — потихоньку я медленно подвигался задами к хате пани Юлии, где танцевали под гармонию.

Спустя некоторое время я стоял в крапивнике за ригой, с волнением прислушиваясь к смеху и голосам, а трехрядка звала меня, все звала, подбадривая и будоража, и постепенно я склонился к мысли, что мне следует пойти туда и пригласить Зося танцевать.

В самом деле, почему бы мне это не сделать?.. Да что я рыжий, что ли?..

Я попытался увидеть себя со стороны и оценить строго, но объективно.

Я был не хлипкого телосложения, достаточно ловок и танцевал, во всяком случае, не хуже Витьки или Карева. Понятно, ссадины на лице не украшали меня, однако в конце концов это не так уж существенно и надо быть выше этого.

Возможно, я совсем не умел пить и у меня недоставало командных качеств, не хватало властности в обращении с подчиненными, но я отнюдь не был тряпкой или пижоном. Я воевал уже полтора года, имел ранения и награды, причем стрелял лучше других и, если верить донесениям и фронтовой газете, имел на личном боевом счету больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне.

«Смелостью берут города...— убеждал и настраивал я себя, расхаживая за ригой.— К черту интеллигентность!.. Под лежачий камень и вода не течет... Главное — боевая наступательная тактика! Напористость, граничащая с нахальством...»

И еще я мысленно повторял любимое Витькино изречение: «Жизнь, как и быка, надо брать за рога, а не хватать за хвост!»

Вскоре я так основательно настропалил себя, что, отбросив все сомнения, уже ясно представлял себе, как подхожу к Зосе и, с кем бы она ни стояла, приглашаю ее танцевать. Приглашаю не интеллигентским наклоном головы, а как и подобает настоящему мужчине — повелительно, с силой и грубовато взяв ее за руку. Я уже надумал, что если кто-нибудь окажется рядом с нею — у меня на дороге, — то я как бы невзначай, мимоходом отодвину его плечом, точно так же, как это сделал на моих глазах Витька с одним лейтенантом-артиллеристом на танцах в деревушке за Могиловом.

Возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, я метался в крапивнике, чувствуя, что теперь уже никто и ничто меня не остановит — я пойду напролом, как танк!

Стремительным ударом всего корпуса я отшвыривал вероятного соперника и с такой яростью хватал воображаемую руку Зоси, что у меня даже мелькнуло опасение — как бы не переборщить!.. Ведь она юная и нежная девушка, и, если ее так схватить, она может, не выдержав, заплакать от боли или, оскорбясь, разгневаться, как вчера за обедом, когда Витька, не тронув ее и пальцем, всего-навсего указал взглядом на цепочку от крестика.

В конце концов я так себя распалил и так разошелся, что уже положительно не мог находиться в бездействии.

Было бы несолидно появиться с задворок, к тому же не мешало сначала смахнуть пыль с сапог, и я прошел к машине в сад.

Часовой — все тот же Семенов — полулежал в кузове на сене и лениво тянул «Темную ночь». Когда я приблизился, он, скосив глаза, посмотрел на меня, однако даже не приподнялся.

— Встать! — негромко, но твердо приказал я, и поскольку он и не шевельнулся, с силой рванул его за плечо и властным железным голосом закричал: — Встать!!!

Недоумело глядя на меня, он поднялся в кузове (если бы он помешкал еще хоть две-три секунды, я, безусловно, выкинул бы его из машины) и хотел что-то сказать, но я, не дав ему и рта открыть, свирепо оборвал:

— Молчать!!! Вы что, на посту или у тещи на блинах?! Совсем обнаглел! Увижу еще хоть раз — заставлю месяц на кухне картошку чистить!.. — Я вскинул руку к пилотке. — Выполнять!..

Я еще никогда с ним так не разговаривал, понятно, он не ожидал и несколько опешил. Он послушно вылез из кузова, повесил себе на грудь автомат и, потирая плечо и невнятно, недовольно бормоча, отошел к яблоням.

Собственно, я ничуть не собирался его воспитывать, просто мне надо было достать бархотку из Витькиного вещмешка, на котором, как мне показалось, он лежал.

Не обращая более на него внимания, я снял пыль с сапог, щедро намазал их гуталином военного времени — черной вонючей мазью — и, как это делал Витька, старательно до блеска насандалил бархоткой.

Затем подтянул ремень еще на две дырочки, одернул тщательно гимнастерку, поправил погоны и пилотку и через щель в изгороди вылез на улицу.

Прежде чем, как я намеревался, с некоторой развязностью непринужденно и решительно войти во двор, прежде чем начать действовать, я, чтобы бегло ознакомиться с обстановкой, стал незаметно у калитки за деревом.

На залитой лунным полусветом небольшой площадке перед крыльцом кружились парами под гармонь человек двадцать, в основном бойцы и сержанты батальона; часть из них танцевала «за дам». Женщин было всего три или четыре, и я сразу увидел Зосю.

Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Он придерживал ее сзади за талию и, вальсируя, что-то ей говорил; не знаю, понимала ли она хоть слово, но она улыбалась или даже смеялась. Я напряженно всматривался, и спустя мгновение меня поразило, ударило в самое сердце неподдельное радостное, откровенно счастливое выражение ее бледного в серебряном свете лица.

Несомненно, ей было весело и даже радостно — ей и без меня было хорошо!..

Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаюсь как-то овладеть собою, успокоиться и собраться с мыслями.

Мне было тяжело, непередаваемо тяжело и больно.

Не жалею, не зову, не плачу...

Нет, неправда!.. Не то!.. Совсем не то...

В Хороссане есть такие двери,  
Где обсыпан розами порог.  
Там живет задумчивая пери.  
В Хороссане есть такие двери,  
Но открыть те двери я не смог.

«Не смог!..» Я лежал на спине, и перед моими глазами в темном глубоком небе ярко мерцали бесчисленные звезды, дрожали, лучисто помигивая, словно насмешничали и дразнились. Только звезды да еще луна, должно быть, знают, сколько в мире влюбленных и сколько среди них неудачников... Луна, конечно, солидной, тактичной и добродушнее; но звезды...

А может, они вовсе и не насмешничали?.. Может, наоборот, подбадривали меня, мол: «Не робей!.. Смелостью берут города... Иди!.. Дерзай!..»?.. Может быть — не знаю... Однако лицо Зоси сказало мне больше, чем любые надежды, подбадривания и самовнушение; оно было нагляднее и несравненно убедительнее всех остальных доводов.

Мне еще долго не спалось. Семенов с автоматом наизготове, как и положено часовому, мерно расхаживал взад и вперед по саду. В глубине души у меня даже вооружилось сожаление, что я так резко с ним обошелся. Возможно, следовало бы теперь сказать ему что-нибудь хорошее, одобрительное, но заговорить я не мог. К тому же мне было стыдно перед ним, как перед очевидцем моих энергичных приготовлений и моего незамедлительного возвращения.

Я лежал, чувствуя себя глубоко несчастным и обездоленным, а по ту сторону хаты танцевали под задорные звуки гармони, то и дело слышался смех, веселье восклицания, и, как мне казалось, я даже различал среди других звонкий и радостный голос Зоси.

Ей и без меня было хорошо!.. До боли, до муки ужасало сознание, что она даже не думает, не вспоминает обо мне, что через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется со своей жизнью, созданная, несомненно, для кого-то другого; я же — буду ли убит или уцелею — в любом случае навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других посторонних, безразличных ей людей...

Я думал о несправедливости, о жестокости судьбы, и чем дальше, тем более обида и жалость к самому себе охватывали меня...

\* \* \*

Я проснулся после полуночи от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов, причем Витька, к моему удивлению, был пьян.

— Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу,— неуверенно говорил Семенов, поддерживая его под руку.— И подушку...

— Отставить!.. Телячьи нежности, а также... Ты, Семенов, совсем разболтался... Азбучных истин не понимаете!— рассерженно бормотал Витька, с помощью ординарца забираясь в кузов.— Безделье разлагает армию... И никаких пьянок, и никаких женщин!..

6

А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали Новы Двур.

Вечером перед самым ужином был получен совершенно неожиданный приказ: к утру быть восточнее Бреста, в районе станции Кобрин, где уже, оказывается, выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.

Почти одновременно с приказом к нам на штабном бронетранспортере заехал комбриг.

83



— Дней пять на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия и — в бой! — приподнятым молодецкатым голосом объявил он. — Нас ждут на Висле! — обнимая за плечи меня и Витьку рукой и протезом, сообщил он с гордостью и так значительно, будто без нашего небольшого соединения ни форсировать Вислу, ни вообще продолжать войну было невозможно. — Хорошенького, ребята, понемножку. Отдохнули — надо и честь знать...

Все было правильно. Наступление продолжалось, фронту требовались подкрепления, где-то там, наверху, очевидно, в Ставке, перерешили, и потому полтора-два месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас всего лишь тремя днями. Все было правильно, но получилось как-то очень уж неожиданно, я даже письма матери не успел написать. Да и какой по существу это был отдых — я трудился, почти не разгибаясь, с рассвета и дотемна.

Мы собрались за какие-нибудь полчаса.

Витька, развернув на коленях карту, сидел в головном «додже» рядом с водителем, угрюмый и молчаливый. Весь день он ходил сумрачный и мычал самые воинственные мелодии, а более всего: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Поутру он несколько часов занимался с бойцами строевой подготовкой, был до придирчивости требователен и грозен.

От Карева в обед я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался «по-настоящему» обнять Зосю, она взвилась как ужаленная и в одно мгновение разбила о его голову гитару — прекрасную концертную гитару собственноручной работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка.

— Так врезала, — не без восхищения сказал мне Карев, — вдребезгу!

Со стыда или от огорчения, обескураженный и, наверно, уязвленный Витька в полночь напился.

Понятно, для меня это было неожиданностью, впрочем, услышав, что она его ударила, я и не особенно удивился. В этой девчонке был норов и какая-то диковатая горделивость и независимость — я почувствовал это в первый же день.

Крестьяне нас провожали. К нашей машине подошли пани Юлия, Стефан и еще кто-то. И другие машины окружили провожающие и просто любопытные. Но Зоси нигде не было видно.

Пани Юлия принесла большой букет цветов и кринку сметаны. Витька, взяв букет и что-то пробормотав, тут же сунул его за спину в кузов и снова углубился в карту; принимая цветы, он даже не улыбнулся. Стефан притащил две тяжелые корзины и с ядреной солдатской прибауткой вывалил на сено в кузове яблоки и отборные зеленые огурчики. Он было заговорил, обращаясь к Витьке, но, не получив ответа, сразу умолк и, вынув аккуратно сложенную газету, оторвал ровный прямоугольник и занялся самокруткой.

Последние запоздалые бойцы торопливо подбегали и влезали на машины. Распоряжаясь погрузкой, я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей с оружием вдоль бортов и, беспокоясь, как бы чего не упустить, отдавал и повторял все необходимые приказания по боевому обеспечению марша.

Нам предстояло до рассвета, за какие-нибудь семь часов, с затемненными фарами и ориентируясь в основном по звездам, проделать почти двести километров, большей частью плохими рокадными проселками, в лесах, где, как предупреждал штаб бригады, полно было немцев, разрозненными группами прорывающихся на Запад, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу и нападению из темноты. Однако для маскировки передислокации бригаде предписывалось двигаться обязательно ночью, побатальонно — тремя автоколоннами — и по разным дорогам.

Витька с угрюмо-сосредоточенным видом рассматривал карту, а пани Юлия, стоя рядом и часто вздыхая, глядела на него растроганная, добрыми благодарными глазами, глядела с такой любовью, сожалением и печалью, словно навсегда расставалась с близким и очень дорогим ей человеком.

Целиком полагаясь на меня, Витька ни во что не вмешивался и во время погрузки не проронил ни слова. Меж тем наступала минута, назначенная приказом для



выезда, и следовало подать команду, а я медлил: мне страшно хотелось еще раз, хоть на мгновение, увидеть Зося. Но она часа полтора назад куда-то убежала со своей корзинкой и, надо полагать, до сих пор не вернулась.

Чтобы помешкать и немного задержаться, я с озабоченным видом начал проверять пулемет, установленный на треноге в «додже», и занимался им несколько минут, однако Зося не появлялась. Тогда, презирая и проклиная себя в душе за слабость и неспособность преодолеть свои чувства, я опять обошел маленькую — восемь машин — колонну, снова инструктируя командиров и водителей; затем, возвратясь к «доджу», глянул незаметно на часы: тянуть далее было невозможно.

Стоя на обочине, я в последний раз с горечью и грустью посмотрел на хату пани Юлии и, решившись, громко скомандовал:

— Приготовиться к движению!

Затем, легко прыгнув в невысокий кузов, выпрямился, слушая передаваемую в хвост колонны команду, и в ту же секунду увидел Зося.

Что-то крича, она со всех ног мчалась от хаты к нашей машине. Я мельком подумал, что ей, наверно, неловко перед Витькой за вчерашнее и, чтобы загладить свою излишнюю резкость, она решила попрощаться с ним и пожелать ему перед отъездом «сто лят» жизни, как того желали нам пани Юлия, Стефан и другие провожающие.

Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне через борт какой-то старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.

— Три дня неможно смотреть! — хитровато улыбаясь, перевел Стефан.

Я покраснел и, плохо соображая, в растерянности машинально поблагодарил и присел на скамейку у борта. А Витька, кажется, даже не обернулся.

Мотор заработал сильнее, но машина не успела тронуться, как неожиданно Зося с напряженным испуганным лицом — в глазах у нее стояли слезы! — вдруг обхватила меня руками за голову и с силой поцеловала в губы...

Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу... До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, разумеется, кроме матери и бабушки.

Первой моей мыслью, первым стремлением было — вернуться! Хоть на минуточку!.. Но где там... Как?..

Мы быстро ехали в наступающих сумерках, не включая до времени узких щелочек-фар, а полумрак все плотнел, сгущался, очертания дороги, отдельных кустов и деревьев расплывались и пропадали. Высокий щабобный лес темной безмолвной громадой тянулся по обеим сторонам, кое-где вплотную подбегая к дороге.

Настороженно глядя вперед и по бокам, я сидел на ящике у пулемета, машинально держа ладони на шероховатых ручках затыльника, готовый каждое мгновение привычным, почти одновременным движением двух больших пальцев, левым — поднять предохранитель, а правым — нажать спуск и обрушиться кинжальным смертоносным огнем на любого возможного противника.

Я запретил на марше курить, шуметь и громко разговаривать, к тому же внезапная перемена действовала несколько ошеломляюще, и на машинах сзади не слышалось ни голоса, ни лишнего звука.

В вечерней лесной тишине ровно, нешумно гудели моторы, шуршали шины, и только в нашем «додже» молодойкий радист с перебинтованной головой — он так и не пожелал уйти в медсанбат, — пытаясь установить связь со штабом бригады, как и четверо суток тому назад, упорно повторял: «Смоленск!» «Смоленск!» Я — «Пенза!» Я — «Пенза!» Почему не отвечаете?! Прием...»

Мы двигались навстречу неизвестности, навстречу новым, для многих последних боям, в которых мне опять предстояло командовать, по крайней мере, сотней взрослых бывалых людей, предстояло уничтожить врага и на каждом шагу «являть пример мужества и личного героизма», а я — тряпка, слюнтяй, сюсюк! — даже не сумел, не решился... я оказался неспособным хотя бы намекнуть девушке о своих чувствах... Боже, как я себя ругал!

Витька, прямой и суровый, недвижно сидел рядом с водителем и смотрел перед собой в полутьму, где метрах в двухстах впереди ходко шел приданный нам комбри-

гом в качестве головной походной заставы или же прикрытия его личный бронетранспортер. Витька смотрел в полутьму и, не переставая, мычал: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Немного погодя, очевидно вспомнив, рывком обернулся и, задев локтем штырь антенны, схватил букет, поднесенный ему пани Юлией.

— Как на похороны! — в сердцах закричал он, сильным движением забрасывая цветы за ювет. — Телячьи нежности, а также... гнилой сентиментализм!..

И снова в настороженной тишине ровно шумели моторы, и радист упрямой скороговоркой вызывал штаб бригады.

— Что там в конверте? — шепотом приставал ко мне Карев. — Давайте посмотрим...

— То есть как это посмотрим? — заметил я строго и не без возмущения. — Ведь сказано: три дня!..

Однако я не удержался. В тот же вечер, на первом же привале, отойдя потихоньку в сторону, я накрылся в темноте плащ-палаткой и при свете фонарика распечатал заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалась завернутая в бумагу фотография Зоси — наверно, еще довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами вразлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица.

А на обороте крупными корявыми буквами, размашисто, видимо, второпях было написано:

«Ja cie kocham, a ty śpisz!...»<sup>1</sup>

## 7

Города действительно берут смелостью. Витька — Герой Советского Союза Виктор Степанович Байков — первым из нашей армии ворвался на улицы Берлина и навсегда остался там под каменным надгробием в Трептов-парке... А вот чем покоряют женщин, я и сейчас — став вдвое старше — затрудняюсь сказать; думается, это сложнее, индивидуальнее.

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышлелый — это было так давно!.. — но и по сей день я не могу без волнения вспомнить польскую деревушку Новы Двур, Зосю и первый, самый первый поцелуй.

Вижу ее как сейчас: невысокая, ладная и необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленькими загорелыми ногами — как бы пританцовывая, — она идет через сад, напевая что-то веселое... оскорбленная, пунцово-красная, разъяренная сидит за столом, высоко вскинув голову и вызывающе выпятив грудь с католическим серебряным крестиком на цветастой блузке... Представляю ее себе необыкновенно живо, до мелочей, до веснушек и точечной родинки на мочке крохотного уха... Представляю ее себе то по-детски смешливой и радостной, то строгой и до надменности гордой, то исполненной удивительной нежности, кокетства и пробуждающейся женственности... Вижу ее и в минуту расставания — напряженное, испуганное лицо, дрожащие, как у ребенка, брови и слезы в уголках глаз...

Сколько раз за эти годы я вспоминал ее, и всегда она заслоняла других... Теперь она, наверно, уже не та, должно быть, совсем не такая, какой осталась в моей памяти, но представить ее себе иной, повзрослевшей, я не могу, да и не желаю. И по сей день меня не покидает ощущение, что я и в самом деле что-то тогда проспал, что в моей жизни и впрямь — по какой-то случайности — не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...

1963

<sup>1</sup> Я тебя люблю, а ты спишь!.. (польск.)

## Василь Быков

(р. 1924)

### ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

— **В**се. Спорить не будем, стройте людей! — сказал Ивановский Дюбину, обрывая разговор и выходя из-за угла сарая.

Длинноногий, худой и нескладный, в белом обвисшем маскхалате, старшина Дюбин смолк на полуслове; в снежных сумерках быстро наступающей ночи было видно, как недовольно передернулось его темное от стужи и ветра, изрезанное ранними морщинами лицо. После коротенькой паузы, засвидетельствовавшей его молчаливое несогласие с лейтенантом, старшина резко шагнул вперед по едва обозначенной в снегу тропинке, направляясь к тщательно притворенной двери овина. Теперь уже притворять ее не было надобности, широким движением Дюбин отбросил дверь в сторону, и та, пошатываясь, косо зависла на одной петле.

— Подъем! Выходи строиться!

Остановившись, Ивановский прислушался. Тихо звучавший говорок в овине сразу умолк, все там затихло, как бы загипнотизированное неотвратимостью этой, по существу, обыденной армейской команды, которая теперь означала для всех слишком многое... Через мгновение, однако, там все враз задвигалось, заворожилось, послышались голоса, и вот уже кто-то первый шагнул из темного проема дверей на чистую белизну снега. «Пивоваров», — рассеянно отметил про себя Ивановский, взглянув на белую фигуру в новеньком маскхалате, выжидающе замершую у темной стены сарая. Однако он тут же и забыл о нем, поглощенный своими заботами и слушаая хозяйское покрикивание старшины в овине.

— Быстро выходи! И ничего не забывать: возвращаться не будем! — глуховато доносился из-за бревенчатых стен озабоченно-строгий голос Дюбина.

Старшина злился, видно, так и не согласившись с лейтенантом, хотя почти ничем не выдавал этого своего несогласия. Впрочем, злиться про себя Дюбин мог сколько угодно, это его личное дело, но пока здесь командует лейтенант Ивановский, ему и дано решать. А он уже и решил — окончательно и бесповоротно: переходить будут здесь и сейчас, потому что сколько можно откладывать! И так он прождал почти шесть суток — было совсем близко, каких-нибудь тридцать километров, стало шестьдесят — только что мерил по карте; на местности, разумеется, наберется побольше. Правда, в конце ноября ночь долгая, но все же слишком много возлагалось на эту их одну ночь, чтобы неразумно тратить столь дорогое теперь для них время.

Лейтенант решительно взял прислоненную к стене крайнюю связку лыж — свою связку — и отошел с тропы в снег, на три шага перед строящейся в шеренгу группой. Бойцы поспешно разбирали лыжи, натягивали на головы капюшоны; ветер из-за угла сердито трепал тонкую бязь маскировочных халатов и стегал по груди длинными концами завязок. Как Ивановский ни боролся со всем лишним, груза набралось более чем достаточно, и все его десять бойцов выглядели теперь уродливо-неуклюжими в толстых своих телогрейках, обвешанных под маскхалатами вещевыми мешками, гранатными сумками, оружием, подсумками и патронташами. Вдобавок ко всему еще и лыжные связки, которые были пока громоздкой обузой, не больше. Но все было нужно, даже необходимо, а лыжи, больше всего казавшиеся не-

нужными теперь, очень понадобятся потом, в немецком тылу; на лыжи у него была вся надежда. Это именно он предложил там, в штабе, поставить группу на лыжи, и эту его идею сразу и охотно одобрили все — от флегматичного начальника отдела разведки до придирчивого, задерганного делами и подчиненными начальника штаба.

Другое дело, как ею воспользоваться, этой идеей.

Именно эта мысль больше других занимала теперь лейтенанта, пока он молчаливо, со скрытым нетерпением ждал построения группы. В снежных сумерках разбирали лыжные связки, глухо постукивая ими, сталкивались на узкой тропинке неуклюжими, нагруженными телами его бойцы. Как они покажут себя на лыжах? Не было времени как следует проверить всех их на лыжне, выдвигались к передовой засветло, согнувшись, пробирались в кустарнике. С утра он просидел на НП командира здешнего стрелкового батальона — наблюдал за противником. Весь день с низкого пасмурного неба сыпал редкий снежок, к вечеру снежок погустел, и лейтенант обрадовался. Он уже высмотрел весь маршрут перехода, запомнил на нем каждую кочку, и тут пошел снег, что может быть лучше! Но как только стало темнеть, ветер повернул в сторону, снегопад стал затихать и вот уже почти совсем перестал, лишь редкие снежинки неслись в стылom воздухе, слепо натываясь на бревенчатые стены сарая. Старшина предложил переждать пару часов, авось опять разойдется. В снегу бы они управились куда как лучше...

— А если не разойдется? — резко переспросил его Ивановский. — Тогда что ж, полночи коту под хвост? Так, что ли?

Полночи терять не годилось, весь путь их был рассчитан именно на полную ночь. Впрочем, старшине нельзя было отказать в сообразительности — если переход сорвется, не понадобится и самая полная, самая длинная ночь.

Правофланговым на стежке стал сержант Лукашов, из кадровых, плотный молчаливый увалень, настоящий трудяга-пехотинец, помощник командира взвода по должности, специально откомандированный из батальона охраны штарма на это задание. Во всем его виде, неторопливых, точных движениях было что-то уверенное, сильное и надежное. Подле устраивался на тропке тоже взятый из стрелков боец Хакимов. Хотя еще и не было никакой команды, смуглое лицо его со сведенными темными бровями уже напряглось во внимание к командиру; винтовка в одной руке, а лыжи в другой стояли в положении «у ноги». Рядом стоял, поправляя на плечах тяжеловатую ношу взрывчатки, боец Судник, молодой еще парень-подрывник, смысленный и достаточно крепкий с виду. Он один из немногих сам попросил взять его в группу, после того как в нее был зачислен его сослуживец, тоже сапер, Шелудяк, с которым они вместе занимались оборудованием КП штарма. Ивановский не знал, какой из этого Шелудяка подрывник, но лыжник из него определенно неважный. Это чувствовалось в самом начале. Суетливый и мешковатый, этот сорокалетний дядька, еще не став в строй, уже развалил свою связку, лыжи и палки разехались концами в разные стороны. Боец спохватился собирать их и уронил в снег винтовку.

— Не мог как следует связать, да? — шагнул к нему Дюбин. — А ну дай сюда.

— Вы на лыжах как ходите? — почувствовав недоброе, спросил Ивановский.

— Я? Да так... Ходил когда-то.

«Когда-то!» — с раздражением подумал лейтенант. Черт возьми, кажется, подобрался народце — не оберешься сурпризов. Впрочем, оно и понятно, надо было самому всех опросить, поговорить с каждым в отдельности, каждого посмотреть на лыжне. Но самому было некогда, два дня протолкался в штабе, у начальника разведки, потом у командующего артиллерией, в политотделе и особом отделе. Группу готовили другие, без него.

Быстро темнело, наступила зимняя холодная ночь, снегопад постепенно затихал, и лейтенант заторопился. Дюбин, казалось, слишком долго провозился с лыжами этого Шелудяка, пока связал их. В строю с терпеливым ожиданием на темных под кашпонами лица стояли его бойцы. За Шелудяком переминался с ноги на ногу важный красивый Краснокуцкий в островерхой, как у Дюбина, буденовке, за ним застыл молчаливый Заяц. Последним на стежке стоял, наверно,



самый молодой тут, земляк лейтенанта и также артиллерист Пивоваров. Да, лейтенант недостаточно знал их, тех, с кем, видимо, придется вскоре поделить славу или смерть, но выбора у него не было. Разумеется, было бы лучше отправиться на такое дело с хорошо знакомыми, испытанными в боях людьми. Но где они — эти его хорошо знакомые и испытанные? Теперь трудно уже и вспомнить все деревеньки, погосты, все лески и пригорки, где в братских и одиночных могилах погребенные, а то и просто найденные, пооставались они, его батарейцы. За пять месяцев войны уцелело не много, неделю назад с ним вместе пробилась из немецкого тыла лишь четверо. Двое при этом оказались обмороженными, один был ранен при переходе у Алексеевки, до самого конца с ним оставался вычислитель младший сержант Воронков. Этот Воронков очень бы согдился нынче, но Ивановский не смог разыскать его. Вычислителя отправили в стрелковый батальон на передовую, откуда, к сожалению, не всегда возвращаются...

— Так... Равняйся! Смирно! Товарищ лейтенант...

— Вольно,— сказал лейтенант и спросил:— Всем известно, куда идем?

— Известно,— пробасил Лукашов. Остальные согласно молчали.

— Идем к немцу в гости. Зачем и для чего — об этом потом. А теперь...

Кто болен? Никто? Значит, все здоровы? Кто на лыжах ходить не умеет?

Коротенький строй настороженно замер, темные, истомленные ожиданием лица строго и покорно смотрели из-под бязевых капюшонов на своего командира, который теперь безраздельно брал под свое начало их солдатские судьбы. Все, притихнув, молчали, молча, еще не во всем, что им предстояло вскорости, разбираясь сами, но ничего, кроме как целиком положиться на него, командира, да на этого вот долговязого старшину, который второй день опекал группу, им не оставалось.

Ивановский через прорезь в маскировочных брюках запустил руку в карман и вытащил увесистый кубик часов, когда-то снятых им с подбитого немецкого танка. Часы живо и радостно затикали на его ладони, засияв фосфоресцирующим циферблатом. Было без десяти минут семь.

— Итак, в нашем распоряжении двенадцать часов. За это время, конечно, минус час-другой на переход боевых порядков противника, нам предстоит отмахать шестьдесят километров. Ясно? Кто не способен на это? Говорите сразу, чтоб потом не было поздно. Потом некуда будет отправить. Ну?

Он выжидательно обвел взглядом строй, в котором ничто не шелохнулось, и было так тихо, что слышался шорох сдуваемых ветром с крыши снежинок. Но снова никто не отозвался на этот его такой далеко не пустынный теперь вопрос.

— Тогда все. Старшина — замыкающий. Группа — за мной марш!

Их никто не провожал тут, вся торопливая подготовка по переходу была закончена раньше. Час назад на КП командира стрелкового батальона они условились, что батальон будет молчать, чтобы не настораживать немцев, и они постараются прошмыгнуть незамеченными в самых первых, только что наступивших сумерках. Впрочем, если бы и потребовалась помощь, то чем мог помочь батальон, который лишь именовался таковым, а на деле состоял из стрелковой роты, не больше, да и командовал им недавний командир роты, старший лейтенант, пулеметчик. Он пообещал прикрывать их в крайнем случае огнем, хотя это и было вынужденное обещание по требованию капитана из разведотдела штарма, который присутствовал там. Но капитан побудет и скоро уйдет, а батальону воевать дальше, боеприпасов к тому же у него не густо, и начальство потребует беречь их для более важного случая.

Правда, капитан совсем не настаивал, чтобы он переходил именно здесь и сегодня. При виде того, как стал утихать снегопад и перед ними очень уж открыто и пустынно раскинулась эта широкая речная пойма с извилистой полосой кустарника посередине, представитель штаба заколебался.

— Да, действительно. Как на пустой тарелке. Впрочем, решаю сам, лейтенант. Тебе виднее.

— Пойду,— просто сказал Ивановский.

— Что ж, твое дело. Может, оно и к лучшему: сунуться туда, где не ожидают.

«Черт его знает, где они не ожидают. Не спросишь», — озабоченно подумал лейтенант. Но он не мог больше откладывать — в том деле, на которое они отправлялись теперь, промедление действительно было смерти подобно. А он и так уже промедлил сверх меры, хотя, конечно, и не по своей воле.

Проваливаясь по шиколотку, а где и по колено в снег, бойцы гуськом поднялись на пригорок. Ивановский оглянулся и впервые остался доволен — коротенькая колонна его послушно подобралась, никто не отстал, не замешкался; остановился он, и почти одновременно остановились все остальные. Дальше следовало подождать, может, передохнуть даже, залечь — с вершины холма их могли уже заметить немцы. Над поймой и на склонах, где расположился батальон, стояла тишина, дальние отзвуки боя докатывались лишь из-за леса справа, там же что-то неярко отсвечивало в темном и мутном от низких облаков небе. Наискось уходила в темноту пойма с тусклыми мазками кустарника, пятнами присыпанных снегом зарослей камыша над речкой, гривками бурьяна, вылезшего из-под снега. До речки было полкилометра, не меньше. Это пространство надо было преодолеть на четвереньках, потом изрядный отрезок придется ползти по-пластунски, а дальше уже и трудно определить как, только бы побыстрее оказаться по ту сторону поймы в спасительном, совершенно не видном отсюда лесу.

— Ложись! За мной марш! — вполголоса скомандовал лейтенант и опустился локтями в снег.

Снег был глубокий, рыхлый, как вата, и морозно-пекучий. Он безбожно набивался во все щели маскировочного халата, в рукавицы, рукава, за пазуху и голенища сапог и подтаивал там, холодной, противной мокрядью расплываясь по телу. От этой смешанной с потом мокряди то бросало в озноб, то становилось душно, парно, удушливая горечь распирала грудь. Ивановский зубами содрал с руки трехпалую рукавицу и мокрыми пальцами дернул за тесьму капюшона. Лицу стало прохладнее и свободнее, а главное — отпустило уши, он услышал шорох ветра в бурьяне и невнятные разрозненные звуки сзади.

Проползли они, наверное, с полкилометра, пригорочек с сосняком едва серел сзади на краю мрачного ночного неба, которое в серых сумерках почти что сливалось с заснеженным полем. Следа-борозды, проложенного их десятью телами, к счастью, не было видно даже вблизи, как и самих бойцов. Правда, это лишь в темноте. Ивановский знал, что стоит взлететь ракете, как, словно на ладони, станет виден в снегу весь проложенный ими след, да и они сами тоже.

Покамест, однако, было темно и тихо. Бой тяжелой глухой воркотней едва докатывался сюда из-за леса, там же с вечера гуляли по небосклону широкие огневые сполохи — отсветы дальней канонады, и промерзшая земля под локтями глухо, глубинно подрагивала. В той же стороне, за лесом, изредка вспархивали в небо желтые звезды ракет, которые тут же гасли в мутной мешанине света и тьмы.

Надо было как можно скорее одолеть эту пойму; переднего края они еще не прошли, еще предстоял самый опасный путь вдоль речушки. Но и так уже все притомились, группа начала заметно растягиваться. Ивановский вдруг спохватился, что не слышит дыхания Лукашова, который полз следом. Лейтенант оглянулся и минуту выждал, сам переводя дыхание, хотя и знал, что медлить здесь нельзя ни минуты. Но усталость, видно, притупила осторожность, поодаль уже второй раз что-то несильно стукнуло — наверно, винтовкой о лыжи, и лейтенант нервно напрягся, вписавшись в снеговой полумрак обостренным злым взглядом. Разгилядяи, иначе не назовешь! Ему так не хватало теперь возможности покрыть их крепким злым словом. Действительно, сколько ни твердил, что лыжи надо держать в левой, а винтовку в правой руке, но вот, наверно, кому-то понадобилось сгрести все в одну кучу, и теперь стучит...

Сзади зашевелился в темноте серый сгорбленный ком в маскхалате, шумно дыша, он подполз и замер у самых ног лейтенанта. За ним шевелился еще кто-то,

а дальше уже невозможно было и разглядеть — мешали сумрак и снег. Ивановский спросил осиплым усталым шепотом:

— Ползут?

— Ползут, командир, — так же шепотом ответил сержант.

— Передай — шире шаг!

В низинке снег стал еще глубже, люди зарывались в нем по самые плечи. Под намокшими коленями прощупывалась мерзлая колючая трава, наверно, начиналось болото. Ивановский не смотрел на компас — как и обычно, направление он угадывал по характерным изменениям рельефа, который здесь был знаком ему по карте. Тут все время следовало держаться низинки, по ней выйти к кустарнику на берегу речки и дальше ползти под кустарником. Путь ползком предстоял еще длинный, он, конечно, вымотает их как следует. Но только бы не напороться на немцев, на какой-нибудь их замаскированный ночной секрет. Тогда уже незамеченными не пройти, и все может кончиться скверно в самом начале.

Ивановский, однако, отогнал от себя эти мысли и сквозь окончательно сгустившуюся мглу вгляделся вперед. Вроде совсем уже недалеко темнел кустарник, за ним была засыпанная снегом речушка. Это место — он помнил по карте — располагалось как раз посередине нейтралки, дальше по пригорку начиналась небольшая, разбитая минами деревенька, в которой засели немцы. Правда, их первый окоп был и еще ближе — через какую-нибудь сотню метров за речкой; там группе надлежало повернуть вдоль русла и попытаться проскользнуть в кустарнике между этим окопчиком и другим — в стороне, на мыске остроносого, словно большая опрокинутая ложка, пригорка.

Тем временем снег не только стал глубже, но и сделался совсем рыхлым, под руками шуршала пересыпанная им мерзлая, не скошенная летом трава. Они ползли по болоту. Ивановский неосторожно надавил коленом и проломил непрочную еще корку мха, из-под которой туго плюхнуло на снег водой. На секунду он остановился, чтобы прислушаться, не выдал ли себя этим неосторожным движением. Но тут начинался кустарник, рукой подать топорщились ветки ольшаника, заросли красной лозы, как непролазной стеной торчала из снега. Ивановский еще немного прополз под кустарником, чтобы дать своей растянувшейся таки группе подобраться поближе и разместиться под спасительным его укрытием. Кустарник надежно укрывал их со стороны деревни, тут им уже не страшны были и ракеты. Правда, оставался еще открытый и опасный пригорок-ложка с другой стороны, но этот пригорок все-таки был на некотором от них отдалении. Оттуда их могли не заметить даже и при свете ракет.

Все время лейтенанту не терпелось встать и оглянуться, как там, в хвосте, не слишком ли растянулись последние. Теперь очень важно было держать всех в одном кулаке, в такой ситуации разобщенность граничит с бедой. Правда, в случае чего там есть кому распорядиться: последним полз Дюбин, кажется, в общем не глупый человек, раза в полтора старше самого лейтенанта. Но Дюбин был из запаса, и хотя характером его бог не обидел, но хватит ли у него чисто фронтового умышества? Ивановский, сам кадровый командир, испытывавший все муки войны с ее самого первого июньского дня, несколько не доверял запасным и, чтоб было вернее и надежнее, обычно старался часть возложенной на них ноши переложить на себя. Сегодняшняя его короткая стычка со старшиной, предложившим повременить с переходом, оставила неприятный осадок у обоих. Лейтенант не терпел делить свою власть с кем бы то ни было да еще в таком деле, где он целиком полагался лишь на себя, свою сообразительность и решимость. Пока, в общем, все обходилось, повезет — обойдется и дальше, и тогда он как-нибудь при случае напомнит Дюбину...

Сзади в борозде рыхлого снега сипато зашептал Лукашов:

— Теперь куда, товарищ лейтенант?

— Тихо! Как там сзади?

— Да ползут. Шелудяк вон отстает только...

Опять Шелудяк! Этот Шелудяк еще в батальоне именно своей мешкова-



тостью вызвал недовольство лейтенанта, но в суматохе скороспешной подготовки Ивановский просто выпустил его из виду, подумав, что человек он здоровый, выдюжит. К тому же группе необходим был сапер, и выбора никакого не было, пришлось брать первого попавшегося под руку — этого вот немолодого и мешковатого дядьку. Но война в который уж раз убеждала в необходимости, кроме обыкновенной силы, еще и умения, тренировки. Впрочем, тренировки у них не было никакой, на нее просто не хватило времени. Целый день начальник разведки с начальником особого отдела пересматривали и утрясали списки, подбирали людей, и, когда наконец составили группу, ни о какой тренировке нечего было и думать.

Оставив на месте лыжи, Ивановский обошел Лукашова и пополз по его следу назад. Шелудяк действительно оторвался от сержанта и теперь устало и грузно гребся в снег, задерживая собой остальных. Лейтенант встретил его тихим злым шепотом:

— В чем дело?

— Да вот вспотел, чтоб его! Скоро ли там, чтоб на лыжи?

— Живо шевелитесь! Живо! — подогнал он бойца.

Покачивая задраным задом, навьюченный под маскхалатом тяжелым вещмешком со взрывчаткой, Шелудяк на четвереньках пополз догонять сержанта. За ним подались и остальные. Лейтенант пропустил мимо себя Хакимова, Зайца, Судника, еще кого-то, чье лицо он не рассмотрел под низко надвинутым капюшоном, и дождался старшину Дюбина.

— Что случилось? — спросил тот, ненадолго задерживаясь возле Ивановского. Лейтенант не ответил. Что было отвечать, разве не видно старшине, что группа растянулась, нарушила необходимый порядок, к которому имел определенное отношение и старшина как замыкающий.

— Кто стучал в хвосте?

— Стучал? Не слышал.

Ну, разумеется, он не слышал. Ивановский не стал продолжать разговор, замер и прислушался. Поблизости, однако, все было тихо, наши на пригорочке с сосняком настороженно молчали, молчали впереди и немцы. Девять бугристых тел в белых, пересыпанных снегом халатах ровно лежали в разрытой ими снежной канаве.

— Надо слушать, — коротким шепотом заметил Ивановский. — Сейчас переход. Чтоб мне ни звука!

Старшина промолчал, и лейтенант на четвереньках быстро пополз вперед, обходя бойцов. Он не видел их лиц, но почти физически ощущал их настороженные, полные ожидания и тревоги взгляды из-под капюшонов. Все молчали. Обгоняя Шелудяка, который, виновато сопя, распластался в борозде, Ивановский строго потребовал:

— Изо всех сил! Изо всех сил, Шелудяк! Понял?

Лейтенант выполз в голову своей, теперь уже подтянувшейся пластунской колонны и снова пополз в самом глубоком снегу на краю кустарника. Одной рукой он волочил по снегу лыжи, другой — автомат; сумка с автоматными дисками сбивалась с бедра под живот, и он то и дело отбрасывал ее за спину. В снегу он сбивался на какую-то кучу хвороста, который звучно затрещал в ночи; зацепившись за что-то, порвался маскхалат; застряли в снегу лыжи. Чертыхаясь про себя, лейтенант минуту выпутывался из этой ловушки, потом взял в сторону, несколько дальше от кустарника. Где-то тут недалеко должен был повстречаться ручей, впадавший в речушку; от ручья начинался самый опасный отрезок пути в разрыве немецкой линии.

До ручья, однако, он еще не дополз, когда впереди и совсем близко звучно шелкнуло в воздухе, засипело, заискрилось, и яркая огненная дуга прочертила по краю неба. Разгоряченный борьбой со снегом, Ивановский не сразу понял, что это ракета. Несколько не долетев до них, она торжественно распустилась вверх букетом ослепительно сияющего пламени, и снежная равнина с кустарником



затаилась, замерла, сжалась, залитая ее лихорадочной яркостью. Потом что-то там пошатнулось, дрогнуло и все ринулось в сторону; по пойме метнулась путаница стремительных теней. Ракета упала на снег за кустарником и еще несколько секунд сверкала остатками своего холодного пламени.

Ивановский затих, где лежал, почти не дыша, грудь его распирало от нехватки воздуха, возле лица на ветру крутилась снежная пыль. Лейтенант ждал выстрелов, криков, следующих ракет, но в сгустившейся темноте ночи стояла прежняя напряженно-зловещая тишина. Тогда он прикрыл на секунду глаза, чтобы скорее преодолеть ослепление, и снова всмотрелся вперед. Он недоумевал, откуда тут могла появиться ракета, ведь в том направлении, откуда она взлетела, немцев не должно было быть — там болото, речушка, кустарник. Туда ведь как раз предстояло ему ползти. Теперь получалось, что тот путь им закрыт.

Сзади его тронул за сапог Лукашов, но лейтенант не оглянулся даже и не отозвался, обеспокоенный единственным теперь вопросом — заметили или нет? Если заметили, то, наверное, их сегодняшняя попытка на том и окончена. Если нет, следовало побыстрее убираться с этого злополучного места.

Прошла еще минута, но не было ни выстрелов, ни ракеты, и Ивановский подумал, что, по-видимому, там сидит посланный на ночь ракетчик, которого разумнее обойти. Лейтенант круто повернул в кустарник, на четвереньках достиг невысокого берега речки, над которой клонилось несколько черных кряжистых ольх, и решительно перевалился с берега на ровную поверхность присыпанного снегом льда. На другом берегу заросли оказались пореже, неширокой полосой они тянулись вдоль берега, а далее начинался пригорок с деревней и немецким окопом под скобочным сараем на отшибе.

Сержант Лукашов не отставал ни на шаг, и когда лейтенант остановился в нерешительности, тот пополз рядом и шепнул в лицо:

— А давайте речкой...

— Тих...

Положение усложнилось. На этой стороне они оказались слишком близко к противнику, пробраться мимо него было возможно лишь вдоль самого берега. Куда как соблазнительно было податься на гладкую ровность замерзшей речушки, но она здесь петляла, словно запутанная чертом веревка. «Это сколько же понадобится времени, чтобы выползти все ее петли? — уныло подумал Ивановский. — Опять же, а если где плохо замерзла?»

Ему показалось, что прошло чересчур много времени, что он непростительно долго провозился в этом кустарнике и запаздывает уже в самом начале. Вздвогнув от охватившей его тревоги, лейтенант оглянулся, но сзади уже все перебрались через речушку и ждали, чтобы двинуться дальше. В сером сумраке ночи поблизости невнятно темнело несколько лиц, остальных и вовсе не было видно, и он с новой решимостью пополз по снегу.

В этот раз он прополз очень недолго, снова и с того же места вспорхнула ракета, с ней вместе долетел щелчок выстрела. Лейтенант вжался в снег, изо всех сил вглядываясь в черно-белую путаницу ветвей на ярко освещенной белизне снега. Нет, ракета пошла в прежнем направлении, на ту сторону поймы, откуда они ползли. Значит, их все-таки не заметили. Дождавшись, когда ракета сгорела, он с облегчением дернул лыжную связку и сам, на локтях и коленях, стремительно рванулся вперед. В наступившей глухой темноте он несколько долгих секунд не видел перед собой ничего, только греб и греб снег и тащил лыжи. И вдруг снова ослеп от невероятно яркого света, который прямо с небес мощно обрушился на пойму — снег засиял, заискрился, тени от кустарника широким полукругом быстро повернулись на пойме, ярко отпечатавшись на снегу, и замерли. Замер и он, с каждым мгновением чувствуя, что этот ярко-белый простор вот-вот пронизут трескучие пулеметные очереди. Как всегда в минуту наибольшей опасности, мысль его среагировала с предельной быстротой, он понял, что это от пуньки, значит, совсем уже близко. Ракета вся без остатка сгорела в вышине, но по-прежнему было тихо, и он снова стиснул веки, чтобы переждать ослепление. Если заметили, то надо по-

даваться назад, за речку, под защиту ее бережка, а если нет... Тогда быстрее надо ползти вперед, подальше от этого проклятого места, где тебя так нагло подсвечивают с обеих сторон.

Выстрелов все не было, значит, еще не заметили, и он с дерзкой решимостью рванулся вперед, вдруг ощутив в себе новый порыв риска и удачливости. Быстрее, быстрее! С неожиданной силой и ловкостью он полз вдоль берега, весь закопавшись в снег, который нещадно забивал лицо, рот, не давал дышать и слепил глаза. Когда же зрению возвратилась прежняя способность различать в темноте, он вдруг отметил, что слева от деревни его прикрывает какой-то бугорок высотой по колено, — наверно, обмежек на границе нивы и покоса. Это его куда как обрадовало, теперь он уже не страшился ракет: вся его воля устремилась к единственной цели — вперед!

Он полз долго и быстро. Под одеждой на груди и спине уже все стало мокрым от пота и снега, на своих сзади он не оглядывался, это было без пользы: теперь он не мог подогнать их. Он лишь полагался на власть своего примера, на силу солдатского правила — равняться по командиру.

Когда в небе опять загорелась ракета, он замер с занесенной вперед рукой и низко над снегом оглянулся: так и есть — бойцы опять растянулись, опять за сержантом образовался разрыв этак шагов на двадцать. Обмежек как на беду тут уже окончился, теперь их ничто не прикрывало от передового окопа немцев. Одно хорошо — сарай на пригорке остался сзади, уже ракета летела в тыл. Впереди же опять расстилалась широкая ровность с рядами негустого, исчезающего в сумерках кустарника по одному ее краю.

Ракета погасла, и на душе у него отлегло, самое трудное вроде бы миновало. Это было так хорошо почувствовать, — коротенько и сдержанно-радостно, — но не успел он опять двинуть вперед связку лыж, как совсем близко сзади неожиданно гулко бахнул винтовочный выстрел. Почти ужаснувшись, Ивановский пружинисто обернулся, рука привычно ухватилась за шейку обмотанного бинтами автомата, но ни сзади, ни по сторонам он не обнаружил решительно никакого движения. Все окрест будто обмерло, один только выстрел — и больше ни звука, и нигде никого поблизости. Спустия несколько секунд, однако, ярко засветило сразу в двух местах над кустарником. Лейтенант из-за плеча проследил за полетом ракет — они, как и предыдущие, упали сзади, но тут же взвились еще две по обеим сторонам речки. В их ярком свете густым пронзительным треском залился пулемет от сарая, огненные трассы стеганули по кустам возле речки, несколько пуль срикошетило от бугорка, за которым они только что прятались, и зелеными брызгами разлетелось в стороны. Пулемет слепо, но верно нащупывал их при свете ракет и так близко шарил струями пуль, что их спасал лишь обмежек. Ивановский лежал и скрежетал зубами от немого отчаяния — так все шло хорошо и, нá тебе, срывалось из-за какого-то нелепого выстрела...

Наверно, они так пролежали долго, лейтенант начал вздрагивать от озноба, мокрое его белье ледяным панцирем облипало тело. Вверху сгорело с десяток ракет, пулемет возле пуньки вроде бы стал затихать. И тогда сзади раз и другой его потрогал за сапог Лукашов. Ивановский на снегу вывернулся лицом назад.

— Кудрявца ранило.

— Сильно?

Вместо ответа сержант пожал плечами и тоже обернулся назад, наверно, ожидая разъяснения оттуда.

Было от чего выругаться, но Ивановский лишь судорожно ждал в рукавицах по пригоршине снега. Что и говорить, начало было испорчено, но вскоре могло произойти и еще худшее — их запросто могли обнаружить в поле. Тем не менее разбираться, ползти назад теперь не было времени, и он приказал первому, кого различил в темноте за сержантом:

— Шелудяк, марш назад. Забрать раненого и назад.

По лицу сапера скользнуло что-то растерянное, тем не менее он разгреб телом снег, развернулся и исчез в темноте. Ивановский тут же спохватился при

мысли, что с раненым лучше бы послать не его, а кого-нибудь более для того способного, но возвращать Шелудяка теперь уже не стал. «Пусть живет!» — с чувством неожиданного великодушия подумал он. Не каждому выпадает такое, но этот старик, наверно, больше других имеет право выжить, — все-таки отец семейства, дома трое детей, а это что-нибудь да значит.

Немцы возле сарая молчали, так ничего, наверно, и не обнаружив; стало тихо, только за лесом все урчала, ворочалась и вздыхала далекая орудийная канонада. Ивановского снова охватило беспокойство за время, которое, невзирая ни на что, мчалось дьявольски быстро, и лейтенант даже испугался, что вконец опоздает. По правде, он не предвидел столько неожиданностей в самом начале и теперь подумал невесело: а что еще будет!

Ивановский рванулся вперед, но не прополз и десяти шагов, как опять замер от потока стремительно метнувшихся в его сторону трасс. Распластавшись на снегу, лейтенант взгляделся в ту сторону, где едва заметным бугорком темнел в отдалении сарай, и живо попятился назад под защиту все того же маленького, едва заметного вблизи обмечка. Все-таки, наверно, их обнаружили. Вверху с шипением и треском жгли небо ракеты, а пулеметные трассы, огненно сверкая в темноте, секли, низали, взбивали снег как раз на их предстоящем пути из-за пригорка. Во что бы то ни стало надо было выскользнуть из этой западни, но проползти по ярко освещенному полю нечего было и думать.

Кажется, они застряли прочно и надолго. Хорошо еще, что слева попался этот обмечек, словно посланный богом для их спасения, — только он укрывал их от пулеметного огня с пригорка. Но сколько же можно укрываться?

Тем временем все неподвижно и молча лежали, ожидая его решения и его командирского действия. И он решил единственно теперь возможное: заставить замолчать пулемет. Очевидно, лучше всего подползти к нему со стороны фронта, от речки; сделать это, разумеется, с наибольшим успехом мог только он сам. Только одному, в крайнем случае двоим еще можно рискнуть подобраться к нему незамеченными.

— Передайте: старшину — ко мне!

По цепочке быстро передали его команду, и Дюбин приполз, молча лег рядом.

— Вот что. Надо снять пулемет, — сказал Ивановский и, встретив в ответ молчание, пояснил: — Иначе не вылезем. В случае чего возьми карту, поведешь группу.

— Не годится так, — помолчав, сказал Дюбин. — Надо бы другого кого.

— Кого другого? — сказал лейтенант. — Попробую сам.

Лежа расстегнув телогрейку, он достал из-за пазухи смятый, во много раз сложенный лист карты, подвинул ближе к старшине свои лыжи. Пулемет молчал, догорала на снегу настильно брошенная немцем ракета, стало темно и тихо. Но он знал: стоит лишь высунуться из-за обмечка, как немцы снова поднимут свой тарарам; видно, они здесь что-то просматривают.

— Лукашов, за мной, — тихо позвал лейтенант и не оглянувшись, знал, что Лукашов не отстает. В наступившей затем крошечной тьме он с автоматом в руке и тремя гранатами в карманах брюк пополз под обмечком. Надо было торопиться, иначе вся его вылазка теряла смысл. Разумеется, это было не самое лучшее, может, наоборот даже, но другого выхода из затруднения он не находил. Другим было разве что возвращение восвояси, что, впрочем, тоже теперь сделать не просто. Он зло про себя ругался и твердил, разгребая снег: «Ну бей же, бей, гад! Шумы побольше...»

Ему надо было, чтоб пулемет вел огонь. Когда пулемет работает, тогда пулеметчик глух и слеп, тогда бы уж лейтенант как-нибудь подобрался к нему. И пулемет действительно скоро ударил — сразу, как только засветила ракета. Но, к удивлению своему, в первый момент Ивановский не увидел ни одной из его трасс. Короткое недоумение лейтенанта, однако, тут же исчезло — пулеметные очереди уходили в их тыл, в сторону поймы и речки, в то место, где они недавно переползали ее в кустарнике. В этот раз немцы всполошились всерьез и надолго. Над



поймой запылал настоящий ракетный пожар, вокруг стало светло как днем, на луговину с пригорка неслись, перехлестываясь, сходясь и разлетаясь, густым веером пули; несколько пулеметов из разных мест остервенело секли кустарник. Сначала Ивановский инстинктивно втиснулся в снег, немного видя из своей борозды и только напряженно вслушиваясь в густое сверкающее завывание вверх. Но и не глядя, он скоро понял, что это не так себе, что это все Шелудяк.

Значит, все-таки заметили, высветили и теперь расстреливают.

Но, поняв это, Ивановский вдруг содрогнулся от радостной счастливой мысли: Шелудяк отвлекал огонь на себя, надо немедленно этим воспользоваться. Лейтенант тут же развернулся в снегу, на четвереньках проскочил в голову своей замершей под обмелком колонны, схватил лыжи.

— За мной,— вслух скомандовал он, уже не остерегаясь в этом грохоте быть услышанным немцами.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Последние метры до леса они не ползли, а, пригнувшись, устало бежали, пока один за другим не попадали в реденьком низкорослом кустарнике. Распластаные на снегу судорожной горькой одышкой, минуту ошеломленно молчали, не в состоянии вымолвить слова. У каждого в такт с сердцем билась единственная теперь мысль — вроде удалось, прошли, худшее осталось позади. Немцы с пригорка как будто их проворонили. Увлеченные пальбой по луговине, ослепленные сиянием ракет, они, вероятно, не слишком оглядывались по сторонам, пока не расстреляли у реки Шелудяка. «Спасибо вам, дорогие бойцы»,— растроганно думал Ивановский, лежа на снегу и в одышке хватая ртом воздух. Первая плата за его успех была внесена, каков окажется итог? Как бы то ни было, светлая тебе память, боец Шелудяк, посланный на верную гибель, хотя в тот момент с какой-то подспудной завистью лейтенант думал, что — в жизнь...

Еще не совсем отдышавшись, он приподнялся и сел на снегу. Редкие огненные светляки пуль низали снежные сумерки уже далеко позади, навстречу им летели другие из сосняка за поймой — это вступил в бой батальон. Здесь же, возле кустарника, было спокойно, перед ними лежал голый, не очень заснеженный склон с гривками бурьяна по межам. Ивановский достал часы — было половина десятого.

— Кто стрелял?— сдержанно, с запоздало вспыхнувшим гневом спросил лейтенант, вспомнив тот злополучный выстрел.

Невдалеке среди пластом лежащих тел в белом кто-то заворочился и сел на снегу, по острою, выпиравшему под капюшоном, командир узнал Дюбина — старшина был в буденовке.

— Выстрелил Судник.

— Я выстрелил,— виновато и глухо подтвердил простуженный голос, и Судник расслабленно поднялся на ноги.

— Почему стрелял?

Боец двинул у ноги винтовкой.

— Да вот, с предохранителя соскочила.

Ивановский взгляделся в заматанное бинтом оружие, и его передернуло от злости — у бойца была СВТ, эффектная с виду десятизарядка, сложная по конструкции и не очень надежная в бою. Просто беда, как он перед выходом недосмотрел, разве можно было с таким оружием отправляться в тыл к немцам?

— Черт бы вас побрал!— не сдержав гнева, с тихой злостью заговорил лейтенант.— Что у вас за оружие?

— Винтовка.

— Какая винтовка?

— Самозарядная Токарева номер эн эм шестьсот двадцать четыре.

— «Эн эм!» Вы похуже не могли найти?

Видно, только теперь поняв свою оплошность, боец виновато потупил голову.



Лейтенант почти с ненавистью глядел на его придавленную тяжестью вещмешка фигуру, мокрый, обвисший на коленях халат. Однако весь его неказистый вид выражал теперь лишь вину и покорность. Эта его покорность и непрестанно подстигающее лейтенанта время скоро заглушили вспышку командирского гнева; Ивановский понял, что бесполезно взыскивать с бойца за дело, о котором тот не имел представления. Тем не менее он не мог игнорировать тот факт, что этот Судник едва не погубил всю группу.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Черта он понимает!— вдруг сидя заговорил Лукашов.— Разгильдяй он. Зачем было брать такого?

Судник по-прежнему стоял молча, уронив голову.

— За такое дело вот кокну тебя к чертовой матери!— угрожающе прошептал лейтенант.— Понял?

Голова бойца склонилась еще ниже, но он, видно, решительно не знал, что сказать в свое оправдание, и, похоже, готов был ко всему.

— Ладно. Потом мы с ним потолкуем,— наверно, почувствовав нерешительность в голосе командира, примирительно сказал Дюбин.

— Я еще разберусь с тобой!— пообещал Ивановский и скомандовал:— На лыжи!

Все враз зашевелились, разбирая лыжи и пристегивая к сапогам крепление,— задерживаться тут не годилось. Лейтенант ухватил за концы палки и оглянулся, дожидаясь готовности группы.

— Я б его проучил! Мне он не попался, сопляк,— натягивая рукавицы, ворчал поблизости Лукашов.

— Ладно, все!— громким шепотом оборвал его Ивановский.— Готовы? Судник — за мной! Марш!

Лейтенант резко взял с места, направляясь в прогал кустарника, однако в рыхлом снегу лыжи скользили плохо, проваливаясь в глубокие колеи, из которых торчали лишь загнутые концы. Ветки кустарника цеплялись за маскхалат, срывали с головы капюшон. Наверное, четверть часа лейтенант продирался через кустарник, пока наконец не вырвался в поле. Тут его сразу охватил порывистый ветер, но стало просторнее. Ивановский нащупал лыжами более твердый участок снега и оттолкнулся палками. Взгляд его был устремлен вперед, лейтенант не оглядывался, он слышал шорох лыж сзади и мерное привычное дыхание бойцов. Его гнев против Судника стал понемногу спадать, наибольшая беда миновала, и Ивановский начал свыкаться с тем, что их осталось восемь. Правда, полностью примириться с этим было нельзя, завтра ему очень нужны будут люди, и Судник заслуживал строжайшего наказания. Но как его наказать?.. На гауптвахту здесь не посадишь, придется отложить все до возвращения. К тому же, в общем, им повезло. Если разобраться, так еще неизвестно, как бы оно обернулось, если бы Судник не выстрелил, не ранили Кудрявца и он не отправил с ним Шелудяка, который отвлек на себя огонь немцев. Вполне возможно, что до утра им бы не удалось прорваться из-за того обмелка, а по светлому времени их бы легко расстреляли из минометов. Много ли нужно для десяти человек? А так вот проскочили, и теперь только бы не нарваться в ночи на какие-нибудь тыловые части.

Вскоре на снегу наметился небольшой спуск, лыжи пошли вперед легче, рукам стало свободнее, и лейтенант оглянулся. Судник прилежно шел следом; за ним, слегка оторвавшись, тянул в сумерках Лукашов. Остальные тоже как будто подравнялись, и в ветреном ночном сумраке слышался сплошной шорох снега под лыжами. Лейтенант еще увеличил темп. Дорога была дальняя, даже слишком дальняя для одной ночи, и очень надо было спешить. Тут он еще помнил маршрут, изученный накануне по карте, и знал, что скоро опять пойдет пойма все той же речушки. Далее и следовало все время ее держаться.

После кустарника бойцы вошли в ритм, и группа споро двигалась в серых ночных сумерках. Беззвездное небо сплошным пологом накрыло зимний простор, в котором тускло темнели размытые пятна кустарников, деревьев, бурьяна и множество

еще чего-то неясного и загадочного. Ракеты на передовом светили далеко сзади, отсюда видны были лишь их мигающие отсветы за пологом холмом.

Постепенно Ивановский стал успокаиваться — хотя и не совсем гладко, но поначалу вроде бы обошлось: они прорвались. Правда, все время не выходил из головы Шелудяк, так несуразно с ним вышло, пожалел, называется. Наверное, пригидился бы завтра, все-таки сапер и пожилой человек, не какой-нибудь несмышленыш, как этот Судник. Да, с саперами ему не повезло, хотя больше других были нужны именно саперы. Но тут ничего не поделаешь. В то время как группа лежала в свете ракет, казалось, вернул бы назад половину, лишь бы другая половина прорвалась.

А теперь вот обидно и жалко.

Лейтенант уже слишком хорошо знал, что далеко не все в жизни получается так, как надо, тем более на войне. Чтобы не остаться внакладе, порой приходится из последних сил добиваться намеченной цели, до последней возможности драться против коварной силы обстоятельств, иначе провалишь дело и пропадешь сам. Вообще война беспощадна ко всякому, но первым на фронте погибает трус, — именно тот, кто больше всех дорожит своей жизнью. Впрочем, достаточно гибнет и храбрых. Война удивительно слепа к людям и далеко не по заслугам распорядается их жизнями. Как нигде в мирной жизни, здесь изменчива и капризна судьба человека, которому, чтобы жить, ни на минуту нельзя выпускать из рук тугих вожжей обстоятельств, при любых, самых невозможных условиях надо стараться управлять ими.

Горечь от первой и довольно нелепой утраты не оставляла Ивановского. Ненадолго лейтенант забывался, поглощенный ночными заботами, но она опять возвращалась, шемящей, слишком знакомой на войне болью. И сколько он ни переживал ее за пять месяцев, эту раздирающую сердце боль, и какой бы обыденной она порой ни казалась, совершенно привыкнуть к ней было нельзя. Сколько уже он потерял навсегда за это время войны, думалось, пора бы уж и привыкнуть к самим потерям и свыкнуться с сознанием их неизбежности. Но, как ни привыкал, нет-нет да и находило на него такое отчаяние, что, казалось, лучше бы подставил под ту роковую пулю собственную голову, какой дорогой она ни была, чем навсегда укладывать в могильную глубь близкого тебе человека.

А своего лучшего друга, разведчика капитана Волоха, он даже не смог закопать. Просто у них не нашлось лопаты и каких-нибудь пятнадцати минут времени — от шоссе уже мчались на мотоциклах немцы. Отстреливаясь, они с Погребняком завернули тело капитана в палатку и наспех забросали ее перемешанной со снегом листвой. Так и остался их командир на лесной опушке того далекого смоленского урочища. А следующего за ним, сержанта Рукавицына, даже не удалось унести с пригорка, на котором его настигла пуля, и спустя десять минут его там подобрали немцы.

Вообще Ивановскому везло в войну на хороших людей, и самым большим везеньем был, конечно, капитан Волох. Каким-то необъяснимым чутьем лейтенант понял это сразу, как только увидел его на подернутой утренним туманом просеке в Боровском лесу. Стоя на коленях, капитан что-то вытряхивал из карманов в брошенную на мох фуражку, рядом лежала разложенная карта, а вокруг сидели и лежали его разведчики. Все были в зеленых маскировочных халатах со снятыми капюшонами и в пилотках, лишь у одного капитана была фуражка, по которой лейтенант безошибочно признал в нем командира и, подойдя, отдал честь.

— Товарищ командир, разрешите обратиться.

— Пожалуйста, — запросто, без тени командирской строгости улыбнулся капитан. — Обращайтесь, если есть с чем. А то у нас вот одна пыль.

Видно, он не прочь был пошутить и, может, даже угостить махоркой, но махорка у него вся вышла, как вышла она и у лейтенанта. Правда, лейтенанту теперь было не до курева, он бы больше обрадовался сухарю или куску хлеба, так как два дня почти ничего не ел. После разгрома в ночном бою под Крупцами он отбился от полка, попал в окружение, выйдя из которого с двенадцатью бойцами плутал по лесам в поисках своей части. Но нигде он не мог набрести хотя бы на остатки полка или даже

дивизии, иногда попадались бойцы из неизвестных ему частей, но никто ничего толком не знал, в прифронтовой полосе все смешалось, перемешались и наши и немцы. Еще через день вокруг остались одни только немцы, он всюду натыкался на них самих или на свежие следы их пребывания и неделю метался по перелескам в поисках какого-нибудь выхода. У него не было карты, и совершенно неясной была обстановка, встреченные в пути красноармейцы давали самые противоречивые сведения. Ясно было одно — наши отошли далеко, немцы устремились в Москву. В нескольких случайных стычках он потерял еще троих человек, двое исчезли в ночи: может, отбились в темноте и пристали где к другим группам, а может, и того хуже. С ним осталось лишь четверо, они забрели в какую-то лесную глухомань, где уже не было ни немцев, ни наших, и вдруг эта случайная встреча с группой разведчиков на лесной просеке.

Капитан все-таки что-то натряс из карманов и свернул тоненькую куцию сигарку. Остальные молча и, как показалось лейтенанту, с затаенной грустью наблюдали за своим командиром.

— Как зажигалка, цела?— спросил капитан, вправляя в синие брюки вывернутые карманы.

— Какая зажигалка?— удивился Ивановский.

И вдруг он все вспомнил.

Действительно, месяц назад под Касачевом, где они стояли тогда в обороне, как-то перед рассветом начальник разведки полка привел на батарейный НП незнакомого командира в фуражке и с орденом Красного Знамени на габардиновой гимнастерке. Как чуть рассвело, они стали что-то рассматривать в стереотрубу на немецкой стороне, что-то отмечая на карте. Потом вместе позавтракали. Капитан еще угостил Ивановского «Казбеком» и, прикуривая, обратил внимание на его трофейную зажигалку — фигурку буддийского монаха. Зажигалка действительно была занятая: при легком нажатии на пружину у монаха отскакивала часть черепа и появлялся огонек пламени.

Зажигалка оказалась цела, теперь Ивановский достал маленькую черную фигурку, большим пальцем нажал на пружину. Но в этот раз огонек не появился, наверно, вышел бензин.

— Забавно, забавно,— сказал капитан.— Жаль, курить нечего.

— У нас тоже ни табачинки,— сказал Ивановский.

Их лица стали серьезными, капитан натянул на плечи свою изодранную куртку. В ощущениях враз ворвалась невеселая фронтовая действительность.

— Давно бедствуете?— спросил капитан.

— Да вот с семнадцатого. Как смяли тогда под Касачевом.

— Ясно. Что ж, пойдем вместе. Вот тут на моей карте обозначен стык, сюда и попробуем сунуться.

Они пробирались еще четверо суток, но никакого стыка в немецкой линии фронта не обнаружили, как, впрочем, не обнаружили и самого фронта. Стояла глубокая осень, листва на деревьях вся облетела, после холодных затяжных дождей наступила ранняя промозглая стужа. Дороги были забиты обозами, автомобилями и вездеходами наступающих тыловых немецких частей. Бойцы устали от многодневной ходьбы по бездорожью, от голода. Некоторых начала донимать простуда, кашель. Лейтенанта не переставали мучить чирьи по всему телу. А потом в группе появился раненный в ногу разведчик, который не мог идти сам, и они по очереди несли его на самодельных, изготовленных из жердей и плащ-палатки носилках. По этой причине они не могли идти быстро, но командир не хотел оставлять разведчика. Это был действительно ценный разведчик, свободно говоривший по-немецки, голубоглазый и светловолосый атлет по фамилии Фих. Ранило его случайно, когда они днем заскочили в деревню, чтобы расспросить о дороге и разжиться чем-нибудь из еды, и уже в самом начале улицы напоролась на немцев. Первого вышедшего из двора немца капитан свалил ударом ножа в шею. Это оказался офицер, и Волох по старой привычке разведчика первым делом схватился за его полевую сумку. Но следом за офицером шли еще двое, один из них выстрелил из пистолета и угодил Фиху в бедро. Хорошо, Балаенко дал очередь, немец упал, и они все бросились наутек, подхватив



раненого, который после этого выстрела не сделал уже ни одного шага по земле. Наверное, немецкая пуля повредила у него какой-нибудь важный нерв, нога обвисла, как плеть. К тому же началось какое-то осложнение, поднялся жар. Длительные переходы причиняли невероятные страдания раненому, повязка все время сбивалась, рана кровоточила; Фих, сжав зубы, страдал, все больше мрачнел и уходил в себя.

Так прошло несколько дней.

Однажды они остановились передохнуть на заросшем дубняком пригорке. Лиственный лес весь уже стоял обнаженный, лишь корявые низкорослые дубки продолжали шелестеть на ветру своей сильно пожелтой, но еще по-летнему густой листвой. Здесь было относительное затишье, дубняк надежно укрывал их от чужих глаз. Как только остановились, разведчики попадали наземь, с молчаливой отрешенностью на изможденном лице лежал на носилках Фих. Волох сидел возле и со-ломиной задумчиво колупал в зубах. Есть было нечего, курить тоже. Двое разведчиков ушли на поиски жилья, чтобы раздобыть какой-нибудь кусок хлеба для раненого.

— Слушай, Фих,— вдруг сказал капитан.— Ты не беспокойся, мы тебя не оставим. Мы тебя вынесем, и все будет ладно. Главное — не падай духом.

— Отдайте мой пистолет,— слабым голосом протянул Фих.

Два дня подряд он непрерывно требовал свой пистолет, который, заподозрив неладное, у него вынул из кобуры Волох. Теперь всякий разговор с раненым начинался и кончался его требованием вернуть пистолет.

— Ну вот, ты опять за свое! Отдам я тебе пистолет. Но сначала надо тебя довести до своих.

— Отдайте мой пистолет! Зачем взяли? Зачем эти заботы? Для оправдания вашей совести? Плюньте, капитан...

Уговорить его было невозможно, капитан понимал это и особенно не уговаривал. Их положение не оставляло места иллюзиям, да они и не нуждались ни в каких иллюзиях. Бездна состояния Фиха была очевидной как для него самого, так и для всех восьмерых в группе, включая старого его друга сержанта Рукавицына, всю дорогу выхаживавшего раненого как только было возможно. Беда, однако, состояла в том, что возможности его были весьма ограничены. Фих таял на глазах, и Рукавицын, по существу, ничем не мог ему пособить. С убитым видом он сидел над товарищем и грязным платком вытирал холодную испарину с его бледного лба.

— Да-а, дела,— сказал капитан.— Что же нам с тобой делать?

Вопрос был почти риторический, никто не мог и не пытался на него ответить. Впрочем, капитан и не ждал ответа, он просто размышлял вслух. Однако на этот раз долго размышлять ему не пришлось — вернулись двое разведчиков и сообщили, что деревень нигде нет, а обнаруженная поблизости сторожка стоит пустая, ничем съестным поживиться там не удалось. Но на обратном пути разведчики видели, как по дороге в соседний лесок одна за другой шли груженные немецкие машины, которые быстро там разгружаются и налегке возвращаются прежней дорогой. По всей видимости, в лесок перебазировался какой-нибудь крупный немецкий склад.

Они, разумеется, знали, что склады могут быть разные: с фуражом, боеприпасами, горючим, вещевым, инженерным или даже химическим имуществом. Но могут быть также и с продовольствием. Наверно, вероятно последнее предположения показалась изголодавшимся бойцам наибольшей, и капитан живо вскочил на ноги.

— А ну где? Далеко?

— Да километра два отсюда.

Они снялись с места и скоро прошли дубнячок, потом обошли по краю овражек, перешли мокроватую луговинку, снова вошли в колючий густой кустарник, на выходе из которого по команде Волоха все разом замерли. Сквозь чащу ольшаника было видно, как по ухабистой, разбитой дороге в редкий сосновый лесок тащились тяжело груженные семитонные «бьюсинги», где-то там они разгружались и скоро бежали вниз, наверно, за новой партией груза.



Капитан сразу сел, где стоял, достал из-за пазухи бинокль. Разведчики опустили наземь носилки с Фихом.

— Ух ты, что там наворочено! Вот это да!— удивился капитан.— Проволокой обносят, так, так. А подходы, в общем, хорошие. Вот бы, когда стемнеет... На-ка прикинь,— сказал он, передавая бинокль Ивановскому. Лейтенант, отыскав в голых ветвях прогалину, направил на лес бинокль. Отчетливо было видно, как там разгружали машины. Работали, кажется, пленные, в некотором отдалении от них маячили темные фигуры в длинных шинелях с винтовками в руках. Под высокими редкими соснами на пригорке вытянулись длинные ряды каких-то громоздких зеленых и желтых ящиков. Несколько ранее сложенных штабелей были укрыты брезентом.

— Интересно, что?— рассуждал капитан.— Но все равно. Устроим фейерверк на всю Смоленщину. Рукавицын, у тебя противотанковая граната цела? Хорошо. А тол ты еще не выбросил, Погребняк? Ракеты надо приготовить тоже. Пригодятся.

Он тут же, в ольшанике, наскоро изложил свой план нападения на склад, распределил обязанности между горсткой усталых, голодных людей. Присматривать за раненым поручили сначала двоим, а потом только одному Рукавицыну. Своим заместителем назначил его, Ивановского. Решили выступить, как только стемнеет.

— Веселенькая будет ночь!— радовался капитан, потирая озябшие руки.— Закурить бы теперь, да нечего.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наверно, лучше будет взорвать. Под проволокой проташить заряд со шнуром, подложить под штабель. Часового отвлечь куда-нибудь в сторону. Как это сделать — Ивановский знал, когда-то учил капитан Волох. Есть несколько способов. Лучше бы, разумеется, вовсе снять часового, но, если объект большой, часовых будет несколько, всех не снимешь.

Так, размышляя, Ивановский небыстро спускался на лыжах с неприметного в ночи пригорка. В снежной темени вообще не рассмотреть было, где пригорочек, а где ложбина, он лишь чувствовал это по весу лыж на ногах, которые то вдруг тяжелели, и появлялась надобность помогать себе палками, то бежали по снегу охотнее. Ивановский все время держал на юг, изредка проверяя направление по компасу. Справа в туманной мгле, то приближаясь к лыжне, то удаляясь от нее; петляла речушка, которую он узнавал по неровному шнуру кустарника на берегу. Слева к ней сбегали окончания невысоких пригорков, которые то и дело приходилось пересекать лыжникам.

Съехав с очередного пологого склона, Ивановский остановился. Лыжи затрещали в каких-то сухих бодьях, и лейтенант поглядел в сторону, чтобы обойти их. Сзади по одному приближались и останавливались его бойцы.

— Ну как?— спросил он на полный голос. Здесь, кажется, уже никто не мог их услышать.

— Угрелись, лейтенант,— тяжело дыша, ответил, подъезжая, Лукашов; белый, заметный даже в ночи пар валил от его грузной фигуры. Судник схватил горсть снега и, подпершись палкой, стал жадно есть. Скоро подъехали Хакимов и Краснокуцкий; еще кто-то спускался по склону.

— Дюбин!— позвал лейтенант.

— Идет, кажется,— не сразу отозвался голос из сумерек, и он подумал, что, если замыкающий тут, значит, все в сборе, можно двигаться.

— Как бы передохнуть, товарищ командир?— с ноткою жалобы спросил Краснокуцкий.

Ивановский вынул часы. Большая стрелка приближалась к двенадцати, малая уже достигла часа.

— Отставить отдых,— сказал лейтенант.— Мы опаздываем.

— Уже поджилки дрожат.

— Втягивайтесь, втягивайтесь. Потом легче будет. Так, за мной марш!

Он боялся отдыхом расколдовать бойцов, по себе знал, как трудно после привала опять набирать прежний темп. Важно было выдержать заданную скорость на протяжении всей ночи, может, даже при надобности увеличить ее. Он знал: скоро должно появиться второе дыхание, и тогда всем станет легче...

Но усталость брала свое, и лейтенант все чаще стал замечать, что взгляд его упрямо клонился к земле и перед глазами начиналось однообразное мелькание лыжных носов. Однажды, с усилием оторвав взгляд от снега и вскинув голову, он обнаружил впереди что-то мрачно-серое, похожее на высокую стену леса. И в самом деле это был лес — преградив им путь, тревожно и тягуче шумели на ветру высокие сосны. Ивановский слегка удивился — на карте в здешних местах не значилось никакого леса, тем более хвойного; он подумал, что, может, потерял направление, и стал поспешно сверяться с компасом. Но нет, все было верно, направление он держал, как и полагалось, точно в двести десять градусов, но почему тогда лес? И как с ним поступить — пройти насквозь, не меняя маршрута, или обойти? И в какую сторону обходить?

— Что, лейтенант, перекур? — спросил Лукашов сзади. Почему-то он подошел раньше Судника, который приотстал так, что едва угадывался в сумерках. Это нарушало установленный им порядок на марше, и у Ивановского вырвалось:

— А почему вы тут?

— Так вон сапер... Надоело на пятки наступать.

Кажется, его лыжники стали растягиваться, это уже никуда не годилось; лейтенант полагал, что по готовой лыжне можно бы идти исправнее. Он упрятал компас в рукав и, напряженно соображая, как поступить с лесом, ждал, когда подойдут остальные.

Спустя пять или даже десять минут подошли Хакимов и Краснокуцкий, остальных не было. Теряя терпение, он подождал еще. Уставшие лыжники, едва оставившись, наваливались грудью на концы воткнутых в снег палок: так отдыхали. Все трудно, прерывисто дышали и хватали руками снег.

— Скоро ли, товарищ лейтенант? — упавшим голосом спросил Краснокуцкий. — Знаете, силы уже не тает...

— Где остальные? — вместо ответа встревоженно спросил лейтенант.

— Да идут. Заяц, наверно, отстал. Ну и старшина там с ним нянькается.

— А Пивоваров?

— Да вон идет кто-то.

Из снежной тьмы, затканной густеющей на ветру крупой, выскользнула еще одна белая тень. Это был Пивоваров.

— Где остальные? — спросил лейтенант.

— Не знаю. Сзади никого вроде, — бодро ответил боец. — Я там с креплением провозился...

— Ладно. Пошли.

Лейтенант не мог больше ждать. Старшина не новичок в подобных делах, он не должен отстать. Опять же на снегу ясно видна наезженная лыжня, пусть догоняет. И лейтенант свернул вправо, вдоль боровой опушки, в обход леска. Лезть в него напрямик он не решился, чтобы где-нибудь невзначай не набрести на овраг или бурелом, а то и просто не застрять в чащобе. Все-таки на лыжах ночью по лесу идти не годилось.

Но он не знал и как обойти его и брел наугад вдоль неровной извилистой опушки, повторяя лыжней все замысловатые ее извилины. Шли гораздо осторожнее, чем в поле, под соснами в зарослях молодняка все время что-то мерещилось, казалось, какие-то тени, фигуры людей. Но приблизившись, он всякий раз обнаруживал, что это были молодые сосенки.

Между тем ветер усиливался, теперь он почти все время дул навстречу. Тонкая бязь маскхалата пузырилась на спине, порой хлопая, словно парус. Лейтенант почувствовал, как у него заметно поубавилось прыти, а с ней убыло и уверенности в правильности его направления. В остальном он не сомневался. Он то делал энергичный рывок, то вдруг переходил на умеренный шаг, с большей, чем сле-

довало, осторожностью оглядываясь по сторонам. Время от времени он прислушивался к звукам сзади, стараясь определить, не догоняют ли их отставшие Заяц с Дюбиным.

Но Дюбин все не нагонял их, а лес внезапно оборвался, они наконец достигли западной его оконечности. Далее хвойная опушка сворачивала на юг и, закругляясь, отступала куда-то к юго-востоку. Этого только и ждал Ивановский. Он даже вздохнул с облегчением и, остановившись, вогнал в снег палки: надо было сориентироваться с картой.

— У кого там?.. Пивоваров, у вас палатка?

— У меня, товарищ лейтенант.

— Давай сюда.

Не сходя с лыж, Ивановский присел на снег, Пивоваров тщательно накрыл его плащ-палаткой — сделалось необычайно темно после мелькающей белизны снега и тихо. Слабым пятнышком света из фонарика лейтенант повел по измятому листу карты. Все стало ясно.

Река здесь делала большой изгиб в сторону, потому он потерял ее в темени и наткнулся на лес. Но вряд ли была такая надобность следовать ее речной прихоти, наверно, разумнее было взять сразу на юг и тем срезать порядочный крюк. Правда, без реки труднее будет сориентироваться в ночи, тем более что карта допускала неточности. Сосновый лес, который они обошли, вовсе не был обозначен на ней, топографы ограничились лишь нанесением здесь мелких кружочков, обозначающих кустарники. Когда-то это, может, действительно было кустарником, а теперь вон какой лес вымахал, разросся на добрых два километра в длину и едва не ввел его в заблуждение.

Поняв, где находится, лейтенант сбросил с себя палатку.

— Старшины нет?

— Нет еще. Может, подождем? — спросил Лукашов.

Пристально, с последней надеждой Ивановский взгляделся в ночь, вслушался, но сзади никого не было. Продолжительное отсутствие старшины начало всерьез тревожить, появились разные нехорошие предположения, но он гнал их, стараясь сохранить уверенность, что Дюбин догонит. Теперь же надо было двигаться дальше и нужен был замыкающий. Старшим в группе по званию после командира был сержант Лукашов, и лейтенант решил:

— Лукашов, пойдете замыкающим. И чтоб никаких отставаний! Поняли?

— Понятно, — твердо ответил сержант, сступая с лыжни, чтобы пропустить мимо себя остальных.

— Вперед! Еще пару рывков — и мы у цели.

...Тогда они тоже были почти у цели.

Еще не стемнело, как на влажную землю начал падать мокрый снежок. Было тихо. Сначала он шел реденький, пушистый — красивые ажурные снежинки картинно кружились в воздухе, плавно оседая на землю. Затем снегопад начал усиливаться и к вечеру повалил мокрыми хлопьями, повисая на ветках, густо облепляя головы, плечи, рукава бойцов. Разведчики терпеливо сидели в кустарнике и ждали. За несколько часов неподвижности все сильно продрогли. Раненого Фиха укрыли мокрой плащ-палаткой, и он тихо стонал под ней в забытьи. Перед самыми сумерками Волх и еще один разведчик, сержант Балаенко, отправились понаблюдать за складом; из кустарника уже мало что было видно.

Четверть часа спустя запыхавшийся Балаенко прибежал к группе: капитан приказал Фиха с одним разведчиком оставить в дубнячке, а остальным выдвигаться на опушку. Они вскочили и вскоре прибыли к своему командиру. До склада отсюда было рукой подать, но снегопад и наступившие сумерки неплохо скрывали их. Сосредоточенный капитан решительно объявил, что действовать начнут сейчас же, не дожидаясь ночи, когда бдительность часовых еще ослаблена не улегшейся дневной суетой. Никто не возразил командиру, разведчики внимали каждому его слову и все исполняли молча и в точности. Ивановскому же в этой диверсии все было ново



и необычно, он целиком полагался на капитана и тоже старался поточнее выполнять все его команды.

— Как раз кстати снежок, — сказал лейтенант, устраиваясь подле Волоха. Тот повернул недовольное, озабоченное лицо.

— Не очень-то кстати. Нас не видать, но и мы ни черта не видим.

Трудно было угадать, как лучше, однако снег не переставал, и капитан решил действовать. Четверых с трофейным пулеметом МГ под началом Ивановского он оставил на опушке с задачей прикрытия на случай неудачного отхода, а сам с двумя разведчиками, забрав гранаты, отправился к рошице. Никакого прощания не было, просто Ивановский проводил их несколько задержавшимся взглядом, пока все трое один за другим не исчезли в сгустившихся, мельтешащих сумерках. Тихонько зарядив пулемет, он остался ждать на опушке.

Какое-то время впереди было темно и тихо, медленно тянулись минуты тягостного, напряженного ожидания. Мысленно Ивановский следовал за капитаном, живо представляя себе, как тот преодолевал открытый участок поля, подходил к опушке. Наверно, потом он остановится, чтобы осмотреться. Но что это?..

Из ветреной снежной тьмы вдруг донесся какой-то странный крик, за ним следом — второй, и, прежде чем Ивановский успел сообразить что-либо, круша все сомнения, бабахнул близкий винтовочный выстрел. Тут же вспорхнувшая над верхушками сосен ракета немного осветила на белой земле — снегопад густо заткал ночное пространство, но Ивановский понял: замысел капитана сорвался.

Наверное, надо было прикрывать отход, может, отвлечь огонь на себя, но он не знал, где капитан и почему тот ни единым выстрелом не ответил на огонь часовых. Однако, когда откуда-то от дороги вдоль опушки роши стеганули трассирующие пулеметные очереди, он не сдержался и ударил из МГ навстречу, наугад, в то место во тьме, где возникали эти светящиеся трассы. Он с нетерпением ждал появления Волоха и выпустил лишь одну очередь по немецкому пулеметчику — у них маловато было патронов, всего одна лента, надо было экономить. Он ждал, что вот-вот три знакомых силуэта вынырнут из темноты, и тогда они пустятся прочь от этой проклятой базы. Но шли минуты, а из темноты никто не выскакивал, и лейтенант вынужден был ждать. Рядом в снегу лежал его боец Толкачев; окликнув его, Ивановский махнул в сторону роши, и тот, вскочив, послушно побежал в затканное снегопадом поле.

Ракеты над рошей горели не переставая, фланговые трассы неслись куда-то в определенное место, наверно, немецкий пулеметчик знал, куда метил. Ивановский с колена еще выпустил очередь наугад, и тогда весь этот недалекий край роши загрохотал выстрелами — похоже, охрана заняла оборону и всерьез отражала нападение. В таком случае, не мешкая, следовало отходить. Но капитана все не было, и недоброе предчувствие сдавило Ивановскому горло.

Он сразу заметил чье-то появление в поле, в неверном мерцающем свете ракеты сквозь снег впереди мелькнула шаткая тень; в то время как другая упала, эта мгновенно выросла до гигантских, на все поле, размеров; облетая ее, с двух сторон на опушку неслись пулеметные трассы. В несколько прыжков тень, однако, достигла опушки, и сквозь шум стрельбы Ивановский услышал:

— Капитана убило!

— Стой! — крикнул он и вскочил сам. — Стой!

Это был боец Фартучный, в общем неплохой разведчик, может, даже больше других любимый капитаном Волохом, но теперь, охваченный непонятным испугом, он сломя голову мчался из-под огня. Сообщенная им весть о несчастье, однако, не могла сразить лейтенанта, тот ничего хорошего уже не ждал; правда, чтобы погиб капитан Волох, он не мог себе даже представить.

— Стой! Назад!

Сам он, подхватив пулемет с тяжелой, свисавшей до самого снега лентой, бросился в поле. Осклизая на присыпанных снегом неровностях, минуту бежал в ту сторону, откуда появился Фартучный. Не оглядываясь, он знал, что Фартучный вернется и побежит за ним, иного не могло быть. Ракеты светили, казалось, со всех



сторон, Ивановский уже не скрывался от них и с короткой остановки запустил длинную очередь по опушке рощи, чтобы вынудить немцев поберечься, залечь. В этот момент Фартучный проворно обогнал его и тотчас скрылся впереди за снежной завесой.

Ивановский тоже вскочил с колена, чтобы бежать за бойцом, но при свете вспыхнувшей над полем ракеты увидел несколько близких теней, которые, пригнувшись, бежали от дороги вдоль складской изгороди. Испугавшись, что они перехватят Фартучного, он второпях запустил по ним последней своей очередью, и когда опустевший конец металлической ленты выскочил в снег, бросил ставший ненужным ему пулемет и выхватил из кобуры ТТ. Но он уже увидел своих — двое, пригнувшись, с усиленным волокли третьего. Он подбежал к ним.

— Жив?

— Где там! Убит! — крикнул Фартучный. — Проклятый часовой! Надо же...

Отстреливаясь, они изменили направление, долго бежали в кустарнике, и, лишь уйдя километра на три, в каком-то леске перевели дыхание. Капитан был убит поповал, нести его с собой не имело смысла, и они, торопливо разрыхлив ножами мокрую, с листвою землю, выгребли ямку и кое-как присыпали в ней командира. Пропал также один из разведчиков, уходивший с Волохом; было неизвестно, то ли он тоже убит там, то ли, может, отбился куда в сторону. Но ждать они не могли, с каждой минутой сзади могла появиться погоня, уйти от которой с раненым Фихом было непростое.

Проклиная злосчастный склад и их сегодняшнее невезение, Ивановский повел маленькую группу на север — прочь от этой злополучной рощи, польхавшей в ночи ракетами, отсветы которых еще долго сопровождали бойцов. На душе у лейтенанта было мутно, то и дело подступала злость и дожимало отчаяние. Нет, он не осуждал капитана, наверное, сам на его месте поступил бы так же. Но было до слез обидно, что нелепая слепая случайность так здорово поспособила немцам. Не наткнись в снегопаде Волох на часового, наверно, все бы вышло по-другому...

Значит, надо осторожнее. Надо действовать во сто крат осмотрительнее, тем более ему, Ивановскому, который теперь был ответствен не только перед самим собой...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Миновал лес, лейтенант опять вывел группу на равнинную приречную пойму, и лыжники утомительно долго шли по прямой, никуда не сворачивая. Здесь уже не было ни подъемов, ни спусков, лыжня шла ровно, по глубокому снегу, и Ивановский все время с заметным усилием налегал на палки. Лыжи в рыхлом снегу зарывались глубже, чем следовало для быстрой ходьбы, скольжение было неважным. Прокладывая лыжню, командир брал на себя наибольшую в данном пути нагрузку, и где-то к полуночи почувствовал, что стал выдыхаться. На нем уже все было мокрым, белье не просыхало от пота, горячее дыхание распирало грудь, стала дожимать жажда. Но он не хотел есть снег, знал: влага обернется излишним потом, а это лишь уменьшит выносливость и никак не прибавит сил, которых ему понадобится еще ой как много.

Быстро шло время, а Дюбин все не догонял группу, и лейтенант терялся в догадках: что с ним случилось? Но, видно, надо перестать о нем думать — если не догнал раньше, то теперь не догонит: они отмахали половину пути, если не больше. У лейтенанта всякий раз сжималось сердце от мысли, что их становилось все меньше. Еще не дошли до места, а уже четверых не стало. Но он не мог, просто не имел права терять время на поиски или ожидание.

Ивановский намеренно редко поглядывал на часы, он начал бояться неумного хода времени и все свои силы вкладывал в бег, стараясь не очень отвлекаться на прочее. Наверно, по этой причине он как-то не сразу заметил, что значительно

усилился ветер, у ног закрутила поземка, кажется, начал идти снег. Несколько сильных порывов ветра так стегнули снежной крупой по лицу, что лейтенант задохнулся. Вокруг стало темней и глуше. И без того узкое ночное пространство еще сузилось, растворилось в серых ненастных сумерках. Ночных пятен по сторонам значительно убавилось. А тут еще и ветер ударил снегом в лицо, похоже, начиналась вьюга. «Не вовремя», — тревожно подумал лейтенант, сильнее заработав палками. Лыжи его уже совсем утопали в снегу, выставляя на поверхность лишь острия загнутых носков. Стараясь выдерживать направление, Ивановский почти не глядел вниз на снег, надо было как можно дальше видеть в ночи, в этом состояла одна из его обязанностей направляющего. Другие наблюдали по сторонам: замыкающий Лукашов отвечал за безопасность с тыла. Разумеется, в этой темени легко было напороться на немцев, но больше, чем неожиданной встречи с ними, он боялся опоздать. Метель или вѣдро, а к утру, еще затемно, они должны быть на месте. Днем им там делать нечего.

Но, видно, река опять ушла в сторону, впереди засерело что-то громадное, неровным туманным бугром проступившее из тьмы. Вьюга вовсю гуляла над полем, и сквозь нее невозможно было определить, что это такое. Тем не менее оно было как раз на пути группы, Ивановский понял это сразу. Он теперь чаще, чем прежде, прикладывался к компасу, выверяя маршрут. Сзади ни на шаг не отставал Судник, держался поблизости и остальные.

То, что еще издали привлекло их внимание, вблизи оказалось какой-то постройкой — окраинной усадьбой хорошего, Ивановский сильно оттолкнулся палками, соблазнительно было завернуть туда хотя бы напиться, но Ивановский, поняв, что перед ним, сразу взял в сторону, в обход. Он суеверно боялся всего, что могло отвлечь их от главного теперь дела и отобрать время.

В ненастье завьюженного пространства трудно было определить, на каком расстоянии от них был этот хутор. Всего какую-нибудь минуту он темнел в стороне и уже готов был исчезнуть, как сквозь метель откуда-то донесся крик. Лейтенант не сразу понял, кто и даже на каком языке кричит, но затем от построек послышался лай собаки. Не ожидая ничего хорошего, Ивановский сильно оттолкнулся палками, делая решительный рывок в сторону, и тотчас ветреную тишь ночи разорвала приглушенная вьюгой пулеметная очередь. Трассирующие светляки пуль прошли сумерки над головой, чиркнули по самому снегу и унеслись прочь. Вздвогнув от неожиданности, лейтенант пригнулся и изо всех сил рванул дальше, вперед в темь. Откуда-то сбоку сквозь вьюгу вдруг вспыхнул свет, снежинки густо забелели в его неярком пятне, но это не была ракета — скорее, где-то включили фары. И снова в воздухе пронеслись огненные жгуты пуль — густая, длинная очередь с широким рассеиванием прошла по полю. Лейтенант оглянулся на лыжников — Судник, как и всегда, держался вплотную; за ним, пригибаясь, быстро шли остальные. Неяркий дальний свет фар все-таки заметно подсвечивал поле, вырывая из серой тьмы белые силуэты людей; с хутора, наверно, их можно было заметить. Когда совсем близко снова за сверкали трассы, он негромко крикнул: «Ложись!», почему-то больше всего испугавшись за ношу Судника, и сам мягко упал на бок. Но он опоздал. Лежа в снегу, он уже чувствовал, что ранен, ногу коротко обожгло выше колена, теплая мокрядь начала расплываться в брюках. Но особенно сильной боли он не почувствовал, сжав зубы, подвигал ногой — вроде терпимо. Рядом, трудно дыша, втиснулся в снег Судник.

— Бутылки! Бутылки береги! — громко шепнул он бойцу, опять с необычайной отчетливостью понимая, что, если попадут в бутылки, все они тут же погибнут. Судник лежа тащил со спины вещмешок, вмял его в снег, прикрывая собой опасную для всех ношу.

Четверть часа они, замерев, лежали в снегу.

Как только трассы погасли, лейтенант сделал попытку вскочить на ноги и, к радости своей, обнаружил, что нога слушается. Пригнувшись на лыжах, он снова рванул в ночь — изо всех сил в сторону от очереди и слепящего света фар. Хорошо, порывы ветра со снегом все-таки скрывали их даже в подсвеченном дальним светом

пространстве, и он проскочил еще метров сто. Хутора уже вовсе не было видно, фары, помигав вдали, как-то потускнели, но по-прежнему светили сюда. Новая очередь прошла темноту сзади, но ее трассы ушли далеко в сторону.

Кажется, они вырвались из самой опасной зоны. Лейтенант спохватился, что оторвался от своих, оглянулся. Сзади кто-то нерешительно копошился в сумерках, но не догонял — по-видимому, они сбились с его лыжни. Тогда он придержал лыжи, присел, тихонько окликнул бойца и медленнее, чем прежде, заскользил в темноту, прочь от этого проклятого хутора.

Скоро он наткнулся на опушку леса или кустарника и остановился: надо было собрать бойцов. Нога болела все больше, но боль пока была терпимой, видимо, пуля задела лишь мякоть. Хутор молчал. Совсем рядом темнел голый, засыпанный снегом кустарник, в котором чернели молодые елочки — в случае чего там можно было укрыться. Ивановский не переставал удивляться бдительности немцев. Хотя, кажется, выдали его собаки. Глупые псы, разве они знали, на кого лаiali. Впрочем, было бы хуже, если бы он вовремя не отвернул от этого хутора. Все-таки они его обошли, хотя, по-видимому, и не настолько далеко, чтобы их не заметили. А теперь что же делать? Он чувствовал быстро усиливающуюся боль в ноге, в брюках стало совсем уже мокро, намочка даже портянка в сапоге, надо было перевязать. Но он молчал и не двигался — он ждал, пока подойдут остальные.

Первым из темноты неожиданно вынырнул Судник, потом появилась тонкая фигура Пивоварова; несколько позже, пригибаясь и размашисто работая палками, примчались из метели еще двое. Все остановились возле командира и настороженно оглядывались назад. Порывистый ветер крутил в воздухе редкой снежной крупой, осыпая ею лыжи, маскхалаты, лица бойцов.

— Кого еще нет? — тихо спросил лейтенант.

— Хакимова нет, — сказал Лукашов, не оборачиваясь. Все гляделись в сторону злополучного хутора.

— Сволочи! И как они учуяли? Кажется, так тихо шли, — выругался Краснокуцкий.

— Вот еще бедствие — псы эти. Добро бы немецкие, а то, поди, наши, русские.

— Под немцем все псы немецкие. Тут они нам не товарищи.

Лейтенант едва стоял, расслабив раненую ногу, и молчал. Он все более мрачнел, сознавая свое положение и тревожась из-за продолжительного отсутствия Хакимова. Было совершенно ясно, что эта задержка им дорого обойдется, но и оставлять бойца он тоже не мог. И лейтенант после недолгого ожидания спросил Лукашова:

— Где он исчез? Когда лежали или потом упал?

— Как лежали, был. А потом не углядел вот.

— Езжайте и найдите. Мы здесь ждем.

Лукашов молча двинул в метель, а Ивановский постоял немного и свернул на опушку, зашел за молодые, обсыпанные снегом елки. Здесь крутило, словно в аэродинамической трубе, — тучи снега вихрем носились в темени, со всех сторон задувал ветер. Лейтенант быстро развязал тесемки маскхалата, расстегнул брюки. Холодные руки сразу ощутили загустевшую кровь, он разорвал шуршащую обертку пакета и туго перетянул ногу повыше колена. Было чертовски больно, но он вытерпел, подавил вздох и быстро оделся. Снегом тщательно вытер руки — никто не должен заметить, что он ранен, это теперь ни к чему, тем более что рана пустяковая, в общем. Придется потерпеть молча.

Черт, как все произошло несуразно, прямо-таки хуже некуда. На ум сразу пришло народное поверье, что дело с неудачным началом обречено на еще худший конец. У него началось куда как неудачно. Что же будет в конце?

Припав к земле, бойцы терпеливо ждали, сжимая в руках забинтованные стволы оружия. Он тоже подождал немного, потом вынул часы. Те исправно, как ни в чем не бывало делали свое дело, показывая половине третьего. Минута большая часть ночи. Немало прошли и они, но километров двадцать еще оставалось. Если только он не потерял направления. Заметавшись под этим обстрелом, он ни о каком направлении, конечно, не думал; теперь надо было исправлять положение.

Он сориентировал компас. Визир, установленный на двести десять градусов,



указывал в кустарник. Во тьме вьюжной ночи ни зги не было видно, и он решил, что, по-видимому, придется продирается сквозь заросли. Иначе недолго совсем заплутать. Или попасть в лапы к немцам.

— Тсс!

Из мрака донесся чей-то слабый неясный голос, Краснокуцкий поднялся на лыжи и, пригнувшись, шагнул куда-то. Минут пять оттуда больше ничего не было слышно, а потом во тьме что-то мелькнуло и завожилось, белое и неуклюжее. Ну, конечно, двое, согнувшись, волоком тащили Хакимова.

Они все разом вскочили на ноги, схватились за палки. Но помощь уже не понадобилась. Лукашов с Краснокуцким дотащили Хакимова и тут же упали коленями в снег. Лукашов, устало дыша, сказал:

— Вот. Едва нашел. Палка одна воткнута была. Его палка. Смотрю, торчит. А он через десять шагов. Уже снегом заметать стало.

— Что, жив?— спросил лейтенант.

— Жив, но плох. В спину его ударило. И в живот, кажется.

Час от часу не легче. Еще один! Несчастный Хакимов. Такой старательный, подвижный, внимательный парень. Он с первой встречи понравился командиру: немногословный, сообразительный. Но что же теперь с ним делать?

— Так. Быстро перевязаты!

— Я тут немного обмотал. По кухвайке. Без памяти он...

Пока двое возились в снегу, перевязывая раненого, Ивановский, расслабив простреленную ногу, растерянно смотрел в темень. Конечно, Хакимова придется тащить с собой. Но как? И до каких пор? И что делать с ним завтра? Все было трудно, неясно и очень скверно, но лейтенант старался не выдать своего затруднения. В том деле, на какое они шли, он должен знать все, все уметь и быть для других воплощением абсолютной уверенности.

— Так. Перевязали? Делайте связку из лыж. Что, не знаете, как? Пивоваров, давай палатку!— с деланной бодростью закомандовал лейтенант.

— Да разве утащишь так?— усомнился Краснокуцкий.

— Утащишь. Снимай с винтовки ремень. Давай кто брючный свой. С него тоже все ремни снимите. Заберите патроны. Все, все. И гранаты тоже. Судник, заберите гранаты. Теперь берите вдвоем. Один за ремень, так. Вы, Пивоваров, страхуйте сзади. Смелее, смелее, не бойтесь.

Кое-как уложив на связку лыж раненого, они проволокли его на опушку. Получилось не ахти как — громоздко и неустойчиво, лыжи разъезжались на снегу, а тело раненого все время норовило завалиться на бок. Сзади тянулась глубокая борозда в снегу. Неизвестно, как далеко можно было так тащить.

Но другого выхода у них не было. Отсюда к своим не отправишь, а оставить негде. Конечно, теперь придется повозиться. Теперь уже вряд ли они успеют к утру...

Они нерешительно полезли в кустарник. То и дело останавливались, поправляли лыжи, едва удерживая на них Хакимова. Тащил Краснокуцкий; Пивоваров, согнувшись, подталкивал и придерживал. Лукашов, идя сзади, иногда помогал, тихо понукая обоих. Лейтенант, то и дело оглядываясь, шел впереди.

К счастью, кустарник не завел их в лес, как того опасался Ивановский, и спустя полчаса они снова оказались в поле. Ветер здесь еще усилился, гуляла поэмка. Насквозь пересыпанные снегом, они выбрались на чистое и остановились, чтобы перевести дыхание.

— Так что же делать, лейтенант?— озабоченно выпрямился сзади Лукашов.— Так мы его и будем тащить?

— А что делать? Что вы предлагаете?— с нескрываемым раздражением спросил лейтенант.

— Может, оставили бы где? Если в деревне какой? Или, скажем, в сарае?

— Нет, не оставим,— твердо сказал Ивановский.— Перестаньте об этом и думать.

— Ну что ж, нет так нет,— вдруг согласился Лукашов.— Только далеко ли идем так?



— Надо быстрее,— встрепенулся лейтенант.— Изю всех сил быстрее! По-няли?

Не оглядываясь и заметно припадая на правую ногу, он пошел в темень. За ним тронулись на лыжах остальные.

Все подавленно и устало молчали.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Прежний темп этой сумасшедшей гонки был безвозвратно утерян, который час они брели в метели, как сонные мухи, и лейтенант заботился лишь о том, чтобы не потерять направления. То и дело он останавливался, надо было свериться с компасом и подождать волокушу с Хакимовым. Краснокуцкий с Пивоваровым выбивались из сил. Да и сам лейтенант шатался от усталости, в голове пьяно кружилось от ветра, тяжело давило на плечи оружие, все сильнее болела нога. Но он по-прежнему шел впереди, и Судник, на удивление, от него не отставал. Боец был нагружен сверх всякой меры: кроме своих бутылок, нес еще три килограммовые гранаты Хакимова, его винтовку, которую они не решились бросить, и его вещмешок.

Как-то в темноте им попался в пути занесенный снегом стожок, завидя который лейтенант свернул с прямой и через минуту обессиленно ткнулся плечом в пересыпанное снегом, но по-прежнему пахнущее летом и солнцем сено. Ноги его на лыжах как-то скользко поехали в сторону, и он мягко сполз телом в запыренный сеном сугроб. Несколько секунд лежал в сладостной неподвижности, зажмурившись и ощущая, как все под ним закружилось в каком-то сонном, бездумном вращении. Испугавшись, что тотчас уснет, он огромным усилием воли заставил себя подняться. Нет, кажется, никто не заметил этой его минутной слабости, которой он устыдился в тот момент больше чего-либо другого. Тем временем пришел к стожку Судник, подтащили палаточную волокушу с Хакимовым. Последним тоже устало вылез из сумерек Лукашов. Все молча попадали под стожок.

— Много еще?— с трудом выдавил замыкающий.

— Немного, немного,— с деланной бодростью сказал лейтенант.— Но надо спешить. Там шоссе, его мы должны перейти до рассвета. Днем ничего не выйдет.

— Так, все ясно,— сказал Лукашов.— Тогда потопали.

— Да, надо идти,— подтвердил лейтенант, однако не находил в себе сил сразу оторваться от мягкого бока стожка.

— Ну, взяли саночки. Раз, два!— скомандовал Лукашов, и лейтенант не в первый раз мысленно отметил, что этот сержант все увереннее стал командовать в группе. Он и в пути все покрикивал на остальных, подгонял, указывал. Занятый определением маршрута и наблюдением за местностью впереди, Ивановский до сих пор просто не думал, хорошо это или плохо. Впрочем, как замыкающий сержант вполне его устраивал. Замыкающий из него был отличный, у такого наверняка никто не отстанет.

— Так, встать! Встать!— негромко, с привычной настойчивостью понукал Лукашов, сам уже ставший на лыжи и готовый двинуться. Краснокуцкий с очевидным усилием поднялся, закинул за плечо ременную лямку от волокуши. Один Пивоваров остался сидеть, привалясь боком к стожку, и не шевелился.

— Ну а ты что? Особого приглашения ждешь? Пивоваров!

Пивоваров слабо поворочился и не встал.

— Что это с вами?— спросил лейтенант.

— Я не могу,— с обезоруживающей откровенностью сказал боец.

— То есть как — не могу?

— Не могу. Оставьте меня.

— Вот это да!— удивился Ивановский.— Ты что, шутишь?

— Дурит он, а не шутит,— убежденно сказал Лукашов и прикрикнул:—

А ну встать!

Тонкий, слабосильный Пивоваров, видно, не рассчитывал на такую дорогу и

уже дошел до предела в своих и без того не очень больших возможностях. Вряд ли из него можно было еще что выжать, но и оставлять его под этим стожком тоже никак не годилось.

— А ну поднимайтесь!— строго скомандовал Ивановский.— Сержант Лукашов, поднимите бойца!

Он не мог ничего другого, кроме как по всей строгости употребить свою власть,— только она одна и могла тут подействовать. Лейтенант, разумеется, сознавал всю бессердечность своего далеко не товарищеского требования, понимал, что этот, в общем, послушный и исполнительный боец заслуживал лучшего с ним обращения. Но в этой дороге Ивановский перечеркнул в себе всякую дружескую сердечность, оставив лишь холодную командирскую требовательность.

Лукашов подступил к бойцу и вырвал из снега палку.

— Слыхал? Встать!

Пивоваров расслабленно зашевелился, начал вставать, как бы раздумывая, едва превозмогая в себе усталость, и Лукашов вдруг вскипел:

— Кончай придуриваться! Встать!

Сильным рывком за ворот сержант попытался поднять бойца на ноги, но Пивоваров лишь завалился на спину, вскинув вверх ногу с лыжей. Лукашов дернул еще — боец серым бессильным комком скорчился в поднятом им снежном вихре.

Не осилив в себе странного, не в ладу с его желанием вспыхнувшего чувства, лейтенант резко перекинул на разворот здоровую ногу.

— Отставить! Лукашов, стой!

— Чего там стой! Нянькаться с ним...

— Так, тихо! Он не притворяется. Пивоваров, а ну... Пару глотков...

Ивановский снял с ремня флягу, всю дорогу береженную им на потом, на завтрашний день, который, по всей видимости, придется провести в снегу и неподвижности, да еще на обратный путь, а он, вполне возможно, будет похуже этого. Даже наверняка будет хуже. По крайней мере, их теперь не преследовали, их просто не обнаружили, ночь и метель надежно скрывали их след. А что будет завтра? Вполне может случиться, что завтра они будут с нежностью вспоминать эту обесшлешую их ночь. Но как бы там ни было сегодня, а не дойдут в срок — просто не будет у них никакого завтра.

Пивоваров несколько раз глотнул из фляжки, посидел еще, будто в раздумье, и, пошатываясь, встал.

— Ну и хорошо! Давайте сюда винтовку. Давайте, давайте! А вещмешок возьмет Лукашов. Возьмите, сержант, у него вещмешок. Совсем мало осталось. Самый пустяк. До рассвета укроемся в ельничке, разведем, высмотрим и вечером такой тарарам устроим. На всю Смоленщину! Только бы вот Хакимова дотащить. Как он там, дышит?

— Дышит, товарищ лейтенант,— сказал стоявший в своей ременной упряжке Краснокуцкий.— А может, оставить бы, а, товарищ лейтенант? Зарыли бы в стожок...

— Нет!— жестко сказал Ивановский.— Не пойдет. А вдруг немцы? Тогда как: нам жить, а ему погибать? Что тогда генерал скажет? Помните, он наказывал: держитесь там друг за дружку, больше вам не за кого будет держаться.

— Так-то оно так,— вздохнул Краснокуцкий.— Да только бы не напрасно тащили...

Это верно, подумал Ивановский, вполне возможно, что и напрасно. Скорее всего именно так и будет — сколько времени боец не приходит в себя. Да еще эта тряска, холод, закованность, и все. А бойцы, которые тащат его, могут выдохнуться раньше, и тогда всем будет плохо. Ивановский, не признаваясь даже себе, начал смутно чувствовать, что Хакимов медленно, но верно волею фронтовой судьбы превращался из хорошего бойца и товарища в невольного их мучителя, если не больше.

А ведь это был их товарищ, которому лишь по слепой случайности выпало стать жертвой, подобной той, какой стали Шелудяк или Кудрявец. Но разница между Хакимовым и ими состояла в том, что те, погибая, оставили в их душах

благодарность и скорбь, Хакимов же чем дальше, тем больше вызывал нечто совсем другое. В то же время было совершенно понятно, что вся его оплошность заключалась лишь в том, что его организм упорнее противостоял смерти. Наученный собственным горьким опытом, лейтенант великолепно понимал, какое это бедствие — раненый в группе. Теперь они, безусловно, опоздают, не смогут затемно перейти шоссе, застрянут в снегу на безлесье, где их легко могут обнаружить немцы. Но как Ивановский ни мучился от сознания столь безрадостной перспективы, он не мог допустить и мысли о том, чтобы оставить раненого. Долг командира и человека властно диктовал ему, что судьба этого несчастного, пока он жив, не может быть выделена из их общей судьбы. Они должны сделать для него все, что сделали бы для себя. Это было законом для разведчиков Волоха, таким оно остается и в группе Ивановского.

Как и все в группе, ее командир совершенно вымотался за эту чертовски трудную ночь. Превозмогая несильную, но ежесекундную боль, он едва двигал раненой ногой. Тем не менее, скрыв от остальных свое ранение, он оставался в глазах бойцов равным со всеми в своих физических возможностях, и это без скидки налагало на него равные с прочими обязанности. С некоторых пор он начал чувствовать в себе некоторую неловкость оттого, что, вынуждая других на сверхчеловеческий труд, сам шел налегке, взяв в качестве дополнительной ноши лишь винтовку Пивоварова. Долг товарищества требовал честно разделить с остальными все тяготы.

Они обошли опушку хвойного леса и снова двигались речной поймой, которая казалась Ивановскому относительно безопасным участком пути. На карте здесь значились только луга, кустарники или болота, деревень поблизости не было, и встреча с немцами была наименее вероятной. Две переметенные снегом дороги они перешли благополучно, теперь оставалась последняя — большое и, конечно, никогда не пустующее фронтальное шоссе, перейти которое возможно лишь ночью. Но до шоссе еще было километров пять, и лейтенант, шатаясь от усталости, подождал в темноте Краснокуцкого.

— Ну как?

— Да вот скоро вытянусь. Дали бы глотнуть, что ли?

Лейтенант дал ему флягу, тот сделал несколько затяжных глотков.

— Ну, лучше?

— Вроде бы. Скоро зашабашим?

— Скоро, скоро. Давайте помогу. Вдвоем поташим.

— Да ну, какое вдвоем! Только маяться будем. Уж я как-нибудь... Вроде буран стихает.

Лейтенант огляделся и, к удивлению своему, обнаружил, что буран действительно почти стих. Черное небо поднялось, отслоясь от земли, внизу лежало спокойное белое поле, странно вспучившееся сочной ночной белизной, по сторонам опять проступила кружевная вязь кустарников с редкими кляксами молодых елочек. По-видимому, близилось утро. Отекшей рукой Ивановский достал из кармана часы — было четверть седьмого.

— Ого! Еще рывок, и конец. Привал до самого вечера.

Новое беспокойство на короткое время придало сил, и лейтенант энергично задвигал лыжами. Шли вдоль низкорослого, черневшего на снегу верболоза. Не унималась вспыхнувшая досада оттого, что так не вовремя стихла метель, которая теперь была бы куда как кстати. Без нее перейти шоссе будет труднее, тем более если они запоздают. По всей видимости, им не хватает какого-нибудь часа темноты, и этот час может решить все. Генерал в коротком напутствии перед выходом настойчиво советовал максимально использовать темноту — только ночь сулила им какую-то надежду на успех; днем, обнаружив их, немцы, конечно, постараются истребить всех до единого. А ночью они еще смогли бы оторваться и уйти. Что это именно так, лейтенант отлично понимал без доказательств, но все-таки он был признателен генералу за его заботу и добрый совет, в которых чувствовалось что-то совсем не генеральское, а скорее отцовское по отношению ко всем им и к



лейтенанту тоже. Безусловно, они тоже понимали, что на них возлагалось. С этой ночи они становились единовластными хозяевами своей судьбы, потому что в трудную минуту помочь им не сумеет никто — ни генерал, ни сам господь бог. Но всю дорогу в снежной круговерти этой суматошной ночи лейтенант нес в себе немеркнущий огонек благодарности генералу за его человеческое участие. Этот огонек грел его, вел и таил в себе желанную надежду на успех...

Три дня назад, околавываясь при штабе после выхода из немецких тылов, Ивановский более всего боялся попасть на глаза именно этому придирчивому, строгому и всевластному генералу, начальнику штаба. Да и не только он — многие в тихой лесной деревеньке, где размещался штаб, с немалой опаской проходили мимо его высокой, с резными наличниками избы. Генерал был беспощадно строг ко всем подчиненным, а здесь, разумеется, все, кроме разве командующего, находились в его прямом подчинении. Одному богу было известно, за что он мог в любую минуту придрататься: генерал не терпел празднующихся, нарушителей формы одежды и маскировки, тех, кто не так быстро, как ему хотелось, исполнял или передавал приказание — мало ли за что может придрататься к подчиненному строгий начальник в армии! Как-то Ивановский явился невольным свидетелем, как генерал распекал одного полковника за отсутствие каких-то данных на участке левого фланга и как после этого полковник, в свою очередь, разносил командира разведроты, две разведгруппы которого не возвращались из-за линии фронта, хотя миновали все сроки их возвращения.

Ивановский здесь был случайным, чужим человеком. За время своей неслышном продолжительной армейской службы ему не доводилось бывать нигде выше штаба дивизии, и теперь он с интересом наблюдал в общем тихую и довольно мирную жизнь этого тылового учреждения. Раза два, впрочем, в деревне поднимался переполох — налетали «юнкерсы»; сброшенные с них бомбы, однако, особого вреда не причинили, только разрушили пустующий сарай и убили на улице оседланную верховую лошадь. В остальном все здесь шло мирно и спокойно, разве что иногда начштаба начинал обходить отделы, и тогда все эти полковники, капитаны и их кропотливые писари приходили в состояние кратковременной тревоги и сумятицы. Но, наложив пару взысканий, кое-кому выговорив, а кое на кого накричав, генерал скоро уходил, и в штабе опять все шло как обычно.

Перейдя линию фронта, лейтенант появился здесь с двумя уцелевшими разведчиками, так как после гибели капитана Волоха счел своей обязанностью доложить обо всем, что произошло за две недели их блуждания по немецким тылам. Но озабоченные своими делами штабные начальники отнеслись к нему без особенного внимания, и это его задело. Слишком свежа была в его сознании боль многих утрат, смерть Волоха, все их неимоверные испытания там, в тылу у немцев, чтобы он так просто мог примириться с этим невниманием закопавшегося в свои бумаги начальства. Он пришел в избушку разведотдела к белокурому молодому полковнику и с ходу начал было излагать ему суть дела, но тот долго и невидяще глядел на него, явно при этом думая о другом. Потом полковник бесцеремонно оборвал рассказ лейтенанта и приказал все изложить письменно. Попутно он спросил, прошел ли лейтенант спецпроверку в Дольцево, где находился сборный армейский пункт для фильтрации выходящих из немецкого тыла окруженцев.

Ивановский обиделся. Он сказал белокурому полковнику, что Дольцево от него не уйдет, а вот немецкий склад боеприпасов может уйти, и тогда все их усилия и все жертвы, в том числе и гибель замечательного разведчика капитана Волоха, будут считаться напрасными.

— Как напрасными? — кажется, впервые чему-то удивился полковник и оторвал карандаш от бумаги, на которой старательно вычерчивал какую-то сложную, со множеством граф таблицу.

— Очень просто, — сказал лейтенант. — Погибли без результата. Ни за понюх табаку.



— Вот как!— сказал полковник и встал, одергивая гимнастерку и поигрывая под ней завидно развитой мускулистой грудью.— Вы из какой, сказали, дивизии? Ивановский назвал дивизию и полк. Полковник поморщился.

— Это какой же армии? Это даже не нашего фронта. Так не пойдет, пишите объяснение.

Пришлось все-таки приниматься за объяснение. Он сочинял его двое суток, хоронясь от придирчивого генерала, который как раз приехал с передовой и по обыкновению после недолгого отсутствия наводил в штабе порядок. Ивановский приютился на время в штабном АХО, с писарем которого накануне распил фляжку шнапса, и тот великодушно разделил с «ничейным» лейтенантом свою кровать в полуразрушенном пустующем доме. Правда, вдобавок к фляге пришлось одарить гостеприимного писаря трофейным зеркальным компасом и навсегда расстаться с изящной зажигалкой-монахом. Но за два дня он составил пространный отчет размером в две школьные тетради в клеточку. Наверное, он бы написал его и быстрее, если бы подлая накануне не пришлось урвать от работы для вынужденного визита в особый отдел этого штаба. Но все обошлось благополучно.

Когда он принес свое сочинение, белокурый полковник был, видно, не в духе. Размашистым точным движением он, не глядя, перебрал тетрадки на стоявший по соседству стол, за которым сидел над бумагами бровастый майор.

— Ковалев, вот займитесь. Мне некогда.

Но Ковалев тоже не мог по какой-то причине прочесть это сразу, и лейтенанту ничего более не оставалось, как удалиться и ждать в своей развалюхе. Он уже вскинул было руку к пилотке, чтобы получить разрешение на уход, как дверь в избу широко распахнулась и на пороге, нагибая под притолокой голову, появился тот самый, кого он больше всего боялся здесь встретить. Командиры вскочили за своими столами, а Ивановский только развернулся всем корпусом да так и замер с поднесенной к пилотке рукой.

Наверное, его затрапезный непривычный здесь вид — Ивановский был в писарской телогрейке, без знаков различия на ней и в засаленной суконной пилотке, а все командиры штаба ходили в добротных цигейковых шапках — показался необычным и остановил на себе острый взгляд генерала.

— Кто такой?— тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил он, обращаясь к полковнику.

— Лейтенант Ивановский, командир взвода такого-то полка такой-то дивизии,— с деланной лихостью и сразу упавшим голосом отрапортовал лейтенант.

— Какой, какой дивизии?

Ивановский твердо повторил номер своей дивизии.

— Не знаю такой. Что вы здесь делаете?

— Он из окружения,— сказал полковник, стоя перед генералом и всей своей импозантной фигурой являя подчеркнутую почтительность с легким оттенком какой-то фамильярной вольности. Ивановский же окаменело застыл навтыжку, впервые в жизни разговаривая с таким высоким начальством.

— Окруженец? Почему здесь? Почему не в Дольцеве?

Новое упоминание о ненавистном Дольцеве опять неприятно задело лейтенанта, но теперь это чувство задетости тут же и помогло ему освободиться от сковавшей его неловкости.

— Я здесь по поводу немецкой базы боеприпасов, товарищ генерал.

— Новое дело!— сказал генерал, не проходя к столу и стоя вполоборота к лейтенанту. Взгляд его придирчивых глаз не сходил с вытянувшейся фигуры Ивановского.— Что за база? Где? Откуда вам про нее известно? Вы разобрались, полковник?

— Разбираюсь, товарищ генерал,— совершенно иным тоном, чем разговаривал до сих пор, сказал полковник. Этот его тон человека, говорящего не совсем то, что имело место в действительности, вынудил лейтенанта на новую по отношению к нему дерзость.

— Полковник не хочет разбираться, товарищ генерал,— выпалил Иванов-

ский. Генерал метнул острый вопросительный взгляд в сторону лейтенанта, потом — полковника. И лейтенант, чувствуя, что тут что-то раз и навсегда решится, добавил:—. Артиллерийская армейская база в шестидесяти километрах отсюда. Несколько эшелонов боеприпасов, охрана минимальная, вокруг проволочный забор в один кол. Можно уничтожить.

— Вот как? Вы уже и разведали?— сказал генерал и повернулся к нему всем корпусом в распахнутом полушубке, из-под белых бортов которого коротко блеснула эмаль орденов. Голос его уже оттаивал, лейтенант с радостью отметил это и тут же решил выложить все напрапалуку.

— Запросто можно взорвать. Или сжечь. И наступающие на Москву немцы останутся без боеприпасов.

Он тотчас пожалел о своей опрометчивости, видимо, сразу охладившей только что вспыхнувший к нему интерес генерала, который что-то неопределенное буркнул в воротник полушубка и опустилсь возле стола на скамейку. Остальные остались стоять на своих местах.

— Говоришь, запросто? Пых — и немецкие войска без снарядов? Так, что ли?

— Не совсем так, товарищ генерал,— попытался исправить свою оплошность Ивановский.— Мы уже пытались, но...

— Уже и пытались? Успели. Ну и что же?

— Двоих потеряли. В том числе капитана Волоха.

— Вот то-то, лейтенант... Как тебя? Ивановский. С кондачка не возьмешь, с головой надо. Но он молодец,— сказал генерал, обращаясь к полковнику.— Если так, пошлите его с группой. Дайте человек десять. Займитесь этим. И без промедления.

— Он без проверки, товарищ генерал,— тихо вставил полковник. Генерал недовольно двинул бровями.

— Ерунда! Его уже проверили. Немцы проверили. А это вот будет второй проверкой. Я скажу Ключину.— И, повернув голову к просявшему лейтенанту, сказал, ободряюще повывисив голос:— Готовьте группу, лейтенант. Вот с ним. Послезавтра доложите о готовности. Ясно?

— Есть!— не произнес, а почти по-ребячески восторженно выкрикнул Ивановский и, лихо козырнув, закрыл за собой дверь.

Назавтра ему повезло меньше. Полковник, к которому он снова пришел поутру, отправил его к какому-то майору Коломыйцу, лейтенант прождал этого Коломыйца полдня, и, когда наконец дождался и передал приказание полковника, тот тихо этак сразил его первой же фразой:

— А где я возьму людей? У меня никого нет, остался один ездовой.

Почувствовав, что опять все рушится, Ивановский не стал больше ничего выяснять или доказывать, а, полный новой решимости, скорым шагом направился к высокому дому с красивыми ставнями. Конечно, его туда не пустили, он затеял глупую и безуспешную ссору с невозмутимым часовым у крыльца и просто уже был в отчаянии, когда дверь в избу внезапно распахнулась и на пороге появился сам генерал. Он не сразу узнал вчерашнего лейтенанта, и тому пришлось снова назвать себя и дрогнувшим голосом сообщить, что с организацией группы ничего не выходит. Генерал гневно сверкнул глазами, словно в этой неудаче был виноват сам Ивановский.

— Как не выходит?

— Нет людей, товарищ генерал. Полковник послал...

— Зименькова ко мне!— бросил он кому-то, кто стоял у него за спиной, и тот проворно скрылся в сенях, куда, ни слова больше не сказав, удалился и генерал. Ивановский остался стоять у крыльца один на один с часовым, который с молчаливым злорадством посматривал на него. «А все-таки не пройдешь»,— было написано на его физиономии. Но лейтенант уже не рвался в эту просторную избу. Он покорно прождал минут двадцать, пока на крыльце не появился старший лейтенант в новом полушубке с маузером через плечо.

— Идите к капитану Зименькову и получите людей. Завтра в тринадцать ноль-ноль генерал ждет с докладом о готовности группы.

— Есть!— сказал Ивановский. Он не спросил даже, кто этот капитан Зименьков и где его искать,— пришлось разузнавать об этом у коноводов на улице. И действительно, к вечеру у него на руках уже был список из восьми бойцов и одного старшины; десятым в этом списке значился он сам.

И лейтенант начал готовиться.

Кроме людей, надлежало получить боеприпасы, бутылки КС, взрывчатку, два метра бикфордова шнура. Четверо из девяти были в обтрепанных шинелишках, без телогреек, нужно было их переобмундировать. Кто-то долго не хотел выдавать маскхалаты (на накладной не было подписи старшего начальника); за лыжами пришлось ездить в тыловую, за пятнадцать километров, деревню. Последнюю ночь перед выходом он едва прикорнул пару часов, поел только раз за день, выстоял на трех инструктажах, но в тринадцать тридцать все-таки привел группу к высокому с красивыми ставнями дому. На этот раз его беспрепятственно пропустили внутрь, и он с трепетной радостью доложил о готовности выполнить боевой приказ.

Генерал закончил телефонный разговор и положил трубку. Как был в меховом поверх гимнастерки жилете, молча вышел во двор, где, выстроившись по команде «мирно», ждали девять бойцов с Дюбиным во главе. Генерал молча прошелся перед этим строем, осмотрел всех, и на его немолодом уже, в морщинах, с провалившимися щеками лице впервые за время своего пребывания в штабе Ивановский не обнаружил и следа пугающе начальственной строгости. Теперь это было просто усталое лицо обремененного многими заботами, плохо выпавшегося, пожилого человека.

— Сынки!— сказал генерал, и что-то в душе лейтенанта странно дрогнуло.— Все знаете, куда идете? Знаете, что будет трудно? Но нужно. Видите, метет,— показал он в низко нависшее облачное небо, из которого падал легкий снежок.— Авиация на приколе. На вас вся надежда...

Он и еще говорил, настаивая, как вести себя в трудную минуту в тылу, где уже никто, кроме товарища, не сможет тебе помочь. Но он мог бы и не делать этого — лейтенант имел достаточный опыт боевых действий в немецком тылу, накопленный за время двухнедельных блужданий по смоленским лесам. А вот его совершенно не начальнический, почти дружеский тон и его участливое отношение к их полным неизвестности судьбам с первых слов сразили лейтенанта, который с этой минуты готов был на все, лишь бы оправдать эту его человеческую сердечность. Даже сама смерть в этот момент не казалась ему чем-то ужасным — он готов был рисковать жизнью, если это понадобится для Родины и если на это благословит его генерал.

Наверно, так чувствовал себя не один он, а и другие в этом коротеньком строю во дворе, преисполненные внимания и решимости. И когда Ивановский, отдав честь, повернул группу на выход, в его душе неумолчным торжествующим маршем звучали фанфары. Он знал, что выполнит все, на что послан, иного не должно, а потому и не могло быть...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как лейтенант ни торопил бойцов на последних километрах пути, все же рассвет застал их в голом, белоснежном после ночной вьюги поле, на подходах к шоссе.

Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр. Со все возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги, как вдруг увидел на ней спускающиеся с пригорка машины. Лейтенант чуть не вскрикнул с досады — не хватило каких-нибудь пятнадцать минут, чтобы проскочить на ту сторону. В утешение себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут, и они действительно быстро скрылись вдали, но следом появился какой-то конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые

легковушки. Стало ясно: начинался день и усиливалось движение; перейти шоссе незамеченными с их самодельной волокушей нечего было и думать.

Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но и не удаляясь от него, круто взял в сторону, на недалекий голый пригорок с реденькой гривкой кустарника. Укрытие там, судя по всему, было не бог весть какое, но и ждать в ложине на виду у шоссе тоже никуда не годилось — стало светло, и каждую минуту их могли обнаружить немцы.

Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка, едва не вывалив из волокуши раненого, и лейтенант, преодолевая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже кустарнику. Однако на полпути к нему перед Ивановским вырос из снега какой-то довольно высокий вал, ровно прорезавший пригорок и уходивший к шоссе. Лейтенант в недоумении остановился, но вскоре все понял и обрадованно махнул медленно бредущим за ним товарищам — давайте скорее!

Это был полузаметенный снегом противотанковый ров, одно из тех многокилометровых полевых сооружений, которые с начала войны во всех направлениях изрезали русскую землю. Сколько труда было затрачено на их устройство, но лейтенант не мог вспомнить случая, чтобы такой ров сколько-нибудь задержал продвижение танковых армий Гитлера. Колоссальные эти сооружения, наверно, только тогда оправдывали свое назначение, когда были надежно прикрыты огнем пехоты и артиллерии, в противном же случае их танконепроходимость ненамного превосходила непроходимость обычной придорожной канавы.

Но теперь ров попался им весьма кстати на этом открытом пригорке, и лейтенант, не мешкая, наискось съехал на его широкое, переметенное снежным сугробом дно. Тут было затишнее и довольно глубоко, ветер с одного края намел изящный фигурный застрешек, образовавший некоторое укрытие сверху. Наверно, какое-то время тут можно было отсидеться.

Один за другим они ввалились в это укрытие и тут же попадали на мягкие изгибы сугробов. Он тоже упал, словно впаялся задом в плотно спрессованный выюгой снег, и, жарко дыша, долго невидяще глядел, как снежной пылью курился на ветру гребешок застрешка напротив. Он не знал, как быть дальше, где и как перебраться через злополучное шоссе, не представлял себе, что делать с раненым. Он чувствовал только, что с прошлой ночи все пошло не так, как он на это рассчитывал, все вышло хуже, а может статься, что закончится и совсем плохо. Но он не мог допустить, чтобы после стольких усилий все завершилось неудачей, он чувствовал, что должен до последней возможности противостоять обстоятельствам так, как если бы он противостоял немцам. Не подвели бы силы, а решимости у него хватало.

Минут двадцать они лежали в рву, не проронив ни единого слова, и он не мог найти в себе силы, чтобы заговорить и назначить наблюдателя. Он лишь мысленно твердил себе, что сейчас, сейчас надо кого-то назвать. Хотя все они были до крайности измотаны, но кто-то должен был пожертвовать отдыхом и вылезть наверх, на ветер и стужу, чтобы не дать противнику застать врасплох остальных.

— Надо наблюдателя, — наконец сонно произнес Ивановский и переждал немое молчание лыжников. — Судник — вы.

Судник, привалившись спиной к снежной стене, держал на коленях набитый опилками вещмешок со своим деликатным грузом. Похоже, он спал. Голова его в мокром капюшоне была запрокинута, глаза прикрыты.

— Судник! — громче позвал лейтенант.

— Счас, счас...

Еще немного помедлив, боец рывком выпрямился, сел ровнее. Затем, опершись на руки, встал и, резко пошатнувшись, едва не упал снова.

— Тихо! Бутылки! — испугался лейтенант, и этот испуг разом вырвал его из состояния крайней одуряющей усталости.

Оставив лыжи внизу, Судник вскарабкался на высокий, крутой бруствер чуть в стороне от бойцов и залег за ним — белым пластом на свежем снегу.

— Как там? Идут? — спросил Ивановский.



— Идут. И конца не видать.

Ну, конечно, они будут идти, не будут же они ждать, когда он благополучно переберется на ту сторону, чтобы уничтожить их базу. У них свои цели и свои задачи, прямо противоположные его задаче, и он подумал: хорошо еще, что поблизости нет их стоянок, тыловых частей, иначе бы он недолго просидел в этом укрытии.

Наверно, прошло около получаса, Ивановский прохвтался от стужи — разгоряченное при ходьбе тело начал пробирать мороз. Все, кроме Судника на бруствере, неподвижно лежали в изнеможении, и он, подумав, что так запросто можно обморозиться, воскликнул:

— Не спать! А ну сесть всем!

Кто-то заворошился, Лукашов сел, мутным от усталости взглядом обвел снежное укрытие. Пивоваров не тронулся с удобного в снегу места — он спал. И лейтенант, подумав, решил, что, по-видимому, и надо все-таки дать несколько минут вздремнуть, иначе их просто не сдвинешь с места. Авось за тридцать — сорок минут не замерзнут. Правда, сам он в таком случае уснуть уже не имел права.

Немалым усилием, подкрепленным сознанием близкой опасности, Ивановский отогнал от себя одуряющую дрему, напрягся и встал. Его давно беспокоил Хакимов, но только теперь появилась возможность осмотреть его, и лейтенант, пошатываясь, подошел к раненому. Как и опасался командир, боец был плох. Наверно, все еще не приходя в сознание, он неподвижно лежал на лыжах, туго завернутый в обсыпанную снегом палатку, в тесном отверстии которой проглядывало его бледное, с синюшным оттенком лицо. От частого, трудного дыхания края палатки густо заиндевели, и снежинки, осыпаясь с них, сразу же таяли на мокрых щеках Хакимова — у него был жар. Склонившись над бойцом, лейтенант тихонько позвал его, но тот никак не реагировал, продолжая напряженно, часто дышать.

Посидев над раненым, Ивановский начал сомневаться в правильности своего решения, обрекавшего Хакимова на эту многотрудную дорогу. Может, действительно лучше было бы оставить его в каком-нибудь стожке сена дожидаться возвращения группы. Но тогда с раненым пришлось бы оставить и еще кого-то, а на это лейтенант согласиться не мог: и без того из десяти человек их осталось всего лишь пятеро. И перед этими пятью все усложнялась их главная боевая задача, ради которой они, хотя и с запозданием, сюда прибыли. Для выполнения этой задачи прежде всего надо было перейти шоссе, но как это сделать на виду у забывших дорогу немцев, лейтенант не мог взять в толк.

Мысли об этом шоссе теперь не выходили у него из головы, и скоро он встал. Хакимову он ничем не мог пособить, а о задаче он просто ни минуты не мог не думать. Он воткнул в сугроб лыжи и, шатко ступая в снегу, полез на бруствер к Суднику. Тут было ветрено и холоднее, чем на дне рва, зато открывался широкий обзор на поле с обоими концами шоссе, середину которого скрывала вершина холма. Туда же уходил ров. По ту сторону шоссе, местами близко подступая к дороге, широко разбрелись перелески и кустарники, а вдали и несколько в стороне от речной поймы темнел знакомый сосновый лесок, так неласково встретивший их однажды.

Лейтенант вынул из-за пазухи карту, сориентировался. База намеренно не была помечена на его карте, но он и без того твердо помнил место ее расположения на северном выступе крохотной надречной рощицы. Теперь, найдя на карте этот пригорок, лейтенант увидел, что их разделяло всего каких-нибудь два километра, не больше. Опять стало мучительно обидно: так это было близко и так недоступно. Из-за этого проклятого шоссе приходилось терять целый день — целый день мучиться в неизвестности и терпеть стужу.

Вместе с Судником Ивановский стал наблюдать за шоссе, на котором в течение коротеньких промежутков времени выпадали небольшие разрывы в движении. Шли в основном грузовые — крытые и с открытыми кузовами машины самых различных марок, видно, собранные со всех стран Европы. Большинство их мчалось на восток, к Москве. И вдруг лейтенант подумал, что если не всем и не с раненым,

то хотя бы с одним-двумя, наверное, стоит рискнуть и, используя ров, перебраться через шоссе на ту сторону. По крайней мере, за день он бы там многое высмотрел, разведал, составил план действий, а с наступлением ночи перевел бы через шоссе всю группу.

Эта мысль сразу придала ему бодрости, новая цель вызвала дополнительные силы для действия. Он сполз с бруствера, негромко, но энергично шумнул лыжникам:

— Подъем! Попрыгать, погреться всем! Ну!

Краснокуцкий, Лукашов сразу поднялись, обшлепывая себя рукавицами, замахали руками. Лукашов растормошил осоловелою со сна Пивоварова.

— Греться, греться! Смелее! — настаивал лейтенант и тут же вспомнил наилучшую для подъема команду: — А ну завтракать! Лукашов, доставайте консервы! Всем по два сухаря.

Лукашов, сонно подрагивая, достал из сумки несколько ржаных сухарей и банку рыбных консервов. Лейтенант со скрипом вспорол ножом ее жестяное дно, и они ножами и ложками принялись выскрести мерзлое ее содержимое.

— Ну как, Пивоварчик, вздремнул? — искусственно подбадриваясь от холода, спросил лейтенант.

— Да так, кимарнул немного.

— Что ж ты сдал было, а?

— Притомился, товарищ лейтенант, — просто ответил боец.

— А я-то думал, ты крепачок, — с легкой шутливостью заметил Ивановский. —

А ты вон какой...

— Подбился я.

Он не оправдывался, не ныл, вид его теперь, после короткого отдыха, был смущенно-виноватый, смуглые щеки со сна горели почти детским румянцем.

— Подбился! — осуждающе передразнил Лукашов. — Чай не у мамки. Тут того — отставший хуже убитого.

— Убитый что, убитый силы не требует. А тут во — пузыри на руках от веревки, — показал Краснокуцкий свои распухшие красные ладони — ему, разумеется, досталось за минувшую ночь. Но кому не досталось? И еще неизвестно, что всем им достанется в скором будущем.

— А то вон умники, — прежним раздраженным тоном продолжал Лукашов. — То ли смыслы, то ли заблудились. А тут за них отдавайся.

Он имел в виду Дюбина с Зайцем, о которых также ни на минуту не забывал лейтенант. С убитым все было ясно; очень трудно, но все же понятнее было с Хакимовым — старшина же с Зайцем исчезли в ночном пути, будто провалились сквозь землю, — тихо, бесследно и загадочно.

— Хорошо, ежели просто. А то кабы еще не того, — говорил Лукашов, строго и озабоченно поглядывая вдоль рва, и лейтенант понял, на что намекал сержант. Но того, что он имел в виду, не должно быть. Вернее, Ивановский не хотел допустить и намека на мысль, что старшина Дюбин мог совершить предательство. И тем не менее он и сам был полон неуверенности и сомнения — как ни думал, не мог понять, куда запропастились эти двое из его и без того маленькой группы.

— Еще немцев по следу приведут, — простодушно отозвался Краснокуцкий. — А что: лыжня на снегу, гони — где-то догонишь.

— Все может быть, — мрачно согласился Лукашов.

— Нет, так нельзя говорить, — вмешался Ивановский. — Старшина не такой. Не тот человек.

Лукашов, жуя сухарь, устало глядел в дальний конец рва.

— Человек, может, и не тот, а все может статься. У нас вон тоже в сто девятом такой бравый капитан был, все оборону строил. И построил — оказалось, не в ту сторону. Немцы появились, первым руки поднял.

— Ну, это вы оставьте, — решительно оборвал его Ивановский. — Дюбин не капитан, это точно. И потом надо больше, Лукашов, людям верить. Вам же вот верят.

— Так то я...

— А почему вы думаете, что Дюбин хуже вас?

— А вот я здесь, а его нема.

Действительно, логика его рассуждений была почти убийственной, возразить ему было трудно. В самом деле, он же вот не отстал, хотя и был замыкающим, и еще не позволил отстать Пивоварову, который теперь сидел рядом и быстро вылизывал ложку. В общем, Лукашов был прав, но Ивановский не хотел до времени выносить приговор Дюбину. Что-то располагающее все-таки было в старшине, несмотря на раздражавшую лейтенанта строптивость.

Консервы они скоро доели, сидя в сугробе, догрызли и сухари. Ивановский спрятал ложку в карман.

— Сержант Лукашов,— другим тоном сказал лейтенант.— Останетесь за меня. Надо кое-что разведать. Всем находиться тут. Можно отдыхать. Наблюдение круговое. Скоро вернусь. Что не ясно?

— Ясно,— с готовностью ответил Лукашов.

— И чтоб все в норме. Смотрите Хакимова.

— Все будет сделано, лейтенант. Досмотрим.

— Так. Пивоварчик, за мной!

— Я?— удивился Пивоваров, но, помедлив, начал послушно вставать.

— Берите лыжи, остальное. И потопали. Лукашов, подмените Судника. Небось закоченел там.

Проваливаясь в глубоком снегу, местами доходившем до пояса, Ивановский направился по рву к шоссе. Лыжи они несли в руках. Ров время от времени делал небольшие изгибы, выходя из-за которых лейтенант с предосторожностью осматривался по сторонам. Но во рву и поблизости вроде никого не было; ребристые снежные суметы на дне лежали нетронутыми. Наконец стало слышно глухое урчание дизелей, пахнуло два уловимым на морозе дымком синтетического бензина — они подошли к дороге. Ивановский высунулся из-за оголенного глинистого выступа на очередном повороте и тут же отпрянул назад. Совсем близко, в конце широкого разреза рва, промелькнул автомобильный кузов, укрытый вздувшимся на ветру брезентом, потом еще и еще. Шла колонна автомобилей, в некоторых открытых машинах возле кабин были видны нахохлившиеся фигуры немцев в зеленых шинелях. Судя по всему, их здорово-таки пробрал русский мороз, и седоки не очень засматривались по сторонам. Лейтенант сделал рукой знак замерзшему от напряжения Пивоварову и по краю сугуба взобрался на откос.

Конечно, он был далек от того, чтобы надеяться на скорую удачу, на удобный для перехода момент, но все же такого упорного невезения он не ожидал. Коченея на морозном ветру, он едва дождался, пока прогрохотали по шоссе машины, казалось, поблизости никого больше не было. Но едва он высунулся из-за смерзшихся на бруствере комьев, как снова увидел невдалеке немцев. Их было трое, это были связисты. В то время как один, взобравшись на столб, возился там с проводами, двое других с аппаратами сидели на обочине дороги — видно, налаживали связь. Из-за их спин торчали стволы винтовок, на земле лежали мотки проводов и какие-то инструменты. Правда, занятые делом, немцы не глядели по сторонам, но, разумеется, заметили бы двоих русских, если бы те под самым носом у них вздумали перебежать шоссе.

Значит, опять надо было ждать.

И лейтенант уныло лежал на мерзлых, присыпанных снегом комьях и не отрывал глаз от шоссе. Стало чертовски холодно, мерзли ноги, раненое бедро болело все больше, и эта боль все чаще отвлекала на себя внимание. Движение на шоссе уже несколько раз то возобновлялось с наибольшей плотностью, то несколько затихало, и тогда появлялся разрыв в километр или, возможно, больше. Раза два подворачивался более-менее удобный момент, чтобы перебежать на ту сторону, но немцы все еще возились со своей связью. Лейтенант три раза доставал увесистый кубик танковых часов, последний раз показавший половину одиннадцатого. Связисты не уходили. Прошло полчаса, прежде чем тот, что сидел на столбе, наконец слез на землю, и лейтенант подумал, что теперь, возможно, они смоятся... Но немец перешел



к следующему столбу и, прицепив к ногам свои серпы-кошки, снова полез к проводу. Втроем они о чем-то негромко переговаривались там, но ветер относит их слова в сторону, и лейтенант не мог ничего расслышать.

Так продолжалось бесконечно долго. Ивановский уже начал оглядываться по сторонам, подыскивая в отдалении от этих связистов какое-нибудь более подходящее место, как увидел, что возле двух немцев на обочине появился еще один. Откуда он взялся тут, было совершенно непонятно, наверно, скрытый от него холмом, сидел где-нибудь на дороге. Лейтенант почувствовал легкий озноб: рискни он перебежать шоссе — и наверняка бы напоролся на этого невидимого четвертого немца. Между тем немец присел над аппаратом, о чем-то поговорил с остальными и махнул рукой тому, что сидел на столбе, — тот начал слезать. Пока он спускался, эти трое встали, не спеша разобрали свои сумки и ящики и направились вдоль по дороге.

На этот раз они остановились в значительном отдалении от рва, на столб уже никто из них не полез, и лейтенант глянул в противоположный конец шоссе — теперь, видно, надо было решиться. Но прежде следовало как можно ближе подойти к дороге.

Он сполз с откоса на дно рва, сильно потревожив раненое бедро. Пивоваров вскочил со своего насиженного в снегу места, Ивановский молча кивнул головой, и они, прижимаясь к крутой стороне откоса, быстро пошли по рву вниз. Тут их уже легко могли увидеть с дороги, и лейтенант скоро упал за поперечный сугроб, вжался в снег, рядом проворно зарылся в снег Пивоваров. Опухшее от холода и бессонницы мальчишечье лицо бойца застыло в предельном внимании, время от времени лейтенант перехватывал его тревожный, вопрошающий взгляд. Находясь на дне рва, боец абсолютно ничего не видел и во всем полагался на командира, который теперь принимал решения, так много значившие для обоих.

Но отсюда уже и сам лейтенант ничего не мог увидеть и вынужден был полагаться на слух, чутко улавливая все разрозненные и переменчивые звуки, долетавшие к ним с дороги. Конечно, это был не самый надежный способ из всех возможных для перехода, но другого у них не оставалось. Дождавшись, когда урчащий гул дизелей на шоссе несколько ослаб, и не уловив поблизости никаких новых звуков, Ивановский сказал себе: «Давай!» — и вскочил.

В несколько прыжков по глубокому снегу он достиг придорожного окончания рва, выглянул из него — шоссе поблизости действительно было пустым, хотя на дальний пригорок он просто не успел бросить взгляда, с бешеной прытью, пригнувшись, он выскочил на укатанную твердь шоссе и размашисто спрыгнул в сугроб на дно следующего отрезка рва. На бегу он с удовлетворением отметил за собой тяжелое дыхание Пивоварова и изо всех сил припустил по дну к недалекому уже повороту. Через несколько прыжков, однако, он опять стал различать напряженное завывание моторов и в беспокойстве внутренне сжался, ожидая криков или, может, выстрелов. Но он все-таки успел скрыться за поворотом. Пивоваров несколько опоздал, но лейтенант, оглянувшись, увидел, что машины уявились секундой позже того, как боец упал за изломом. Машины промчались, не сбавляя скорости, и он впервые за это утро с облегчением выдохнул горький, раздражавший его грудь воздух.

— Фу, черт!..

Оба с минуту загнанно, трудно дышали, потом Ивановский, привстав на коленях, огляделся по сторонам. Кажется, невядалеке был кустарник — реденькие его верхушки местами выглядывали из-за высокого бруствера, и лейтенант с бойцом расслабленно пошли по рву. Порядком отойдя от шоссе, они попытались выбраться в поле. К удивлению командира, Пивоварову это удалось скорее, лейтенант с первой попытки добрался лишь до половины склона и, поскользнувшись на крутизне, сполз в сугроб. Опять очень заболело бедро. В этот раз он не смог или не захотел подравать в себе стон, и Пивоваров обернулся на бруствере, метнув в его сторону испуганный вопрошающий взгляд.

— Ничего. Все в порядке.



Ивановский собрался с духом, преодолел боль, боец протянул командиру лыжную палку, с помощью которой тот перевалил наконец через бруствер.

— Так. Теперь на лыжи!

Тут, наверно, уже можно было идти вдоль рва, прикрываясь со стороны дороги бруствером, местами их неплохо скрывал кустарник.

Справа в отдалении серели хвойные верхушки рощи, где ждала их удача или несчастье, слава или, может, смерть — их судьба.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Продираясь на лыжах через кустарник, Ивановский почувствовал приступ какого-то неприятного, все усиливающегося, почти неодолимого беспокойства.

Было совершенно непонятно, отчего оно именно в этот момент так настойчиво заявило о себе, в конце концов, кажется, все складывалось более или менее благополучно: они перешли шоссе, вроде бы их не заметили, совсем уже близка была цель их трудного многоверстного ночного пути. Хотя и с препятствиями, но приближался финал, наверно, теперь они могли что-нибудь сделать. Правда, их силы разнились — часть потеряли при переходе линии фронта, двое исчезли в ночи, трое остались на той стороне шоссе, и здесь их оказалось всего лишь двое, конечно, не десятеро. Но вряд ли именно это обстоятельство было причиной его неясного и такого неотвязного теперь беспокойства.

Чем ближе они подходили к видневшейся вдали рошице, тем все тревожнее становилось на душе у лейтенанта. Нетерпение охватило его так сильно, что он не мог позволить себе остановиться, чтобы поправить повязку на бедре, — кажется, начала кровоточить рана. Впрочем, он давно уже старался не замечать боли, к ней он притерпелся за ночь. Теперь он даже не слишком осматривался по сторонам — он изо всех сил стремился к роше, словно там ждала его самая большая в его жизни награда или, может, самая большая беда. Пивоваров весь в поту, который он уже перестал вытирать с лица рукавом маскхалата, старался не отстать, и они, запыхавшись, скорым шагом поднимались по краю кустарника. Было уже совсем светло, дул несильный морозный ветер, небо, сплошь заволоченное тучами, низко свисало над серым, невзрачным, подернутым дымкой пространством.

Достигнув вершины пригорка, Ивановский сквозь голые ветки ольшаника поглядел вниз. Перед ними была ложбина с вдавшимся в нее языком кустарника, в котором лейтенант едва узнал тот ольшаничек, где они с Волохом дожидались ночи. Но вместо тогдашней чащобы, давшей приют семерым, теперь сиротливо чернели на снегу мерзлые прутья чахлах деревьев, в которых едва ли могла спрятаться птица, не то что человек. Зато на пригорочке через ложбину как ни в чем не бывало безмятежно зеленел хвойный гаек, обнесенный нечастыми столбами немецкой ограды, у которой им так не повезло в прошлый раз, но должно повезти, не может не повезти в нынешний.

При виде знакомой изгороди у лейтенанта немного отлегло на душе — главное, он все-таки добрался до нее. Все остальное уже зависело от его умения, находчивости, от их смелости. Действие различных приводящих причин здесь сводилось к самому возможному в таких случаях минимуму.

Скрываясь в кустарнике, Ивановский постоял минуту или две, отдыхая и успокаиваясь от все время донимавшего его нетерпения. Он старался внушить себе, что как-нибудь все обойдется. Правда, окончательно увериться в этом ему не удалось, что-то все-таки не переставало угнетать, будоражить его и без того взбудораженные за эту ночь чувства. Пивоваров, ни о чем не спрашивая, видно, без слов понимал положение и ждал, когда они направятся дальше. Ивановский же все не мог оторвать взгляда от этой дальней хвойной опушки, будто надеясь там что-то увидеть. Но там, на расстоянии в километр, если не больше, почти ничего не было заметно, кроме редких стволов свободно разбежавшихся по снегу сосен да нескольких столбов ограды. Впрочем, оно и понятно: немцы успели замаскировать объект. Они ведь

тоже умели маскироваться — разные там сети, зеленые насаждения, снег. Вот только удивляло, куда девалась дорога, на которой разведчики Волоха обнаружили немецкие грузовики, перевозившие боеприпасы, — она проходила как раз по косогору к роше, а теперь там на снегу не видно было и следа. «Может, ее замело ночью?» — подумал лейтенант. Но хоть какой-то признак ее должен был сохраниться даже и после метели. А может, дорогу проложили в другом, не видном отсюда месте? Впрочем, дорога ему сейчас была без надобности, воспользоваться ею скорее всего им не придется. Гораздо важнее было высмотреть скрытый подход к этой рошице, чтобы ночью, в темноте, незамеченными как можно ближе подползти к оврагу. По всей видимости, открытая напольная сторона для этого мало годилась, надо было разведать подходы с юга.

— Пивоваров, айда! Тихо только...

Уклоняясь от цеплявшихся за капюшоны мерзлых ветвей, они пошли по кустарнику вниз в обход поля. Ивановский был весь настроже, все теперь в нем напряглось, как не напрягалось ни разу за всю прошлую суматошную ночь. Но вокруг стояла тишина, и это немного успокаивало. В который уже раз лейтенант стал прикидывать, как лучше проникнуть за изгородь, — теперь это было, пожалуй, самое важное и самое трудное в его задаче. Конечно, если штабеля близко от проволоки, то можно будет забросать их гранатами и бутылками с КС, хотя вряд ли они будут размещены на расстоянии броска гранаты. Тогда придется преодолевать изгородь. Лучше всего, пожалуй, сделать это одному, а остальным прикрыть на случай обнаружения и обеспечить отход. Пусть даже приняв недолгий бой с часовым, — на их стороне внезапность, и минуты времени им бы, пожалуй, хватило, чтобы сделать все, что понадобится. Хуже вот, если там собаки.

Но даже если и собаки, одному или двоим придется лезть через проволоку, остальные должны будут отвлечь на себя собак и принять огонь часовых. Иного не оставалось. Главное — успеть за считанные секунды зажечь и взорвать как можно большее число штабелей. Остальное сделают детонирующие взрывы, и все довершит огонь.

По мелколесью они пересекли ложину, краем опушки обошли открытый участок поля. Поблизости нигде никого не было, никто им не встретился. Шли осторожно, теперь уже не спеша. Иногда лейтенант останавливался и прислушивался: вокруг стояла ветреная зимняя тишь. Однажды ветер принес в ложбину далекий гул моторов, но, вслушавшись, Ивановский понял, что это с шоссе. Рошица в отдалении удивительно немо, почти мертво молчала.

Спустя полчаса на их пути неожиданно появился овражек. Весь голый, извилистый, с занесенными снегом склонами, он просматривался во всю длину, и лейтенант не сразу понял, что это тот самый овраг, откуда Волох пошел в снегопад к изгороди. Значит, надо было зайти еще дальше, по кустарнику обогнуть базу на километр глубже. Уж там наверняка можно будет подойти к ней ближе и рассмотреть обстоятельнее.

Он оглянулся на Пивоварова, раскрасневшееся лицо которого наполовину скрывал мокрый обвисший капюшон: парень изо всех сил работал палками, лыжи по-прежнему глубоко зарывались в рыхлом снегу. Преодолевая в себе все возраставшее напряжение от сознания близости цели, Ивановский молча дал знак Пивоварову обождать, а сам обошел овраг и остановился за широким ветвистым кустом орешника.

Голые, окоренные столбы ограды были уже совсем близко. Высокие, в рост человека или больше, они заметно выделялись на зеленовато-снежном фоне молодых сосенок. Но, удивительное дело, за ними пока все еще ничего не было видно. Как он ни напрягал зрение, решительно нигде не мог обнаружить знакомых штабелей из серых и желтых ящиков, которые так явственно стояли в его глазах с того самого момента, как он впервые рассмотрел их в бинокль. Не было видно и брезентов. Это обстоятельство снова недобрым предчувствием обеспокоило лейтенанта, и он махнул Пивоварову — присядь, мол, замри. Тот понял сигнал и опустился на лыжи, а лейтенант после минутного колебания вышел из кустарника.

Наверно, он поступил неразумно, командиру группы не следовало бы так рисковать собой, но Ивановский уже был не в состоянии сдержаться. Недоброе предчувствие целиком охватило его, что-то сдавив в горле, он сглотнул комок обиды и, не своя взгляда с близкой уже опушки, быстро и напрямую пошел к ней.

Теперь их разделяло всего каких-нибудь триста метров, и уже в самом начале этого пути лейтенант понял, что проволоки на столбах нет. Проволока, некогда опутывавшая базу, была снята, и ее отсутствие самой большой тревогой, почти испугом, отозвалось в сознании Ивановского. Уже ничего не остерегаясь и не обращая внимания на то, что его легко могли увидеть в открытом поле, он в несколько рывков достиг крайних сосенок рощицы и остановился, пораженный, почти уничтоженный тем, что обнаружил.

Базы не было.

В сосняке на пригорке не было ни часовых, ни собак, ни штабелей из желто-зеленых ящиков — под ногами ровно лежал нетронутый снег да по опушке тянулся ряд белых столбов, единственно напоминавших о базе, — других ее признаков здесь не осталось. Проволоку, видимо, аккуратно сняли со столбов и увезли куда-то, наверно, в другое, более нужное место.

Недоумение в сознании лейтенанта сменилось замешательством, почти растерянностью, он постоял на чистом, свежем после ночной вьюги снегу, потом прошел на лыжах к противоположной стороне, туда, где некогда был въезд. Но и здесь ничего не осталось, лишь в чаще молодых сосенок под снегом угадывалось несколько опустевших ям-капониров да на краю роши у столбов высилась куча присыпанного снегом жердей, наверно, бывших подкладками под штабелями. Больше здесь ничего не было. Дорога, отсутствие которой в поле удивило лейтенанта, белою пустой полосой лежала под снегом — по ней давно уже не ездили.

Вдруг совершенно обессилев, Ивановский прислонился плечом к шершавому комлю сосны, раздавленный пустотой и заброшенностью этой теперь никому уже не нужной роши. Базу переместили. Это было очевидным, но он не мог в это поверить. В его смятенном сознании застряла и не хотела покидать упрямая протестующая мысль, готовая внушить, что это ошибка, нелепое злое недоразумение, и что нужно лишь небольшое усилие, чтобы это понять. Иного он не мог представить себе, потому что он не в состоянии был примириться с тем, что и на этот раз его постигла неудача, что огромные усилия группы затрачены впустую, что напрасно они подвергали себя бессмысленному смертельному риску, потеряли людей и совершенно измотали силы. Они опоздали. Он не сразу поверил в это, но, постояв под сосной и отдышавшись, все-таки понял, что никакого наваждения не было. Была жестокая, злая реальность, еще одна большая беда из всех бед, выпавших за эту войну на его злосчастную долю.

С усилием оторвав плечо от сосны, он стал ровнее на лыжи и слабо оттолкнулся палками. Лыжи скользнули в шуршащем снегу и остановились. Он не знал, куда направиться дальше, впервые отпала надобность куда бы то ни было спешить, и он оперся на палки. На основной ветке поблизости появилась вертлявая сорока, все время сердито стрекотавшая на него, вспорхнув над головой, с коротким писком нырнула в чашу синичка. Ивановский не замечал ничего. Какое-то оцепенение сковало его расслабленные мышцы, он ни о чем не думал, он только смотрел в пустоту роши, ощущая в себе изнуряющую, охватившую тело усталость, преодолеть которую, казалось, не было никакой возможности.

Так продолжалось немало времени, но роща по-прежнему оставалась пустой и ненужной, и лейтенант в конце концов вынужден был встряхнуться: все-таки его ждали бойцы. Прежде всего Пивоваров. Ивановский оглянулся — боец терпеливо сидел за оврагом, там, где он и оставил его, и лейтенант взмахнул рукой — давай, мол, сюда.

Пока Пивоваров шед по его следу к рощице, Ивановский расстегнул крепление лыж и шагнул в снег. Наверно, тут можно было не опасаться, в пустом сосняке никого не было. Он присел на невысокий, обсыпанный снегом пенек, вытянул в сторону ногу. Надо было решать, что делать дальше. А главное — сообразить, как эту неуда-



чу объяснить бойцам. Он не мог отделаться от чувства какой-то своей вины, как будто именно он придумал всю эту историю с базой и кого-то обманул. Хотя если разобратся, так больше других был обманут он сам. А вернее, всех обманули немцы.

Впрочем, здесь не было обмана, здесь была война, а значит, действовали все ее ухищрения, использовались все возможности — в том числе время, которое в данном случае сработало в пользу немцев, оставив Ивановского с бойцами в безжалостном проигрыше.

Пивоваров тихо пошел по его лыжне и молча остановился напротив. Боец непонимающе оглядывал рожицу, изредка бросая на лейтенанта вопросительные взгляды. Наконец он догадался о чем-то.

— А что... Разве тут была?

— Вот именно — была.

— Холеры! Увезли, что ли?

— Увезли, конечно! — Ивановский вскочил со своего пенька. — Оставили нас с носом!

К удивлению лейтенанта, Пивоваров очень сдержанно отреагировал на его запальчивые, полные горечи слова.

— Видно, опоздали...

— Разумеется. Две недели прошло. Времецко!

— Теперь как же? Придется искать?

— Что искать?

— Ну, базу. Приказ ведь.

Да, базы не было, но приказ уничтожить ее оставался в силе. Давно ли лейтенант сам добивался в штабе этого приказа, который наконец и получил на свою невезучую голову. Что ж, теперь давай выполняй приказ, лейтенант Ивановский, ищи базу, зло подумал про себя лейтенант. Однако тон, которым Пивоваров упомянул о приказе, все-таки понравился лейтенанту, и в душе он даже обрадовался. В случае чего, наверно, бойцам долго объяснять не придется — если это понимал Пивоваров, то, наверно, поймут и остальные.

Беда, вначале готовая сокрушить лейтенанта, понемногу стала рассеиваться, хотя, разумеется, он понимал, что справиться с ней непросто. По всей видимости, базу переместили на восток, поближе к линии фронта, к Москве, — там ее и следовало искать. Если идти вдоль шоссе, обшаривая каждую рожицу, возможно, и удастся наткнуться. Но тут он вспомнил о тех, за дорогой, о раненом Хакимове и подумал, что, видно, искать ее не придется. Наверное, это потребовало бы массу времени, уйму сил, гораздо больших припасов, чем те, которыми располагали они. Опять же далеко ли уйдешь с Хакимовым. Да и мудрено, не зная, отыскать в чащобе лесов замаскированный, тщательно охраняемый объект, ставший теперь для них не более иголки, затерянной в копне сена. Впрочем, вполне может случиться, что ее и вообще уже нет — развезли по частям и расстреляли в боях, все до последней мины.

Тогда что ж — возвращаться с неизрасходованной взрывчаткой, не истратив ни одной гранаты? Опять тащить на себе чертовы бутылки с КС и дрожать, чтобы какой-нибудь фриц, пустив сдуру очередь, ненароком не задел их пулей. И это — потеряв половину группы. С тяжелораненым в волокуше. И в итоге в таком отвратительном виде полного неудачника предстать перед пославшим его генералом. Что лейтенант скажет ему?

— Да-а, положеньице...

Ивановский зачерпнул горсть снега, пожевал и сплюнул. Как всегда после бессонной ночи, во рту долго не проходил противный металлический привкус. Почему-то слегка поташнивало. И даже вроде знобило. Хотя знобило, возможно, от усталости и потери крови.

— У тебя бинт есть? — спросил лейтенант Пивоварова. Тот, сняв варежку, начал ощупывать брючные карманы, а лейтенант поднялся с пенька.

— Давай помоги вот, — сказал он, расстегнув брюки и думая, что теперь уж не имеет большого смысла скрывать нелепое свое ранение.



— Что, ранило?

— Зацепило ночью. Вот черт, все сочтется...

Не удивительно, что Пивоваров испугался: белые кальсоны лейтенанта и его ватные брюки — все было густо залито и перепачкано подсохшей кровью. С внешней стороны бедра из небольшой касательной ранки быстро сползла к колену темно-бурая струйка крови.

— Давай! Обмотай. Да потуже.

— Доктора надо.

— Какой еще доктор! Вот ты и будешь доктором.

Было видать, что Пивоваров встревожился ранением командира больше, чем исчезновением базы. Присев рядом, боец не очень умело обмотал бинтом ногу и крепко связал концы собачьим узлом.

— Не сползла чтоб.

— Ладно. Пока подержится.

Старый окровавленный бинт Ивановский отбросил на снег, подтянул брюки, завязал тесемку перепачканных маскировочных шаровар. Пивоваров пристегивал лыжи. Судя по его вполне спокойному виду, неудача с базой никак не отразилась на его настроении, и лейтенант в душе позавидовал выдержке бойца. Впрочем, бойцу что — с бойца спрос невелик.

— Что вот теперь хлопцам сказать?— озабоченно спросил командир, почувствовав желание посоветоваться, чтоб хоть как-то разрядить свою подавленность.

— А так и сказать. Что ж такого,— просто ответил Пивоваров.

— Что немцы нас провели?

— Ну а что ж! Раз провели, значит, провели.

— Да, видно, ты прав,— подумав, сказал лейтенант.— Надо по правде. Только куда вот дальше?

— А вы посмотрите на карту,— посоветовал боец.

Святая простота. Пивоваров, видимо, полагал, что на военной карте все обозначено. Точно так же считали, бывало, и деревенские тетки, глядя, как командир разворачивает карту, и удивлялись, когда тот спрашивал, как называется эта деревня или сколько километров до города. Видно, так думал теперь и Пивоваров.

Впрочем, лейтенант нервничал и, кажется, начинал злиться, все-таки болела потрошенная рана и было отвратительно на душе. Он все еще не имел ясного представления о том, что предпринять. Он невидяще глядел вниз, на покатое белое поле с дальним кустарником, пока мысль о бойцах, оставленных за дорогой, не подогнала его, побуждая к действию.

Тогда он оттолкнулся палками и быстро пошел прежней лыжной вниз.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пока пробирались знакомой дорогой в кустарнике, Ивановский, не столько успокоясь, сколько привыкая к своей неудаче, пытался разобраться в себе и решить, как действовать дальше. Конечно, исчезновение базы делало ненужной всю его вылазку, и было до слез обидно за все их напрасно потраченные усилия. Жаль было погибших ребят, умирающего Хакимова, но теперь его все больше начал донимать вопрос, как эту свою неудачу объяснить в штабе. Слишком уж врезались в память лейтенанта их совсем не военные проводы, короткое генеральское напутствие во дворе дома с высокими ставнями... Сынки! Вот тебе и «сынки»! Раззявы, растяпы чертовы, пока собирались, пока плутали в ночи, пока дрыхли во рву, база бесследно исчезла.

Противное положение, ничего больше не скажешь, думал Ивановский, непрестанно морщась как от зубной боли. Он уже не уклонялся от колючих ветвей кустарника — шел напролом, чуть только сгибаясь, и думал, что лучше бы генерал

отругал его в самом начале да отправил на проверку в Дольцево, чем вникать в тот его злосчастный доклад. А уж если было принято такое решение, то лучше бы начштаба жестко приказал ему относительно этой базы или даже пригрозил трибуналом на случай невыполнения приказа, чем так вот: сынки, на вас вся надежда. Что ему делать теперь с этой надеждой? Куда он с ней? Эта безотрадная мысль ворошила, будоражила его сознание, не давала примириться с неудачей и побуждала к какому-то действию. Но что он мог сделать?

Перейти шоссе снова оказалось непросто — еще издали стала видна сплошная лавина запрудивших его войск — шла, наверно, какая-то пехотная часть — колонны устало бредущих солдат, брички, повозки, изредка попадались верховые; во втором ряду ползли машины и тягачи с пушками на прицепе. Густой этот поток безостановочно двигался на восток, к Москве, и у лейтенанта в недобром предчувствии сжалось сердце — опять! Опять, наверно, наступают, возможно, прорвали фронт... Бедная столица, каково ей выстоять против такой силы! Но, наверно, найдется и у нее сила, должна найтись. Иначе зачем тогда столько крови, столько безвременно отданных за нее жизней, столько человеческих мук и страданий — есть же в этом какой-нибудь смысл. Должен ведь быть.

Вот только у него смысла получилось немного — хотя в этой мучительной ночи он отмахал шестьдесят километров, но база оттого не стала ближе, чем была вчера. Может, еще и дальше, потому что вчера у него была полная сил группа, неистраченная решимость, а что осталось сегодня? Даже у него самого, что ни говори, ubyло силы, а главное — вместе с базой пропала прежняя ясность цели — он просто не знал, что предпринять и куда податься.

Впрочем, сначала нужно было пробраться к своим.

И они с Пивоваровым, подхватив в руки лыжи, снова сползли с откоса на дно все того же противотанкового рва. Дальше идти к шоссе стало небезопасно, они затаились за очередным земляным изломом, изредка выглядывая из-за него на открывшийся участок дороги. Часто выглядывать не имело смысла — колонна войск тянулась там без конца и начала — перейти шоссе в такое время нечего было и думать. Значит, опять надо было ждать. И лейтенант принял покорно коротать время на стуже, почти в отчаянии, в полукилометре от немцев. Теперь недавнего нетерпения не было, он готов был сидеть здесь до ночи, все равно днем никуда нельзя было сунуться. К тому же он еще не принял ровно никакого решения и не знал, куда направиться — дальше или, может, следовало возвращаться за линию фронта к своим. С Пивоваровым он почти не разговаривал — разговор помешал бы слушать, а слух теперь был их единственной защитой в этом бесконечном, замеченном снегом противотанковым рву. Ивановский время от времени доставал из кармана свои часы, которые лишь свидетельствовали, как безостановочно и быстро шло время. Приближалась студеная зимняя ночь. Невзирая на холод, очень хотелось спать. Наверно, только теперь лейтенант почувствовал, как изнемог он за этот ночной бросок. Напряжение, ни на минуту не оставлявшее его несколько дней подряд, постепенно спало, незаметно для себя он даже вздремнул, прислонившись спиной к морозному снежному склону, и вдруг зябко прохватился от тихого голоса Пивоварова:

— ...а товарищ лейтенант! Проходят, кажется.

— Да? Проходят?

Присстроившись на откосе и высунув из-за насыпи голову, боец наблюдал за дорогой, голос его прозвучал обнадеживающе, и лейтенант тоже взобрался на откос. Шоссе действительно освобождалось от войск — последние повозки медленно удалялись на восток. Наверно, надо было бежать к пригорку.

Они подхватили лыжи и трусцой побежали по дну рва, ступая в глубокие, еще не заметенные снегом свои следы. Им опять повезло, они вовремя выбрались на укатанную пустую дорогу и, перебежав ее, снова скрылись во рву. Пока бежали, основательно прогрелись, у Иванковского вспотела спина, а у Пивоварова опять густо заплыло потом лицо — со лба по щекам стекали крупные, будто стearиновые, капли. Тяжело дыша, боец размазывал их рукавом маскхалата, но нигде не отстал,

не замешкался, и Ивановский впервые почувствовал дружеское расположение к нему. Слабосильный этот боец проявлял, однако, незаурядное усердие, и было бы несправедливым не оценить этого.

За первым изгибом рва, на пригорке, Ивановский замедлил шаг и несколько раз с облегчением выдохнул жарким паром. Кажется, опять пронесло. Откуда-то издали послышалось урчание дизелей, но это его не беспокоило. Его мысли уже устремились вперед, туда, где их возвращения ждали четверо его бойцов, и первой тревогой лейтенанта было: как там Хакимов? Конечно, глупо было бы ждать, что тот очнется и встанет на ноги, но все-таки... А вдруг он скончался? Почему-то подумалось об этом без должного сожаления, скорее напротив — с надеждой. Как бы все было проще, если бы Хакимов умер, как бы тем самым он услужил им. Но, видно, это не в его власти.

Где-то совсем близко, во рву, были его бойцы, и лейтенант прислушался, казалось, он уловил чей-то негромкий голос, как будто Краснокуцкого. Лейтенант вышел из-за очередного излома и неожиданно лицом к лицу встретился с Дюбиным. Очевидно, заслышав его приближение, старшина обернулся и с напряженным вниманием на буром лице взглянул в глаза лейтенанту. Неподдалеку у откоса сидели в снегу Лукашов, Краснокуцкий, Судник, а возле волокуши с Хакимовым, горестно сгорбившись, застыл во рву Заяц.

Все повернулись к пришедшим, но никто не сказал ни слова; лейтенант, тоже молча и ни на кого не взглянув, прошел к волокуше.

— Что Хакимов?

— Да все то же. Бредит,— сказал Лукашов.

— Воды давали?

— Как же — воды? В живот ведь.

Да, по-видимому, в живот. Если в живот, то воды нельзя. Но что же тогда можно? Смотреть, как он мучается, и самим тоже мучиться с ним?

Лейтенант взгляделся в бледное лицо Хакимова со страдальческим изломом полураскрытых, иссохших губ — боец едва слышно постанывал, не размыкал век, и было неясно, в сознании он или нет.

— Надо бы полшубком укрыть,— сказал издали Дюбин. Ему раздраженно ответил Лукашов.

— Где ты возьмешь полшубок?

— Ну погибнет.

— Давно пришел?— не оборачиваясь от Хакимова, спросил Ивановский.

— Час назад,— сказал Дюбин и кивнул в сторону Заяца.— Вон из-за него лыжу сломал.

— Каким образом?

— Да как лес обходили,— сказал Заяц.— На какую-то кочку попал, хрясь, и готова. Не виноват я...

Наверное, в другой раз было бы нелишне как следует отчитать этого Заяца, дважды подведшего группу, но теперь Ивановский смолчал. То, что Дюбин догнал остальных, слегка обрадовало его, хотя радость эта сильно омрачалась общей их неудачей. Лейтенант намеренно старался от молчаться, не заводил о том разговор, он просто боялся того момента, когда обнаружится, что этот их сумасшедший ночной бросок был ни к чему. Но долго отмалчиваться ему не пришлось, хотя весь его сумрачный вид никак не располагал к разговору, и это видели все. Тем не менее вопрос о базе, видно, томил и других, а рядом во рву сидел, отдыхая, простодушный молодой Пивоваров, к которому теперь и устремились взоры остальных. Первым не выдержал Лукашов.

— Ну что там? Немцев много?— тихо спросил он за спиной лейтенанта.

— А нету немцев. Склада тоже нет,— легко ответил Пивоваров.

— Как нет?

Лейтенант внутренне сжался.

Он не видел, но почти физически почувствовал, как встревоженно замерли за его спиной лыжники, и, долго не выдержав, сам поднялся на ноги.

— Как, лейтенант? Это что — в самом деле? — поднялся вслед за ним Лукашов. Все остальные в крайнем удивлении, почти с испугом смотрели на командира.

— Да, базы нет. Наверно, перебазировалась в другое место.

Стало тихо, никто не сказал ни слова, только Краснокуцкий сквозь зубы сплюнул на снег. Заяц все еще недоумевающе глядел в лицо Ивановскому.

— Называется, городили огород! Плели лапти, — бросил в сердцах Лукашов.

— Что поделаешь! — вздохнул Краснокуцкий. — На войне все случается.

— А может, ее там и не было? Может, она где в другом месте? — недобро засомневался Лукашов, по-прежнему стоя обращаясь к лейтенанту.

— Там была, — просто ответил ему Пивоваров. — Столбы вон остались. Без проволоки только.

Лейтенант отошел от волокуши, скользнув взглядом по Суднику, который с бруствера напряженно смотрел в ров. Командир старался не видеть Лукашова, но он чувствовал, как недобрая, злая сила распирала старшего сержанта, и тот готов был начинать ссору.

— А что, и следов никуда нет? — со спокойной деловитостью спросил Дюбин.

— Ничего нет, — сказал Ивановский.

— Что же получается... Как же так? — не унимался Лукашов. — Кто-то виноват, значит.

Лейтенант резко обернулся к нему.

— Это в чем виноват?

— А в том, что понапрасну этак выкладывались! Да и люди погибли...

— Так вы что предлагаете? — осадил его лейтенант резким вопросом.

Он не мог начинать с ним спор, так как знал, что в этом их напряжении недалеко до ссоры, к тому же он не мог не чувствовать, что в значительной степени старший сержант прав. Но зачем теперь много говорить об этом, без того было тошно, каждый переживал эту неудачу. К тому же в таких случаях в армии было непозволительно выражать свое недовольство или возмущение — подобное всегда пресекалось с наибольшей строгостью.

Лукашов же загорячился, глаза его зло блестели, одутловатое в щетине лицо стало недобрим.

— Что мне предлагать? Я говорю...

— Помолчите лучше!

Старший сержант умолк и отошел в сторону, а лейтенант опять сел в снег. Разговор был не из приятных, но что-то томившее его с утра разом спало, как-то само собой все разрешилось, хотя, может, и не самым наилучшим образом. К нему больше не обращались, наверно, видели, что теперь он знает не больше остальных. Бойцы молча ждали новой команды или решения, как быть дальше, и он, поняв это, достал из-за пазухи карту. Он попытался все же что-то найти на ней, что-то решить про себя, пытался понять, куда с наибольшей вероятностью могла переместиться эта проклятая база. Но сколько он ни вглядывался в карту, та не ответила ни на один из его вопросов, красная линия шоссе скоро убежала за ее край, соседнего же листа у него не было. И здесь, а наверно, и дальше удобных для складов мест была пропасть: в лесах, перелесках, овражках. Где ее искать?

Он так сидел долго и молчал, не убирая с колен разложенной карты, по которой снежной крупной шуршал ветер. Он уже ничего не рассматривал на ней — просто ушел от ненужных теперь разговоров с бойцами, их вопрошающих взглядов. Он чувствовал, что незамедлительно нужно что-то решить, как только стемнеет, отсюда надо убираться. Только куда?

— Подмените Судника. Небось закоченел на ветру, — ни к кому не обращаясь, сказал лейтенант, когда почувствовал, что недоброе молчание в группе слишком затянулось. — Заяц!

Заяц сразу же встал и начал взбираться на бруствер, а Судник, обрушивая



снег, на задку сполз в ров. Поднятое им снежное облако обдало Дюбина, который заворшился и встал на ноги.

— Так что же дальше, командир?— спросил он.

— Что именно?— сделал вид, будто не понял, Ивановский, хотя он отлично понимал, что беспокоит старшину.

— Куда дальше пойдем?

— Вы пойдете назад,— просто решил командир.

— Как? Я один?

— Вы и остальные. Попытайтесь спасти Хакимова.

— А вы?

— Я? Я попробую отыскать базу.

— Один?

Этот вопрос старшины Ивановский оставил без скорого ответа. Он не знал, пойдет ли один или с кем еще, но что надо продолжить поиски, это он вдруг понял точно. Он не мог возвратиться ни с чем, такое возвращение было выше его возможностей.

— Нет, не один. Кто-то еще пойдет.

— В самом деле? А может, я, лейтенант?— сказал Дюбин, как бы испытывая себя своею решимостью. Но лейтенант молчал.

Ивановский напряженно додумывал то, чего не додумал раньше. Конечно, выход для него возможен только такой, он не мог рисковать всеми, его люди сделали все, что должны были сделать, и не их вина, что цель оказалась недостигнутой. Далее начинался особый счет его командирской чести, почти личный его поединок с немецкой уловкой, и бойцы к этому поединку не имели отношения. Тем более что шансы на успех пока были неясны. Отныне он станет действовать на свой страх и риск, остальные должны возвратиться за линию фронта.

Лейтенант поднял от карты лицо и прямо посмотрел на Дюбина. Иссеченное преждевременными морщинами, темное от стужи лицо старшины было спокойно, взгляд из-под маленького козырька краснорезной буденовки спокойно-выжидателен и ненавязчив, он как бы говорил сейчас: возьмешь — хорошо, а нет — напрашиваться не стану. И лейтенанту почти захотелось взять с собой старшину, наверно, лучшего напарника здесь не сыскать. Но тогда старшим в отходящей группе он должен назначить Лукашова, а он почему-то не хотел этого. Лукашова он уже немного узнал за время этого их пути сюда, и в душе командира появилось устойчивое предубеждение против него.

Значит, с группой должен остаться Дюбин.

Их очень немного возвращалось назад, на их попечении был трудный Хакимов, обратный их путь вряд ли окажется легче пути сюда, а лейтенанту очень хотелось, чтобы они по возможности благополучно дошли до своих. В этом смысле разумнее всего было положиться на опытного уравновешенного старшину Дюбина.

— Нет, старшина,— сказал лейтенант после продолжительной паузы.— Поведете остальных. Со мной пойдет... Пивоваров.

Все с некоторым удивлением повернули головы в сторону прилегшего на бок Пивоварова, который при этих словах лейтенанта вроде засмутился и сел ровно.

— Так, Пивоваров?

— Ну,— просто ответил тот, вспыхнув и сморгнув белесыми ресницами.

— Ну и лады,— сказал лейтенант, довольный тем, что все так скоро уладилось.

Потом он не раз будет спрашивать себя, почему его такой важный выбор так неожиданно для него самого, почти бессознательно пал на этого молодого бойца? Почему бы в помощники себе не выбрать сапера Судника или рослого сильного Краснокуцкого? Неужели безропотная покорность слабосильного паренька единственно определила его решение? Или тут повлиял на него их сегодняшний совместный бросок через шоссе, где они вдвоем пережили опасность и первое общее для всех разочарование.

Тем не менее выбор был сделан, Пивоваров как-то враз подобрался, помрачнел или посерьезнел и тихо сидел в истоптанном снежном сугробе.

— Что ж, ваше дело,— сказал Дюбин.— Как там передать, в штабе?

— Я напишу,— подумав, сказал Ивановский.

Бумаги, однако, у него не нашлось, был только трофейный карандаш с выдвижным сердечником, пришлось старшине вырывать листок из замусоленного своего блокнота, на котором лейтенант, недолго подумав, написал:

«Объекта на месте не оказалось. Группа понесла потери, отправляю ее обратно. Сам с бойцом продолжаю поиски. Через двое суток предполагаю вернуться. Ивановский. 29.11.41 г.».

— Вот. Передадите начальнику штаба.

— Это самое, гранаты возьмете?

— Да. Гранату и пару бутылок. Пивоваров, возьмите у Судника бутылки. Гранату давайте мне.

Старшина снял с пояса противотанковую гранату, которую лейтенант тут же подвязал тесемкой к ремню.

— И подрубить бы запастись надо?

— Подрубить тоже. Дайте сухарей. Консервов пару банок. Сами-то уж в АХЧ завтракать будете.

— Дал бы бог,— вздохнул Краснокуцкий.

— Только смотрите при переходе. Как бы опять не напоролись. Не жалейте животов — головы целее будут.

— Это понятно,— тихо согласился Дюбин.

— Ну, вроде темнеет, можете двигать. А мы еще посидим тут. Как там на шоссе, Заяц?

— Какая-то с фарами катит. Одна или больше — хорошо не видеть.

Старшина завязал вещевого мешок, Пивоваров складывал в свой сухари и две большие, завернутые в портянки бутылки с КС. Лукашов и Краснокуцкий, не ожидая команды, подступили к обсыпанному снежной пылью Хакимову.

— Смотрите Хакимова,— сказал лейтенант Дюбину.— Может, еще дотянет до утра.

— О чем разговор!..

— Тогда все. Топайте!

— Что ж, счастливо, лейтенант,— обернулся Дюбин и тут же скомандовал бойцам:— А ну взяли! За лыжи, за лыжи берите. Поднимайте. Выше, еще выше. Вот так...

Они подняли Хакимова и с трудом выбрались из рва. На бруствере Дюбин еще оглянулся — прощание вышло второпях, скомканным, и Ивановский махнул рукой:

— Счастливо.

Когда они скрылись там и последним исчез за бруствером высокий капюшон старшины, Ивановский сел в снег. Он почувствовал особенное удовлетворение оттого, что Дюбин не пропал окончательно, догнал группу и теперь с теми, кто возвращался, будет толковый и человечный командир, который должен их привести к своим. А они здесь как-нибудь справятся вдвоем с Пивоваровым, который все еще стоял во рву, глядя поверх высокого бруствера. Чтобы разрушить неловкость, вызванную этим прощанием, лейтенант сказал с несвойственной для него словоохотливостью:

— Садись, Пивоварчик, отдохнем. Тебя как звать?

— Петр.

— Петька, значит. А меня Игорь. Ну что ж, может, нам еще повезет? Как думаешь?

— Может, и повезет,— неопределенно сказал Пивоваров, потирая ложу винтовки, и вздохнул тихонько и прерывисто.

— Ладно, пока есть время, давай подрубаем, меньше нести будет,— сказал Ивановский, и Пивоваров, присев, начал развязывать вещевого мешок.

Спустя полчаса, когда хорошо притемнело, они выбрались из своего снежно-го укрытия. Оба продрогли, сильно озябли ноги, хотелось сразу пуститься на лыжах, чтобы согреться. Но прежде надо было оглядеться. К ночи движение на шоссе побавилось, шли одиночные машины, у некоторых слабо светились подфарники. Вокруг было тихо и пусто; снежные дали с перелесками затянуло вечернею мглой, облачное беззвездное небо низко нависло над снежным ночным пространством. Ивановский решил идти на восток вдоль шоссе, не выпуская его из виду и следя за движением на нем; он думал, что, как и в тот раз, осенью, базу должны выдать машины.

Они скоро спустились со своего пригорка, по рыхлому снегу перешли ложину. Двадцати минут ходьбы вполне хватило на то, чтобы согреться и даже слегка устать. Что ни говори, а сказывалась прошедшая ночь. К тому же в отличие от вчерашнего Ивановский сразу почувствовал на ходу, что раненая нога стала болеть сильнее, невольно он двигал ею осторожнее, больше нажимая на левую. Правда, он все же старался привыкнуть к этой своей боли, думал, как-нибудь обойдется, разойдется, авось нога не подведет. Но, поднявшись на очередной пригорок, лейтенант почувствовал, что надо отдохнуть. Он слегка расслабил ногу, перенес тяжесть тела на здоровую, и, чтобы подошедший Пивоваров ничего не заподозрил, сделал вид, что осматривается, хотя осматриваться не было надобности. Шоссе находилось рядом, оно лежало пустое, впереди мало что было видно: сильный восточный ветер упруго дул в лицо, от него слезились глаза.

- Ну как, Пивоварчик?— нарочито шутливым голосом спросил лейтенант.
- Ничего.
- Согрелся?
- О, упарился даже.
- Ну давай дальше.

То и дело поглядывая по сторонам, они прошли еще около часа, обошли край роши, сосняк, какие-то постройки у дороги — после вчерашнего обстрела с хутора Ивановский старался держаться от жилья подальше. Шоссе почти всюду шло прямо, без поворотов, это облегчало ориентировку, и лейтенант только изредка поглядывал на компас — проверял направление.

Настроение его вроде бы даже улучшилось, Пивоваров шел по пятам, не отставая ни на один шаг, и лейтенант, остановившись в очередной раз, спросил с некоторой живостью в голосе:

- Пивоварчик, что ты в жизни видал?
- Я?
- Да, ты. В жизни, говорю, что видал?

Пивоваров пожал плечами.

— Ничего.

— Книжек ты хоть почитал?

— Книжек почитал,— не сразу, словно бы вспоминая, ответил боец.— Весь Жюль Верн, Конан Дойл, Вальтер Скотт, Марк Твен...

— А Гайдар?

— И Гайдар. И еще Дюма все, что достал, прочитал.

— Ого!— удивился лейтенант и даже с некоторым уважением поглядел на Пивоварова.— И когда ты успел столько?

— А я заболел в шестом классе и полгода не учился. Ну и читал. Все перечитал, что в библиотеке нашлось. Мне из библиотеки носили.

Да, наверно, это было здорово — проболеть полгода и прочитать всю библиотеку. Сколько Ивановский мечтал заболеть в детстве, да и в училище, но больше трех дней ему проболеть не удавалось. Здоровье у него всегда было хорошее, и читал он немного, хотя хорошие книги всегда вызывали в нем прямо-таки душевный трепет. И лучше Гайдара ему в своей жизни ничего читать не пришлось. И то в детстве. Потом стало не до литературы — пошли книги другого характера.

Вокруг по-прежнему было тихо, в общем, спокойно, как бывает спокойно лишь в значительном удалении от передовой. Ивановский шел теперь без вчерашней горячки, превозмогая заметную тяжесть в ногах и во всем теле и непроходящую, связывающую каждое движение боль в ране. Правда, боль пока была терпимой. Чтобы не сосредоточиваться на ней, лейтенант старался отвлечься чем-то другим, посторонним. То и дело его мысли уносились к бойцам, что теперь под началом Дюбина возвращались к своим. Наверно, уже идут вдоль реки, поймой. Хорошо, если не занесло лыжню, она поможет сориентироваться. Впрочем, Дюбин, наверно, и без того запомнил дорогу, а в случае чего — выручит карта. Карта на войне — ценность, жаль только, что не всегда хватает этих самых карт. Все время думалось, как там Хакимов? Конечно, научаются с ним, не дай бог. Особенно при переходе линии фронта. Теперь с ним не вскочишь, не рванешь на лыжах, надо все ползком, попластунски. Хоть бы прошли. Но Дюбин, наверно, сумеет, должен пройти. Дюбин же и объяснит начальнику штаба их неудачу, как-то оправдается за группу и за ее командира. Хотя при чем командир? Кто мог подумать, что за каких-нибудь десять дней все так изменится и немцы переместят базу.

Лично себя Ивановский не считал виноватым ни в чем, кажется, он сделал все, что было в его возможности. Тем не менее какой-то поганый червячок виноватости все же шевелился в его душе. Похоже, все-таки лейтенант недосмотрел в чем-то и в итоге вот не оправдал доверия. Именно это неоправданное доверие смущало его больше всего. Теперь лейтенант прямо съеживался при мысли, что из этой его затеи вдруг ничего не выйдет.

Ивановский очень хорошо знал, что значит так вот, за здорово живешь, испохабить хорошее мнение о себе. Однажды уже случилось в его жизни, что, злоупотребив доверием, он так и не смог вернуть доброе расположение к себе человека, который был ему дорог. И никакое его раскаяние ровно ничего на значило.

Незадолго перед тем Игорю исполнилось четырнадцать лет, и он пятый год жил в Кубличах — небольшом тихом местечке у самой польской границы, где в погранкомендатуре служил ветврачом его отец. Развлечений в местечке было немного, Игорь ходил в школу, дружил с ребятами, большую часть времени, однако, пропадая на комендантской конюшне. Лошади были его многолетней, может, самой большой привязанностью, всепоглощающим увлечением его отрочества. Сколько он перечистил их, перекупал, на скольких он переездил верхом — в седле и без седла. Года три подряд он не замечал ничего вокруг, кроме своих лошадей, каждый день после уроков бежал на конюшню и уходил только для сна, чтобы на завтра к приходу дежурного снова быть там. Пограничники иногда шутили, что Игорь — бессменный дневальный по конюшне, и он бы с удовольствием стал таковым, если бы не уроки в школе.

На конюшне всегда была масса интересного, начиная от кормежки и водопоая, чистки скребком и щеткой и кончая торжественным ритуалом выводки с построением, суетой красноармейцев, придирчивостью большого начальства, носовыми платками проверявшего чистоту конских боков. Было что-то безмерно увлекательное в выезде, верховой езде, занятиях по вольтижировке, и, конечно же, совершенно захватывала его рубка лозы на плацу за конюшней, когда вдоль ряда стояков с прутьями во весь опор скакали кавалеристы, направо и налево срубая клинками кончики лозовых прутьев. А чего стоила джигитовка самого лихого наездника в отряде знаменитого лейтенанта Хакасова!

Но выводку, рубку, джигитовку он наблюдал со стороны, сам по малости лет в них не участвуя, — его не пускали в строй и даже ни разу не позволили проехаться с шашкой. Другое дело — купание. На луговом берегу озера, у песчаной отмели, стояла старая изгрызенная коновязь, и почти каждый горячий полдень к ней приводили потных, истомленных, рвущихся в воду лошадей. Начиналось купание, и тут уж Игорь Ивановский отводил душу, плескаясь до тех пор, пока последняя лошадь не выходила из озера.

Обычно он приезжал на Милке — молодой рыжей кобыле с тонконогим играстым жеребенком. Милка была закреплена за командиром отделения Митяевым,



с которым у Игоря сложились какие-то совершенно особые, может, даже необычные между пацаном и взрослым человеком отношения. Этот Митяев хотя и служил срочную, но в отличие от других двадцатилетних бойцов-пограничников казался Игорю почти стариком, с изрезанным морщинами лицом, тяжелой походкой и медлительностью пожилого деревенского дядьки. Родом Митяев был из Сибири, дома у него остались взрослые дочери, и он давным-давно должен был призваться да и отслужить свою службу, если бы не какая-то путаница в документах, утверждавших, что Митяеву всего двадцать два года. Как это получилось, не мог объяснить и сам Митяев, который только ругал какого-то пьяного дьячка в церкви, по чьей милости ему приходилось служить с теми, кто годился ему в зятья.

Лошади для Митяева не были в новинку, наверно, за свой век он перевидел их множество и охотно доверял свою Милку расторопному сыну ветеринара. Игорь кормил ее, чистил, мыл и выгуливал, в то время как Митяев учил да похваливал, а то и просто, потягивая свою сигарку, отдыхал в курилке. Случалось, что он заступался за своего помощника перед его отцом, когда тот пробирал сына за длительное отсутствие, из-за чего, разумеется, не могли не страдать уроки. Отношения у него с Митяевым, в общем, сложились такие, что лучших не пожелаешь, и отец не раз говорил, что этот сибиряк, наверно, заменит ему родителя. Игорь не возражал, он считал, что Митяев в самом деле лучше отца, не жившего с матерью, любившего выпить и вовсе не баловавшего вниманием своего самопаса-сына.

Однажды обычная возня с лошадьми на озере была нарушена небольшим событием — в купальню привезли лодку. Привез ее на пароконной повозке старшина Белуш, он же опробовал ее на воде и сказал, что лодка принадлежит самому коменданту Зарубину и что никто не смеет притронуться к ней пальцем. Чтобы гарантировать ее сохранность, Белуш пристроил цепь и примкнул лодку к стояку коновязи. Незвестно по какой причине лодка почти все лето пролежала на берегу. Зарубин ею не пользовался, и местечковые мальчишки сгорали от такого понятного желания поплавать на ней по озеру.

Как-то под вечер, когда лошади были уже выкупаны и стояли на привязи, а дневальные шли в комендатуру за обедом, Игорь взял прихваченные из дому удочки и пошел на протоку половить окуней. Клевало, однако, плохо, и он уже собрался было перейти на другое место, как из ольшаника вылезли Колька Боровский и Яша Финкель, школьные его приятели. После недолгого разговора они дали понять, что есть возможность «стырить» комендантову лодку и сплавить к другому берегу, где синел большой хвойный лес и где никто из них еще не был. Игорю эта затея показалась весьма заманчивой, кого из местечковых ребят не привлекал тот берег, но добраться к нему было трудно — на пути лежало топкое с провалами болото в устье протоки, в которой, говорили, жил водяной. Было соблазнительно завладеть лодкой, но у коновязи оставался дежурный Митяев, отвечавший за эту лодку перед самим капитаном Зарубиным. Когда Игорь сказал об этом ребятам, те заушмылялись. Оказывается, они уже высмотрели, что Митяев спал под кустом на попоне, а что касается замка, то Колька тут же выложил перед Игорем большой ключ от отцовского дровяного сарая, запиравшегося в точности таким же замком, как и зарубинская лодка. Игорю ничего более не оставалось, как взять этот ключ и просто отомкнуть замок лодки.

Весел у них не было, нашелся лишь длинный еловый шест, они тихонько стащили лодку на отмель и попрыгали в нее. Сначала отпихивались шестом, потом начали грести руками, кое-как лодка выплыла на середину, и тут обнаружилось, что она раскохлась на берегу сверх меры, и сквозь ее борта ручьями полилась вода. Выливать воду было нечем, они попытались выплескивать ее горстями, но лодка все больше уходила кормой под воду, и вскоре ребятам пришлось в спешном порядке покинуть судно. Вдоволь нахлебавшись теплой воды, они кое-как добрались до берега. Лодка же медленно затонула.

Митяев у коновязи спал так крепко, что ничего не услышал, а ребята высушились в укромном местечке и к вечеру разошлись по домам. Назавтра, разумеется, начались поиски пропажи, оказалось, кто-то видел возле купальни местечкового

дебошира Темкина, на которого тут же и составили протокол. Пытались допросить также и Игоря, бывшего с утра у коновязи, но дежурный Митяев не мог себе даже представить своего любимца в роли похитителя и поручился за него. И когда день спустя Игорь скрепя сердце все же признался Митяеву в своей виновности, тот сперва ему не поверил. Пришлось указать место, где неглубоко на илистом дне затонула лодка, которую скоро подняли и приволокли к берегу. Завидев ее, Митяев лишь сплунул в песок и отошел в сторону, даже не взглянув на обуреваемого своего помощника. Их двухлетняя дружба на том и окончилась. До самой демобилизации Митяев не сказал парню ни единого слова, будто не замечал его вовсе, не отвечал на его приветствия, при встрече проходил мимо, даже не устаивая его взглядом. Игорь не обижался, знал: это презрение было вполне им заслужено.

На их пути скоро оказался редкий молодой соснячок-посадка, они быстро прошли меж его ровных рядов и вдруг оба враз замерли. На самой опушке, очевидно, была дорога, по которой теперь куда-то в сторону, медленно, вихляя по ухабам, ползли в темноте машины. Сначала Ивановскому показалось, что он сбился с пути и вышел на шоссе, но вскоре он понял, что это не шоссе вовсе, а, наверно, какой-нибудь съезд с него в сторону. Но почему на этом съезде машины?

Затаясь, он недолго постоял на опушке. Машины проходили совсем близко, передняя шла с включенными фарами, расхлябанно вихляя на неровностях крытым высоким кузовом. Следовавшие за ней три другие машины тоже были высокие и крытые: что они везли, невозможно было понять. Но то, что машины уходили в сторону от основной магистрали, наводило лейтенанта на некоторые обнадеживающие размышления. Не приближаясь к дороге, он свернул вдоль опушки следом за ними.

Теперь он шел совсем медленно, часто останавливался и вслушивался. Далекий утробный гул дизелей. какое-то время еще был слышен, потом, заглушенный порывом ветра, как-то сразу затих. Ивановский поправил на себе то и дело сползавший ремень с тяжелой гранатой, оглянулся на Пивоварова. Тот был рядом, притихнув в предчувствии опасности и едва справляясь со своим дыханием.

— А ну посмотрим, что там. Ты приотстань чуток...

Пивоваров кивнул, поправляя за спиной винтовку, ремень от которой наискось перерезал его белую в маскхалате узкую грудь. Конечно, жидковат телом оказался его помощник, но тут и дюжий бы, наверно, сдал. Зашуршав по снегу лыжами, Ивановский пошел по опушке.

Рошица скоро кончилась, впереди был ручей или речка с кустарником по берегам, Ивановский с заметным усилием уставшего человека перебрался через нее и еще прошел полем. Неожиданно для себя он увидел дорогу — две колеи, глубоко прорезанные в снегу автомобильными скатами. Чтобы не переходить ее и не потерять из виду, он вернулся назад и на некотором расстоянии пошел полем.

Деревня появилась неожиданно скоро — без единого звука, без проблеска света в серых сумерках вдруг выросла близкая крыша сарая, за ней следующая, и лейтенант тут же мысленно выругал себя за неосторожность — от деревни надо было держаться подальше. Он хотел было уже свернуть в сторону, как перед его взглядом за углом сарая промелькнуло характерное очертание гусеничного вездехода. Тут же было что-то и еще — непонятно громоздкое в сумраке, гибкий и тонкий шест от него торчал в небо, и, взглядевшись, лейтенант понял, что это антенна. Конечно, в деревне не могло быть никакой базы, зато вполне могло расположиться на ночлег какое-нибудь тыловое или маршевое подразделение немцев.

— Видал? — тихо спросил Ивановский напарника.

— Ну.

— Что это, как думаешь?

Пивоваров только пожал плечами, он не знал, так же как не знал того лейтенанта, который теперь обращался к нему как к равному. Будь у него хоть пять или

десять бойцов, Ивановский никогда бы не позволил себе такого почти панибратства, но теперь этот Пивоваров был для него более чем боец. Он был первым его помощником, его заместителем и главным его советчиком — другого здесь взять было не откуда.

Выбросив в сторону лыжу, Ивановский развернулся в поле, Пивоваров повернул тоже, они круто взяли в обход. Но, минуто пройдя по снежному полю, лейтенант остановился при мысли: а вдруг это какой-нибудь крупный немецкий штаб? Штаб им пригодился бы даже более, чем та злосчастная база, которую неизвестно где было искать в ночи.

Минуто он постоял на ветру в раздумье, соображая, что предпринять. Рядом ждал Пивоваров. Боец понимал, видимо, что командир решал что-то важное для обоих, и ждал этого решения со спокойной солдатской выдержкой. А Ивановский думал, что, конечно, было бы благоразумнее обойти это осиное гнездо, но, может, сначала стоило подкрасться поближе, разведать, — авось подвернется что-либо сподручное.

Пока они стояли в нерешительности, где-то в селе неярко вспыхнуло пятнышко света, что-то осветило на снегу и тут же потухло. Этот случайный проблеск ровно ничего не объяснил, но он указал в темноте направление, определенное место. Очевидно, там была улица, и лейтенант вдруг решил все-таки попытаться подойти к ней возможно ближе, чтобы понять, что там происходит.

— Так. Пивоварчик, приотстань. И потихоньку — за мной.

Пивоваров согласно кивнул, Ивановский, решительно оттолкнувшись палками, пошел к деревне.

Сначала на его пути появилась старая поломанная изгородь, через пролом в которой он проскользнул в огород и увидел в ночных сумерках какие-то жиденькие деревца с кустарником — похоже, на меже двух огородов. Он свернул к этим деревцам и под их прикрытием тихо пошел по неглубокому снегу в сторону мягко темневших силуэтов построек. Вокруг по-прежнему было тихо, холодновато, порывами дул ветер, в воздухе косо неслись негустые снежинки. Никаких определенных звуков сюда не долетало, но все же по каким-то необъяснимым приметам Ивановский угадывал присутствие в деревне посторонних, которыми теперь могли быть только немцы. Чувствуя, что вот-вот что-то ему откроется, он осторожно приближался к постройкам.

Совсем уже близко высилась заснеженная крыша сарая, возле кривобоко стоял подпертый жердями стожок. Деревца межевой посадки тут разом оканчивались, крайней в ряду была раскидистая грушка с толстоватым, заметным среди тонконогого вишняка стволом. Издали приметив ее, Ивановский подумал, что за этим грушевым комельком, по-видимому, надо присесть, подождать. Но он еще не дошел до грушки, как совершенно неведомо откуда подле стожка появилась какая-то фигура в распахнутой длинной одежде, и он, вздрогнув, смекнул: немец! Немец от неожиданности обмер, пристально взглядевшись в него, но тут же, видно, успокаиваясь, прокартавил издали:

— Es schien ein Russ...<sup>1</sup>

Ивановский ничего не понял и, наверно, чересчур резко дернул рукоятку висевшего на груди автомата. Затвор громко щелкнул в тишине. Немец, поняв свою оплошность, сдавленно, почти в ужасе вскрикнул и стремглав бросился по снегу от стожка — наискосок через огород, к соседнему дому. На секунду растерявшись, Ивановский присел и, кажется, очень вовремя: тут же от построек бахнул одиночный выстрел, пуля звучно щелкнула в намерзших ветвях кустарника. Но он уже был наготове и с колена коротко тыркнул по серому углу за изгородью, потом другой очередью — ниже, по беглецу, который уже вот-вот готов был скрыться в тени постройки. Последние его пули были, однако, излишними — немец сразу ткнулся головой в снег и застыл там; Ивановский, тут же выбросив левую лыжу на крутой

<sup>1</sup> Мне показалось — русский... (нем.)



разворот, схватил одну палку. Вторую впопыхах он уронил в снег и только нагнулся за ней, как в сумерках двора опять сверкнула красноватая вспышка, и он тихонько ахнул от глубокого острого удара в спину. Сразу поняв, что ранен, вгорячах бешено рванулся на лыжах с этого огорода, туда, где ждал его Пивоваров.

Видно, замешкавшись, немцы подарили ему четверть минуты дорогого для него времени. Он уже проскочил половину межевой посадки, а они только начали выбегать откуда-то из двора на огород. Кто-то закричал нам повелительно и строго, и вот человек пять их пустились вдогонку. Он ясно увидел их, оглянувшись, и на секунду замешкался, соображая, остановиться ему, чтобы огнем из ППД умерить их прыть, или скорее ускользнуть в темноту. Но у него уже не получалось скорее, он быстро слабел от боли, едва управляясь с лыжами.

Сзади несколько раз выстрелили, часто и не очень звучно, похоже, из пистолетов, но он все же оторвался от них, теперь попасть в него было трудно. И все же одна пуля ударила куда-то под самые ноги. Он, не оглядываясь, пригнулся пониже и изо всех быстро убывающих сил старался побыстрее вырваться из этого огорода. Но вот и еще одна пуля протянула свою визгливую струну над самой его головой, он вскинул автомат, чтобы дать очередь, как откуда-то спереди сильно и звучно бахнуло раз и второй. Он понял радостно, почти спасительно: это Пивоваров — выстрел своей трехлинейки он бы узнал где хочешь. Из сумерек еще и еще, почти навстречу ему один за другим сверкнули три частых удара, пули прошли совсем рядом, но он был уверен: своя пуля его не зацепит.

— Скорее, товарищ лейтенант!

Ивановский упал, немного не дойдя до изгороди, но не от боли в груди, которая быстро завладевала всей его правой половиной тела, а оттого, что не хватало дыхания. Он задохнулся. Но он знал, что Пивоваров уже где-то рядом и не оставит его.

Сплюнув снег, он тут же попытался подняться, но ноги его странно отяжелели, к тому же мешали скрестившиеся при падении лыжи. Одна из них вовсе соскочила с ноги, тогда он дернул другой и тоже высвободил ее из крепления. Сзади еще хлопнуло несколько выстрелов, но, похоже, его не преследовали, их задержал Пивоваров, который и выбежал к нему из сумерек.

— Товарищ лейтенант!..

— Тихо! Дай руку.

— Я уложил там одного! Пусть теперь сунутся!..

Кажется, он не очень и удивился его ранению, быстро помог подняться, но, видно, бойца занимало другое, и он даже не пытался скрыть это. Похоже, он и не догадывался, как просто теперь их могли уложить тут обоим.

Лейтенант хотел было собрать лыжи, но опять голова у него закружилась, и он ткнулся плечом в мягкий морозный снег. Пивоваров, наверно, только теперь поняв состояние командира и скинув со своих ног лыжи, опять бросился к нему на помощь.

— Что, вас здорово, а? Товарищ лейтенант?

— Ничего, ничего, — выдавил из себя Ивановский. — Поддержи!..

Надо было как можно скорее уходить отсюда, с минуты на минуту их могли настичь немцы. Пивоваров примолк вдруг и, поддерживая отяжелевшее тело лейтенанта, повел его куда-то в темень, подальше от деревьев, в поле. Ивановский послушно тащился по снегу, заплетаясь ногами, в голове его хмельно кружилось, начинало тошнить. Два раза он сплюнул на снег что-то темное, обильное, не сразу поняв, что это кровь. «Хорошо получил!.. Хорошо получил!» — думал он почти со злорадством, как о ком-то другом, не о себе.

Он не оглядывался, но и без того было слышно, что сзади не унимался переполох, раздавались крики. Правда, выстрелов не было, но все еще доносившиеся встревоженные голоса подгоняли их пуше стрельбы. Очевидно, немцы высыпали на околицу или, может, шли следом. У Ивановского уже все было мокро от пота и крови, на боку через бязь маскхалата проступило темное большое пятно, он трудно, загнанно дышал, то и дело сплевывая на снег кровавые сгустки. Несколько раз оба



они падали, но Пивоваров, наскоро отдышавшись, вскакивал, хватал лейтенанта под мышку, и они снова шатко и неровно брели в серые морозные сумерки, петляя по зимнему, продутому всеми ветрами полю.

Когда уже совсем обессилели оба, лейтенант, выплюнув кровавую пену, промывчал «стой» и упал боком на снег. Рядом упал Пивоваров. Уже нигде ничего не было слышно и ничего не видеть, даже не понять было, в какой стороне деревня. Думалось, они ушли на край света, где нет ни своих, ни немцев, и Пивоваров, отдышавшись, сел на снегу.

— Сейчас перевяжем,— сказал он, зашарив по карманам в поисках бинта.— Куда вас?

— В грудь. Под рукой вот...

— Ничего, ничего! Сейчас. Перевяжу. А я тому как дал, так сразу... Другой, гляжу, драла... Целую обойму выпустил.

Ивановский откинулся на спину, расстегнул ремень, телогрейку. Пивоваров холодными руками зашарил по телу. Кровь, обильно пропитавшая одежду, начала уже остывать и жгла на морозе как лед. Впрочем, жегся, возможно, набившийся всюду снег, лейтенант то и дело содрогался в ознобе, но терпел молча. Боец туго обмотал его грудь двумя или тремя пакетами, накрепко связал их концы.

— Больно очень?

— Да уж больно,— с раздражением ответил Ивановский.— Все, застегни ремень.

Пивоваров помог командиру привести себя в порядок, застегнул на телогрейке ремень, одернул куртку масхалата. Постепенно лейтенант начал согреваться, хотя тело его все еще бил мелкий нервный озноб, от которого спирало дыхание.

— Не надо было туда идти,— сказал боец, вытирая о шаровары испачканные кровью руки.

— Да? Что ж ты не сказал раньше?

— Так я не знал,— пожал одним плечом Пивоваров.

— А я знал?— раздраженно бросил лейтенант. Он понимал, что становится злым и несправедливым и что Пивоваров здесь ни при чем, что во всем виноват он сам. Но именно сознание этой виновности больше всего и злило Ивановского. Да, теперь он влип, похоже, погубил себя и этого бойца тоже, завалил все задание с базой, ничего не добился в деревне. Но поступить иначе — обойти стороной базу, штаб, эту деревню и тем сохранить себя он не мог. На такой войне это было бы кошунством.

— Диски давайте сюда. И автомат тоже. Я понесу,— тихо сказал Пивоваров, и Ивановский молча согласился, теперь, конечно, много унести он не мог. Собрав в себе жалкие остатки сил, он лишь повернулся, чтобы сесть на снегу.

— Что ж, надо уходить.

— Ага. Давайте вон туда. Как и шли,— оживился Пивоваров.— Ей-богу, тут где-то деревня.

— Деревня?

— Ну. В какую-нибудь деревню надо. Без немцев чтоб.

Пожалуй, Пивоваров прав, подумал Ивановский. Теперь им остается только забиться в какую-нибудь деревню, к своим людям, больше даться некуда. Он просто не сразу сообразил, как круто это его ранение изменило все его планы. Теперь, видно, следовало заботиться единственно о том, чтобы не попасть к немцам. Базы ему уже не видеть...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Они все шли по колено в снегу, без лыж — бессильно тащились, вцепившись друг в друга, от усталости едва не падая в снег. Пивоваров выбивался из сил, но не оставлял лейтенанта, правой рукой поддерживая его, а в левой волоча за ремни автомат и винтовку да на плече свой все время сползавший вещевого мешок. Иванов-

скому уже совсем нестерпимы были эти муки, но, сцепив зубы, он вынуждал себя на последние усилия и шел, шел, только бы подальше уйти от той злосчастной деревни.

Тем временем в ночи повалил снег, вокруг забелело, затуманилось, мутное небо сомкнулось с мутной землей, затканной мигающе-секущим потоком снежинок. Невозможно было поднять лицо. Но ветер был слабее, чем вчера, к тому же, казалось, дул в спину, и они слепо брели по полю, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Сплывавая кровь, Ивановский с тоской отмечал, как таяли его силы, и упрямо шел, надеясь на какое-то пристанище, чтобы не погибнуть здесь, в этом поле. Погибать он не хотел, пока был жив, готов был бороться хоть всю ночь, сутки, хоть вечность, лишь бы уцелеть, выжить, вернуться к своим.

Наверно, Пивоваров чувствовал то же, но ничего не говорил лейтенанту, только как мог поддерживал его, напрягая остатки своих далеко не богатырских сил. В других обстоятельствах лейтенант, наверно, удивился бы, откуда они еще брались у этого тщедушного, замороженного на вид разливка, но теперь сам он был слабее его и целиком зависел от его пусть даже небольших возможностей. И он знал, что если они упадут и не смогут подняться, то дальше будут ползти, потому что какое ни есть — спасение у них впереди; сзади же их ждала смерть.

В какой-то ложбине с довольно глубоким снегом они нерешительно остановились раз и другой. Пивоваров, придерживая лейтенанта, пытался рассмотреть что-то впереди, что лейтенант не сразу и заметил. Потом, присмотревшись сквозь загулестую в ночи круговерть, он тоже стал различать неясное темное пятно, размеры которого, как и расстояние до него, определить было невозможно. Это мог быть и куст рядом, и какая-то постройка вдаль, а возможно, и дерево — ель на опушке. Тем не менее это пятно насторожило обоих, и, подумав, Пивоваров опустил Ивановского набок.

— Я схожу. Гляну...

Лейтенант не ответил, говорить ему было мучительно трудно, дышал он с хрипом, часто сплевывая на снег. Рукавом халата вытер мокрые губы, и на белой влажной материи осталось темное пятно крови.

— Вот, наверно, и все...

«Если уж изо рта идет кровь, то, по-видимому, недолго протянешь», — невесело подумал он, лежа на снегу. Голова его клонилась к земле, и перед глазами плясали огненно-оранжевые сполохи. Но сознание оставалось ясным, это вынуждало бороться за себя и за этого вот бойца, нынешнего его спасителя. Спаситель сам едва стоял на ногах, но до сих пор лейтенант не мог ни в чем упрекнуть его — там, в деревне, и в поле Пивоваров вел себя самым похвальным образом. Теперь, почувствовав преимущество над командиром, он как-то оживился, стал увереннее в себе, расторопнее, и лейтенант подумал с уверенностью, что в выборе помощника он не ошибся.

Несколько минут он терпеливо ждал, тоскливо прислушиваясь к странному хлопотанию в простреленной груди. Рядом лежал вещмешок Пивоварова, и лейтенант подумал, что надо, видимо, им разгрузиться, выбросить часть ноши. Теперь уж большой запас ни к чему, необходимы личное оружие, патроны, гранаты. Бутылки с КС, по-видимому, были уже без надобности. Но, обессилев, он не смог бы даже развязать вещмешок и лишь немощно клонился головой к земле. Он не сразу заметил, как из снежных сумерек бесшумно появилась белая тень Пивоварова, который обрадованно заговорил на ходу:

— Товарищ лейтенант, банька! Банька там, понимаете, и никого нет.

Банька — это хорошо, подумал Ивановский и молча, с усилием стал подниматься на ноги. Пивоваров, подобрав вещмешок, ППД, помог встать лейтенанту, и они опять побрели к недалекому притуманенному силуэту бани.

Действительно, это была маленькая, срубленная из еловых вершков, пропахшая дымом деревенская банька. Пивоваров отбросил ногой палку-подпорку, и низкая дверь сама собой растворилась. Нагнув голову и хватаясь руками за стены, Ива-

новский влез в ее тесную продымленную темноту, повел по сторонам руками, нащупав гладкий шесток, шуршащие веники на стене. Пивоваров тем временем отворил еще одну дверь, и в предбаннике сильно запахло дымом, золой, березовой прелью. Боец вошел туда и, пошарив в темноте, позвал лейтенанта:

— Давайте сюда. Тут вот лавки... Сейчас составлю...

Ивановский, цепко держась за косяк, переступил порог и, нащупав скамейки, с хриплым выдохом вытянулся на них, касаясь сапогами стены.

— Прикрой дверь.

— Счас, счас. Вот тут и соломы немного. Давайте под голову...

Он молча приподнял голову, позволив подложить под себя охапку соломы, и обессиленно смежил веки. Через минуту он уже не мог разобрать, то ли засыпал, то ли терял сознание, оранжевое полыхание в глазах стало сплошным, непрекращающимся, мучительно кружилось в голове, тошнило. Он попытался повернуться на бок, но уже не осилил своего налитого тяжестью тела и забылся, кажется, действительно потеряв сознание...

Приходил он в себя долго и мучительно, его знобило, очень хотелось пить, но он долго не мог разомкнуть пересохшие губы и попросить воды. Он лишь с усилием открыл глаза, когда почувствовал какое-то движение рядом, — из предбанника появилась белая тень Пивоварова с откинутым на затылок капюшоном и его автоматом в руках. В баньке было сумрачно-серо, но маленькое окошко в стене светилось уже по-дневному, ясно просвечивали все щели в предбаннике, и лейтенант понял, что наступило утро. Пивоварова, однако, что-то занимало снаружи, сгорбившись, боец припал к маленькому окошку, что-то пристально высматривая там.

Ивановский попытался повернуться на бок, в груди его захрипело, протяжно и с присвистом, и он закашлялся. Отпрянув от окошка, Пивоваров обернулся к раненому:

— Ну как вы, товарищ лейтенант?..

— Ничего, ничего...

Он ждал, что Пивоваров и еще что-то спросит, но боец не спросил ничего больше, как-то сразу притих и, пригнувшись все у того же окошка, сказал сдавленным шепотом:

— Вон немцы в деревне.

— В какой деревне?

— В этой. Вон крайняя хата за вербой. Немцы ходят.

— Далеко?

— Шагов двести, может.

Да, если в двухстах шагах немцы, которые еще не обнаружили их, то можно считать, им повезло в этой баньке.

Правда, до сих пор была ночь, но вот начинается день, и кто знает, сколько им еще удастся просидеть тут незамеченными.

— Ничего. Не высовывайся только.

— Дверь я прикрыл, — кивнул Пивоваров в сторону входа. — Лопатой подпер.

— Хорошо. Воды нет?

— Есть, — охотно отозвался Пивоваров. — Вот в дежке вода. Я ужепил. Со льдом только.

— Дай скорее.

Пивоваров неловко напоил его из какой-то жестянки, вода пахла вениками, к губам прилипла размокшая березовая листва. В общем, вода была отвратительная, словно из лужи, и так же отвратительно было внутри у лейтенанта — что-то разбухало в груди, уже с трудом можно было вдохнуть; откашляться он не мог вовсе.

После питья стало, однако, легче, сознание вроде прояснилось, Ивановский огляделся вокруг. Банька была совершенно крохотная, с низким, закопченным до черноты потолком, такими же черными от копоти стенами. В углу, возле двери, чернела груда камней на печурке, возле которой стояла кадка с водой. На низком

шесте над ним висели какие-то забытые тряпки. Конечно, в любой момент и по любой надобности тут могли появиться люди, которые и обнаружат их. И как он не подумал прежде, что банка не может быть далеко от деревни и что в этой деревне тоже могут быть немцы?

— Что там видать?— глухо спросил он Пивоварова, замершего теперь в предбаннике возле дверной щели.

— Да вон со двора вышли... Двое. Закуривают... Пошли куда-то.

— Немцы?

— Ну.

— Ничего. Смотри только. Легко они нас не возьмут.

Конечно, он понимал цену своего голословного утешения, но что он мог еще? Он знал только, что, если нагрянут немцы, придется отбиваться, пока хватит патронов, а там... Но, может, еще и не нагрянут? Может, они и вовсе уйдут из деревни? Странно, но теперь в его ощущениях появились какие-то новые, почти незнакомые ему оттенки, какое-то неестественное в этой близости от немцев успокоение, похоже, он утратил уже свою спешку, свое нетерпение, не оставлявшее его все последние дни. Теперь все это разом куда-то исчезло, пропало, наверно, вместе с его силами, лишившись которых он лишился также и своего душевного напора, энтузиазма. Теперь он старался поточнее все взвесить, выверить, чтобы поступить наверняка, потому что любая ошибка могла оказаться последней. И первой его ясно понятой неизбежностью была готовность ждать. Днем в снежном поле, на краю деревни, ничего нельзя было, кроме как запастись до ночи терпением, чтобы с наступлением темноты что-то предпринять для своего спасения.

Но чтобы ждать, тоже нужны были силы, надо было как-то удержать в себе зыбкое свое сознание, усилием воли сохранить выдержку. Это тоже было нелегко, даже здоровому, каким был Пивоваров. В этой западне на виду у немцев не просто было совладать с нервами, думал лейтенант, наблюдая, как кидался по баньке боец — то к окошку в стене, то в предбанник с множеством щелей. Выглядел он испуганным, и каждый раз, глядя на бойца, Ивановский думал — идут! Но, наверно, чтобы успокоить командира да и себя тоже, Пивоваров время от времени приговаривал вслух:

— Кто-то на тропку вышел... К колодцу вроде. Ну да. Какая-то тетка с ведром...

И минуту спустя:

— О, о! Выходят. Нет, стали. Стоят... Пошли куда-то.

— Куда пошли?

— А черт их знает! Спрятались за сараем.

— Ничего, не волнуйся. Сюда не придут.

Он не стал забирать у бойца свой автомат, подумав, что при случае тот справится с ним ловчее, у него же оставалась граната. Теперь без гранаты ему нельзя. Он отвязал ее от пояса и положил возле лавки. У изголовья стояла прилоненная к стене винтовка — все было на месте, оставалось терпеливо ждать, полагаясь на удачу.

— Сунутся, тут и останутся,— сказал Пивоваров, подходя к окошку.— Правда, и мы...

Ивановский понял, что не досказал Пивоваров, и спросил неожиданно:

— Жить хочешь?

— Жить?— почти удивился боец и вздохнул.— Не худо бы. Но...

Вот именно — но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него куда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой — преждевременная, страшная в своей обыденности смерть. С этого все началось, и, что бы ни случилось потом, в последующих передрыгах, неизменно все наткалось на это роковое НО. Чтобы как-то обойти его, обхитрить, пересилить на своем пути и продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки... Разумеется, чтобы



выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив, — в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага — другого выхода на войне, видимо, не было.

А что вот, если, как теперь, ему невозможно и убить? Он мог лишь убить себя, а боец он уже был плохой. Как бы ни утешал он себя и Пивоварова, как бы ни вынуждал на усилия, он не мог не сознавать, что с простреленной грудью он не вояка.

Тогда что же — тихо умереть в этой баньке?

Нет, только не это! Это было бы едва не подлостью по отношению к себе, к этому бойцу, которого он тоже обрекал на гибель, по отношению ко всем своим. Пока жив, этого он себе не позволит.

Он даже испугался этой своей мысли и очнулся от короткого забытья. Надо было предпринять что-то, предпринять немедленно, не теряя ни одной минуты жизни, потому что потом может быть поздно.

Мечась в горячечных мыслях, он долго мучительно перебирал все возможные пути к спасению и не находил ничего. Тогда опять наступила апатия, расслабляющая ум отрешенность, готовность покорно ждать ночи.

«Проклятая деревня!» — в который раз твердил он себе, она его погубила. И надо же было так нелепо наткнуться на этого фрица, поднявшего крик, вступить в перестрелку, получить пулю в грудь... Но все-таки что-то там есть. Эта тишина, скрытность, несомненно, были искусственными, поддержанными твердой дисциплиной, невозможной без власти большого начальства. Опять же антенны... По всей видимости, там расположился какой-то большой, может, даже армейский штаб, в глубоком тылу маленького штаба не будет. Как было бы кстати нанести по нему удар!.. Но как нанесешь? Самолеты теперь не летают, а установится погода — тогда ищи его, как эту вот распрсклятую базу боеприпасов.

Что же, ему не повезло в самом начале, а в конце тем более. Если бы не это ранение, по существу, погубившее его, уж что-нибудь он бы, наверно, придумал. Можно было бы устроить засаду, взять «языка». Но теперь как возьмешь? Теперь его самого можно взять вместо «языка», разве что толку от него будет немного. Впрочем, пока он живой и у него есть граната, которой вполне хватит для обоих и для этой вот баньки, его им не взять. Видно, на гранату теперь вся надежда.

Но шло время, а никто их не тревожил в этом тесном и темном, провонявшем дымом убежище на краю села. Пивоваров теперь больше простаивал за простенком, изредка комментируя то, что удавалось увидеть сквозь щель. Но вот он умолк, видно, ничего особенного там не было, и лейтенант вдруг тихо спросил:

— У тебя мать есть?

Наверное, это был странный в их положении вопрос, и Пивоваров не понял:

— А? Что вы сказали?

— Мать есть?

— Есть, конечно.

— И отец?

— Нет, отца нет.

— Что, помер?

— Да так, — неопределенно замаялся Пивоваров. — Я с матерью жил. Вот если бы она знала, как нам тут! Было бы страху!

— Хорошая мамаша?

— Ну, — односложно подтвердил боец. — Я же у нее один. Бывало, все для меня.

— Откуда родом?

— Я? Из-под Пскова. Городок такой есть — Порхов, может, слышали? Вот там жили. Мама в школе работала, учительницей.

— Говоришь, обожала?

— Ну. Еще как! Прямо смешно было. С ребятами когда нашалишь — траге-

дня. Завтрак не доешь — трагедия. А уж если заболел — ого! Всех врачей на ноги поднимет, неделю лекарствами кормить будет. Смешно было... А теперь не смешно.

— Теперь не смешно, — вздохнул лейтенант.

— Мама — золото. Я у нее один, но и она у меня ведь тоже одна. У нас там и родни никакой. Мама из Ленинграда сама. До революции в Питере жила. Сколько мне про Питер нарасказывала!.. А я так ни разу и не съездил. Все собирался, да не собрался. Теперь после войны разве.

— После войны, конечно.

— Я, знаете, ничего. Я не очень: убьют, ну что же! Вот только мать жалко.

Матери жаль, разумеется, молча согласился Ивановский, впрочем, жаль и отца тоже. Даже и такого, каким был его отец, ветеринар Ивановский. Не очень добрый и не очень чтоб умный, любитель посудачить с мужиками и в меру выпить по праздникам, он иногда казался глубоко несчастным, потрепанным жизнью неудачником. В самом деле, у всех были жены, заботящиеся о питании, быте, семейных удобствах, в разной степени, но неизменно обожающие своих мужей-командиров, а они с отцом, сколько помнил Игорь, всегда жили в каких-то каморках, углах, на частных квартирах, обходясь на обед куском сала, миской капусты, вчерашними консервами и одной на двоих алюминиевой ложкой. Мать свою Игорь едва помнил и почти никогда не спрашивал о ней у отца, знал: стоит завести о ней разговор, как отец не может удержаться от слез. С образом матери была связана какая-то семейная драма Ивановских, и сын даже не знал, была ли она жива или давно умерла. Впрочем, как выяснилось потом, отец тоже знал об этом едва ли больше его.

Об отце Ивановского знакомые говорили разное, по-разному относился к нему его сын, но все равно это был отец, по-своему любивший единственного своего сына, желавший ему только хорошего, радовавшийся его военному будущему. И вот дорадовался. Последнее письмо от него Ивановский получил в училище перед выпуском, в начале июня; отец был под Белостоком, все в том же пограничном отряде, а Игорь получил назначение в Гродно, в распоряжение армейского отдела кадров, и думал, что они скоро свидятся. Он даже не ответил отцу на его письмо, а потом уж и отвечать стало некуда. Где он, жив или нет? Никто ему толком ответить не мог, да и спрашивать было не у кого. Видно, с отцом у Ивановского все навсегда было кончено, надежд на встречу никаких не осталось...

Так же, как и с его Янинкой...

Странно, но ту страшную разлуку с девушкой он переживал куда дольше и труднее, чем вечную, по всей вероятности, разлуку с отцом. Правда, потом в боях, в кровавой сумятице фронтовых будней часто забывал о ней, чтобы совершенно неожиданно где-нибудь на ночлеге, в тихую минуту перед шемящей неизвестностью предстоящего боя вдруг вспомнить до пронзительной боли в сердце. Он никому не рассказывал об этой своей первой и, наверно, последней, такой скоротечной любви, знал, чувствовал: у других было не легче. Кто в войну не переживал, не сох, не страдал от разлуки с любимой, матерью, женой или детьми... Разлуки томили, жгли, болью точили сердца, и никто ничего не мог сделать, чтобы облегчить эту боль.

...Кажется, он снова забылся — уснул или просто затих на мучительном рубеже между жизнью и смертью, и когда очнулся, банька почти погрузилась в сумерки. Он уже не глядел на свои часы, время теперь для него потеряло свой изначальный смысл, состояние его вроде и еще ухудшилось. Он часто, мелко дышал, утренний озноб сменился теперь потливым жаром. Очнувшись, он пошарил по баньке взглядом и увидел Пивоварова, который сидел на опрокинутом деревянном ведре у окна и грыз сухарь. Окно потело от его дыхания, и боец рукавицей то и дело протирает стекла.

— Что там? — открыв и снова закрывая глаза, спросил лейтенант.

— Все то же. Не уходит, сволочи.

Не уходит — значит, в деревню не сунуться. Но куда же, кроме деревни, им теперь можно сунуться? В поле будет похуже, чем в этой баньке, в поле доконает мороз. Но и здесь вряд ли они дождутся хорошего.

Черт, нужны были лыжи, они зря бросили их в той деревне. Хотя там, под огнем, было не до лыж — важно было унести ноги. Но теперь вот без лыж они просто не могли никуда уйти из этой бани.

Конечно, ему все равно, лично ему лыжи уже без надобности. Но Пивоварову они просто необходимы. Без лыж парню никак не добраться до линии фронта — на первом же километре дороги его схватят немцы.

— Пивоварчик, как думаешь, до той деревни далеко?

— Какой деревни?

— Ну той... вчерашней.

— Может, километра два.

Оказывается, так близко, а ему ночью казалось, что они ушли от нее километров на пять, не меньше. Впрочем, меры расстояний и времени, очевидно, потеряли для него истинное свое значение, каждый метр пути и каждая минута жизни невероятно растягивались его муками, искажая нормальное, человеческое восприятие их. Наверно, теперь ему следовало больше полагаться на Пивоварова.

— А что надо, товарищ лейтенант?— спросил боец.

— Сходить за лыжами. Ночью. Может, не подобрали немцы.

Пивоваров помолчал минуту, что-то прикидывая про себя, потом со вздохом ответил:

— Что ж я схожу. Пусть потемнеет только.

— Да. Надо, знаешь...

— Ну. Только вы... Как вы тут?..

— Как-нибудь. Я подожду.

Еще не совсем стемнело, но Пивоваров поднялся и, не мешкая, стал собираться в дорогу. Первым делом он стащил с ноги кирзовый сапог и перемотал портянку. Потом вынул из вещмешка два сухаря, сунул в карман; вещмешок переставил ближе к Ивановскому.

— И это... Автомат возьму — ладно?

— Возьми.

— С автоматом, знаете... Увереннее.

Лейтенант видел, Пивоваров не мог сдержать радости, получив такое оружие, о котором мечтал каждый боец на фронте. Автоматы были еще в новинку, пехоту почти сплошь вооружали винтовками. Ивановский сам получил его накануне выхода: генерал, раздобывшись, приказал своему коноводу передать автомат лейтенанту. Конечно, теперь в их положении оружие решало если не все, то многое, на извечной силе оружия держались мизерные их возможности.

— А винтовка пусть здесь побудет. В случае чего вам сгодится.

Лейтенант не возражал, и Пивоваров снял с ремня оба брезентовых подсумка, звякнув обоями, положил их на пол возле скамейки.

— Винтовка хорошая: бой в самую точку. Старшина пристреливал.

Ивановский, рассеянно слушая бойца, думал, что винтовка, несколько обойм патронов, противотанковая граната и две бутылки с КС — наверно, этого будет достаточно. Повевет — он дождетсЯ Пивоварова с лыжами, и, может, они еще что предпримут. А нет — придется стоять за себя до конца.

Пивоваров перемотал и другую портянку, подтянул ремень и с видимым удовольствием закинул за плечо автомат. Похоже, он уже был готов отправиться в недалекий, но, кто знает, вряд ли безопасный путь.

— Сколько на ваших там? Пять уже? Ну, я за часок обернусь, тут недалеко...

За часок он обернется, и опять они будут вместе. В минуту новой разлуки Ивановский почувствовал, как, в общем, неплохо ему было с этим тихим безотказным парнишкой и как, наверно, нелегко будет теперь в одиночестве пережить этот час. Разобщенность значительно ослабляла их силы. В действие вступала странная, попирающая математику логика, когда два, разделенное на два, составляло менее чем единицу, так же как в других случаях две вместе сложенные единицы заключали в себе больше двух. Наверно, такое с трудом согласовывалось с нормальной логикой

и было возможно лишь на войне. Но что это именно так, лейтенант слишком хорошо знал по собственному опыту.

Боец готов был идти, но почему-то медлил, наверно, недоставало еще какой-нибудь самой последней малости в их прощании. Ивановский знал, в чем была эта малость, и он колебался. Появилась последняя возможность заглянуть в ту злосчастную деревню и еще раз попытаться узнать что-либо о штабе. Хотя бы в общих чертах, чтобы не с пустыми руками предстать перед пославшим их генералом и хоть в какой-то степени искупить их досадную неудачу с базой. Но он не мог не знать также, что малейшая неосторожность Пивоварова может обернуться сразу тройной бедой, навсегда покончив с их и без того ничтожной возможностью исполнить свой долг и вернуться к своим.

— Так я пойду, товарищ лейтенант, — решился Пивоваров, поворачиваясь к порогу, и лейтенант сказал:

— Погоди. Знаешь... Я не настаиваю, смотри сам. Но... Может, ты как сумеешь... Что там, в деревне? Похоже ведь — штаб...

Он замолчал. Пивоваров настроенно ждал, но, не дождавшись ничего более, сказал просто:

— Хорошо. Я попробую.

Что-то в Ивановском протестующе вскричало, в простреленной его груди. Что значит — попробую, от пробы немного проку, тут нужна змеиная хитрость, упорство, выдержка, и то сверх всего остается риск головой. Но он не мог этого объяснить бойцу, что-то мешало ему говорить о страшных, хотя и слишком обычных на войне вещах, к тому же он едва осиливал в себе боль и слабость. И он лишь выдохнул:

— Только осторожно!..

— Да ладно. Вы не беспокойтесь. Я тихонько...

— Да. И недолго...

— Ладно. Вот тут водички вам, — зачерпнув в кадке, боец поставил у изголовья жестянку с водой. — Если пить захотите...

Утомленный трудным разговором, Ивановский прикрыл глаза, слушая, как Пивоваров вышел в предбанник, не сразу, осторожно, otvorил там дверь и плотно прихлопнул ее снаружи. Минуту еще Ивановскому слышны были его удаляющиеся за банькой шаги, они быстро глохли, и с ними, казалось, уходила какая-то надежда; что-то для них безвозвратно заканчивалось, не начав нового. Он стал ждать, тягостно, упорно, вслушиваясь в каждый шорох ветра на крыше, каждый отдаленный в деревне звук; он жил в тревожном скупом мире звуков, иногда заглушаемых собственным кашлем и глухим хрипом в груди.

Постепенно, однако, слух его стал притупляться от усталости, вокруг все было тихо, и сознанием завладевали мысли, которые причудливо ветвились во времени и пространстве. Похоже, он начинал дремать, и тогда среди полубредовых видений выплывало что-то похожее на быль или его прошлое, тревожившее и сладостно томившее его одновременно...

## ГЛАВА ОДИННАДАТАЯ

До отхода поезда оставалось несколько последних минут, а она стояла на платформе и плакала. Никто, видно, не провожал ее здесь, и никто не встречал, вообще народу в этот утренний час на перроне было немного, и Ивановский, опустившись на ступеньку ниже, шутливо окликнул девушку:

— Эй, красавица, зачем плакать? Другого найдем.

Сказано это было из молодого озорства, дорожной, ни к чему не обязывающей легкости в отношениях между незнакомыми людьми, которые случайно столкнулись и тут же расстаются, чтобы никогда больше не встретиться. Но девушка уголком цветастой, повязанной на шею косынки смахнула слезу и бегло скользнула по нему



испытующим взглядом. Сзади за ним, держась за поручень, нависал Коля Гомолко, оба они были в хорошем, приподнятом настроении и, казалось, любое на свете горе могли обратить в шутку.

— А то давай к нам! До Белостока!

Девушка машинально поправила на тонкой шее косынку, снова скользнула взглядом по лицам двух одетых во все новое военных парней, и на ее губах уже вострепнулась легонькая улыбка.

— А мне в Гродно.

— Какое совпадение!— шутливо удивился Ивановский.— Нам тоже в Гродно. Поехали вместе.

Не заставив себя уговаривать, она подобрала стоявший у ног чемоданчик и ловко ухватила за поручень уже отходившего поезда. Ивановский поддержал ее, и, несколько смущенная и обрадованная таким оборотом дела, новая пассажирка поднялась на площадку.

— Билет, билет, гражданочка!— тут же потребовал от нее суетливый дядька-проводник, который с флажками в руках спешил к выходу.

— Есть билет! Все в порядке!— тоном, не оставляющим тени сомнения, сказал Ивановский, протискиваясь в вагон.

Он повел девушку в третье или четвертое купе, где они размещались с Гомолко, неся в руках ее чемоданчик, показавшийся ему до странности легким, скорее всего пустым.

— Вот, пожалуйста. Можете занимать мою. Я заберусь наверх,— с радушной легкостью предложил Ивановский нижнюю полку и поставил на нее чемоданчик. Она послушно присела у окошка и не сразу, преодолевая видимое смущение, тихо сказала:

— У меня нет билета.

— Что, не хватило?

— Меня обокрали.

— Как?

— Ночью. В поезде из Минска.

Это было похуже. Кажется, они взяли на себя ответственность не по плечу, тем самым нарушая строгий порядок железных дорог. Но и отступить теперь не годилось. Игорь, взглянув на Николая, прочитал на его грубоватом, всегда нахмуренном лице решимость стоять на своем, и сам тоже решил.

— Ничего! С проводником договоримся...

Но договариваться пришлось не только с проводником, но также и с ревизором, и с бригадиром поезда, и переговоры эти закончились тем, что на следующей крупной станции, куда прибыл поезд, Ивановский сбегал в вокзальную кассу и едва успел захватить последний билет на уже занятое ею место. Билет был до Гродно, и девушка скоро пришла в себя, даже заулыбалась, окончательно пережив свои злоключения. Оправившись от волнений, она оказалась общительной и, в общем, приятной девушкой, вскоре не без юмора поведавшей им о своем дорожном происшествии. Оказалось, что она живет в Гродно и в Минск ездила к родственникам, которых никогда не видела, и тут такое несчастье в вагоне. У нее все забрали из чемоданчика, кроме того, унесли плащик, жакет и, разумеется, деньги. Но вот она спасена и очень обязана обоим за их великодушное участие и помощь.

— Да ну, о чем разговор!— отмахнулся Ивановский и перевел разговор на другое:— А вы давно в Гродно?

— Там и родилась.

— Ого, значит, местная?

— Разумеется.

— И так хорошо говорите по-русски?

— А у нас всегда дома говорили по-русски. У нас отец русский и тетя, его сестра, тоже русская. Только мама полька.

— А где вы учились?

— В польской гимназии. Русских же не было.

— А как вас зовут?— все больше любопытствовал Игорь.

— Янинка. А вас, если не военная тайна?— сверкнула она в его сторону лукавой усмешкой.

— Меня Игорь. А его — Николай.

— У меня дядя, что в Минске, тоже Игорь. Игорь Петрович. А вы к нам служить едете?

Тут уже они переглянулись, это действительно в какой-то мере относилось к области военной тайны, с легкостью, однако, разгаданной их попутчицей. Но что было скрытничать! Действительно, неделю назад после окончания училища они получили назначение в армию, штаб которой размещался в этом ее Гродно.

— Похоже, что так,— неопределенно ответил Ивановский.— А что это Гродно — ничего городок?

— Очень хороший город. Не пожалеете.

— Думаешь, нас в Гродно оставят?— со свойственным ему скептицизмом сказал во всем сомневающийся Гомолко.— Запрут куда-нибудь в лесной гарнизон.

— О, в лесу хорошо! У нас такие леса!..

Ивановский промолчал. Его отношение к лесу, даже самому замечательному, мало походило на восторги этой девчушки. Еще в училище, в многомесячных летних лагерях, леса, поля, вся эта удаленность от постоянных очагов обитания с их не бог весть каким, но все же устроенным бытом успевали так надоест к осени, что самая роскошная природа становилась несносной — хотелось в город. Правильно кем-то сказано, что военные не замечают природы, для них важнее погода.

Тем не менее в наивной восторженности Янинки сквозила такая искренность, что Ивановский заулыбался, готовый уже согласиться на любой гродненский лес. И вообще что-то ему все больше в ней нравилось, в этой миловидной, с кокетливо рассыпанными по лбу светлыми кудряшками девушке в цветастом ситцевом платье. Ему уже было неловко за ту фривольную шутку на вокзале в Барановичах, за их навязчивость, которую извиняло разве что их последующее участие.

Поезд с короткими остановками на маленьких станциях шел все дальше на запад. За окном проносились зеленые июньские поля, перелески, величественные сосновые боры, деревни и хутора, хутора повсюду. Ивановский никогда не был в этой стороне Белоруссии, и теперь в нем вспыхнул неподдельный интерес ко всему, что относилось к этой жизни, неведомой для него.

На какой-то небольшой станции их вагон остановился как раз напротив крохотного привокзального базарчика, и Ивановский, выскочив на платформу, торопливо накупил в газетку немудрящей крестьянской снеди — огурцов, редиски, крестьянской колбасы и даже миску горячей, рассыпчатой, вкусно пахнущей молодой картошки. Потом они ели все вместе, парни заботливо угощали девушку, которая совсем уже освоилась в их компании, охотно смеялась, шутила, за обе щеки уплетая огурец с картошкой. После обеда, наверно, что-то уловив в поведении Игоря, Николай благоразумно устранился, забравшись на верхнюю полку, чтобы поспать.

Они же остались друг против друга, разделенные лишь маленьким вагонным столиком.

Ему было хорошо с ней, хотя он все еще не мог до конца побороть в себе какое-то запоздало появившееся чувство вины, словно какую-то неловкость за свои намерения, хотя намерений у него с самого начала никаких не было. Янинка же, судя по всему, чувствовала себя вполне свободно и естественно. Почти не смущаясь, она сняла маленькие, белые, на пробковой подошве босоножки и, обтянув на коленках короткое платье, удобнее устроилась на твердом сиденье, все время с какой-то милой хитринкой заглядывая ему в глаза.

— А у нас, знаете, Неман,— сказала она, именно так, на белорусский манер

произнес это слово, и Ивановский внутренне улыбнулся, вспомнив свое недалекое детство, школу, известную поэму Якуба Коласа и это белорусское название никогда им не виданной реки.— Сразу под окнами крутой спуск, две вербы и плоты у берега. Я там купаюсь с плотов. Утром выбегу раненько, на реке еще легкий туман стелется, вода теплая, как парное молоко, нигде никого. Накупаюсь так, что весь день радостно.

— А мне больше озера нравятся. Особенно лесные. В тихую погоду — замечательно,— сказал Ивановский.

— Реки лучше, что вы! В озерах вода болотом пахнет, а в речке всегда проточная, как слеза. Летом на реке прелесть. Да что там! Вот приедем — покажу. Уверю, понравится.

Конечно, должно понравиться. Он уже был уверен, что это необыкновенное что-то: домик, две вербы на обрыве и плоты у берега, с которых можно нырять в глубокий быстроводный Неман. И он рисовал это в своем воображении, хотя по опыту знал, что самое богатое представление никогда не отвечает действительности. В действительности все иначе — хуже или лучше, но именно иначе.

Янинка держала себя с ним легко и свободно, так, словно они давным-давно были знакомы, а он все продолжал чувствовать какую-то необъяснимую скованность, которая не только не проходила, но как будто все больше овладевала им. Игоря тревожило, что, бесцеремонно окликнув ее в Барановичах, он выказал себя человеком легкомысленным, склонным к мелким дорожным авантюрам и что она не могла не понимать этого. Хотя никакого легкомыслия в том не было, была простая ребяческая игривость, может, и не совсем приличествующая двадцатидвухлетнему выпускнику военного училища, только что аттестованному на должность командира взвода. Тогда, на перроне, он толком и не рассмотрел ее, только увидел — рассматривал он ее теперь широко раскрытыми, почти изумленными глазами, которые, как ни старался, не мог оторвать от ее живого, светящегося радостью лица.

К концу дня, подъезжая к Гродно, он уже знал, что не расстанется с нею,— она все больше очаровывала его своим юным изяществом и влекла чем-то загадочным и таинственным, чему он просто не находил названия, но что чувствовал ежеминутно. О ее дорожных злоключениях они не говорили, похоже, она забыла о них и только однажды озабоченно двинула бровями, когда переставляла на полке легонький свой чемоданчик.

— И даже белила забрали. Папе везла. У нас теперь белил не достать.

— А он что, маляр?— не понял Игорь.

— Художник,— просто сказала Янинка.— А с красками теперь плохо. Раньше мы краски из Варшавы выписывали...

Вечером поезд прибыл на станцию Гродно, и они, слегка волнуясь, сошли на перрон. Янинка, размахивая своим пустым чемоданчиком, довела их до штаба армии, благо тот был ей по пути, но в штабе, кроме дежурного, никого не оказалось, надо было дожидаться утра. Переночевать можно было тут же или в гарнизонной гостинице. Лейтенанты, однако, не стали искать гостиницу и внесли свои чемоданы в какую-то маленькую, похожую на каптерку комнатку с тремя солдатскими койками у стен. Гомолко сразу же начал устраиваться на одной из них, что стояла под нишей, а Игорь, едва смахнув с сапог пыль, поспешил на улицу, где на ближайшем углу под каштаном его уже дождалась Янинка. Она обрадовалась его появлению, а еще больше тому, что он был свободен до завтра, и они пошли по вечерней улице города.

За те два часа, что он провел в штабе, Янинка успела переодеться, и теперь на ней была темная юбка и светлая шелковая кофточка с крохотным кружевным воротничком; твердо постукивали по тротуару высокие каблочки модных туфель. Принаряженная, она казалась взрослей своих юных лет и выше ростом — почти вровень с его плечом. Они шли вечернею улицей, и ему было приятно, что ее тут многие знали и здоровались, мужчины — со сдержанным достоинством прикладывая руку к краям фасонистых шляп, а женщины — вежливым кивком головы с



доброжелательными улыбками на приветливых лицах. Она отвечала с подчеркнутой вежливостью, но и с каким-то неуловимым достоинством и сдержанно вполголоса рассказывала о попадавшихся на глаза достопримечательностях этой нарядной, утонувшей в зелени улицы.

— Вот наша Роскошь, так она называлась при Польше. Ничего особенного, но вот церковь, построенная в память павших на русско-японской войне девяносто пятого года. Низенькая, правда, но очень аккуратная внутри церковка. Я там крестилась. А дальше, смотрите, видите такие забавные домики, вон целый ряд, с фронтонами вроде гребешков. Это дома текстильщиков из Лиона. Еще в семнадцатом веке богач Тизенгауз выписал из Лиона ткачей и построил для них точно такие дома, как во Франции. А это вот домик польской писательницы Элизы Ожешковой, она здесь жила и умерла. Знаете, писала интересные книжки.

Городок ему действительно нравился скромным, но обжитым уютом своих вымощенных брусчаткой улочек с узенькими, выложенными плиткой тротуарчиками, отделанными каменными скосами и бордюрами. На стенах многих домов густо зеленел виноград, некоторые из них до третьих этажей были увиты его цепкими лозами. Но больше всего он ждал встречи с расхваленным Янинкой Неманом, который, как она сказала, протекал тут же, разделяя город на две неравные части.

Возле готической громады костела улица сворачивала в сторону, они миновали торговые ряды, городскую ратушу и вышли на угол, где под каштанами устроилась мороженщица со своей коляской. Янинка, которая все время шла рядом, легонько тронула его за локоть.

— Игорь, можно мне попросить вас?

— Да, пожалуйста,— с полной готовностью исполнить самую невероятную ее просьбу произнес он.

— Знаете, я давно мечтала... Ну, в общем, мечтала, как... Когда меня парень угостит мороженым.

— Ах, мороженым...

Игорь почти ужаснулся, подумав, какой же он, в сущности, вахлак, как не догадался сам! Ему просто невдомек было, чего могла пожелать здесь его богиня.

— Проще, паненко! Дзенькуе гчечнэго пана,— поблагодарила мороженщица, когда он отказался от нескольких копеек сдачи.

— Дзенькуе, пани Ванда,— в свою очередь церемонно поблагодарила Янинка, принимая из рук пожатой женщины вафельный стаканчик.

В конце коротенькой улицы над липами засиял такой широкий простор, какой может открыться только с очень высокого холма, и они увидели каменный мост через ров. Это был въезд в древний, с полуразрушенными стенами замок, по другую сторону от которого в глубине старинного парка высился роскошный дворец за фигурной оградой.

— Замок короля Польши Батория,— торжественно объявила Янинка.— А это Новый Замок. А теперь глянь туда. Видишь?

Он глянул через каменный, почти в человеческий рост парапет и внутренне ахнул от головокружительной высоты, на которой они оказались,— далеко внизу по каменным ступеням лестницы двигались фигурки людей, расходящиеся в обе стороны набережной, плавно огибавшей этот берег Немана и где-то терявшейся под густой крышей огромных деревьев.

— Ну, видишь? Как это нравится?— прижавшись к его локтю, добивалась Янинка.

Древние, дышащие таинственной стариной стены замков, этот прочный, перекинутый над каменной лестницей мост, огромные массивы зелени на холмах и склонах, высоченный, господствующий над всем каменный столб городской каланчи, конечно, не могли ему не понравиться, и он готов был смотреть на это до вечера. Но вот Неман с такой высоты никак не поразил его воображение — это была обычная, средней величины, затиснутая высокими берегами река. Зато Янинка была в восторге именно от Немана и без умолку щебетала рядом:



— Посмотри, посмотри, какое течение! Видишь, быстрина. Вон там, под вербами, такие виры! Ого! Только сунься — закрутит, понесет — не выберешься.

Они прошли несколько назад и по той самой лестнице спустились на набережную. Нет, все-таки река была прекрасной, очевидно, с высоты он просто не оценил ее должным образом. По ее правому берегу шла вполне благоустроенная, обсаженная деревьями набережная, справа высились огромные, изрезанные тропинками откосы с остатками крепостных стен наверху. Река плавным изгибом скрывалась за недалеким поворотом, сплошь занятым огромными шапками верб, там где-то оканчивался город и синел хвойный лес, в который садилось красное солнце. Они медленно шли вдоль Немана, и Янинка без умолку говорила и говорила что-то, не очень обязательное в минуту вечерней благодати, а он думал, как все странно устроено в жизни. Ведь до сегодняшнего утра он и не подозревал о ее существовании на этой земле. А теперь вот, проведя с ней день, он уже не знал, как быть дальше, — дальнейшая жизнь без нее просто лишалась для него всякой радости.

Они шли долго вдоль Немана и, когда солнце совершенно скрылось за зубчатую стену леса, повернули обратно к городу. Слушая частый перестук ее каблучков рядом, он смутно ощущал, как что-то в его жизни странным образом переиначивается, обретая еще неведомый, но очень значительный смысл. И он был рад тому, почти счастлив. Рядом едва заметно струилась блестящая гладь Немана, людные днем берега к ночи заметно опустели, уставшие за день удильщики один за другим сматывали свои удочки и уходили в город. Меж темных прибрежных камней тихо плескались волны и шатко покачивались черные, пахнущие смолой рыбацьи лодки. Огромные ветлы, нависнув над набережной, погружали ее в непроницаемый ночной мрак, в котором совершенно исчезали прохожие. Откуда-то со дворов несло сладковатым запахом дыма, слышалось мерное дыхание готовящегося к ночи города, щедрая природа которого дала благостным покоем извечных своих установлений, казалось, не подвластных никому на свете.

Янинка заметно приблизилась к нему, наверно, окончательно преодолев что-то разделяющее их днем, и теперь шла совсем рядом, легонько касаясь пальцами его локтя. Как-то незаметно для него она перешла на «ты», и он тоже несколько раз сказал ей «ты», отчего обоим стало удивительно просто; окончательно исчезла дневная неловкость и непонятная, долго донимавшая его натянутость.

Как только они ступили в сгустившийся под ветлами сыроватый мрак ночи, Янинка вдруг отпрянула в сторону и с непонятной для него прытью бросилась по травянистому склону вверх. Он остановился в нерешительности, подумав о своих хромовых выходных сапогах, но она из темноты подбодрила его — давай, давай! И сама быстро полезла куда-то меж колючих кустов, все выше на кручу. Он не видел, что было наверху, полнеба там закрывало что-то похожее на раскидистую крону дерева, но он почувствовал в ее голосе азарт тайны и тоже полез в кустарник. Скинув с ног туфли, Янинка взбиралась все выше, из темноты приговаривая ему вполголоса:

— Сейчас ты что-то увидишь... Сейчас, сейчас...

Минуту спустя, одолев самое крутое место и исцарапав до крови руки, он оказался на краю неширокой, обнесенной решеткой террасы, тесные камни которой еще источали густое, накопленное за день тепло. Рядом, закрыв половину неба, высилось могучее старое дерево и поднималась отвесная стена какого-то здания. Вокруг было тихо и темно, снизу из-под верб едва доносился тихий плеск Немана, пахло известкой от стен и укропом с недалеких, видать, огородов.

— Ну, ты понял? Ты понял, что это такое?..

— Ничего не понял...

— Наша церковь — Коложа... Двенадцатый век, ты понял?

— Понятно. Посмотреть бы...

— Посмотришь, — просто завершила Янинка. — Успеешь. А теперь... А ну иди сюда...

Она снова метнулась в темень, легко пролезла сквозь нечастую решетку ограды, перебралась через какую-то стену, и ее светлая кофточка совершенно исчезла из поля его зрения. Не желая отставать от нее, он лез в темноте следом, пока не очутился на небольшом травянистом дворике. Небо тут сплошь закрывали деревья, было темно, и в этой темноте едва брезжила серая стена рядом. Чутко прислушиваясь к тишине, Янинка пробралась босиком к низенькой двери в нише, бросив туфли, потянула на себя створку двери, заговорщически шепнув ему: «Лезы!» Он с трудом протиснулся в узкую щель, изнутри придержал створки, между которых проскользнула она. Когда створки сомкнулись, их объял такой глухой мрак, что он совершенно перестал видеть ее и, чтобы не потерять, легонько придерживал за плечи. В осторожной тишине что-то глухо застучало-захлопало вверх. Янинка вздрогнула, тут же поспешив успокоить его:

— Не бойся: это голуби.

— Я не боюсь,— шепотом ответил Игорь, хотя ему было интересно и жутковато одновременно.

— Это иконостас, это аналой, а здесь вот...

Неслышно ступая в темноте по гулкому каменному полу, она подвела его к какой-то стене, жестом заставила присесть, затаиться и негромко вскрикнула:

— О-о!

— О-о! О-о! О-о!— отозвалось в разных местах множеством негромких голосов, от которых ему совсем уже стало не по себе.

— О-о-о!— повторила она погромче.

— О-о-о-о! О-о-о-о!..— покатилося куда-то вдаль, под невидимые во мраке своды притворов и ушло вверх, заглохнув, наверно, в звоннице.

— Голосники. Понял?

— Какие голосники?

— Не знаешь? Эх ты!.. Иди сюда... Вот сюда, сюда...

Она снова повела его за руку в темноту, как зрячий водит слепого, где-то остановилась, слегка подтолкнув его в бок.

— Вот, шупай. Ты же большой, наверно, достанешь.

Он начал ощупывать шершавую стену и скоро наткнулся на какие-то гладкие, отполированные впадины в ней, но понять ничего не мог, хотя ни о чем не спросил и не удивился. Он уже привык за сегодня к такому обилию загадок и впечатлений, что разобраться в них, наверно, нужно было время.

А времени как раз было в обрез, самая короткая ночь в году быстро бежала навстречу утру, и когда они выбрались из церкви, над городом уже меркли звезды и далекий солнечный отсвет брезжил на восточном закрайке неба. Янинка, торопясь и не давая Игорю опомниться, все говорила и говорила, преисполненная душевной щедрости, тем значительным и интересным, что видела, знала, что непременно хотела разделить с ним. Подхватив туфли, она уже лезла куда-то через колючие заросли шиповника на обрыве, и он едва успевал за нею, уже не заботясь о своих выходных сапогах, которым, наверно, досталось.

— Иди, иди сюда! Ну что ты такой неловкий! Не бойся, не свалишься. Я поддержу...

Перейдя какой-то овраг, они снова выбрались на набережную совсем уже сонной, слегка парившей реки, и Янинка сбежала еще ниже — по голым камням к воде.

— Иди сюда. Пока отец спит, я тебе покажу мой цветник. Уже зацвели матейки. Знаешь матейки? Пахнут на рассвете — страх!

Скользя на кожаных подошвах, он спустился по каменному откосу вниз, к лодке, где она уже орудовала веслом, подталкивая ее ближе к берегу. Он вскопчил в лодку и едва успел ухватиться за борт, как Янинка развернула ее по течению.

— Так будет ближе. А то по мосту пока дойдешь...

— Ух ты какая!— восхищенно воскликнул он.

— Какая? Нехорошая, да? Правда нехорошая?

— Прелесть!

— Какая там прелесть! Вот проснется отец, он задаст этой прелести.

Сильное течение на середине понесло лодку вниз, но она сумела выгрести единственным веслом к берегу, и скоро они подплыли к какому-то забору под толстыми комлями верб.

— А ну ухватись! А то унесет.

Он успел ухватиться за какой-то скользкий трухлявый столбик в воде, она соскочила на берег, и они вытащили лодку на траву.

— Утром найдут. А теперь... Вот этим переулочком, а потом вдоль сада, перейдем картошку, и там, под костелом, на берегу наш домик. Ты не очень устал?— вдруг заботливо спросила она, заглядывая ему в глаза.

— Нет, ничего...

Они пошли окраинным заросшим муравой переулком. Она несла в обеих руках свои туфли, на ходу слегка касаясь его плечом, и он чувствовал тепло ее тела, проникавшее сквозь тонкую материю кофточки, ее близкое дыхание, непонятный, волнующий запах ее волос и думал, как ему невероятно здорово повезло сегодня. Он уже был благодарен своей невоспитанности, позволившей ему ту нелепую шутку в Барановичах, благодарен этому городу с его древностями и этой ночи, такой непохожей на все множество прожитых им ночей.

— Янинка,— тихо позвал он, вплотную приближаясь к ней сзади, но она лишь торопливо прибавила шагу.

— Янинка...

— Вот обойдем этот домик, потом свернем на тропку, перейдем сад и...

— Янинка!

— Давай, давай! Не отставай. А то скоро папа встанет, да как спохватится...

По заросшей росистыми лопухами тропке вдоль забора они взобрались выше и пошли быстрее. Начинало светать. Рядом в густом мраке садов еще дремало ее Занеманье. Хорошо утоптанная стежка вывела их на край зацветающего белыми звездочками картофельного поля, где сильно запахло молодой ботвой и свежей землей. Янинка быстро шла впереди, и он, путаясь в ботве сапогами, едва поспевал за ней. Уже совсем близко на светлеющем фоне неба были видны остервенные купола костела, за которыми где-то в теплой речной воде тихо плескались ее плоты. Оставалось пройти еще, может, сотню шагов, отделявшую ее от костельной ограды, как в ночную тишь еще не проснувшегося города вторгся странный, чужой, поначалу тихий, но быстро крепнувший звук. Янинка впереди остановилась.

— Что это? Что это гудит? Это самолеты?

Да, это приближались самолеты, но он все еще не верил, что так нелепо и не вовремя начинается то самое страшное, что последние недели скверным предчувствием жило, угнетало людей. Цепляясь за слабенькую надежду, он жалал в себе испуг, страстно желая, чтобы это страшное все же не сбылось, прошло мимо.

Испуганная Янинка, будто ища защиты, метнулась к нему, и только он холодеющими руками обнял ее, как близкие могучие взрывы бросили их на твердые стебли картофеля. Тугие горячие волны ударили в спину, густо забросав их землей...

Переждав первый оглушительный грохот, он поднялся, Янинка вскочила рядом с разметанными по плечам волосами, в испачканной кофточке, зачем-то стараясь надеть на грязную ногу туфлю. Оглушенный взрывами, он не сразу услышал ее до странности слабый голос:

— На мост беги! Скорее на мост!!! Там за костелом мост...

Ну конечно, ему надо было на мост, в штаб, он уже знал, что случилось, и иначе поступить не мог.

Не оглядываясь больше, сшибаемый ударами взрывов, падая и вскакивая, он помчался на мост, унося в горячем сознании едва схваченный зрением испуганный образ девушки с туфлей в руках, оставшейся среди росистой, зацветающей ботвы картофеля...



Его вырвали из забытья вдруг долетевшие откуда-то выстрелы. Сначала ему показалось: это случайные выстрелы в здешней деревне, но, обеспокоенно прислушавшись, он понял, что доносились они с другой, противоположной деревне, стороны. Именно с той стороны, откуда они приволоклись сюда ночью и куда ушел Пивоваров. Мертвея от скверного предчувствия, Ивановский перестал дышать, вслушался, но никакого сомнения не оставалось — стреляли оттуда.

Наверное, самые первые выстрелы он пропустил, не расслышав, он спохватился, только когда звучно ударила винтовка и в тишине длинно протрещал автомат. Ну, конечно, это был его автомат — немецкие стреляли иначе, это он чувствовал точно. Ивановский оперся на локоть, но в груди что-то сдавило, от боли перехватило дыхание, он закашлялся, сплюнув запекшиеся кровяные сгустки, и снова без сил откинулся на скамье. Пока он кашлял, кажется, там затихло, и сколько он ни вслушивался потом, ничего больше не было слышно.

Едва справляясь с охватившим его волнением, лейтенант нащупал подле лавки часы — было сорок минут восьмого, значит, Пивоваров отсутствовал около двух с половиной часов. Если до той деревни лишь километр, пусть два, то он уже должен был возвратиться. Но если его нет, значит... Значит, он пробрался в деревню, но не сумел уйти незамеченным, и вот его подстерегла та же участь, что и вчера Ивановского.

Лейтенант опять приподнялся, вслушался, попытался заглянуть в едва брезжившее в черной стене окошко, но не дотянулся до него, сел на скамье. Ему было дурно, огненно-красные круги плыли перед глазами. Рукой он нащупал ставшую удивительно тяжелой винтовку. Но к чему теперь была винтовка — в банке его пока никто не тревожил, никого поблизости не было. Вряд ли он мог что сделать, чтобы облегчить участь Пивоварова, явно попавшего в беду в деревне, но и ничего не делать он тоже не мог. С огромным усилием, хватаясь рукой за стены, он вышел в предбанник и ногой толкнул дверь.

Была зимняя ночь — как все ночи в ноябре этого года — с ветром, низким беззвездным небом, тусклым, в сутеми утопавшим пространством. Снег лежал свежий, чистый, и на нем ясно было видно несколько глубоких следов Пивоварова, они вели вдоль стены бани и сворачивали за угол.

Задыхаясь от налетов порывистого ветра, Ивановский подождал минуту, вслушиваясь в глухую тишину ночи, но ни выстрелов, ни шагов, ни криков — ничего больше не было слышно. Тогда, не прикрывая двери, он опустился у порога, прислонясь к бревнам, и сидел так час, а может, и больше. Он весь был во власти тягостного, болезненно-напряженного ожидания, ясно сознавая, что если Пивоваров в ближайшие минуты не явится, то он не явится уже никогда. Но он не явился ни в ближайшие минуты, ни в ближайшие за ними часы. Когда уже ждать стало невмочь, Ивановский, не поднимаясь, на четвереньках дотянулся до кубика своих часов за порогом — было без десяти минут десять.

«Зачем же я посылал его? Зачем посылал? — раскаянно думал лейтенант. — Какие тут, к чертям, лыжи? Какой штаб? Лишь погубил его, да и себя тоже...»

Конечно, без Пивоварова он ничего уже не мог, но если он сам был обречен, то следовало подумать, как спасти хотя бы бойца. А он послал его на такое дело, где на удачу приходился один шанс из тысячи. Немцы могли устроить засаду, посадить в поле секреты и наверняка усилили охрану в деревне — не так просто было пролезть между ними. Если не удалось это ему прошлой ночью, когда штабисты были еще не пуганы, то тем более не удастся нынешней?

«Ну так что же теперь? Что?» — в тысячный раз спрашивал себя Ивановский, скрючившись сидя возле двери бани.

Впрочем, он уже знал, что — он только тянул время, до последней возможности надеясь, что Пивоваров, может, придет. Но когда уже стала совершенно отчетливой вся тщетность его надежды, лейтенант, опираясь о стены, поднялся на ноги.

Он испытывал себя, чтобы знать, на что он способен или, может, не способен



уже ни на что. Хотя и с трудом, но держаться на ногах он еще мог, особенно если иметь дополнительную под руками опору. Теперь опорой ему служили стены, а в поле он сможет опираться на приклад винтовки. Ноги кое-как повиновались ему, хуже было с дыханием и с головой тоже. Но он подумал, что голова, быть может, отойдет на ветру в поле, а с дыханием он как-нибудь сладит. Если помаленьку, с частыми остановками, экономно расходуя силы...

Его намерение уже целиком завладело им, и лейтенант вернулся в баньку, рассовал по карманам обоймы из подсумков. Вещмешок он не смог поднять на себя и оставил его на скамейке, зато взял с собою гранату. Дольше он уже не мог оставаться здесь ни минуты и, хватаясь за двери, вышел наружу.

Шатко, едва не падая, но с упорной, трудно объяснимой решимостью он прошел шагов двадцать по четким следам Пивоварова и только потом остановился. Винтовка оказалась куда более тяжелой, чем казалось вначале, но он на нее опирался, когда готов был упасть, и особенно в минуты остановок. Сам бы он уже не устоял на дрожащих от слабости своих ногах. Отдышавшись, каким-то странным загнанным взглядом поглядел назад. Там сиротливо темнела их банька, где они благополучно пережидали сутки и куда ему, судя по всему, уже не вернуться.

Во второй заход он не одолел, наверное, и полтора десятков шагов и, пошатываясь, остановился от кашля. Кашель был самое худшее в этом его пути — глубиной нутряной болью он пронизывал его до слепящей темноты в глазах. Но Пивоваров, кажется, неплохо перевязал, подсохшая корка на ране хотя и причиняла боль, но не давала сползти бинту, кровь из раны больше не шла. Если бы только не эта адская боль внутри!

Он хотел идти как можно скорее, и теперь показателем его скорости была банька. Едва удерживаясь на ногах, он сделал уже четыре или пять остановок, всякий раз оглядываясь, но банька, как нарочно, все серела и серела в сутеми, с большим нежеланием отдаваясь в ночь. Прошло, наверно, не меньше часа, прежде чем серая темень окончательно поглотила ее.

Вокруг был снег, ветер и поле, — лейтенант понял, что вроде бы достиг середины пути, теперь возвратиться он бы уже и не смог, на это у него просто не было сил. Он и не оглядывался, сзади уже ничего не могло быть — все хорошее или плохое ждало его впереди.

Потом он два раза подряд упал, не устоял на ногах, вставал не сразу, полужав на снегу, пережидая боль потревоженной раны. Другой раз ему и вовсе не повезло — упал он неловко, спиной, болевой удар был настолько глубок, что на короткое время он, кажется, потерял сознание. Потом он очнулся, но долго лежал на снегу, все время чувствуя под собой округлость гранаты. Но все-таки нашел силы подняться, сесть, потом, пошатываясь, встать на ноги и сделать несколько первых, самых трудных шагов.

Он старался ни о чем не думать, он даже не очень осматривался, зато не отрывал взгляда от снега, по которому тянулись глубокие следы Пивоварова. Они шли в одном направлении, похоже, боец довольно уверенно помнил их путь из вчерашней деревни и быстро шел к ней. Ивановский теперь больше всего боялся сбиться с этого следа.

А сбиться было легко, особенно когда накатывала очередная волна немощи и темнело в глазах. Но тогда он останавливался, оперев в землю винтовку, и ждал, пока пройдет приступ слабости. Кроме того, ему сильно докучал ветер — не давал смотреть вдаль, выжимал слезы из глаз; иногда его сильные порывы так толкали Ивановского, что тот, пошатнувшись, едва не валился с ног. Но он упорно противостоял ветру, собственной слабости, боли. Он понимал, конечно, что вряд ли встретит Пивоварова, скорее всего никогда больше не увидит бойца, но все равно должен был пройти тот роковой путь, на который услал его. Конечно, он слишком многими рисковал на этой войне, слишком многие по его вине нашли себе на ней смерть. Но этот его риск отличался от всех — он был последним, и потому Ивановский должен был довести его до конца. И если в этой дьявольской игре со смертью не сберег многих, то не берег и себя, и лишь это оправдывало его командирское право

распоряжаться другими. Иного права на войне он не хотел признавать. В худшем случае, прежде чем умереть самому, он должен убедиться, что где-нибудь в этом поле не лежит, истекая кровью, его Пивоварчик.

Он шел и шел — шатко, расслабленно, то и дело останавливаясь и опираясь на тяжелую длинную винтовку Пивоварова. Однажды, когда от усталости совсем подкосились ноги, сел на снег, долго отдыхал. Но подняться опять на ноги стоило такого мучительного труда, что больше он не рисковал садиться и отдыхал, опираясь на приклад винтовки. Останавливался он теперь через каждые четыре или пять шагов. У него уже не хватало дыхания.

Опять ему показалось, что он прошел километра три, если не меньше, и он усомнился в правильности слов Пивоварова относительно расстояния до этой деревни. Трудно было поверить, что она в километре-двух от их бани. Жаль, на этот раз он не прихватил с собой часов и не мог проследить за временем. Но по каким-то неуловимым признакам ему показалось, что деревня уже недалеко, похоже, он находится в ее окрестностях. Следы Пивоварова, однако, все тянулись и тянулись, казалось, им не будет конца в этом поле. Где боец мог находиться сам, трудно было угадать, хотя Ивановский готовился к самому худшему. Но могло статься и так, что он, как и они вчера, ушел от погони и, раненный, где-нибудь скрылся в поле.

Ивановский едва не прошел мимо него, так как шаги на снегу все тянулись куда-то, и впереди ничего не было видно. Но вдруг в стороне, в мутной тьме ночи среди заметенного снегом бурьяна его внимание привлекло какое-то неясное движение, вроде бы мельтешение чего-то. Сперва он даже и не взглянул туда, лишь скользнув взглядом по снегу, но потом остановился, вгляделся, и что-то в нем смятенно содрогнулось внутри. Тихо, почти беззвучно, на ветру трепыхалось что-то вроде обрывка бумаги, хотя было непонятно, откуда тут могла взяться бумага. Он сошел со следов Пивоварова и, не в силах оторвать взгляда от недалекой грядки бурьяна, заплетаясь ногами в глубоком снегу, потащился туда.

Еще издали и как-то вдруг он различил белый неясный холмик в этом бурьяне, характерную линию лежащего человеческого тела, черные голенища сапог в снегу. Он остановился. В сознании его мелькнуло странное недоумение — кто может лежать тут, в ночном поле, в такую стужу? Лейтенант почему-то не решился признаться в том, что увидел Пивоварова, наверно, слишком нелепым было видеть в этой позе его бойца, казалось, это кто-то другой, случайный, чужой здесь человек.

Но все же это был он, его последний боец, его Пивоварчик. Он неподвижно лежал в разодранном маскхалате, без шапки, с обсыпанной снегом стриженной головой, раскинутыми ногами. Лейтенант не сразу заметил, что снег вокруг был густо испятан множеством ног и в нем местами чернели круглячки автоматных гильз.

Доковыляв до бурьяна, Ивановский выронил из рук винтовку и упал рядом с бойцом. Озябшими пальцами он схватил его голову, приподнял, но, запыленная снегом, она давно, видно, утратила всякие признаки жизни и была просто мертвой головой человека, лишенного малейшего сходства с его Пивоваровым. Ивановский принялся ощупывать его тело — разодранный маскхалат смерзся в крови, телогрейка тоже примерзла к окровавленному телу бойца, наверно, с близкого расстояния расстрелянного очередью. Снег под его телом и возле тоже смерзся твердыми корявыми буграми.

— Что же они с тобой сделали? Что они сделали? — стыл на его губах недоуменный вопрос. Но, что они сделали, и так было ясно. Видно, достигнутый ими Пивоваров был расстрелян в упор. Возможно также, они расстреляли его раненого, лежавшего на снегу в этом бурьяне, и теперь из множества дыр в его телогрейке торчало светлое ключье ваты. Карманы брюк были вывернуты, гимнастерка расстегнута, худая окровавленная грудь засыпана снегом. Автомата нигде поблизости не было видно — автомат, наверно, забрали немцы.

Поняв, что все уже кончено и куда больше идти не надо, Ивановский свял, обессилел и молча сидел, уронив руки на снег. Рядом лежало бездыханное тело бойца. Необычайная опустошенность овладела лейтенантом, ни одного желания,

ни одной ясной мысли не было в его голове. Лишь где-то, на самом дне его чувств, медленно тлел какой-то забытый уголек гнева, почти озлобления. Этот уголек разгорался, однако, все более, чем дольше шло время. Но он уже не имел конкретной направленности против кого-то — скорее, это догорала его человеческая обиды на такой его неудачный конец. Теперь Ивановский уже знал точно, что не выживет, не спасется, не пробьется к своим, что и его смерть будет на этом же поле, меж двумя безвестными деревьями, и никто уже не доложит начальству ни об их гибели, ни об этом немецком штабе. Штабу, разумеется, никто ничего сделать не сможет, потому что наши далеко, а мертвые лишены малейшей возможности что-либо сделать. И ему ничего более не оставалось, как сидеть рядом и ждать, когда мороз и ранение отнимут у него последние остатки жизни. В чем-то это было даже заманчиво, так как освобождало его от изнурительной борьбы с немцами, болью, собой. Чтобы закончить все побыстрее, может, имело смысл выдернуть чеку из противотанковой гранаты и отпустить планку... Ее мощный взрыв растерзает их тела включья, разметет вокруг снег, выроет в земле небольшую воронку, которая и станет для них могилой. Если его кончина затянется или ему окажется немоготу, видно, так и придется сделать. Иного уже не оставалось. И пусть простят его Родина, люди — не его вина, что не выпало ему лучшей доли и не обошло его то самое страшное на войне, после которого ничего уже не бывает.

Наверное, он бы не долго протянул на морозном ветру и навсегда бы остался возле своего напарника, если бы в скором времени до его слуха не донеслись из ветреной тиши странные звуки. По-видимому, слух был самым выносливым из его чувств и бодрствовал до последнего предела жизни; теперь именно слух связывал его с окружающим миром. Сперва Ивановский подумал, что ему почудилось, но, вслушавшись, он отогнал от себя все сомнения — в самом деле где-то урчала машина. И он вспомнил, как прошлой ночью в поле наткнулись на автодорогу, ведущую в село, но где она могла быть сейчас, он не имел представления. Тем не менее где-то она была — совсем недалеко в ночной серой темени по ней шла машина. Вскинув голову, лейтенант напряженно и долго прислушивался к натужному гулу мотора, пока его звук совершенно не пропал вдаль.

Это неожиданный событие растревожило его почти уже успокоенное сознание; новое, противоречащее его чувствам желание зародилось в его душе. Он перестал думать о своем несчастье, насторожился, гневное отчаяние оформилось в цель — последнюю цель его жизни. Эх, если бы это случилось раньше, когда у него было немножко больше сил!..

Боясь опоздать, он завозился на снегу, подтянул под себя раненую ногу, как-то оперся на руки. Сначала поднялся на колени и затем попытался встать на ноги. Но он не сумел удержать равновесие и упал плечом в снег, глухо, протяжно застонав от боли в груди. Минут десять лежал, сцепив зубы и боясь глубже вдохнуть, потом начал подниматься опять. С третьей попытки это ему удалось, он наконец утвердился на дрожащих ногах, пошатнулся, но все же не упал. Он забыл взять винтовку, которая лежала чуть поодаль, у ног Пивоварова, но теперь у него уже не было уверенности, что, нагнувшись за ней, он не упадет снова. Поразмыслив, он так и не рискнул нагнуться, чтобы не упасть, а быстро, как бы с разбегу, пошел по снегу.

Он изо всех сил старался соблюсти равновесие и удержаться на ногах, но ему все время мешал сильный ветер. Кажется, тот все усиливался и временами так размашисто толкал в грудь, что устоять на ногах было невозможно. И он снова упал, отойдя от Пивоварова, может, шагов на тридцать, тут же попытался подняться, но не сумел. Превозмогая сильную боль в правом боку, полежал, уговаривая себя не спешить, выждать, более расчетливо трогать свои слабые силы. Но желание скорее дойти до дороги так сильно завладело им, что рассудок уже был плохой для него советчик — теперь им руководило чувство, которое становилось сильнее доводов разума.

И он снова поднялся, сперва на четвереньки, потом на колени, потом слабым рывком и огромным усилием — на обе ноги. Самое трудное было удержаться



на них именно накануне самого первого шага — потом обретала силу инерция тела, и первые несколько шагов давались сравнительно легко. Но следующие опять замедлялись, его вело в сторону, затем в другую, и наконец он падал, вытянув перед собой задубевшие от мороза руки.

Его вынужденные остановки после падения становились все более продолжительными, иногда казалось, что он уже и не поднимется больше, в ускользающем сознании временами прерывалась связанная цепь времени, и он вдруг прохватывался в недоумении: где он? Но он твердо знал, куда ему надо, ни разу не спутал направления, в ползабутьи ясно памятуя последнюю цель своей жизни.

Но вот, однажды упав, он понял, что подняться больше не сможет. На эти вставания тратилась масса сил, которых у него оставалось все меньше и меньше. Он лег на гжуче морозном снегу и лежал долго. Наверное, слишком долго для того, чтобы когда-либо подняться. Но в самый последний момент он вдруг понял, что замерзает, и это испугало его: замерзнуть он уже не мог позволить себе. И тогда он просто пополз, разгребая локтями и коленями мягкий пушистый снег.

Скоро, однако, оказалось, что ползти вовсе не легче, может, даже труднее, чем плестись на ногах, — лейтенант до конца выдыхался и падал ничком. Это была бесконечная слепая борьба со снегом, но она же имела и преимущество перед ходьбой — не надо было вставать на ноги, что сберегало остаток его совершенно истощенных сил. И он греб, замирал на снегу и опять греб, пока хватало воздуха в легких. Весь его путь состоял из этого иступленного копания в снегу и длительных промежутков ползабутья. Но сознание его все-таки не выключалось надолго, оно было сильно целью его последних минут и властно диктовало собственную волю его изнуренному телу.

Грудь его распирало от кашля, но он не мог ни вздохнуть, ни откашляться — он боялся приступа боли, которого бы, наверно, уже не выдержал. Тем не менее однажды кашель так сильно сотряс его, что он, задохнувшись, упал головой в снег. Когда он кое-как откашлялся, то ощутил на губах теплый соленый привкус. Он сплюнул, ясно увидав на снегу кровь, смерзшимся рукавом маскхалата вытер губы, опять сплюнул, но кровь все шла. На снег с подбородка текла темная небыстрая струйка, и он совершенно обессиленно лежал на боку, в растерянности ощущая, как медленно уходит из тела жизнь. Однако, полежав так, он снова испугался приближения неизбежного, хотя он и знал, что когда-нибудь это должно случиться. Но теперь его больше занимал вопрос: где дорога? Ему надо было успеть добраться до нее прежде, чем его настигнет смерть. Вся его борьба на этом поле была, по сути, состязанием со смертью — кто кого обгонит? Похоже, теперь она настигла его и шла по пятам в ожидании момента, чтобы сразить наверняка.

Но нет! Черт с ней, с кровью, авось вся не вытечет. Он чувствовал: что-то в нем еще оставалось — если не силы, так, может, решимость. Он пролежал полчаса, жуя и глотая снег, чтобы остановить кровь, и как будто остановил ее. От холода сводило челюсти, но губы утратили солоноватый привкус, и он медленно, с остановками, пополз дальше, волоча на поясе единственную свою гранату.

Когда из снежных сумерек перед ним выплыли сизые силуэты берез, он понял, что это дорога и что он наконец дополз до нее. Великое напряжение почти всей ночи разом спало, в глазах его помутилось, он лег простреленной грудью на морозный снег в прорытой им борозде и затих, потеряв сознание...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Он все-таки пришел в себя, совершенно закован в морозе, и сразу же вспомнил, где он и что ему надо. Его последняя цель жила в нем, даже когда исчезало сознание, он только не знал, сколько прошло времени в его беспомощности и на что он еще способен. В первую минуту он даже испугался, подумав, что опоздал: над дорожкой лежала тишина, и ниоткуда не доносилось ни звука. В поле мело, вокруг шуршал поземкою ветер, лейтенанта до плеч занесло снегом; руки его так задубели, что



невозможно было пошевелить пальцами. Но он помнил, что должен взползти на дорогу, только там его путь мог считаться оконченным.

Снова потянулась изнурительная борьба со снегом, Ивановский полз медленно, по метру за минуту, не больше. Он уже так ослабел, что не мог сколько-нибудь приподнять себя на локтях, и сунулся боком по снегу, упираясь больше ногами. Боли в раненой ноге теперь почему-то не чувствовал, наверно, там что-то отболело. Зато в груди у него все жгло, горело, все там превратилось в средоточие разбухшей, не утихающей боли. Он очень боялся, чтобы опять не пошла горлом кровь,— чувствовал, что тогда все для него и окончится, остерегался глубже вдохнуть, не мог позволить себе откашляться. Он берег простреленные свои легкие как нечто самое нужное, от чего всецело зависели последние часы его жизни.

Физически он был плох и понимал это. Сознание его, как канатоходец на проволоке, все время балансировало между явью и беспамятством, готовое в любую секунду сорваться в небытие, и лейтенант огромным усилием воли едва преодолевал цепко завладевшую им немощь. Терять сознание, когда рядом была дорога, он просто не мог позволить себе.

Наверно, он все-таки справился бы с собой и медленно, трудно, но все же взполз на дорогу, если бы не канава, которая коварной западней пролегла на его пути. Ивановский едва не задохнулся, угодив в ее засыпанную снегом глубину, и закашлялся. Сразу же почувствовал, что началось кровотечение, тугой и противный сгусток выскользнул из его рта, и теплая струя крови потекла с подбородка по шее, на снег. Ничком он лежал на бровке канавы и думал, что ничего более нелепого нельзя себе и придумать. С таким трудом, сверх всяких возможностей ползти всю ночь к дороге, чтобы умереть в двух шагах от нее. Завтра поедут немцы, и он вместо того, чтобы встретить их с гранатой в руках, предстанет перед ними жалким замерзшим трупом.

Вот так судьба!

Сознание снова начало ускользать от него, и тут уже не могло помочь никакое его усилие. Взгляд застлало мраком, весь мир сузился в его ощущениях до маленькой, светлой, все убывающей точки, и эта точка погасла. Но все же и на этот раз что-то превозмогло в нем смерть и вернуло его истерзанное тело к жизни. Без всякого волевого усилия с его стороны точка опять засветилась, и он вдруг снова почувствовал вокруг снег, стужу и себя в ней, полного немощи и боли. Он сразу же заворочился, задвигался, стараясь во что бы то ни стало вырваться из снеговой западни — канавы, взползти на дорогу. Пока он был жив, он должен был занять последнюю свою позицию и там кончить жизнь. И он все-таки выбрался из канавы, боком взвалив на дорожную бровку тело, прополз еще четыре шага и обмер, обессиленный. Под ним была колея, он ясно чувствовал ее своим телом, объехать его было невозможно. Он коротенько с удовлетворением выдохнул и начал готовить гранату.

С гранатой, однако, пришлось помучиться долго и, может, труднее еще, чем в канаве. Непослушные помороженные пальцы его, кажется, вовсе потеряли осязание, он несколько минут тщетно пытался развязать ими тесемку, которой граната была привязана к поясу, но так и не смог этого сделать. Пальцы лишь слепо блуждали по бедру, он просто не смог нащупать ими концы тесьмы, и это было ужасно. Он едва не заплакал от этой так внезапно сразившей его измены, но действительно, руки первые начали не повиноваться ему. Тогда он локтем нащупал увесистый кругляк гранаты и, собрав все силы, которые еще были у него, надавил им на гранату сверху вниз, к паху. Что-то там треснуло, и он сразу почувствовал, что освободился от тяжести,— граната лежала в снегу под ним.

Но, видно, он слишком много потратил сил и ничего уже больше не мог. Он долго лежал в колее, через которую мела, вихрилась поземка, и думал, что так его, наверно, и заметет снегом. Но теперь пусть заметает, ему спешить некуда, он достиг своей цели,— теперь только бы сладить с гранатой. Утратившими осязание руками он все же нащупал ее железную рукоятку, но чеку разогнуть не смог. Тогда он кое-как пододвинул гранату по колее к подбородку и зубами вцепился в разогнутые концы чеки.

В другое время ему достаточно было короткого движения двух пальцев, чтобы разведенные эти концы выпрямились и их можно было выдернуть из рукоятки. Теперь же, сколько он ни бился, ничего с ними сделать не мог. Они будто примерзли там, будто их припаяли намертво, и он, выламывая зубы и раздирая десны, полчаса грыз, крутил, выгибал неподатливую проволоку. Наверно, только после сотой попытки ему удалось захватить оба конца зубами и свести их вместе. Все время он очень боялся, что не успеет, что на дороге появятся машины, и он ничего им не сделает. Но машины не появились, и, когда граната была готова к броску, он стал терпеливо, настойчиво ждать.

Но ждать оказалось едва ли не самым трудным из всего, что ему довелось пережить за ночь. Чутким, обострившимся слухом он ловил каждый звук в поле, но, кроме неутрахающего шума ветра, вокруг не было никаких других звуков. Дорога, которая вынудила его на все сверхвозможные усилия и к которой он так стремился, лежала пустая. Все вокруг замерло, уснуло, только снежная крупа монотонно шуршала о намерзшую ткань маскхалата, медленно заметая его в колес.

Все вслушиваясь и решительно ничего не слыша, Ивановский с тоской начал думать, что, по всей видимости, до утра здесь никто и не появится. Не такая это дорога, чтобы по ней разбежались ночью, разве кто-нибудь появится утром. Утром наверняка должен кто-либо выехать из этого штаба или проехать в него; не может же штаб обойтись без дороги. Но сколько еще оставалось до этого утра — час или пять часов, — он не имел представления. Он очень жалел теперь, что оставил в банке часы, наверно, это было совсем неосмотрительно: не зная времени, он просто не мог рассчитывать свои силы, чтобы дотянуть до утра.

Бесчувственными пальцами стискивая рукоять гранаты, он лежал грудью на снегу и ждал. Глаз он почти не раскрывал, он и без того знал, что вокруг тусклая снежная темень и ничего больше. В сторожкой ночной тишине был хорошо слышен каждый звук в мире, но тех звуков, которых он так дожидался, нигде не было слышно.

Оказавшись в неподвижности, он быстро начал терять тепло и коченел, вполне сознавая, что мороз и ветер расправятся с ним скорее, чем это могли сделать немцы. Он все сильнее чувствовал это каждой клеточкой своего насквозь промерзшего тела, которое не могло даже дрожать. Просто он медленно, неотвратимо, последовательно замерзал. И никто здесь не мог ему ни помочь, ни ободрить, никто и не узнает даже, как он окончил свой путь. При мысли об этом Ивановский вдруг почувствовал страх, почти испуг. Никогда еще не был он в таком одиночестве, всегда в трудную минуту кто-нибудь находился рядом, всегда было на кого опереться, с кем пережить наихудшее. Здесь же он был один, как загнанный подстреленный волк в бесконечном морозном поле.

Конечно, он обречен, он понимал это с достаточной в его положении ясностью и не очень сожалел о том. Спасти его ничто не могло, он не уповал на чудо, знал: для таких, с простреленной грудью, чудес на войне не бывает. Он ни на что не надеялся, он только хотел умереть не напрасно. Только не замерзнуть на этой дороге, дождаться рассвета и первой машины с немцами. Здорово, если бы это был генерал, уж Ивановский поднял бы его в воздух вместе с роскошным его автомобилем. На худой конец сгодился бы и полковник или какой-нибудь важный эсэсовец. По всей вероятности, штаб в деревне большой, важных чинов там хватает.

Но для этого надо было дожить до рассвета, выстоять перед дьявольской стужей этой роковой ночи. Оказывается, пережить ночь было так трудно, что он начал бояться. Он боялся примерзнуть к дороге, боялся уснуть или надолго потерять сознание, боялся подстерегавшей каждое его движение боли в груди, боялся сильнее кашлянуть, чтобы не истечь кровью. На этой проклятой дороге его ждала масса опасностей, которые он должен был победить или избежать, обхитрить, чтобы дотянуть до утра.

Рук своих он почти уже не чувствовал, но теперь начали отниматься и ноги. Он попытался пошевелить в сапоге пальцами, но из этого ничего не вышло. Тогда, чтобы как-то удержать уходящее из тела тепло, начал стучать смерзшимися сапогами о дорогу. В ночной тишине сзади послышался глухой, тревожный стук, и он

перестал. Ног он не согрел нисколько, но самому стало плохо, и он, чувствуя, что теряет сознание, последним усилием сунул под себя гранату. Гранату теперь он вынужден был беречь больше, чем жизнь. Без нее все его существование на этой дороге сразу лишалось смысла.

После глубокого провала в сознании, за которым последовал долгий промежуток липкой изнуряющей слабости, он снова почувствовал пронизывающий холод и ужаснулся. Казалось, этой ночи не будет конца и никакие его ухищрения не помогут ему дожидаться утра. Но как же так может быть? — едва не вопил в нем протестующий, полный отчаяния голос. Неужели же так ничего и не выйдет? Куда же тогда пропало столько его усилий? Неужели же все они тщетны? Но ведь они — продукт его материального «я» и сами, наверное, материальны, ведь они — обсессивная его плоть и пролитая им кровь, почему же они должны в этом сугубо материальном мире пропасть без следа? Превратиться в ничто?

Тем не менее он почти наверняка знал, что все окончится неудачей, но отказывался понимать это. Он хотел верить, что все им совершенное в таких муках должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге — может, в другом месте, спустя какое-то время. Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей нужности на этой земле и в этой войне? Ведь он зачем-то родился, жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то, пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл.

И он вдруг поверил, что будет. Что непременно будет, что никакие из человеческих мук не бессмысленны в этом мире, тем более солдатские муки и солдатская кровь, пролитая на эту неприятную, мерзлую, но свою землю. Есть в этом смысл! И будет результат, иначе быть не может, потому что не должно быть.

Ему бы только дожидаться утра...

Тем временем мороз и стужа добирались уже до его внутренностей, и он чувствовал это. Краем меркнувшего сознания он следил за тем, как холод медленно, но неотступно завладевал его обескровленным телом, и считал короткие минуты, которые ему еще оставались. Однажды, приоткрыв глаза, он вдруг изумился и с трудом раскрыл их пошире. Над полем светало. Тьма, которая, казалось, целую вечность плотным пологом укрывала землю, заметно приподнялась над ней, в поле стало просторней, прояснилось небо, и в нем четко обозначились заиндевевшие вершины берез. В сумеречную даль уходила переметенная поземкой дорога.

Схватив все это непродолжительным, однако утомившим его взглядом, он хотел опустить на снег голову, как вдруг что-то увидел. Сперва ему показалось: машина, но, пристально взглядевшись, он понял, что это скорее повозка. Утомленный долгим рассматриванием, он уронил голову на снег, чувствуя в себе замешательство, страх и надежду одновременно. Огромный, как приговор, вопрос встал перед ним: кто мог ехать в повозке? Если крестьяне, колхозники, то это было из области чуда, в которое он недавно еще отказывался поверить; к нему приближалось спасение. Если же немцы... Нет, он решительно не мог взять в толк, почему в этот утренний час из деревни, в которой размещался большой штаб, должны появиться на повозке немцы. Все в нем восстало против такого нелепого предположения, всю ночь он ждал чего угодно, но никак не обозную повозку с поклажей, до которой ему не было дела.

Тем не менее это была повозка, и она медленно приближалась. Уже стали видны и впряженные в нее лошади — пара крупных рыжеватых битюгов, которые, помахивая короткими хвостами, легко, без видимого усилия, тащили за собой громоздко нагруженный соломой воз. На самом его верху, пошевеливая вожжами и тихо переговариваясь, восседали два немца.

Ивановский замер в колее, совершенно раздавленный тем, что увидел, такого невезения он не мог себе и представить. После стольких усилий, смертей и страданий вместо базы боеприпасов, вместо генерала в изысканном «оппель-адмирале» и даже



штабного с портфелем, полковника ему предстояло взорвать двух обозников с возом соломы.

Но, видно, другого не будет. По крайней мере, для него ничего уже не будет. Он делал последний свой взнос для Родины во имя своего солдатского долга. Другие, покрупнее, взносы перепадут другим. Будут, наверно, и огромные базы, и надменные прусские генералы, и злобные эсэсовцы. Ему же выпали обозники. С ними он и столкнется в своем последнем бою, исход которого был предreshен заранее. Но он должен столкнуться — за себя, за Пивоварова, за погибших при переходе передовой Шелудяка, Кудрявца. За капитана Волоха и его разведчиков. Да мало ли еще за кого... И он зубами вырвал из рукоятки тугое кольцо чеки.

Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал болтать что-то, в то время как другой, в надвинутой на уши пилотке, что правил лошаадьми, уже вытянул шею, вглядываясь в дорогу. Ивановский, сунув под живот гранату, лежал неподвижно. Он знал, что издали не очень приметен в своем маскхалате, к тому же в колее его порядочно замело снегом. Стараюсь не шевельнуться и почти вовсе перестав дышать, он затаился, смежив глаза; если заметили, пусть подумают, что он мертв, и подъедут поближе.

Но они не подъехали поближе, шагах в двадцати они остановили лошадей и что-то ему прокричали. Он по-прежнему не шевелился и не отозвался, он только украдкой следил за ними сквозь неплотно прикрытые веки, как никогда за сегодняшнюю ночь с нежностью ощущая под собой спасительную округлость гранаты.

Не дождавись ответа, один из двух немцев — тот, что сидел на возу с поднятым воротником шинели, — прихватив карабин, задом сполз на дорогу. Другой остался на месте, не выпустив из рук вожжей, и Ивановский простонал с досады. Получалось еще хуже, чем он рассчитывал: к нему приближался один. Лейтенант внутренне сжался, в глазах его потемнело, дорогу и березы при ней повело в сторону. Но он как-то удержался на самом краю сознания и ждал.

Клацнув затвором, спешившийся немец повелительно крикнул что-то и, разбрасывая длинные полы шинели, пошел по дороге. Карабин он держал низкоотговку, прикладом под мышкой. Ивановский понемногу отпуская под собой планку гранаты и беззвучно твердил, как молитву: «Ну иди же, иди...» Он ждал, весь превратясь в живое воплощение Великого ожидания, на другое он уже был не способен. Он не мог добросить до него гранатой, он мог только взорвать его вместе с собой.

Однако этот обозник, видать, был не из храбрых и шел к нему так осторожно, что казалось, вот-вот повернет назад. И все-таки он приближался. Ивановский уже различал небритое, какое-то заспанное его лицо, встревоженный взгляд, заиндевелые пуговицы его шинели. Однако, не дойдя до Ивановского, он снова прокричал что-то и остановился. В следующее мгновение лейтенант сам едва не вскричал от обиды, увидев, как немец поднимает к плечу карабин и прицеливается. Целился он неумело, старательно, ствол карабина долго ходил из стороны в сторону; напарник его все говорил что-то с воза, наверно, давал советы. Ивановский по-прежнему лежал неподвижно, широко раскрытыми глазами глядя на своего убийцу, и слезы отчаяния скатились по его щекам. Вот он и дождался утра и встретил на дороге немцев! Все кончалось глупо, нелепо, бездарно, как ни в коем случае не должно было кончиться. Что же ему оставалось? Встать? Крикнуть? Поднять вверх руки? Или тихо и покорно принять эту последнюю пулю в упор, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли?

Он, разумеется, исчезнет, теперь уж ему оставались считанные секунды, за которыми следует Вечное Великое Успокоение. В его положении это даже было заманчиво, так как разом освобождало от всех страданий. Но останутся жить другие. Они победят, им отстаивать эту зеленую счастливую землю, дышать полной грудью, работать, любить. Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода, лейтенант Ивановский.

Нет, он не встал, потому что встать он не мог, и не вскрикнул, хотя, наверно, мог бы еще кричать. Он лишь содрогнулся, когда в утренней сторожкой тишине грох-



нул одиночный выстрел и еще одна пуля вонзилась в его окровавленное тело. Она ударила ему в плечо, наверное, раздробив ключицу, но все равно он не пошевелился и не застонал даже. В последнем усилии он только сжал зубы и навсегда смежил глаза. С трепетной последней надеждой он слушал приближающиеся на дороге шаги и думал, что, возможно, еще и не все потеряно, возможно, и удастся. Какой-то самый ничтожный шанс у него еще оставался. Медленно, очень осторожно, преодолевая охватившую его новую боль, он поворачивался на бок, высвобождая из-под тела гранату. И он освободил ее как раз в тот момент, когда шаги на дороге затихли поблизости. Он почувствовал под боком тугую, пружинистый рывок планки, и тотчас неожиданно звучно хлопнул взрыватель. Немец коротко вскрикнул, очевидно, пускаясь наутек, Ивановский успел еще услышать два его отдавшихся в земле шага и потом ничего уже больше не слышал...

Несколько секунд спустя, когда осела перемешанная со снегом пыль, его уже не было на этой дороге, лишь небольшая воронка курилась на ветру в одной ее колее; вокруг на разметанном снегу валялись мерзлые комья земли да за канавой ничком, разбросав по грязному снегу длинные полы шинели, лежал отброшенный взрывом труп немца. Повозка с растрясенной по снегу соломой опрокинулась набок, в упряжке, тщетно пытаясь встать на ноги, бился крупный гнедой битюг, а по дороге к деревне бежал уцелевший обозник.

## Борис Васильев

(р. 1924)

### А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

#### I

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодых и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладилась переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то!..

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. — Непьющих и это... Чтоб, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Вам виднее, — осторожно говорил старшина.

— Ладно, Васков!.. — распаяясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

— Так точно, — деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный, — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. — Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то — сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

- С командиром прибыли?
- Не похоже, Федот Евграфыч.
- Слава богу!— Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению.— Власть делить — это хуже нету.
- Погодите радоваться,— загадочно улыбнулась хозяйка.
- Радоваться после войны будем,— резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонку ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты Отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта,— тусклым голосом отрапортовала старшая.— Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

— Та-ак,— совсем не по-уставному сказал комендант.— Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуρο отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой,— объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами?— бойко спросила рыжая. Васков давно уже приметил ее.

— Ягод еще нет,— сказал он.

— А щавель можно собирать?— поинтересовалась Кирьянова.— Нам без приварка трудно, товарищ старшина,— отошаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуше же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч,— сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными.— Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она-таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову.

— Демаскирует.

— А есть приказ,— не задумываясь сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись — хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, — вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдовая она, — поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. — Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, — дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — это все так. А внутри — беспорядок: «Люда, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводящая».

Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:

— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полинка Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки на печи.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю — в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно.

— Война, Евграфыч, все спешет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они — не гляди, что рядовые — наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все



девять, по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого.

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случилось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь, да плясать, да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах обжигался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедленно, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне, за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакагузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакагуз тот блисти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздохнул старшина.

## 2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер — встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные зетейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита нисколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за

красного командира да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом — Аликком), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар: на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород...» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появилась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озеро, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съезжился; корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита. Стреляй! — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрешила черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кириянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кириянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать!.. — коротко бросала она, выслушав очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кириянова. — Пусть себе болтают: занятно.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, лизаться по углам, — этого я не понимаю.

— Пример покажи, — улыбалась Кириянова.

И Рита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону.

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, — объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим, — завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте, — сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдце.

Тот день баннным был, и, когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели:

— Женька, ты русалка!

— Женька, у тебя кожа прозрачная!

— Женька, с тебя скульптуру лепить!

— Женька, ты же без лифчика ходить можешь!

— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...

— Несчастливая баба! — вздохнула Кирьянова. — Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая, — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь? — усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти — пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:

— И у тебя тоже?

— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала — специально добивали...

— Послушай, Женька, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женька?..

— А вот могла!.. — Женька с вызовом трянула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчала. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.

— На сцену бы тебя, Женька! — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала — расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше и на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала: сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за разезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

— Подреми, деваха, часок...

А утром была на месте.

— Лида, Рая — в наряд!

Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя:

— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттает...

И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда и по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется — и сгоришь.

— Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

— Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествии Кирьянова знает, Рита быстро догадалась: по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону:

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света невзвидишь.



Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то что за реку — со двора зареклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина и возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распорядясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и зная не зная, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению.

### 3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, охлаждал ноги, оседал на одежду, и Рита с удовольствием думала, как съедет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены сарая, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый и — замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом, сквозь кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала — никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, кинулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь.

— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубашке с завязками. Хлопал сонными глазами.

— Что?

- Немцы в лесу!
- Так...— Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе, разыгрывают.— Откуда известно?
- Сама видала. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках... Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...
- Погоди тут.
- Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накиннул гимнастерку второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубашке сидела на кровати, разинув рот.
- Что ты, Федот Евграфыч?
- Ничего. Вас не касается.
- Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.
- Команду — в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!
- Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную. К телефону. Только бы связь была!..
- «Сосна», «Сосна»!.. Ах, ты, мать честная!.. Либо спят, либо поломка... «Сосна»!.. «Сосна»!..
- «Сосна» слушает.
- Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепа!
- Даю, не ори. Чепа у него...
- В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:
- Ты, Васков? Что там у вас?
- Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...
- Кем обнаружены?
- Младшим сержантом Осяниной...
- Кирьянова вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.
- Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать.
- Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не поглядят. Как они выглядят, немцы твои?
- Говорит, в маскакидках, с автоматами. Разведка...
- Разведка? А что ей там, у вас, разведывать?.. Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?
- Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.
- Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?
- Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.
- Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?
- Тут, товарищ...
- Дай ей трубку.
- Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой:
- Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.
- Ты мне ту давай, которая видала.
- Осянина пойдет старшей.
- Ну, так. Стройте людей.
- Построены, товарищ старшина.
- Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них тут, между прочим, одни родимые образца 1891 дробь тридцатого года...
- Вольно!
- Женя, Галя, Лиза...
- Сморщился старшина:

— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить — не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да вот еще. Может, немецкий кто знает?

— Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — я? Что такое я? Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх?

— Хенде хох.

— Точно, — махнул-таки рукой старшина. — Ну, давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут. — Палец Осяниной слегка колупнул карту. — А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам, — не глядя, сказала Кирьянова.

— Ночным!.. — Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмешаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, — опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. — Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох, и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля!

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению...

— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте.

— Там кусты и туман, — сказала Осянина. — Мне казалось...

— Креститься надо было, если казалось, — проворчал комендант. — Тючки, говоришь, у них?

— Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

— Мыслию я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги неблизко, — сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так... — заволновалась Осянина. — Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит, — сказал Васков. — Мой доклад — в двенадцать тридцать ежедневно, позывной «17». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придиричив:

— Разуться всем!..

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?..

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще сорок — винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затайтесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

— Знаем, — сказала рыжая. — Одна — справа, другая — слева.

— Скрытно, — уточнил Федот Евграфыч. — Порядок движения такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я... — он оглядел свой отряд, — с переводчицей. В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры!..

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею, — робко сказала Гурвич. — По-ослиному: и-а-иа!..

— Ослы здесь не водятся, — с неудовольствием заметил старшина. — Ладно, давайте крякать учиться. Как утки.

Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так селезень утицу подзывает, — пояснил он. — Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире. А голос лихо поддельвает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней.

Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Воль-озеро. Глядите сюда. — Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно. — Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать — к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолет пулять — вот это война...



— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться!

Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на макром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил:

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ. Мужикам война эта — как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел на околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся.

Вздохнул Васков.

— Готовы?

— Готовы,— сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два крика — внимание, вижу противника. Три крика — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись.

Впереди — Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором гнулась, как тростинка... Сзади — Комелькова и Галя Четвертак.

#### 4

За бросок к Воль-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход, по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряде, и миновать гряде эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговорам комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким оборотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило так, как он замыслил.

— Хорошо немчура побегает,— сказал он своей напарнице.— Здорово очень даже побегает — верст на сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж при-

клад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

— Сиротствую?...— Она улынулась.— Пожалуй, знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон...

— В Минске мои родители.— Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку.— Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

— Известия имеешь?

— Ну, что вы...

— Да...— Федот Евграфыч еще покосился: прикинул, не обидит ли.—

Родители еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно...— Комендант сердито поспеел.— Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

— Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоче. Глядишь, и полегало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.

— А ну, боец Гурвич, крикни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: бловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась — и винтовка в руке:

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали,— выговорил ей комендант.— Ростопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

— Вот и хорошо,— миролюбиво сказал Федот Евграфыч.— Что в пути заметили? По порядку, младший сержант Осянина.

— Вроде ничего...— Рита замаялась.— Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова!

— Ничего не заметила, все в порядке.

— С кустов роса сбита,— торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина.— Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз!— довольно сказал старшина.— Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться.

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился:

— Не реготать! И не разбегаться. Все!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

— Сейчас внимательнее надо быть, — сказал комендант. — Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева, справа трясины: маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть пробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурочок.

— Ну, у кого силы много?

— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.

— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

— Зачем? — пискнула Гурвич.

— А затем что не спрашивают!.. Комелькова!

— Я.

— Взять мешок у красноармейца Четвертак.

— Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...

— Разговорчики! Делать, что велют: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добыешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щebetать. А щebet военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно...

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногy ставить след в след. Слегой топь...

— Можно вопрос?

Господи твоя воля! Утерпеть не могут.

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое — слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазища, как омуты.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то...

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я — головной. За мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро — бочажок.

— Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колено — только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел, не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, принавливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Командант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А леший!.. Командант крепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стойте! Не стойте, засосет!..

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясину: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашли?

— Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!..

— Я помочь!..

— Стоять! Нет назад пути!

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.

— Спокойно, спокойно только! До островка пустык остался, там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим.

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Вперед, за мной!..— повернулся, пошел не оглядываясь.— След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны и сноровка. Но обошлось.

У острова, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись!..

— Ну, отдышайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем — и шабаш.

— Нам бы помыться,— сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А тебе чуно сообразим,— улыбнулся Федот Евграфыч.— Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?

— Потерплю.

— Растреп ты, Галка,— сердито сказала Комелькова.— Надо было пальцы вверх загигать, когда ногу вытаскиваешь.

— Я загигала, а он все равно слез.

— Холодно, девочки.



— Я мокрая до самых-самых...

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед...

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бродо:

— А ну, разбирай следи, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.

И шархнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже не приведи господь. Жижа, что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распахнешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

— Пиваки тут есть?— задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному: ей полегче было.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его...— подумал маленько, добавил:— Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся: в затылок шли. К березе почти разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уже совсем пустяком выглядело, тем более что и почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загаддели разом, обрадовались и следи побросали. Однако Федот Евграфыч следи велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.

— Может, кому сгодится.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел:

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

— Ура!..— закричала рыжая Женька.— Пляж, девочки!

Девушки заорали что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки.

— Отставити!..— гаркнул комендант.— Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

— Песок!..— сердито продолжал старшина.— А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки — в одно место. На мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина.

— Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и — чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье выстирал, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вы-

нырнул — вдохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся «гвардию» свою напугать: побрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло — и на берег. И только уж когда суровым полотноцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А там гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись дружно да Четвертак радостно выкрикнула:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!

— Только вперед!.. — заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.

«Ишь ты, купаются...» — уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почихал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевающего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова. Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому...

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуно непутевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал, сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом:

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались — раскраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдыхать — и снова.

— За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Вось-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то

людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.

— Тихо-то как... — шепотом сказала звонкая Евгения. — Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряда начинается, — пояснил Федот Евграфыч. — С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает, — вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да камня с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

## 5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика — по миру пошла бы семья. Тем более, голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад... В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина — старшина и есть: он всегда для бойцов старший. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было — в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по заруку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысль насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно, и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную он позицию выискал. Глубокую, с укравистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три гряду огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась: он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

— Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно, — упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попрошишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот ру-

били, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняк, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было: только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю,— улыбулась она.

— Вижу! Худющая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас всех, а — в теле. Есть на что приятно поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

— Слушай боевой приказ!— торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа.— Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Воль-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Воль-озеро, сосед справа — Легонтово озеро...— Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал:— Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные?— обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв,— сказала Осянина.

— Вопросов нет, все ясноенько,— бодро отозвалась Комелькова.

— А ясноенько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.

— Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки?— съехидничала Гурвич.

— По-русски!— резко сказал старшина.— А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все молчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока



лично «огонь» не скаманую. А то не погляжу, что женский род...— Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой.— Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотреть. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маману увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто ворюя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?..

— Где?..— испуганно откликнулась она.

— Фу, леший... Показалось.

Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась:

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз — под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — руки не хватает: перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашенные, поди?— спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот, простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово высочило! Потому ведь из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупись старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети...— вздохнул Федот Евграфыч.— Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?..

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков и не удержался, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотрю.

— Как там у тебя, Осянина?

— Никого, товарищ старшина.

— Продолжать наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие  
Пути не помнят своего.  
Мы — дети страшных лет России —  
Забывать не в силах ничего.  
Испепеляющие годы!  
Безумья ль в вас, надежды ль весть?  
От дней войны, от дней свободы  
Кровавый отсвет в лицах есть...

— Кому читаешь-то?— спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего ж в голос?

— Так ведь стихи.

— А-а...— Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету,— полистал.— Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да я вообще... И вот что, ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож»,— с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил:— Это припевка в наших краях такая.

— А у нас...

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово?— улыбнулась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряды на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли...

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуру одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

— Так примешь или разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

— Ой, что вы, что вы...

— Приказываю принять!..— Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой.— Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы...

— Пей, без разговору!..

— Ну, что вы в самом деле! У меня мама — медицинский работник...

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давась, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась:

— Голова у меня... побежала!..

— Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей накрыл:

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря,— вздохнул старшина.— Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацеливаться,

могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрелнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объяснить трибуналу, почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбуду.

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке...

— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

— Спят?

— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А?.. Так мыслю?

— Так, товарищ старшина.

— А так, то могли они, свободное дело, и отдохнуть завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?..

Рита улыбнулась. И опять посмотрела — длинно, как бабы на ребятню смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбуду.

— Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: поддыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч,— улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и — заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:

— Что?

— Тише! Слышишь?

Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уж оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат...

— Сороки!.. — тихо смеялся Федот Евграфыч. — Сороки-белобоки шебуршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли.

Гурвич к нему пробралась:

— Здравствуйте, товарищ старшина.

— Здорово. Как там Четвертак эта?

— Спит. Будить не стали.

— Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.

— Не высунусь,— сказала Гурвич.



Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть, — минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите... — беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Кольхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение.

Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким, кошачьим шагом, они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами наизготовку.

— Три... пять... восемь... десять... — шепотом считала Гурвич. — Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты.

С далеким криком отлетали сороки.

Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

## 6

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Воль-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина, — почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?.. Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно вилия между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звук эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь» — автоматов бы тройку да к ним мужиков поспорновистей... Но не было у него ни

пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потоком старшина Васков в то росистое майское утро.

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Командант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся.глянул в близкие, растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. По-няла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо — трясина. Ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пен, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покругим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

— Ага.

— Винтовку, мешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не позабудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко — можно разглядеть лица, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершины, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямик побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились, как воробыи на коноплю. Даже Четвертак из-под шинелей вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Но уж и рот раскрыл, и брови по-командирски нагнув, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

— Ну, как ты?

— Ничего.— Улыбка у нее не получилась: губы не слушались.— Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их.— Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал.— Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал,— сказал он погоды.— На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут?— тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через гряды,— сказал Федот Евграфыч.— Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и — все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало — сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка — мечта, а не бритва,— но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались — это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом — ровно пятеро. А потом!.. Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться...

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич; Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

— Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Взял из сидора гранату, наган вычистил, финку на

камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли.

— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и — сообразил комендант. Сообразил: часть — какая б ни была — границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь — и все: засекут, сообщат куда надо. Потому никогда неизвестно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь...

— Ну, девчата, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг, на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

— Идут, товарищ старшина!..

— По местам, — сказал Федот Евграфыч. — По местам, девчонки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак еще на том берегу копошились. Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуноу ее прикручивали. Старшина подошел:

— Погоди, перенесу.

— Ну, что вы, товарищ!..

— Погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не более). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи:

— Как с маленькой вы!..

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбан нес все-таки, — а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала — холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрал. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

— Ну и водичка — бр-р!..



И юбку сразу опустила, подолом по воде волооча.

Комедант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутит! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издали Осянина отозвалась:

— Эге-гей!.. Иван Иванович, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина то же иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом встало и речку осветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли?..— шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это он подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и — вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шарахнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся: стоя сзади его на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

— Стой!..— шепнул старшина.

— Рая, Вера идите купаться!..— звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, подгаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно

и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатывались по упругому, теплему телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться!..— звонко и радостно кричала Комелькова, танцующая в воде.— Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду!..— заорал он и снова ударил по стволу.— Идем сейчас, погоди!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, ломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распушенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как не всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

— Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Проорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему — шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова,— изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, вывести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые недоперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу!— заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежку.— А ну догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по берегу побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.

— Одевайся! И хватит с огнем играть! Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, юбку что прожгла, над чумазой Четвертак, над

Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

— Ну, все теперы!..— говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями.— Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит,— силпо сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос.— Она быстрая.

— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело,— сказал комендант и достал заветную фляжку.— Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделявать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади...

## 7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то,— строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее село за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятнее реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет,— сказал он дочери.— А только где же у нас? У нас мать помирает.

- Сеновал найдется, наверно?
- Холодно еще,— несмело сказала Лиза.
- Тулуп дадите?..

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал с миски капусту, пихал в волосатый рот и, давась, говорил и говорил:

— Ты, погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прорезивать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо,— подтвердил гость.— Не прорезивать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

— Так,— сказал отец.— Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегает да пишшит?

— Волк, например...

— Волк?..— взъерошился отец.— Волк тебе мешает? А почему мешает?

Почему?

— А потому, что у него зубы,— улыбнулся охотник.

— А он что, виноват, что волком родился? Виноват?.. Не-ет, мил человек, это мы его обвиновали. Сами обвиновали, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые?.. Ну, а волк и заяц — совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков во всей России. Всех!.. Что будет?

— Как что будет?— улыбался охотник.— Дичи много будет...

— Мало!..— рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице.— Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович?— вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить?— вздохнул лесник.— Прибытку у меня — два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

— Им?..

— Ну, нам!..— Отец плеснул в стакан, чокнулся.— Я не волк, мил человек, а заяц.— Хватанул остаток из стакана, громынул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.

— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан,— торопливо сказала она.

— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

— Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему селу, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи



в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилося сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и — исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

— Я знаю,— сказал он и затоптал окурок.— Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побегала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы ничего с охоты не принесите?— сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет,— улыбнулся он.

— Исхудали только,— не глядя, продолжала она.— Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза,— вздохнул гость.— К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

— Завтра?..— упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда!

— Смешно,— печально сказала она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто?..— тихо спросил он.

— Я,— сказала Лиза.— Может, постель поправить...

— Не надо,— перебил он.— Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно,— еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась,— может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать,— сказал он.— Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги.

— Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего — даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь дверь от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й развед...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия неизбежности семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это!..

— Влюбилась! — торжествуя ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку-военного втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.

Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

— Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнулись, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о сляке, возвращаясь уже хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.

Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.

Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на острове.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила — слезы уже не текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспомнила все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пеня, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощи!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

## 8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился, и — как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел — не только боевой, а еще и охотничий — и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще придумал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал — весь был взведенный, как граната. Высмотрев все, до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина

тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряды, выбрались на основную позицию, а потом — в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшарил, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя. — Подвела немца культура: кофею захотел.

— Почему так думаете?

— Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумаю, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень ту же некуда, присел.

— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется — немедля, в ту же секунду уходи. Забирай девчат и уходи, и топайте напрямик на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслью я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разезда добежать. Все поняла?

— Нет, — сказала Рита. — А вы?

— Ты это, Осянина, брось, — строго сказал старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— Ясен — должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улынулась:

— Почему?

— Растопырилась на пенке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро... — недовольно повторил старшина. — Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали?..

— Я не ворожея, Осянина. Десяток человек пищу принимают — видел их. Двое — в секрете: тоже видел. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам



расположение менять. Я тут по камням ползаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно — сюда. И чтоб смеху — ни-ни!

— Я понимаю.

— Да там я махорку свою сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние камни на животе излазил. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чулось, и старшина маленько повеселел. Ведь уж по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разбега доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру — ну, самое позднее к расцвету! — подойдет подмога, он поставит ее на след и... и ответит своих девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издала определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а — поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рошицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

— Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской — чего уж проще, загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать:

— Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется... Сидор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисет, потому что кисет тот был подарок, и на нем вышито было: «Дорогому защитнику родины!» И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросилась.

— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

— Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..

Какой там: только сапоги затопали!..

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «Доктор медицины Соломон Аронович Гурвич». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил, потому что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сомино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневым наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает

вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги — на два номера больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И, наверно, поэтому голос ее услышал один старшина.

— Вроде Гурвич крикнула?..

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер. — Нет, — сказала Рита. — Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменя лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч належке шел, а она — с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиками.

— Немуха?.. — жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принохивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.

— Неаккуратно, — тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтобы под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно растянул ее, принял ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже — в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал, поднялся.

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

— Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

9

Ждали немцы Соню, или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце... Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но ни страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся...

— Ты у меня не крикнешь... Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не белело и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись,— еле слышно сказал Федот Евграфыч.— Тут где-то они. Ближе где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

— Вот они,— сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие верхинки.

— Мимо пройдут,— не оглядываясь, продолжал Васков.— Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они глянули. И обратно замри. Поняла ли?

— Поняла,— сказала Женька.

— Значит, как утицей крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк — наперез.

Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, ударить и крикнуть не дать. Чтоб — как в воду...

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до ос-



новой группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, еще кружевных листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крикнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмеряно — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтобы хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя поднять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся, столько сил внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдвигая ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжалным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не слышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык, здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя, — тихо сказал Васков. — На двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала — маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как



Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падал ворочал.

И нашел то, что искал, — в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав, кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: *«Дорогому защитнику родины!»* Сжал в кулаке, стиснул, не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давась и всхлипывая.

— Уйдите... — сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось, — сказал он. — Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные, хотел флаги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток не велик, а ей все легче, меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровинку всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются. У первого же бочажка (благо, тут их — что конопущек у рыжей девчоночки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздохнул старшина:

— Наших сама найдешь или проводить?

— Найду.

— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

— Нет.

— С опаской иди все же. Понимать должна.

— Понимаю.

— Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он растегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платьишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послонил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла; только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что пришучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уже инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло в разные, правда, концы, а барахлишко их осталось, и отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Сою увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте, — сказал старшина.

Взял топорик (эх, лопатки не захватили на случай такой), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался — скалы одни, не подступиться. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся.

— Отличница была, — сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе и в университете.

— Да, — сказал старшина. — Стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы — внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

— Берите, — сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, отступая и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуноу. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте, — сказал он у ямы. — Кладите тут покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее поддержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь — за колени!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?.. — крикнула Осянина. — Не смейте!..

— А затем, что боец босой, вот зачем.

— Нет, нет, нет!.. — затряслась Четвертак.

— Не в цапки же играем, девоньки, — вздохнул старшина. — О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.

— Обувайся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Сою, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив. А Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим, — сказал. — После войны — памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет!.. Нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник...

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина. — Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Подкидывь ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно игрушку у ребенка сломали...

— Ну зачем же так, ну зачем?— укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак.— Нам без злости надо, а то остервенеем. Как немцы остервенеем...

Смолчала Осянина...

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, а четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребках.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные шерлоки холмсы, и случай от разговора к разговору обрстал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика с пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После это Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкомат и так беззастенчиво врала, что ошавевший от бессонницы подполковник окончательно запутался, и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся, быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания,

выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть убитых дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облага начнется.

Но... провозились: Сою хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслью я.— Показал ей, как управляться, предупредил:— Длинно не стреляй: вверх задирает. Коротко жаль.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом — остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две хорошие очереди кончилась.

Но семь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девушкам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шаракнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались.

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся — немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяло их, и — все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат — Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копеечку. Попала, не попала — это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось.



Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Все,— вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер — ладони в крови стали: посекло осколками.

— Задело вас?— шепотом спросила Осянина.

— Нет,— сказал старшина.— Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березнике, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было: унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была... будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хотя бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков...

— Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обадел Васков:

— Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова — в копоти пороховой, что цыган,— глазами сверкает:

— Трусость!..

Вон оно что...

— Собрание — это хорошо,— свирепая, начал Федот Евграфыч.— Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем... Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?.. Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видна. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно...

— Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвигаться и за лесом следить. Остальным бойцам — принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.

Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:

— В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача:

следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем — отходить. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир — он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал назубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что б ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть.

Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно...

## 11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно.

Думал старшина, вращал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И... две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди,— шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки,

всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

— Пристрелили,— определил старшина.— Свои же: в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках, и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и... вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

— Значит, такой закон?.. Учтем.

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-плохому боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!..

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть — не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта, как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

— Читала, значит. А я его, как тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолеем смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает, — простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, слушайтесь?..

— Ну, зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя. — Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин?

Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут еще комар наседал. Вечерний комар, особенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укору от девчонки сопливой терпеть.

— В куст!.. — шепнул. — И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился — и вовемя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы наизготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной туз был все-таки у



него. Единственный, правда, козырь, но тем более мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было, никак нельзя, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза.

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не позабыл. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккуратно в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и пугнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали что к чему и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты на прямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищурю старшины.

С шумом раздалось кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну, наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

— A-a-al..

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще билась, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что первый дозорный бежит сюда, на выстрелы, бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими



очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести, поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уже совсем невоюет становилось. А потом опять выныривал: здарсьте, фрицы, я живой...

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали, а тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить належке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепа летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у него такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орден за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить. Ног не жалея.

Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что шесть их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило, немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокроты той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязь болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика; по их понятиям, болото непроходимым было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось шесть вырубленных им слег. Шесть — значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры...

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось — даже надежд, что помощь придет...

## 12

...И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходи. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

— Не дошла, значит, Бричкина...

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гнилом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеясь, что живы. И еще он думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и наполнил вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха цигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался что к чему и считал. И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Вольозеро, и Синюхина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей

горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях, и война для него на этом кончиться не могла. И, нагнавшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побе­режью Легонтова озера.

Тут расчет прост был, как задача на вычитание. Немцы за ним вчера допозд­на бегали, и, хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было неподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потя­нул Федот Евграфыч от знакомых камней перешейка в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щелчку их Федот Евграфыч по­нимал, что людей поблизости нет.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в рас­четах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориен­тиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызно­ва, взвесить, как впереди заяц высочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад глядяваясь. Вспуганный заяц был, и вспуганный людьми, которых знал мало и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц, уши наострил и стал туда же глядеть.

Однако, как он ни глядяваясь, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаружилось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча про­шибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу верить больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, куда этот заяц глядел.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул, не дыша отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит», — понял старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, до звона вслуши­ваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидел примятую траву, невысохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшен­ном скиту выломали, значит, так было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а осталь­ные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрли комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по яголки к Синюхиной гряде направ­лялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемычку. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.



Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас было, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился—таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу — значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, и все. Вмиг притапают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь...

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом насторожено и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал... Чего ждал?..

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться, за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не герой, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал — и пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиться, шепот услышал:

— Федот Евграфыч...

И крик следом:

— Федот Евграфыч!.. Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подбрав. Кинулся к ним: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязно, потного, небритого...

— Ну что вы, девчата, что вы!



И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

— Эх, девчонки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина...

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала...

В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила:

— А Галка?

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял кружку:

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренку наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости...

### 13

Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света не увидишь. А отвалит — и ничего, вроде можно дышать, жить, действовать. Как не было.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал — нету, пропали.

Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала — просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивать. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

— Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей, наверно, проще будет. Имечко у меня некруглое, конечно, но уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты угрозу эту почувствовали, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции

и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду. А до этого — и дышать через раз, чтобы птицы не замякли.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрылась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков глянул: на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него щелкали, а не задевали. И фриз бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огнем прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал крючок — напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом, бьют еще винтовочки или нет. Бьют, — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для остротки и снова замерли, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков своей диспозиции додумать: шаг за спиной помешали. Оглянувшись: Комелькова прямиком сквозь кусты ломит.

— Пригнись!..

— Скорее!.. Рита!..

Что с Ритой, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной,

упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем?— только и спросил Васков.

— Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.

— Тряпок!— крикнул.— Белье давай!

Женька трясушимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое...

— Да не шелк! Льняное давай!..

— Нету...

— А, леший!..— метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех...

— Немцы...— одними губами сказала Рита.— Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, — зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотил: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложив сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего... Он поверху прошел: кишки целые. Заживет...

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди... туда иди...— с трудом сказала Рита.— Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?

— На вечер!— гордо сказала Женька, хотя и знала, что он имел в виду совсем другое.

Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной?

— Не пушу!— пугалась мать.— С ума сошел: девчонку на охоту таскать.

— Пусть привыкает!— смеялся отец.— Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А

еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Доклады вает мне сегодня: «Товарищ Евг... генерал...»

— Врешь ты все, папка!..

Счастливым было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир, лошади да мотоцикл, то танцульки до зари, лейтенанты с веверными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женька, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?..

— Нужен мне Лужин!..— Женька передергивала плечами и убегала.

А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Красно-го Знамени, за финскую — Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался без-защитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо,— Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет...

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, пере-ждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы доби-ли ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

## 14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому месту еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала без-звучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался со-всем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женя погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женя сразу... умерла?

— Сразу,— сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду.— Они



ушли. За взрывчаткой, видно... — Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит. — Он ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Все же понятно, война.

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пулю защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!

— Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь, не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.

— Да... — Васков тяжело вздохнул, помолчал. — Ты лежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам. — Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. — Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— Погоди. — Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. — Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита, понял я все.

— Спасибо тебе. — Она улыбнулась бесцветными губами. — Просьбу мою последнюю выполнишь?

— Нет, — сказал он.

— Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня, — вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.

— Колючий... — еле слышно сказала она, закрыв глаза. — Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветках выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймляли пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом, быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересыхающими губами:

— Прости, Женечка, прости...

Покачиваясь и отступая, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в

низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было поставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скобоченную дверь, прыжком влетел в избу:

— Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.

...Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, пряткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Еврафич лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилен, видно, вконец.

И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские...

## ЭПИЛОГ

*«...Привет, старик!*

*Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непьюльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..*

*Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан: седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домоткано — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал...*

*...Вчера не успел дописать, кончаю утром.*

*Здесь, оказывается, тоже воевали... Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете.*

*Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.*

*А зори здесь тихие, тихие, только сегодня и разглядел».*

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

1

К полночи зарево погасло, и оборвалось бессонное бормотанье битвы. Все замолкло, кроме шептанья падающего снега. Немошная зима снова пыталась запылить бедную исковырянную землю. Близ рассвета лязг и грохот вступили в эту первозданную тишину. Два прожекторной силы луча пронизали пестрый мрак метели, где затерялась станция.

Она существовала лишь на картах да в благодарной памяти тех, кто, проездом на теплые черноморские берега, любовался из вагона на прославленные здешние сады. Из тьмы проступили столбы с пучками порванных проводов, обугленные стены привокзальных строений и, среди прочих останков растоптанной жизни, ряды платформ, ставших на разгрузку. Под брезентами угадывались большие угловатые тела. Вдруг неимоверная воля сдвинула с места это притаившееся железо. Разбуженный, задул ветерок, и когда начальник в высокой шапке вышел из в и л л и с а, сразу, точно мокрой тряпкой, мазнуло начальника по лицу.

Скорей по привычке, чем из потребности, он вытер усы и пощурился в небо — хватит ли до утра нелетней погоды. Надежнее мотопехотных и зенитных сторожей она охраняла его танки от чужих глаз и авиации. Правое, с генеральским погоном, плечо его полушубка было залеплено снегом, и часовые признавали хозяина лишь по дерзости, с какой сопроводительные машины проскочили запретную черту оцепленья, да по усердию адъютанта, который, забегая сбоку, светил ему дорогу фонариком.

— Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан,— попросил генерал, потому что батарейка иссякла, а ноги все равно по щиколку тонули в слякоти.— Лучше найдите нашего дежурного по штабу. Я недолго задержусь здесь.

Вместе с офицерами связи из подоспевшего броневичка он миновал груды металлической падали, не убранной после боя, паровозиком со вспоротой боковиной, обошел разбитые стойки переходного мостика, дважды пролез под платформами и двинулся напрямиком на ближайшее световое пятно, рязбое от падающего снега. Узловая станция допускала одновременную разгрузку нескольких эшелонов. В самом конце ее, разместясь по сторонам, два танка освещали длинные, из шпальных бревен, сходни, на которые робко, словно не веря в прочность саперной работы, ступали их железные товарищи. Тугой машинный ветер хлестал вдоль путей, уплотняя снегопад; огромные ромбические тени плыли по этому подрагивающему экрану.

Разгрузка происходила в торец. Танки следовали всей длиной состава, прежде чем коснуться земли, откуда им предстоял любой, на выбор, путь — либо вперед, на запад, либо назад, в мартен. Большинство состояло из новичков, мало обкатанных и еще не вкусивших звонкого, щемящего вдохновенья боя. Они ничего не умели, и люди помогали им, делясь остатками живого тепла, а взамен беря частицу их неуязвимо спокойствия. Люди действовали молча, голос растворялся в истошном скрипе дерева, в бешеной пальбе иззябших моторов, и это осатанелое молчанье было внушительней самой отчаянной боевой песни... Негде им было укрыться здесь от стужи, но шел третий год войны, и горькая злоба за простреленную молодость, за поруганную мечту грела их жарче костра и любой земной привязанности. И ни один ни разу не припечатал матюжком подлой пакости, что сыпалась сверху на погибель солдатской душе.



Так он шел, наблюдая хлопотно своих продрогших людей, не отдохнувших от долгой дороги. Вдоволь, в свое время, похлебав щец из походного котелка, он без затруднения, как букварь, читал их затаенные думки. И, как обучил его когда-то старший учитель Кульков, генерал сохранил привычку читать это вслух, сердцем вникая в каждое слово.

— Простите, шумно... товарищ генерал,— поспешил было сбоку связист.

— Я говорю, грозен наш народ,— раздельно повторил генерал,— красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье...

Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрется о твое плечо и оно не сломится от исполинской тяжести доверья, что впервые у России на мир и на себя открылись удивленные очи, что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей... Но офицер буркнул что-то невольно с непривычки к отвлеченным суждениям, да кстати над самым ухом затрещал мотор; розовый снег, мешаясь с пламенем, завихрился у выхлопной трубы... К тому времени вьюга окончательно сравняла командира корпуса со всеми, кто не спал в эту простудную ночь.

Лишь в одном месте, привлеченный необычной тишиной, он замедлил шаг и вытянутой рукой преградил путь собеседнику; офицеры сопровождения остановились сами из-за узости прохода. Здесь кончался эшелон. Вереница машин, терявшаяся в летящей тьме, с выключенными моторами ждала очереди на разгрузку. И хотя тут, в слепящем луче танковой фары, снег висел плотный, как занавеска, сразу делалась ясна причина задержки. Бывалая, вся в рубцах неоднократных сварок, тридцатьчетверка упиралась левым ленивцем в междупутье, круто обвалившись со сходней. Задние траки громоздились на помосте, и водитель еще надеялся сползти на малых оборотах, но деревянная клетка трещала и щепилась, шпалы поднимались дыбом с другого конца, и самый танк зловеще кренился на сторону.

Генерал подошел как раз в минуту, когда лейтенант в армейском кожаном пальто и с вихром из-под ушанки метнулся к переднему люку.

— Стой, стой, говорю!..— кричал лейтенант, в отчаянье поглядывая на шеренгу платформ, груз которых нависал над ним, как улитка.— Вылезай теперь, полюбуйся, что ты наделал... Вий полтавский!

Мотор заглох, и тем слышней стала сиплая, усталая брань соседних экипажей. Постепенно замолкла и она, едва поняли, что этим не спихнуть железной глыбы, застрявшей у них на пути. Паренек в матерчатом шлеме понуро стоял посреди, и все, сколько их там было, обступив кругом, смотрели на него с холодком осудительной жалости, как смотрят на погорельца, а насмотрясь, приступили к обсуждению. Они делали это обстоятельно и с удовольствием, видимо отдыхая от перенапряжения, и одни собирались вбивать какие-то железные ползуны под траки, чтоб машина скольжением спустилась со сходней, и уже тащили швеллер от бывшего пакгауза, а другие, напротив, подавали совет приподнять вагой левый борт, а затем пустить его на волю божию. «И таким манером мы выйдем из положения!»

— Узнаю наших,— шепнул ближайшему спутнику генерал.— Любим, когда что-нибудь отрывает нас от работы...— Привыкнув из любой беды извлекать опыт, предохраняющий от повторных несчастий, он со спокойным любопытством вслушивался в ночные голоса.

Так и длилась бы эта мирная беседа, если бы лейтенанту не пришлось в голову спустить застрявший танк на тяге. Умно расчленив свою тридцатьчетверку под прямым углом, а сбоку придерживая ее тросом за гусеницу, чтоб не повалилась набок, он махнул рукой, буксирные танки рванули, и корма аварийной машины плавно скользнула вниз, лишь раскрошив концы бревен. Десятки моторов приветственно взревели кругом, движение возобновилось. И пока проходили они мимо тридцатьчетверки, утерявшей свою очередь, лейтенант отчитывал виноватого пареня. Надсаженный голос звучал не обидно, с какой-то проникновенной человеческой горчинкой, но, значит, острей ножа и выговора был пареню этот упрек старшего

товарища. Не оправдываясь, не защищаясь, он только морщился, как от боли, и глядел в снег.

— Куда ж ты смотрел, чертова баба! На реке случилось бы, ведь ты бы нас утопил. Я уж не говорю о машине. Ведь это гнев твой, силища, а ты экую красавицу в грязищу завалил. А знаешь, сколько надо — такую махину смастерить? Старики да малые ребята на заводешках ночей не спят, варят ее, обряжают для нас с тобою... Да и то гаркнуть пороку хочется: «Эй, на Урале... кто там закурить пошел?» А ты... Эх, а еще в мстители затесался!

— Хозяин... детей, верно, любит, — шепнул в сторону генерал, и кто-то поддакнул ему в голос: «Вот они, танкисты! Вот они мы!»

Точно учуяв тепло похвалы, лейтенант обернулся и враз опознал свидетеля своему приключению. Никого старше по званию вблизи не нашлось: он пометался, скомандовал тишину и в одно дыханье выпалил генералу, что на разгрузке тридцать седьмая бригада, что самому ему фамилия — Соболюков и что именно его машина, номер двести три, только что вышла из столь беспомощного состояния.

— Вижу, все вижу... — товарищ гвардии офицер, — подтвердил командир корпуса, глядя на не заправленную под погон португую. — Не знал, что такие завелись у меня лихачи... на ровном месте спотыкаются.

Тотчас обнаружили сто причин, а сто первая заключалась в том, что сзади торопили, да тут еще трак скользнул по скобе настила и, как назло, изменил левый фрикцион, отчего машина поползла юзом и оступилась с метровой высоты. Судя по неуверенности тона, лейтенант и сам сознавал, что фрикцион — не сердце девичье, вещь вполне надежная, и у доброго воина повреждается, разве только когда от самого танка остается одна железная щепка. Это же отметил и генерал, прибавив сгоряча некоторые слова, от которых все вокруг приосанились, подтянулись и стояли еще смирнее.

— Значит, в пренебрежении у вас эти самые... ну, бортовые фрикционы, а зря... — заключил он, утихая. — Кто у вас этим делом занимается?

Тогда и пришлось Соболюкову назвать виновника происшествия. Выяснилось, что механиком-водителем у него на двести третьей состоит новичок из пополнения, некий Литовченко, совсем молоденький и сам из здешних мест, а потому немца встречал вплотную и, видать, крепко на кого-то осерчал, раз добровольно прибежал в армию искать врага своего на громадном судилище войны. Последнее в особенности походило на правду: у каждого из них имелись личные счеты с Германией... Пока генерал прислушивался к чем-то взволнованной памяти, лейтенант незамедлительно перешел от обороны к наступлению. Так, он пошутил, что ущерба двести третьей от встряски не предвидится, машина испытанная: так ли еще маханула она, к примеру, в один овраг под Россошью, после того как вырвало кусок брони из лобовика и повалило прежнего водителя, предшественника Литовченки. Если только припомнит товарищ генерал, это случилось на исходе того дня, когда именно их корпус, зайдя от Валуек, нанес решающий удар по Италии и заставил ее смотаться из войны.

Две красные полоски были нашиты справа на груди лейтенанта. Генерал усмехнулся патристическому красноречию своего танкиста; одновременно на лицах у всех в десятке вариантов повторилась его улыбка. Упоминанье о Россоши было всеми ими заслужено и в равной степени приятно для всех; если шепнуть это слово вовремя, на ухо обессилевшему товарищу, оно удваивало отвагу, воскрешало, как глоток спирта, пароль круговой танкистской поруки.

Генерал поднял голову.

— Литовченко, Литовченко... — искал он в памяти, и опять чем-то горячим пахнуло на него из этой ночи. — В школе со мной учился однофамилец мой, Денис Литовченко. Собачник был, целая орава дворняг так и бродила по его пятам... А ну, покажите, что у вас за не к и й Литовченко!

Тряхнув хохолком, не то седым, не то запущенным снежной пылью, Соболюков крикнул это имя в летящий снег, и тотчас знакомый паренек вытянулся рядом с командиром танка. Луч от фары пришелся на него сбоку; кроме того, вернувшийся

с офицером штаба адъютант подсветил ему мигалкой без опаски получить вторичное поношение науке и технике. Карие мальчишеские глаза чуть напуганно смотрели из-под густых, не по возрасту, бровей; левая, рассеченная при паденье, слегка кро-воточила... Нет, это был не тот Литовченко, моложе, по статней и явно не Денискиной породы. Не зря Митрофан Платонович Кульков назвал того колобком при выпуске из школы: «Катись, колобку, в свит, та стережись, щоб сирый вовк не зыв!»

— Что ж ты, тетка, плохо за машиной следишь?— заговорил генерал, смягчаясь воспоминаньями.— Танк не лошадь, не огрызнется, сахару с ладони не попросит... Ты его молча понимай, и дружба его тебя не обманет. А представь, такая же ночь и врагов тысяча... тут каждый болтик слезою омыл бы, да поздно.

Он говорил так, как если бы сын Денискин стоял перед ним, нуждаясь в отеческом наставленьи, и всем очень понравилось, что он говорит с этим полумальчишкой, как с сыном.

— Машина исправна... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Только я не той гусеницей тормознул второпях,— открыто признался механик; и опять всем кругом понравилось, что и этот не бежит вины, не ждет прощенья.

— За правду хвалю. У меня в корпусе не лгут... Кстати, как ба́тька-то кличут?

— Батька Екимом звали,— отвечал Литовченко, и брови ту же сдвинулись к переносью.

— Так. Немцы, что ль, убили?

— Сам помер... от старины.

— Вот оно что,— по-своему прочитал его интонацию генерал, и почему-то убавилось его огорченье, что хлопек этот даже не родственник Дениске.— За что ж ты на немца обиделся?.. Дом спалили или девушку твою увели?

Литовченко медлил с ответом; коротко было бы ему не объяснить, а на длинное пояснение он не решался. И чтоб выручить товарища перед начальством, все заспешили к нему на помощь.

— Хлебанул беды крестьянской,— подсказал кто-то сверху с платформы.— Все мы ею дóсыта пропитались.

— Сейчас только тот и без горя, кто воровски живет,— поддержал другой, и генералу показалось, что когда-то он довольно часто слышал этот голос.

— Такое дело... товарищ гвардии генерал-лейтенант...— начал третий.— Ганцы на селе у них стояли, и один мамашу его мертвой курой шарахнул...

— Каб ударил, не стоял бы я на этом месте...— угромо поправил Литовченко.

— Ничего не понимаю,— сказал генерал.— Ударил он ее или не ударил?

— Он у нас чудак, товарищ генерал,— пояснили со стороны.

— Какое же тут чудачество! Кто родную мать в обиду выдаст, тому и большая наша мать нипочем,— вступился генерал за паренька, с интересом глядя, как садятся и тают снежинки на его щеке, безволосой и чумазой, потому что водители обычно ехали под одним брезентом с печкой, которою и обогревали в походе свой танк.— И как же ты рассчитываешь поймать его в такой суматохе... врага своего?

— Легше нет,— насмешливо произнес тот же, охрипший от погоды, мучительно знакомый голос, и почему-то генералу вспомнилось, что еще не обедал за истекшие сутки.— Надоть его на перламутровую пуговицу.

— Это как же так... на пуговицу?— спросил генерал, единственно чтобы еще раз услышать голос.

— А как муху ловят. Взять простую пуговицу, от рубашки, скажем, о четырех дырочках... и обыкновенно крутить у мухи перед глазами, пока она не начнет вроде вянуть. А там берут осторожно за крылышки, чтоб не взбудить, и поступают по строгому закону... Так, что ль, милый Вася?

Шутка относилась, конечно, к маленькому Литовченке. Тот не отвечал: опустив голову, он уставился на руку свою, обмотанную тряпкой. Этим он как бы клал конец публично обсужденью своей сокровенной обиды.



— Значит, гордый ты, тезка,— одобрительно засмеялся генерал.— Это хорошо. Мне и нужны такие, гордые и злые. Войну видал?

— Только в кино... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Ну, скоро увидишь... Ладно, оставьте его. Посмотрим, что он за вояка!..— И повернулся к подсказчику, чтоб удовлетворить возникшее любопытство.

Они стояли перед ним все одинакие, на одно лицо, в одеревенелых от мокроты шинелях и набухших водою сапогах. И все же человек этот, казавшийся старше других, заметно выделялся в их ряду; здесь опять пригодилась мигалка адъютанта. И хотя танкист был теперь в усах и к тому же немедленно опустил озороватые, себе на уме, глаза, сразу видно было, что личность эта вела образ жизни, навлекающий подозренье в смысле пристрастия к некоторым крепким напиткам... Нельзя было не узнать его, бывшего повара из штаба корпуса, который мог бы прославиться и во всеармейском масштабе, если бы не роковая любознательность к жидкостям. Она не только помешала ему продвигаться по служебным ступеням, но и удержаться на достигнутых высотах; падение случилось как раз после Россоси, когда кладовые штабной столовой значительно пополнились трофейным продовольствием. Итальянский вермут, французское шампанское, венгерский токай и даже тухлый немецкий ром принялись наперегонки сохнуть в его присутствии, а глазуньи, которыми он ограничил круг своей деятельности, приобрели столь броневые вкус и прочность, что офицеры диву давались, до чего можно довести обыкновенное куриное яйцо. Ему давали советы подкидывать эти злодейские яичницы неприятелю, чтоб калечились на них, но он не внял деликатным предупреждениям, и тогда пришлось откомандировать его вовсе из управления корпуса, что не вызвало ни ропота, ни удивления с его стороны.

— А ведь это ты, Обрядин,— вместо приветствия и весело сказал генерал.— Ну, кем воюешь, как живешь?

— Башнером на двести третьей... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Вот прибаливаю маненько,— сиплым баском сообщил он, желая этим выразить степень своего раскаянья.

— Так... И болезнь все та же?

Обрядин не ответил и лишь облизал пышный ус, чтоб скрыть усмешку, какая была и у генерала.

— Что ж, выздоравливай,— пожелал генерал и уже собирался отойти, потому что не на одной только этой станции происходила выгрузка его хозяйства. Да еще предстояло по пути в район сосредоточения заехать в штаб армии и, кроме того, расспросить кое о чем дежурного офицера из штаба. И тут бросилось ему в глаза странное, даже неуместное для солдата, шевеленье на обрядинском животе, чуть повыше поясного ремешка... Башнер стоял смирно, руки по швам и выпятив грудь так, чтобы по возможности натянулось на груди сукно шинели. Он даже попытался стать бочком к командиру корпуса, но в ту же минуту что-то живое выглянуло из-за борта обрядинской шинелишки.

— Ну-ка, посветите, капитан. Что это за живность у тебя, Обрядин?

— Это Кисб... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— виновато, упавшим голосом признался тот.

И вот решительно невозможно стало для начальства покинуть это место, не повидав старинного сослуживца. Не дожидаясь прямого приказа, Обрядин достал из-за пазухи свой секрет. Маленькое сероватое существо, ежась от холода и дремотно щурясь на свет, лежало в огромной правой ладони танкиста; левою он прикрывал его от простуды, так что хвост и ноги оставались под угревой мокрого обрядинского рукава.

— Ну, здравствуй, беглец. Что, разве плохо тебе жилось у меня?— тихо произнес генерал; и уж такой установился в штабе у них обычай — непременно, при каждой встрече, почесать у котенка за ухом.— А тощий он стал у тебя... верно, яичницами кормишь? Ишь, все ребра наперечет!

— От нервной жизни... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— постарался оправдаться Обрядин.— Ведь все в боях да в боях...



...Гвардейский корпус Литовченки всегда ставили на главное направление армейского удара. Его молниеносный маневр и свирепые рейды по тылам врага изучались в академиях не только на его родине. Ветреная военная слава свила себе гнездо на пыльных или обрызганных кровью надкрылках его танков, а горячие головы, что имелись там в каждой роте, собирались помыть их в заграничной рейнской водичке... Пятеро таких товарищей, на короткую минутку сойдясь в кружок, а остальные через их плечи — пристально глядели на домашнего зверька, который мигал и встряхивал головой, когда снежинка залетала в глаз. Вряд ли то была нежность к безответному спутнику героических скитаний; она давно истаяла горьким дымком из их огрубевших сердец, — даже не жалость! Но именно на этом теплом комочке жизни, напоминавшем о покинутом доме, о милых в далеком тылу, на которых замахнулся Гитлер, сосредоточилась их глубокая солдатская человечность... Снег переставал, шерсть на котенке смокла, он становился похожим на ежа. Светало, и когда генерал взглянул на часы, он уже без помощи науки и техники разглядел стрелки.

— Ладно, — сказал он, и офицер связи побежал вперед предупредить, чтоб заводили машины. — Тезке выговор, чтоб помнил, какая правая и какая левая сторона. Через недельку надеюсь услышать о вас, товарищи. Всё.

Прижав подбородок к воротнику, он медленно, против ветра, двинулся назад. Штабной офицер, на котором лежала приемка эшелонов, докладывал в подробностях, когда прибывают очередные, кто именно, по фамилиям и должностям, срывает график движения и откуда должны подать недостающие паровозы... Посерело, когда они подошли к машинам.

Холодная влага с вечера проникла в хромовые генеральские сапоги, но он постоял еще здесь, прежде чем перелезть высокий, неудобный порог своего в и л л и с а. Что привлекало его внимание в этой равнине, нынешнюю безотрадность которой не могли скрасить и причуды недавней метели?.. По белесому покрову полей проступали черные дороги; больше ничего там не было, кроме головешек от сожженных селений.

— Здравствуй, зазимок, — непонятно произнес Литовченко, и у всех, кто стоял поблизости, создалось впечатление, будто он поклонился тому, что лежало под белой простынею снега.

## 2

Офицеры имели основания приглядываться к своему генералу. Волнение, обычное при посещении старого, милого жилья, сопровождало его последние сутки. Оно не улеглось, когда машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по дороге; оно усилилось, как только по сторонам развернулись виды, узнаваемые и все же не похожие на себя. Литовченко пытался думать о войне, но среди больших хозяйских планов все чаще, как сухие полевые цветы, попадались благословенные воспоминания, живые и трепетные до озноба и легкого холодка в пальцах.

Здесь прошло детство. Отца и мать он знал лишь по блеклой карточке над комодиком, среди пучков чернобыльника и тимьяна. Первые четырнадцать лет безоблачно протекли под крылом у бабушки, прославленной великошумской лекарихи; сам Митрофан Платонович, просвещенный тамошний деятель, лечился ее тинктурами от ревматизма. В городке, среди вишневых джунглей, доживали век древние монастырки; ручейки богомольцев тянулись к ним отовсюду. И кому не помогали их пышные святыни, те брели на окраину, к опрятной хатке старухи Литовченко. Безжалобная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках ее крыльца. Старуха не брала платы, — люди тайком оставляли посылные, зачастую щедрые приношения: за цветы, даже сухие, надо платить вровень тому, сколько надежды или радости доставляют они душе.

Этой прямой и сухой женщиной женщина с блестящими, без сединок, волосами принадлежало волшебное травное царство, раскинутое под ногами у всех и открытое немногим. Постоянный спутник странствий на сборы трав, мальчик помогал ей

добывать скудный хлеб вдовьего существования, и за это бабушка научила его слушать голоса родных полей и леса, за сутки вперед проникать в сокровенные замыслы природы, что сгодились ему не раз в его военных предприятиях, и в скромном венчике любого придорожного цветка видеть ласковый недремлющий, всегда присматривающий за тобою глазок родины, что также неврдно знать солдату...

Босыми ногами он исходил великошумскую окрестность. Вот под тем коренастым дубком, который за его кудрявую красу пощадила война, они стояли однажды, застигнутые первовесеннею грозой. Первые капли уже пристреливались по лохматым листьям медвежьего уха, и веселый гром прокатывался в небе, словно перед обедней на великошумском клиросе прокашливались басы. А здесь, на развилке дорог, он навсегда простился с бабушкой, уходя в жизнь; и старая все наказывала надевать новые штаны лишь по праздникам и беречь сапоги деда, прослужившие тому полвека. И еще брала обещанице слать ей письма о своем бытѣ, которые он и написал ей ровным счетом два... В час прощанья стояло безветренное утро. Было тихо в природе, и пели молодые петушки. Дымок паровоза уже белел вдалеке, гудела звонкая июльская земля. Мальчик помчался один, не оглянувшись на старую... Заскочить бы к ней сейчас, она напоила бы его густым, медовой крепости, липовым цветом, а потом закутаться бы в дедов кожух и забыться до сумерек, пока старая хлопочет внизу, сооружая богатярскую пищу. Он уже забывал несложную и меткую знахарскую фармакопею, но из собственного опыта убеждался не однажды, что отвар обыкновенной капусты, в равных долях со свеклой и добрым украинским салом, оказывает целебное влияние на организм, ослабевший от бессонных ночей и сезонного солдатского нездоровья.

Лекариху сменил в городке фельдшерок, лечивший хоть и безуспешно, зато и без старинной поэтической чепухи. Бабушка умерла одна, тремя годами позже, когда внук, поскакавший по ремеслам, поступил в учительскую семинарию. В семнадцать лет он еще не разумел обязанности хоть на часок примчаться в Великошумск, проводить старую на порог последнего жилища... И странно: давно обратилось ее сухое тело в цветы и травы, хозяйкой которых слыла, а голос растворился в шепоте капелей, листья и ручьев, а дыханье ее влилось в громадный воздух родины, но владело им чувство, что она совсем рядом, радуется его свершеньям и слышит, как гремят в его честь московские салюты... Старуха Литовченко еще жила, только нельзя стало заехать к ней запросто, обнять за никогда не оплаченную заботку. И этот неотданный должок он с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и ее честной правде.

Он полуобернулся к адъютанту, который трясся позади на железном сиденье в л и с а и подсказывал вроде камешка в погремушке.

— Знобит меня, капитан... и мысли все как-то вбок уклоняются... Осталось у нас что-нибудь во фляге?

Там едва плескалось на доньшке; он отхлебнул ровно столько, чтобы не беспокоить посудину до конца пути... Дул сырой и теплый балканский ветер, почти весенний шум заполнял уши; начиналась оттепель, и не один танкист сейчас вот так же взирал со вздохом на эту непролазную распутицу... Нет, не похож стал великошумский край на тот, что он покинул тридцать годков назад. И уже не пели там юные, неумелые петушки.

Острая, почти колючая синева сияла из облачной промоины; в ней, журча, на бомбежку тылов прошли германские самолеты. Литовченко мысленно увидел свои танки, застигнутые в дороге... но вслед за тем проглянуло солнце, и тонкая колоколенка розовым видением вспрынула на горизонте, за бургом. Она стояла на рыночной площади Великошумска, которую, в пору детства, просекала тень трех знакомых рослых тополей: тотчас за ними и ютился домик учителя Кулькова, самого милого из проживающих нынче на белом свете.

Это был неказистый, без возраста и личной жизни человек, безвестный сеятель народного знания. Только прежде чем бросить семя в почву, он прогревал его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступления бывали самой лакомой пищей для его

птенцов. Юноша Литовченко пошел бы той же дорогой из одного подражания этому честнейшему образцу, не призови его революция в солдаты... Старый учитель и учитель несостоявшийся не повадился ни разу; Митрофан Платонович только раз выезжал из Великошумска в Москву, за трудовой медалью. Случилось это осенью тридцать девятого года, когда подполковник Литовченко лечился от ран в иркутском госпитале и о награждении узнал из странички учительской газеты, в которой принесли полкило терпкого зеленого винограда. Рядом с краткой заметкой, куда уложились все сорок лет педагогического подвига, помещалась фотография серебряного старичка, стриженного под бобрик и в толстовке; сквозь очки с пытливым юмором глядели те же добрые, пристальные глаза... Весь день до сумерек подполковник мысленно бродил с ним по бедным, немощным улицам родного городка, а утром напомнил Митрофану Платоновичу открыткой, как тридцать с лишним лет назад он уронил школьный глобус и помял на нем всю Европу от Вислы до самого Рейна...

И старик отыскал в памяти этот эпизод; в ответ пришло цветистое послание, исполненное затейным почерком, так как, кроме всех известных в учебном мире наук, Кульков преподавал также и чистописание. Он извещал, что живет хорошо и его даже выбрали заместителем председателя чего-то; и Великошумска коснулись пятилетки, после того как под городом, за бывшим конским кладбищем с названием Едовище, обнаружили особые, всемирно полезные глины, какие, по слухам, еще имеются только в республике Эквадор, на реке Сангурима; что на подьеме у них народная жизнь и до полного счастья осталось не более семи шагов, а сам он молодеет с каждым годом, и если так продолжится, пожалуй, и женится он на какой-нибудь соответственной местной крале, чтобы было на кого ворчать в долгие зимние вечера. Кстати, он звал навестить — если не его самого, ворчуна Кулькова, то хотя помятый глобус, который еще жив и шлет поклон приятелю, — а вместе с тем и отдохнуть в родных привольях, тем более что целое парковое кольцо защищает теперь Великошумск от убийственных степных пылей, — и вкусно соблазнял кавунами, которые в чудовищных размерах и на удивление иностранных специалистов выращивает там совместно с ним некий Литовченко, но не тот Литовченко, который колобок, а другой, участник Сельскохозяйственной выставки от Украины. Горечью старческой обиды отзывали эти убористые строки: много он раскидал семян добра и правды в народную ниву, и хоть одно, разрастаясь в плодосное дерево, кивнуло бы ему издали своей могучей кроной!

Так возродилась их дружба. Теперь куда бы ни прибывал по служебным делам полковник Литовченко, отовсюду слал местную диковинку в адрес великошумского учителя, — даже из Риги, куда история также закинула однажды генерал-майора Литовченко; наверняка съестся подарок старику и в немецком городе Берлине... Стесняясь вначале признаться, что не получился из него педагог, генерал не упомянул в переписке о своем военном поприще, а позже, чтоб уж не смущать его чинами, умолчал и о продвижении по службе. Пусть в памяти старика живет до поры красивый черноглазый мальчик, которому после повреждения Центральной Европы на школьном глобусе он шутивно предсказал шумную военную будущность.

В тихий город Великошумск немцы вступили на третий месяц войны; переписка оборвалась сама собою. Страна узнала имя Литовченки сразу в звании генерал-лейтенанта, которого немцы с исходу второго года именовали уже ein grosser Panzermann<sup>1</sup>. Но как у всех на незаметном перекате к старости взор невольно обращается назад, к истокам жизни, чтоб подвести итоги перед решительным и последним рывком вперед, так и для Литовченки стало насущной потребностью посещение родного городка. И опять шла навстречу генералу его удачливая судьба. За час до того, как был получен приказ о переброске корпуса на Украинский фронт, стало известно о взятии Красной Армией Великошумска.

По существу, генерал так и ехал напрямик в гости к Митрофану Платоновичу. И теперь, шурясь от бокового ветра, он примеривался заранее, как вкатит на четырех

<sup>1</sup> Великий танкист (нем.).



машинах в тесный дворик на Шевченковской и войдет с обнаженной головой, во всех регалиях и славе, и, минуя обычные восклицания, тут же, в темных сенцах, прижмет старенькую толстовку к олубеневшему сукну генеральской шинели. Не повредит и мальчишеское озорство такого внезапного появления: тем больше будет ликование старика, когда узнает, что это тот самый Литовченко, чей газетный портрет прячут под подушками сиротки, у которых Гитлер убил отцов... Они сядут за стол и будут молчать, пока не обвыкнутся после разлуки, и, наверно, вся улица, прослышав о таком госте, соберется под окошками Кулькова, и хозяин станет спрашивать его о самом сокровенном человеческом на свете. А там, расположась на часок-другой, можно будет вычечь простуду из тела какой-нибудь ядовитой домашней настойкой... И вот началась и потекла долгожданная горячая беседа, и он сам сидел перед Литовченкой, добрый великошумский старик, подливая ему в тоненькую рюмочку. Тем более странно было, что у Кулькова вдруг оказалось лицо адъютанта... Ленивый струйчатый жар поднимался из мокрых хромовых сапог и подступал к подбородку.

— Василий Андрейч, — уже настойчивей повторял капитан, — я так полагаю, стоило бы вам в хату заехать, переобуться, а то совсем свалитесь. Майору валенки из деревни прислали, а сухие подвертки где-нибудь на селе добудем. Тут везде наши части стоят. Завтра трудный день... похоже, гроза собирается!

Потребовалось еще некоторое время, чтоб совсем расстаться с великошумским миражем. Возрастающая, такая мирная издалека, в сознание просочилась канонада. Колоколенка давно пропала; на ее месте продолговатое, военного происхождения облако встало под горизонтом... Они ехали вдоль линии фронта, приближаясь к нему под малым углом. Пригревало солнце, грозя к ночи обратить все правобережье в сплошное месиво.

— Как же я в валенках к командующему заявлюсь! — сообразил наконец генерал. — Погоди, кончим войну, назначат меня смотрителем на маяк... тогда и заведу себе козловые сапоги со скрипом, а пока рано мне, капитан. — Возражение звучало не убедительно, и капитан упорствовал, решась использовать слабость противника до конца. — Ну-ну, там посмотрим. Что-то длинно мы едем, не сбиться бы с дороги. Вы следите за картой?

Адъютант растегнул планшет и стал чертить ногтем по целлулоиду:

— Давеча Малый Грушевец проехали, та-ак. Нравятся мне здешние населенные пункты... товарищ генерал. Ласковый кто-то прозванья им раздавал. Затем балочка, только что миновали, а за нею селение под именем Райское. — Он высунулся из машины, чтобы удостовериться. — Та-ак, похоже! — согласился он, различив уйму пеньков между пригорками багрового щебня и золы; две вороны, явно нездешние, транзитные, доставали себе скудный харч из-под снега. — А ведь во всяком домике по хозяйке имелось, девчатки из окон глазели, в каждой печи вареники... Знатная еда, говорят! В кои веки в гости зашел, а у них покойник в доме... Нет, едем мы правильно. — И так выходило по его словам, что сейчас будут Белые Коровичи, а оттуда двенадцать километров останется до Лытошина, где стоит штаб армии.

— Вот вы давеча, видать, сквозь сон про сердце танкиста обронили... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — отозвался шофер, и капитан с неудовольствием покоился на него. — А только, извиняюсь, конечно, нет во мне теперь этого самого сердца. Не надейся и не спрашивай: нету. Нагляделся я раз всего под Кантемировкой, машину остановил, повалился в ромашки у дороги, плачу. И как отплакал свое, так и зажглось во мне враз, не могу себя погасить. Так и горю... Вот еду, а дым черным столбом надо мной идет!

Значит, и другие заметили его простуду: видимо, сочувствие к командиру располагало их к такому дружественному красноречию. Следовало заехать на часок в Коровичи для просушки и леченья. Вскоре показалось жилье, сперва — такая же битая скорлупа теплых мужицких гнезд, а потом, в отраду сердцу, явилась череда вовсе нетронутых домов, оазис среди пустыни. То и были Белые Коровичи. Пока офицеры бегали куда-то, генерал смотрел, расставив ноги, как молодая женщина доставала журавлем воду из колодца.



Он спросил ее о чем-то для первого знакомства, молодая ответила не сразу. Разинная застывшие плечи, генерал осведомился также, как живут они здесь, на безлюдье. «Хорошо», — отвечала молодая, без плеска ставя ведро на колоду. «Чего ж хорошего, даже собаки на незваных не лают. Пуганые, что ли?» Выяснилось, что собак немцы поморили всех, и даже сверчки на Украине перестали сверчать, но теперь возвращаются кое-где на обжитые места. Словом, когда вернулся офицер связи, генералу стало уже известно, что немцев прогнали всего неделю, что в Коровичах стоит артиллерийский резервный полк, а дальнее крыло уплотнено вдобавок погорельцами: маются где придется — в клунях, чуланах и погребках.

Валенки оказались сибирскими пимками, чуть не до пояса и на кожаной подошве, такими осанистыми, что у генерала не нашлось возражений против столь вещественного довода.

— Пока обогреетесь, товарищ Крушинин, — уже по-фронтовому обратился к коммору адъютант, — хозяйка тем временем чайку смастерит. — Он подмигнул молоденькой, и та ответила спокойным взором таких красивых, с такой величавой, неисплаканной печалью, таких глубоких, как после болезни, глаз, что капитан невольно подтянулся и стал обдергивать на себе ремешки. — Как фамилия, царевна?

— Литовченко, — сказала женщина, поднимая коромысло на плечо.

— Ишь совпадение какое. И мы все тоже Литовченки, — весело поддержал адъютант, потому что такой тон избавлял от расспросов и сразу создавал отношения старой дружбы. — Ну, веди нас к себе, посмотрим, что за дворец по такой красавице.

Узкая натоптанная тропка вела к глазастой хатке на пригорке, казавшейся благополучнее других. Початки кукурузы янтарными монистами свисали над окнами и покачивались в ветре на крыльце. Слегка сутулясь от тяжести, женщина пропустила гостей на ступеньки. Генерал вошел первым... Топилась печка. Ветер задувал дым из трубы; домовитый, уютный после холода, соломенный чад стлался по хате. Человек тридцать артиллеристов сидели на лавках вдоль стен и на низких дощатых полатях: иные приладили на чурочке у порога, а один свесил босые ноги с печки, обняв запущшего от сна мальчика, такого же красавца, как его мать. Все поднялись, кроме хозяйки. Старуха осталась сидеть перед печкой и не отвела глаз от огня, даже когда шестеро проезжих молодцов ввалились к ней на постой.

— Сидите, товарищи, — жестом предупредил общее движение генерал. — Мы только посушиться, мимоездом. Нет, нет, ни в коем случае... — удержал он адъютанта, собравшегося очистить хату на время их стоянки, и выждал, пока все снова уселось в нерешительном смущении. — Продолжайте свои дела. Политзанятия, кажется?

— Никак нет, товарищ генерал. Седьмая батарея арtpолка находится на прочтении писем, — отвечал довольно тщедушного вида усач, быстро оправив на себе застиранную гимнастерку. — От хозяйкина сына письма, из неметчины. Тут у нас пополнение имеется... вводим, так сказать, в курс всеобщего дела. Красивым слогом написаны!

— Вот и отлично, и мы послушаем, — одобрил генерал, высвобождаясь из мокрой отяжелевшей шинели.

— Да уж почти все отчитали — эва, целую горочку! Последнее осталось, — пожалел сержант и кивнул на пачку писем посреди темного скобленого стола. — Только беда, по-украински весточки-то, товарищ генерал, а у меня больше вологодские да мордва... эва, даже один татарин есть, Алексей. Ишь, на приступочке сидит, согнулся... болеет. Лишний сила в бою давал! — И для приличья посмеялся жестяным, никому не обидным смешком. — Однако все понятно, слезой писано. Освободить место генералу! — повысил он голос, и скамья сразу опустела, точно полотенцем обмахнули для высокого гостя, но почему-то тесней в хате от этого

не стало.— Читай, Куковеренков, не торопись, а то не выдам я тебе рекомендации в артисты.

Он был слишком суетлив для должности политрука, но что-то звенело — то струночкой, то набатно звенело в нем, заставляло вслушиваться с возрастающей тревогой и торопиться, опротясь торопиться куда-то. Обстановка не соответствовала его шутивому тону; прибаутками он хотел побороть смущенье собравшихся хотя бы и перед чужим начальством. Бледной зимней окраски бальзамина не совсем застали свет в окнах. Все же стреляная противотанковая гильза, сплюснутая сверста, снабженная бензином и фитилем, горела на столе, придавая особую, как в храме, торжественность собранью... Шоферы долго стелили салфетку на краешке стола, доставали припасы, выдавали молодке чай на заварку, пока генерал не прекратил их неуместную суетню.

— И кстати дайте конфеток мальчику, капитан...— сердясь и сквозь зубы приказал генерал.— Понимать надо... Сам же жалобился, что детей в эвакуации оставил!— И хотя это было сказано вполголоса, тень одобрительной улыбки поочередно прошла по всем лицам, кроме старухина.— От отца, что ли, открытки-то?

— Нё, то от дядьки, товарищ военный. А бѣтька у него нет. Никогда он сына не приголубит. Вот все собирается письмо написать... бѣтьку в могилку,— сказала по-украински женщина с закушенными губами, обернувшись к окну, как бы затем чтоб поправить занавеску.

— Не бойсь, махонький... ешь, сиротка. А немцу, что дружков твоих в колодец побросал да животиной дохлой сверху накрыл, чтоб не вылезали,— капут, капут немцу! Ешь, родной... в Германии еще добудем. Душу вытряхнем, а добудем... если начальство разрешит,— добавил сержант, испытующе покосясь на генерала, который с наслаждением вдыхал хмельной и сытный пар из стакана.

— Данке шен<sup>1</sup>,— кротко, забито сказал мальчик.

— Слышали?— зловеще окликнул усач свое собрание, которое вдруг заежилось и недобро пошевелилось.— Приступай, Куковеренков!

Ближний, широкоскулый, с неподвижным лицом красноармеец уже держал в руке остатнее письмо. Как и прочие, то была стандартная открытка с печатным предупреждением писать в одну строку и без помарок. Вместо обратного адреса стоял квадратный лиловый штамп с указанием лагерного номера корреспондента. Чтец некоторое время как бы изучал почтовую марку, запоминая одутловатый, с прядью на лбу и выпуклыми жабыими глазами, профиль. Личность эту он видел не раз на плакатах в немецких землянках и не промахнулся бы при встрече, а теперь он просто выжидал, когда все придет в прежнюю стройность, перестанет хрустеть серебряная бумажка в сироткином кулачке и замолчит сверчок в подпечье. Слишком много слов было напихано как попало в это письмо; столько слов, что любой полдень затмить и опечалить хватило бы этой черноты. Указанное обстоятельство охранило письмо от немецкой цензуры, но оно же заставляло и Куковеренкова запинаться, тем более что он сразу переводил по-русски. Наконец сверчок пискнул еще раз и затих, также приготовясь слушать послание из неметчины.

— «Здравствуйте, родные, кто меня еще не забыл. Я жму твою правую ручку, мама, и поклон всей милой, сколь глаза хватит, Украине. Сестрице Одарке мой скучный, далекокрайний привет. И братику Кузьме широкосердечный привет тоже. И спасибо, что послали сапоги, а то порвались чеботы мои, и работа мокрая, но только я не получал. Хоть дают мне двенадцать марок в месяц, но ничего не купишь, кроме ситра. Я пишу тебе, мама, что немощко запах и живу хорошо. И снилось мне два раза, что выстроили новую хату, и будто идут коровы из нашей улицы, стадо в поле идет. И тут все поле превратилось в гробовище. Ты стоишь одна, мама, и ни травки кругом, ничего нет».

— Хорошим слогом писано,— взволнованно отметил генерал и повернул голову к молодке.— Это, значит, и есть дядька?.. Сколько ему лет, дядьке?

<sup>1</sup> Покорно благодарю (нем.).

— Семнадцатый с Покрова,— отвечала молодая, по-бабы подпершись рукой и внимая письму как новинке.

Черная струйка копоти вилась над гильзой, как и несложная нитка повествования. Кашлянув и как бы подстроив сбившееся горло, Куковеренков ловко провел пальцем по огню, смахнул нагар и тем прибавил свету. Все молчало, только из рукомойника у двери размеренно капала вода. Сейчас все эти люди принадлежали к одной семье Литовченко: заезжие шоферы, генерал, перед которым стыли разогретые бобы со свиной, вологодские с суровыми лицами мужики, татарин Алексей, соломинкой в раздумье подметавший пол,— и самые боги, выглядывавая из бумажного цветника,— силились вникнуть в эту протяжную, как песня, жалобу.

— «Живу, только и думаю про Украину,— писал дальше мальчик Литовченко.— А нельзя мне тут жить и гулять. Как вспомню все, и как братик Тимофей суму мою нес, и как мамку ударили, так и плачу. Тогда я побежал к вам, но меня поймали. Дали двадцать пять по голому телу, а потом морили голодом, но недолго, мамо. Я опять побежал, в темноте бежать хорошо; тогда поймали меня еще, а я ничего, только бы не убили. А как узнал я про смерть Тимофея, все продал с себя, купил ведро картошки и ситра ведро и пил, три дня лежал бесчувственно, поминал старшего братика Тимофея в городе Берлине. Меня палкой тычут, как зверя, чтоб на работу шел, а я лежу, не могу идти, плачу. А город Берлин разбит чисто, хуже Киева побит. И детей не видать, и людей мало».

Пока звучал этот вопль издалека, генерал допил чай, куда украдкой капитан долил на четверть рома. Да тут еще две девушки из полкового медсанбата принесли генералу сухие шерстяные подвертки, заказанные капитаном. Ногам стало легче и теплей, и на душе сделалось так, будто давно живет здесь; генералу казалось, например, что во всех мелочах знает этого усача, добровольного устройства нынешнего чтения. Наверно, это был старый солдат, которому вторично в жизни пришлось обороняться от немца; и смертно надоела ему вековая угроза, что придут и разорят дотла его достаток, и решил покончить с нею разом и, посетив дом врага, показать ему военное лиху во всей его страшной красе. Он затем и обратился то словом, то взглядом как бы за поддержкой к генералу, чтоб не упрекнуло его впоследствии в беспощадности строгого начальство.

— «Я жду от вас ответа, как соловей лета,— заканчивал тем временем Куковеренков.— Хоть пришлите четыре слова. Мне теперь номер дали, пятьсот тридцать, вы не спутайте. И марку наклейте, а то без марки письма не идут. Не давай плакать маме, братик Кузьма, мне тогда легче будет. Я буду жить, пока не забудут. А племяннику ленточку припас, хоть и не девочка, больше ничего нету. Привезу, как уцелею. Больше писать нечего. Писал ваш сын и брат на чужбине...»

— Это который же Кузьма-то?— спросил офицер связи, когда Куковеренков, сложив письмо поверх кучи, отодвинулся от стола.

— Средний, всего трое было... кроме Одарки. Он еще при немцах через фронт в Красную Армию убежал,— неохотно, потому что не впервые, объяснила молодка.— Опротивело ему со стариками в болоте сидеть. Уж их с овчарками искали, все норочки обшарили.

— Так-так,— ухватясь за слово, скороговорчато выступил усач.— С егерьями, значит, как на волчатину, охотились. В сундук железный спрячь письма-то, хозяйюшка... не загорелась бы хатка твоя от них! Вот и поговорим, товарищи, пока каша варится. Выходит, мать, трое у тебя кормильцев-то?.. Богатая!

Старуха поворотила голову, и новоприезжие увидели, что годами она была не старше самого сержанта.

— Я богатая,— согласилась старуха.

— Итак, младшенького, а там и сестричку его в неметчину угнали. Средний к нам ушел. За что же немцы старшего-то сказнили?

— Старостой у них ходил,— с тем же неподвижным лицом ответила мать и поправила складку платья на колене.

Ответ смутил бы любого, но усач, и глазом не моргнув, шел к правде своей напрямик, зная, что она его не обманет.



— Так-так!.. Тогда ему бы, наоборот, в кафе круглы сутки сидеть, немецким шнапсом совесть заливать. Староста у немцев первый человек. Это есть вроде как бы зубы, собственному народу горло грызть... так кто же зубы себе беспричинно губить станет?

— Не трожь ее... Партизанам он помогал, затем и в старосты пошел,— сказала вместо старухи молодая и вдруг, глянув на мальчика, заговорила много, часто и жарко, точно полымя плеснулось в ней.— Корова у нас была, а старик один, сосед, и прельстился. Уж старый, шестидесяти осьми годов, на что ему корова?.. И выдал он Тимошку немцам за молочко. Мы вот так же ужинали... ввалились они, ухватились за Тимошку, семеро одного держат...

— Храбрые, значит, семеро одного не боятся! Давай, давай... и ты нам не обшую картину описывай, а шаг за шагом иди. Мы судьи, вот мы кто! Нам все обстоятельно знать надо...

Она стала рассказывать, как увели Тимофея и как она прокралась послушать мужнин крик, но все три часа не было крику из немецкой хаты, а только время от времени ровный и твердый, сквозь боль и стиснутые зубы, голос: «Красной Армии слава!»— и как водили его потом по селу, в кривище, с повыводбанными глазами и с доской на груди, и как билась она затем в ногах у коменданта, чтобы выдали ей порубленное мужнино тело, потому что хороший был, и все село за него распишется, и ее снимали на карточку при этом, лежащую во прахе у чужих сапог, и как словили по приходе красных танков того одряхлевшего от страха Каина, и вдовы слезно молили, чтоб дали им хоть шильцем уколоть его по разочку... Тут уж и мать поднялась с табуретки. Она неторопливо прошла к простенку, где в дешевом багете висели фотографии обширной, за полвека, литовченковской родни. Там были дивчины с букетами и в пестрых домотканых юбках, молодые люди в матерчатых пиджаках, в обтяжку, на плечах непомерной широты, какой-то шахтер, снявшийся в полном подземном облачении, длинноусые хлебобобы, и еще — не по-нынешнему рослые, грудью навыкат — гранадеры прежних времен, сложившие голову за староотеческую славу, и сановитые дядьки прославленных запорожских куруней — только оселедцев им не хватало!— выставились из большой братской рамы поглазеть на нынешних хлопцев; и красовался там же вид с Владимирской горки на всеславянские святыни города Киева, и помещался сбоку зеркала треугольный осколок, чтобы каждый мог сравнить себя с этим отборным, зерно к зерну, племенем... А в левом верхнем углу, как заглавная буква к богатырской родословной, находился совсем еще не старый, с бритым и мужественным лицом, потомок; из-под суровых, сведенных к переносью бровей застенчиво глядели почти девичьи, темные украинские очи. Рамочка висела, как по отвесу, прямо, но, значит, матери было виднее. И по тому, с какой строгой лаской старуха Литовченко коснулась ее кончиками пальцев, словно опраивляла венчик на покойнике, все поняли, что это и есть ее старшенький, предколхоза, Тимофей Литовченко.

Генерал, поднявшийся было познакомиться с еще одним своим однофамильцем, отошел первым, и тут бросилось в глаза, как высокий артиллерист, стоя поодаль, усмеяется и качает головой; и тем неуместней показалась такая усмешка генералу, что парень на полторы головы возвышался над прочими, видимых признаков ранений или нашивок не имел, был с красивым, чуть матовым лицом и, видимо, смертной силы.

— Чему же вы смеетесь, гражданин?— недружелюбно и нацелясь в его громадный сапог, спросил генерал.— Этот Тимофей... как его по отчеству-то, молодайка?... Арефьич?...— недоверчиво протянул он.— Этот Тимофей Арефьич, может быть, еще на площади в Киеве будет стоять, медный, рядом с нашим Тарасом. Мы-то с тобой друг за дружкой, как звенья танковой гусеницы, идем, а он умирал в одиночку, зная точно, что никто не поможет.

— Нечего и разъяснять, товарищ генерал...— смущенно заговорил артиллерист.

— Нечего и разъяснять. А знаешь, что на передовой сделали бы из тебя за такой смешок?— оборвал его, рванувшись от двери, кто-то из шоферов.



— Нет, уж дозвоьте разъяснить тогда, товарищ генерал,— нахмурясь, повтори красноармеец.— Это я на Германию дивуюсь. У нас, на Ваге, ежели так с соседями обращаться, в одночасье изведут, уголочка на развод не оставят. Вот у меня, ребята смеются, кулак два кила весит... и то в будний день, пока не рассержусь! Я им медведя снова наповал уложил...

— Стреляного!— подзадорил сбоку усач, и вид у него был такой, словно раздувал поднимающееся пламя.

— А хоть бы стреляного. Ты меня опробуй, как жить надоест!— и оглядел для проверки костистый, досина сжатый кулак.— С чего ж они с нами так, товарищ генерал? Али пустыни непроходимые промеж нас лежат, али горы высокие... и те перешагнуть можно!.. Неосторожность какая...

— Ладно, помолчи, не волнуйся!— сказали со стороны.

— На меня теперь метра четыре земли насыпать надо, чтоб я успокоился,— забыв все, пуще расходился парень.— Я...— Слова так и летели с него, как брызги с точила, а усач пристально глядел ему в глаза, как бы закрепляя в памяти, чтоб напомнить потом в решительную минутку. Уже тянули великана сзади за рукав, стремясь остановить его дерзкую, неприличную при начальстве ярость, но он смолк, только когда офицер связи вбежал в хату с радиограммой из штаба армии. Командующий спешно разыскивал комкора Литовченко. Какие-то неизвестные и грозные обстоятельства меняли установившееся равновесие на этом фронте.

— Надо мне ехать. Желая тебе, товарищ, чтоб не изгорела твоя сердитость на поддороге,— сказал на прощанье, уже в шинели, генерал, переглянувшись с усачом; оба поняли друг друга с полувзгляда.— А дорога нам еще долгая!

Сержант подал ему просохшую у печки шапку. Вдруг затрещал сверчок, благоговествуя, что еще наладится жизнь и снизойдет былое счастье на четырежды осиротелую хату. Его заглушило урчанье заведенных машин. Дружным рокотом артиллеристы проводили гостей. Во дворе старая хозяйка набирала соломы из стожка. Генерал пошурился на ее полубосые ноги, на худые лопатки, охваченные знойким ветром, хотел сказать на прощанье, чтоб не убивалась о среднем своем сыне, который сидит теперь у него в танке, за надежной стеной, но усомнился в чем-то и, выйдя за ворота, подозвал своего капитана.

— Забыл, как у них среднего-то звали, что в армию ушел?

— Кузьма, товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Так. А того, что ночью танк чуть не завалил?

— Того Васей при нас называли...

Скоро иные мысли и совсем прочерневшие под солнцем поля охватили их. Когда минутой позже Литовченко выглянул в заднее окошко, ни деревца, ни дымка над трубой не осталось от Белых Коровичей. Зато другой, громадный и плоский, дым вставал на горизонте. Его было много, и ветру было из чего изваять длинную черную лисицу, вытянутую движением и на бегу распутившую хвост. Воздух двигался как раз оттуда, слышна была усердная работа артиллерийских батарей.

— А пожалуй, зря вы на Коровичи полпелелись, капитан. Через Березно было бы нам ближе. Если не ошибаюсь, это Млечное полыхает?

— Нет, это Великошумск горит... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— уверенно поправил его адъютант.

Из опасений, внушенных именно этим зрелищем час назад, адъютант избрал более длинную дорогу через Коровичи. Осторожность оправдалась в ближайшем селе, в Ставищах, также памятном генералу по каруселям и балаганам его трескучих ярмарок. Оно предстало сейчас с закрытыми ставнями, горелое не однажды, примолкшее, чтоб война не вернулась, хотя бы на детский плач, добить и разметать нищие останки. При подъеме в гору, у плотины, обсаженной раскорякими ветлами,

танкистов остановила регулировщица. Она направляла их на проселок, выводящий к Житомирскому шоссе. Объезд означал пятнадцать километров крюку и, прежде всего, крутые перемены во фронтовой обстановке. Капитан поднялся наверх поискать хотя бы дорожного коменданта. И пока остальные дрогли здесь, у темной, загустелой воды, в узкую горловину мостка стали спускаться огромные, в грязи по кровлю, санитарные автобусы. Медленно, из внимания к своему хрупкому грузу, они проплывали мимо, почти вплитирку к встречным машинам и на короткое время застилая в них свет. Он затемнилсь семнадцать раз сряду, и уже на первой трети все выбрались наружу, кроме генерала. Перестав крутить сигарки, шоферы проважали глазами этих первых вестников ночных происшествий под Великошумском, и один глядел дольше всех, пока ветер не выдул из-под пальцев половину табаку.

— Отвык от войны-то, черт гладкий?— пошутил сосед, когда последний автобус ушел на восток.

В Ставищах адъютант разведал не больше, чем знала со слов проезжающих эта кудреватая румяная девушка в коротенькой шинельке. Всю ночь, по ее словам, громыхали сквозь вьюгу пушки, и десятки осветительных ракет висели на горизонте; немцы проявляли усиленную деятельность. Она терпеливо растолковала все приметы объезда: как добраться до коневого совхоза и куда сворачивать от монастырских прудков, чтоб без промаха попасть на переправу... и шумливым флажком показывала в ветреную, звенящую тревогой даль. Оттуда порывами доносилось мушиное тараканье застрявшего грузовика; погудев и передохнув, он снова силился оторвать лапки от неодолимо клейкого листа дороги. Война услышала жалобу: понижаясь в тоне, просвистел воздух, и тощий из-за расстояния веер земли и дыма распустился среди поваленных телеграфных столбов.

— Вам как раз туда и надо ехать,— улыбнувшись, сказала девушка, и ямочки на щеках стали еще румяней от смущенья.— Все утро из дальнобоек щупают... впустую,— прибавила она успокоительно, для шоферов, которые уже приметили, что после разрыва тараканье грузовика прекратилось.

— Откуда сама-то?— спросил связист, топча недокуренную папироску.

— Воронежская...

— Ну, и сами мы все воронежские. Не задремли смотри, а то ганец подкрадется!

Так, подкопив силы, они нырнули в темно-рыжее месиво проселка, под некрашенный шлагбаум контрольного пункта. Здесь кончалась хорошая дорога. Два часа тащились они почти на первой скорости, и каждый давал зарок замостить после войны всякую лесную тропку клинкером: впрочем, обеты тотчас забывались, едва почва под колесами становилась тверже. Обстрел не повторялся, погода совсем разветрилась, и веселили по сторонам плакаты с наказом экономить горючее. Великошумск и его великая гарь сдвинулась в сторону, и даже мыслей не осталось о Великошумске, когда поднимались на шоссе.

Их сразу захватил деловитый поток фронтовой магистрали. Здесь ехало все, чтоб, растворясь в ничто, превратиться в победу. Ехали ящики с концентратами, бензин, зимняя стеганая одежда и металл, продолговатые пироги с толовой начинкой; ехали лекарства в гигантской таре, авиамоторы и то, чем их поражают наповал; валенки ехали пополам с гармоньями, а лазаретные кровати — целая трехтонка с железными скелетами — напрасно старались опередить тот желанный и праздничный груз; ехали толстые мешки с ядрицей, кислота в просторном зеленом стекле, ремонтные станки, буханки хлеба, которых хватало бы вымостить дорогу до самого Лытошина, книги, строительный лес, вино для живых и кровь для оживления уставших на поле боя, кипы сена, туши мяса и прочее, чем питается в разгаре наступленья, — в бочках, тоннах, тюках и десятках погонных километров. Все это тысячеименное богатство страны превращалось как бы в густую и вязкую жидкость; невидимое сердце проталкивало ее в узкую и гибкую артерию военной дороги... С однообразным рокотом, в несколько рядов мчались цистерны, заморские д о д ж и с зенитными установками в кузовах, и серенькие наши з и с ы перегоняли их в стремительном беге к победе; степенно, обок со своими крановыми американскими собратьями,

шли чумазы челябинские тягачи, чернорабочие танковых сражений, неслись ловкие потивотанковые пушки, стальные осы, прицепленные к бронетранспортерам, и двигалась их страшная тяжеловесная родня, едва прикрытая раздувающимися чехлами; с т у д е б е к к е р ы шлепали широкими лапищами по шоссе, и прятались за ними машины в брезентах неизвестного назначения, а рядом попрыгивала походная банька, русско-татарский рай на колесах, и добрый десяток веников приплясывал над кабинкой веселого, белозубого водителя.

Все это, забрызганное грязью и стократно повторенное, днем и ночью неукротимо двигалось в самое пекло великошумской битвы. По сторонам, среди опаленных буковых рощ, как предупреждение судьбы, чернели остовы сожженных машин, битые германские танки, валялись дырявые, полные талой жижи чашки танковых башен, пучились трупы лошадей, подернутые снежком, и еще не стояли на них ночные зловещие вороньи следки... но уже не действовало предупреждение, и никакая сила в мире не могла задержать этот поток. Да еще по обочинам, насколько хватало кругозора, грохоча и с открытыми люками, по два в ряд катились танки, облепленные своими десантниками, как цыплятами насадка. Они служили как бы железными берегами для этой реки народного гнева, и только теперь становилось ясно, какую вековую дремучую силу разбудил вражеский удар.

— А ведь это из моих! — определил генерал, приглядываясь к новехоньким тридцатьчетверкам. — Не узнаю только, которая...

— Та самая, тридцать седьмая, — подсказал адъютант.

На броне ближней машины он различил свой корпусной опознавательный знак, а через мгновение под белым, с крылышком, ромбиком он увидел и номер — двести три. Кидаясь грязью, она шла по всем правилам походного марша, соблюдая сорокаметровую дистанцию тормозного пути. Как и на прочих, среди привязанных бачков, походной печки, ящиков с боеприпасами сидели затаившиеся на заветной думке люди: может быть, они пели. И вдруг генерал живо вспомнил вихрастого лейтенанта. Это вместе с ним довелось ему повоевать однажды, когда сорок четвертая, летом прошлого года, напоролась на засаду Гудериана; с управленческого танка сбили ленивец, и первая машина, куда наугад вскочил командир бригады Литовченко, оказалась двести третьей. Сам он получил второе Красное Знамя за это brave дело и уже не помнил, чем именно судьба, кроме седой прядки, наградила лейтенанта. Было грустно, что не областал Соболюкова, не напомнил про тот жаркий денек, тем более что они как бы и породнились тогда, потому что оба вышли с легкими ранениями из боя. Он припомнил кстати, что, по слухам, это отличный мастер простонародной сказки, и тут же порешил непременно при случае послушать Соболюкова — как ради поощрения таланта, так и из интереса, чем он потчует целую бригаду на отдыхе...

Ни метра не пустовало на шоссе, и всем находилось место. Вольным шагом двигалась пехота пополнения, наглядные примеры разноязычного нашего единства. Даже в такую мокрядь, которая еще больше однообразила их, чем серая шинель, казах отличался походкой от грузина, а украинец повадками от сибиряка. Эти последние хмуро покачивались на мохнатых коренастых лошадаках, в особенности сердитые на немца, оторвавшего их от воистину государственных дел. Не было нужды расставлять плакаты по пути, чтоб возбудить в них воинскую решимость. Следы разрушения и гибели по сторонам дороги повелевали грознее всякого приказа... Шли и видели, как стыннут связисты на столбах, починяя рваные провода; видели, как воронки от авиабомб заваливают щебнем разгромленного поселка и по кварталу уместается в каждую ямину; видели, как древний дед со внучкой пытаются набрать горелого мусора на зимний шалаш, а уж декабрь глядит из лесу; они также прикидывали на глазок, сколько гвоздей, топоров и пил получилось бы из этой железной, уже неузнаваемой падали, и переводили на трудодни стоимость того материального потока, который завтра сгрызет одна атака. Они шли, сосредоточенно глядя в смутную точку впереди, за чертой неба, где маячили мрачные призраки — дурацкие «мертвые головы», непонятные им райхи, валлонии и викинги и прочая, на уstraшеные трусов выдуманная чертовня; они шли убить их прочно



и навсегда; они шли, и горькое море крестьянской беды плескалось у них под ногами.

В гуще потока возвращались беженцы на разоренные гнездовья. Тощие коровы со скорбными библейскими глазами волочили ветхие телеги, и старики сбоку помогали животинам дотянуться до дому. Выводки крестьянских ребяток, по четверо в одной дерюге, с безжалобной заискивающей улыбкой смотрели на матерей, которые со сжатыми губами шагали возле, не имея другой надежды на земле, кроме как на свои обвисшие вдоль тела руки. С упорством младости плелись старухи повидать на закате родимые могилки, знакомый на шляху тополек, и поспешало сзади некое существо, голодное и пуганое, — черный лохматый псишко, отвыкший лаять по чужим дворам. Увертываясь от огромных колес, он бежал и все принюхивался, искал подобного себе, чтоб поведать о своих собачьих горестях... но даже и мокрой шерстью не пахнуло ни разу из смрадной бензиновой реки кругом. Порой он принимался скакать на снежной обочине и лаять каким-то петушиным голосом, то ли от радости жизни, то ли из потребности показать войне, что и он тоже злой и кусачий... И еще восьмилетняя девочка, вся прогибаясь назад от непосильной ноши, тащила плетеную старушечью котомку за спиной, а в руке несла большую стеклянную бутылку на веревочке, жалкое крестьянское сокровище. Прижимаясь к берегам, эта человеческая щепка тоже плыла в реке войны, не догадываясь о ночных событиях под Великошумском.

И, как бы к сведению их, в воздухе появились германские самолеты. Усталые, они возвращались с бомбежки, на неуязвимой высоте, и лишь один стрелок, любитель мертвого тела, спустился из облаков, соблазняясь беспронгрышной мишенью. Он подобрался с тыла и подветренной стороны, и в ровный гул поточила влился внезапный рев его авиамоторов. Его услышали все сразу, как бы судорога прошла по шоссе; большой штабной автобус с ходу ударил о передний д о д ж, поставив его поперек пути, и движенье замерло, как останавливается поезд у станции, с буферным лягом и визгом тормозов. Насыпь была высока, и, прежде чем ринуться с нее врассыпную, все, в тысячи глаз, оглянулись назад. Черная птица падала, казалось, на то самое место, куда толкало самосохраненье; отраженное солнце сверкало в ее чуть наклоненном крыле. Прежде чем опасность достигла сознания, машина увеличилась вчетверо, потемки пронеслись над головами, и в ту же минуту летчик дал пулеметную очередь. Звон стекла и вопль женщин — все поглотило урчанье смертоносца. Так ударяют полосой капли в начале проливня, но самого дождя не последовало. Зенитные пулеметы били вдогонку с запозданием и без видимого успеха.

Пока они стояли так и воздух струился над перегретыми моторами, генерал вышел из машины приказать связисту ехать впереди, прокладывая путь его в и л л и с у.

«Этак мы до вечера тут проваландаемся!» — собрался сказать он и забыл, привлеченный подробностью, может быть самой ничтожной в его военных наблюдениях. Девочка стояла лицом в сторону, откуда напал самолет; испаринка страха проступила в ее лице. Мать тормошила ее, припадала окровавленной щекой к ее щеке, белой и невинной, всплескивая руками и всхлипывая на ветер: «Обмерла, господи, обмерла...» А та, виновато улыбаясь, с недоверием косилась на свою вытянутую правую руку, где на веревочке висело одно горлышко без бутылки. И рядом, у тележного обода, на снегу валялось нечто черное, неподвижное, похожее на большую чернильную кляксу. Оно лежало, откинув голову, как все убитые, независимо от звания или породы; один глаз, открытый и чем-то уж слишком людской, глядел на генерала, как бы говоря: «Вот и не доехали... такие-то дела бывают, ваше человеческое превосходительство!» Наверно, то и был последний псишко на Украине.

Подошедший старик бесстрастно шевельнул его ногой и подтолкнул корову, чтобы шла. И как только в кузов передней машины втащили одного простреленного бойца и скинули под откос лошадь, бившуюся в постромах, шествие на запад возобновилось с удвоенной резвостью. Люди стремились наверстать время, хорошо зная, что веков рабства стóбит иная, утраченная попусту минута.



— Ну, погоняй теперь,— приказал Литовченко шоферу, который, пользуясь остановкой, отполировал до блеска забрызганное стекло.

Они и без того были близки к цели путешествия. Командующий гвардейской танковой армией имел привычку уstraиваться вблизи передовой. Легонько подрагивала земля, и, ощутимые телом, доносились артиллерийские перекаты. Времени хватило в обрез, чтоб сменить пимки на несколько подсохшие сапоги.

## 5

Шестеро нарядных гусей полутулужской породы дружным гортанным клекотом приветствовали прибытие гостей, да еще встретился знакомый полковник из разведки, он и повел приездего в штаб армии. В баке кончилось горючее, они решили пойти пешком. Можно было обойтись без провожатого: лишь у одной хатки, прижавшись к стенке, торчали два броневичка, ходил сладчайшей обличья часовой, с крыльца то и дело сбегали озабоченные люди, и сюда отовсюду сходились толстые резиновые провода. И пока шли, выбирая, где посуше, через лазы в плетнях, мимо замаскированных управленческих танков и крестьянских бомбоубежищ, строенных из поленьев и кукурузной соломы, стали известны лытошинские новости. Ночью, в самую метель, немцы форсировали Криничку и снова заняли Великошумск.

Оживление обозначилось неделю назад, когда Манштейн попытался продать нашу оборону под Озерянами, на юге. Наступила напряженная пора, и те, кому проездом на Черноморье доводилось лакомиться сладчайшей здешней вишней, никогда не подозревали стратегического значения Великошумска для победы. Трое суток сразу немцы бомбили передний край и потом неизменно к сумеркам, близ шестнадцати часов, кидали в это крошево танки — с намерением зацепиться ночью за раскисший противоположный берег речки. К переправам спустились т и г р ы и ф е р д и н а н д ы со всякой бронированной мелочью в их надежном полукольце; их встречали плотным огнем и уже положили много, в иные дни до полусотни подрывалось на минных полях, но они напирали вновь по инстинкту саранчи: задние достигнут цели!.. Защитники рубежа стояли крепко, они выходили в поединок с подвижными крепостями, они умирали, продолжая целиться из противотанковых ружей, артиллеристы повисали на своих пушках, немецкие разведчики открытым кодом радировали с воздуха своим штабам: русские не отступают, русские нигуда не отступают. Надо было выстоять и не состариться, пока продвигались другие братские фронты... Был там один знаменитейший, злой таежный охотник с Амура — «тигровая смерть» у себя на родине; он и здесь сохранил свое прозвище, но и его свалили. Происходило испытание самбй человеческой породы, и тут выяснилось, что прочнее сортовой стали смертная человеческая плоть. Буравя нашу оборону резервами, подтянутыми под прикрытием нелетней погоды, противник за четверо суток продвинулся на восемь километров.— Все это гораздо короче, лаконичным штабным языком рассказывал полковник.

— Вот этот самый ганец,— кивнул он на долговязого немецкого зенитчика, которого вели по улице,— сообщил со слов офицеров, что к исходу месяца Гитлер рассчитывает посетить Киев. Киевбургом собираются назвать!— Он усмешливо покачал головой и мимоходом заглянул в окно.— Командующий у себя... Я покину вас здесь, товарищ генерал.

Часовой по-ефрейторски откинул винтовку в сторону, и одновременно дверь пропела что-то складное и приветное домовитым бабьим голоском. Тесная, полутемная кухонька полна была военного народа. На скамье близ окошка занимался чтением сухощавый человек с костяным желтоватым профилем,— видимо, заезжий, в военной форме, артист. Трепаную — поминоку от бежавших хозяев — книжку он держал в точеных чистых пальцах; судя по первой запевной строке главы, это был Гоголь... Два фронтовых майора также дожидались очереди на прием, и один натуго забивал махорку в трубочку, а другой, томясь бездельем, рассматривал иконы, заполнявшие угол и украшенные расшитыми рушниками. На нижней, освещенной

тускнеющим солнцем и в дешевом золоченом ките, безусая ангельская конница, численностью до полускадрона, гналась за пешими демонами, явно сконфуженными таким обстоятельством; впрочем, не атака привлекла внимание майора, а просто он пользовался стеклом как зеркалом. Ощувив взгляд на спине, он обернул молодое лицо и не очень естественно заметил что-то о плохой кавалерийской посадке ангелов.

— Ничего, юноша... все мы небритые сегодня,— усмехнулся артист к еще большему смущению офицера и, погладив желтоватый подбородок, перевернул страницу.

Три ординарца еще стояли у печки с подпухшими от бессонницы лицами. Ближний помог Литовченко отыскать свободный крючок на вешалке. В ту же минуту от командующего вышел длинный генерал, его помощник по технике. Соратники по началу кампании, они узнали друг друга.

— Вовремя, Василий Андреич. Хозяин ждет тебя. Укомплектован полностью?

— По штату. Слышал, большие дела у вас?

— Да... как говорится, бои местного значения. Третьи сутки не спим, лезут.

На днях мы им такой натюрморт из двух саксонских полков соорудили, что, кажется, следовало бы образумиться, а вот опять...

Он прислушался к двойному телефонному разговору за фанерной дверью. По академии Литовченко был двумя годами моложе командующего, вместе они еще не воевали, но он сразу различил этот глуховатый, чуть иронический голос. Пока начальник штаба, надрывая горло, кричал куда-то сквозь шумный оттепельный ветер, дозываясь какого-то Льва Толстого с левого фланга, командующий приказывал номеру 14.63 на правом, создать со второй половины дня ударную группировку и все тяжелые системы подготовить к вечернему спектаклю.

— Ну, ступай, Василий Андреич,— сказал армейский помпотех.— Сейчас он по телефону обходит свое хозяйство... Самое время знакомиться. Через часок начнется... тогда придется, пожалуй, и тебе потряхнуть своим добром!

Они условились, если посещение не затянется, встретиться в штабной столовой.

Был конец зимнего дня, когда Литовченко вошел к командующему. Не отрываясь от телефона, начальник штаба приветливо кивнул головой и, приговаривая Льву Толстому «так-так, так-так-так...», продолжал заносить в рабочую схему обстановку левого крыла на 15.00. Все насквозь пропиталось табачной гарью в этой небольшой, со следами былого хозяйства комнате — дубовые столы, накрытые скатертями двухверсток, полевые телефоны шоколадной пластмассы, плохая копия униатской мадонны в углу и даже фикус, оставленный здесь, верно, для веселья, бодрости, здоровья и красоты. В щель приоткрытого окна еле струился к ногам мокрый холодок. Тонкий, уже остывший лучик солнца просекал стоялую сизую дымку и темным золотцем растворялся в стакане чая на столе у командующего... Сам он, в меховом жилете и откинувшись к спинке поповского малинового кресла, сидел вполборота к окну; отраженные от плюша отблески лежали на его гладко выбритом и преждевременно постаревшем затылке.

Разговор подходил к концу. Как и вчера в то же время, обманчивое затишье наступило на участке 14.63. Командующий выразил сожаление, что не удалось убереечь от огня две тысячи тонн зерна, вздохнул о жителях, вынужденных вновь покидать родные очаги, не забыл подтвердить приказание о сборе стреляных гильз, распорядился узнать, в чьих руках хуторок Вышня, и позвонить ему через полчаса и в заключение похвалил за взятые у немцев четыре грузовика подошвенной кожи. «А своей сколько оставил?.. на пятках-то целая?.. Ну, не сердчай, я пошутил...» — смягчил он свой упрек за маленький вчерашний отход, и вдруг в суховатом тоне его прозвучала неожиданная душевная нотка.

— Волнуешься? — спросил он, вполголоса понизив голос. — Держись, я за тебя вчетверо переживаю. Что? Я и сам знаю, что немца много... — соглашался он и рисовал все тот же синий ромбик на карте перед собою, среди сложных пунктиров и цветных границ войсковых подразделений; уже бумага продавилась в этом месте, а он все чертил, подсознательно выражая этим тяжесть вражеских танков, навалив-

шихся на 14.63.— Раз много, значит, мишень шире, это хорошо... а? Погоди, погоди, да ведь и ганец-то не тот пошел: устал, боится. Завтра его станут запросто резать финками на всех перекрестках Европы! Ну, рад за такую ясность твоей мысли... Танки, как раньше сказал, буду выдавать из расчета — сколько подобьешь, столько и получишь. Каждую минуту гляжу на тебя. С тобой всё! — Положив на подоконник трубку, он отставил туда же нетронутый стакан, а оранжевое пятнышко заката так и осталось лежать на карте.

— Трудно ему сейчас,— вслух подумал командующий.— Да еще одна, моторизованная, из Дании подошла...

Прежде чем повернуться к приезжему, он долю минуты, опершись локтями о карту, смотрел на квадратный кусок Украины, положенный перед ним на столе. Если бы не пальцы, разминавшие папиросу, можно было бы думать, что он задремал. Из личного опыта Литовченко знал то особое состояние человека на большой командной высоте, когда вдруг как бы оживают эти беззвучные иероглифы, значки и цифры, приходят в движение, ощутимо заполняя все извилины мозга. Тогда одновременно, как в магическом стекле и лишь в приуменьшенных дальностью масштабах, выступают самые мелкие подробности минутки перед вражеской атакой... Чавкая, ползут заповздалые бензиновые цистерны, и жжет их на шоссе вражеская авиация; со сдержанным чертыханьем вязнет по колено в грязи мотопехота; и самоходное орудие завалилось в трясику, проломив мост — никаким полиспастом не вытянешь его до ночи; в поту геркулесовых усилий люди тащат боевое питание своим машинам; ремонтники крадутся к подбитой вчера самоходке, прячась от минометов в тени тягача... А где-то рядом прокладывает трассу вечернего удара немецкая разведка, а ф о к е-в у л ь ф ы, как комары в закате, толкуются над передним краем, и куда-то пропала полусотня разнокалиберных немецких танков, что час назад пробиралась вот этой ложиной, отмеченной синим карандашом; из них двадцать четыре зверя покрупнее завернули за рошу, в засаду, а мелочь с неизвестным намерением спустилась к разбитой переправе и рассеялась по осеннему туману в ничто. Тонны этого свежего германского хромоникеля давили на плечи командующего, отчего, казалось порой, легче было бы, если бы все они прошли через самое его тело.

— Сергей Семеныч... командир отдельного корпуса прибыл,— осторожно подкасал начальник штаба.

Командующий привстал навстречу, и Литовченко мог оценить по его несвежему лицу, чего стоила ему, победителю Днепра, оборона маленького Великошумска. На газетной фотографии, опубликованной по поводу присвоения ему звания Героя, был изображен нестарый человек недюжинной воинской зоркости и большого волевого нажима; этот был человекней и старше. По меньшей мере десять лет отделяли портрет от оригинала. Но с задорной хитринкой взглянули на Литовченку его светлые, низко срезанные веками глаза и читали, читали в нем все до последней, еще нынешним утром написанной строки.

— Я задержал вас, простите,— сказал он, когда Литовченко по форме представился новому начальнику.— Слышал о вас. Хорошо воевали под Кантемировкой. Мы с вами едва не встретились и на Халхин-Голе...

— Да, я командовал танковой бригадой,— уточнил Литовченко.

Их рукопожатье длилось дольше, чем требуется для обычного первого знакомства.

— Мой начальник штаба, знакомьтесь. Именинник сегодня, по этому случаю предвидится большая иллюминация в шестнадцать ноль ноль... Что ж, подсоблять приехали? Хорошо.— Он показал на стул возле себя.— У вас красные глаза, генерал... простудились?

— Ветром надуло, товарищ командующий. В л л и с!

— Тогда в порядке. Я и сам два дня с гриппом просидел... Сегодня ветрено. Ну, места тут красивые, жалко отдавать такие. Рощи, знаете, речки романтические. Например, река Слеза, пожалуйста... ваш район обороны!— и стукнул пальцем в голубую жилочку на карте, которую ни на мгновение не выпускал из поля зрения.

— Мне знакомы эти места,— вставил Литовченко.



— Воевали здесь?

— Нет... но бывать приходилось.

— Отлично. Словом, не знаю, сколь приятные воспоминания связаны у вас с местностью, однако климат нынче здесь довольно жаркий...

Они посмеялись, все трое, давая время окрепнуть завязавшейся боевой дружбе. Неожиданно сухоовато командующий осведомился, как прошла разгрузка, что состоит начальником штаба в корпусе и, прежде всего, много ли стариков в бригаде. Литовченко отвечал по порядку, что последние эшелоны прибыли в четырнадцать десять, о чем узнал в Коровичах, что начальник штаба — его соратник по Кантемировке, и когда говорил о стариках корпуса, мысленно видел перед собой Соболюкова.

— Приятно, — откликнулся командующий и помолчал, прикидывая сроки прибытия корпуса в район сосредоточения. — Ехали через Коровичи, значит, все поняли. Напирают!.. Дорога без приключений?.. Впечатления обычные?

Оба вопроса не требовали ответа и служили лишь переходом к большому разговору, но в памяти Литовченки мелькнули письма из неметчины, девочка с бутылкой, опустошенные селенья. Вместе с воспоминаниями опять смутный жар вклиннул в голову и руки, и стало невозможно не подвести итоги наблюдениям дня. Что-то располагало к беседе в этой чистой хатке, похожей на домик учителя Кулькова, на исходе дня и на пороге событий. Верилось, они начнутся, едва лучик переползет с края стола на фикус и потеряется в его вислой зелени.

— Горя много причинили они нам, товарищ командующий. За пальбой как-то не замечаешь его, а как зачерпнешь в ладонь да рассмотришь одну такую горючку... — Он сконфуженно запнулся на догадке, что никто не слушает его.

— Минуточку, — перебил командующий, коснувшись его руки, и жестом обратился к начальнику штаба: — Прикажете дать мне стотысячную карту и еще артиллерийскую, по новым ориентирам. И, кроме того, схемы всех минных полей. Вообще, я нахожу наше минирование неудовлетворительным. Разучились стоять в обороне! Я спрашиваю, как... как могла эта полусотня пройти мимо Дедовщины?.. Простите, я слушаю вас, о чем вы начали? — вернулся он к приезжому. — Ах да, про горе. В основном это, конечно, правильное и довольно ценное наблюдение, но... А здорово вас прохватило, генерал. Вам бы спирту теперь с кайенским перцем. Знатная, едучая штука, медный таз в сито превращает... ребята у одного местного фюрера достали. Вы еще не обедали? Тогда займемся пока действительностью, а там и пообедаем вместе, если не полезут. Что-то наши кулинары при мне давеча имениннику карасями хвалились...

Он надел очки. Стало тихо, будто и не война. Из комнаты по соседству сочился ворчливый басок: уединясь, член Военного совета отчитывал одного из прибывших майоров, видимо оступившегося хозяйственника. Потом над самой кровлей протрещал самолетный винт, и прохожий мессершмитт выбросил наугад кассету мелких бомб. Одна упала рядом на огороде, все легонько дрогнуло, а лампа синего стекла двинулась на подоконнике, точно собралась ринуться вон из хаты: Командующий с укоризной взглянул на нее поверх очков и снова склонился над Украиной.

—...следите за мной, генерал? Здесь у них шесть танковых дивизий; правда, трепаных. Скоро довоюются до сумы, битого туза по десять раз в игру кидают. Я сам эту в алло нию раза три по морде хлестал... Но на днях одну перекантовали с севера, да вот, оказывается, свежая из Дании подошла. Этих предоставляю вам, лакомьтесь, генерал. Заметьте, отличная самоходная на левом фланге! Все это нацеливается... — Красный карандаш пробежал от Житомира до великой водной преграды, указывая предполагаемое направление главного немецкого удара; недосказанное Литовченко сам читал на карте из-за плеча командующего. — Вчера натиском необыкновенной плотности, в две танковых дивизии на километр фронта, им уда-

лось...

Повторялся рассказ подполковника, но уже в точной схеме всех оперативных обстоятельств.

Итак, преследуя Германию, отходящую на юго-запад, наши передовые



части задержались для перегруппировки и подтягивания тылов. Иссякала сила в железном кулаке, раздробившем киевский узел немецкой обороны, и противник стремился теперь обратить в выгоду себе эту вынужденную приостановку советского наступления. Здесь он решил огрызнуться, на рубеже неглубокой речки, влучки старого Днепра. На том этапе войны, когда явственно обозначился перевес Красной Армии, это было отчаянье пополам с авантюрой, теперь и скромный успех окрылил бы шипаного германского орла и доставил бы ему временную возможность маневра на советские вторые эшелоны. Данные разведки, показания пленных и немецкие листовки сходились в одном: черная птица собиралась доклевывать свою жертву. Гвардейская танковая армия медленно пятилась на восток, и это походило на то, как замахивается бичом пастух, когда рукоятка еще отводится назад, а злое и гибкое жало его уже поднимается из пыли для броска вперед.

— Итак, задача вашего корпуса в том, чтобы задержать противника на этом рубеже, а когда он надпортет себе брюхо о ваше железо...

Ветер совсем стих. В природе наступила почти весенняя тишина, пронизанная спокойным желтоватым светом. Хотелось, чтобы длился вечно этот вечер, тихий и благостный дар, улыбка родины солдату, уходящему в бой. Но таяло его очарование, вдруг повеяло холодом, пора стало прикрыть окно. Лучик погас, и тотчас же все четыре и впереводку, зазвонили телефоны. Начальник штаба взял сразу две трубки, четвертая досталась члену Военного совета, который появился следом за майором, шедшим на цыпочках и красным, как после бани.

Некоторое время все говорили — «да, да, да», отмечая передвижения противника, и видно было, как старели карты. Лев Толстой доносил справа о начале германской атаки. Семьдесят танков и около трех батальонов пьяной пехоты выдвинулись на Хомянку с намерением работать на север и северо-восток. 14.63 сообщал одновременно, что двенадцать т и г р о в в сопровождении зверья помельче смяли минометный полк и распространяются вдоль реки. Шквальный артиллерийский огонь в центре также следовало считать предвестием удара. В целях отвлечения внимания от основного замысла вражеский нажим производился по всему фронту. Дольше всех держал трубку командующий.

— Так, понял. Сбить переднюю шеренгу танков, а пехотку накрыть легонько э р э с а м и. Это хорошо трезвит... Что-о?.. Трезвит, говорю, — резко повысил он голос и, рассмеявшись, дважды произнес н е т и четыре раза х о р о ш о. — Изготовить восемнадцать семьдесят и предупредить... кто у тебя, кстати, прикрывает южное направление?.. кто, кто? — Но, то ли залило провод водою, то ли раздавил его на камне броневик, слышимость становилась хуже. Приходилось криком пропихивать приказания через оголенную, расплюснутую медь, — сетка голубых жилок проступила на зальсынах его лба. Потом ввязалась чья-то посторонняя речь, и командующий со сдержанной вежливостью попросил телефониста убрать всех с линии к чертовой матери. — Кто?.. Так вот, намеки твоему Литовцеву, что я его помню. Это он, кажется, удирал из-под Вязьмы?

— Нет, он из-под Ржева удирал, — вполголоса поправил начальник штаба, не отрываясь от карты.

— Виноват... из-под Ржева! Известный спринтер. Скажи ему: что бы он ни делал, вижу его. Итак, договорились: с тобой всё. — Он бросил трубку, хотя еще бурчал в ней голос, и зевнул широко, по-солдатски, набираясь сил еще на одну бессонную ночь.

— Что-то рано начали они сегодня, — заметил начальник штаба, справившись с часами.

— Зима. Дни идут на убыль. Немецкая аккуратность, — солидно, логической цепью пояснил член Военного совета и пошел к окну взглянуть, не морозит ли к ночи.

На улице было сыро и пусто. Синела вода в котлах. Петух с хвостом вроде бенгальского огня проследовал со своей дамской оравой на ночлег. Телефоны молчали, но ухо различало в тишине и льющийся скрежет гусениц, и задержанное дыхание стрелка, приникшего к противотанковому ружью. Литовченко успел передать через связиста в Млечное, где отныне помещался его штакор, чтобы ждали

его в 18.00 и держали под присмотром левофланговый стык с пехотой его полутезки Литовцева. Немцы продолжали давление, и вот район обороны корпуса становился районом сосредоточения, чтобы завтра же превратиться в его исходные позиции.

— Так и не дали нам вместе пообедать, генерал,— сказал на прощанье командующий.— Им сегодня непременно нужно уложить очередные две тысячи своих солдат... педанты! Да и караси, верно, пережарились. Отложим это дело до Румынии. Как она там именуется, эта рыбешка, что хвалил вчерашний корреспондент?..— Но член Военного совета промолчал: у него было своих забот достаточно, чтобы помнить название румынской форели.— Отправляйтесь... буду звонить вам, возможно, сегодня же.— И опять чуть дольше задержал руку Литовченки.— Вы считаете выполнимой мою наметку... при таких флангах и в свете установившейся танковой тактики?

Сумерки густели быстро; вдруг, точно карликовое солнце, над столом засияла переносная лампа, знаменуя наступление ночи. В свете ее все, включая и читателя Гоголя, оказавшегося армейским прокурором, ревниво глядели теперь на командира, вступающего в их боевое содружество.

— Я полагаю,— сказал Литовченко,— что точной науки о танках еще нет, как и во времена Камбре и Соммы. Это мы пишем ее с вами. Такой она и войдет в академические лекции. Но первые главы, на мой взгляд, составлены советскими танкистами довольно толково.

— Это верно... под Бродами, например, участь танкового сражения решили пятьдесят машин!

— Да... когда было уничтожено по полторы тысячи с каждой стороны.

— Зачем же брать немецкий пример?— возразил Литовченко.— У меня в корпусе имеются такие доценты, которые пятьюдесятью танками и без предварительной подготовки сдерживали тысячу...— И опять вихрастый лейтенант встал у него перед глазами.— Разумеется, дело это довольно светливое... Итак, разрешите приступить к следующей главе, товарищ командующий?

Судорожно зазвонил телефон. Немецкая демонстрация отвлечения продолжалась, и хотя правофланговая атака приняла ясные очертания главного направления, внезапно на сцену появился хуторок Вышня, не имевший существенного значения в начавшейся битве. Тут и обнаружилась припрятанная противником танковая мелочь. Уже одеваясь, Литовченко слышал заключение командующего: «Нахалы... контратаковать и выбросить, исполнение немедленное». И, как отголосок приказа, раскатистый пушечный разговор возник в ясной тьме перед крыльцом, где наготове ждали машины.

## 6

Мерцала над горизонтом вечерняя звезда, но сотни беспокойных земных светил оспаривали сейчас ее первенство. Цветные ракеты подымались в небо, высокие пристрельные журавли шрапнелей перемежались с пунктирами светящихся снарядов, рябили небо вспышки гвардейских минометов, и вот звезда блекла, терялась в смутной пелене дыма, потому что война уже зажгла свои дикие ночные костры. Шоферы наблюдали от машин за этим пестрым фейерверком. Генерал подошел сзади. Ближний безучастным голосом доводил до сведения остальных, как хозяин вон той, наискосок, хаточки, едва придвинулась канонада, порубил своих гусей, готовясь уходить от немца... и как они лежали на пороге, все шестеро, пышные и безголовые, те самые, что криком и крыльями встречали их на селе... и как стояли молча над ними хозяйские дети.

— О гусях потом,— сказал Литовченко, открывая дверцу.— Дóтемна Ставищи проскочить, опасный отрезок... Показывай, шофер, свою работу!

Офицер доложил последнее сообщение рации: за исключением тридцать седьмой, размещение корпуса закончилось. Это означало, что квартирьеры развели

роты по домам, если только не зимний лес стал местом их временного пристанища: ложатся в грязь все шестьдесят километров корпусного провода для связи с бригадами и соседями, варится побатальонная каша, бродят по карте карандаши и циркули, прощупывает разведка, где противник, сколько его, каково состояние его духа, готовности, оружия и сапог; то были первые обороты новой шестерни в большом армейском механизме. Машины прогрелись и вот поднырнули в сизый падымок туманца. Дорогу прихватило холодком, ехать было хорошо.

На сиденье рядом обнаружился плотный пакет, в нем мясо и бутылка какого-то трофейного напитка; так и не вспомнил Литовченко, чтобы командующий в его присутствии отдавал распоряжение об этом свертке. На обстоятельное ознакомление с ним ушло в среднем полчаса, и когда генерал выкидывал за борт бумагу, там плескалась и текла река ночи. Струились поля, уставленные куполами вроде казацких шапок — ометы бурачной ботвы, мелькал нестаявший снежок во впадинках поглубже, изредка с удвоенной скоростью проносились одноглазые грузовички с белым облачком над радиатором, потом длинные руины, руины, и вдруг душевный огонечек в уцелевшем окне, и, наконец, — встречный лесок, такой неотвязчивый, долго и вприпрыжку бежал наперегонки с машиной. В мутном слякотном стекле, вставленном в фанерную прорезь, все это сливалось в нескончаемую ленту, и начинало представляться, что уже много километров тянется стена великошумского монастырка, высокая, под небеса, с полубойницами вместо окон. Начавшийся жар и однообразное качанье преувеличивали размеры видений, еще более властных, чем днем.

«Кажется, заболелаю... не вовремя!» — впервые за сутки сознался себе Литовченко, закрывая глаза и откидываясь на заднюю стенку в и л л с а.

Собор кончился, а то, что вначале прикидывалось только снежком, на поверку оказалось фасадами глинобитных строений. Внутренний сумеречный свет, какой внезапно озаряет мрак усталому путнику, помог теперь и генералу различить безлюдную и как бы недосказанную окраину Великошумска. Три тополя. прошумели над головой, и стал виден уютный, такой прохладный даже в нынешнюю июльскую жару домик учителя Кулькова.

«Приехали...» — вяло подумал Литовченко.

Все сбывалось немножко не так, как предсказывала утренняя догадка. Митрофан Платонович встретил гостя во дворике, в той вышитой рубашке, с какой навсегда простился с Литовченкою тридцать лет назад. Совпадение не удивляло: с годами люди научаются беречь испытанную дружбу вещей. Дворик стал пошире, и нарядней обычного распушились в нем цветастые мальвы. Друзья обнялись, но не радость, а как бы нездоровый озноб доставило Литовченке это объятие. Хозяин пошел впереди, и огорчило гостя, что ничем не напомнил о былом, не пошутил о глобусе, даже не подивился чудесным превращениям в судьбе бывшего ученика. Не было ни рассказов о прошедшем житье-бытье, ни обещанных кавунов, и в окошке ничего не было, будто в пустоте висел учительский домик.

Они сидели молча, великий вопрос читался в молчанье старика: «Чем возместит история неоплаченную человеческую муку, причиненную войной? Чем вознаградит она труд современников, одетых в изорванные смертью шинели? Что там, за издержками века, за горными хребтами, на которые поднимались мы столько веков? Или ближе станет солнце к тем, кто доберется до их снеговой и все-таки земной вершины?»

И Литовченко отвечал с волнением, точно это был урок, заданный тридцать лет назад; и он знал, что старику мало только пространного отчета о материальных благодеяниях или перечисления параграфов еще не полностью осуществленной программы.

«Слушай, милый мой старик. Завтра бой, а нынче мое время — минутка. Простоим ее благоговейно у главных врат, которых мы достигли. Взгляни в звездный проем этой вечной арки, окинь глазом принадлежащие тебе пространства... Не зарождается ли в тебе богоподобная способность реять над безднами, где ползали твои пращурь? Простор — отец крыльев. И уже не отречется от



своего знания человек, как невозможно ему забыть колесо, или рычаг, или винт Архимеда, поднявшие его с четверенек».

«Я слышал это и раньше», — сказал Кульков.

«От кого? От самого себя!.. Оглянись, трудно жили наши отцы. Даже когда плясал, бывало, под хмельком дед мой Фадеич, мне представлялось, что это он пудовыми сапогами отбивается от горя. Но никогда не покидала народ вера в правду, что поступится однажды в окошко мира. Мы решили помочь истории и сократить срок сказки... Смотри, грозные силы состоят служанками при людях, и уже протянута рука за ключиком от сокровенных тайн материи и жизни. Значит, надо спешить, пока они не стали достоянием злых, готовых ее созидательный потенциал обратить на разрушение. Судьбу прогресса мы, как птенца, держим в наших огрубелых ладонях. Оказалось, никому она так не дорога, как нам. Преданность идее мерится готовностью на усилия и жертвы».

«Цена должна соответствовать товару», — сказал учитель Кульков.

«Учась ходить на двух, человек ушибался больше, но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот обрекает себя и на лишения. Терпение — посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить вечность, как слепому постигнуть море по соленым брызгам на губах; смертному, слабому мнится, что он живет на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покуривает свою махорочку перед атакой, он смотрит вперед и как бы держит ее в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей! В том и заключено бессмертие советского солдата».

«Искать друзей в будущем — удел одиночества», — сказал Кульков.

«Нет!.. потому что никто, кроме нас, не смеет глядеть в будущее без боязни. Неодолимые резервы движутся оттуда нам навстречу. Ни с посланиями, ни с жалобами мы не обращаемся к ним. Они и без того до последней кровинки — наши. С непокрытой головой они посетят скелеты наших городов, они раскопают известные карьеры братских могил, святая и умная печаль туманит их сердце. Кто свалит их или прельстит соблазном скотского существования, где наука избобретала душегубки, а насилие и грабеж были заповедью древних государств? Поняв все, они восславят наши горести и грубоватые песни, бедность одежды и суровый обывай времени, увенчанный победой...»

«Ты против войны!» — сказал Кульков.

«Я не собирался быть солдатом, но раз коснулись меня огнем — горе им, кто обнажил меч несправедной и неразумной войны. Нам, которые голыми руками разворотили свою темницу и вывалились на простор Океана, ничто не страшно. Что фашизм! Мы пройдем сквозь него, как сквозь дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острее от ударов врага, пока не поймут, насколько оно безопасней в наших плугах и станках, чем в образе наших танков».

Большой Литовченко не слышал Кулькова. Толчок рванул его с сиденья и заставил открыть глаза. По ветлам вокруг черной воды можно было узнать Ставищи. Свет фар доставал до шлагбаума, преградившего путь. Остановка произошла в том же месте, что и утром, шагах в ста от бывшего контрольного пункта. Бешеная дрожь мотора передавалась телу; чужие не стучали поблизости, некого стало спросить — отстали или проскочили вперед. За смотровым стеклом стоял немецкий верзила, переодетый в красноармейскую шинель. Он почти не отличался от обычного регулировщика; всего их там было трое. Остальные выжидали во тьме, на краю плотины, не сводя автоматов с проезжих. У них был свой план. Никто не произнес ни слова.

Левый флажком отсигналил приказ стать к обочине. Шофер повиновался; волнуясь и рискуя сжечь сцепление, он стал делать это на больших оборотах и с пробуксовкой. Вдруг резким броском — скорее хитрости, чем даже радиатора — он спихнул дух в жидкую черноту позади, где, верно, уже лежала на дне та давешняя, воронежская, с ямочками на щеках. На мгновение колесо повисло над бездной; в последующее, вывернувшись и выжав газ до конца, он с ходу пустил машину на опущенный шлагбаум... Никто не помнил впоследствии, гаркнул ли он при



этом ложись или сама передалась им спасительная догадка! Последовал треск, будто с маху полоснули дубиной по фанере; звонкий холод пополам со стеклом обрушился на спины пассажиров. Их выручила накатанная в этом месте дорога... Когда шофер разогнулся на сиденье, машина вскачь неслась по краю глубокой балки, и впечатленице было сильнее, чем самая встреча с передовым немецким патрулем. Полкилометра все молчали, привыкая к гжучему ветру и слушая фанерный дребезг позадн. Они так и не дождались автоматных очередей вдонку; это служило добрым признаком, что немецкое купанье еще не закончилось.

— Эх, теперь совсем простудитесь без шапки,— сокрушенно прокричал шофер, удостоверясь в сохранности седоков.— Стекло в грязи, ни дьявола не видно. Зато теперь поспособней будет, круговой обзор!— и помахал рукавичкой впереди себя.

— Не дразни счастья,— проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством.— Второй раз оно дураку не ульбаётся!

— Точно,— согласился тот и плавно остановил машину.— Придется вас слегка побеспокоить... товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Проверив на ошупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле нравилось, что и для них наконец после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни отставших в и л л и с о в.

— Торопятся... ничего, просочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, иностранному телу они ни к чему.

Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного в небе гудения какого-то связанного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное тело. Литовченке припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая го-голевская фраза вошла в него как стрела, и острие обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи...»

Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной в и л л и с. Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошино, было бы теперь, пожалуй, и не проехать. Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.

Множественный след гусениц сводил с дороги влево, во мглу горелой сосновой роши. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.

Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.

## 7

Тридцать седьмая бригада пришла на место затемно: наставшие события удлиннили намеченный маршрут, пошвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальон. Пока они на ночь глядя лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих

явных признаков подсказывало старым танкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую еще нельзя было считать боевым крещением. Прямых попаданий не было — бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. На минутку в открытом локте мелькнули немецкие штурмовики, и младшему Литовченке верилось — все целились в него одного!

Смушения от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его понятное волнение. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко так и поступил, и опасенье, что не удастся его довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белесое, помятое злобой и бессонницей лицо летчика, бескостное и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И, заглянув так в его черные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрет, не достигнув цели... Так и было. Танк слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в свое кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолет врывается в землю, стремясь закопать в нее свой огромный и шумный огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали вражеской авиации повторить заход.

Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы; Обрядин светил ему переноской. Все находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж получасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой, в лесу обнаружилось добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стойла, Соболев отметил, что тот работает как часы, и незачем ковыряться в нем больше.

— Какое число у нас сегодня? — вспомнил он вдруг, не обращая ни к кому.

— Двадцать первое кончается, — ответил из потемок радист и поднес лампу к его лицу, различив незнакомую нотку в голосе лейтенанта. — Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний денек... а что?

Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоверчивой пристальностью глядя в глубину леса, что и радист невольно оглянулся туда же.

— Нет... это хорошо, — неопределенно сказал Соболев и прибавил обычным тоном, что, кроме радиста, который после ужина вернется сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета; охрану нес моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожней — старшая сестра отваги.

Сам он ушел от машины последним. Она стояла в земле, в уровень с основанием башни; ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округлял впадины на нем. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Соболев видел ее всю, двести третья, как в полдень. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; перед тем семь летних месяцев, когда жара и пыль вдвое изнашивают цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот железный воин по пути к победе: паспорт танка в его холщовом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий чернотатый дым валил из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала.

После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые кольца, едва хватало силы двести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, расшатанное приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом по башне — с м е р т ь ф а ш и з м у. На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под долговременную огневую точку. Экипаж встретил обещание помпотеха выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не решился разлучить этих людей с их машиной. Двести третья осталась в строю.

Биография танка была написана на его броневой шкуре. Прежде чем приступить к починке, старики завода долго и почтительно читали эту краткую родословную корпуса, где каждая битва оставила свой неистовый и неизгладимый росчерк. И один, сам бывший солдат и отец трех танкистов, молча сдернул шапку с лысой головы при этом. То была высшая награда танку... Так, вмятина на башне была получена под Орлом, а сквозная, от болванки, рана в обе боковые плоскости — тотчас за Валуйками, а пушку почти на локоть обрезали на Днестре, когда противотанковая пуля вырубилась ее нарезку, но, и культовая, машина ухитрилась приставлять ее вплотную, как пистолет, ко вражескому виску... Двести третьей доводилось также возвращаться на буксире у тягача или даже вовсе без ленивца, выкинув лишние траки и закрепив гусеницу через каток... Эти пробоины, защитные электрокузнецом из ремонтного батальона, выглядели как ордена и медали на груди ветерана; их было девять. «Пуская добывает до десятка!» — решило начальство.

Такая привязанность экипажа к своему временному жилищу объяснялась не только воинским тщеславием. Броневая кровля, вторично пройденная по швам электросваркой в ПРБ, казалась хозяевам надежней иной новехонькой, изготовленной в серийной слеске военного времени. Даже теплилась в них уверенность, хоть и не признались бы в ней, что война уже заприметила их машину и в дальнейшем пощадит ее, со всех боков исковырянную танковой смертью. Вдобавок лейтенант обещал лично присмотреть за ремонтом, который, к слову, производили тоже очень злые на немца люди. Новая пушка грозно выглядела из бойницы, свежий мотор мог без усталости носить ее по становищам врага. Кроме орудия и мотора, они заменили рацию и коробку перемены передач, и Соболев дважды опробовал машину на заводском танкодроме, прежде чем вернулся с нею в часть. Так началась вторая молодость двести третьей.

К бою за родные горы, родившие ее металл, за счастье своих создателей двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколений, заслуживает такого слова, то была последняя ее спокойная ночь перед рывком в б е с с м е р т е. Ей уже не довелось показать свои почтенные раны на Большом параде по окончании войны; все же ее удел был счастливей, чем у тех, чьи распиленные тела отдали огню на переплавку, как прах героев возвращают в материнское чрево земли. Советскому танкисту некогда было заботиться об отдельном куске даже качественной стали, хотя бы он весил и двадцать восемь с половиной тонн. Но, будь время обдумать заранее, как умнее обозначить в веках победу, он сохранил бы это дырявое железо как образчик вещества, из которого творится истинная слава. Он поставил бы эту тридцатьчетверку на высокоом уральском мраморе, черную и страшную, как она стала выглядеть через двое суток, с развороченным лобовиком, с листами брони, порванной на бортах, и раскинутыми, как крылья, точно и мертвая она собиралась лететь в одиночку на полчища врага...

Похвала танку означает похвалу его экипажу и, в первую очередь, его командиру. Войну Соболев начал водителем на двести третьей. Тогда в бой с ним ходили другие; полностью их имена мог теперь перечислить только он один, и как хотелось ему порою попировать с ними когда-нибудь потом за дружеским пол-литром! У него как-то вышутилось не без горечи однажды, что жизнь выбрала его мишенью для своей иронии. И правда, желания его исполнялись, но всегда в несколько исправленном виде. К примеру, он обожал сады, и в любой его сказке, какими он



коротал и без того малый досуг танкиста, непременно и под разными предложениями осыпался яблоневый цвет. Судьба же два года водила его мимо чужих и горелых садов; даже выпал такой вечер в прошлом году, когда двести третья на полном газу и стреляя прошла по цветущим плодовым деревьям, и вихрь боя не сдул с нее налипших кое-где к мазуту лепестков. И когда на торжественных собраниях части он с блестящими глазами и как бы с вызовом начинал речь привычным словесным завитком: «Мы, танкисты, особый народ, бензинщики... и не зря нам завидует пехотка, хоть и не обожает стоять рядом, когда нас бомбят»,— люди верили, будто он затем и родился под солнышком, чтобы век гулять в газоловом чаду. Соболюков обучался на агронома, но стать им не смог по причинам семейных обстоятельств...

В каждой сказке у него появлялось юное светловолосое существо всевозможных достоинств и не тронутое даже нескромным взором; а жениться ему довелось на одной пышной огневолосой вдове с целым выводком чужих и рыжих племянников. Семья жила на Алтае, куда он и отсылал целиком свой денежный аттестат. Взамен и изредка приходили треугольные писульки с детскими каракулями; заметили, что разбирать их лейтенанту нравилось наедине и вслух и чтобы, по возможности, листва шумела над головой при этом. Конверты бывали склеены из синей тетрадной обложки; он прочитывал все подряд, вплоть до таблицы умножения, напечатанной на обороте... Кроме непреклонной храбрости, этот суровый в свои тридцать лет, советский воин владел еще удивительным даром русской сказки; истоки ее терялись, верно, в таежном дымке еще ермаковского костерка. Повествуя, он обычно глядел в огонь походного очага, и у всех создавалось впечатление, что рассказывает ее не им, а в розовое ушко кому-то пятому — там, у далеких алтайских предгорий. Этот человек заслужил уважение товарищей, которое на войне труднее заработать, чем приятельство или даже любовь.

Когда Литовченко пришел сюда из танковой школы, Обрядин отвел его после первого ознакомленья в уголок.

— Как зовут тебя, парень?

— Васильем,— отвечал Литовченко.

— Вася, значит? Так вот, милый ты мой Вася,— сказал Обрядин и показал глазами на лейтенанта, который правил бритву на ремешке,— тянись и уважай этого дядька, парень. Он два раза горел на своей железной квартире... понятно? Про него, погоди, еще песню составят... и твои детки будут ее на Первое мая петь тоненьким голосишечком. Он этих самых ганцев массой погубил! Из кремня сделан, но имеются в нем розовые прожилочки...

Всегда себе на уме и насмешливый даже в опасную минуту, он произнес это с редкой для него серьезностью. Товарищеская оценка соответствовала воинским качествам Соболюкова. Обрядин потому и принял свое паденье без обиды на судьбу и начальство, что честно человеку роль башнера на двести третьей должна была представляться повышением в его человеческой должности. Старший в экипаже по возрасту, Обрядин имел немалый опыт для суждения о ближних. Службу кулинарного искусства он начал поваренком с двенадцати лет; последующие двадцать пять лет он проплавал как бы в сладостной кухонной дреме на больших волжских пароходах, с каждым годом совершенствуясь как в добродетелях, так и в пороках,— с незначительным уклоном в последние. На вопросы простодушных, почему у него к твердой пище нет такого пристрастия, как к некоторым видам жидкой, Обрядин сокрушено отвечал, что ею он лечит одно коварное заболевание, под названием малярия, происшедшее от долгого местонахождения у воды; малярия в нем сидела на редкость прочная, и борьбе с нею он беззаветно посвятил всю свою жизнь. Все обрядинские меню носили резко выраженный антималярийный характер, причем иное блюдо способно было одним запахом отогнать на выстрел вредного комара... Бывший повар любил вспоминать былые достижения, и члены экипажа охотно внимали ему, потому что и бахвальство развлекает во фронтовых буднях, если достаточно цветисто и не направлено в ущерб или поношение другу.

— Загибашь ты, Сергей Тимофеевич,— говаривал при этом Алешка Галышев, неизменно веселый и добродушный, тот самый, кого сменил Литовченко на посту



водителя двести третьей; не затем говаривал, чтобы попридержать размахавшегося артиста, а чтобы подзадорить на дальнейшее.— Это все красноречие твое. Кто ж поверит, что у тебя волчатину от куропатки не отличишь!

Обрядин лишь головой покачивал, горько умехаясь на его преступное неверие.

— Разве ж я виноват, что таким красноречивым зародился? Ведь я кто!.. Я мастер-художник, и все у меня крутится. Ты мне налима дай... не теперешнего дай, у зимнего-то у него тело самое хорошее. Ты мне летнего дай, когда он в норе сидит, млеет... и он у меня будет плавать в собственном масле и смеяться... Я товарищу Семенову Н. П. живых гусей к столу подавал... понятно? Я...— Он залпом перечислял свои изобретения, и если некоторые из них не были художественным преувеличением, значит, целебный волжский воздух помогал пассажирам выносить их без вреда для здоровья.— И я могу сготовить из любого любое. А спроси меня — почему, я отвечу. Я всегда пою, когда готовлю... и весь пароход слушает меня.— Он обводил глазами затихшую землянку.— Это верно, голос у меня немножко сильный... запою — лампа в каюте гаснет, но пою я хорошо.

— Поешь ты — ровно ячница скворчит на сковородке, вот как ты поешь!— позже, через год, прерывал его Андрей Дыбок, новый радист на двести третьей.— Тебе только в печку петь... и то, как в Германию взойдем, для острастки населения. Свои же могут слушать тебя только под хлороформом. Протрезвись, милый русский человек!

Поглаживая небритые щеки, Обрядин подолгу глядел в грязный, затоптанный пол, прежде чем поднять глаза на обидчика.

— Эх, парень... гроб и тот серебром оклеивают, а тут сердце с тоскою перед тобою лежит... Соври, укрась, непонятливый! Вот и красивый ты, а холодный — не погреешься о тебя. И слова твои жесткие, колючие... из них только настойку от клопов делать!

Разговор таким образом упирался в отвлеченные темы, и тогда, чтобы не плодить разногласий, вмешивался Соболев.

— Ладно, хватит тебе, Обрядин. А ну... скажи за ж и г а л к а!

— Ну... ж и ж и г а л к а,— старательно и сначала сосредоточась, чтобы не промахнуться, выговаривал башнер, и это служило верным признаком, что уже завелась у него очередная приятельница в окрестности, мастерица хмельного зелья.

Как всегда, Соболев пророчил в этом месте, что еще доведется Обрядину поразвлечь пехотку своими приключениями, и беседа мирно возвращалась в прежнее русло: какова должна быть плотность электролита в аккумуляторе при морозе, больше или меньше сорок, или — что за вещество такое в нынешних снарядах, от которых свеженькие танки разваливаются в железную щепу.

Обрядин любил песню, но слушать его полагалось в землянке в ненастный вечерок и желательно в канун большого военного дня; поэтому и невозможно было ему прославиться пением, равно как игрой на трофейном, с перламутровыми пуговицами, полбяные, разбитом при бомбежке. Сей незадачливый повар знал много песен, шуточных и сиротских, украинских, татарских, даже башкирских, в особенности часто доставалось от него грузинке Сулико,— и все получалось у него на один манер, во всех одинаково поскрипывала старинная русская рябинушка. Голоса ему было отпущено достаточно, даже больше положенного по норме, но репертуар свой он пополнял с такой натужной и щемящей хрипотцой, что всякий раз приходилось заново привыкать ко вступлению. То бывало не менее трудно, чем выйти из теплого дома за околицу и отдаться на милость мокрого осеннего ветра. Зато, привыкнув, уже нельзя было оторваться от обрядинской песни, где каждый слышал свое, одному ему желанное.

Когда Сергей Тимофеич заводил ее, полузакрыв глаза, укрепя локоть на колене и зачем-то кончиками пальцев держась за мочку уха, чудилось всем — какой-то иной, прекрасный голос вторит певцу от своей беспокойной силщи, которой ничем любой всемирный подвиг. Иностранец ни черта не понял бы в этой тайне — откуда оно берется, влекущее и странное очарование русской песни, потому что не

в звуках тут дело и не в словах; к тому же их без зазрения совести всегда перевирал Обрядин. Нет, например, и не было такой песни на свете —

...в низенькой светелочке огонек горит,  
молоденькая пряха за столом сидит,  
а ветер занавесочку тихонько шевелит...—

как равно и припева к ней — «лодка да сети, сети да лодка», в рамку которого он неизменно заключал начало и конец. Но неспроста однажды после такого концерта обронил с затуманенным взором Соболюков, что Россию следует любить именно в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякому мила! Плотный, плечистый, щекастый, Сергей Тимофеич всегда уставал от песни.

Будучи женат, но по условиям деятельности находясь в разъездах, Обрядин постоянного местожительства не имел, — и все же в любом климатическом поясе мог бы он обрести верное пристанище под старость. Из всех больших и малых населенных пунктов, где случалась хоть трехдневная стоянка, наперебой приходили к нему тихие и благодарные бабы посланница без упреков или наярпсных надежд. Зная наперед их содержание, Обрядин их не хранил и, кажется, даже не читал: сердечные свои дела он считал несостоящими пустяками. Про жену он говорил со сдержанной жалостью, что она еще подождет его лет двадцать, а потом умоет проплаканные глазыньки и еще лет десять подождет.

Хотя он секретами ни с кем не делился, догадывались, что сердце женское он брал именно на песню, как уточку на манок: жертвам его нравилось, что про грустное поет, а сам улыбается... Каждый член экипажа мог в подробности рассказать жизнеописание соседа: в танке рождается особая братская связь, которой даже оскорбительна была бы неосторожная посторонняя похвала. Поэтому повар и не любил передавать в подробностях, как целых три километра тащил из боя Алешку Галышева и как добило Алешку осколком мины у него, у Обрядина, на спине.

Стало все известно и про Андрея Дыбка, хотя и слыл выдающимся молчаливиком; шутили, что даже в школе он избегал отвечать устно, а стремился — письменнo. В корпус он пришел из артиллерии, где потерял мизинец на левой руке. Думали, что этот изъян, нанесенный его стройному, гибкому телу, и является причиной его особой ненависти к немцам, одетым в военную форму. На самом деле молчание вошло в него несколько раньше, когда оккупанты растерзали на Кубани его сестренку, студентку архитектурного вуза, и умер от горя его отец... Сблизился он только с покойным Алешкой, и то — как выяснилось, что тому известен адресок сестры, в переулке у Савеловского вокзала, куда неоднократно провозжал ее после театра. Галышев узнал невесту по фотографии, наклеенной в танке возле листа с позывными и рядом с одной необыкновенной красоткой из американского журнала. Судя по хрупкости сложения, эта маленькая киноактриска квартировала, верно, в какой-нибудь апельсиновой роще посреди Флориды, совместно с заграничными мотыльками, неживучими в наших русских снегах. Товарищи терпели помянутую картинку, ежели она помогала их стрелку-радисту в бою. Только раз, дивясь такому постоянству в привязанностях, попрекнул его мимоходом Обрядин:

— Эх, нашел себе... влюбился в статуеточку. У ей же головка глиняная. А доверился бы ты мне, Андрюша... выбрал бы я тебе заволжскую королеву. Засмеется — пар из-под мышек идет... понятно?

— Пар из-под мышек не может идти. Этого не бывает, — разумно и жестко возразил Дыбок, — если только ты не на русской печке хочешь меня женить.

С той поры экипаж примирился на мысли, что если бы эта американская, сливочно-волшебная штучка узнала про выбор русского танкиста, про высокую честь находиться в советской тридцатьчетверке, пела бы второе лучше свои песенки, и человеческой тревогой наполнились бы ее праздничные глаза, беспечальные ее ночи.

С гибелью друга стала еще заметней замкнутость Дыбка. Все считали его старше двадцати шести лет. Врага он разил по-прежнему и как-то очень спокойно, но не по равнодушию, невозможному при его горячности, а потому, что это умножало меткость его руки. За полгода дружбы Галышев выцедил, однако, из Дыбка, что побывал он и столяром, и слесарем-инструментальщиком, причем добил-

ся шестого разряда; пробуя силы в сельском хозяйстве, скопил однажды двумя комбайнами сто два гектара и, наконец, в качестве мозаичника выложил знаменитый пол на консервном заводе у себя в Крымской: только в валенках по нему ходить, из опасения попортить или оскользнуться. Семьи у него не было, он не торопился, он пока только примеривался к жизни, и все почтительно понимали, что этот аккуратный, всегда такой чистый и как бы со стиснутыми зубами человек успеет совершить на своем веку все ему положенное, отомстить за мертвых, запомниться живым, размножиться в потомстве, да еще останется время подвести итоги.

— Орел, казацких кровей... я таких знал,— говаривал Обрядин при Дыбке.— Вижу тебя, как ты в Кремль по ковровой лестнице поднимаешься. Я к тебе тогда в гости приду, Андрюша... и пусть твоя дочка мне сто грамм на серебряном подносе вынесет. Не прогонишь?

— Приходи,— совсем серьезно отвечал Дыбок.

Всё это были вполне обыкновенные люди, и Литовченко лишь потому представлялись особенными, что он их разглядывал вблизи, как бы через увеличительное стекло. Он пришел сюда простоватым пареньком, таким молодым, что еще помнил наперечет все прочитанные им книжки. Так и ждал бы он у себя на деревне часа, когда по приходе Красной Армии вызовут его повесткой в военкомат, если бы не происшествие с куренком, о котором в ночь разгрузки рассказал генералу Обрядин. Удар немецкий офицер его мать, паренек убил бы его сзади, без раздумий, как падает камень с горы, и все закончилось бы на протяженье вечера. Но тот лишь замахнулся, и мать так странно, точно хватаясь за соломинку, взглянула на сына, который с топором стоял у калитки и деревянно улыбался. Только через час внезапная ярость на свое постыдное бездействие вытолкнула его, дрожащего, из дому. Он не мог простить себе минутки неуместного молчания, он искал обидчика и плакал от злости при этом. Удачливая звезда увела того из деревни. Это была самая длинная ночь в жизни Литовченки. Поочередно, то белесый и стриженный немецкий затылок, то боязливые глаза матери — не за себя, а за последнего своего хлопца! — плыли перед ним в тумане. Близ рассвета попался ему на опушке свежий, п о х о ж и й на затылок немца, белесый пенек; Литовченко всадил в него по боушк своей топорико и, может быть, ждал, что тот застанет... Так из полудетского стыда и муки родились решимость воина и достоинство человека. Он не вернулся к матери на печку. Но еще целый месяц дразнила его война, заставляя без выстрела валиться в партизанских дозорах, пока не послала с поручением на линию фронта. Специальность тракториста определила его дальнейшую судьбу. Танк и раньше привлекал его мальчишеское любопытство; танк показался ему чудом, едва он понял, что этим комбайном можно собрать десятикратный урожай мшеницы.

Новая его семья так и не поняла, в чем тут дело; на войне некогда решать сложные душевные уравнения. Его крайняя молодость заставляла сомневаться в стойкости новичка, имевшего всего десять часов самостоятельного танковожения. Да и представился он этим обстоятельным, требовательным людям словами — «сержант Литовченко прибыл», упустив положенное — «для продолжения службы». Дыбок даже проворчал что-то про п у п с и к о в, которые норвят потом завести танк в трушобинку, чтобы отсидеться от боя. К счастью для него, Литовченко не понял. И только Соболюков, рассмотревший злую искорку в его зрачке, оценил человеческую добротность этого юного паренька с румянцем и бровями девушки. На досуге тыловой стоянки он терпеливо делился с ним всем, что познает мастер в долговременном общении с материалом. Здесь были не только проверенные танковые истины, вроде тех, что танк с плохим башнером — железная телега, а при плохом водителе — мишень с пушкой, или что в танке гореть не страшно, если метко стрелять до последнего огонька. Командир научил Литовченку искать большой политический смысл в самой малой порученной ему задаче. И лишь после усвоения всех танковых основ он подарил ему, как брату, главный секрет победы, который усталому мускулу придаст хромоникелевую прочность.

— Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре... а все остальное — только прилежащие окрестности. И думай, то нет



тебя важней во всемирной истории, которая тебе это самое дело поручила. Потому что история, милейший Вася, это тоже танк... держи крепче руки на рычагах!

Остальное — как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление — Литовченко знал и сам. Все же, для проверки, Соболюков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия... Танк плавно поднялся из капомира, слегка встав на дыбки, как бы учуяв волю хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. «Ничего, подходяще... действуй так!» — одобрительно молвил Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошел в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглох у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошел дождь, всюду солнце сверлоло в лужах... Обратная дорога была прямая; согласно условию, Литовченко дал полный газ. В сущности, испытание закончилось, Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило умолкнуть всех, даже ребятишек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.

Улицу переходил котенок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котенок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой, он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластинами глины, а водитель торопился завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать котенка или хотя бы кинуть щепкой, если бы нашлась поблизости. На мгновенье все как бы выросло на вершок, и тогда Литовченко, сработав рычагами, ловко, как пулю, провел свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колодцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку... Это и был Кисо́, пятый, сверхштатный, член экипажа.

Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисо́ не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал и вдобавок отличался крайне непрактичной бело-рыжей мастью. За ухом у него образовалось несмываемое пятно от ласкательных прикосновений танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожженной деревни, где еще дымилась головешка, — ее последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на каторгу, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуху, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбили ногу при бомбежке на Кромской операции, а фронтовики умеют окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ними опасности военного существования. По-видимому, новое его имя было образовано из слова К а ц о — друг. Кисо́ быстро сдружился со всеми и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окапывать землянки, то изучал окрестность, навещал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, чтобы член Военного совета гладил его своей пятерней, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того как Кисо́, решив поделиться с хозяином добычей, разложил у него рядком на байковом одеяле шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снюхались в тот горестный вечер, и оба решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисо́ малярией не болел и с негодованием отверг те пять капель обрядинского лекарства, которые башнер якобы пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объяснили происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покидал на селе двух красоток разом.

С тех пор Кисо́ поселился на боеукладке, в пушистой шубе одного немаловаж-



ного итальянского чина, сбравшегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая наперед, кто приютит его, хромого и безродного, по окончании войны, Кисё участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост... До него в любимцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся непортативным в условиях походного существования. Его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Петр Григорыч, но, как на грех, тут подошло празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Петр Григорыч был ужасный крикун... Кисё содержал в себе достоинства, отсутствие которых в такой степени повредило его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался и в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радииста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его теплом, удобном колене... И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушел наверх сменить Дыбка, Кисё немедленно перебрался под шинель к Литовченко.

Тот спал беспокойным сном. Вереница людей в чужой зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел ее из танка с расстояния, как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа... Обветшалый накат землянки, источенный мышами, пропускал влагу. С вечера никто не заметил капли. Вещевой мешок под голову просырал с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался по ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймленного снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Соболькова, который брился. Он совершал это старательно и не спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы в ту минуту оно было самое важное на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже повистывал чайничек на печке, сооруженной из немецкого бензобака.

— ...пора?

Собольков ответил не сразу, а может быть, просто голос его должен был просечь какие-то необозримые пространства, прежде чем достиг Литовченко.

— Теперь скоро начнется, — отвечал лейтенант, возвращаясь, но улыбку оставил там, где-то в предгорьях Алтая. — Здорово ты бился во сне... испугался чего-нибудь?

— Бык меня бодал. — Ложь ему далась легко, тем более что до события с куренком это детское приключеньеце оставалось самым страшным из его снов.

— Так вот, ничего не бойся, Василий, — сказал Собольков, намыливая другую щеку. — Страх, это... как бы тебе сказать, тоже вроде уважения, — только пополам с ненавистью. А фашиста уважать не за что, проверенную правду тебе говорю.

— Ничего не боюсь, — твердо, как в клятве, сказал Литовченко.

— Не зарекайся, — продолжал Собольков и брился начисто, точно на смотр отправлялся или свататься к невесте. — Я и сам этак-то в первом бою!.. а как зачали огоньком по стенкам стучать, чую... лицо у меня нехорошее стало, низменное сделалось у меня лицо. И тогда стало мне так смешно на себя: для каких еще дел, важнее, мне себя беречь! И тут второе правило: как нахлынет на тебя это самое, т е л е с н о е, нищи кругом смешного... война любит иной раз крепко посмеяться!.. К примеру, теперь уже можно сказать, очень я у себя, на Алтае, этим манером итальянцев уважал. Немца-то хоть на Волге видал, — ничего особенного, только окурков наземь не кидают, — а этих еще не доводилось. Было время, весь мир под себя подмяли... Правда, мир тогда невелик был, в пол-Сибири!.. И вот, как посекали в тот раз Италию русские танкисты, взяли мы в плен трех ихних генералов... в Венделеевке, под Валуйками. Там еще конница Соколова из шестого корпуса действовала, только ее мало было...

— Ну-ну... генералы-то! — жарко, как всегда слушают новички, напомнил Литовченко, придвинулся ближе и машинально погладил голый подбородок.

— Куда!.. Тащились они, бедняги, пехом сто километров, подзябли, конечно. Младшенькому из них пятьдесят четыре годика. Ну, привели, выдали им по сто грамм... Усы глядят, оттаивают помаленьку, очень были довольны. «Мы, в Италии, говорят, не любим, когда холодно». — «А пес его любит, отвечаем, с непривычки-то!..» И каждый записал себе на бумажке, кто его в плен взял, на память. И меня тоже записал один... страшный такой, лицо вовнутрь продавлено, и оттуда волос жесткий, как из дивана. Говорит мне по-своему: хорошо, дескать, воюешь. «Ничего, отвечаю, если потребуется, еще раз в плен возьму... пожалуйста! Что рано отвоевались, спрашиваю, мы только в разгар входим?» Молчит-ит, стесняется... — Соболюков встал и погасил свечу. — Вот она какая, война-то!

Свету в окошке прибавилось. Время не торопилось. Соболюков успел вытереть лицо и, завернув старенькую бритву вместе с огарком в тряпочку, спрятать их на дно походной сумки, когда вошел Обрядин. Он принес с собой лишь одно слово, но сразу все от него пришло в движение; Дыбок был уже на ногах, точно только и ждал тревоги. Литовченко обвел всех шуркими вопросительными глазами: ему казалось, что это начинается иначе. Он слышал, будто в последнюю минуту перед боем обычно пишут письма на родину или заявление в партию, и даже заготовил для колхозных подростков, с которыми недавно гонял голубей, прощальную фразу, полюбившуюся ему за красоту: «А больше писать нечего, идем в бой». Второпях он поискал взглядом, с кем бы обменяться адресками, чтобы сообщили родным, если что... но каждый заканчивал свои личные дела без признака волнения даже, только стали на минутку суровее, как перед дальнею дорогой, и он понял: именно здесь глубже всего понимают жизнь и даже мысленно не называют имени ее могучей соперницы... Все были готовы, и еще осталось маленькое время на вопрос, возникший у Литовченки при пробуждении. Ему заранее хотелось узнать, слышно ли из танка, когда гусеница наезжает на человеческое тело, хотя помнил из рассказов, что железо станковых пулеметов беззвучно гнется и сплющивается при этом.

Вместо лейтенанта, который застегивал шлем у подбородка, утолщить его любознательность вызвал Обрядин.

— А это смотря по тому, милый ты мой Вася, кто и в каком чине тебе попадет, — с видом опытного знатока таких дел пояснил он. — Мелкий, например, фашист попискивает, деликатно так пицци; покрупнее — тот уже похрустывает... Понятно? Что касается самых важных, надутых — те под тобою только лопаются, подобно как рыбий пузырь... Приходилось тебе большую рыбину потрошить?

Насмешливые и только чуть более обычного блестящие глаза смотрели отовсюду на Литовченку. Все по-разному и неправильно оценили его смущение. Соболюков дружелюбно коснулся его плеча:

— Ничего, это сейчас пройдет. Это и есть т е л е с н о е. А ну... по машинам!

Дыбок пихнул дверь ногой, серенькое утро охватило их пронзительной сыростью. Литовченко услышал знакомый, как бы утолщающийся свист, и хотя кто-то пригнул его вниз, воздух с маху ударил ему в уши и по глазам. Когда он снова открыл их, земля уже оседала; длинная жердистая сосна, треща и сбивая сучья с соседей, падала прямо на него. Вершина ее с нахлестом легла на мокрый снег, но оказалось далеко, и брызги не долетели.

— Чего, война, кланяешься? Уж виделась... — сквозь зубы сказал Обрядин и, потянув носом воздух, озабоченно взгляделся в глубину леса. — Щами пахнет. А ведь это, пожалуй, щи погубли, товарищи. — Потом лицо его прояснилось. — Нет, то не щи... при щах Иван Ермолаич состоит, а ему ворожейка нагадала сто лет жить да сто на карачках проползать... Ворожейкам веришь, лейтенант?

— Не трепись, — сухо сказал Соболюков.

Иван Ермолаич был батальонный повар, который вскоре после появления нового башнера в бригаде, стал страдать приступами неизвестной болезни. Наверно, то была малярия, как верная собака бродившая по следам Обрядина.

Противник стремился прощупать границы расположения корпуса.

Слабое и множественное гудение висело над лесом. Невысокая облачность мешала разведке спуститься ниже. Изредка между деревьями вставали тугие жгуты как бы из железных опилок, скрученные свирепой магнитной силой, но в узкой щели перед собою Литовченко не видел ничего, кроме угла землянки, где провели ночь, да приниженной вплотную ветки лесной калины с красными, водянистыми от заморозка ягодами. Моторы работали на малых оборотах, зенитки молчали. Экипажи наготове сидели в машинах, только командиры поглядывали из башенных люков. Время от времени, заслышав свист, Собольков оповещал своих: «Держись, хлопцы!»— и опускал стальную вьюшку над головой. Следовал гулкий раскат пополам с древесным треском; всякий раз после того чуточку светлело, как всегда бывает на лесосеках. Летчик бомбил вслепую. Унизительное, даже подлое самочувствие мишени зарождалось от вынужденного бездействия; было томительно наблюдать из дрожащего от нетерпенья танка, как пешком тащится время.

Чтоб побороть гнетущее чувство холода и неизвестности, Собольков вторично и в деталях разъяснил боевую задачу: вместе с первым эшелом прорваться сквозь пятиминутный заградительный огонь к переправе в направлении геодезической вышки, видимой отовсюду, и ждать второго сигнала в низинке у речки Стрени, где изгиб русла и обрывистые берега надежно укрывали от обстрела. Позже надлежало взять на броню мотопехоту, чтоб по красной ракете совместно ринуться на передний край врага, — передовая проходила в двух километрах отсюда... Так ждали они знака к выходу, но его не было. Самолеты ушли, в танк сочилась разноголосая, похожая на шепот, переключка инструментов войны. Уже раздумывали, как скоротать время, пока приказ от верхнего Литовченки докатится до Литовченки, находящегося внизу. Вдруг два беззвучных от внезапности смерча поднялись по сторонам ночной землянки и, ухватив ее с подмышек, вышвырнули наверх со всем деревянным пожитком. Как бы понукая к действию, воздушная волна толкнула двести третью, мотор заглох, и та же как бы ухмыляющаяся сила раздавила ягоды калины о триплекс; было видно, как розовые звездочки текли, пересекая смотровую щель. Дальнейшая стоянка делалась опасней самого боя. Собольков увидел комбрига, который бежал вдоль капониров, махал рукой и кричал: «Пошли, пошли...» Тотчас же, взревев и давя пеньки, штук тридцать приземистых тел стали вылезать на поверхность.

Успокоенье пришло, как только покинули свои ямы. Танк до краев налился металлическим звуком, все пропиталось им до последнего болта; Литовченке казалось, что и сам он начинает звучать в ноту со своим железом. И стало совсем легко, когда еще незаслеженное поле открылось за опушкой. Далеко впереди маячил сквозной удлинненный треугольник вышки, куда шли, но ближайшим ориентиром движенья был пока разрушенный домик, который на карте числился цветущей, в яблонях, усадьбой. Иные недолговечные деревья, сменившие их, изредка возникали теперь в спящем, после лесных сумерек, утреннем пространстве; было что-то собачье в том, как они с громовым лаем перебежали с места на место, потрясая черной, неистойвой листвой. Количество их удесятерилось, едва последние танки первой очереди покинули лес. Одно выросло как раз по левому борту, самое гривастое. Большой осколок с близкой дистанции ударил двести третью в лобовик над водительским люком; она шатнулась, сразу отемнились все смотровые щели. Отбитая покраска пополам с искрами, как показало Литовченке, больно стегнула по лицу. Танк продолжал свой бег, и Собольков уже не сомневался в водителе; он не знал, что за мгновение перед тем новичок сорвал кровяную мользу о рычаг правого фрикциона, и эта маленькая боль в ладони спасла его от неминуемого шока... Двести третья извернулась, нырнула в крошечный мрак, и в момент разворота, сквозь падающую землю, Литовченко увидел всю шеренгу своего эшелона.

Она весело мчалась по бескрайной пойме, в проходах среди минных полей, заране обозначенных хвостинками; пестрый вал метели оставался позади. Они мчались, поминутно меняя курс и словно издаваясь над неточным боковым обстре-



лом, почти в ровном строю, кроме нескольких машин, что несли на себе груз саперного леса; одна, самая быстрая, уже пылала, но ускоряла бег, как бы в надежде сбить пламя ветром... Мчались, покачивая пушки и пока без единого выстрела, потому что ничего не было впереди, а только sereneкий предзимний пейзаж с рваными, еще дымящимися проталинами да еще высокий противоположный берег с висящими над ним дымками. Передние уже вступали под его укрытие, и, как бывает иногда в начале боя, обстановка и местный замысел командования стали до мельчайшего штриха понятны самому неопытному солдату, но не разумом пока, а каким-то первичным физическим ощущением.

За ночь немцы форсировали Стрню дополнительно и на южном участке, пробив еще километр в нашей обороне. Сплошная завеса заградительного огня сдерживала их левофланговый напор, и не стоило гадать, что случится, если устанут пушки или приостановится поток боепитания. Крохотный плацдарм оставался за советской пехотой на том берегу, все стреляло там. Под прикрытием ее смертной доблести и готовила свой маневр тридцать седьмая. Таким образом, получалось центробежное вращение двух полярных воль, где осью служил домик саповода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель. Именно в это место на карте и смотрел сейчас большой Литовченко на своем КП... Там, наверху, уже начался военный день, а здесь, под обрывом, было еще тихо, «как в раю во время землетрясения», по определению Обрядина, когда экипаж вышел из танка помочь саперам. Сложив оружие в сторонку, мотопехота совместно с ними прорубала крутую дорогу сквозь нависшую осыпь или подтаскивала к мосту многометровые тесаные брусья; они представлялись лучинками в присутствии самоходных орудий, тридцатьчетверок и танкеток, что в просторечии войны зовутся м а л у т к а м и, — встревоженное стадо, сбившееся у водопоя. В обступившем артиллерийском грохоте не было слышно ни дробного стука топоров, ни шума незаглушенных моторов; те, наверху, могли подумать, что товарищи просто отсиживаются от бури, не торопятся, стремясь насладиться терпким запахом смолевого дерева, прежде чем войти в горячий смрад машинного боя; но они торопились, так как немецкий наблюдатель должен был когда-нибудь разгадать значение щепы в медлительном зеркале Стрны... Тут пошел снег.

И опять железное войско ждало своей ракеты, пока танкисты яростными жемами бранились с саперным капитаном и все показывали на обрыв, откуда при каждом сотрясении струился мелкий, еще не намокший песок; более нетерпеливые и злые спустились в реку и шарили брод по поясу в воде... Уходя к своим на подкрепление, Соболюков не забыл взглянуть на приборы водительского щитка. Температура масла достигала 105°; — судя по запаху, главный фрикцион был перегрет, для воды оставалось лишь три деления на циферблате. Не столько тяжкий путь по пашне был причиной такой перегрузки, сколько волнение водителя, который с непривычки к огню явно задержал танковое сердце. И лейтенант мелко порешил дать при случае полную волю Литовченке, чтобы тот упоенным танкового могущества исцелился от ребячьей и такой понятной нерешительности. В эту минуту Соболюков и разглядел Кисё в потемках танка. Неизвестно, когда зверь успел забраться в свою походную квартиру, и представлялось уже несправедливостью выкидывать теперь за борт этого вполне заслуженного ветерана. Таким образом, на операцию экипаж уходил в полном составе.

Литовченко видел через люк, как лейтенант поднял котенка и, прищурясь, заглянул ему в глаза.

— Что ж, воюй, Кисё, зарабатывай себе место под солнышком, — сказал Соболюков и, поймав на себе взгляд Литовченки, стал выбираться из танка. — Вот, посмотрим, что она означает... тихая и грозная судьба человека, — добавил он совсем непонятно, глядя на высокий берег с вихрами седой и мокрой, трясущейся травы. — Только помни, Вася... судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет! — Голос был не прежний, соболюковский, да и поучение относилось скорее к самому себе, чем к этому простодушному пареньку, — как следствие собственного минутного замешательства, нехотения чего-то или от горечи внезапного открытия, что и жизни сам он жаждал не меньше, чем победы.



Литовченко зарделся, ему стало неловко от непривычной командирской открытости, хотя, в сущности, ничего стыдного не случилось; кроме того, он еще не знал, что означает взрослое городское слово с у д ь б а и что полагается отвечать в таких случаях. Он поднял на лейтенанта прямые ясные глаза, и тогда, смутясь, тот ушел поспешно, запретив водителю далеко отлучаться от машины.

При самом беглом взгляде на окрестность делалось понятным запоздание с переправой. Судя по незакопченным окопчикам, еще недавно здесь пыталась закрепить горстка немецких автоматчиков и ее вышибали отсюда врукопашную, ценою потерь с обеих сторон. Литовченко обошел место схватки, всматриваясь в лица павших. Хотя э т о сглаживает различия, их легко было распознать издали, — немцам не успели выдать в срок маскировочные халаты. Враги лежали рядом, иные почти в обнимку, как бы продолжая сражаться и теперь. Наших было меньше; один — рябоватый, смуглый и скуластый — лежал на спине, грудью навывкат и с закинутой под голову рукой, как спят богатыри. Глаза были открыты, губы растянула полуулыбка, словно среди пасмурного неба встало вдруг над ним жаркое казахское солнце. Снежинка упала в его округленный покоем зрачок и не таяла. Литовченко отвел взгляд к артиллерийской воронке, которой не заметил вначале... На дне ее скопилась подпочвенная вода. Там валялся обыкновенный, весь целый, гитлеровский солдат. Ноги тонули в ледяной жиже, а руки были широко раскинуты, будто обхватить хотел ее всю, украсть, унести с собою — чужую землю вместе с ее сокровищами, святынями и этим тоскливым хлоплюющим снежком... но оказалась тяжела, и не хватило объятий, и он поник тут, пугало Европы, бессильный даже отряхнуть снег с былинки, торчавших меж его разведенных пальцев.

Он мог бы рассказать много, этот солдат, — как росла, крепла и потом сокрушилась германская мечта о самородном русском золотишке в распадах сибирских гор, о тучных рыбных стаях в тесноте полноводных рек, о волшебных куполах, всегда манивших немецкое око, о самом солнце, что нисходит на землю в этом государстве в обличии нефти, хлопка, пшеницы и вина; он мог бы похвастаться, как началось бредовое шествие железных пауков по чужим столицам, этим начальным ступенькам к синим хребтам, за которыми раскинулись блаженные страны Азии, земной рай с даровым шнапсом, где закуска растет на деревьях, где гурий можно брать на гробницах непобедимых царей Востока, где дозволено, наконец, утолить темное зверство, прикрытое веками германской дисциплины. Это была бы длинная повесть, как они отправлялись в поход, провожаемые криками женщин: «Убивайте их, убивайте в Америке и Азии, убивайте везде... мы отомоем ваши руки!» — и как их встретила непогодная пучина России, где поржавело их железо и обвяла душа, и как они, огрызаясь, ползли назад с распоротым брюхом, и каждый камень рвал им внутренности, и каждый куст стрелял вдогонку. Он знал много, но мертвые — плохие рассказчики. И хотя украинский тракторист не умел проникать в знаменья истории, он догадывался, над чем улыбается невдалеке спокойный и чуть иронический казах.

Завоеватель лежал в позе вора, стремящегося уползти, с подогнутым коленом и уткнувшись лицом в борт ямы. Белобрысый затылок напомнил Литовченке минуточку, шрамом оставшуюся в памяти. Рядом, затоптанные в снег, валялись улики — автомат, походная шарнирная лопатка и еще какой-то неузнаваемый утиль войны. Литовченко увидел опрокинутую каску. Он пошевелил ее носком сапога. Талая вода кривой струйкой, как из чайника, полилась из пробоины. Дыра приходилась над самым надбровьем, с лучами трещинок, как кокарда; прицел русского стрелка был хорош. Кто-то встал рядом с Литовченкой, но он не пошевелился, как зачарованный следя за струйкой.

— Не тот, что на мамку замахивался? — спросил голос над самым ухом, когда каска опустела.

Это был Дыбок. Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его заметно похуdivшем лице; ему хотелось скорее исполнить всю черную работу: с того и начиналась его большая и утная житейская дорога.

— Не-ет... тот постарше и с плешинкой был, вот тут, — нехота протянул Ли-

товченко и показал на затылок; но даже не в плешинке было различие, а в том, что не доставило душе сытости созерцание застигнутого на месте вора.

— Ищи его, парень... крепко ищи! Не только врага, но с е б я прежде всего ищешь...— с особым значением сказал Дыбок.

— Где-то рядом ходит, всякую минуту чую его близ себя...— начал было Литовченко и вдруг побежал к машине: уже падало над лесом алое яблочко сигнальной ракеты.

Дорога вверх была открыта, но одна дружная батарея без труда истребила бы здесь, в проходе, целый корпус, по мере того как он стал бы выбираться из низины. Какой-то чудак в пылу усердия раскидал дымовые шашки вдоль берега, не загадывая, что из того получится, и теперь немецкая артиллерия перенесла огонь по этой подозрительной клочковатой тьме, что, подобно чернилам в воде, распускалась во все стороны. Она клубами стекала с обрыва, ее рвали смерчи разрывов, в нее, как в туннель, незримые и незрячие, уходили облепленные десанниками танки. Одновременно немцы разглядели обрезки теса в реке. Десяток тяжелых мин с большим перелетом упал на пойму. Если бы Собольков вскочил в свой люк мгновением позже, он увидел бы, как, пошатываясь и с раскинутыми руками, с земли поднимались мертвецы, точно возобновляя рукопашную схватку, и это нестерпимое зрелище стало бы заключительным в его жизни... Советские батареи открыли ответный огонь.

С полуоткрытыми люками, чтобы не протаранить соседа и не свалиться с обрыва, танки распространялись в чернильной ночи перед броском в атаку. Еще до того, как вышли из завесы, Дыбок принял по радио хриплую команду о д и н а д ц а т ь, что, по условию, означало: р а з в е р н и с ь, и следом за тем — с о р о к д в а. Больше приказов не поступало: у двести третьей осколком сбил штырь антенны. Не сразу пришло в память, чего требовала последняя команда — заходить углом слева или увеличить скорость; Собольков приказал и то и другое... Все смешалось и загремело. И оттого, что каждый раз в бою надо приспособляться к обстановке и даже смиряться с чем-то, все пока молчали, кроме лейтенанта. Три души, три человеческих педали находились подле него, и он жал на них словом, шуткой и авторитетом, доводя отвагу до уровня самозабвенного ликования, — без этого немислимо преодоление животных инстинктов, которыми жизнь вслепую обороняется от гибели. Казалось, провода переговорного устройства проринкали к самому мозгу, и туда до боли громко кричал что-то Собольков в похвалу двести третьей, ее прочности и резвости, а Литовченко односложно откликался, всем телом вслушиваясь в ровное машинное биение за спиной. Ему то чудился подозрительный звон в трансмиссии, то мешал четкий и частый стук о броню, точно кто-то просился войти снаружи; ни разу не побывав под крупнокалиберным пулеметом, он с отчаяньем принимал эти звуки за прощальные сигналы десантников, вдруг ставших ему ближе всякой родни.

Те еще держались, хотя огненный ветер обстрела сдувал все постороннее с брони. Танки приближались к переднему краю. По существу, до этого места курс двести третьей зависел скорее от удачи да еще от того, с какой стороны возникала глыбистая падающая тьма, — чем от умения водителя. Только теперь Литовченко привык к скачкам смотровой прорези, — она то надвигалась, то уносила вдаль, то становилась почти вертикально, когда хлестала бортовая волна. Слева он различил лесок впереди и перед ним бугристое поле, где металась разрывы; затем он увидел стрелковую цепь, частично залегшую в чистом поле и местами уже выбитую из обороны. Тяжкий минометный огонь шествовал по черте окопов, и еще шустрые вихорьки сверлили посеревший снежок. Здесь можно было оценить черный и страшный труд пехотинца. И одни, не оглядываясь и слегка подымая винтовки, указывали проходы своим танкам, другие же лежали как-то слишком смиренно, точно внимали ласковому и последнему напутствию родной земли, которую защищали.

— Вот она, наша мотозомпольная, — смешливо и резко крикнул Обрядин, когда на мгновение заглох мотор, точно испугавшись черной тени, с грохотом прошедшей мимо. — Заметь, обожаемый Вася, лежат, как львы, и непримиримо смотрят в сторону врага!

Его с маху оборвал Дыбок:

— Это всё земляки и братья твои лежат, черт усатый. Полежал бы сам на мокром пузе... и полежишь еще у меня!— заключил он, точно он-то и был командиром.

Обрядин был умней своей шутки, которую придумал единственно для ободрения водителя. Как раз перед тем болванка прочертила, как положом, путь перед двести третьей, а гусеница дрогнула, точно наехала на камень, и была опасность, что Литовченко сожжет диски сцепления. Соболюков понял это с запозданием и сразу забыл, потому что именно тут и увидел зайца.

То было единственное живое во всем поле, не имевшее отношения к войне. Обезумев от рева и пламени боя, он мчался наугад, весь белый, ясно различимый на темной искovyрянной пашне. Иногда он останавливался, вскинув уши, приподнимая удлиненное страхом тело, и смотрел, все еще невредимый, как рушатся громады огня и воющего праха, и исчезал, припадая к снегу, чтобы снова превратиться в не уловимый глазом белый пунктир. Должно быть, заячий бог хранил до поры и, как перышко, нес его пушистую, невесомую от ужаса шкурку; по неисповедимому заячьему провидению он мчал ее прямо на немецкие траншеи. Он заведомо хитрил, сбивая с толку, показывая зверька одновременно в десятке мест по фронту атаки, и получалось, что именно за ним повторяя его зигзаги, разя с ходу орудийным огнем, гнались шесть неистовых тридцатьчетверок, как если бы он-то и был призом в этой беспримерной охоте. Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился... Застывая, накренившаяся жижа блеснула под танками на дне окопа, и в нем, с поднятыми руками, стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зеленые,— значит, не русские люди; иные как будто падали и всё не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось: одной силой гнева и взгляда своего роняет их Соболюков. Тогда-то, каким-то образом разглядев из своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у кустов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном каком-то неистовом, неповторимом слове, действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.

Они увидели пушку: радист скорее догадался о ней. Это ее снаряд прошумел по башне и огненной вишенкой рикошета ушел в небо; это она была в упор по соболюковскому танку. Ее мишень сделалась невыразимо огромной и такой близкой, когда промах следует считать чудом, но живое белое пятно, которое перепуганный заячий бог швырнул из снегопада под ноги орудийному командиру, отвлекло на миг внимание расчета, и это решило его жалкую участь. Соболюков крикнул д а в и, когда сорванный ствол наполовину углубился в землю через живот наводчика под натиском двести третьей, когда Обрядин заряжал пушку для следующей цели. Ни шороха, ни стопа не дошло до Литовченки; нет, не такого удовлетворения искал он в ту первую свою, бездомную ночь!.. А уже немецкие танки выходили на огневой рубеж, обтекая поле боя, и наши ускорили свой бег им навстречу. Так началось это грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии взрывчатого вещества, а прежде всего — людей двух миров, расстояние между которыми не измеримо земною мерой.

Тут можно было видеть, как наши пятнистые громадины обминали края немецкого окопа, облегчая подход отставшим из второго эшелона, а по полю, кидаясь дымками, вливалась в прорыв мотопехота; как советский танк, забравшись во вражескую гущу, стоял без башни и дымные космы подымались из страшной дыры, а стальной шишак богатыря валялся рядом, и четыре врага факельно горели по сторонам, как бы почетный эскорт, сопровождающий героя в небытие; как осатанелые люди со звездочками на ушанках вступали в поединок с глыбой крупповской стали, и та никла, дымилась, крутилась на порванной гусенице, как дьявол от магического заклинания. И если только не ветер преждевременной ночи,— значит, беззвучные всадники в бурках мелькнули вдалеке, где жарко пылали подоженные стога...

Литовченко заметил на развороте лишь часть этого стройного в своей беспорядочности движенья тел, металла и огня, но и это малое вызвало в нем знакомое по детским снам чувство полета через бездну. Ритм схватки усилился; все ожило, кричало, взрывалось; убивал самый воздух; предельно напрягались скрученные дымо-



вые волокна его мышц, и мертвые уже не попадались на глаза живым, чтобы не ослаблять их броска к победе. То была мускулистая, могучая жизнь битвы; смерть, подобно собаке, тыкалась в ноги у бессмертных, чтобы урвать крохи с их великанского пиршества. И все это представлялось танкисту воздухом для гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными очами!

Опять события опережали ленивое, неточное слово. Рука, отшибленная при откате казенника, с трудом закладывала очередной патрон, но Обрядин пока не чувствовал боли. Соболюков еще ждал, когда догонят его отставшие танки, а они уже далеко вправо и впереди ломали и мололи вражескую оборону... Там двухметровая гряда, род естественного эскарпа, пересекала поле вдоль реки. На длинную и, казалось, последнюю ступеньку перед славой хлынула теперь тридцать седьмая, чтобы, восстановив утраченный строй, ринуться на штурм Ставища; вокруг него и решалась судьба Великошумска. Село виднелось как на цитадели, за сбившимися в кучку леском, откуда били тяжелые немецкие батареи. И если туда передвинулось теперь самое главное этого крошечного дня,— значит, неправду утверждал Соболюков, будто судьба боя решается там, где находится двести третья!.. Временно укрытая от обстрела, бригада как бы взрывалась сейчас, распространяясь в обе стороны и давя дзоты, размещенные по скату. Их было там насовано, как ласточкиных гнезд в речном обрыве; звук был такой, точно и впрямь яйца хрустели под тяжелой поступью бригады. Один из них, в особенности хлеставший огнем, достался на долю двести третьей; пулеметы царапали ее триплексы, в предсмертном ожесточении стремясь хотя бы ослепить машину, но она уже вошла в гнездо, как поршень, бельмастая и неотвратимая, и накренилась, вгрызаясь левой гусеницей, и вдруг осела,— и это полуметровое падение также напомнило чем-то Литовченке пробуждение от детского сна. Все обстояло хорошо, если не считать временной слепоты танка да обрядинского ушиба. Рука плохо сгибалась в локте, но какое-то дополнительное злое озорство зарождалось из тупой, неотвязной боли; кстати, Обрядин никогда подолгу не таил в себе обиды.

— Дозвольте обратиться к водителю, товарищ стрелок-радист,— перекричал он мотор, пользуясь маленькой остановкой для последующего маневра, и, не дожидаясь позволения, осведомился у Литовченки, что он испытывает теперь, глубоководоуважаемый Вася.— Не укачивает тебя маненько, не беспокоит, не трясет?

— Щекотно будто...— жарко и с придыханьем ответил тот, задним ходом выводя машину из крошева.

Этот дзот был последним. Пользуясь передышкой, водитель выбросил левый триплекс, где ни на сантиметр не оставалось прозрачности. Стало видно, как необыкновенно крупный, ватными клоками, валил снег. Смеркалось,— все же Литовченко разглядел кровь на куске плексигласа. То была его собственная, так что вовсе не от пота прилипла к рукоятке фрикциона его растертая ладонь. Пришлось замотать руку тряпкой, Дыбок впервые выступал в роли санитара,— это также заняло щепотку времени. Обрядин успел, кроме того, дать наставление водителю, чтобы теперь в особенности берег лицо от пулевых брызг, и даже начать рассказ, как угостил однажды того же бесценного товарища Семенова Н. П. зайчатиной, вымоченной в коньяке, чем и ввел свою жертву в глубокое поэтическое ошеломление. Случай пришел в память от неосознанного пока убеждения, что только заяц и спас их от прямого вражеского попадания. Он оборвал повесть на том месте, когда помянутый Семенов лично пожаловал на кухню показать московским гостям этого невероятного художника пищи; он оборвал, чтобы коснуться пальцев лейтенанта, лежавших на штурвале орудия.

— Ты чего... чего замолк, Соболек?— пронзительно, в самую душу заглянул он.— Хочешь, у меня во фляге есть... непочатая. Одна хозяйка домашнего к в а с к у на прощанье налила... понятно?— И он прищелкнул языком для обозначения обжигающих достоинств напитка.

Он и с женщинами не бывал так настойчив и нежен, но ответа ему не последовало. Высунувшись из люка, Соболюков сделал вид, что вглядывается в сумеречное



поле; оно приходилось на уровне головы. Двести третья оказалась левифланговой. Бригада ушла вправо, по ложине, куда перекинулся и грохот битвы. Прямо перед Соболевым подковкой лежал бугорок, и в неглубокой впадинке ее, подобно мотыльку, сновала взад и вперед еще какая-то тридцатьчетверка, в суматохе боя вырвавшаяся наверх. Три больших немецких машины, прикрываясь снегопадом, двигались в обхват этого места, изредка стреляя, в намерении выпугнуть жертву из норы. Загонщики заходили на большом радиусе, ближняя находилась в створе со своей будущей добычей; вступать отсюда во фронтальный поединки с ними было для двести третьей вполне рискованно. Видимо, по неисправности орудия тридцатьчетверка не отвечала на огонь, и ей уже нельзя было бежать, не подставив корму под прицел охотников.

Соболев признал их скорее по калибру грузного лаистого звука, чем по контурам, источенным снежной мигающей мглой.

— Т и г р ы! Смотри, ребята: т и г р ы! — твердил он, словно и остальным был доступен такой же круговой обзор, как из командирской башни. — Сволочи, губители... Ну, сейчас мазнет... — и, уже не понимая нелепости своего решения, бессознательно прикидывал, успеет ли добежать туда один, с противотанковой гранатой.

Не было бы ему лютее муки — смотреть из безопасности, как станут расстреливать безоружного товарища; сперва расколот ему железный череп и разорвут бока, потом в три длинных клюва будут долбить костер, пахнувший газолем и горелой кожей. Представлялось неразумным отвлекать огонь на себя, но, как часто случается в бою, доводы разума пересилились стихийным побуждением сердца. Соболев дал выстрел по правому, дальнему т и г р у; он и сам не понял, что произошло... Такой удачей не дарит война даже прославленных танковых асов. То была не меткость — скорее совпадение, стоявшее на грани несбыточного. Так, значит, победить он хотел все-таки больше, чем жить в желанном послевоенном яблоневом саду!.. Он попал в самый ствол т и г р а, в черноту его орудийного зрачка; 76 хорошо разместилось в 88; двести третья как бы заткнула ему пасть куском своего железа, и та огненно распалась: короткий обрубок торчал теперь из шароустановки немецкого танка. В эту минуту Соболев и принял решение. Здесь его не остановили бы даже минные поля, слишком возможные в этом подозрительно чистом и девственно нетоптанном снегу, потому что подвиг и есть пренебрежение собой ради величайшей цели. Вдруг какое-то исковерканное несуществующее слово, означавшее даже не полет, а стремглавое орлиное паденье на добычу, вырвалось у него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды.

— А ну, дай копоти, сынок! — гаркнул он Литовченке; хорошо осведомленный, чем кого угощают в разных случаях жизни, он не требовал у командира, чтобы тот заблаговременно заказывал ему артиллерийское меню.

Весь дрожая, на самом малом газочке, Литовченко бережно стронул машину. И время стало маленькое, время молнии, в которое она успевает родиться, ослепить вселенную, ужаснуть живое и погаснуть. На счастье, не пришлось и разворачивать танк: он и без того смотрел пушкой влево — туда, откуда выгодней всего представлялось контрнападение. Литовченко выжал газ почти до конца, так что даже хрустнуло в колене. Двести третья пошла на предельной скорости и с легкостью, порождавшей недoverчивую улыбку. Было что-то живое в том, как свистел мотор и просил еще ходу. Видимость почти пропала: чем быстрее движение, тем темнее ночь. Вьюга крутилась в танке — шли с открытым люком. Снег залеплял лицо водителя, но тот все забыл, забыл даже, что где-то поблизости находится крутой речной обрыв, забыл боль, самое тело свое забыл, лишь бы не терять из виду скачущей ленты чернобыльника, обозначавшей правый скат эскарпа. Рычаги ему выламывали руки, ветер гонки срывал однослезные восклицания с закушенных губ, а лейтенант все давил ему ногой в плечо, словно в водительской воле было вырастить крылья у танка... Обратная дорога домой, на Алтай, кратчайшая и единственная, проходила лишь через победу, и дочурка не упрекнула бы Соболева, что плохо к ней торопился Соболев!

Поворота вправо не попадалось, гонка становилась бегством от цели. В эти считанные мгновенья и могло произойти убийство наверху. И опять судьба зловеще улыбалась Соболюкову, прежде чем отчаяние остановило его лютой бег. Она разрезала лощинку пополам и правый ее рукав под острым углом вывела на поверхность, в заросли густого кустарника, красноватого даже во мгле... Точно секундомер лежал в руке судьбы: охота еще не кончилась, только метания застигнутой тридцатьчетверки стали суматошной и короче, так как сократился сектор ее укрытия. Совсе не поломкой орудийного механизма объяснялось ее бездействие, а просто израсходовав боезапас, она сберегала свой заключительный выстрел, последний из ста пяти, чтобы жалить наверняка. Значит, дождалась она своей минутки, и если только не дьявол, длинный и на раскинутых ногах, стоял на правом фланге — и огненные мышцы просвечивались сквозь черные струйчатые сапоги! — так это подбитый ею немец исходил серым смертным дымом. Зато два других, увеличив радиус нападения и, по существу, уже без риска подступали к ней лобовиками вперед, а она вертелась всяко посреди все новых и черных ям. Как змей, вертелась она, лишь бы стать лицом к врагу, лишь бы умереть не спиною к полю боя!.. Слышно было, как задыхался ее мотор, как силло кричал ее командир, и как ветер выл в пустом стволе, и даже как сердце билось у товарищей — тоже было слышно на двести третьей... Все это, разумеется, не было вполне достоверно, но то, что глазом и ухом не различал Соболюков, ему безошибочно подсказывала танкистская душа; именно так, в равных условиях, подступал бы он сам.

9

Маневр получал блистательное оправдание; даже стоило уstraшить в иное время, не слишком ли судьба баловала Соболюкова. П а н т е р а, а вовсе не т и г р, как оказалось, проходила всего в ста метрах, да и ощущение этих ста следовало наполовину отнести за счет метели и потемок; она проходила в профиль, дразня широким, граненым задом вскиннутое на подъеме жало двести третьей. Соболюков ударил ее еще раньше, чем Литовченко вогнал машину в кусты; он ударил ее дважды — аккумулятивным снарядом и тотчас же, не меняя прицела, подкалиберным в живую мякоть у подмышки, над вторым сзади катком, где кожа п а н т е р ы утончалась до 45 миллиметров. Это было все.

Он испытал слабую ноющую усталость в руке, как если бы лично поразил коротким толстым ножом и повернул его в спине зверя. Двести третья стояла с открытыми люками, вся на виду, и потому экипаж мог в подробностях наблюдать это, недоступное ни на одном полигоне мира... Невыразимый полдень шумно рванулся из щелей п а н т е р ы, неправдоподобных, дырчатых и косых, а плита командирской башни отлетела, чтобы запертое солнце могло выйти наружу. Литовченко сменил место не потому, что слепительный свет превращал самое двести третью в мишень, а из желания укрыться от огненной измороси, от которой горел даже снег. Сам Дыбок — холодный, рассудительный Дыбок — поддался колдовскому очарованию зрелища.

— Хлебни русского кваску!.. Вот он, эликсир жизни, пусть напьется досыта, — запальчиво шептал он, но какое-то гордое достоинство мешало ему еще и еще бить из пулемета по пламени, хотя и чудилось, враг еще полз на одной гусенице и с вулканом в брюхе: так вихрился оранжевый пар вокруг него. — Выпей русского кваску... пей!

— Культурно сделано, Соболек, — похвалил и Обрядин сквозь зубы, срывающимся голосом, точно заправдавшая малярня трясла его. Поглядела бы одна из его бабенок на нынешнего Обрядина — он был как мальчишка, пропала вся хваленая его степенность. Высунувшись из люка, он выставлял лицо в этот неистовый свет: душу, ознобленную близостью гибели, ласковой солнышка греет жар горящего врага. — Эй... пол-литра с тебя, товарищ! — гаркнул он вослед громадной тени спасенной тридцатьчетверки, шмыгнувшей через самое место их недавней

стоянки.— Натерпелись, болезные...— сочувственно проводил он ее, когда как бы рассосалось в снежной тьме самое ее вещество.

— Похоже, мы у них тут целый зверинец разбудили. Смотри, еще один прется,— сказал потом Дыбок, когда остыла первая радость удачи.— Так оно и есть... Не люблю я в ночное время ф е р д и н а н д о в, товарищ лейтенант!— То было тяжелое самоходное орудие, германская новинка того года, прозванная так, по объяснению Дыбка, за сходство с профилем носатого болгарского царя, которого довелось ему видеть в старой Ниве.

Ф е р д и н а н д о м оказался тот, что двигался в центре облавы. Он засветил фару; судя по перемещению светового эллипса на снегу, он разворачивал свое неуклюжее тело, идя на сближение. Два звука слились попарно; кроме того, двести третья стреляла еще в промежутке,— были напрасны все пять залпов. В такой непроглядный выжженный вечер успех решался не тем, кто железный или метче, а удачливей кто. Двести третья пятилась назад, и тогда случилось то, уже совсем невероятное, о чем до поздней старости обожал живописать внучам ветеран великой кампании, Василий Екимович Литовченко. «Волос на мне дыбочком встал,— рассказывал он, глядя лысину, и ему верили не больше, чем Рудому Паньку, знаменитому его земляку.— Думаю-думаю, как же мне поступить при такой бисовой okazji...» Но если бы это «думаю-думаю» длилось у него в тот раз дольше секунды, никогда бы не узнали про этот случай маленькие, затихшие в страхе украинцы. Ф е р д и н а н д о в стало два, потом сразу четыре зажженных луча пронизали взвихренную метельную неразбериху, да еще какой-то блудливый, так и не разгаданный огонек добавочно запетлял и заюлил в поле. Верно, они плодились там, ночные твари, вылезая друг из дружки, и действительно, замогильная чертовщина миргородского пасичника представлялась, в сравнении с этим, поэтической выдумкой, навеянной шелестом вишен в благодатную южную ночь... Пользуясь даровым освещением от собрата, пылавшего, как солома, дьяволы разили из всех своих жерл, и двести третья поступила по меньшей мере правильно, заблаговременно и без выстрела спустясь назад, в низинку.

Бежать отсюда было хорошо, горящая пантера служила достаточным ориентиром, пока не взорвался ее боеприпас. Она исчезла с ловкостью привидения, оставив по себе глухое эхо, дырку в снегу, дождь железных ключев и вспышку, как от адского магния... Двести третья мчалась, петляя и н а б о г а, потому что любое на свете было лучше прямого полупудового клева в корму,— мчалась, заведомо углубляясь в расположение противника, мчалась, пока не отстала погоня. Последние выстрелы легли далеко в стороне, все погасло, самое окошко люка потерялось во мраке. Возбуждение успеха охладилось, на смену пришли озноб и голод; Обрядин, кроме того, вспомнил про разбитый локоть... Литовченко промолчал на вопрос лейтенанта, видно ли ему хоть что-нибудь на дороге; промолчал из боязни выдать голосом щемящую тоску, меньше всего происходившую от метельной неизвестности ночи. Следовало убавить ход до самого малого; так и сделали, но было поздно. Центр тяжести вполне ощутимо, шарообразно перевалился вперед, инструменты гремуче двигались по дну танка. Горный тормоз не остановил скольжения. Все одновременно ощутили, как пучина дохнула на них холодом.

«Вот оно, то самое, двадцать второе число...»— со странной вялостью подумал Собольков, клонясь на пушку. Машина весом сползала вниз, с заметным уклоном влево. Обрушилась левая гусеница, Литовченко вслепую и немедля выправил движение, и стоило отметить выдержку новичка, хотя нигде его не обучали, как падать в реку с наименьшим повреждением. Теперь танк полувисел на месте. И опять опоздало тело; команду с т о й Собольков подал, когда был включен уже и задний ход. Не жалея ничего, водитель до бешенства разогнал мотор, но оно не могло длиться долго — единоборство хотя бы и пятисот лошадиных сил с законом тяготей. Земля одолевала, она стаскивала людей с сиденья, и это было пострашней поединка с ф е р д и н а н д о м.



— Спокойствие, лейтенант, спокойствие,— чудовищно ровным голосом крикнул Дыбок в микрофон, точно ему принадлежала власть в танке, точно знал, что, пока сам он здесь, товарищам не грозит несчастье.

В передний люк хлынула вода. Упираясь рукой в американскую картинку, Дыбок включил аварийный свет на плафоне радики; он увидел неподвижное от натуги, откинутое назад и в снежной маске лицо соседа. Шустрая пена, бурля и заполняя щели, вилась вокруг колен. Вдруг свет погас, пора было кричать: *Вылезай, топимся*,— но все молчали, неживая сила придавила их волю. Дальше пояса вода не поднималась... Кое-как оторвавшись от танка, Обрядин выскочил наружу. Прошла вечность и, может быть, две вечности сряду, когда он появился опять, невредимый, сухой, даже веселый.

— Глуши мотор, Вася... кажется, приехали,— оповестил он сперва собольковским голосом, потому что мотор еще работал, с поминутным кашлем и во весь мах своих двенадцати цилиндров; загляни сюда т и г р, он мог бы спокойно лапой добывать двести третью до последнего пламенного вздоха, целясь на выхлоп. И когда Литовченко стащил с педали онемевшую ногу, Обрядин прибавил уже собственным в раздирающей уши тишине:— Приехали к теще в гости. Эва, на горочке с блинцами стоит. Выгурайтесь, граждане, помаленьку!

В сухом верхнем кармане гимнастерки у Дыбка нашлись спички. Их было семь. Головки с шипением отлетали, норвя в глаз; на коробочной этикетке было напечатано, как вести себя советскому гражданину во время войны. Заглася четвертая, и, пока не притушил ее хлопок снега, главное успело отпечатлеться в зрачке. Танк держался на скате стандартного немецкого рва, кормой вверх и с перевесом левого борта,— как в ночь разгрузки, когда комкор читал наставление новичку; машина опрокинулась бы на большей скорости. Вода достигала третьего катка; две широкие колеи, прорытые гусеницами, круто уводили в черноту, смолянисто блестящую при вспышке. Собольков не успел различить стрелок на часах,— было скорее пять минут девятого, чем без четверти час, но и в первом случае событий явно недоставало на такую уйму протекшего времени. В суматохе дня, видимо, проскочили еще какие-то происшествия, не оставившие в памяти следа. По сходству с собственным их нынешним положением Собольков припомнил только, как они вытаскивали из воронки одну завалившуюся ш е с т и д е с я т к у, но эпизод тотчас поблек и как бы тинкой затянулся.

— Я уж думал, нас в подводную лодку за заслуги произвели,— пошутил Дыбок, но все не шибко поверили, что ему веселее, чем прочим.

Так они стояли, трое, молча и бездельно, без мыслей и усталые до степени равнодушия к тому, что случится с ними на рассвете, когда найдет и распорядится их жизнью мимоходный немецкий броневичок. Вдруг, опустившись прямо на снег, Дыбок принялся снимать сапоги; натекая вода могла повредить его здоровью, необходимому для великих будущих дел.

— Не разберу... морозит или это малость озяб я?— спросил он ни у кого и зевая нарочито громко, словно это могло подбодрить товарищей.

Значит, не все еще кончилось здесь, у жирной итоговой черты в безвестном поле. Собольков поднял голову.

— Вася,— позвал он негромко, потому что теперь стало можно говорить и негромко.— Чего ж тебя не слышно, Вася?.. Ты где, чудак, а?— говорил он, обходя громаду танка.

Снег падал реже, чуть посветлело. Черно было сейчас на земле, и вот, в утешение, выдали ей где-то за бетонными облаками скупой и тонкий ломтик луны. Лейтенант увидел своего механика-водителя. Литовченко стоял с обратной стороны, прижавшись к гусенице, вздыбленной над его головой. Он весь дрожал, когда Собольков коснулся его лица, он так дрожал, что именно это ощутил сначала лейтенант и лишь потом — живую горячую влажность на кончиках своих онемевших пальцев.

— Вася, ты о чем?.. Остыл, что ли? Да нет, погоди, не отворачивайся. Ты толком объясни, в чем дело?— шептал он в самое ухо, заслоняя от товарищей; тем временем подошли и остальные.



— Машину жалко... — всхлипывая, признался Литовченко и ребячливо, мокрой тряпкой, размотавшейся в ладони, тер свои безволосые щеки. — Я же знал, куда мы катимся... вот и запорол!

И вдруг новый приступ горя потряс паренька; сорвав шлем, плача и весь подавшись вперед, он закричал товарищам, что стрелять его надо за это, именно так, как делали немцы с детьми:

— В рот, в рот мне за это надо стрелять!..

На войне нет ничего страшнее плачущего солдата, и не надо его останавливать, пока не выгорит отчаянье до конца. Экипаж молчал: они тоже были однажды новичками, как и этот чумазый хлопец — такой чумазый, что и вековухи отворачивались от него на стоянках. Зато платок любимой девушки можно было уронить на дно трансмиссионного отделения в его танке и, незамаранный, спрятать назад в кармашек. Им нравилась скрытная мальчишеская гордость Литовченки, когда ему доверили шрамистую, прославленную двести третью, и, верно, до его крестьянского сознания достигла ужасная, совершенная в глазах современников целеустремленная красота советской тридцатьчетверки... Кроме того, эти люди понимали, что только настоящий человек может требовать справедливости и подвигу своему, и оплошности.

— Сердечко не выдержало... — сочувственно буркнул Обрядин, толкнув локтем командира и держа наготове бачок для питьевой воды, налитый на этот раз лекарством от малярии. — Нежную душу и снежинка царапает. Знаю, сам имею такую же!

Литовченко приходил в себя. Он поднял голову и виновато усмехнулся, стыдясь товарищеского внимания. Тогда они подошли ближе, заговорили впереводку, и не различить было, кто и что произносил в той жаркой словесной толчее: даже Дыбок испытал ту особую волнительную размягченность чувств, какой опасался больше всех болезней на свете.

— Эх ты, вояка полтавская! А мы тебя женить после войны собрались. Она ж целая: смотри — ее черт рогом колупал, да скис. Ее до Берлина хватит пока, а там, коли потребует, еще моторишко попросим... У меня земляк з а к у д ы ш н ы й на заводе имеется, замдиректор, тоже художник своего дела... Только малярия его гложет, вроде меня. А танкисты, брат, особый народ... и не зря им завидует пехотка! — Последнее чуть ироническое замечание принадлежало Дыбку и так откровенно, хоть и не злобно, было направлено в лейтенанта, что Соболюков, нащурясь, даже покосился на него.

Поддела было сделано, водитель возвращался в строй; по степени важности теперь оставалась меньшая половина — выйти к сроку из немецкой мышеловки. Обрядин поднял шлем и, отряхнув от снега, надел на голову товарища.

— Посушить бы теперь парнишку, лейтенант, — заметил он при этом.

Дыбок с хозяйской властью заставил водителя сесть на снег и повторить все, что проделал сам незадолго перед этим.

— Ладно, теперь другую ножку, — шутил он. — Выжми, выжми ее потуже. Ишь сколько воды набрал... куда ее тебе столько! Теперь лезь наверх, погрей ноги на моторе...

— Не холодно мне, — оборонялся Литовченко и вдруг вспомнил, что и Дыбок рядом с ним принимает ледяную купель. — А сам, сам?!

— Э, мне эта штука ничем. Я телу моему хозяин строгий, — с жестокостью, исключавшей и тень похвалы, бросил Дыбок; все же озноб мешал ему выразить мысль короче, чем полагалось по его характеру. — Я от тела моего много требую... а то ведь и расчет дам. Оно меня боится! — пригрозил он вслух, чтоб прониклось его волей продрогшее солдатское тело; Соболюков подумал даже, что если убьют его, Соболюкова, то именно Андрею Дыбку надлежит стать капитаном двести третьей.

— Греться изнутри надо... ну-ка! — осторожно вставил Обрядин, поднося флагу Литовченке. — Та-ак, еще отпей на рупь семьдесят. Хватит! Эх ты, девушка!.. Ей бы пройтись маненько, покружиться теперь в вихре вальса, товарищ Соболюков!

— Верно... — как-то поспешно согласился тот: он руководился тем со-

ображением, что после происшедшего следовало поднагрузить паренька каким-нибудь заданием.— Ну-ка, пройдишь, посмотри место на ближнем радиусе.

— Нельзя посылать водителя, лейтенанта!..— тихо, под руку, возразил Дыбок.

И оттого, что Дыбок был тысячу раз прав, всегда прав, этот удачник, Соболюков посмотрел на него с каким-то пристальным и ожесточенным интересом, как если бы видел его из последующих суток. Он недобро усмехнулся: вот уже и самая правда выдвинулась на сторону его преемника! Глаза встретились, одна и та же мысль ранила обоих. Дыбок смущенно отвернулся, едва прочел, что содержалось в этом взгляде, и тогда Соболюков медлительными словами повторил то, что сказали раньше его глаза:

— Не рано примеряешься, Андрюша? Потерпи, я еще живой.— И подтолкнул Литовченку.— Иди, ничего пока не будет... Я тебе велю. Иди!

Ни на один факт не могла опереться догадка: собственные их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в пустоте! Жгла и жалила мучительная надежда, что в это самое время тридцать седьмая вступает в Великошумск. Только одна двести третья засела в трущобинке крайнего левого фланга; ей предоставлялось воевать в одиночку, в меру разума и солдатской совести.

Прежнее ощущение беспомощности постепенно замещалось решимостью на предстоящий, долгий и тяжкий труд. Нужно было передохнуть, поесть, подкормить сил, а там, глядишь, сами собою прояснятся обстановка и мысли!

Они взобрались на танк. Горячий воздух обильно поднимался сквозь жалюзи мотора. Обрядин слазил за едой. Соскучась в одиночестве, замыкал Кисё, и всем стало немножко веселее от сознания, что количество их умножилось на единицу. Ему также выдали полагающийся рацион, и он довольно усердно занялся его поглощением.

— Давай думать, лейтенант,— сухо и тихо сказал Дыбок.

— Успеем, отдохни... Не торопи войну, Андрюша! Пять минут всего прошло, как сели,— ответил Соболюков и снова занялся котенком.— Что, Кисё, хвост-то намок? Ничего, на войне это и есть главное: будни. А сражение — это уж праздничный день, гуляй, душа! Ешь, ешь... Тебе бы щец со свининой? Я твою натуру знаю. Не хочешь щец? Ну, врьшь, хищный зверь, притворяешься. Ладно, вот закопаем Гитлера, поедем с тобой на Алтай. Новая хозяйка у тебя будет, маленькая и добрая. Все глупые — добрые, вот почему и умный у нас Дыбок. Небось злится на меня, памятливым... А ты скажи ему, Кисё, чтоб не сердчал. От этого дружба вянет, волос лезет, здоровье портится. Сказал?.. Ну, что он тебе ответил?

Дыбок промолчал на этот шаг к примиренью. И верно, злость в какой-то степени помогала бороться со стужей, ломавшей ему кости. Обильный пар стал подниматься от ног, начавших согреться, и он хорошо знал, что зато потом будет хуже, но нечто неодолимое, телесное, мешало ему сдвинуть ноги с горячей решетки. Так, злясь на все кругом, он злился в первую очередь на свое затихшее тело... Обрядин пытался сгладить неловкость деликатным посторонним разговором.

— Меню рояль, что означает: королевский харч!— сказал Обрядин, смачно надкусывая какую-то особо прочную колбасу.— Что-то мой товарищ Семенов Н. П. нынче подельвает? В артиллерии был... Нет, друзья, я вам так скажу: лучше зима, чем беда... Лучше беда, чем война,— а тут все три разом навалились!

— Ты прямо рудник, Сергей Тимофеич,— тотчас заметил Дыбок, аккуратно надрезая ножичком ту же колбасу.

Заведомый капкан таился в этом загадочном замечании, но Обрядин безобидно ступил в него, лишь бы облегчить сердце товарища.

— Всем я бывал у тебя, Андрюша, а вот рудником еще ни разу. Откройся, чем же я рудник, глубокоуважаемый товарищ?

— Я к тому, что... глыбы на редкость ценной мысли в тебе содержатся. Ты бы записывал, чтоб не забыть. Можешь прославиться, как выдающийся светоч человечества. По Волге будет ходить нефтяная баржа под названием Светоч Обрядина. Как мыслитель ты в особенности для баржи хорош.

Обрядин со вздохом взялся за флигу.

— Этак скрутят они тебя, злость и холод, Андрюша,— спокойно сказал он,— нельзя. Ну-ка, отпей еще грамм на триста... разом, разом! Не согреть, так дух повеселит.

И Дыбок пил пороховую жидкость, отзывавшую сырцом, а сам безотрывно глядел в хитрую, с дружеской ухмылкой, такую милую ему вдруг рожу Обрядина, который все причмокивал и облизывал губы, спрашивая — хорош ли, не горит ли на языке, гладко ли проходит в нутро этот жидкий огонь, из которого, видать, и наварила ему того кваску одна скромная, богобоязненная женщина на расставанье. «Пей, пей сколько хочешь, дружок...» — приговаривал он, бескорыстно радуясь за товарища, хотя сам ни глотка не отпробовал с самого прибытия на место. Теперь уже почти совсем не плескалось на доньшке. И что-то случилось с Дыбком; он положил руку на колено Соболькову, точно в тисках зажал, и сами сдвинулись с губ эти слова, каких в иное время и пыткой не выжать бы из Дыбка:

— Эх, лейтенант... — и что-то дрогнуло в его голосе, — хороший народ проживает на моей земле, мой народ. Семь раз сряду жизнь за него отдам. Потом отдохну немножко... и еще раз отдам. А только... Вот ты, Обрядин, всему честному миру друг, а ведь ты бы у лодырей королем был!

— Большие реки не торопятся. В океан текут, — как-то неожиданно серьезно и важно ответил Обрядин, хоть и смотрел с прежней хитрой приглядкой его прищуренный глазок.

— Вот, вот, — с горечью сказал Дыбок, — узнаю! Души океан, а спички не зажигаются... Стыну я, лейтенант, валит меня, свалюсь. Пора начинать, — заключил он, поднимаясь, и без команды, сам, полез через верхний люк за лопатой.

Лопата, лом, гранаты — все соскочило в переднюю, полную воды, часть танка. Дыбку пришлось как бы нырять туда и шарить в ней на ощупь.

— Лом-то намок, ровно губка... а еще железный, — шутил Обрядин сверху, принимая от него инструмент. — Не утонешь, Андрюша?

— Тут мелко. В Днепре глубже было, — как-то в растяжку, застылыми словами отзывался тот.

Он потешной шуткой извинялся перед Кисё, которому чуть замочил его палатку, и не забывал пояснить товарищам, что палатка есть жилплощадь итальянского феодала; он шутивно осведомлялся, протекает ли в такой же степени снаряжение у настоящих водолазов. Щемило сердце это сдержанное, на звенящей волевой струнке, балагурство. Вот он был каков, Андрей Дыбок с Кубани! Людям следовалознакомиться с ним впервые даже не в бою, когда отвага сама родится из недр разгоряченного сердца, а здесь, минуткой позже, пока он молча стоял, раскинув руки, и темные талые дырья рождались вокруг него на снегу.

— Эх... отожми водицы сколько можно со спины, — попросил он потом лейтенанта. — Повозиться бы теперь с каким-нибудь ганцем... я б ему ребра в кашу стер. А ну, тронь, тронь меня побольней! — стеклянно крикнул он подходящему Литовченко и вполсилы толкнул его в плечо.

Благодаря отступив на шаг, тот доложил Соболькову, что и следа немецкого присутствия не обнаружил поблизости, кроме прокинутой мимо стога телефонной линии, которую на свой риск и порезал ножом; метров шесть провода висело у него на руке. Подумав, Собольков решил, что это, пожалуй, правильно, так как война для них еще не кончилась, а на поверку линии выйдут теперь немецкие связисты, и от одного из них можно будет добиться приблизительной ориентировки. Следовало быстро наладить план действий и расставить людей. Лейтенант исправил давешнюю ошибку, на этот раз оставив водителя у танка; Обрядин же, как мыслитель, в особенности годился для земляных работ, — кстати, это ему принадлежало глубокое замечание, что подкопку надо начинать изнутри, чтоб машина не села днищем. Собольков решил взять с собой в засаду Дыбка, который навострился за войну в немецкой речи; ему, таким образом, представлялась возможность погреться в рукопашной.

— Ну, лезь, Сергей Тимофеич, — сказал Собольков Обрядину. — Береги лопату, чтобы не защемило. И помни, выберемся — будем живы!



— Сейчас, дай с духом собраться. Вот она, главная-то малярия! — с прискорбием заметил тот, глядя в темное месиво под танком; он раздумывал при этом: стоит или нет признаться экипажу, что почти не сгибается в локте разбитая рука; и выяснил, что неправильно, не по-товарищески будет это.

Было еще время и помедлить; какая-то живая стрелка в них с точностью отсчитывала время, потребное на то, чтобы немцы обнаружили повреждение связи, и доложились начальству, и снарядились в путь.

— А не любишь ты воды, Сергей Тимофеич... зря! Прохладная, она закаляет организм. Это тебе надо знать как ходоку по женской части, — сказал наконец Дыбок. — Полеза-ай!

Обрядин безропотно отправился под танк, отметив вскользь, что уже не Соболюков, а как бы Дыбок становится командующим танковыми силами на данном отрезке фронта. В темноте слышно стало чавканье жижи да металлические удары по тракам. Глина детскими горстками выкидывалась наружу, танк стоял недвижим, хотя и Литовченко давно уже в полный мах мотыжил землю по скату рва, вдоль гусеницы. Уходя, Соболюков прикинул в уме, что работы хватит часов на пять, если не прервет ее какая-либо внезапность.

## 10

Он взял с собою провод на случай, если придется вязать я зы к а. До стога было не больше метров семидесяти. Уже с полдороги корма танка расплылась в подобие куста. Идя по следу Литовченки, который, к счастью, возвращался из обхода не по прямой, лейтенант отыскал конец провода и показал Дыбку... Раскидав снег, они вырыли норки в соломе и разместились на стогу плечом к плечу и ухом к уху. Сперва молчали, привыкая к месту.

— Ну как, Андрюша... загораеть?

— Теперь хорошо, мягко, — неопределенно сказал Дыбок.

— Слушай... хочешь, сапогами поменяемся? Все-таки посуше.

— Не надо, не хочу, — упрямо сказал тот. — Сейчас придут, смотри.

Опять стало темно, месяц убрали до следующего раза, чтоб не износился. Временами Соболюков поднимался, вслушиваясь, не идут ли; никогда такой шумной не была солома. Кажется, примораживало... Представлялось несбыточным, чтобы цветы, птицы и синее небо могли когда-нибудь явиться здесь, и хотелось впоследствии, по окончании войны, непременно посетить это место в летние месяцы и полежать в этом самом стогу — если уцелеют и стог, и он сам. Нескончаемо длились сутки, до отказа начиненные событиями. Кстати, Соболюков открыл, что между людьми возможен разговор без единого звука. Так, он мысленно спросил Дыбка, доводилось ли ему проводить ночь в свежем сене, и чтоб кузнечики при этом. И тот отвечал сразу, что доводилось — мальчишкой, только тогда светили звезды...

— Знаешь, как придут — тихо надо, холодным способом, — сказал Соболюков несколько спустя. — Я с одним управлюсь, а ты своего сбереги... не зашиби только.

— Да, — согласился Дыбок неохотно, точно ему в чем-то помешали. — Ты молчи. Сейчас придут.

А нельзя было молчать, хоть и в дозоре. Делались всё односложней ответы Дыбка, недвижимей его тело. Его усыпляла стужа, ему стало все равно, только бы спать дали. Он хотел спать, тело становилось сильнее воли... Из знакомства с сухими алтайскими буранами Соболюкову было известно, как происходит это.

— Я слушаю, я услышу... А знаешь, Андрей, ты прав был давеча. Хорошие мы люди. Очень!

— Будем хорошие... потом. Ты к чему это?

— На что мы только не пускаемся для них, для деток... для всемирных деток. Сами в гать стелемся, лишь бы они тифлек своих в сукровице не замочили. Веришь,



всю дрянь жизни выпил бы одним духом, чтоб уж им ни капельки не осталось. А может, и не поймут?

— И не надо им понимать. У них свое.— Он догадывался, для чего Соболькову нужен был этот разговор; а тот уже и сам сбился — из душевной потребности начал его или из хитрой уловки расшевелить товарища. И хотя слова, вязкие и стылые, застревали во рту, Дыбок по дружбе шел к нему навстречу.— Что ж, говори, расскажи мне про нее... большая у тебя дочка?

— Восемь,— тихо, как тайну, доверил тот. И с этой минуты точно и не было размовки между ними.— Знаешь, у нее там беда стряслась, смешная. Пишет, даже к бабе Мане в гости перестала ходить. Понимаешь, котенок у ней пропал... любимец, только черный. Верно, жена закинула... не любит кошек.

— Мачеха?— издали откликнулся Дыбок.

— Хуже, злодейка жизни моей. Второпях как-то это у меня случилось... а вот все тянет к ней, как к вину... как к зеленому вину, Дыбок! Двадцать два годика было, как женился. Злая цифра, двадцать два, перебор жизни моей! Брата поездом в двадцать втором году задавило, война тож под это число началась... Да нет, не так уж и хороша, как приманчива,— ответил он на мысленный вопрос Дыбка.— Дочка пишет, чужой дядька к ней ходит... конфетку каждый раз дарит. Бумажку мне в письме прислала, образец... видно, на подарочек подзадорить меня, отца, хотела. Они ведь хитрые, ребятки-то... Люди!.. Ума не приложу, что за утешитель завелся... может, эвакуированный из Прибалтики: по-русски плохо говорит.— Приподнявшись на локте, лейтенант послушал застылый воздух: немцы еще не шли, точно пронюхали о засаде.— А баба Маня — это не женщина, не думай, это гора... понимаешь? Это мы с дочкой так ее прозвали: ягод много. Вроде старушки, вся в зеленых бородавочках. У нас там секретный каменный столк есть, на нем бархатная моховая скатерка. Дочка сведет тебя туда...— И лишь теперь получала объяснение его путаная, просительная исповедь.— Слушай, Андрей... Ты не спишь? Не спи! Я все просить собирался, да совестно было. Ты ведь холостой, тебе все равно...

— Мне все равно...— сказал Дыбок еле слышно, одним своим дыханьем.

— ...тебе все равно, говорю, куда ехать потом. Ты же холостой. Если что случится со мной, отвези дочке Кисю... понимаешь? И писем никаких не надо. Ты ее враз узнаешь, едва увидишь. Она сама первая к тебе выбежит... как завидит военную одежду. А больше послать, скажи, нечего... ничего я ей в жизни не накопил. Скажешь, папа шлет... воевали вместе. Посиди с ней, если понравится,— там хорошо! Словом, тебе видней на месте будет!

Он успел довольно подробно обрисовать алтайские красоты, утверждая, что не раскается Дыбок... Немцы не шли; Собольков подумал даже, что за подобное промедленье стоило бы их отдать под суд. Лежать так становилось нестерпимо. Была полная ночь. Временами она раздвигалась, Собольков тоже начинал видеть звезды. Тяжелой рукой он стирал одурь с лица; чувство холода возвращалось, и звезды гасли... Потом он вспомнил, что еще не получил ответ от Дыбка.

— Ладно... Андрей?

Радист не отозвался, он уже дал согласие. Еще в самом начале он согласился даже на то, чего и не просил Собольков. Похоже было также, что он чему-то засмеялся.

— Ты о чем... Андрей?

— Заяц...— без движенья губ сказал Дыбка.— Испугался... глаза по половнику. Хороший, все хорошие... свои.

Он замолк. Больше не надо было его просить. Алтай холостому недалеко... Он хотел спать. Разве мало солдат на свете, кроме него? Собаки и зайцы... все спят. Это была правда... Но через крохотное пулеметное отверстие Дыбок не мог разглядеть давешнего зайца, и лейтенант схватил руку товарища. Она была не теплее снега на стогу, зато там, за тесемками рубахи, стояло ровное парное тепло в пазухе Дыбка, еще не пламень. Сердце слышалось на ощупь, как бы на малых оборотах, значит, то еще не жар, а лишь смертное томленье полусна.

— Нельзя, не смей спать, Андрей!— зашептал Соболюков, касаясь губами его уха.— Сейчас придут... теперь уже не отменишь. Жалей товарищей... Кисо убьют. Обрядина убьют... кто тебе петь станет, радист?— Ни лаской, ни приказанием, ни шуткой не удавалось ему проникнуть в меркнущее сознание Дыбка.— Ведь это ж немцы, понимаешь? Забыл, как они сестренку твою волокли... жеребья на ее голом теле метали, кому первое начинать. А она небось кричала им: «Вас Алеша Галышев побьет всех, вам жених мой оплатит...»

Он говорил много грубее, лишь бы просунуть хоть искорку в порох Дыбковой души. И случилось, чего он добивался. Поднявшись, Дыбок сидел с открытыми глазами и дрожал — пока еще не от гнева, а от озноба, но и это было хорошо.

— ...они тогда и Галышева. Ты один остался. Пусть зайцы и собаки спят... не ты! Ты же слышишь меня, а молчишь... Я давно раскусил, кто ты есть: потому ты и живым в такой войне остался! Небось потроха со страху вьнут... а?

— Не надо, пусти...— пробормотал Дыбок, отпихивая его от себя.— Нехорошо тебе будет... пусти!

Он сравнялся в силах, и, возможно, радист четче командира понимал теперь действительность, потому что прежде него почувствовал, что немцы уже тут. Еще и снег не хрустел, и глаз не видел, но только как-то теснее стало в пространстве ночи... Двое, как всегда ходят немецкие связисты, шли по линии, пропуская провод в ладоши. Они нашли место обрыва и остановились — неожиданное продолговатое пятно стога заставило их насторожиться. Сквозь бурелом соломы, коловшей лицо, Дыбок отчетливо увидел, как левый поднял автомат. Тот же, левый, спросил быстро и негромко: К т о т а м?— а другой засмеялся и, возможно, пошутил, что солома не обязана откидаться даже на немецкую команду.

— Бери правого,— шепнул Соболюков товарищу, и тот услышал.

Немудрено было догадаться, что кто-то унес кусок провода... Пока один немец, став на колени, подключался к линии, другой двинулся по следу Литовченко, вода автоматом, как таракан усамы. Он был и длинный такой же, как таракан, с утолщением посреди от хорошей пищи; возможно, он и мастью также походил на таракана-прусака... Он проходил мимо, на нем была пилотка с приспущенными наушниками, чтобы уши не зябли. Дыбок упал на него всей своей зыбкой тяжестью, и странно было, что у того не переломился позвоночник. Соболюков также ударил своего гранатой, как кастетом, но промахнулся. Так началась эта маленькая и неравная битва... Немцы были свежее, перед выходом они поели жирных наших щей и хорошо выспались на теплой лежанке; им не доставало как раз того, чем с избытком располагали их противники, — чувства поруганной справедливости и голодного иступления мертвой хватки. Уже оба лежали снизу, и один вслепую царапал рот Соболюкову, а другой, наполовину примирясь с неизбежным, мокрый и полузадушенный, смотрел в нависшее над ним лицо судьбы. Он был много крупнее Дыбка, которого вдруг стала покидать уверенность в исходе. Наступала та степень взаимного изнеможенья, когда и плевка достаточно, чтобы опрокинуть врага, но и на плевков не хватало силы.

— Брудер...— прохрипел тот, что был внизу, даже не пытаясь дотянуться до автомата, упавшего поблизости; он упоминал, кажется, также слово м у т е р и, кажется, испробовал силу слова ш в е с т е р, перечисляя все степени родства, какими можно было проникнуть в старинную славянскую жалостливость.

— Не брудер, а бутерброд...— неистово сказал Дыбок, и еще не родилось могущества на свете раззать его пальцы.— Я тебя двадцать лет брудером звал. Я тебе карман и житницы раскрывал свои, в самую душу пускал тебя... а ты мою сестренку на жеребьях делил! Ах ты брудер, сукин сын!...— Оно опалило его разум, подлое иудино слово; искра добралась до пороха.

Ему хотелось только заглушить скорее этот чужой, нечистый голос. Стало очень тихо, хорошо. Дыбок не заметил, как подошел вполне спокойный Соболюков с автоматом и документами своего противника.

— Отпусти... теперь не убежит,— велел он, вытирая испарину и кровь с лица.— Ишь смиренный лежит... многуважаемый. Скажи, чтоб вставал да приятеля на стог завалил... Нечего ему тут на виду валяться.

Дыбок еще стоял на коленях, шумно переводя дыхание. Он не слышал, только эхо б р у д е р , б р у д е р по-обезьяньи скакало и дразнило его со всех сторон. И то самое, в чем он когда-то усомнился: пар валил из его подмышек; он посмотрел на руки себе и не увидел их, — желтые фонари качались в глазах. Он хотел лишь пожаловаться Соболюкову, в какую бездну затоптал человека фашизм, — и тотчас же забыл об этом. Зато ему было тепло теперь, только очень хотелось есть. Ему так хотелось есть, что даже не замечал, как стало ему тепло теперь. Лейтенант повторил приказание пленному и толкнул ногой его огромную ступню.

— Вставай... обиделся? Думал, в трактор на радостях поведем?

Тот не хотел. Соболюков наклонился к лежащему. Открытый мертвый глаз связиста пристально и так нехорошо глядел поверх его головы, что Соболюков отвернулся. Лишь теперь он заметил, что живые не могут долго лежать так, с выкрученными назад руками.

— Видать, переложил я в тебя своего лекарства, Андрюша, — усмехнулся он, поднимаясь. — Жа-аль... Что ж, и то хлеб! Знаем, по крайней мере, в какую сторону пушку целить. Помоги мне...

Они вскинули немцев в те налечанные ямки, где недавно сами, ухом к уху, коротали ночь... Провод пригодился: Соболюков самолично починил порезанную связь, из расчета, что это отодвинет появление второй, усиленной, немецкой группы на срок, достаточный для откопки танка. Тропинкою Литовченки, следом в след, они вернулись назад, захватив все, ненужное теперь связистам.

Шагов через двадцать лейтенант резко обернулся в сторону тех, с кем они только что поменялись местами.

— Кто там? — вполголоса окрикнул он и постоял, что-то соображая; со стога не ответили. — Какое у нас число сегодня?.. двадцать второе?

Он и сам знал, что время перевалило за полночь, но, как в воздухе, нуждался в подтверждении товарища.

— Нет, теперь уж двадцать третье потекло, — ответил Дыбок, взглядываясь в небо, как в большой календарь; он поежился и широко зевнул. — Морозит, хорошо... а то совсем наш брат танкист замаялся. Чудно... никогда мне есть так не хотелось, лейтенант!

## II

Еще три больших часа длился нечеловеческий труд, из которого в равных долях с опасностью и скукой состоит война. Похолодало, изредка прогревали мотор. Все были мокрые, все успели побывать под танком. Молча сменяя друг друга, теперь они жалели силы даже на шутку. Первым выбыл Обрядин; сквозь рукав легко прощупывалась опухоль на локте. Он взялся за флягу и сразу бросил ее на дно танка, чтоб не дразнить себя оставшимся полуглотком. Потом лейтенант приказал водителю поспать часок до рассвета, перед тем как тронуться в путь. Последнюю четверть часа он копался сам, в одиночку, в липкой, стынущей гуще.

Корма опускалась, — и крутизна наклона становилась преодолимой для мотора. И в третий раз Дыбок по колено вступил в воду, чтобы выпустить целое озеро ее через аварийный люк. Зато потом он разулся без всякого разрешения и оставил обувь сушиться на полуотстойной решетке трансмиссии: воевать вовсе босым было бы ему не в пример легче.

— Ну... будем живы, — повторил давешнее слово Соболюков и засмеялся. — Ангел мщенья, а не машина. Доброе утро тебе... ангел! — взволнованно прибавил он, обходя танк и лаская рукой его ходовые части.

Давно, ребенком, в глухой старовойской моленной на Алтае он видел одного такого ангела, которого в рост, на кривой, как корыто, доске изобразил дотошный и поэтический богомаз. Непонятно, как не отвергла церковь его жестокого и чрезмерно приземленного творенья. Ангел был шербатый, некрасивый и худой, в будничной рабочей одежде цвета неостылого пепла; широкие, едва ли не демонские крылья



были опалены от груза пламени, который ему постоянно приходилось таскать на себе. Ему не ставили свечей, старухи обходили его, избегая попадаться на глаза, и было страшно представить в действии это мифологическое создание суровой совести неграмотного сибиряка... Было что-то от ангела мщения и в двести третьей, как стояла она сейчас, обратясь лицом к врагу, невинная после стольких бедствий, если не считать оторванного буксирного крюка, смятых надкрылков и многочисленных вмятин, лишь умножавших ее гневную и грозную красоту. Белесый ледок успел намерзнуть на железных веках ее триплексов; она, как живая, помигала ими, когда Соболюков разворачивал машину.

Было еще темно, но предметы, казалось, уже сами отдавали свет, поглощенный ими накануне; представлялось рискованным отправляться в рейд по полутьме. Просторная и торжественная, словно перед громадным праздником, удлинявшая пространство, заставлявшая сосредоточиться и говорить шепотом, — такая была тишина! Кое-кто уже пробуждался, и раньше всех — ветер. Он донес мягкий и вкрадчивый отголосок оружейных залпов; экипаж слушал эту кошачью поступь проснувшейся войны с сердцебиением, точно весточку с родины. В такие минуты предки этих людей надевали чистые рубахи... Потом, все приведя в боевой порядок, экипаж сидел на своих местах, торопя рассвет и стараясь лишь не прикасаться к металлу. Здесь потихоньку стал застывать их сон.

Он уже давно бродил возле танка и заглядывал в щели, как лазутчик. Вяло и молча мечтали о теплой лежанке или хотя бы о костерке, но у одного уже спала рука, а другой не мог пошевелить пристывшей к железу ногою.

— А знаешь, Соболек... этак задремлем мы тут по-апостольски и не заметим, как вознесут нас живьем на небеса, — заговорил Обрядин, сдвигая шапку на левую бровь. — А ну, скрути мне кто-нибудь дыхнуть разок, а то рука... от холода онемела, не сгинается. — Ему даже не столь хотелось пополоскать себя дымком, сколь поддержать в ладошке милый уголек сигарки. — Недаром и стишок сложен такой: «Папироской ароматной мне приятно подымыть. У ней дымочек аккуратный, на концу огонь горит...»

Он покосился на Дыбка, не терпевшего обрядинской поэзии, но и тот оживился при упоминании о махорке. Этой божественной русской крупки у Обрядина с избытком хватило бы на всех, включая и Литовченку, если бы тот не спал сейчас в обнимку с Кисо в дебрях итальянской шубы; пар и храп валили из щелей. Бережно, как святыню, Соболюков достал коробок со спичками; вспышка осветила три с нетерпением протянутых к огню самокрутки. Из четырех последних не загорелась ни одна, и надо считать, в эту самую минуту начальник всех труженников спичтреста с грохотом проснулся на своем диване от добротной братской, к сожаленью — мысленной, оплеухи; тут и пригодилась трофейная зажигалка у Дыбка. Мороз и усталость, однако, брали свое, и тяжкая дремотная лень, такая неодолимая перед рассветом, все больше вливалась в тело.

— Соври нам что-нибудь, Соболек, — попросил тогда Обрядин, и его поддержал тот самый Дыбок, который с детства не любил сказок, потому что сам собирался бесцетно творить их наяву. — Про что-нибудь такое соври, чего на свете не бывает.

Соболюков молчал; было в нем маленькое смущение перед этими людьми за себя вчерашнего, хоть и не обнаружилось ни в чем его мимолетное малодушие перед неизбежным. Но по мере того как прибавлялось свету, полнокровная радость вступала в него, как бывает всегда, когда, пройдя через узкое горлышко ночных сомнений, вырывается душа на простор нового утра. Он молчал, не зная лишь, какую сказку выбрать из тысячи: любую окрашивала логичная, соболюковская, горечь и рушила ее степенный, строгий лад...

— Есть у нас одна гора такая, вся бирючиной заросла, — начал Соболюков, чуть стесняясь вначале, словно самое сокровенное рассказывал про себя, и глядя, как движутся во тьме огоньки сигарок. — Там, под навесом, каменная кочка, на ней постелено моховое одеяльце. Я шел раз из МТС, прилег от жары и сам слышал, как птица птице сказывала. Может, и неправда, ведь кто ее проверит, птичью боль!.. Будто проживал там поблизости, в стародавнее время, один обыкновенный граж-



дадин, только служил в кооперативе. Имел хозяйство с яблочным садиком, жену, трех девчурок краше вишеночек... и все три в одну недельку закатились. Пойдут по ягоды, шажок в сторону, да две приступки вниз, где поспелее, — а уж там ждут, кому надо. Брехали, что змей семиголовный поселился, он девок и таскал. Вырастит, музыке обучит, потом женится по всем правилам: видать, еще в соку был. Конечно, нынешние профессора это опровергают, но, значит, тогдашняя наука послабже была!.. Так и замухрел с горя мой мужик. Всегда при нем бутылочка — сидит, срывает цветы удовольствия. Что и накрал — весь прожился; а жена только пышной цветет, ходит, коленкором шурстит. Кстати, весна выдалась крутая, деревья почку — во наиграли!

А в ту пору все попроще было. В горах жили странники, собирали травы для аптекоправления. У нас в Сибири беглых много проживало. Один и забрел на дымок. «Чего ты печальная, хозяйка?» — «А что тебе, дедка, печаль моя?» — отвечает. «Ежели грех мутит, то не беги. Им спасаемся, в ём огонь. Без него погнили бы от святости. — Она сперва брыкается, как всякая верная жена... совесть заглушить, чтоб удовольствию не мешала. — А коли хочешь свой огонь притушить, нá, отпей глоток». Пригубила она из его ковша, да и проглотила горошинку, и с того сына родила. Мужу так объясняла, а как в точности было, науке неизвестно. Назвали сына Покати-Горошком. Стал парнишечка расти, матереть не по годам. По седьмому году кралю себе завел, даже перстеньками обменялись. Чистенькая да кроткая, ровно яблонька, только никогда, никогда не осыпается ее цвет. Словом, та красавица! Скажи, с каждым днем расширялось у него сердце к этой барышне, пока и ее змей не уволок. Тут заказал он родителю железный батожок, чтоб ни сломать, ни согнуть. «Отвоюю я себе невесту, а тебе дочерей. А из этого зеленого павлина наделаю костей в полном, как говорится, объеме». Всей округой и сготовили ему три палки. Две Покати-Горошек сразу в узелок повязал, скорбно посмеялся: «Нет, эта мне негожая!» А про третью, что семь кузнецов ковали, сказал: «Это моя палка». Мать ему сухарцов насытила, фотокарточки с каждой дочки дала; хоть и переросли, а признать можно. Отправляется в путешествие!

На пятые сутки попадается ему при горелом селе мужчина, тощий да длинный да коряжистый, на башку короб берестяный надет. Облокотился о колоколенку, куполок промял, плюется... все норовит плевком птичку мимолетную подшибить. «Как зовут, — Покати-Горошек спрашивает, — и почему при таком теле имеете такой слабый ум?» — «Я есть Вырви-Дуба, — отвечает, — не знаю, где мне силу применить. От этого и расстраиваюсь». — «Мне таких и надо. Известен мне один адресок, могу услужить, пойдем вместе!» Неделю-вторую идут, вода им дорогу переступила. Они в обход, видят — такой же мужчина в озере купается... только этот в ширину наподобие шара, раздался. Башку окунет, вода на семь метров подымется. Ну, документов у голого не спросишь. «Дозвольте поинтересоваться, — наши говорят, — кто вы есть, такой беспорядок устраиваете?» — «А я Переверни-Гора, — объясняет. — Сковырнул сейчас одну, да вот взопрел малость». — «Какие бесполезные пустяки! — наши усмеваются. — А ведь по врагу и сила мерится. А лучше мы вам такого господина предоставим, что все человеческое в ножки вам поклонится». Взяли и его в компанию... Так они месяц шли, сухарцы кончаются, застает их в дороге вечер. Подобрали на ночлег разваленную хатку, а утром гадать принялись, как им пополнить продовольствие. Решили подкопить харчей охотой; ушли, а Вырви-Дуба хозяйкой оставили. Ходят, дерево с дичью приметят, Переверни-Гора ладошкой прихлопнет — и все наше!..

— Ты поглядывай кругом, Осютин, — неожиданно вставил Соболюков, но никто не заметил его оговорки.

Теперь слушали Соболюкова все: Литовченко, проснувшийся как по тревоге, слушал Обрядин, в интересных местах поталкивая Дыбка в плечо, чтобы обратил внимание, слушали американская, шибко помятая при аварии девушка и Дыбкова несчастная сестра; самые стены танка, казалось, жадно впитывали человеческое тепло сказки. Она создалась давно, когда другие люди сидели вот так же вокруг Соболюкова: незабвенный Алешка Галышев, а рядом великан Осютин, едва умещав-

шийся в тесной башнерской келье, а наискось вниз — Коля Колецкий, верный друг, закопанный с дыркой в сердце в мерзлой росошанской земле. Потухшие сигарки не освещали лиц, и рассказчику казалось, что именно они слушали его, милые, непобедимые, все еще живые. Тогда Собольков еще не знал про измену жены, и сказка имела простодушный и счастливый конец.

— ...А Вырви-Дуба тем временем сварил последнюю солонину, горницу подмел березкой, сидит. Вдруг под ногами голос является, сохшийся, не из ихних. «Полно носом-то клевать, отпирай!» Распахнул — никого за дверью, а только стоит при порожке удивительный дед, вполне карманный: четверть сам да бородища в три четверти. «А ну, пересадь меня через порог,— хрипит.— А ну, подмости под меня, чтоб я грудями до стола касался. Обедать наварил? Давай!»— «Не имею права,— Вырви-Дуба отвечает.— Питания не хватит на товарищей».— «Я тебе приказываю!» Да швырк ему полено под ноги. Повалил долговзлого, спинку ему разрезал перочинным ножиком по это самое место, соли под шкуру насыпал, мякишем залепил, обед скушал — и до свиданьица!

— Ты уж не торопись, товарищ лейтенант, в сказке все — самое важное,— сказал Литовченко.

— ...В ту ночь кое-как обошлись, а наутро Переверни-Гору оставили. Однако та же картина, только соли больше ушло. В третий раз Покати-Горошек остался. Дед ему командует: «Поставь меня на стол. Давай, а то время нет. Я люблю, когда меня хорошо кормят».— «Нет, это не те ребята, что вчера были»,— Покати-Горошек отвечает. Дал ему хорошо, сбил, вытянул во двор за бородищу, еще дал для памяти... А там валялся дуб, водой подмытый. Он комель надколол, бороду запхал в трещину, сидит у окна, размышляет про свою королевну. «Когда я цвет твой увижу, яблонька моя?..» Приятели вернулись, смеются. «Соли-то хватило на тебя?»— спрашивают. А он: «Пойдем, покажу!» Смотрит — ни деда, ни дуба во дворе: сбежал. А этот дед был тот дед!.. Ладно, надо выходить из положения. Четыре километра шли они следом, как дуб корнями прочертил, видят — за кустками дырка в земле, а на дверце золотая шишечка — открывать. Заглянули — голова кругом пошла: бездонная трубища, в конце светлое пятнышко, но человек, между прочим, свободно пролазит. «А ну, рви корни, вей веревку... чего силе зря стоять! Вей аж до Берлина...» Те свили, дрожат, такой у них страх создался: а вдруг Покати-Горошек лезть их туда заставит? «Ладно, сидите уж тут,— он их утешает,— ждите меня месяц, как дерну ту веревку, тяните потихонечку, чтоб не порвалась...»

— Я эту сказку слышал,— вставил Обрядин, пока Собольков закуривал приухшую папирску.— Они все змеинные сокровища да кралю его наверх подымут, а самого внизу оставят.

— Нет, браточек, с тех пор подрос, умный стал Покати-Горошек,— непонятно поправил Дыбок.— Еще кто кого, думается мне, обманет!

Сказано было гораздо больше, чем уместилось в пересказе. Там были камни и звери, говорящие на иностранных языках, прозорливые одноглазые старцы, реки, что в бурю гуляют на своих водяных хвостах, бездонные пропасти, куда скатывался заветный перстенок, и прочее, точно рассчитанное по времени Собольковым... Неторопливо подступал рассвет. В синей мгле непоследовательно, как на негативе, проявлялись, бессвязные пока, черные и белесые пятна. Расстояния изменялись на глазах, но тьма еще надежно держалась в небе, и можно было лишь догадываться о значении смутной бахромы, протянувшейся по ровному ночному месту. И то, чудилось, шевелился ближний кусток, то пригibasлся кто-то к земле, врасплох застигнутый обрядинским глазом. Теперь только сказка да мысль о солнышке и согревали продорвший экипаж двести третьей.

— ...Словом, долго он спускался, все руки ободрал. Огляделся, видит — туда-сюда шоссейная дорога, на ней след от дуба процарапался. Ладно, двинулся по тому ориентиру. Жуть его забирает — под землю попал, а вокруг такая обыкновенность... только все как бы плохими спичками приванивает. А сердечко-то чует, как кличет она его: «Томлюсь в темнице, торопись, мой милый, пока не облетел мой пышный цвет!» Наконец видит — город. Средь зубцов развешаны на просушку туловища,

руки... разные куски человечества, которое сюда достигало. Головы отдельно кучкой сложены, печально смотрят их впалые очи: «Мы тоже жили и стремились. Остановись, поприветствуй нас, путник!» А при самых вратах — и смех и грех — дед все с дубом вонзится. «Здорово, старик, — Покати-Горошек говорит и дает ему разок для просветления. — Теперь и я к вам в гости собрался. Сказывай, чьи хоромы и зачем геройские кости по стенкам висят?» Тот ему докладывает, что это есть дворец змея. А имеет он не семь, а все двенадцать голов и прожизав с главной женой в боковом флигере, налево за углом, пока меньшенькие подрастают. Их всего здесь, змеинных невест, девяносто восемь штук. Лет ему неисчислимо, а кости для острастки висят. «Сейчас, говорит, улетел на тот свет прикупить кое-что и для моциону перед обедом». — «Где ключи?» — «При мне». — «Давай сюда!» Подвязал брюки, чтоб какая ядовитая мелочь не заползла, и пошел. Разомкнул все три парадных крыльца — нет никого. Змеевы холопы, как завидят тросточку, так и прячутся... Идет, каждый уголок по имени окликает: «Милая, отзовись, вот он я!». В одной комнате непочатые бочки стоят с провиантом, в другой — запасное хозяйское обмундирование — зубчатые хвосты, зимние крылья на черном меху, когти разного размера... В третьей — товаров целый универмаг: отрезы, чулки, пишущие машинки. Разомкнул он десятую комнату — колена подломились. Сидит его краля за столом, нарядная... как они только нашему брату снятся! Однако с лица малость бледная... с зеленцой... не то от душноты подземного помещения, не то притомила ее прошлой ночью змей. И при ей девочка сидит на стульчике, худенькая, о трех головках... Змеи им чай с вафлями подают.

Враз она голову повернула: «Вы чего хотели?» — интересуется. «Где, милая детка, твой муженек двенадцатиголовый?» — Покати-Горошек спрашивает. «А вам по какому делу?» — «Хочу его убить для всеобщей пользы». — «Не советую, — говорит и жует вафлю при этом, — а советую, гражданин, скоренько уходить. Он вас погубит». — «Что ж, я это теперь только приветствую...» — «Хорошо, тогда обождите, говорит, в прихожей. Почитайте там газетки со столика!» А сама все дочку потчует: «Ешь, маленькая, ешь, а то у тебя малокровие разовьется!» И тут заметила она свой перстенок у Покати-Горошка — да прыг к нему через стол в его объятья. Дрожит вся, латится, без умолку говорит: «Я тебя ждала, мне с ним жить хуже смерти. Я буду тебе верной женой. Хотя и обучил он меня различной музыке, но он меня, между прочим, и погубил. Ты сейчас покушай, выпей пока сто пятьдесят грамм, больше не надо, и ложись под койку. А как прилетит да заснет, ты ему головы отрубай, а я буду в большую корзину складать, чтоб не приклеивались назад. Только остерегись, из его ушей иногда выскакивает опасное пламя... Будем с тобой жить, золото распечатаем, да я еще из одежды запасла. И не серчай, я тебе хорошую, справную дочку рожу, а эту сырой водицей напоим... может, и помрет, бог даст. И таким манерцем мы выйдем с тобой из положения».

Она ему крабы, портвейн придвигает... он не ест, не пьет. Она его хочет целовать, он не может на нее смотреть, мой бедный Покати-Горошек... лишь только головой качает. Сердце его в клочья летит!.. Уж он простить ее собрался, да вдруг представилось ему, как входит к ней муж под вечерок во всем своем змеином сраме, ночной халат нараспашку, а из ворота все двенадцать голов букетом торчат... и целует она их в зеленые их прыщи, по очереди все двенадцать, одна другой краше, и гладит точеной ручкой его подлое ледяное тело. И махнул он рукой на нее, но не убил, а только шатнул от себя тварюку. «Нет, дорогая, я не такой. Посмотри, какой я из-за тебя ошарашка стал, ведь ты меня и не узнала. Неделями не ел, месяцами не спал из-за тебя. Но зачем ты надругалась над героем?» И заплакал на женскую любовь, а потом вышел, опустя голову, из змеиного дворца, видит — дед. Высвободил ему бороду, посидели они тут, свернули по одной, покурили. «Так-то, дед, зря я тебя обидел. Лучше бы мне и не приходило». А тот смеется. «Ласки в тебе мало, молодой человек, — отвечает, — небось всё в делах. А ведь женщина что чурка: лизнуло огоньком — и горит. Я это дело по своей старухе на практике изучил... Ты знаешь, отчего я седой? ...Так я скажу тебе, отчего я седой...» И только начал он



про себя рассказывать, прошумело над ними небо. Глядь — летит с зеленым выхлопом большая лысая птица, целая гроздь виноградная вместо головы...

Дальше Собольков не сказал ни слова, Обрядин тронул его колено.

— Идут, — шепнул он, и все поняли, что ночь кончилась и наступил долгожданный день: башнер также спросил взглядом, нужно ли закрыть люки, но лейтенант отрицательно качнул головой.

Бахромка в поле оказалась густой кустарниковой порослью, за которой виднелись деревья и повзрослел. Полею деловито шли немцы, шестеро, но, может быть, их было восемь; они шагали, видимо, не по целине, потому что двигались быстро и не проваливались в снег. Патруль увидел двести третья и свернул к ней с дороги. Произошло маленькое совещание, они залегли, и Собольков пожелал, что заблаговременно не положить дымовую шашку на плиту моторного отделения. Но лежать так было глупо; кроме того, танк мог оказаться и своим — немецким, подбитым во вчерашнем сражении. Двести третья молчала, немцы стали расползаться цепью. Отделясь от потемок, двое в рост двинулись вперед по связкам круглых и на длинных ручках банок, похожих на большие детские погремушки. Ноги едва волоклись, им не хотелось; сзади их подталкивали криком и, донеслось, припугнули чем-то вроде Гитлера. Самоубийцы приближались с частыми остановками и в смертной надежде сияясь рассмотреть на танке его грозную рану. Наблюдать из-за броневой стены их петушиное недоумение было смешно и весело. Один пошел в обход. «Без команды не стрелять», — почти вслух приказал Собольков... Расстояние сокращалось, но он знал, что не бывает таких силачей, чтобы связку гранат швырнули за тридцать метров. Так чего же еще жаждал он испытать в жизни, куда заглянуть стремился этот не раз простреленный человек? Ждал, когда подымутся остальные, или просто смеялся над собой за вчерашнее?.. Извернувшись, Обрядин тискал ему колено здоровой рукой: такая игра происходила не по уставу. Но теперь все происходило не по уставу. Не разрешалось отрываться от штурмующей бригады или сидеть ночь в противотанковом рву; кроме того, двадцать третье число также не было обозначено красным праздничным цветом в уставе... Те опять залегли, и стало слышно, как левый, передний, судорожно плачет и корчится, уткнувшись лицом в снег. Видимо, он был не из героев.

— Испугался, дерьмо... — каким-то тягучим голосом сказал Дыбок, заражаясь волнением Соболькова. — Цып-цып-цып, — позвал он еле слышно, но те лежали; он еще позвал, послушней, и тогда, как бы повинуюсь, те поднялись в окончательную перебежку.

— Заводи! — в голос крикнул Собольков.

## 12

Так началась война и в этом рассветном затишье. Гул мотора слился с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь, а другим немцам дано было видеть еще полминуты, как, вспугнутая, вилась и галдела над лесом галочья разведка. Двести третья намеревалась прорваться по прямой, как ей было короче, но сбоку заступал по броне станковый пулемет, и она сделала небольшой крюк, чтобы наказать дурака за бесцельную трату патронов. В зимнем эхе лесов, как в зеркалах, отразилось множество батарей. Артиллерия проснулась, лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок... Подобие лесной сторожки попало ей на пути; Литовченке на мгновение показалось, что видит в упор, в триплексах, перед собою стол с самоваришком и немецких командиров, мирно сидящих вокруг: они так и не успели сообразить, что помешало им попить чайку во благовремье... И еще километра три мчалась двести третья по опушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления и падением сбитых деревьев... Им попалась прогалинка в мелком ельнике, там сделали они остановку — осмотреться, оправиться, принять последнее решение. Собольков отбежал с компасом метров на десять от машины, но стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутье и опыт; вдобавок события ночи



неминуемо должны были смешать диспозицию вчерашнего дня. И тут Собольков произнес самую краткую свою речь; ему хотелось, чтобы каждый в отдельности вслух подтвердил свою решимость на то грозное и нечеловеческое, что не умещается в обычном приказании.

— Вот, товарищи...— и ростом выше стал, и засмеялся, радуясь чему-то, как мальчик.— Неизвестность окружает нас! Мы нынче как заноза в немецком теле... и выручки нам ждать не приходится. Но мы, танкисты, особый народ... они не жалуются на долю. Ихнее сердце и в огне смеется над судьбою!.. Мое решение — вперед и напролом идти. Чтоб ветер не догнал, так лететь. Так биться, чтоб навек у них застряло в памяти двадцать третье декабря. Но... может, неправильно я болтаю, Андрей? Ты ведь холостой, детишек нет у тебя... тебе драться не за кого, а? Ты, Вася, одного себе искал для мщенья, а я их тебе сотню враз подарю. Бери жадней, сколько в горстку влезет. А ты, повар, чего потускнел? Ой, не любишь ты беспокойства в жизни. Твою силу три раза вокруг земного шара обмотать... да еще черту шею сломать останется! Прав Андрюшка, не обожает беспокойства русский человек. Сам того ж племени, знаю. А скажи, можно ли задарма экое серебро отдавать?

Он окинул глазами зимнее убранство леса, строгие елочки в снежных коронках и с царственным горностаем на детских плечиках, небо — громаднейшее, как родина, самый этот снег, легкий и лапчатый, еще на синей ночной подбивке, но уже волшебно и ало подкрашенный сверху. Его сердце зашло, его голос срывался. Никогда в такой вещественной прелести не воспринимал он родной природы, ее вкрадчивых шорохов и запахов,— все ему было дорого в ней, даже эта знобящая, шероховатая тишина. Обрядин глядел себе в ноги; вдруг его лицо потемнело, точно Собольков, тряхнувший седым хохолком, кнутиком хлестнул по самому больному месту.

— Решай, Сергей Тимофеич! А и убьют дружка твоего, товарища Семенова Н. П.,— другие хозяева найдутся. Ведь тебе главное — было бы кому жареного медведя в томатах подавать. Ну, вали, потрепись, коли охота... пока земляки кровь льют!

— Чего меня терзаешь... али я слабже тебя, лейтенант?— поднял голову Обрядин, и что-то пугачевское, черное, атаманское слепительно блеснуло в его зоре,— блеснуло и, не выплеснув, погасло.— Я тебя постарше буду, во мне твоей прыти нет. Куда собрался? Что в уставе сказано? Глава восьмая, двести сорок четвертый номер... действовать в составе танкового звезда, в боевом порядке место сохранять, поступать по заданиям командира. Где все это у тебя? А обожать бы,— глядишь, наши и придвинутся. Ишь воздух-то гудет!— А то не воздух, то сердце шумно билось в нем самом.— Но ты прикажи, я выполню!

И тогда, злой, машистый и веселый, ударил его по плечу Дыбок.

— Везет тебе, законник... везет тебе, Сергей Тимофеич,— с двух приемов выговорил наконец он.— Везет тебе, друг милый, что есть при тебе Советская власть. Без нее, точно тебе говорю, так и слонялся бы ты по земле на манер Вырви-Дуба... вконец извелся бы, что силушку некуда приложить. Ну, хватит, поговорили, лейтенант. Пора, а то вон пташка смеется...— И верно, какая-то одинокая синичка резво порхнула с ветки, осыпая снег.— Садись, поехали!

Обрядин переключил горючее на левый бак, Собольков приказал закрыть жалюзи мотора, на случай, если кинут бутылку с бензином. Литовченко надел рукавички, чтобы так и не вспомнить о них до самого конца... С опушки они огляделись в последний раз, стараясь угадать место и высмотреть добычу. Ничего там не было впереди, кроме неба с голубыми морозными промоинами да сожженного села под ним. Да еще дикая простоволосая женщина, без возраста и худая до сходства с дымом, встала им на дороге. Все в ее жизни покончилось, она тащилась до первого германского патруля... Высунувшись из люка, Собольков посоветовал было ей сидеть дома и спросил кстати, как называлось когда-то село, лежащее ныне в безжизненных головешках.

— Война, где мои дети... где мои дети, война?!— тягуче и безнадежно простонала та, цепляясь за надкрылок. Ничего там не оставалось, в ее красных обветрен-

ных веках, — ни разума, ни страдания, ни самих зрачков: все съело горе и не подавилось.

Понадобилась третья скорость, чтобы оторвать машину от ее рук; встреча подстегнула ожесточенную удаль экипажа. Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных. Поколениям танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и одинокая тридцатьчетверка, когда ее люди не размышляют о цене победы... Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий: действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболюкова или тот эшелон с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Все спуталось в их памяти, утро и вечер, лето и зима, явь и бред, — самый пейзаж, наконец, так прыгавший в смотровых щелях, словно разрезали пополам и сложили обратными концами... Блаженная теплота, исходившая от перегретых механизмов, превращалась в зной; к исходу боя все в танке сравнялось с веществом и температурой. Показания уцелевших как раз и сходятся лишь на том, что отменно жарко стало в машине.

Зарывшись в тело германской дивизии, двести третья низала его во всех направлениях: так движется во внутренности танка ворвавшийся снаряд, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалеет себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попадание из всех, какие двести третья во множестве приняла на себя, не оказалось для нее смертельным. Но уже не удивляла и не пугала командира чудесная неуязвимость его машины!.. Одна могучая бронированная громада с белым фашистским крестом вырвалась из сарая наперез двести третьей; стальной тоннель пушки уперся круглым мраком в ее сердце. Неприятели выстрелили одновременно. Ветер немецкого промаха на мгновение оледенел лейтенанта; все болты и клетки напряглись в своем технологическом пределе... Вражеское железо пылало, видимо, стрелка ослепило солнце, что поднималось за танком Соболюкова; теперь все, даже это холодное медное светило работало на гибель Германии.

— Нет, сперва ты, а потом уж я!.. — сорванным голосом, торжествуя, закричал Соболюков.

Гром и треск огневой погони остались позади. Пока преследовать двести третья было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высокую гряду насыпи. Она была полна немецкими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Все это двигалось в сторону, обратную той, откуда пришла двести третья. Не обмануло Соболюкова солдатское чутье. Это было шоссе.

Тяжело дыша, приоткрыв грузные веки, двести третья, не мигая, смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыта насладилось око, прежде чем доверить железу самую работу мщенья. Тихо, на малых оборотах, рокотало ее сердце и что-то уже бесповоротно надорвалось в нем за два часа исполинской расправы. Слабый звенящий вой слышался в его неровном гуле, но такой же тонкий и пьяный звон, словно от вина, стоял и в ушах экипажа. Как в кочегарке плохого парохода, машинный чад выбивался изовсюду; масло достигало почти аварийной температуры — 130. Соболюков взглянул под ноги себе: снаряды были на исходе, дисков не хватало бы даже пунктиром пройти по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестевшем от масляного пота. Это был Кисб, которому, видно, разонравился жаркий климат итальянской шубы и начинало пугать такое затянувшееся землетрясение. Озабоченным, вопросительным взором он скользнул по своему беспокойному командиру.

— Терпи, Кисб... недолго осталось, — мигнул ему Соболюков. — Скоро приедем домой, а там и Алтай близко, будут тебе ши со свининкой... слышишь, варятся? — И правда, издали, из снежной сини, внятно доносилось как бы глухое бульканье варена.

Возможно, что и это он сказал лишь мысленно: его все равно заглушил бы

другой, неслышный и нечеловеческий крик, от которого давно оглохла душа: «Вот они, вот... убийцы, поработители, изверги!»

Шоссе в этом месте поднималось на мост, который легкой журавлиной ступью перешагивал реку. Плоское, сплющенное и цвета отпущенной меди, восходило солнце. Мороз нарядно приделал деревья, и праздничное затишье этого перевозимного дня оглашали лишь истонный немецкий окрик да еще однообразный шелест движения, славившийся над крупнейшей артерией фронта. Плотная черная кровь текла по ней в сражающуюся руку, которую на протяжении часа должны были отсечь от тела. Основной инвентарь убийства уже работал на передовой, и теперь, попеременно с подходящими резервами, туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. С расстояния полувыстрела это казалось безличной пестрой лентой... но и в полном мраке видит глаз ненависти!

Сама смерть двигалась по шоссе, всякая — в бидонах, ящиках, тюбиках и цистернах, добротная немецкая смерть, проверенная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердая и газообразная, смерть, что кочевала по нашим землям в душегубках. Загнанные под штабные автобусы, они шли здесь в ряду бронетранспортеров и грузовиков, крупнов, оппелей и мерседесов, как бы возглавляя их шествие, а за ними, мелким дьяволом и на бесшумной резине, несло все, что века таилось в подпольях германских университетов — скотские бичи на наших мужиков, гвозди — прибывать младенцев для мишеней, негашеная известь и сквозные металлические перчатки для пытки пленных, черная паста, что вводится в ноздри грудных для умерщвления, пустые и жадные чемоданы под трофейное барахло и мины, пока еще безвредные, бесконечно замедленного действия, не уловимые приборами мины на святыни и элеваторы, обсерватории и школы наши — когда они наполнятся детворой. Горемычные лошадки, выбиваясь из сил, тянули этот инструментарий страданий, и даже пешие маршевые батальоны опережали их. Эти шагали уже без песен, скучные и томные, но еще прочные — железная связка фашистских отмычек к сокровищницам мира, отребье, стремившееся поселиться во внутренностях человечества; трехтонки с фабричными деревянными крестами сопровождали их, смертельно раненных мечтой о надмирном могуществе. Все это двигалось в самое пекло битвы, чтобы, расплыясь в ничто, обратиться в поражение; они еще не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке: двести третьей не хватало им для оживления!

Так крадется охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь, — двести третья медленно набирала скорость. Удобный отлогий подъем выводил дорогу на шоссе; став в сторонку, германский штабной связист копался здесь в своем мотоцикле, пока другой материал его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собою танк, когда он стал величиной с полнеба... Задние шарахнулись, передние не успели понять, что случилось за спиной. Норовя уйти от гибели, трехосный, специального назначения, б ю с и н г зарылся было в свои же повозки, но Соболюков подумал только: «Куда, сатана!» — и тот через мотор, наперегонки со своими ящиками, закувыркался под насыпь. Этим ударом открывается победоносный бег двести третьей к ее немеркнувшей военной славе.

— Твои!.. — крикнул Соболюков, даря водителю весь этот черный, многогрешный сброд, застылый вокруг его гусениц.

В каждом мгновенье есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетьям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст боевые машины утроенной мощности, но страшней и прекрасней двести третьей у него не будет никогда. Стоило бы песню сложить про это крылатое железо, которого хватало бы на тысячу ангелов мшенья, и чтобы пели ее — пусть неумело! — но так же страстно и душевно, как умел Обрядин... Двести третья недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструкторы, мучатся сталеваеры и милые женщины наши стареют у станков. Так, значит, не зря мучились они, не спали и старели!.. Танк швыряло и раскачивало, как на волне; движение почти поднимало его над гудроном, и тогда верилось — на первом препятствии вылетят пру-



жины подвесок или лопнет стальная мышца вала... Но вот он становился на дыбы и опрокидывался на все дерзавшее сопротивляться; он крушил боками, исчезал в горах утиля и вылезал из-под обломков, неожиданный, ревущий, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которое щепилось, горело, кричало, вздувалось пеной и пузырьрем. Все в нем убивало наповал; картечный, с нахлестом, и иной огонь, что лился из всех его щелей, подавлял волю врага не больше, чем самый вид его и то красное, шерстистое, неправдоподобное, что прилипало к броне или металось кругом, застревая в крепленях траков. Никто не плакал, не поднимал рук, не молил о пощаде — у них не оставалось времени на это. Простреленные насквозь, они еще стояли, когда набегал на них танк.

Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, падая в алую зимнюю бездну, а лошади сгибались, точно подвешенные под брюхо на лебедке, а солдаты, которые и шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместительного, насыщенного голубой снежной пылью простора, — довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощекий воздух, и, поиграв, швырял с маху о бетонные откосы, а река распахнула лиловый, непروحный ледок, размещая без задержек грузы, войска и технику, прибывшие наконец к месту назначения. И каждый раз горячий пар облачком вырывался из воды, а отраженное солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвась, снова сомкнуться в круглое, медное, целое... Находились и смельчаки: в иступлении отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные ее осколками, свисая и судорожно держась за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...

Тут же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатерланда, тяжелое немецкое сомнение контрбандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Он взрывался сам, с силой тола разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третья, почти расчистив ей дорогу: все валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы — все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой — взорваться в гущу врага... Лишь одна открытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги — из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третьей, вес и скорость стали ее оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченко, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и вражеское мясо спружинили ее падение, но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полете, — майор.

Его колени усердно бились в полы длинной шинели, всякие походные футлярычки скакали по бокам, фуражка скатилась с него и слетели очки. Вслепую и не оглядываясь, он бежал к ближнему кустам, где можно было притвориться падалью, — проваливался в снег и опять бежал: он любил жить! Ему удалось выиграть время, — двести третья не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора не хватит. То был пожилой, средней упитанности фашистский хлост с майорскими зигзагами на рукаве и, кажется, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращения девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его



затылке; это был он, тот самый, что посмел замахнуться куренком на старуху, и теперь уже никто не уберег бы обреченного германского майора от Литовченки. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать беглеца хоть из автомата, потому что не тратить же было на удовлетворение частной потребности последний их, последний в жизни снаряд! Расстояние стремительно сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью.

Левая гусеница была цела и мертва, снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Машина тяжело и медленно закрутилась на месте, как бы стараясь ввинтиться в мерзлую землю. Соболюков решил горяча, что немецкий танк подобрался с боку. «Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!» — бормотал Соболюков и все пытался обернуть орудие к врагу, которого еще не видел — сколько его и каков. Второй удар пришелся по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор; в его раздражающий уши звон вплелись неясные смертные стуки... и все же он еще тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться.

— Уходи... все! — успел крикнуть лейтенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки. И он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ноги с педали. — Лес... бежать... всем... — повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.

Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее, — Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглушенный, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с обожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалился к задней стенке, прямой и очень строгий, только непонятная темная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый командир еще глядел, как кажется, приказывал Обрядину покинуть танк; и опять — уже в последний раз — ослушался его башнер, как изредка по мелочам делал это и при жизни.

Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо; ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не заметил, как внизу, сквозь каток, в одну и ту же дыру, туда, где тревожно мяукал Кисб, вошли четвертый и пятый, — и дрогнули по-братски все семьдесят два трака, и почему-то смертно заломило ноги у Обрядина.

— Погоди, не вались... давай вылезать отсюда, — осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. — Вылезай, Соболек... милый, вылезай. Хватайся за меня, я помогу. Врешь, танкисты особый народ... мы еще во!.. Давай, упрись сюда ножкой, Соболек мой...

Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едва понял, что и у десятка Обрядиных не хватит силы вытолкнуть командира наружу. «Одолели, одолели...» — прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто бил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошел шестой.

Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушечка. Черт поставил ее там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не промахиваются и новички. Уже были искверканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из трансмиссии и командирского люка; уже вся двести третья просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те всё стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голили ее, сшибали все крышки и, как жель, разгибали броню; только животный страх, что еще оживет двести третья — без гусениц, без башни, — мог быть причиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченкой, прячась за танком, пытался автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое

милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы.

...Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда подвиг его перерастает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражание тысяч, и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера. Таков был подвиг двести третьей... По живому проводу шоссе волна смятения покатила на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза: «На коммуникациях русские танки», — надо считать решающим в исходе Великошумской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трех направлений охлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, какую за сутки перед тем проложил Собольков... Одинокая размашистая колея двести третьей, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже было — не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища и шла дальше, волоча по земле свои беспощадные палицы.

Штурмовая лава Литовченки размела и свалила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И каждый, кто глядел из люка, или с седла, или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега, не в силах оторваться от печального и грозного зрелища. Клочок тепла от этого уже маленького, как представлялось сверху, костерка они на своих лицах уносили в бой... Время перевалило за полдень, двести третья еще пылала, но черные прожилки усталости все гуще струились в мышцах огня. Ветерку не составило бы труда вовсе погасить лентное, остывающее пламя, сквозь которое стал проступать остов преобразенного танка... Дело шло к вечеру, и примораживало. Нестерпимая красота наступала в природе...

Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал покатые хребты и малиновые склоны, пересеченные глубокими лиловыми распадами; розовые реки и спокойные озера светились там, недвижные, как в карауле. Возможно, сам Алтай в праздничной своей одежде припожаловал через всю страну проводить земляка в вечный путь танкистской славы. А тот, в ком есть отцовское сердце, отыскал бы там, в огне заката, и каменный стол под моховой скатеркой, за которым отдыхал не однажды со своей дочкой Собольков... Чуть вправо от этой родины героев сказочно и совсем близко рисовался синий профиль Великошумска, потому что пригороды его начинались тут же рядом, за тонким полупрозрачным перелеском. Мускулистые стальные думы поднимались над ним; казалось, само горе народное встало на часах возле двести третьей... Тем отрадней блистал сквозь них крохотный клочок золотца на высокой, узорчатой, может быть, лишь для этого уцелевшей колокольне. Город горел; догорало не испепеленное накануне. Ясно различимы были изгрызенные взрывом стены собора, у которого не раз Украина брательась с Русью, тесные вишневые садики, разгороженные плетнями и спускавшиеся к реке, безлюдные улочки, где неторопливо проходила дымная мгла, — всё, кроме пламени; оно никогда не бывает видно в закате.

Двое сидели на поваленном телеграфном столбе, лицом к солнцу и танку. Как у всех перешагнувших пропасть, не было у них пока ни раздумья, ни ощущения времени или голода, ни понимания всей новизны обстановки, — ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились еще там, внутри, еще крошилась броня над ними и звучал голос Соболькова... Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку Дыбку, на запястье. Она была маленькая и нежная; даже удивляло, что целую ночь, пока дрлись и падали люди, трудился над нею мороз, чтобы выковать такую пустячную и хрупкую бесценность. И сам собою возник вопрос: повторится ли она когда-нибудь за миллионлетье — в точном ее весе, рисунке, в ее живой и недолговечной прелести? Она растаяла прежде, чем родился ответ.

Вдруг Дыбок вспомнил про Кисё, его лицо исказилось, виноватая тоска сжала душу. Он побежал к танку и заглянул через передний люк, как будто еще не поздно было исполнить ночную просьбу Соболюкова. Чадный жар пахнул ему в глаза. Ничего там не было, на дне танка, в копотной мохнатой тьме, кроме горки застылой коричневатой пены да желтого пятнышка заката, проникшего сквозь пробину. Нельзя было долго глядеть сюда: жгло.

### 13

— Поезжайте медленно... мне нужно осмотреть все,— сказал Литовченко своему шоферу; оба Литовченки смотрели сейчас на одно и то же, только один издали, а другой совсем вблизи.

Старинное желание сбывалось, генерал навестил наконец родные места. Три в и л л и с а и один броневичок проехали по пустынной набережной, поднялись в горку, спустились на круглую базарную площадь, где когда-то, бывало, гадали бабы, странники и кобзари и где он на паях с Дениской покупал копейные лакомства ребячьего рая... Немецкое самоходное орудие с развороченной кормой чернело пугалом посреди. Ветерок гудел в зеве поникшего ствола. Вокруг лежали немцы, как застигнутые глубоким сном.

Никто не встречал победителя, точно спали все за поздним часом; ничто не двигалось, кроме огня. Тушить было некому: жителей угнали раньше, а войска ушли в прорыв... Вот нахохлилась в стороне одноэтажная деревянная развалюха его приятеля Дениски, но ничто не катилось навстречу облаять чужое колесо. Значит, спят Денискины собаки, как и тот неугомонный, вроде чернильной кляксы, спит сейчас под откосом шоссе. А вот и три дружных пенька от срезанных тополей при дворике учителя Кулькова... Никто не спросил генерала, кого он ищет здесь, ни сосед, ни хозяин, ушедший в дальнюю отлучку. Сквозь едучий дым в окнах видна была ободранная железная коечка и этажерка над нею, уже без книг, раскиданных на полу; огонь неспешно листал странички с заключенной в них такой наивной сейчас мудростью учителя Кулькова.

«Что же не ведешь меня в дом, не угощаешь знаменитыми кавунами, не хвастаешься, как вкушал их заморский профессор и все просил семечек на развод как благодеяния американскому человечеству?»

«Вот видишь сам, какие дела творятся, дорогое ты мое превосходительство...» — так же полуслышно отвечал Митрофан Платонович голосом летящих искр и пустых зимних ветвей, скрипом снега под ногами; еще доносилось порой, как кричал радист в машине рядом, вызывая Льва Толстого с левого фланга и требуя обстановку на 16.00.

— Да, непохоже... изменилось,— вслух подумал Литовченко и жестко, до боли, пригладил усы.— Раньше тут по-другому было. И сарайчик не там стоял...

— Верно, любовь какая-нибудь... на заре туманной юности? — пошутил помпотех, ехавший с ним вместе.

То было румяный весельчак, не терявший духа бодрости даже тогда, когда следовало малость и посбавить ее; они давно воевали вместе.

— Ты у меня просто сердцевец,— кашляя от дыма, а также потому, что еще не прошла его простуда, сказал Литовченко.— Не зря ты у меня железо лечишь.

Оставалось посетить лишь школу. Ответшное двухэтажное здание, плод кульковских усилий еще в царское время, стояло там же, близ почты, недалеко: больших расстояний в Великошумске не было. Переднюю стену сорвало взрывом, точно занавеску; внутренность школы представлялась в разрезе, как большое наглядное пособие. Литовченко узнал изразцовую, украинской керамики, печку, а также лестницу, по перилам которой они всем классом в перемены съезжали вниз. И хотя ступеньки достаточно приметно колебались под ним, он поднялся и благоговейно обошел темные загаженные комнаты с немецкими кроватями и окровавленной марлей на полу, каждому уголку отдавая дань внимания и благодарности. В



дальнем крыле находился чуланчик, куда и раньше складывали отслуживший учебный хлам. Дверь пошла на топку, и на полке, засыпанной известью, Литовченко еще издали увидел глобус, сохранный, видимо, ради этой встречи хозяйским усердием учителя Кулькова.

— А, здравствуй!.. — протянул генерал, точно увидел приятеля давних лет.

Страхнув белую пыль, он внимательно глядел в глянцевику поверхность, расписанную линиями материками и освещенную затекатом. Вмятина прихотилась чуть севернее того места, куда теперь устремлялись его танки; вмятина еще оставалась — для исправления глобуса, как и земного шара, потребовалось бы безжалостно распороть его и соединить половинки заново.

Литовченко поставил вещь на место и огляделся, прощаясь с тем, что изменилось теперь каждое мгновение. В пролом стены видна была река, движение на переправе и, среди прочих, один очень знакомый домик на том берегу. Окна ярко светились, точно старуха Литовченко затопила печь к приезду внука, только дым валил не из трубы, а из-под самой кровли. Генерал посмотрел на часы и удивился: на все вместе ушло одиннадцать минут — посетить родные места, выслушать стариковское молчанье, подвести тридцатилетние итоги.

— Ишь как быстро управились, а я думал, неделей не обойдусь. Новое, во всем новое надо строить! Вот, помпотех, где закончился старый смешной век девятнадцатый и начался другой, совсем другой век!.. Ну, что там у Льва Толстого? — Он выслушал сводку до конца, не перебивая. — Ладно, поехали.

Городок отодвинулся назад, во вчерашний день. Сразу за окраиной начинались уже привычные картинки немецкого разгрома. Там, как в музее, были представлены для обозрения образцы вражеской техники и вооружения, вразброс и навалом, и зачастую в нетронутом виде. Еще не оплаканные матерями и вдовами юнцы и тотальные солдаты того года валялись всюду, прикинув к чужой земле и вслушиваясь в гул своих отступающих армий. Одни из них пребывали уже в плохой сохранности, другие вовсе не имели внешних повреждений; может быть, их убил страх. Виллы и локко скользили между ними, стараясь не замарать свои чистенькие, после великошумского боя, колеса. Вихрь машинного боя разметал мертвых по всей окрестной пойме, шеренгами наложил у переправы или воткнул как попало в сугроб, где им предстояло ждать весны, пока не выйдет украинский пахарь на поля, освобожденные от зимы и нашествия. Ее было здесь много, иноземной мертвечины; казалось, вся она лежала тут, Германия, вымолоченная, как сноп. Так выглядела дикарская мечта, по которой прошла история и танки.

Все это несло мимо, не оставляя следа в привычном к таким зрелищам сознании Литовченки. Но вот воспоминания отступили перед большим черным пятном в обтаившем снегу. Генерал тронул шофера за рукав.

— Стой!.. Это, кажется, мои.

По колено проваливаясь в снег, он спустился вниз. Остальные последовали без приглашения. Два человека в матерчатых шлемах, понуро сидевшие на бревне, вскинулись и молчали, пока адъютант не наемкнул глазами левому из них. Держа руку у виска, тот принялся докладывать о происшедшем, но губы его тряслись и судорожно вздергивались плечи: еще не доводилось Дыбку в присутствии Соболькова рапортовать за командира.

— Ладно, не надо, — сказал Литовченко, касаясь его влажного плеча; все вокруг — раздавленная на шоссе пушчонка, непросохшая одежда, обломки штабной машины — рассказывало опытному глазу обстоятельнее, чем этот пошатнувшийся танкист. — Ну, ну, пройдет! — прибавил он, переглянувшись со своими. — Озябли, ребятки. Кто командир... ты?

Дыбок отрицательно качнул головой, и, что-то поняв, генерал сам двинулся к танку. Длинная лиловая тень от двести третьей была дорожкой, по которой он шел. Она растаяла, когда он добрался до цели; солнце зашло, сказка кончилась, вступали в свои права ночь и военная действительность. Как бы считая дыры, генерал обошел танк по жесткому войлоку обугленной травы. Он припомнил эту машину; сквозь копоть был достаточно различим ее номер, только теперь рваное отверстие



зияло вместо нуля. Привстав на отогнутый клок брони, генерал заглянул в башню и снял папаху.

— Дайте-ка мне сюда вашу науку и технику,— приказал он адъютанту, потому что в однообразной черноте танка сумерки настали скорее, чем в остальном мире.— Ишь как они обнялись,— заметил он дрогнувшим голосом, как-то слишком спокойным для того, что увидел.— Вот они, советские танкисты. Вот они мы!..

За двое суток капитан удосужился наконец сменить батарею, и командир корпуса сумел прочесть в танке все, что требуется для определения степени подвига. Надев шапку, Литовченко уступил место помпотеху. Пока остальные в очередь и подолгу глядели внутрь этого потухшего вулкана, генерал вернулся к экипажу. Теперь он признал и тезку, только этот был много старше того мальчика на железнодорожной станции.

— Узнаю. Значит, отца все-таки Екимом звали? Так... Кажется, брат у тебя в неметчине имеется?

— Точно... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— ответил Литовченко с суровостью, какой не было раньше.— Трое нас было. Тот — младшенький, Остапом по деду звать.

Генерал вопросительно взглянул на адъютанта, но, запутавшись в однообразии имен и горя, капитан уже не помнил, как ему называли угнанного паренька из Белых Коровичей.

— Помню командира вашего... кажется, Собольков? Такой, с седым вихорком был? Как же, помню Соболькова. Что ж, сгорела знаменитая ваша хата. Ничего, новую дам. Сам не ранен?

— Организм у меня целый... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Это главное!.. Так вот: там, метров триста отсюда, танк без водителя стоит.— Он кивнул в меркнувшую глубину шоссе.— Новичок... с открытым люком воевать хотел. Скажешь — я послал. Хозяин там тоже хороший, я его знаю. Он тебя посушит, покормит... и воюй. Будет что рассказать внучатам!— Затем он обернулся и к Дыбку, потому что обоих нужно было поддержать словом товарищеского участия.— Дети есть?

— Дочка...— неожиданно для себя сказал Дыбок, и желанная легкость вошла ему в сердце.

— Это хорошо. Дочка,— значит, мать героев. Большая?

— Восемь... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— ответил Дыбок, покосившись на танк, таявший в сумерках.

— Большущая. Верно, и читать умеет. Станешь писать — кланяйся от меня. Все. Записать фамилии!..

Молча подошли офицеры. Помпотех стал закуривать.

— Да... могила неизвестного танкиста,— сказал он раздумчиво, для самого себя.

— Неверно!— немедленно возразил Литовченко.— Это у них солдат одевают в форму, чтоб были одинакие, чтоб их не жалко было. А мы... нет, мы не забывчивые, мы все помним. Жена изменит, мать в земле забудет... но у нас каждое имечко записано. Кстати,— он показал на танк,— эти х не закапывать. Выйду из боя, сам буду их хоронить... в Великошумске. Таким и поставлю на высоком камне этот танк, как есть. Пусть века смотрят, кто их от кнута и рабства оборонил...— И тут же подумал, что проездом на теплые черноморские берега всякий сможет видеть из вагона высокую, как маяк, могилу двести третьей.

Виллис ушли и сразу пропали в сумерках. Пора было и Литовченко отправляться к месту новой службы. У товарищей не было даже кисетов, поменяться на прощанье: все осталось в танке. Они взялись за руки и стояли без единого слова; мужской солдатской силы не хватало им порвать это прощальное рукопожатье.

— Слушай меня, Литовченко,— глухо и не своим обычным голосом заговорил Дыбок, и сейчас не было в нем ни одного потайного уголка, куда не впустил бы товарища.— Что бы с тобой ни случилось...— Он помедлил, давая ему срок про-

никнуть в глубину клятвы.— Что бы ни случилось с тобой, приходи ко мне... Отдам тебе половину всего, что у меня будет. Меня легко найти, ты обо мне не раз еще услышишь... Я знаю. Приходи!

Литовченко выбрался на шоссе и, задыхаясь, побежал прочь от этого места. Еще незнакомое чувство клокотало в нем и просилось слезами наружу. Лишь когда все, танк и товарищ, затерялось в потемках, он перешел на шаг; идти в обратную сторону было бы ему гораздо легче, но Литовченко тут же решил, что за истекшее время он не мог уйти далеко, тот майор с зигзагами на рукаве!.. Новые, незнакомые люди ждали его где-то совсем рядом, и паренек испытал такую же щемящую раздвоенность, как и Соболюков в ночном танке, когда он принял своего башнера за Осютина.

Непонятная сила повернула его лицом назад. Война тянула к себе. Горизонт оделся в грозное парадное зарево, а над ним сияла одна немерцающая точка, на которую в эту минуту глядели все — и Дыбок, и черный Соболюков из открытого люка, и разорванное орудие двести третьей, и сиротка на Алтае,— простая, чистая и спокойная звезда, похожая на снежинку.

*Январь — июнь 1944 г.*

# Рассказы





СИБИРЯК

**М**арш окончен. Большая, изнурительная дорога позади. Бойцы из пополнения шли трактами, проселочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутные машины, и все равно это называлось, как в старину, «маршем». За такой «марш» солдаты успели перепачкать обмундирование, пропотеть насквозь и подчистую съесть харчишки, выданные на дорогу. Последний день существовали на так называемом бабушкином аттестате — добывали еду в деревнях и хуторах: где просили, где выменивали на новые портянки и белье картошку, молоко.

И все-таки до передовой добрались. Лежат в логу, на щетинистой, запыленной траве, лежат солдаты, слушают. Иные озираются при каждом выстреле, а некоторые делают безразличный вид. Разговоры в основном ведутся на одну тему: дадут или нет сегодня поесть? Единодушно решают: должны дать, потому как здесь уже передовая, и кормежка не то что в запасном полку, и забота о человеке совсем другая. Тертые, то есть те, что попали в пополнение из госпиталей, многозначительно ухмыляются, слушая эти разговоры, и на всякий случай изучают местность: нет ли где поблизости картофельного поля? Они-то знают, что на старшину нужно надеяться, однако и самому плошать не следует.

А передовая рядом. Вздрагивает земля от взрывов, хлещут пулеметные очереди, и нет-нет да и вспыхивает суматошная перестрелка. Бегают связисты с катушками, лениво ковыляют беспризорные лошади, урчат машины, а вот и раненый появляется.

Спускается в лог, опираясь на палочку. Он в одном ботинке. Поверх бинта к ноге прикручена телефонным проводом портянка. А обмотка, видимо, впопыхах засунута в карман и волочится, мешая идти раненому. Но он не выкидывает обмотку и ботинок тоже не выкидывает. Прицепил его за ствол винтовки. Видать, хозяйственный человек.

— Привет, славяне! — бодро заявляет фронтовик и указывает палкой на ногу. — Покудова отвоевался, а что дальше будет — увидим. Табачком богаты?

Новички услужливо полезли за кисетами. Но солдат с крупным, чуть рябоватым лицом успел раньше других сунуть раненому кисет. Тот неторопливо опустил ся на землю, поморщился и начал скручивать сигарку. Рябоватый боец с робким уважением следил за раненым, хотел о чем-то расспросить и не решался.

— Так это уже война? — наконец спросил он.

Раненый с форсом прикурил от трофейной зажигалки, отбавил из кисета табаку сигарки на три, выдрал клок газеты и, возвращая остатки табаку и бумаги, сказал небрежно:

— Она самая, — и махнул рукой через плечо: — Передок саженях в трехстах. Ну, я, братцы мои, пойду, а то, не ровен час, накроют. А у вас тут ни окопчика, ни щелки. Еще оттяпают вторую ногу, и придется мне на карачках до санроты добираться...

И он поковылял дальше. Боец, который давал раненому закурить, провожал его взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за ближней высоткой. Лицо солдата сделалось печальным.

Вдруг раздалась команда, все вскочили и, поправляя на ходу ремни, попытались выстроиться.

— Вольно! Всем сидеть!— скомандовал черноватый лейтенант с усталыми глазами и сам присел на катушку с кабелем, которую ему проворно подсунул связист.

И лейтенант и связист появились совсем неожиданно, словно из-под земли. Наловчились, видно, подкрадываться.

— Не ели сегодня?— поинтересовался лейтенант и сам себе ответил:— Не ели. Ну ничего, думаю, вечером нам кое-что подбросят,— утешил он и принялся расспрашивать: кто откуда, воевал ли прежде, чем занимался до войны, большая ли семья? И тут же записывал фамилии в блокнот и распределял людей по отделениям.

Рябоватый солдат сразу же попал на глаза лейтенанту. Лицо солдата с реденькими бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на лейтенанта так, будто он давно-давно знаком с ним и вот наконец-то встретился. Лейтенант не мог не ответить на эту улыбку, столько в ней было доверчивости, да и сам солдат выглядел уж как-то очень простецки, домовито. Не для военной одежды родился он.

Пилотка, еще новая, уже успела потерять форму и напоминала капустный лист, пряжка ремня сбилась набок, гимнастерка в мазутных пятнах, обмотки сделаны до колен, без всякого шика.

— Ну и вид у вас!— шутливо проговорил лейтенант.— Попортили вы, наверное, крови старшине в запасном полку...

— Всякое бывало, товарищ лейтенант, из наряда, почитай, не вылезал, только полу одного верст тридцать за два месяца отдраил...

— Фамилия?— оборвал солдата лейтенант, чувствуя, что тот радехонек поговорить...

— Савинцев моя фамилия. Матвей Савинцев. Я с Алтая. Может, слышали, деревня Шумиха есть недалеко от Тогула, так из нее.

— Нет, не слышал, товарищ Савинцев. Много деревень у нас в стране.

— Наша деревня особенная!— Савинцев оглянулся по сторонам, как будто подыскивая сравнение, и, не найдя его, со вздохом закончил:— Всем деревням деревня!

— По его рассказам выходит, товарищ лейтенант, что Шумиха эта почти город, только в ней дома пониже да асфальт пожиже,— раздался голос из группы бойцов.

Все сдержанно рассмеялись и сейчас же выжидательно замолкли.

— Куда же мне вас определить?— покусал губу лейтенант, все еще взвешивая, меряя взглядом неуклюжую, крупную фигуру бойца.

— Я человек неизбалованный,— с готовностью отозвался Савинцев,— куда пошлете, туда и пойду. Может, сомненье есть насчет моего старанья, так для проверки пошлите туда, где работы побольше.

Лейтенант подумал еще и решительно произнес:

— Во взвод управления, к связистам! У нас работы всегда много.

...И попал Савинцев в боевую семью «паутильщиков», как прозвали связистов на фронте. Покладистый, настезь открытый характер его, готовность в любое время, любому и каждому помочь, чем возможно, и ненадоедливая словоохотливость поспособствовали тому, что он незаметно сошелся с фронтовиками. Те почему-то не приняли его всерьез и с первого дня стали звать по-бабьи — Мотей, даром что был он отцом семейства, да и не маленького. Шло ему это имя, что ли? Наверное, шло. И теплота в нем была, и улыбка необидная.

Тонкости, которых много в боевой работе телефонистов, давались Матвеем туго. Впрочем, все в жизни давалось ему с трудом, поэтому он не падал духом, когда у него что-нибудь не получалось. Но уж если он что усваивал, то навсегда. Было дело, ездил он четыре года прицепщиком, дважды учился на курсах, прежде чем ему доверили управлять трактором. И как же удивились связисты, когда им стало известно, что был он знатым трактористом и про него даже в газете писали. Ну, расспросы, конечно, как да что, а Савинцев только отмахивался:

— Какой там знатный! Мало сейчас нашего брата в колхозах, вот и стали мы все там знатные.

В тихие вечера, когда война как-то сама собой забывалась и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной деревушке Шумихе, о доме, о семье. Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бани, в которой так хорошо попариться, придя с пашни. Простая жизнь, обыденные дела вставали в новой красоте. Раньше-то ее ни замечать, ни ценить не умели — все шло само по себе, все было как надо, и вот...

Иной раз Матвей доставал фотокарточку из кожаного, должно быть, доставшегося по наследству, бумажника, подолгу рассматривал ее. На снимке были сам он с неестественно напряженным лицом, рядом жена с ребенком на руках, а впереди еще девочка и мальчик. У парнишки удивленно открыт рот, а девочка, насупив брови, цепко держала в руках книгу.

— Школьница! — с гордостью говорил Матвей товарищам. — В четвертую группу зимусь ходила. И Сашка нынче тоже пойдет в школу. Одежку вот всем надо, катанки, книжки. Заботы-то сколько Пелагее, заботы! — и примолкнет, бывало, Матвей, задумается, а то и вздохнет. — Что-то они сейчас поделявают?

— Чай небось пьют, — подзуживал кто-нибудь из солдат.

— Что? Чай?! — удивлялся Матвей и с возмущением разносил простака, не имеющего понятия о деревенской жизни. — Да знаешь ли ты, голова два уха, что уборочная началась, одни бабы хлеб-то убирают? Не до чаев им, в тридцатом поту бьются... Вот приезжай после войны в это время к нам — почаевничай...

Матвею разъясняли, что есть разница во времени: если здесь, на Украине, вечер, то на Алтае уже ночь, и вполне возможно, что колхозницы и балуются чайком после трудового дня.

— Может, и так, только я спать ложусь вместе со своими и встаю тоже вместе — не могу отделиться, — говорил Матвей тихим голосом, глядя поверх солдатских голов, и на этом споры прекращались. Не о чем было спорить. Родной край, своя деревня, свой дом всегда и всюду с солдатом — они врастают в его сердце навечно.

А война бушевала, и враг катился с Украины к границе.

Вроде бы и неповоротливый мужик Савинцев да и не очень сообразительный, но дело свое он исполнял старательно. Рыскал по линии, исправлял порывы, сматывал и разматывал провода, лежал под разрывами и, выковыривая землю из ушей и носа, довольно-таки прытко бежал дальше. Конечно, как и всякий связист, он что-то изобретал, приспособливался, иначе на войне нельзя. Война — это не только выстрелы, война — это очень много работы, порой непосильной, неодолимой работы. И побеждает на войне тот, кто умеет работать, кто умеет порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил.

И Матвей работал, смекал, что к чему, принавливался, где надо — хитрил даже. Он первый стал перерезать нитку связи планкой карабина, зачищать провод зубами, обходиться в случае нужды без заземления. Но на фронте все изобретают, каждый час, каждую минуту изобретают, и этому никто не удивляется, главное, чтобы была польза. Связист, к примеру, исправляет линию чаще всего один, телефонисты клянут его, ругают, а когда линия начнет работать — тут же забудут о связисте, и дела им нет до того, что он там придумал, как изловчился под огнем наладить связь. Пожалуй, не было на войне более неблагодарной и хлопотливой работы, чем работа связиста.

Но война есть война. На ней все равно найдется такое место, где человек окажется виден во весь рост.

Однажды часть Матвея Савинцева попала под деревню Михайловку. На свете таких Михайловок, наверное, сотни. Обыкновенная деревня с белеными хатами, на хатах гнезда аистов, возле хат богатые огороды и сады, на улицах колодцы с

журавлями и грязи до колен в дождливую пору. И расположена деревня по-обычному — поближе к ручью, на пологом склоне. За деревней — возвышенность, удобная для обороны.

Заняв с ходу Михайловку, пехотинцы атаковали высоту, да не тут-то было, уцепились за нее фашисты крепко. Подтянули свои огневые средства пехотинцы, пальнули — и этого маловато. Стали артиллерию ждать. День прошел, два прошло, не дается высота. Встречались пехотинцам горы, перевалы и реки широкие. Одолевали их, шли без задержек, а тут из-за небольшого холмика такие дела разгорелись, что дым коромыслом. Иному Эльбрусу, может, не удостоиться такого внимания, какое привалило к этому бугорку. И большие и маленькие командиры обвели его на карте и красными и синими карандашами. Подтянулись к Михайловке «катюши», артиллерия, танки. Высоту измолотили так, что до сих пор, наверное, пахать ее из-за металла невозможно.

Но нашла коса на камень. Не отступает противник и — мало того — норовит атаковать. Ночью немцы изловчились и два дома на краю деревни заняли. В этих домах саперы квартировали и еле ноги унесли. Те два дома саперный начальник, пожалуй, и до сих пор помнит. Утром ему же вместе с его «орлами» пришлось их отбивать. Одним саперам, конечно, не справиться было бы, и дали им в поддержку артиллерию. Тот же лейтенант, что встречал солдат из пополнения, отправился с разведчиком и связистом к саперам, чтобы завтра корректировать огонь и держать непосредственную связь с теми, кто будет атаковать высоту.

В темноте, кое-где рассекаемой струями трассирующих пуль, связисты потянули линию на передовую.

— Стой, ребята! — раздался из темноты голос разведчика, шедшего впереди. — Тут болото. Не пройдешь... Надо вниз, по ручью, там есть бетонная труба, что-то вроде мостика, через нее и пройдем.

...Утром закурился над землей пугливый, застенчивый туман и быстро сполз в лога, пал дробною росой на траву. И роса была тоже пугливая. Капли ее чуть серебрились и тут же гасли. И все-таки роса смыла пыль с травы, и когда из-за холмов, над которыми все еще не рассеялся дым от вчерашних пожаров, поднялось солнце, брызнули, рассыпались мелкие искры по полям и в деревенских садах да в реденьких ветлах, что прижались у ручейка, затянутого ряской, защибетали пичужки, сыпанули трелями соловьи. Диво дивное! Как они уцелели? Как они не умерли со страха, эти вечные певцы с маленькими сердцами! Поют, и только! Поют как ни в чем не бывало. И солнце, страдное, утомленное солнце, светит так же, как светило в мирные дни.

Страда наступала, страда...

И вот справа, далеко за Михайловкой, булькнул, как булыжник в омут, минометный выстрел, вслед ему еще булькнуло. С минуту было тихо, а потом хряпнули вразнобой прилетевшие с той стороны мины — и пошло! Заухало, загудело, завывало кругом. Канули, потонули птичьи голосишки в грохоте, дымом заслонило спокойное, страдное солнце.

Боевой день начался.

Трижды бросались в атаку саперы, подстегивая себя руганью, и трижды заполошно, но уже молча отстреливаясь, убегали в пыльные подсолнухи. А саперный начальник, страдающий одышкой, стрелял для острстки вверх и крыл своих «орлов» непотребными словами. В конце концов два дома, потерянные саперами, остались существовать только на картах и артиллерийских схемах. Саперам достались груды кирпича да погреб со сгнившим срубом, но они и тому были рады.

Передовой пункт артиллеристов перебрался в пехотный батальон.

Дела здесь шли пока тоже неважно. После артподготовки пехотинцы по сжатому полю с трудом добрались до половины высоты и залегли. Горячая работа закипела у артиллеристов. Пехота просит подбросить огня туда, подбросить сюда. Сделано! Подавить минометную батарею. Вот и она заглохла. Мешает продвижению закопанный в горе танк — отпустить бы ему! Есть! Уничтожить пулеметную точку! Крой, артиллерия, разворачивайся, на то ты и бог войны!



Оборвалась связь... Телефонист Коля Зверев, молодой, вертлявый и, по мнению всех связистов, самый непутевый паренек, то и дело нажимая клапан трубки, звал хриплым голосом: «Промежуточная! Промежуточная! Мотя! Мотя! Савинцев!..» Коля ерзал как на иголках, смотрел на хмурого лейтенанта виноватыми глазами.

Нет никудышней человека, чем телефонист без связи: он глух, нем и никому не нужен. Он как бельмо на глазу у начальства — раздражает. И все, кто заходит в блиндаж, пронзая его насквозь взглядом и, как он ни жметя в уголок, все равно задевают его коленом, оружием, чем попало и рычат на него, будто не его задела, а он задел. Весь свет против телефониста, когда он без работы. Но есть, есть те, на ком ответит душу телефонист, — это линейные связисты. В данном случае это Савинцев, Мотя Савинцев. Ну, даст ему Коля пороху, даст разгону, несмотря что моложе Савинцева наполовину, — тут уж не до почтения. Сейчас послунавь палец и ткни в телефониста Зверева — запищит: до такой степени он накалился. Но вот наконец-то прерывающийся голос Савинцева:

— Заря, говорите с Москвой.

Слышно, как тяжело дышит Савинцев, запыхался, и тут же у Коли вся злость пропала, и он не стал «давать связисту пороху», а милостиво сказал: — Добро, Мотя, отключайся!

Вскоре, осыпав комья земли, в проход блиндажа втиснулась мешковатая фигура Савинцева. Он вытер пот рукавом и сказал:

— Здорово живем! Ох, и дает фриц прикурить... Возле мостика уж несколько человек убито, кое-как в обход проскочил.

— Заливай больше, — проворчал Коля Зверев, выражая таким образом недовольство.

Матвей виновато кашлянул, помялся и глухо добавил:

— Я попутно нес вам, ребята, перекусить... С командного передали...

— И пролил! — глядя на пустой котелок и флагу, перебил его Коля тем привередливым тоном, каким его допекали, когда он сидел у смолкшего аппарата.

— Да нет, — начал оправдываться Матвей, — в огороде, который саперы отбили, наткнулся на картофельную яму, а в ней женщина с ребятишками. Ни жива ни мертва и третий день не евши. Ну и... что хотите делайте... Солдатам не впервой, а там ребяточки все же...

Разведчик, хмуро молчавший до этой минуты, улыбнулся треснутыми губами от жары и хлопнул Савинцева по спине.

— Эх ты, Мотя-простота! Помрешь — без штанов находишься.

— Там можно и без штанов, там, говорят, теплень и бабье пост блюдет и на грех нуль внимания, — пошутил Матвей, ободренный словами разведчика, и засуетился, выгребая из кармана мелкие белолобые огурчики. — Вот, братцы, покудова заморите маленько червяка. Огурец — штука полезная: в нем и еда и вода. А я уж если не обед, так воды все одно добуду. Хотел в ручье набрать, а там вода-то — концентрат: тина и лягушки. Эх, у нас на Алтае водичка в ручьях — зуб ломит...

В блиндаж вошел лейтенант. По лицу его струился пот, оставляя грязные потеки. Выслав вместо себя разведчика, он опустился около телефонного аппарата на землю, облегченно выдохнул:

— Ну и жара!.. Как, Савинцев, линия?

— В порядке пока. На промежуточной напарник остался.

Лейтенант пристроил на коленях планшетку, разложил на ней карту и вызвал командный пункт, который по телефонному коду именовался Москвой.

— У аппарата Двадцать четвертый. Обстановка? Обстановка все та же. Пехтура добралась до середины высоты и лежит на брюхе, сухой паек доедает и огня ждет. Без огня у нас нынче ни шагу, избаловались. Надо будет два пулемета накрыть и батарею минометную. Ночью арицы поставили. Ну и сопровождающего огонька подбросить. Тогда дело пойдет. Передаю координаты... Алло! Товарищ Пятый! Пятый! Черт бы задрал эту связь, рвется, когда особенно нужна! — Лейте-

нант сердито швырнул умолкнувшую трубку на колени разом скисшему Коле Звереву.— Савинцев, на линию! Да бегом!..

Матвей как ветром выдуло из блиндажа. Сростки обжигали исцарапанную ладонь, но он бежал, не выпуская провода из кулака, юлил между бабками, валился в борозду к меже, когда стреляли. Возле ручья бабок со снапами не было, и Матвей пополз.

С той стороны по линии к ручью тоже бежал боец. Матвей узнал своего напарника. Недалеко от мостика связист, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал.

«Снайпер!»— мелькнула догадка у Матвея. И он закричал:

— Не шевелись! Добьет! Не шевелись, говорю!

Около упавшего связиста взвилось несколько пыльных струек, и он перестал двигаться.

— Ах, душегуб проклятый!— стиснул зубы Матвей.— Доконал ведь человека. И тех вон ребят у мостика тоже срезал!..

В трудную минуту Матвей всегда любил посоветоваться сам с собой, если обстановка позволяла,— советовался вслух, и это его всегда успокаивало.

— Так, значит,— заговорил Матвей, покусывая соломинку,— фрицы перебили связь на трубе и теперь, как на уду, ловят нашего брата. Снайпера посадили. Хитры, сволочи! Покумекать надо, а то дела не сделаешь и на тот свет загремишь!

Он осторожно отполз, подключил аппарат и услышал нетерпеливый голос лейтенанта:

— Двадцать четвертый слушает... А, это ты, Савинцев. Что там у тебя?

— И не говорите, товарищ Двадцать четвертый. Снайпер — холера, пропуска на тот свет выдает бесплатные. Напарника вон!..

— Та-ак,— слышался тяжелый вздох лейтенанта.— А связь, Савинцев, нужна... До зарезу! Понимаешь?

— Да как же не понимать, не маленький. Ну-к что же, тогда я поползу!..

— Постой, Савинцев!..— Лейтенант замолк, только глубокое дыхание, приглушенное расстоением, слышалось в трубке.

«О чем задумался, товарищ командир?»— грустно усмехнулся Матвей.— Думать не думай — воевать надо, связь налаживать надо. Мало ли видел ты смертей, сам ходишь со смертью рядом, а все еще чувствуешь себя виноватым, когда посылаешь бойца туда, откуда он может не вернуться. Может быть, увидел ты деревянную деревушку Шумиху и жительницу этой деревушки — Пелагею, которая вместо запятого окопной грязью письма получит коротенькую бумажку и забьется как подрубленная, запирает громко, по-деревенски. И встанут около нее трое простоволосых ребятишек. И не понять им сразу, отчего и почему где-то далеко взял и послал на смерть их отца молодой дяденька... Не думай, командир, не надо, не расслабляй душу себе и мне. Воевать надо, работать надо». Матвей шевельнулся и кашлянул.

Лейтенант тоже шевельнулся и кашлянул:

— Ну, все, крой!— и уже вдогонку, скороговоркой, недовольно буркнул:— Да поосторожней там!..

Отключив аппарат, Матвей пошарил глазами вокруг себя. Метрах в двухстах от трубы росли низкие кусты ивняка, спускаясь к самой осоке, разросшейся по краям ручья. Ободряя себя, Матвей сказал: «Живем пока»,— и пополз.

Осторожно раздвинув осоку, Матвей оказался в грязном русле ручья. Руки по локоть уходили в вязкий ил, ползти было трудно, но он упорно двигался к трубе, время от времени делая передышку и сплевывая вонючую воду. Берег ручья и осока скрывали его от глаз снайпера, но Матвей боялся, чтобы тот не заметил провода, прогибающего осоку.

Вот и труба. Матвей ногами вперед залез в нее.

По дну бетонной трубы лениво сочилась густая позеленевшая вода. Матвей, лежа на животе, вывинтил из карабина шомпол и, пользуясь трещиной в

трубе, загнул его крючком. Полюбовавшись своей работой, он привязал крючок к проводу.

— А ну, кто кого объегорит!

Немного высунувшись, Матвей забросил шомпол на верх трубы и потянул. Что-то зацепилось. Он дернул посильней, крючок слетел, и несколько оборванных проводов повисло с края трубы.

— Толково! Порыбачим еще, может, клонет!

Чиркнула разрывная пуля.

— Теперь я наплевал на тебя!— приговаривал Матвей, втягивая в трубу зарыбаченные провода.

Свой провод он сыскал сразу. Провод был трофейный, красный. Почему-то командир отделения связи обожал все трофейное и постепенно заменил весь русский провод на катушках немецким и был этим премного доволен.

«Вот он!»— удовлетворенно отметил Матвей и тут же подумал вслух:

— Небось из-за этого красного кабеля они и связь-то перебили? Ну да, его издаля видно. Ох уж этот сержант! Ему пусть дерьмо, да чужое. Ну погоди, выберусь отсюда, всю эту трофейщину к лешакам повыкидаю,— рассуждая так, Савинцев подключал соединенные концы к аппарату.

— Заря... Заря...

— Савинцев, ты?— раздался обрадованный голос лейтенанта.— Добрался? Ну, ладно. Благодарю!

— Да чего там, не стоит!— довольнехонько хмыкнул Матвей и, услышав, как лейтенант стал передавать координаты на «Москву», отпустил клапан, и, сам того не замечая, вполголоса запел. Пел, а сам в это время разбирал и зачищал другие провода:

Оте-е-ец мой был природный па-харь,  
А я рабо-отал вместе с ним...

Подключив конец серого провода, Матвей плечом прижал трубку к уху. Женский голос устало и безнадежно звал:

— Луна... Луна... Луна...

— Але, девушка, вы кого вызываете?

— А это кто?

— Это связист Савинцев!

— Ой, я такого не знаю! Как вы попали в нашу линию? Отключайтесь, не мешайте работать!

— А чего мне мешать-то, когда линия ваша не работает,— добродушно рассудил Матвей.— Говорите лучше, кого надо, может, помогу вашему горю. Да не посылайте связистов к трубе — снайпер тут подкарауливает.

— Луну мне нужно, товарищ связист, поищите, пожалуйста.

— На Луну пока еще линия не протянута, уж что после войны будет. Говорите уж лучше фамилию тутошнего связиста,— пошутил Матвей, отыскивая подходящий провод.

— Гольба, фамилия Гольба, ищите скорей.

Матвей подключил провод и начал вызывать Луну.

— Хто це просить Луну?

— Да тут девушка по тебе заскучалась — соединяю.— Матвей срстил концы проводов, взял трубку.

По линии уже разговаривали:

— Какой-то незнакомый связист Савинцев порыв исправил.

— Алло! Товарищ Савинцев?

Матвей нажал клапан.

— Ну я, чего еще вам?

— Широ дякуюю вас, товарищ!

— За что?

— Та за линию. Чужую ведь линию вы зрастили и такую помогу нам зробили...

— По эту сторону фронта у нас вроде нет чужих линий...

Но вот все концы, попавшие Матвею на крючок, срачены. Снова ожили линии, пошла по ним работа. А Матвей томился от безделья, зная, что незаметно улизнуть ему отсюда не удастся. Лежать неудобно — под животом мокро. Промокший, грязный, смотрел он на край деревни, видимый из трубы. Горели дома. Пылища мешалась с дымом. Наносило горелым хлебом. Огороды сплошь испятнаны воронками. Сады перепоясаны окопами. И трубы, голые трубы всюду. А солнце печет, и дышать трудно. Щекотно в ноздрях, душит в горле.

— Хм, чудак этот Голыба! Чудак! Все свое, все, и за эту вот деревушку, как за родную Шумиху, душа болит. Зачем ее так? Зачем пришел чужеземец и все позорил?

Ухнули орудия. Где-то наверху невидимые пролетели снаряды и с приглушенным стоном обрушились на высоту за деревней.

«Наши бьют!» — отметил Матвей.

Он умел по звуку отличать полет наших снарядов так же, как до войны определял на расстоянии рокот своего трактора. На высоте, которую Матвею не было видно, часто затрещали пулеметы, рывкнули минометные разрывы, захлопали гранаты.

— Пошла пехота! — отметил Матвей. — Может, я под шумок смотаюсь? — Он взял трубку: — Заря! Как там у вас?

— Порядочек! Вперед наши пошли. Огневики что делают! Вышли «тигры» да бронетранспортеры. Артиллеристы так их лягнули, что потроха полетели.

— Значит, дела идут, контора пишет?..

— Пишет, пишет!.. Да ты откуда говоришь? — спохватился Коля Зверев.

— Не говори, сынок, в таких хоромах нахожусь, что и дыхнуть нет возможности. Перемазался весь, мать родная не узнала бы.

— Да где ты, чего голову морочишь?

— Где, где... В трубе, что вместо мостика приспособлена. Вот где, и вылезти снайпер не дает.

— Двадцать четвертый пришел, хочет с тобой поговорить.

— Савинцев, ты что в трубе сидишь?

— Лежу, товарищ Двадцать четвертый!

— Ну потерпи, со смертью не заигрывай. Наши идут вперед.

— Потерпеть, так потерпеть... — уныло согласился Матвей и опустил трубку.

Но когда снаряды начали рваться гуще, Матвей все же не утерпел и осторожно выглянул, приподнялся, осмотрел поле с бабками снопов и вдруг радостно забормотал:

— Эх, фриц, фриц, ни хрена же ты не смыслишь в крестьянском деле! Сколько снопов в бабку ставится? Пять! А у тебя почти десяток. Погоди-и, научишься ты у меня считать...

Матвей схватил трубку.

— Заря! Заря! Двадцать четвертого мне.

— Нет его, ушел к пехотинцам.

— Слушай, сынок! — захлебываясь и спеша, заговорил Матвей. — Снайпера я отыскал, в бабке сидит. Она больше других и в аккурат против тех изб, от которых саперы драпали. Охота мне самому его, тварюгу, стукнуть, да несподручно из трубы.

— Айн момент, позвоню в штаб батальона. Они его из минометов угостят...

— Валяй поскорее.

От нетерпения Матвея стало колотить. Сунул он руку в карман и стал громко ругаться:

— Асмодей! Растяпа! Табак-то весь замочил!..

Секунды тянулись мучительно медленно. «Неужели не найдут?» — думал он и в то же время чутко прислушивался. Рывкнули минометные разрывы.

— Там! — вострепелся Матвей и уже смелее высунул из трубы. Бабки не было, только клочья соломы оседали на землю. — Так тебе, стерве, и надо! —



закричал Матвей... и внезапно осекся, взглянув на пойму ручья. По ней двигались четыре фашистских танка, за ними, не стреляя, бежали немцы.— Заря, Заря!— не своим голосом гаркнул Матвей, но Заря не отвечала.

— Москва! Москва!

— Слушает Москва. Чего ты, как с цепи сорвался?

— Кончай болтать, давай скорей Пятого! Тут танки прут!

— Где танки, товарищ Савинцев?— послышался голос командира дивизиона, который не выговаривал буквы «р».

— Товарищ майор, то есть товарищ Пятый!— путаясь, кричал Матвей.— К трубе подходят уже, бейте скорее! Отсекут пехоту!

— Без паники, Савинцев! Уходи немедленно оттуда! Открываем огонь.

Матвей схватил аппарат, опрометью кинулся из трубы к деревне, потом остановился, махнул рукой и вернулся обратно. Взяв в руки провод, побежал по высоте искать порыв на Зарю.

Матвея заметили. Вокруг него засвистели пули, хлопнули разрывы впереди. Он лег, стараясь теснее прижаться к земле. Танки остановились и начали из пушек бить через него, по высоте. Немецкие автоматчики, обтекая танки, бегом пошли в атаку. На склоне высоты засутились наши, готовясь встречать немцев. В это время беглым огнем ударили гаубицы. Болотистую жижу взметнули первые разрывы. Танки, пустив клубы дыма, заурчали и попятиться к ручью. Но за ними встала стена разрывов — заградительный огонь.

Матвей заметил, как один танк забуксовал в ручье, остервенело выбрасывая гусеницами жирный торф. Грязное лицо связиста расплылось в довольной улыбке, и он побежал по линии, пропуская провод сквозь кулак. Внезапно его, как пилой, резануло по животу. Яркие круги мелькнули в глазах, зазвенело в голове множество тонких колокольчиков, земля под ногами сделалась мягкой, как торф, и перестала держать его. Он упал, широко раскинув руки, и колочая стерня впилась ему в щеку. Пресный и сухой запах сухой земли, спелого хлеба, к которому примешивался еще более густой и еще более приторный запах крови, полился в него и застрял в груди комком. Не было силы выдохнуть этот комок, разом выплюнуть густую слюну, связавшую все во рту.

«Попить бы»,— появилась первая, еще вялая мысль в голове Матвея. Он приоткрыл глаза и совсем близко увидел мутный цветок, который колыхался и резал глаза, словно солнечный яркий блик. А на цветке сидел кузнечик, мелко дрожал, должно быть, стрекотал. На то он и кузнечик, чтобы стрекотать беспрестанно. Работник! Но все крутилось в глазах Матвея, в голове стоял трезвон, и он не слышал кузнечика, не узнавал обыкновенный цветок — сурепку. Он уже хотел закрыть глаза, но ему мучительно захотелось узнать, какой цветок растет, и даже пощупать его захотелось. Тут он заметил, что рядом с цветком лежит провод, вялый, как засохший червяк.

«А связь-то как же? Вот беда!» Он попытался подтянуться к проводу и с трудом преодолел полметра. И когда он взял провод в руки, чувство одиночества и заброшенности, которое всегда наваливается на раненого, постепенно стало покидать его. Нутром чувствовал Матвей: пока рука способна держать провод, будет литься в нее сила, и он потными пальцами крепко сжимал тонкую и горячую жилу провода. Он полз, явственно ощущая, как раскаляется провод и земля под ним и горячие, твердые комки заваливаются в живот и раскатываются по всему телу, давят на сердце. «Только бы при памяти остаться»,— твердил себе Матвей, стараясь не думать про рану.

Вот и порыв. Матвей отыскал глазами отброшенный разрывом в сторону другой конец провода, добрался до него и начал соединять. Но руки не слушались его. Пальцы, как видно, уже отгорели, потому что и боли не чувствовали, и горячего провода не держали. «Не могу!— с тоской подумал Матвей и последним усилием сжал в кулак занемевшие пальцы.— Вот силы соберу, тогда...»

Тут и нашел Матвея Коля Зверев, выбежавший на линию. По кошенине тянулась кровавая полоса. Коля перевернул Матвея. Под ним, в бороздке, скопилась

кровавая лужица. Земля не успевала впитывать кровь. Коля схватился за пояс, но фляги не было. Тогда он вытащил из кармана огурчик, которым так великодушно угощал его давеча Матвей, раздавил и кашлицу сунул пальцами в плотно сжатый рот связиста. На губах Матвея намокла грязь, кровь и мякина. Матвей кусал зубами стерню. Связь работала до сих пор через его руку. Коля попытался разжать кулак Савинцева, но пальцы как будто закаменели, закаменела вся эта увесистая, привычная к тяжелой работе крестьянская рука. Матвей открыл глаза. Точно в чем-то удостовериваясь, пристально и долго глядел на Колю, потом с трудом разжал пальцы, пошевелил запекшимися губами:

— На...— а еще через минуту по-детски жалобно произнес, скривив губы:— Худо мне, сынок...

Телефонист хоть и видел, что дела Матвея неважны, но как умел начал успокаивать. Говорил он обычные в таких случаях слова:

— Ранение пустяковое, и не с такими выживают, а ты мужик крепкий, сибиряк. Я вот тебя перебинтую, и порядочек. В госпитале залечат. Знаешь, у нас медицина — будь спокоен!

Матвей поморщился:

— Не об этом я. Плохо, что фрицев прозевал... Сколько пехотинцев-то пострадало, поди. И все этот снайпер проклятый...

— Да брось ты накаркивать на себя! И что это у вашего брата, деревенских, за привычка?— грубовато бубнил Коля, не переставая бинтовать живот Матвея. Он старался делать это так, чтобы Матвей не увидел раны.— За сегодняшнюю работу тебе сто благодарностей полагається, а ты вон чего городишь,— продолжал Коля отвлекать Савинцева разговорами.

Матвей покосился на него, тихо, но сурово молвил:

— Зря ты бинт переводишь на рану, и от меня ее прачешь зря. Как стукнуло, сразу понял, что каюк...— И, чувствуя, что времени остается мало, расходуя последние силы на то, чтобы говорить деловым тоном, хозяйским, он принялся распорядиться:— Значит, напишешь домой все как следует быть и всю мою последнюю заповедь исполнить.

Коля хотел было возражать, Матвей строго взглянул на него и слабеющим голосом, но обстоятельно продолжал:

— Стало быть, напишешь, погиб я в бою, честь по чести, чтобы Пелагея и земляки мои не сомневались. Та-ак.— Матвей замолк, задумался, и веки его начали склеиваться. Тогда он сделал над собой усилие и, точно боясь, что не успеет договорить, скороговоркой и уже со свистом, который шел из глубины, добавил:— Напиши... Сразу, мол, отошел... не мучался...— и уже совсем тихо, роняя бессильную голову, прошептал:— Это пропиши обязательно!..

Коля Зверев завыл и затопал ногами.

— Да какое ты имеешь право заживо в могилу оформляться?! Ты сибиряк! Понятно! И ты живой будешь! Понятно?!

Матвей приоткрыл печальные глаза, по-отечески снисходительно глянул на Колю.

— Эх, сынок, сынок! Поживешь с мое — больше понимать будешь. Деревенские мы люди, привыкли, чтобы все по порядку было, чтобы ничего не забыть в последний час... Э-э, где тебе! Прости, если словом обидел...

Потрескавшиеся губы Савинцева сомкнулись, а верхняя губа запала под нижнюю. Тяжкая боль навалилась на человека, ломала его силу, выдавливала стон.

Коля взвалил грузного Матвея на плечи и, дивясь тому, что у него откуда-то взялось столько сил, понес Савинцева напрямик через кукурузу, подсолнухи и хлеба. На губы Коли падали слезы, смешанные с потом. Он хотел их удержать — не мог, хотел дернуть рукавом по лицу — руки были заняты. Тогда Коля принялся сердито кричать:

— Деревенские мы... А мы, думаешь, кто?.. Я, может, сам. Я, может, пуще отца родного тебя чу... А ты... Эх, ты!..— и, чувствуя, что Матвей все более тяжелеет,

обвисает на нем, он громко закричал:— Слышь, Мотя, не помирай!.. Слышишь, потерпи маленько...

Но Матвей ничего уже не слышал. Перед ним колыхалось бесконечное ржаное поле. От хлебов лились сухость и жара. Совсем близко увидел он колосок, похожий на светленькую бровь младшенькой дочери. Он потянулся губами к тому колоску, но вместо колоска перед ним очутился сибирский цветок жарок, похожий на уголь. С цветка снялся пучеглазый кузнечик и с нарастающим треском помчался на Матвея. Он затрещал, как лобогрейка, потом — как трактор, потом — как самолет. Он гремел, надвигался, давил, подминал и обрушился тяжким ударом на голову. Мир раскололся от яркой молнии пополам, образовав огромную черную щель. В щель эту сначала огоньком, затем раскаленным шариком и, наконец, маленькой искоркой летел Матвей Савинцев, пока не угас.

Земля, пахнувшая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом.

СЕКУНДЫ ТИШИНЫ

Спрашиваете, что на фронте страшнее всего? По вашему вопросу сразу видно: сроду вы пороха не нюхали. Ведь правильно? Ничего удивительного. Еще недавно и я, необстрелянный сосунок, допытывался у всякого солдата:

— А что на фронте самое страшное?

Те в ответ только рукой махали. Когда фронт гремит, нет времени на такие разговоры. Но не унывайте. Видите — мой эшелон отойдет только через полчаса. Кое-чего успею вам рассказать. Присядьте тут, на старые шпалы. Вот так!

Первым делом представьте, будто вы идете в наступление. Знаете ли, что это? Понимаете, что такое закрутиться в вихре огня, дыма и свинца? Вы оглохнете — не отличить отдельных разрывов снарядов и мин, все сливается в сплошной адский гул, от которого земля у вас под ногами дрожит и стонет. Справа и слева, впереди и за спиной вздымаются столбы взорванной земли; грохоча огнем, взметая тучи черного дыма, вихрем мчатся танки; небо багрово от горящих усадеб, от охваченных пламенем лесов; с воем носятся по воздуху обломки, осколки... Но вы уже ничего не чувствуете, не видите, не слышите. Только сжимаете в руках винтовку и шагаете, шагаете, шагаете...

И вдруг — тишина!

И вы замечаете, что лежите, прижавшись лицом к земле, и никак не поймете: что случилось? где вы? что творится кругом? Глаза ваши мечутся, ни на чем не могут остановиться, успокоиться. И не только глаза. Каждый сустав у вас вздрагивает и словно спрашивает: «Что случилось? Что случилось?..»

Это страшный вопрос.

Еще не найдя ответа, вы вдруг почувствуете неудержимое желание крепче стиснуть винтовку, выскочить из окопа и опять ворваться в эту адскую бурю огня и свинца, снова шагнуть вперед. Только вперед!

Знаете, что это такое? Нет? Так слушайте.

Раз мы стояли перед одной высоткой. Наверху, в березовой роще, закрепились немцы. Мы были так близко, что видели впадины черных амбразур, грозно уставившихся на нас. А на высоте — ни живой души. Но мы нутром чуем: там, глубоко в земле, — «они». Не можем отвести глаз от черных амбразур и точно знаем, что в их грозной тьме кто-то затаился и напряженно следит за каждым нашим движением, каждым шорохом. Тишина, всем слышно, как на руке у командира тикают часы, а он на них смотрит, не оторвется. Кажется, весь впился в циферблат. Лицо окаменело, не дрогнет ни один мускул. Проходит еще несколько страшных секунд. Сердца так колотятся — кажется, вот-вот из груди выпрыгнут. Мы не видим, а только чуем, как поднимается сверху правая рука командира. И чем выше она поднимается, тем сильнее сжимает грудь, тем больше трясет все тело.

И вдруг...

Рука командира как молния метнулась вниз. В то же мгновение грохот прозвезал воздух. Показалось, будто что-то оборвалось у нас в груди, и телу стало легче. Грянул второй залп. Третий. Землю прикрыл густой дым, будто наступила ночь. И среди неописуемого грома и треска прозвучал голос командира:



— За Родину! Вперед!..

И, как весенний паводок, ломающий все запруды, мы хлынули из окопов. Рвались к этим черным глазам — амбразурам. Искали их в непроглядных тучах дыма, среди комьев земли. Но их не было. Ничего уже не было. Те, кто следил за нами, кто подстерегал нас, сами валялись теперь среди обломков, осколков металла, в ранах растерзанной земли. Да, артиллерия — бог войны — на славу выполнила свою задачу и сделала все, что требовалось!

Мы добрались до вершины. И тогда тихие возгласы вырвались у нас из груди. Сказать по правде, то, что мы увидели с высоты, не было для нас новинкой. Нет. Горящих деревень мы на своем пути перевидали десятки и сотни. И все-таки всякий раз чувствовали, что вместе с пылающими усадьбами, с рыдающими в огне живыми деревьями что-то словно горит и в наших сердцах. К этому нельзя привыкнуть, и любая такая картина наново потрясала нас. Мы стояли и видели, как село в несколько сот дворов из конца в конец тонуло в огне. Дым черными столбами медленно поднимался вверх, собирался в огромный неподвижный массив и сползал влево, к плещущей реке, укрывая от нас весь горизонт.

Мы остановились всего на минутку, а потом кинулись преследовать бежавших в беспорядке немцев. Даже не заметили, как по пятам врага ворвались в село и очутились в сплошном море огня и дыма. Кругом стоял такой свист и гул, будто все черти преисподней собрались пировать. И среди всего этого вдруг мы услышали какие-то особенные звуки. Это кричал человек. Мы перебежали через несколько огородов, свернули на узкую тропинку и возле пылающего сарая увидели почти обезумевшего старика с всклокоченными седыми волосами. Он кричал так страшно, как может кричать только старый человек, и от этого кровь леденела в жилах. Увидев подбегающих людей, старик крикнул еще ужаснее, попятился назад и вдруг изо всех сил ударился телом о дверь сарая. Казалось, даже каменная стена и та не выдержала бы такого напора. А тут была обыкновенная дверь деревянного сарая, запертая и закрытая на засов. От сильного толчка старик отлетел, как снаряд, и, глухо протонав, упал на землю. Мы уперлись плечами, дверь затрещала и рухнула внутрь пылающего сарая. И в то же мгновение, когда мы готовились кинуться туда, со страшным шипением рухнула прогоревшая крыша, дохнуло волной адского жара, огня, и летящие головни отбросили нас от пожарища...

Спрашиваете, что было дальше? Ладно, доскажу.

Я не скоро пришел в сознание. Кругом собралось много наших бойцов. Они молча ворошили чадившие и все вспыхивавшие головешки, что-то вытаскивали из-под них, осторожно уносили в сторону и укладывали рядами. Я подошел, глянул. Нет, не все тут были взрослые! Среди больших обугленных комьев виднелись и маленькие, со странно задранными ножками и вывороченными, искусанными огнем ручками — будто они защищались, да так и застыли.

Может, глаза у меня очень пострадали от огня, когда я выламывал дверь. Возможно... Из них без конца бежали тяжелые, жгучие слезы и мешали видеть. Все-таки в первом ряду я насчитал шестнадцать, потом девятнадцать, двадцать тел. А над двадцать вторым склонялась та же седая голова. Человек припал к земле и молча ласкал что-то черное...

— Уведите старика! — услышал я голос нашего старшины Рамонаса. — А то он с ума сойдет!

Два солдата не смогли его поднять. Казалось, сама земля притягивает несчастного и не отпускает. Старшина подал знак другим бойцам и молча отвернулся.

Старика увели.

— Ступайте и вы на перевязочный пункт, — снова раздался голос Рамонаса. — Сколько раз вам повторять!

Я оглянулся. К кому он так сердито обращался? И только теперь заметил, что правый рукав моей шинели почернел от крови. Когда же меня ранило?

Из нескольких сот изб уцелели немногие, да и те с вышибленными окошками, с закопченными стенами, как сироты, жались к околице. Я побрел за бойцами, уводившими старика.

Вы, конечно, видели, как выглядит внутри деревенская изба? Широкие лавки, стол из ясеня, колыбель на березовом оцепе, лампочка с разноцветной бумагой под потолком. Все это, конечно, было когда-то и там, куда мы зашли. Но теперь у меня под ногами хрустели черепки посуды, белела выброшенная из люльки постель, качался изуродованный стол, а скамейки были почему-то оттащены от стен.

— Что они наделали... Что наделали...— услышал я глухой голос.

Это рыдал седой старик.

— И зачем только... зачем я только вырвался!— закричал он, изо всех сил колотя себя кулаком по вискам.— Лучше бы сгореть вместе... Во сто раз лучше! Я подошел к нему.

— Там ваша жена?— спросил я.

— И дочка...

— У вас и дочка была?

— И внуки...

Вдруг он вскочил, бросился к выбитому окошку и закричал:

— Горит! Опять горит!

И протянул руки к полю.

Да, над маячившим вдали другим селом поднимались густые клубы от занимавшегося пожара.

Вскоре мы снова бежали среди грохота, дыма, пламени и свинца, до боли сжимая свои винтовки. И старик бежал рядом. В руке он держал подобранное где-то ружье, стиснув зубы, уставившись застывшим взглядом в разгоравшуюся деревню.

И вдруг я ощутил во всем теле цепенящий страх. Холодный пот выступил на лбу. Ужас сковывал мои суставы от одной мысли, что могут умолкнуть орудия, и уши больше не уловят разрыва снарядов и мин, и я... я опять окажусь рядом с командиром, глядящим на часы!

Чего так подняли брови? Что?.. Вы говорите — командир отсчитывает секунды?

Да знаете ли вы, что мы чувствуем в эти секунды, когда перед нами пылают села и города, льется кровь женщин, стариков и детей, а часы командира так медленно отмеряют время?

Подумайте и поймете, как зовутся эти секунды.

Они называются затишье на фронте.

Теперь знаете, что на фронте страшнее всего? Да?.. Что ж, на том и окончу.

## Александр Бек

(1902—1972)

### В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

**К**омиссар Талгарского полка Иван Алексеевич Костромин придерживался правила: никогда не брать на нестроевые должности людей, которые не побывали под огнем.

Однажды ему пришлось нарушить это правило.

После беседы с пополнением, которому завтра предстояло идти в первый бой, Костромин подозвал одного из прибывших. Это был, как узнал Костромин, знакомясь с бойцами, комсомолец Щупленков, недавно окончивший десятилетку.

К комиссару подошел голубоглазый парень, взял винтовку к ноге, стараясь проделать это по всем правилам, и напряженно замер. «Выучили», — неодобрительно подумал Костромин.

Впрочем, сегодня все было ему не по душе. Донимала тупая, ноющая боль в ноге. Костромин любил быть всегда подтянутым, даже чуть щеголеватым, старался, чтобы в любых условиях, пусть в распутицу, в слякоть, его высокие хромовые сапоги блестели, но сейчас... Сейчас лишь одну ногу туго облегал сапог, а другая, забинтованная, обутая в опорок, толстая от ваты, тяжелая, словно колода, мешала ему двигаться.

Разговаривая с прибывшими молодыми бойцами, Костромин опирался на суковатую, очищенную от коры палку, заменявшую ему костыль. «Пойду-ка в роты, — подумал он. — Там, кстати, можно и писаря подобрать». Он хмуро взглянул на Щупленкова и переступил забинтованной ногой. Поморщившись, подумал: «Придется посидеть еще денек-другой. Вот уж не вовремя».

— Стрелять-то из нее умеете? — спросил он, глядя на винтовку.

— Стреляю на «отлично», товарищ комиссар.

Костромин покосился. Солдат стоял вытянувшись и глядя прямо в лицо комиссару, как положено стоять и глядеть по уставу.

— Десятилетку с какими отметками закончили?

— Тоже на «отлично», товарищ комиссар.

«Пай-мальчик», — подумал Костромин.

— С ребятами в школе дрались?

Он решил, если парень ответит «нет», вопрос будет решен — такого не надо брать. Но Щупленков, запнувшись, сказал:

— Приходилось...

— А разве отличнику и комсомольцу драться полагается?

Щупленков промолчал. Молчал и Костромин. Шапка комиссара была надета немного набекрень, что очень шло к его чуть озорному лицу. Ветер трепал русые волосы, выбившиеся из-под шапки, которые даже на вид казались мягкими.

— Ну вот что, Щупленков, — сказал наконец он, — пойдете сейчас со мной. Будете работать писарем.

Во взгляде Щупленкова мелькнуло облегчение, лицо стало менее напряженным, и Костромин выругал себя: «Черт возьми, кажется, зря... Может, обойтись как-нибудь?»

Но обойтись было невозможно. Осколками авиационной бомбы третьего дня ранило двух писарей. От этой же проклятой бомбы пострадал и комиссар.

В блиндаж, где помещался командный пункт полка, они вошли втроем:

Костромин, Шупленков и Ермолюк — политрук, прибывший с пополнением, пожилой, грузноватый человек в очках.

Сев на широкий дощатый помост, щедро устланный ветками ели, Костромин с усилием положил на этот настил неповоротливую, забинтованную ногу и продолжал разговор с политруком.

— Всегда ищите, выделяйте лучших,— наставлял комиссар.— Поднимайте их, показывайте их всем. Не только проповедуйте мужество, но и заражайте мужеством.

Ермолюк смущенно улыбался. Ему, впервые попавшему на фронт, пока очень смутно представлялось, каким образом он, неловкий, близорукий человек, будет заражать мужеством. Поняв смущение Ермолюка, Костромин сказал:

— Запомните, дорогой Ермолюк: не тот герой, кто не боится и идет, а тот герой, кто боится, но идет.

Шупленков стоял неподалеку. Горевшая без стекла керосиновая лампа едва освещала его.

— Заявления в партию есть?— спросил Костромин другим тоном.

Ермолюк ответил, что несколько человек хотели вступить в партию, но у них пока нет рекомендаций.

— Передайте им,— сказал Костромин,— что завтрашний бой будет для них рекомендацией. На фронте человек проверяется в бою. Так и скажите каждому, обязательно лично каждому, и обязательно при всех. Как их фамилии?

Он достал карандаш и записную книжку. Ермолюк перечислил несколько фамилий, потом взглянул на Шупленкова:

— И он тоже... Шупленков, ведь ты хотел подавать в партию?

— Да... Хотел...

Костромин посмотрел на Шупленкова, но лицо комсомольца было скрыто в полутьме.

Отпустив Ермолюка, Костромин усадил нового писаря за стол, поближе к лампе. Голубые глаза юноши были серьезны. «Чего я? Хорошие глаза»,— подумал Костромин.

Он придвинул койку, перелистал записную книжку и сказал:

— Черт возьми, сколько накопилось! Сделаем сначала, Шупленков, самое главное. Пишите: «Сводка Информбюро Талгарского полка».

Стараясь устроиться поудобнее, Костромин подгрел еще хвоя под забинтованную ногу и привалился спиной к бревенчатой стенке блиндажа. Сняв шапку, ероша русые густые волосы, комиссар стал диктовать. Впрочем, слово «диктовать» здесь не вполне уместно. Он сам сразу сказал это писарю:

— Вы не старайтесь все записывать. Главное, поймите. Сейчас делайте пометки. Потом обрабатываете и принесете мне.— И добавил не без тщеславия:— Если ко мне писарь попадает, знаете, кем он у меня становится? Писателем!

В блиндаже продолжалась обычная фронтовая жизнь: у телефонов сидели дежурные связисты; командир полка работал над подготовкой завтрашнего боя, разговаривая по телефону или вызывая нужных людей. Во всем этом принимал участие Костромин: он бегло расспрашивал, распоряжался, но, положив трубку, неизменно поворачивался к писарю, возвращался к делу, которое тоже было подготовкой к бою.

Костромину исполнилось недавно тридцать лет. Даже сегодня, когда мучила ноющая, распухшая нога, державшая его словно на приколе, чувствовалось по голосу, по жестам, по блеску глаз, что он живет в полную силу. Костромин любил говорить, что методика работы комиссара, или, как он выражался, методика воспитания мужества, не записана нигде. Эту методику он не только досконально знал, но и творил. Он считал, что комиссар, как и стрелок, должен мастерски владеть своим оружием и непрерывно совершенствовать мастерство.

То, чем он занимался сейчас, составляя очередную «сводку Информбюро Талгарского полка», было его собственным изобретением. Говоря точнее, тут было три его изобретения.



Первое — Талгарский полк. В то время частям Красной Армии еще не присваивались почетные наименования по названию городов, взятых в бою у врага. Полк, куда был назначен комиссаром Костромин, имел свой номер, как и все наши полки. Это не удовлетворяло комиссара. Ему хотелось, чтобы у полка было имя; хотелось, чтобы честь полка, любовь к полку, традиции — все, что он, военный комиссар, вместе с командирами выковал и берег, как берегут оружие, было запечатлено в одном запоминающемся слове. И он нашел такое слово: «Талгарский» — по имени горной речки Талгарки, на берегу которой, близ Алма-Аты, в яблоневых садах, формировался полк. Он приказал во всех документах писать «Талгарский» и стал называть бойцов талгарцами. Костромин был необыкновенно весел, когда впервые получил пакет из дивизии, на котором значилось: «Комиссару Талгарского полка».

Второе изобретение — «Информбюро». Однажды, составляя очередное суточное донесение в дивизию, где говорилось о количестве уничтоженных гитлеровцев, о взятых трофеях, о бойцах и командирах, проявивших себя мужественно, героически, он подумал: «А что, если изложить все это так, чтобы понести потом бойцам? Разве им не интересно знать, что произошло за день в полку? Разве подвиги, о которых я пишу, не должны быть сегодня же известны всем? Да ведь это... Черт возьми, как я раньше не сообразил?» Так родилось то, что он позже назвал «сводкой Информбюро Талгарского полка». Сводки выпускались ежедневно, иногда даже два раза в день, и немедленно отсылались на передовую, в роты, для прочтения вслух.

И наконец, третье изобретение — писарь. Один из полковых писарей — комсомолец, окончивший среднюю школу, — стал у Костромина действительно до некоторой степени писателем. Костромин приучил его работать так: сначала писарь составлял конспект, фиксируя полностью лишь некоторые фразы, которые комиссар считал необходимым привести именно в том виде, как он их сказал, потом уходил, излагал записанное и после исправлений комиссара перебивал готовую сводку. С первым писарем все это наладилось отлично. И со вторым тоже. Каков-то будет новый?

Заглянув в записную книжку, Костромин стал рассказывать. Для него каждый день Талгарского полка, даже в периоды затишья, был днем замечательных дел. Когда политруки, недавно прибывшие в полк и плохо знающие комиссара, сообщали, что в роте никто не отличился, Костромин говорил: «Неправда! Запомните, в Талгарском полку не бывает таких людей! Если нет подвигов — совершите!»

В сегодняшнюю сводку он дал следующие эпизоды.

Лейтенант Бурдаков сбил из пулемета транспортный фашистский самолет, пролетавший над расположением полка из окруженного советскими войсками города. Пять гитлеровцев выбросились с парашютами и скрылись в лесу. Их нашли по следам, оцепили, крикнули: «Сдавайтесь!» Один за другим появились четверо, держа руки вверх. Пятый не показывался. Сдавшиеся объяснили, что это полковник с двумя железными крестами, что он только что поклялся скорее умереть, чем выйти к русским с поднятыми руками. Дав предупредительный выстрел, Бурдаков произнес боевую команду, но в ту же минуту из-за деревьев мирно вышел полковник с двумя большими портфелями. Рук он действительно не поднял: руки были заняты.

— Так и запишите, пусть талгарцы посмеются. Жалко, что этого полковника сразу отправили в дивизию. Привели бы сюда, я бы его всему полку продемонстрировал. Все поняли бы, что значит сбить немецкий самолет.

Затем Костромин рассказал, что расчет противотанкового ружья в составе трех бойцов (он перечислил их фамилии, имена и отчества), устроивший засаду, дождался наконец добычи. Подпустив фашистский танк, бойцы подожгли его несколькими выстрелами. Костромин послал им корзину огромных талгарских яблок.

— Это тоже в сводку, — сказал он. — Пусть знают все, что комиссар послал героям яблок.

— Записал, — быстро выговорил Щупленков и, подняв голову, держа наготове карандаш, уставился на комиссара.

В эту минуту Костромин ощутил симпатию к юноше. Люди, которые вот так — глядя ему в рот — слушали рассказы о талгарцах, сразу становились для него необыкновенно милыми.

— Знаешь ли ты,— спросил он,— что значит втроем драться против танка?

— Не знаю,— ответил Щупленков,— но, наверное, страшно.

— Угадал,— улыбнулся Костромин.

Рассказав еще несколько эпизодов, он произнес:

— Теперь пиши: «В последний час».

У Костромина была слабость к этому заголовку, который постоянно фигурировал в сводках, хотя выдающиеся события вовсе не обязательно случались именно в последний час.

На этот раз под таким заголовком он решил дать сообщение о молодых бойцах, выразивших желание вступить в партию. Он повторил то, о чем говорил Ермолюку: завтра они вместе с товарищами первый раз будут в бою, завтра они покажут, как дерутся люди, которые хотят стать коммунистами. Вот их фамилии. Раскрыв блокнот, он продиктовал фамилии. Последним в блокноте был записан Щупленков. Костромин взглянул на писаря.

Щупленков застыл с поднятым карандашом, потупившись и густо покраснев.

Костромин понял, что переживает Щупленков, понял, вероятно, лучше, чем тот понимал себя. Когда-то, перед первым боем, Костромин чувствовал то же самое: ему хотелось испытать себя под пулями, быть первым в атаке, совершить подвиг, и в то же время душу охватывал страх. И если бы тогда, накануне боя, командир приказал бы: «Отправляйтесь в штаб, вас берут писарем»,— он, вероятно, ушел бы с облегчением. Нет, пожалуй, не ушел бы. Или, во всяком случае, повернул бы обратно с полдороги. И сказал бы командиру... Кто его знает, какие слова нашлись бы тогда у Костромина, но он сумел бы остаться в строю, пойти в бой вместе с товарищами.

А Щупленков? Вот он сидит тут, краснеет. И Костромину вдруг показалось, что в эти мгновения, пока он медлит, словно запнувшись на запятой, решается будущее Щупленкова: быть ли ему большим или мелким человеком. Его подмывало отправить юношу обратно в батальон, послать в завтрашний бой, где он станет мужчиной, одолевшим страх, человеком первой шеренги. Но, взглянув на незаконченную сводку, он подавил сочувствие — дело выше симпатии. Созная, что совершает жестокость, он сказал:

— Точка. Все.

И не назвал фамилии Щупленкова. Обоим было ясно, что в данном случае ее не называть незачем, ибо Щупленков-писарь не пойдет в бой.

Щупленков вернулся через три часа, когда Костромин, не переносивший медлительности, начинал терять терпение. Близился вечер, сводка могла опоздать. «Подведет, подведет,— думалось ему,— не знает, что значит для бойца вовремя сказанное слово».

Однако, к удивлению, сводка удалась новому писарю: эпизоды были изложены простым, ясным языком, хотя в обилии призывов с восклицательными знаками чувствовалась неопытность. Костромин называл это «проповедями» и «заклинаниями».

— Долой всю воду,— говорил он, вымарывая лишнее.— Для возбуждения ярости нужно что-нибудь покрепче, чем вода!

Насупившись, Щупленков наблюдал, как комиссар вычеркивал целые фразы. Костромин взглянул на писаря и не сдержал улыбки.

— Пожалуй, ты действительно выйдешь у меня в писатели,— одобрительно сказал он, прочитав. И добавил, по привычке подзадоривая:— Пишут-то они красиво, но...

Он не стал продолжать, заметив, что глаза Щупленкова вдруг стали злыми: такого не следует поддразнивать, такой действительно, должно быть, дрался в школе!

Щупленков работал быстро. «Кажется, не рохля»,— с удовольствием отметил Костромин, глядя, как ловко перекладывает Щупленков шелестящие листки копирки, которые у него, Костромина, были непослушными, когда он за них брался. Скоро комиссар подписал пять готовых экземпляров.

Вручая один Щупленкову, он сказал:

— Отнесете во второй батальон, к своим. Когда вернетесь, можете ложиться спать. Завтра являйтесь сюда в шесть часов утра. Завтра горячий день.

На следующий день, в седьмом часу утра, Костромин разговаривал по телефону. Его нога, заново перевязанная на рассвете, обутая, как и вчера, в огромный уродливый опорок, по-прежнему недвижно лежала на хвойной подстилке. Атака уже началась.

— Как хлопцы?— кричал комиссар в трубку.— Двигаются? Сколько метров проползли? Сколько осталось до фашистов? Отлично. Передайте народу: комиссар полка сказал, что они замечательные хлопцы! Первые подвиги давайте. Кто отличился? Не можете сказать? Все двигаются — и никто не отличился? Не верю! Сейчас же выясните и через десять минут доложите...

Возбужденный, он потянулся, расправляя сильные плечи, и сказал:

— А где же, черт побери, писарь? Связной, сбегайте за ним. Расстолкайте и доставьте через две минуты! Я ему покажу, как спать, когда бой идет.

Развертывался наступательный бой. Прижавшись к земле, которую рвут мины и снаряды, над которой несется, сбивая сухие стебли прошлогодней травы, невидимый вихрь настильного огня, бойцы ползли к линии вражеских блиндажей.

Это медленное, страшное и, казалось бы, однообразное переползание в действительности вовсе не однообразно. Это напряженная борьба, в которой каждая минута драматична.

Вот бойцы в нерешительности остановились перед открытым гладким местом, где мелким пунктиром взлетали комочки земли: удар нашей батареи — одна очередь, другая, третья; вот наконец попадание — разворочен гитлеровский блиндаж, разбит пулемет, исчез страшный пунктир. Надо уловить это мгновение, чтобы броском проскочить вперед, пока противник не восстановил огневую преграду. Кто-то кидается первый. Кто это? Кто, какой корректировщик, какой наводчик, разнес в нужную минуту блиндаж? Кто, какой боец, двинулся первым? Кто, какой санитар, отважно перевязывает и выносит раненых? Кто, какой снайпер, перебил гитлеровцев у автоматической пушки, оборвав ее проклятый лай? Все это хочет знать Костромин. Он сам не раз бывал под пулями; сам, случалось, в критический час боя поднимал талгарцев в атаку. Его и сейчас тянет туда — ближе к бойцам.

Вскоре вернулся связной.

— Писаря на месте нет,— сообщает он.

— Как нет? Сбежал он, что ли?

— И не ночевал,— отвечает связной.— Пошел, наверно, спать в конный взвод, на сено.

— Разыскать немедленно! Я ему покажу — сено!

Связной уходит. Костромин смотрит на часы и опять звонит в батальон.

— Десять минут, которые я вам, дорогой товарищ, дал, давненько истекли. Выяснили? Почему же не докладываете? Почему ждете, чтобы комиссар вам напоминал? Кто впереди? Погодите, запишу фамилии. Так, так... А имя, отчество... Не знаете? Сколько раз я вам твердил, что героев надо знать по имени-отчеству. Извольте-ка узнать! Давайте дальше... Кто? Как? Шупленков? Позвольте, что за Шупленков? Черт возьми, ведь это же мой писарь! Как он туда попал! Сейчас же отослать обратно! Соедините меня с Ермолюком. Тоже в бою? Передайте мой приказ, чтобы писарь немедленно ко мне явился.

Положив трубку, Костромин сказал:

— Пожалуйте, ушел на передовую... Делай с ним что хочешь — впереди ползет.

Комиссару доложили, что к телефону, по его требованию, вызван Ермолюк.

— Где же этот писарь?— закричал Костромин.— Долго я буду его ждать? И почему вас я не могу дозваться к телефону? В бою? Это хорошо, это отлично, Ермолюк, но надо и связь за собой тащить. Отослал писаря? Как то есть не идет? А мой приказ? Я ему покажу отказываться! Что? Бросил в блиндаж гранату? Молодец! То есть какой к черту молодец? Я ему покажу, как бросать гранаты!

Связать и представить живого или мертвого! — И, раздраженно стукнув трубкой, он сказал: — Подвел! Угораздила меня нелегкая... Ведь знал, что подведет... Знал, добра не будет... — Потом, усмехнувшись, добавил: — Нельзя брать необстрелянных! И особенно — рядом со мной сажать!

И все, знавшие комиссара, видели: он не часто бывал так доволен, как сейчас.

С комически-тяжелым вздохом взяв бумагу, он стал писать утреннюю сводку сам.

Под заголовком «В последний час» говорилось о комсомольце Щупленкове, писаре, который отличился в бою.

Заключительные слова Костромин писал с чуть озорной улыбкой:

«Писарю Щупленкову, как и другим, вновь прибывшим и отличившимся сегодня бойцам, присваивается звание старого талгарца».



### ОНА ХОТЕЛА ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВОЙ

Оркестр у ворот заиграл марш «Хансхен кляйн»<sup>1</sup>. Звуки весело, словно жаворонки, улетали в чистое мартовское небо. Музыканты жмурились. Не от ослепительного блеска начищенных медных труб, но чтобы не видеть, для кого они играют. Лишь капельмейстер таращил глаза, чтобы не упустить знак, по которому музыка должна смолкнуть. Будто деревянная кукла, которую дергают за веревочку, он ритмически вонзал руки в воздух. Тогда рукава полосатой куртки съезжали вниз, открывая костлявые предплечья, обтянутые грязно-желтой кожей. Сегодня играли дольше обычного.

От приземистых барачков отделилась серая, точно посыпанная пеплом, колонна женщин и, окруженная охранниками, двинулась к воротам. Женщины шагали, взявшись под руки, — так было легче идти. И потому издали казалось, будто они вышли на прогулку. Магдалена с Ривой шагали в первой пятерке. Рива сегодня была очень бледна, она тяжело повисла на руке Магдалены.

Высокая колючая ограда перед ними словно расступилась — ворота распахнули. Сегодня у ворот ждали не только надзирательницы, но и эсэсовцы. Впереди, заложив руки за спину, чуть расставив ноги, стоял стройный молодой человек с белыми погонами унтерштурмфюрера. Это был врач лагеря. Он стоял не двигаясь, не меняя гордой осанки, и лишь серые глаза пристально и даже с задором гляделись в лица изможденных женщин. Когда первая пятерка с Магдаленой и Ривой поравнялась с ним, врач поднял руку. Оркестр перестал играть марш «Хансхен кляйн». И поднятая рука врача опустилась и указала на Риву.

— Тебе надо пойти в лазарет отдохнуть, — сказал врач.

От его свиты отделились двое эсэсовцев и схватили Риву за руки.

— Я не хочу в лазарет... Я хочу работать! — закричала Рива.

Было просто удивительно, как эта девочка, от которой остались только глаза и плечи с повисшим на них платьем, может так громко кричать, и притом когда ей предлагают отдых. Ее пальцы судорожно вцепились в локоть Магдалены. Эсэсовцам пришлось выворачивать Риве руки, чтобы оторвать ее от Магдалены.

В последний раз Магдалена видела огромные карие глаза Ривы, глаза, в которых было столько нечеловеческой тоски. Вот съехал на сторону и потом упал на землю серый платок. Непокрытая голова, черные, в полпальца длинной волосы, глаза, от ужаса вылезавшие из орбит, разинутый в отчаянном вопле рот, — это двадцатилетняя девушка!

— Я не хочу в лазарет... Я хочу работать!

Магдалена сделала шаг в сторону Ривы, как бы намереваясь помочь ей, но надзирательница оттолкнула ее.

— Ты тоже бледная, но подожди до вечера.

А потом исчезли и глаза Ривы, потому что двое рослых и сильных эсэсовца уволокли Риву в тыл свиты врача и передали ее другим эсэсовцам. Надзирательница Хильда ударила Риву по лицу хлыстом из обрезиненного телефонного кабеля и приказала сесть. В этой маленькой схватке оборвалась бечевка у Ривы на плече, на которой висела коричневая тарелка. Тарелка упала и подкатилась к ногам врача.

<sup>1</sup> «Маленький Ганс» (нем.).

Ряд, в котором шла Магдалена, был уже за воротами. Врач опять поднял руку и сказал:

— Тебе надо пойти в лазарет отдохнуть.

— Я не хочу в лазарет!..— опять раздался пронзительный крик.

А по колонне женщин, словно порыв ветра перед грозой, пригибающий камыши на озере, пронеслось слово: «Селекция...» Нет, сравнение с камышами тут не годилось. Ветер их пригибает, а тут каждая женщина силилась держаться прямее, чтобы не пришлось «пойти в лазарет отдохнуть». Рядом с лазаретом находился крематорий, и труба крематория была в этом лагере единственным отверстием, через которое можно было «выйти» на свободу.

А когда вся колонна вытянулась за ворота, то раны, нанесенные ей «селекцией», уже успели зарости живыми телами, и в каждом ряду снова было по пять человек, как того требовал регламент.

Впервые Магдалена чувствовала себя такой одинокой. Риву и Магдалену привезли сюда из латгальского городка. Серые, деревянные домишки на поросшем липой холме, стройный костел над голубым озером. Магдалене запомнился колокольный звон этого костела. Ровно год назад она слышала его мартовским утром, когда ее вместе с пятью другими девушками везли в пестрой полицейской машине в Даугавпилс за то, что они не захотели добровольно поехать на работу в Германию. Здесь, в Германии, в грюнтальском лагере, она встретила Риву. Рива попала сюда потому, что на ее одежде была нашита желтая шестиконечная звезда. Когда девушки вместе вспоминали своих близких и белые водяные лилии на латгальском озере, жизнь казалась им легче. Теперь не стало Ривы, потому что голод и свинцовые испарения в цехе аккумуляторной фабрики вытравили живые краски из ее лица.

Магдалене тоже сказали: «Ты бледная...»

Теперь ее держала под руку такая же кареглазая девушка, как Рива, только на груди у нее была не желтая звезда, а красный треугольник с буквой «Ф»— девушка была из Франции. Но от лазарета не спасала и буква «Ф». Ничто. Все буквы были тут одинаково бессильны.

Голова Магдалены опустилась на грудь, и какой-то миг она видела лишь грубый щербень дороги. Вскидываясь, мелькали деревянные коты, больно выворачивавшие ступни. Она видела еще и начищенные сапоги, так как колонну возглавляла надзирательница Хильда.

По обеим сторонам дороги росли липы. Почки только набухали, ветки шевелил теплый ветерок весны. Слева от дороги простерлось ровное, вспаханное поле. Его пересекали канавы, вдоль которых тянулись колочие заросли дикой сливы, кое-где уже украшенные белыми цветами. Но ни в поле, ни на ветках слив не найти ничего съедобного. Весна только начиналась. Весна сорок пятого года.

Шоссе свернуло вправо, к аккумуляторной фабрике. Магдалена очулась. На окраине Грюнталя, там, где еще вчера стояла притаившаяся среди старинных черепичных крыш обнесенная железным забором аккумуляторная фабрика, сегодня громоздились развалины и уцелевшие стены с амбразурами окон. От развалин еще сочились струйки дыма и веяло теплом. У фабричных ворот валялся поломанная детская коляска. Видно, в прошлую ночь при свете «фонарей», зажженных головными бомбардировщиками, кто-то вез в убежище плачущего ребенка или чемоданы. Стены соседних домов тоже дали трещины. Заключенных пригнали в разбитый бомбами квартал, оцепленный эсэсовцами. Надзирательница Хильда расставляла женщин на работу.

Округлая фигура Хильды в талии была туго перетянута ремнем, отчего бедра казались еще пышнее. В противоположность остальным частям тела ее бескровно-серое лицо было худым. Над острым носом сердито сдвинуты прямые брови. Кислое лицо старой девы. Хильда пересчитала стадо одетых в серые мешки женщин, ноги которых были обернуты грязным тряпьем, и все эти женщины были ей противны, как раздавленные лягушки. Она знала, что среди этих чахлах заморышей нет ни одной старше тридцати, и ненавидела их еще за то, что возможно, когда-то они были красивы и когда-нибудь, если выживут, могут быть красивее ее, Хильды.

— Вот, полюбуйте, что ваши сделали из наших домов. Я знаю, вы рады этому. Так получайте же!— Хильда вытянула двух женщин по спине резиновым хлыстом. На конце кабеля была изыщная петля, чтобы продевать в нее руку. Петлю сплела одна чешка, которую на прошлой неделе отправили в лазарет «на отдых».

Женщины принялись разбирать груду кирпича, чтобы освободить проезд по переулку, рядом с фабрикой.

— Если на вас рухнет стена, то знайте — виноваты в этом ваши, те, что бомбили, — злобно бросила Хильда.

Сегодня кирпичи казались Магдалене непомерно тяжелыми. Она медленно нагибалась, подсовывала руки под обломок, долго силилась поднять, с трудом неслась, и кирпич сам вываливался из ослабевших рук. Один раз она споткнулась под тяжестью ноши и упала. Голова кружилась, и не было сил встать. Несколько мгновений она лежала, подложив руку под голову, — булыжник мостовой показался ей таким же мягким, как стружки на нарах в бараке. Меж камней Магдалена увидела три крохотные нежно-зеленые травинки. Подошла Хильда и стегнула девушку кабелем по шее. Магдалена поднялась.

— Ты не торопиться, как я погляжу. Ты тоже из бледных. Придется вечером отправить тебя в лазарет отдохнуть, — сказала надзирательница. — Покажи-ка свой номер!

Магдалена увидела большие карие глаза Ривы и поплелась к груде кирпичей.

Перетаскивая обломки, она зашла в странное здание — коробку без крыши, внутри на стенах виднелись следы бывших четырех этажей. У одной стены висел покореженный железный прут, на котором еще держались куски обгоревших перил. На стене третьего этажа уцелела раковина, над ней висело синее ведро. Среди развалин что-то поблескивало: осколок зеркала. Магдалена схватила зеркало и, подойдя к двери — там было светлее, — украдкой посмотрелась в него.

Хильда права — ни на щеках, ни на губах не осталось даже намека на румянец. Если сегодня вечером будет «селекция» и Хильда вспомнит свою угрозу, то Хильда, а не Магдалена встретит конец войны.

Магдалена неслась кирпичи, сгибаясь под их тяжестью. На улице стояла Хильда и не спускала глаз с бледной Магдалены.

Магдалена опять завернула в четырехэтажную коробку без крыши, потому что здесь обломки были мельче. И тут она увидела торчащий из груды битого кирпича коричневый ремешок. Быть может, под обломками лежит сумка, быть может, в ней найдется кусочек хлеба?

Магдалена потянула за ремешок, посыпалась битая штукатурка. Магдалена еще раз отступила к двери, чтобы убедиться, что надзирательница по-прежнему стоит у сложенного в штабель кирпича. И вот в руках девушки испачканная и помятая дамская сумочка.

Магдалена поникла — в такой сумке хлеба не найдешь... А она бледна, ей нужен хлеб. Магдалена решила открыть сумочку и тут же бросить ее, ведь им запрещено даже прикасаться к таким вещам.

Да, в сумке не было ни хлеба, ни кусочка шоколада, но все же там оказалось нечто такое, что могло спасти ей жизнь. Магдалена не стала терять времени. Она подошла поближе к двери — там было светлее.

Но и Хильда догадалась, что эта серая кандидатка в смертницы неспроста замешкалась в разбомбленном доме. Она крадучись приблизилась. «Быть может, нашла труп с золотым кольцом на пальце», — подумала она.

Но тут — о, ужас! — она увидела, что, прислонившись к разбитой двери, над которой повисла обгоревшая жестяная вывеска, стоит эта и — о, боже! — держит в руках зеркальце и преспокойно глядится в него!

Зеркальце было обращено к солнцу. Но Магдалена видела лишь свое бледное лицо, на котором голод прорезал глубокие морщины. Если чуть приоткрыть рот, ну хотя бы произнести слово «страшно», морщины сразу собираются в нелепую улыбку. А теперь хоть бледность пропадет, теперь можно будет не бояться «селекции».

— Проститутка! — звывала Хильда и, занеся хлыст, ринулась к Магдалене.

Зеркало упало на цементные плитки и разбилось. Магдалена выглянула на улицу. Придерживая рукой пилотку и перескакивая через кирпичные глыбы, к ней мчалась надзирательница Хильда. Магдалена отступила назад, в глубину четырехэтажного помещения без потолков. Она взглянула вверх, словно еще можно было взбежать по лестнице. Но от лестницы остался лишь обгоревший кусок перил. В вышине, в раме из обезображенных стен, над Магдаленой простерся солнечный небосвод.

И тут она увидела, как покачнулось синее ведро на третьем этаже. Да, стена кренилась...

Бежать! Магдалена метнулась было вперед, но увидела перед собой приоткрытый в каком-то сладостном предвкушении рот Хильды. Глаза надзирательницы блестели, и рука сжимала занесенный хлыст.

В неуловимо короткий миг Магдалена вспомнила, как Хильда опустила этот хлыст на лицо Ривы, когда ту забирали по «селекции», и перед ее глазами вдруг замелькало множество рук, занесенных для удара,— она очень часто наяву видела эти руки, наносящие удары. Один шаг по направлению к Хильде означал жизнь, Магдалена знала это и все-таки шагнула назад. Надзирательнице, чтобы ударить Магдалену, придется сделать такой же шаг вперед.

Когда обренок кабеля должен был опуститься на прикрытое серой мешковиной плечо Магдалены, верхняя часть стены накренилась ниже, и небо над головой сузилось, и не было на свете такого плеча, которое смогло бы удержать эту стену.

...Когда подбежали эсэсовец и вторая надзирательница, из груды кирпича и штукатурки торчала обгоревшая железная вывеска и блестящий хромовый сапог надзирательницы Хильды.

Стальная балка концом упиралась в грудь Магдалены.

Пока откапывали Хильду, надзирательница склонилась над Магдаленой, голова которой лежала на серых плитах. Странная голова: с одной ее половины волосы сострижены и отправлены в Германию. А с правой стороны светлые кудри были оставлены в целости, они рассыпались по полу. Если смотреть на Магдалену только справа, то кажется, будто она спит. Но надзирательницу интересовало другое: в правой руке Магдалены была зажата губная помада, найденная в коричневой сумочке, и щеки заливал искусственный румянец. Смерть не смогла погасить его.

— Гляди, и эта туда же, и ей хотелось выглядеть красивой,— искренне удивилась надзирательница.

В обед колонна взявших под руки женщин опять втянулась в ворота грюнтальского лагеря. Позади колонны заключенные вчетвером тащили двухколесную тележку. На тележке лежала Магдалена. Если к ней подойти с правой стороны и посмотреть на светлые кудри, то покажется, что она спит. Оркестр играл марш, веселый «Хансхен кляйн».



## Юрий Бондарев

(р. 1924)

### ИЗ КНИГИ «МГНОВЕНИЯ»

#### ДВЕ МИНУТЫ ТРИДЦАТЬ СЕКУНД

Дождь лил по-осеннему, и, ожидая переправы на правый берег Десны, мы не вынесли этого всемирного потопа, промокнув до нитки, устроили себе Ноев ковчег — из досок снарядного ящика разожгли костер в овражке, рядом с дорогой, натянули меж ветвей брезент над огнем и расположились сушиться. А вокруг нашего орудия, стоявшего на обочине, вся иссеченная дождем тьма шевелилась, кишела людьми, грузовиками, повозками, дребезжащими кухнями, была наполнена голосами, командами, ржанием лошадей, хлопаньем ног в грязи, завыванием буксующих колес, веселой руганью.

— Раз-два, взяли-и!..

— Кого взяли-то, едрена мышшь? Куда толкаешь, еловая голова? Чем толкаешь — руками или... чем?

— Хоть ты ей хрена дай — ни с места! Газуй, говорят!

Изредка, врезаюсь в эти звуки, далеко впереди стучали немецкие пулеметы, мины со звоном рассыпались в чаще на этом берегу, а мы, согреваясь возле костра, наслаждались порханием пламени, потрескиванием досок, как бы отъединенные от всего этого отсырелого, взбудораженного мира вблизи переправы, и даже дремотно, блаженно слипались глаза.

Потом за брезентом, в шевелящейся тьме раздался голос: «Эй, братва!» — и снаружи чьи-то ноги тяжело заскользили по скату овражка, бесцеремонная рука рванула вверх брезент, и громоздкий солдат в колоколообразной плащ-палатке шагнул из мрака к костру, взглянул из-под мокрого капюшона блестящими нагловатыми глазами, распахнул плащ-палатку, подставляя ноги теплу.

— На курортах, братцы? Антииллегенты вы нежные! Дай-ка огоньком у вас разживусь. Хо-хо! Не жалко, а? Кресало мое намокло....

— Ладно болтать! Бери хоть полные карманы, — с ленивой суровостью ответил наш малоразговорчивый сержант, в то же время жестко оглядывая заляпанные грязью ботинки солдата, аккуратно накрученные на икры обмотки. — Пехота? Сразу видеть. Горласт очень. Привык «ура» кричать, и на нас базишь!..

— Как говоришь? Пехота пыльная? — дерзко посмеиваясь, солдат достал из металлического трофейного портсигара немецкую сигаретку, окунул ее в рот и присел к огню, блаженно простер над дымом ладони. — А вы кто же? Летчики, подо? К чему это вы сушилку устроили? Вшей уничтожаете как класс али как фашистов? Де-ело!..

Сержант нахмурился, властно перебил его:

— Чего разговорился, как на колхозном собрании?

— А ну-ка, ну-ка, который тут пожарче? — Солдат выхватил горящую дощечку из огня, прикурил, упоенно сощурился, застонал, затянулся полной грудью. — Хор-рошо! — И захохотал, показывая многозубый рот: — Летчики, значит? Кофию и шоколад получили, костерок развели, перин только не хватает! Где перины-то?

— Эй ты, анекдотчик! — опять грубо оборвал его сержант. — Гривенник нашел? Не видишь, кто мы?

— Вроде пушкари, — отозвался солдат, блаженствуя, поводя плечами под шуршащей плащ-палаткой, и подмигнул сержанту. — А я, ей-бо, думал — летчики.

Где, думаю, самолеты стоят, аэродрома вроде не видать... А курить хочу, как из пушки...

— Ну, ну, ты брось, брось веселиться! Вас, пехоты, не было, когда мы здесь первые... с немецкими танками... Знаешь, сколько от четырех орудий осталось?

— Сколько?

— Одно.

Мы все сидели на снарядных ящиках и молчали, вытянув ноги в дымящихся портянках к костру, сонно поглядывая на незнакомого пехотинца, неуемной веселостью раздражающего нас, на свои влажные, висевшие на сучьях шинели, от которых шел душный шерстяной пар, и в дурмане усталости не понимали необходимости этой перепалки, злую резкость нашего обычно молчаливого сержанта.

— Да ну?— Солдат в неестественном удивлении помотал головой, трескуче закашлялся и, задыхаясь, так подул на сигарету, что трассами полетели искры.— Впереди пехоты?— закричал он с хохотом.— Вот оно! А ты, сержант, говорил: пехота! Вы, стальные, еще хуже пехоты! Мы-то смертники, а вы...

— Рота, приготовиться к движению! Сержант Плахой-ой!— послышался в гудящей, хлопающей, промозглой тьме непрерываемый командный голос.— Где Плахой? Ко мне сержанта!

И солдат медленно обвел нас взглядом, сразу меняясь в лице, вроде бы худея на глазах, обрастая черной щетиной по щекам, выговорил невнятную фразу, похожую на ругательство, швырнул до ногтей сигарету и, усмехнувшись, грузно сел прямо на землю, стал лихорадочно разматывать обмотки.

— Это тебя зовут?— сурово спросил наш сержант.— Это ты плохой?

Не отзываясь на жесткую ядовитость сержанта, солдат все разувался, протягивая время, мял, переворачивал, тщательно расправлял намокшие портянки, крепко, плотно пеленал ими ноги, натягивал ботинки, и вдруг мне показалось, что среди общего молчания около костра я услышал неудержимый костяной стук его зубов, словно он дрожал весь. Но тотчас же звук этот прекратился, солдат быстро поднял голову, встал и в диком оскале беззвучного смеха снова показал свой многозубый рот.

— Это моя фамилия Плахой, а сам я хороший. Вот послушай!— Он превесело похлопал себя по груди, и глухо прозвучал под плащ-палаткой соединенный звон медалей.— За каждую атаку давали. Засеки в уме, сержант. Запальный шнур горит так: один сантиметр в секунду. Полтора метра — сколько прогорит? Две минуты тридцать секунд. Полтора метра — это пехотная атака, вскочить и упасть. Война, черт ей не рад!

Он говорил это с тем же оскалом сумасшедшего смеха, а наш сержант в упор смотрел на него с холодной злобой, и необъяснима была эта накаляющаяся ярость его.

— Уйди, пехота!— сказал он крикливо, выкатив угрожающе глаза.— Уйди, не то я... Уйди! Зачем пришел?

Я ни разу не видел сержанта таким взбешенным, в нем будто сломалось что-то, выказывая нам незнакомую его слабость.

Они стояли друг против друга, почти одинакового роста, только наш командир орудия выглядел в гневе гибче, тоньше, острее в лице, а грузный пехотинец, заметный мощной покатоной спиной, уже не смеялся, казался медведем, готовым встретить нападение.

— Эх, чудак... покурить у огонька я хотел,— спокойно и мертво проговорил он, и тут голос его дрогнул, а мне вторично почудился костяной стук зубов сержанта.— Чую, ухлопает меня сегодня... так настроение с утра такое... Дружок мой убитый во сне меня позвал. На тот берег переправимся, атакнем фрицев — и конец мне. Миной убьет. А курить захотелось — страсть. Ты запомни мою фамилию, сержант. Больно запоминательная у меня фамилия. Сержант Плахой, двести седьмого полка, второй батальон, первая рота, командир второго отделения... Ну, спасибочки, хлопцы, за огонек, не поминайте лихом. Еще встретимся, на том или этом свете. А т а м все обязательно встретимся!..

И он улыбнулся нам насильственной улыбкой. Затем чересчур бодро достал вторую сигарету из металлического портсигара, прикурил от головешки, алчно вдохнул дым и, пряча сигарету под плащ-палатку, исчез в непробиваемой темноте, шумевшей дождем и командами.

— Вот дурындас грамотный, — сказал сержант и, несколько растерянно озираясь в ту сторону, где ночь поглотила пехотинца, присел на снарядный ящик, хмуρο потер лоб.

Мы молчали.

На рассвете, когда форсировали Десну и после длительного боя закрепились на правом берегу, на плацдарме, наш сержант, потный, черный, расхристанный, молча кивнул нам и шатко пошел бродить по откосу, проступающему в сереющем воздухе перед немецкими траншеями, возле которых передвигались с носилками солдаты похоронной команды.

Он вернулся часа через полтора, пьяно опустил на станину и так ударил по ней кулаком, что губы исказились болью.

— Дьявол ему, что ли, на ухо шепнул? — сказал он ожесточенно. — Откуда он знал?

Сержант Плахой, командир второго отделения, первой роты, второго батальона, двести седьмого полка был убит осколком мины во время атаки — смерть настигла его, вероятно, в мгновения высчитанных им двух минут тридцати секунд с момента сигнала красной ракеты...

#### АТАКА

— Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва — Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: через шоссе броском перескочить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе, нам снизу их стволы видать. Ну а за горой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь — рубит насмерть. Но комбату это не причина, ему одно: взять завод — и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и по этому случаю роту я на себя принял — больше некому. А атака в полный день была — солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился — дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод не возьмешь, на самоходки дурулолом попрешь — всем братская могила. Самоходки долбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!» И — как угадал в этом соображении. Повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода, а в враге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голоса орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод — вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, о железо в ключья вкось и поперек разодрано, — и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылища в каком-то цехе, спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата по пулеметчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак, живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах — повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся не волнуйся, месячишко поремонтировали — и опять «вперед»...



— Не спрашивай, почему сегодня я пью. Вроде празднуем День Победы, правильно, а для меня — знаешь что? Можно сказать, похороны, понял, нет? Был у нас комбат Гуров, командир батареи семидесятишестимиллиметровых... героические были орудия, их «прощай, Родина» называли, потому что рядом с пехотой стояли, а то и впереди. В общем, братские могилы все наши были, если немецкая самоходка по названию «фердинанд» тихой сапой с фланга заходила и начинала гвоздить...

Так вот, командовал батареей капитан Гуров — совсем, можно сказать, юноша, фигурой вроде веточки, ладный такой, он даже материться не любил, за это ругачим большой втык давал, а смеялся хорошо, зубы белые, наши сестрички из медсанбата умирали по нему. А он только шутики шутил: «Красавицы-девички, я вас всех люблю, но немецкие танки больше!» Так вот, чутье у него было насчет немцев, не знаю, как назвать, — на колдовство это было похоже.

Можно сказать, черт в нем сидел насчет чутья. Или бог — как уж тут разобраться! Бывало, ночь — глаз коли, за нуждой пойдешь, так своего главного документа не увидишь, а орудия надо ставить на прямую наводку против танков. Приказ получен от начальства, и никуда не денешься, голосовать за и против не приходится. Комбат Гуров вел орудия на огневую позицию сам, всегда самолично, никому этого дела не доверял, потому что раз под Киевом один зеленый лейтенант наш по большой близорукости два своих орудия в распоряжение немцев впер, от пулемета погиб смертью храбрых, а от расчетов с гулькин нос осталось.

У Гурова талант был самый главный на войне — авось да небось терпеть не мог, дуриком стрелять не признавал, грудью на осколки, как бык слепой, не лез, воевал спокойно, вроде работу делал. И до самого конца войны ни разу не видел я, чтобы растерялся он, умом ошалел, в лице изменился, хотя в переделки попадали такие, что дьявола от страха затошнило бы, ежели б тот ад боя одним глазком увидел, а черти поносом бы изошли.

Так вот, ведет он ночью, бывало, самолично орудия на прямую наводку, и тут слышим — его команда: «Стой!» Видим, комбат Гуров обходит орудия и командирам взводов тихо, без напряжения горла объясняет: орудия, мол, через поле дальше не стоит вести, а надо повернуть от перекрестка налево, метров двести проехать краем леса и потом — вперед. Кто-нибудь из командиров взводов попытается иногда умно сказать: «Через поле ведь ближе, товарищ капитан». А он: «Заминировано». «Как вы можете знать, товарищ капитан, разве видно ночью?» А он: «Я чувствую, что поле заминировано». Сначала удивлялись мы, даже считали его комбатом с приветом, а он после всегда прав оказывался, и крепко зауважали мы его.

Однажды цельный день приказа ожидали из полка и не дождались, а он все ходил по огневой, хмурился и вдруг ни с того ни с сего командовал батарее немедленно сняться с опушки леса и зачем-то занять другую позицию в соседнем леске — на том же танкоопасном направлении. Засветло, помню, снялись мы всеми орудиями, только тылы и кухню на старом месте оставили. А через час на новые огневые наш старшина примчался на одной повозке, с разбитой кухней, с головы до ног в крови и рассказал: как только мы снялись, налетело на лесок с полсотни «юнкерсов» и разбомбили старые огневые вдрызг. Вот какое чутье у капитана было...

Дошли мы с комбатом Гуровым до Германии без глупых потерь. И я, как видишь, живой. За Зееловские высоты он Героя получил, а восьмого мая убило его пулей в грудь. Какая-то недобитая сволочь из окна стреляла, когда он в «виллисе» ехал. А мы вроде с ума сошли — развернули батарею и лупили по этому дому, пока одни головешки остались. Да разве воскресить?.. Давай помянем моего комбата, умищу, офицера золотого. Давай встанем и чокаться не будем. Ты уж извини, сдержаться не могу. Для меня этот день — слезы. Нельзя его праздником считать. Не могу...



## НАС БЫЛО МНОГО

...Сразу похолодало, поднялся ветер, сухо шуршал снег в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, не дотлевая, в недостижимой, как прошлое, бесконечности рваная полоса ледяного заката, но и ее уже охватывала, душила темнота, заволакивало черным дымом, пеплом сгоревшего жилья; ветер нес, раздирал голоса команд вблизи темневших по бугру машин, орудий, лошадей, и казалось — там непрерывно происходило какое-то кругообразное завораживающее движение, однако удаляясь и удаляясь в тьму, к краю жизни, к угольно-красной щели заката, где обрывалось последнее...

Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы вечного одиночества.

Но какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той далекой щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще.

## Емилиан Буков

(1909—1984)

### МОЛЧАНИЕ

Опускается, опускается все ниже. Куда? Как она может погружаться в самое себя? Землетрясение? Нет. И все же опускается... Бред!

— Остановите ее!»

Этот возглас был только мыслью.

Но земля опускается. И никого кругом. Никого? Где же люди? «Я возродиться лишь на людях в силах». Кто это сказал? Молчание. Значит, порой и молчание обретает голос...

— Прошу тебя, прошу, молчанье, не молчи!..

В спутанных ресницах расцветают маки.

— Маки!.. Скажите слово хоть вы.

Странно. Молчат маки. Значит, не все красивое красноречиво... А маки по-настоящему красивы...

Опускается, снова опускается земля...

По стенам носятся зеленые жеребята. Зеленые кони на стенах. Как тогда, в степи, под Орхеем. А что в Орхее сейчас? Может, он лежит в руинах. Земля ведь опускается...

Голубеют заросли камыша, ходят под ветром волнами.

— Не брызгайся, Михаил! Вода холодная!.. Бессовестный, съел все маки с моих губ! Стыдись!..

А теперь мне тепло. Утро родило день. И целых пять солнц согревают его.

— Нет, десять!

— Чудак!

— Десять солнц. Это точно.

— Ну, и силен ты в арифметике.

— Без пяти минут математик...

— Перестань есть маки...

Опускается, снова опускается...

— Держи его крепче, отец! Цепляй постромки! Смотри-ка, теперь и телки тянут лучше. Видишь, борозда стала глубже?! Будет добрый хлеб и сладкие кулички на пасху!

— Будут!

— Оставьте отца в покое! Не бейте его!.. Ой, что мы будем делать теперь? Вставай, отец!.. Дьякон поет так жалобно, что хоть плачь. И не выплачешь всех слез до кладбища.

— Лес мой, кедры милые...

— Кто это поет? Деревья?

— Да, лес надвигается на меня, как зеленое половодье. Видишь, как качается осенний лес?..

— Вижу... «Что ты, лес, качаешься?..»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Стихи Михаила Эминеску «Что ты, лес, качаешься?..» и далее «Тоскую лишь о том...» приводятся в переводах Г. Перова и Ю. Кожевникова.

— Откуда ты это знаешь?

— Ты читал, когда мы купались в Днестре. Помнишь? «И не в бурю, и не в дождь до земли ты ветки гнешь».

— Никогда я этого не читал...

— Мне нашептала земля. Но она опускается! Останови ее, Михаил! Я боюсь.

— «Мне ль не гнуться до земли, если дни мои прошли?»

— Твои дни никогда не кончатся... Прошу тебя, Михаил, останови, удержи землю! Не знаешь как? Пожалей землю, твою и мою.

— «Тоскую лишь о том...»

— И я тоже... Но почему так носятся зеленые пятна по стенам?

— Хочешь сказать — зеленые кони?

— Пропали. Их больше нет... Мне холодно...

...Когда агент сигуранцы опрокинул третье ведро, Вероника открыла глаза. И тотчас закрыла — не хотела видеть это красивое наглое лицо.

— Ты жива или притворяешься живой?— слышала она как во сне.

— Тупица! Лей еще ведро...

— Ладно, только глотну цуйки...<sup>1</sup>

«Молчание... Как жаль, что молчание безголосо с тех самых пор, как стоит этот свет. И вдобавок в нем таятся какая-то бездна».

Если человек не чувствует рук, разве он мертв? «Мыслью, следовательно существую?» Живу. Вздор! Я умерла? Попробуй рассуди! Рассуди... Значит, я существую... Чьи это слова? Кант такого не говорил, потому что это сказал Декарт... «Гаудеамус игитур...»

— Михаил, успокойся! Гребни к берегу — нас настигают черные лебеди.

— Белые.

— Нет, черные... Не выкручивайте мне руки!

— Ты у меня заговоришь!

«Нет, я умерла. По цементу скачут зеленые кони. По стенам. Скачут. Видите?»

— Как будто плачет кто-то...

— Тупица. Она мертва. Плесни еще!

— Воды?

— Ты полный дурак и еще половина! Посмотри, под столом должна быть бутылка...

— Что это — земля опускается или поднимается накалание. Не может ли молчание накаляться?

Холодно.

Что это — снег идет или небо плачет белыми слезами? Нет, это не слезы. Это многоцветные улыбки. Приземляются парашюты. Их сотни. Тысячи. Похоже, будто дети несут цветы — движущийся цветник. Да, я помню тот год, год, исполненный особого смысла.

Чертова память! Она будит воображение. На его призрачном полотне угадывается июнь сорокового...»

— Эй, ты!

Эти два грубо сочлененные слова ударили по барабанным перепонкам. У нее был такой тонкий и чистый слух!..

— Эй, ты! Жива еще?

«Кто это вздыхает? Палач? Видно, и палачи иногда вздыхают... Идет снег... Нет, опускается земля...»

«...Ключи соскальзывали в карман серого пальтишка, купленного мамой в «Галери Лафайет»<sup>2</sup>.

— Ты красиво его носишь, Ника.

— Называй меня Вероника. В имени Ника есть что-то юношеское.

— Ты у меня красивая. Большие глаза горят, как фонари над Каля Викторией.

<sup>1</sup> Цуйка — сливовая водка.

<sup>2</sup> «Галери Лафайет» — универмаг в Бухаресте.

— Нет, как свечи на погребении.  
— Ты глупенькая... Свечи зажигают накануне.  
— Я этого не знала, мама...  
— А тебе и не нужно... На твоём веку еще не раз вздыбится земля и родятся горы.

— Сколько мне лет, мама?.. Пожалуйста, не целуй меня так... Ты у меня славная и все же не целуй меня так крепко... Глянь, здесь я и учусь, против статуи Михая Витязя. Видишь, как он держит скипетр? Грозит меня ударить...

— Почему ты не хочешь быть хозяйкой Чишмиджу?  
— Я никогда не выйду замуж, мама...»

— Что-то сказала?

— Не понял. То ли шевельнула губами, то ли вздохнула.

— Тупица, одно у тебя на уме! А ей должно быть известно много секретов, бычок ты этакий.

— Так точно, господин плутонер мажор!<sup>1</sup>

— Так-то. Она знает всех здешних партизан, но...

— Видать, потеряла голос... Жаль. Пела, как соловей.

— Не ты ли прижег ей язык вонючими спичками?..

— Мне ж было приказано, господин плутонер...

— Не умеешь чисто работать — получай по заслугам, бык!

— Ой-ой-ой! Мне больно!.. Не бейте меня... Я ведь не она...

— Ее больше нет. Ну и достанется нам обоим. Марш отсюда!..

«Опускается земля... Падает. Куда? До каких пор? И сколько может извергаться этот бесконечный вулкан? Кого пожирает этот огонь?

Меня предал Иорга. Костры. Галилей. Бруно... Это история. Костры в кодрах Бессарабии. Хорошо, когда горят враги».

— Послушай меня, девушка... Я доктор. И не враг тебе. Не будь глупой. Ты живешь один только раз. Еще бьется сердце. И дышит теплом грудь. Какая у тебя красивая грудь!.. Шприц!

— Готово, господин доктор.

«Комариные укусы. Пустяки. А что, если попробовать поднять веки?.. Невозможно!

Мертвое молчание. Земля все еще рушится? Она свихнулась, земля...

Падают враги. И снова снег, и те же июньские парашюты. Как хорошо!

— Кто-то плачет... По ком?

И снег, снег...»

Вероника знала, что она красива. Ей это говорило зеркало. По правде, она обращалась к нему редко, лишь в тех случаях, когда нужно было кое-как усмирить свои черные непокорные волосы. Но отражение в зеркале — только плоская копия продолговатого лица Вероники, заслоненного неуловимой улыбкой, блуждающей в глазах, на щеках и на губах. Что красивые девушки неумны — это старая ложь, придуманная уродами...

Веронике нравился немецкий язык. Еще с тех пор, когда она посещала лицей в Кракове... Как бессарабка из-под Оргеева оказалась в этом олтенском городе? Просто ее родители, мелкие коммерсанты, переселились сюда в поисках более счастливой доли.

Время от времени Вероника наезжала к своим родственникам. И теперь ее считали здесь румынкой.

Получив аттестат зрелости, дочка Думитру Сырбу отправилась в «маленький Париж», как самонадеянно называл себя Бухарест. Поступила на факультет литературы и философии.

<sup>1</sup> Плутонер — старшина (румын.).



Немецкий преподавал строгий и педантичный профессор Мындреску. Вероника слушала еще и лекции француза Дебрена. Усердная студентка, она всегда получала высшие баллы. Отличалась не только в учебе. Ее выделяли самые переборчивые сердцееды из числа будущих светил науки. Но Вероника ни на кого не обращала внимания. Многие недоумевали: «Странная девушка! Почему-то не хочет замуж... Кокетничает?»

...Она жила, как все. Проходили годы, непохожие друг на друга. Вдруг — взрыв. Война выбила из неаезженной колеи. И надо же такому случиться — тогда-то Вероника встретила своего суженого. Он был сильный, а люди о нем говорили: «Красивый парень, жизнерадостный». Его звали Михаил, как его любимого поэта. И от этого он был еще дороже. Часто, оставаясь одна и воображая их мирное будущее, Вероника пыталась складывать стихи в подражание Эминеску.

Календарь войны пестрел багряными днями. Но это не были праздники. На листках как будто аела пролитая кровь.

Получив задание подпольного райкома, Вероника постриглась под мальчика, вырядилась в эсэсовскую форму, отправилась в лес, где строился большой склад гитлеровского оружия.

Здесь работало много бессарабских парней. Новая надзирательница была сурова. Ее хвалило начальство из специального отряда СС, особенно Паулюс, который, слава богу, не был родственником известного немецкого фельдмаршала, взятого в плен под Сталинградом.

— Откуда у тебя такая ненависть к бессарабцам?— спросил как-то Паулюс.

— Я жила среди этих скотов, но по матери я немка. Да, настоящая немка. Пюр-сан.

— В таком случае почему ты так холодна со мной? Ведь я ариец и красивый мужчина...

— У меня есть жених. Он храбрый офицер, герой. Бьет русских на фронте.

Теперь Вероника всегда ходила с длинной, как арапник, плетью. Время от времени она поднимала ее и опускала на плечи рабочих. В маленьких красивых руках надзирательницы удары бичом — это было не так уж больно. Но бессарабцы ненавидели ее. Ненавидели смертельно. «Сволочь, немка, курва», — называли они ее между собой.

Со склада все чаще пропадало оружие. Подозрение пало на нескольких рабочих и инженеров-бессарабцев. Их долго пытали. Вероника присутствовала на допросе.

— Эти бандиты способны на всякое,— сказала она палачам.

А когда девушка дотасила поздним вечером до своей каморки и задвинула за собой засов, долго сидела, окаменев, в старом кресле. Смотрела в пустоту и видела лица бессарабцев. И вспоминала родного отца, который умер в нищете накануне войны.

Много раз сидела Вероника вот так, неподвижно, до самой зари. И снова Паулюс говорил:

— Опять исчезло три пулемета. Пришлось расстрелять столько же бессарабцев...

— Справедливое решение!— восклицала Вероника.— Не зря я твержу, что эти бандиты способны на всякое...

Пулеметы попали к партизанам. Мозолистые руки молдаванина издавна быстро приучались к любой работе на земле. Теперь они косили оккупантов, как это делали дружинники Стефана Великого, гайдуки вроде Кодряну и Урсу.

Бывало, идет Вероника с плеткой вдоль рядов бессарабцев-рабочих, толкающих тяжелые металлические тачки, доверху груженные камнем. Сквозь грохот можно слышать приглушенные ругательства: «Продажная немка... извалялась со всеми гитлеровцами... Ну, ничего, придет ее час...»

«Дорогие мои,— шепчет про себя девушка,— если бы вы знали, как я вас люблю!.. Так нужно, понимаете, нужно. Вечером умерло трое наших, а фашистов перебито три сотни. Что делать дальше? Научите меня!»

Если бы могла Вероника умереть вместо любого из расстрелянных!..

Лес безмятежно спал. Вероника ступала по сухим опавшим листьям. Какая странная судьба! Раньше они укрывали своей тенью, радовали людей. Теперь те же люди топчут их ногами...

Холодный ветер раскачивал вековые дубы и клены. Что ты качаешься, лес? А тебе, поэт, доброй ночи... Я люблю своего Михаила...

— Ты что здесь делаешь?

Девушка едва успела спрятать в карман тяжелые ключи от склада, мило улыбнулась.

— Что делаю, дорогой Паулюс? У меня разболелась голова, вот я и решила немного прогуляться...

— Я слышал дребезжание телеги.

— Верно, верно, сейчас подъедет партизанская кэруца...<sup>1</sup>

— Мне нравится, когда ты шутишь.

— Как не шутить, когда ключи от склада в моем кармане...

— Не поцелую — умру на месте...

— Доставь такое удовольствие...

Порыв ветра подхватил звук выстрела и унес. Куда унес?..

Вот и подвода. А в ней — два партизана. Сколько раз принимали они оружие из нежных рук Вероники! Следы ее хрупких пальцев чуть ли не на каждом партизанском курке...

И вдруг навалились фашисты. Схватка была короткой.

И когда мертвая девушка распласталась на цементе в камере пыток, ее изуродованные каленым железом руки были как лист виноградный. Желтый лист на поздней осенней лозе...

И сегодня поздняя осень. Я опустился на колени перед небольшим аккуратным холмиком. Смотрю на простой дубовый крест. Его поставили здесь по просьбе матери моей героини. А Вероника, как и все мы, совсем не верила в бога.

---

<sup>1</sup> К э р у ц а — подвода (румын.).

НЕБО В БЛОКАДЕ

*Ольге Афанасьевне Фирсовой*

**Р**ассекая поток воздуха, плывет в небе трехмачтовый фрегат. Влажный ветер ударяет в литые паруса, и, повинаясь стихии, фрегат меняет курс. Он стремится вдаль, как вдохновенная мечта зодчего Андреяна Захарова о процветании флота Российского.

Когда серое мокрое небо повисает над шпилем Адмиралтейства, фрегат очерчен смутно. А в погожий день отчетливо видны его корпус, оснастка, бушприт, вонзенный в синий простор.

Не думала Ольга, что еще раз увидит корабль-флюгер так близко, снова коснется его руками, а он, послушный каждому прикосновению, будет отклоняться от своего курса.

Высота ощущается в полной мере, когда стоишь на карнизе, на самом краешке портика. Но это ощущение еще острее на шаткой дощечке, висящей в веревочных петлях: маляры называют ее «душегубкой».

На ногах скальные ботинки с подошвой из фетра, в них не поскользнешься. Но Ольга лишь изредка ступает на карниз, на уступ, на капитель колонны и часами работает в подвешенном состоянии.

Под ногами живая карта города. Дельта Невы с ее причудливыми рукавами, сине-голубыми сейчас, под солнцем, и темно-серыми, почти черными, в непогоду. Край карты залива Балтика, на берегу ее властно и дерзко был «город заложон». И пушкинская строка «ногою твердой стать при море» звучит в ленинградской стратосфере еще прекраснее и выразительнее.

Ольга в один огляд видит свой город, зажатый в кольцо блокады, вместе с прифронтовыми окраинами и предместьями. Сегодня ветрено, ветер сносит дальние дымы, воздух прозрачный, виден даже Кронштадт.

Когда смотришь с такой высоты, баржа на Малой Неве прикидывается лодкой, крейсер «Киров», стоящий напротив Зимнего дворца, — катером; просторный Летний сад — сквером; высокие здания превратились в домики; редкие грузовики и трамваи уменьшились до игрушечных; Гороховая улица — узкое ущелье; тяжелое зенитное орудие напротив Исаакиевского собора подобно пулемету; памятник Петру, обшитый досками и обложенный мешками с песком, — ящик причудливой формы; фабричные трубы на Васильевском острове, давно остывшие трубы, от которых уехали их заводы, — размером с телеграфный столб, а трубы за далекой за Нарвской заставой — с карандаш, не более.

Два фронтовых года назад Ольга впервые поднималась на Адмиралтейскую иглу. День выдался такой же погожий. Слепило золото, расплавленное солнцем. Восьмигранный шпиль, шар, корона и фрегат на его острие резали глаза нестерпимее, чем альпийский снег, и дымчатые очки были очень кстати.

Тогда еще в верхний край балюстрады не ударила бомба, и все двадцать восемь статуй стояли над колоннами целехонькие. Тогда еще осколок не изувечил барельеф, не пробил грудь богини Афины, награждающей моряков, тогда еще не были выщерблены осколками колонны и портик.

Курсанты училища Дзержинского ушли из Адмиралтейства на фронт, а в швальне училища начался аврал. Швей, которые из года в год обряжали курсантов

в бушлаты и брюки клеш, кроили по исполинской выкройке защитный чехол. Не с портновским сантиметром, а с рулеткой в руках ползали по полу закройщицы.

Конечно, проще замазать шпиль защитной краской. Но его пришлось бы потом, если шпиль сохранится, золотить заново — с краской неминуемо соскоблят позолоту.

Изготовить чехол оказалось легче, чем взобраться на самую макушку шпиля и укрепить там блок, накинуть петлю, поднять свернутую мешковину. Бровов, Земба, Шестаков — смелые альпинисты, но им еще не приходилось покорять вершины такой категории трудности.

Под «душегубкой» у Ольги висят рукавицы и сумка от противогаза с портняжными принадлежностями: моток парусных ниток, изогнутые иглы, большие ножницы и кухонный нож, острый-преострый, в самодельных брезентовых ножнах. Да еще молоток — на случай, если нужно оббить острый край кровли, чтобы не перерезало натянутую веревку.

Так аккуратно выкроили и прочно сшили чехол тогда, в сорок первом году! Но превратности и ненастье восьми минувших времен года растрепали чехол, как подол старой юбки, превратили в лохмотья. Мешковина сгнила, истлела, ее посеколо шрапнелью. Прорехи в серой маскировке выглядят золотыми заплатами.

Обезлюдел и посуровел город за два военных года, он стал безмолвным, бездетным. Кто мог вообразить город таким изможденным, израненным, с черными кругами горя и голода под глазами?

Ольга знает, что враг в четырнадцати километрах от Адмиралтейства, что наш передний край в четырех с небольшим километрах от Путиловского завода.

Когда Шестаков и Ольга в мае прошлого года маскировали колокольню церкви Иоанна Предтечи на Лиговке, они видели в бинокль немецкие позиции на Пулковских высотах... Но еще лучше их колокольню видели в стереотрубы немецкие наблюдатели.

И для того чтобы лишить дальнобойные батареи врага точных ориентиров, нужно было замаскировать все золотые вершины Ленинграда. Вот верхолазы и кочевали эти два года по куполам, шпилям, колокольням.

В ноябрьскую непогоду Ольга и ее подружка Аля Пригожева укрывали шпиль Инженерного замка. И день короткий; и глазам тревожнее, потому что не гаснут зарева и зарницы батарей; и рукавицы не выручают, иголку держишь гольми пальцами; и ветрозащитная альпинистская штормовка связывает движения; и вместо скальных ботинок тридцати шестого размера Ольга обута в сапоги номер сорок четыре, она обморозила ноги на Эльбрусе и в холод натягивает две пары носков, а поверх наматывает шерстяные портянки и бумагу; и два берета надела на голову, оба набекрень: один прикрывает левое, другой — правое ухо.

Теплой обителью представлялась в те часы Ольга ее выстуженная, промороженная комната. Давно безгласен рояль, пылятся нетронутые ноты, на пюпитре лежит дирижерская палочка, которой она не касалась с начала войны, с того дня, как отправилась в морской порт грузить ящики с минами...

Допоздна при свете близкого пожара маскировали подруги остроколюче Инженерного замка.

Когда окоченевшая Ольга доплелась до дома, мать ее, страшно волнуясь, рассказала, что, проходя мимо Инженерного замка, видела на шпилье двух верхолазов. А тут начался воздушный налет, немцы забросали замок зажигательными бомбами.

— Боюсь, пострадали, — тяжело вздохнула мать. — И веревки охранные могли сгореть у них. И в дыму задохнуться недолго... Отчаянные головы.

Ольга промолчала, не посмела признаться матери, что это она и Аля почти полсуток висели над Инженерным замком. Под ними тушили пожар бойцы пожарной дружины, топали сапожищами по крыше, и никто не слышал их криков, про них попросту забыли в опасной кутерьме и суматохе. Но кто-то же был оставлен на охранении! Или его послали тушить пожар? Или он, подгоняемый страхом, убежал в бомбоубежище?



Вот в тот день смертельно простудилась наверху Аля, неугомонная лыжница и бесстрашная альпинистка.

Аля, Аленька, ненаглядная красавица, нежная и преданная подруга... Ах, если бы только Ольга могла бросить хотя бы на неделю все эти канаты, веревки, шнуры, остаться на твердой земле, ходить через мосты на другой край города, чтобы делиться с большой своим пайком и стальные ночи оставаться у нее сиделкой... Была бы ты жива, может, сейчас чинили бы этот чехол в четыре руки. А если бы ты стояла внизу на охранении, я любовалась бы тобой на земле. Ты умела оставаться красивой, статной и в телогрейке, ватных брюках, треухе...

Ольга с тоской поглядела вниз, где стоят сейчас на высотной вахте товарищи. Не отличить мужчин от женщин, с такой высоты все кажутся коренастыми, коротконогими карликами. Но и не разбирая кто где, Ольга, вися на «душегубке», отчетливо представляла лица товарищей.

У Тани Визель лицо спокойное. В мирное время Ольга ни разу не ходила в горы в одной связке с Таней, случай разводит их в разные группы. А нынче Таня чаще других держит в своих руках жизнь Ольги. Когда требуется, Таня, хоть и обессиленная голодом, продрогшая, стоит на страховке по многу часов подряд. Она повинуется святым законам альпинизма, когда несколько судеб связаны канатом в одну судьбу. Таня ослабела, и в последнее время наверх ее не пускают. Но как неоценима ее помощь! Пожалуй, только Шестаков, опытный горовосходитель, инструктор общества «Искусство», лучше Тани знает приемы, позволяющие альпинистам вертикально подниматься по шпилью с помощью веревочных петель.

Хмурый Як Якыч из инспекции по охране памятников относится к маскировщикам снисходительно. «Я», «мне», «мой», «меня»... Запущенная форма «ячества». Попадаются такие люди, которые делятся только на себя и на единицу. Як Якыч изнемогает от любви к себе. Он привык слушать только себя, а других слушает небрежно, перебивает, то и дело вопрошает: «Вы усвоили мою мысль?», «Вы меня правильно поняли?» — хотя при этом не говорит ничего глубокомысленного.

Нет сегодня осветителя студии «Ленфильм» Алоизия Августиновича Зембы. Его ласково называли Люсей. С трудом Люсю уговорили эвакуироваться на Большую землю. Он лежал на носилках, кожа да кости, шепотом ругал себя и просил прощения у товарищей за то, что бросает их в опасности... Трудно было поверить, что это он с Мишей Бобровым забирался на шпиль Петропавловского собора.

Мучительный груз опасностей и невзгод взяли тогда на свои исхудалые плечи Земба и Бобров. Удивительно, как они вдвоем могли сделать то, что казалось немыслимым, — замаскировать на ледяных сквознях шпиль Петропавловского собора.

Миша Бобров — самый молодой в их группе альпинистов, ему восемнадцать лет, но он уже успел понюхать партизанского пороха. И самообладание у него завидное, и отчаянной смелости не занимать...

На ледяном шквалистом ветру карабкались они сперва по скобам, затем, обвязанные веревками, на высоту 122 метра. А на пути к шпилью — скользкий, неподдающийся золотой шар, попробуйте преодолеть точку отрицательного наклона! Ангел-флюгер шатался, ходуном ходил на шарнирах вокруг креста, смерзалась краска в оконечных руках. Разве отогреешь руки и краску теплом зимних солнечных лучей, скудно отраженных позолотой?

И как ангел ни топорщил свои блестящие золотые крылья, его перекрасили в защитный цвет — будто облачили в армейскую плащ-палатку.

Когда они стались с Люсей? Ольга помнит, что это было при свете зарева, которое неестественно поддурманило его впалые щеки. Алоизий, мучимый злой цингой и старой раной, полученной в бою с белофиннами, стал почти неузнаваем.

Впрочем, разве сама Ольга теперь похожа на себя? От прошлого — только густые брови да темные волосы, гладко причесанные на прямой пробор. От настоящего — страдальческие складки у губ, острые скулы, вяло обтянутые кожей,

усталый взгляд, потемневшее лицо — то ли обожженное ветрами, то ли закопченное дымами...

Много пожаров видела за два года Ольга с верхотуры. По несколько суток горели Гостиный двор, студенческие общежития на Мытнинской набережной, американские горы, некогда оглашаемые девичьим визгом, веселыми криками и смехом. Но особенно страшно пылали Бадаевские склады — сколько тысяч жизней сгорело там в огне и дыму, пропахшем сытными запахами горелой муки, жаренных говяжьих туш, жженого сахара?

В памяти Ольги живет трагический календарь блокады со своими горестями и маленькими радостями, которые давали силу дожить до новых бед.

29 августа 1941 года через станцию Мга проскочил последний эшелон из Ленинграда, а назавтра станцию заняли фашисты. 23 сентября Ольга насчитала на дню четырнадцать воздушных тревог; отбой с четверть часа, не больше, снова тревога, и так до утра. 25 декабря к рабочему пайку прибавили сто граммов хлеба, но до 20 января не выдавали по карточкам никаких других продуктов. В начале января 1942 года Гитлер объявил по радио, что не штурмует Ленинград сознательно и ждет, когда город сожрет сам себя. 10 февраля, ночью, Ольга услышала после месячного молчания радио; репродуктор говорил шепотом, будто отвык разговаривать. Диктор сообщил об увеличении хлебного пайка. 15 марта по Невскому прошел трамвай, груженный льдом, сколотым на путях. А спустя месяц Ольга проехала на трамвае через мосты с Петроградской стороны. Вагоновожатая маршрута № 3 весело позванивала, и радовались все, кто привык мерить расстояния в городе числом бывших трамвайных остановок. 9 августа в Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая симфония Шостаковича, и семья альпинистов-маскировщиков откомандировала в оркестр виолончелистов Андрея Сафонова и Михаила Шестакова. 27 августа в квартире Ольги из водопроводного крана закапала ржавая вода. 22 января 1943 года, ночью, по радио неожиданно объявили, что прорвано блокадное кольцо.

Но город еще жил впроголодь. Для Ольги и ее товарищей по-прежнему оставались лакомством «хряпа» и «дуранда».

Питались лебедой, крапивой, ели жмых, солод, целлюлозу, альбумин, очищенную олифу; варили из стolarного клея студень с перцем и лавровым листом.

Силы таяли, и с трудом давался каждый десяток ступеней. Еще труднее — подъемы без лестниц. Где набраться выносливости, если у тебя цинга, руки в нарывах и даже маленькая царапина долго не заживает?

Спасибо морячкам с «Кирова», они несколько раз подкармливали маскировщиков, которые работали на Адмиралтействе. Неведомый капитан второго ранга распорядился, чтобы после ужина верхолазам наливали в котелки по черпаку матросского варева. Благословенна навеки щедрая поварешка! На камбузе ее называли чумичкой.

А подыматься на высоту в двадцать — тридцать этажей с помощью веревок или карабкаться по вертикальным лесенкам не так легко, если голова кружится, в животе сосущая пустота, к горлу подступает тошнотная слабость, колени подгибаются, а инструменты тяжелеют в руках с каждым днем. Конечно, тому, кто сильно похудел, легче протискиваться меж деревянных стропил и распорок внутри шпиля. Но как бы не изнурить сердце, не обессилить вконец...

Где она, бывая силенка, куда запропастились сноровка и ловкость, которые не раз выручали Ольгу на трудных скальных маршрутах?..

И теперь Ольге нередко приходилось делать «шпагат», работая рядом со статуями, венчающими балюстраду, — одна ступня в воздухе в веревочной петле, а пятой другой ноги она упирается в лоб Александру Македонскому; великий полководец прощал ее вынужденную непочтительность. А когда маскировали колокольню церкви Иоанна Предтечи, она шила, повиснув вниз головой. Поневоле занимаешься акробатикой, если работаешь выше самой высокой тяги, а прочность конструкции не рассчитана на вес человеческого тела.

Когда они забрались на купола собора Николая Морского, под Шестаковым

стал гнуться крест. В другой раз лопнула сгнившая веревка, и Шестаков едва удержал Ольгу от падения: она опасно покачнулась, стоя у него на плечах.

В ту минуту невольно вспомнилось восхождение на Шхельду, тогда их группу преследовала одна неудача за другой и опасность росла, как снежный ком. Лопнул канат, слава богу, это произошло не на отвесной скале, а на крутом склоне. Позже у Ольги вырвался из рук ледоруб...

Еще в начале работы, когда Ольга висела на шпиге Адмиралтейства, снизился «мессершмитт» и дал длинную очередь из пулемета. Немец боялся задеть за шпиль, но пролетел близко — под прозрачным колпаком кабины Ольга видела летчика в шлеме и очках...

Сегодня самолетов не видно, не слышно, но Ольге не внушает доверия чистый и прозрачный воздух. Немецкие наблюдатели, наводчики становятся более дальноразборчивыми — можно ждать огневых налетов.

Придется проторчать наверху не один час. Нужно со всех сторон обшить чехол у основания Неферити, летяги, мешковина прохудилась и свисает бахромой.

Стежок за стежком, стежок за стежком...

Откуда-то слетелись ласточки. Они ведут себя беспокойно — шумно хлопают крыльями, кружатся, предупреждающе кричат.

Никогда Ольга не видела ласточек так близко: голова, спина, хвост и крылья — черные, а шея, грудь, брюшко, надхвостье и перышки на ногах — белые. Вспомнила, что ласточки зимуют в низовьях Нила. Доверчиво летят сюда, на берега Невы, по воздушным путям, проторенным их далекими предками еще во времена Неферити, летяги, послушные таинственным законам природы...

Ласточки мельтешили вокруг и чуть ли не садились ей на голову; самая дерзкая клюнула в руку, державшую иглу с парусной ниткой.

Ольга пригляделась, сунула руку под выступ, который обшивала, — в глубокой нише лепилось ласточкино гнездо. Птенцы увидели подлетевших родителей и начали возню. Еще минуту назад они сидели притаившись, напуганные соседством человека. А теперь попискивали, даже слабо кричали. Драчливые птенцы — их было не то четыре, не то пять — толкались, клевали один другого, били крыльями — воевали из-за места возле летка. Все, как по команде, раскрывали рты — голод нетерпелив.

Обшить выступ, затянуть чехол со всех сторон — обречь пернатую мелюзгу на гибель. Выход один — вырезать дырку в мешковине напротив гнезда, оставить своеобразную форточку, куда могли бы залетать ласточки и откуда птенцы вылетят на свою первую прогулку. По-видимому, их воздушное крещение уже не за горами, птенцы расправляют крылышки, поднимают за спиной, трут их одно о другое.

Хлопот с этой форточкой немало, следует надежно обметать мешковину по краям.

Стежок за стежком, стежок за стежком...

Ольга шила, отмахиваясь, отбиваясь от ласточек.

А птенцы все горластее. Передалась тревога родителей? Давно без корма? Испугал человек в небе? Или чувствовали, как решается их судьба?

В прошлом году на куполе собора Николы Морского, где слежались тонны птичьего помета, Ольга увидела голубя. Митрополит Алексей, он жил и служил в соборе, держал шесть пар голубей и сам кормил их. С каким вожделием, глотая голодную слюну, смотрели на это летающее жаркое и прихожане, и певцы из церковного хора, и они, маскировщики...

Распугали всех пернатых бомбежки, обстрелы, а больше всего крейсер «Киров» — как громыхнет из орудий главного калибра...

«Ласточкам и голубям так же голодно, как и людям, — неожиданно подумала Ольга, орудуя тяжелыми ножницами, кромсая мешковину кухонным ножом, не выпуская иглы из немеющих рук. — У них сократился паек на мух, жучков, червячков. В городе вымерли или съедены лошади, собаки, кошки. Ушли крысы и мыши. Не стало мусора. Некому, а главное, нечем сорить... А если это последние ласточки Ленинграда?..»



Зловещее шуршание заглушило крики ласточек и хлопанье крыльев. Тяжелый снаряд ударил в Неву, в опасной близости к Дворцовому мосту. Взметнулся зелено-голубой столб воды, ослепивший алмазным блеском и тут же опавший в пенный водоворот. Еще один снаряд разорвался на бульваре и выкорчевал вековую липу.

Радио наверх не доносится, однако в ушах Ольги звучит неслышимый ей, хорошо знакомый голос диктора:

— Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта прекратить. Пешеходам укрыться!

Внизу задержали веревку. Но и без сигнала она поняла, что объявили тревогу: в такие минуты становятся вовсе пустынными и набережная, и Дворцовая площадь, и то место, где поблескивают в крутом вираже трамвайные рельсы и берет начало Невский проспект.

Еще несколько снарядов разорвалось поблизости. А вдруг у фашистов сегодня под прицелом Зимний дворец или Эрмитаж? Сверху не видать, но Ольга знает, что при входе в Эрмитаж на портике, который держат гранитные атланты, зияет глубокая трещина. Эрмитаж значит у немецких артиллеристов как объект № 9, Дворец пионеров — объект № 129 и так далее. Вся карта Ленинграда разделена на квадраты. Фашисты вели огонь и по трамвайным остановкам, где скапливался народ, поэтому остановки перенесли.

Сейчас ясный летний день, не видны далекие вспышки, предвестники снарядов, но опасность от этого не меньше.

Обстрел продолжался. Еще два снаряда разорвались за аркой Главного штаба, где-то правее дома Пушкина на Мойке; видимо, батарейный залп.

Ольга ощутила толчки взрывной волны. От утомления или ощущения беззащитности задрожали руки.

Никогда еще за все часы, прожитые в блокадном небе, ей не было так страшно, как сейчас, когда она самовольно задержалась наверху и обрекла на опасность товарищей.

Ветер усилился, и до Ольги донесся кислый запах взрывчатки, тухлой гари.

Ольга оценила предусмотрительность Шестакова; тот заранее определил направление ветра, и кораблик-флюгер подтвердил его правоту. Ольга висела, защищенная шпилем от ветра, с подветренной стороны, чтобы мешковину не вырывало из рук, а наоборот, прижимало к крыше купола. При порывистом ветре чехол надувается, как парус, он бьется и трепещет, Ольге с ним одной не управиться.

Всякий раз после разрыва снаряда на город опускалась тревожная тишина, нарушаемая лишь хлопаньем мешковины, легким поскрипыванием такелажа, криками мечущихся ласточек.

Какой артиллерийский налет обрушился на город — кратковременный или длительный? Если надолго — нужно спускаться.

В минуты обстрела уязвимы не только голова и туловище, но и все канаты, веревки, какие тянутся к Ольге или от нее.

Уж до чего прочны веревки, сплетенные из сизальского волокна, выращенного под небом Мексики, или канаты из манильской пеньки с Филиппинских островов — самая надежная упряжь и снасть альпиниста, какая только нашлась в кладовых Морского училища и на складе Канатного завода.

Но осколок перерубит любую веревку, и тогда случится непоправимое.

Спуститься можно сравнительно быстро, а вот новый подъем займет много минут и может надолго затянуться, если к тому времени начнется новый налет.

А если немецкие батареи замолчат и налетят «юнкеры»? Снова шпиль качнет воздушной волной, а вместе со шпилем, как в штормовом море, накренится фрегат-флюгер.

Ольга поглядела вниз — как там ее товарищи?

Шестаков скорее всего невозмутим. Можно подумать, ему в самом деле неведом страх, который покалывает и щекочет пятки Ольге. Она по-прежнему



выпускает из рук иглу только для того, чтобы взяться за ножницы или за кухонный нож.

Тане в тревожные минуты нелегко дается спокойствие. Мягкий и уступчивый человек, она не умеет заботиться о себе, отстаивать личные интересы. Но как она тверда при выполнении долга, в вопросах морали, как принципиальна в спорах об искусстве!

А Як Якыч скорее всего ругает сейчас Ольгу за то, что она застряла наверху. Он забыл, что его повелительный голос сюда не доносится, а тем, кто стоит рядом, и так слышны все эти «мне», «мой», «меня». Он чаще, чем другие, поглядывает в сторону, где стоит невидимый крейсер «Киров». Может, моряки смогут их сегодня подкормить — как бы не опоздать к ужину и по милости Ольги не вернуться с пустым котелком.

Ольга уже складывала в сумку от противогаса свой портновский арсенал, но услышала писк птенцов откуда-то справа.

Прислушалась, ощупала нижний край карниза с исподу — второе гнездо, третье и в самом углу — четвертое! Гнезда лепились к карнизу всюду, кроме северной стороны.

Спуститься и оставить птенцов на погибель? Налет может продлиться и до вечера, белые ночи давно улетучились, ночь придет безлунная, сюда не подняться до завтрашнего утра, а может, и несколько дней.

Ольга долго не раздумывала и решительно достала инструмент. Да, вспороть чехол, вырезать новые оконца.

Уже несколько раз снизу дергали за веревку, но Ольга не подчинялась: по альпинистским законам нельзя приказывать тому, кто при восхождении находится выше других.

Стежок за стежком, стежок за стежком...

Ну, вот и последний стежок, обрезана крученная парусная нитка. Можно наконец убраться подальше от воинственно настроенных ласточек и начать спуск.

Она обвела взглядом пустынную Дворцовую площадь, улицы, набережную, посмотрела на уродливое дощатое сооружение, которым закрыт Медный всадник. Вспомнилась частушка, которую распевали питерские ребята: «У Петра Великого близких нету никого, только лошадь и змея, вот и вся его семья...»

Она прощально посмотрела на Неву, на крейсер «Киров». Может, как раз сегодня повар на камбузе ждал их после ужина, чтобы наскрести им на дне котла остатки? На мгновение она зажмурилась — будто повар уже вывернул над ее котелком черпак матросской каши, и от этой аппетитной фантазии у нее закружилась голова.

Спускалась она торопливо, как бы стараясь наверстать то время, какое заставило прожить в опасности заодно с собой голодных товарищей.

Чего не знала и не могла знать Ольга, спускаясь на землю?

Она многого не знала.

Она не знала, что 24 января 1944 года, в день, когда снимут блокаду, увидит праздничный фейерверк, услышит отголоски салюта.

Она не знала, что ей посчастливится 30 апреля 1945 года подняться на шпиль еще один, последний раз — острым-преострым кухонным ножом распороть чехол и сдернуть его. На бульваре будет сверкать медью духовой оркестр, и по мере того как Ольга станет спускаться, поближе к земле возникнет и мелодия — марш «Прощание славянки». Дирижер примется махать руками, и Ольга вспомнит о своей давным-давно беззвучной дирижерской палочке. Наверх донесется праздничное ликование толпы. Чехол, распоротый ею, опадет торжественно, как покрывало, сдернутое с вновь открываемого памятника.

Все залюбуются сбереженной красотой, станут щуриться от золотого блеска.

И светла Адмиралтейская игла!..

Она не знала, что в числе маскировщиков в тот торжественный день не будет Алоизия Зембы: он погибнет в пути на Большую землю.

Она не знала, что чеканный силуэт Адмиралтейства будет жить на медали

«За оборону Ленинграда», станет символом и гербом города.

Она не знала, что в августе победного года снова окажется в альпинистском лагере под Эльбрусом и у нее хватит сил подыматься на труднодоступные вершины...

Она не знала, что, когда в возрасте девяноста трех лет умрет старожил собора Николы Морского, кормивший голубей, газеты сообщат, что «в госпде почил святейший Алексей, патриарх Московский, и всея Руси...».

Она ничего не знала и не могла знать о будущем, но именно в ранние июльские сумерки 1943 года, когда спускалась со шпиля, а неугомонные ласточки летали у своих гнезд, высоко над ее головой, к Ольге пришло предчувствие скорой победы, и она ощутила дыхание жизни, отвоеванной у смерти.

Чем ниже спускалась Ольга, тем больше беспокоилась — как ее встретят?

Сложив ладони рупором, сердито кричал ей Як Якыч; но не разобрать — что именно.

И едва она успела ступить на землю, прозвучал отбой тревоги. На улицах возобновилось движение, донесся трамвайный трезвон, гудки автомашин.

Первой Ольга во всем призналась Тане Визель. Да, она застряла наверху и держала всех из-за ласточкиных гнезд, чего, конечно, не имела права делать.

— Но и поступить иначе я не могла,— вздохнула Ольга, и Таня понимающе кивнула.

В ранние сумерки чехол из мешковины не так выделялся на сине-сером небосклоне. И хотя Ольга сама маскировала шпиль этим уродливым мрачным покрывалом, все здание Адмиралтейства было по-прежнему исполнено для нее сокровенной красоты.

Чуть пониже фрегата, венчающего иглу, в шаре хранится металлический ящик, а в нем медная позолоченная доска и ларец. На доске гравировано, что «шпиц обновлен позолотчиками Ижорских мастерских», на что истрачено столько-то червонцев. В ларце лежит пожелтевший конверт с портретами их величеств Александра III, царицы Марии Федоровны и их отпрыска Николая, лежит «Биржевая газета», «Петербургская газета» и «Новости» от 25 октября 1886 года.

«Положить бы в старинный ларец и газеты за тот день, когда будет сдернут чехол,— размечталась Ольга.— Положить в ларец хлебные карточки, положить под стеклянный колпак порцию черного хлеба —«сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам», оставить потомкам конверт с фотографиями героев Ленинграда. Хорошо бы, в конверте нашлось место и для Али Пригожевой, Алоизия Зембы...»

Она запрокинула голову и пристально взгляделась туда, где недавно висела на веревочных петлях. Снизу прорех в чехле не увидать, но она хорошо знает, где лепятся ласточкины гнезда.

ОКОЛО ПОЛУНОЧИ

**В** последний раз, словно закончивший охоту доисторический зверь, проревела из-под Ягодного тяжелая немецкая артиллерия; за Доном, в районе моста, ухнули взрывы, и передний край затих. Стало слышно, как посвистывает в бурой траве сырой, пронизывающий ветер и падают с концов накатника редкие капли — серошинельное, в быстро бегущих облаках, небо весь день было низко нахлобучено на степные курганы, сочило мелким дождем. Взводный Игорь Останцев, слегка сутулый, с клещеватыми кавалерийскими ногами в низко осаженных голенищах сапог, дососал, привычно повернув ее огнем к рукаву, сигарку и щелчком отправил окурок в лужу на дне хода сообщения. Отстегнув замусоленный и коробящийся от сырости брезент, закрывавший вход в землянку, приказал:

— Васильчук, топай до старшины, напомни — пусть гранат подкинут. Второй день обещанками кормят.

Сорокалетний, худой, со впалыми и чумазыми от копоты щеками, Васильчук простуженно шмыгнув носом, вытер слезящиеся от дыма глаза, встал. В сплющенной снаряженной гильзе, едва разбавлявшей темноту скучным светом, дернулся язычок пламени. Васильчук посмотрел на него грустными глазами, взял винтовку, с порога обернулся:

— Пусть хоть Заломов печку расшурует. Хвастается, что у него все под руками горит.

— Да пропади она пропадом! — отозвался с нар Заломов, широкоплечий солдат, с лицом, густо заросшим черной щетиной. Забравшись с полудня на нары, он перетирал боками солому, там же выхлебав суп и умяв кашу, доставленные в термосах. — У кого свое отопление не работает, тот пусть и занимается. Я обойдусь.

— От лени и в луже дрыхнуть будешь, — буркнул Васильчук, уходя. — Как единоличный борю.

— Не от лени, а по диалектике, — охотно пустился в объяснения Заломов, хотя Васильчука уже не было. — Тепла от этого бурьяничка — паршивому воробью хвост погреть, а канители черт-те! На то и голова дана, чтобы руки даром не утратить.

— У нас таких диалектиков в проруби зимой купали, — усмехнулся Матвей Ионенко, чинивший возле коптилки рукав гимнастерки. — Ума вкладывали.

— А на какой реке ты проживал?

— На энской.

— Знаю. Дрянная речка. Бабы вброд ходили, подолов не поднимая, смотреть не на что.

— И как ты это догадался?

— По иконостасу твоему вижу. На больших реках личность крупнее произрастает.

— Заломова словами не проймешь, — отозвался, тоже с нар, добродушный солдат Лушилин. — В колючках родился.

— Ему и купанье не поможет.

— Еще и пол-литру выторгует!

— Зря ржете, кротовые племя! — огрызнулся Заломов. — Речки мне действи-

тельно на один зуб. Я, как Христос, до конца войны пешком научусь по водам ходить. Топ да топ, а она даже не гнется. Не верите? Когда нас от границы гнали, я сто раз пузыри пускал, удивлялся: откуда у нас столько водяных рубежей набирается? А тут, на Дону, от меня уже шуки летом отставали, спрашивали: что за рыба такая неизвестная?

— А ты что?

— Нормально! Имя и отчество докладывал, биографию обрисовывал.

— Щучий язык знаешь?

— И ослиный тоже. Разговариваю же с вами!

— Балагур ты,— сказал Ионенко.— А как балагур, так и выпить и пожрать мастак.

— Не уклонялся,— признал Заломов.

— Рассказал бы чего из жизни, а?— попросил Луцилин.— Сидим тут одни мужики, глаза намозолили друг другу.

— Ты и расскажи, как во время формирования под Армавиром повадился к одной вдове дрова колоть. Как ни посмотришь, все ха-ак, ха-ак! Дровишки-то тяжелые, ракитовый корч больше. И ведь, так я думаю, не хозяйкой соблазнился ты, а коровой, молоко жирное давала. Научный подход!

— При чем тут наука?— удивился Луцилин.

— При том, что наука — она... Земля у нас какой обширности — представляешь? Защищать ее, понятное дело, тяжкий труд, очень уж много флангов получается. А так — подходяще!

— И что?

— А то, что ученые на этой обширности еще до войны специальную территорию подыскивали, куда тугодумов сселять. Чтобы на умных людей скуку дохлыми вопросами не нагоняли. Так что кончится война, а у тебя уже готовенькое место.

— Может, ночь делить будем?— предложил Останцев.— Пока тихо.

— Ничего, итальянец день ото дня смиряется. Летом рта открыть не давал, палил и палил, теперь же затаился.

— С боеприпасами его ущемило. Везить далеко.

— Вот-вот, восчувствуй ему.

— Я не восчувствую, а объясняю.

— Почему фрицу чуть не полземли отдали — тоже объяснили, а вот как отбирать будем — неизвестно.

— Да, нахаркаемся еще кровью.

— Зима скоро,— вздохнул Ионенко.— Доживем, что снегом завалит. Вьюги тут, на Дону, дай бог, наверное. Для ветра простору много, где нихвати — гони да кати.

— Не одних нас завьюжит, их тоже.

— Зима — время русское. Перемогем!

— Сусликовая стратегия,— буркнул Заломов.— Перемогалышки нашлись. Зимой в наступлении греться будем, пар от шапки повалит. Второго фронта теперь не жди, американцы и англичане насморк побоятся получить. Одним придется пыхтеть.

— А шапок-то еще не выдали.

— Будет голова — шапка найдется...

Угольки в печке совсем перетлевали, брались пеплом, никто возле нее толочься не захотел. Слабый свет копилки, как художник с мрачной кистью, наляпывал глыбы темноты по углам и на полу, скупно, несколькими неуверенными штрихами, черное с желтоватым, прорисовывал закоптелые лица солдат. Если смотреть на такую картину свежему человеку, делалось неуютно и горько, начинало мерещиться, что жизнь ринулась вспять, к пещерным временам. Но сами солдаты, давно находясь как бы внутри некоего особого круга, очерченного войной, привыкли и притерпелись ко всему. Из бесчисленных ценностей, входящих в обиход человека, здесь оставались реальными лишь немногие — сама жизнь, которая каждый день и час могла обрваться, еда, курево, сон, письма из дому, у кого еще дом сохранился. И еще туман



ная, вне времени и зримых очертаний, надежда на победу, с которой все должно пойти к лучшему. Поначалу, при палашем солнце и каждодневных атаках итальянцев, жизнь на этих высотах казалась адом: горячего удавалось поесть раз в сутки, и то не каждодневно; не хватало воды, а если и была, то теплая, тошнотворная, из бензиновых канистр; случалось, что приходилось экономить патроны и гранаты, и это создавало тревожное ощущение беспомощности. Смены им не было, только пополняли немного при потерях, так что дорога назад, за Дон, открывалась лишь мертвым и тяжелораненым. «Ногами вперед», — как говаривали мрачные остряки.

Осень поправила дела — и ночи подлиннее стали, и появились в воздухе свои самолеты. С учетом того, что втянулись, жить можно было. Да и в землю залезли крепко. Теперь лишь Заломов, Постников, Васильчук и Луцилин помнили первую ночь на плацдарме. После купания на переправе в горячке выскочили на высоту, которую итальянцы оставили без боя под ударом, в тыл соседнего батальона. Пилютки вверх бросали, — победа! — кто-то предложил флаг водрузить, покрасоваться перед теми, кто остался за Доном. Но уже через полтора часа пришлось вступать в рукопашную, и началось какое-то сумасшествие, и день, казалось, никогда не кончится. На закате стала опускаться дымная мгла, кое-где чадила и мерцала огоньками выдранная взрывами и высушенная солнцем трава, в разных местах слышались стоны раненых. Их надо было собирать и перевязывать, санитары не справлялись, а на потную кожу налипла пыль, потекла грязью, тело нестерпимо чесалось, руки обвяли, ноги подламывались, как гнилые. Ужина не было, повар побоялся переправлять кухню на канате, погрузили на шаткий плотик из бочек, а его перевернуло взрывом бомбы. Комбат, осунувшийся, взерошенный, с царапиной через всю щеку, ходил по ротам, сипел пересохшими губами: «Без еды проживешь, без головы труднее! Зарывайся, а то утром оторвут...»

И они копали, копали, копали с проклятиями сухую плитняковую землю, от которой, казалось, валил дым. Иногда кто-нибудь, вскинув лопату на бруствер, так и засыпал стоя, его будили толчками и матюками. На рассвете пала скупая роса, ветер приволок из-за Дона запах цветов и трав, небо без единого облачного мазка пролило прохладу. Объявили передышку, чтобы хоть малость поспать, но итальянцы после пятиминутной артподготовки опять полезли в атаку.

Так и закрутилось без малого на месяц — днем винтовка, ночью лопата. Жаловались: «Палец судорога сводит, спишь — и то стреляешь!» Но настала пора, когда каждый благоустроил свой окоп, траншеи в рост соединили взводы и роты, в откосах появились ниши, укрывавшие от обстрела с воздуха, и Заломов, сложив кукиш из кровоточащих от мозолей пальцев, сунул его над бруствером в сторону итальянцев.

— Дуче персонально! Пусть выкусит!..

Если смотреть со стороны, высоты были по-прежнему пусты и голы, не очень даже выделялись брустверы, замаскированные травой. Но в действительности это уже была крепость с повывавшим виды гарнизоном, и в подземельях этой крепости ели, спали, философствовали, вспоминали, привирали, сочиняли анекдоты и в пору затишья, не вылезая на поверхность, ходили друг к другу «на табачок». А того чаще в жару, пристроившись на дне окопа, лузгали в тени подсолнухи, которые натащили из разбитого склада под Рыбным. Худо было только с топливом — сарай прибрали в первые же недели, поблизости не было ни кустика, ни деревца, один бурьян, к осени почти все время мокрый. А ночи, высыпая крупные звезды, все холодали и холодали, в ядовито сквозящем ветерке начинал чудиться запах снега. И вместе с тем росло смутное и требовательное беспокойство — что дальше?

Вернулся Васильчук, сказал устало:

— Гранаты подвозят. А старшина, товарищ младший лейтенант, нервозный какой-то.

— Нервзный, говоришь?

— Шипит ужаккой. Говорит, в храпуна с утра до ночи играете, за Доном слышно, казачкам покоя нет. А итальянцы придут — голыми руками возьмут.

— Тоже мне фельдмаршал Суворов! За снабжение, наверно, по коробке

стукнули. На одном конце деревни палки отведаль, а на другом зубы кажет... Толкника там отделенного, пусть наблюдателей проверит.

Иван Постников, пожилой и обстоятельный сержант из орловских колхозников, проведя по длинному, в оспинах, лицу ладонями, поеживаясь и позевывая, слез с земляных нар, полусогнувшись и подергивая плечом, начал влезать в шинель. Уравновешенный, практичный, он уснул еще до темноты, считая, что никакой запас кармана не тянет, да еще в примерке на то, мало ли чего там будет. Опамятовавшись от чугунного сна, он некоторое время молча смотрел на Васильчука, который снова разжигал печку, буркнул:

— Из дерьма конфетку лепишь? Поспал бы лучше. Лезь вон на мое место — пригрето.

— Тьма на улице, — словно оправдываясь, сказал Васильчук. — Поглядишь — и как нету никого, ни единой живности. Один ты на земле.

— Ну и фукай до свету... А тьма — чего особого? Обыкновенная ночь.

— Ты иди, Постников, — поторопил Останцев. — Иди.

— Карт нету, — вздохнул Ионенко. — В дурака подкидного сгонять бы.

— Старух бы еще где занять... Любят они подкидного.

— А то Заломов поворожил бы. Такой человек все может. Сказал бы, когда Гитлеру капут.

— Такой гадюки, как Гитлер, в картах не содержится, — отозвался Заломов. — А чтоб вам гадать, надо масть дамы помнить. Вы же и жен позабыли, как выглядят они, и сами закоптились — не разберешь, кто рыжий, кто вороной от рождения. Не короли, а валеты на один цвет! Только Лушилин обособляется, и то носом — у нас такая картошка родила, лорх называется...

— Так и не пойму я, что ты за человек такой, — подзадорил Ионенко. — Как на хорошем базаре, все у тебя на языке есть, чего ни хвати.

— Моей жизни на весь наш взвод хватит и еще для минометчиков останется! В колхозе работал, на железной дороге при станции, в артисты поступал, в армии отслужил, на заводе токарному делу обучался, в бухгалтеры выдвигался, да война помешала. В одном моем лице весь рабоче-крестьянский класс выступает, а также трудовая интеллигенция.

— Поехал!..

Ночь была даже темнее, чем Постников ожидал. Выпустил из рук брезент и словно нырнул в чернильницу. Ни одной звезды, ни одного просвета в облаках. И сразу начало срабатывать привычное чувство того, что кто-то рядом притаился в темноте, только и ждет, чтобы ты сплеховал. В детстве Постникову, еще до вступления отца в колхоз, приходилось водить коней в ночное. Народу собиралось много, но, кроме одного старика для «догляду», все подростки и женихи. Эти, уже обуреваемые своими горячечными мыслями, уходили на всю ночь гулять в село. А подростков разбивали по три или четыре человека на смены, чтобы стеречь табун. И бывали в августе вот такие непроглядные ночи, будто сажу в глаза сыплют, идешь и боишься — то ли в ямку ухнешь, то ли на куст напорешься. Утром же на кошенине, сизой от росы, лежал зарезанный волками жеребенок или отбившийся конь. Шея разорвана, внутренности вывалились, и от них еще поднимается парок. Иногда в темноте тускло, зеленым в желтизну, просвечивали волчьи глаза, и тогда, чувствуя, как немеют от страха ноги, приходилось делать вид, что с тобой собака, вопить: «А-ря-ря!» Давние те ощущения возникали в нем порой и теперь, особенно в такие вот ночи.

Чтобы отвязаться от лишних мыслей, надо было двигаться, и Постников пошел по траншее проверять наблюдателей. Крайним справа, на стыке с соседним взводом, стоял молоденький и по-детски шуплый солдат Сережа Снегирев. Ростом он был чуть повыше винтовки, и, когда с месяц назад появился во взводе, Заломов рассмеялся:

— Детский сад расформировали, а?

Первое время Снегирев только и делал, что задавал вопросы:

— А почему мы не наступаем?

- А почему итальянцы гранаты в красный цвет красят?
- А отчего у итальянцев пятнистые палатки, а у нас нет?
- Вполне соответствует фамилии, — констатировал Заломов. — Цвень-цвень-фррр!

Неистощимое любопытство, ребячье романтическое представление о войне пересиливали у Снегирева чувство положенного от природы страха. Этому способствовало и затишье на фронте. Теперь, когда в поле зрения за день не появлялось ни одного живого человека, начинало казаться, что пулеметный и автоматный огонь велся не для того, чтобы кого-нибудь убивать, а для порядка. Раз уже война, так и стрелять положено. К тому же Снегирева, безо всякого к тому уговору, старались оберегать. Но в наблюдение он часто просился сам, любил глазеть, слушать, размышлять. О чем? Кто его знает, рассказывать стеснялся.

- Ну, как тут, Сережа? — спросил Постников.
- А ничего, Иван Платонович.
- Не присвечивали?
- Зеленую одну кидали, а свечек не было.
- Не вздремнул одним глазом?
- Что вы, Иван Платонович!
- Ладно, погляди еще часик, потом Ионенко пришлю.
- А наши чего делают — балакают или спят уже?
- Мелют понемногу.
- Я вот думаю — в Испании такие ночи темные, как тут, или посветлее?
- Эк тебя поваживает... При чем Испания?
- На улице нашей летчик один был, в Испании воевал. Геройский человек!

Когда к родным в Почеп приезжал, ножичек такой показывал — сам маленький, а кнопку нажмешь — и кинжал получается.

- И что же?
- Нам бы такие. В ближнем бою хорошо.
- Поглядывай, как бы из тебя итальянец в ближнем бою «языка» не сделал.
- Я, Иван Платонович, и глазом и ухом действую.
- Ладно, поглядывай...

Яков Сыромятников, закутанный в мокрую, коробом, плащ-палатку, — не человек, а сооружение, — встретил Постникова ухмылкой, ощутимой даже во тьме:

- Шастаешь все? Ноги даровые?
- Служба. Проверяю.
- А то, думаю, гвоздь в одном месте... Чего меня проверять? На барщине я, что ли? Шкуру-то свою первоочередно берегу.

— Для порядка.

— Наступать надо бы, для порядка-то. Торчим, как пни, на одном месте, вянем от сырости. А у меня семья под Курском.

— Не у тебя одного. Наступать тоже с умом надо. И ко времени. Значит, не прошло оно.

- Тоска, — вздохнул Сыромятников. — Ест, как вошь. И темно как!
- Осень. Она всякую живность осаживает.
- Осенью я девкам моим — две их у меня — платья новые справлял. В школу бегать. А вот второй год небось ни платьев, ни школы. Если живы еще. Фашист вон как зверствует.

— Как-нибудь среди своих проживут...

— Если бы в нашем тылу — другое дело. Тоже не сласть по нынешним временам, а совсем другое дело... Наступать, говорю, надо, людей вызволить.

— Да уж зимой не иначе что пойдем. Сейчас, посуди сам, куда сунешься, степь-то в кашу развезло...

Когда Постников, проверив наблюдателей, вернулся в землянку, там уже спали. Только Васильчук, шмыгая простуженным носом, смотрел на жиденькое пламя в печи — оно едва всплескивалось и тут же западало, с трудом переживая волглый бурьян. Васильчук смотрел на него без мыслей, без желаний, ощущая

только усталость, опустошенность, одиночество. Жена погибла еще в начале войны под бомбежкой — в последнюю минуту все хватала и не могла ухватить его за отворот пиджака помертвевшими пальцами, всхлипывала с кровью, сочившейся в уголках губ: «Але... шень... ку... бе... ре... ги». Перед тем как уйти в армию, он сдал сына в детский дом, а месяц назад получил извещение о его смерти. И что-то оборвалось в нем, отreshило от всего. Он стоял на посту, чистил винтовку, изредка стрелял, ел, брился тупой бритвой, а в голове плыл туман, из которого без конца доносились приглушенно: «Але... шень... ку... бе... ре... ги... Але... шень... ку... бе... ре... ги». Политрук роты, заметив его угнетенное состояние, пытался с ним беседовать, но Васильчук сказал: «Понимать умом все понимаю, а только душой я человек отвязанный». Он так и не сумел объяснить точный смысл фразы, но для себя чувствовал ее всеобъемлющую истинность. И лишь когда он смотрел на пламя, то вспыхивающее, то поникающее, но неизменно живое и куда-то устремленное, в нем рождалась слабая волна успокоения, ощущение тепла и движения.

— Шуруешь все? — удивился, вернувшись, Постников. — Кочегар вышел бы из тебя знаменитый.

— Не идет ко мне сон, — вздохнул Васильчук.

— Бывает, — согласился Постников. — Да и сколько его взять можно? Отоспалось.

— В баню бы, — вздохнул Васильчук. — Самому вытопить, каменку до красноты разогреть. А потом — рюмочку и к самовару... Погорела баня моя.

— Многое у нас пеплом пошло... Одолеем немца — построишься.

— Не доживу я. Ноги у меня все стынут, холодеют, будто в земле уже... Примета — к себе зовет она...

— От дум все это... Ты не думай, в действие себя закладывай — оно и отсосет. Наступление будет — так только поворачивайся, там бодрости вложат.

Два дюжих солдата принесли ящик гранат. Один зашел в землянку, завертывая в газету махорку, тоже присел перед печкой, в которой шевелился огонек с мышью величиной. Прикурив, обтер рукавом потное лицо, пожаловался смачным басом:

— Темно, как у негра в животе. А?

— Ты потише все же, — посоветовал Постников. — Видишь, спят люди. А у тебя голос — на базаре орехи продавать: «Вот у меня сушеные, каленые!»

— Да их на голос не возьмешь. Даже на мой. Наши тоже, как моченые яблоки к великопостою, квелье стали. Сидим все, сидим, тело млеет. Ни тебе смены, ни наступления. Мы-то вот еще в грузчиках, так ничего тренировки. Поменяемся, а?

— Быка на ендыка чего менять.

— Да так, все занятие.

— Нечего делать — чеши правой ногой за левым ухом. Тоже занятие.

— И то... Ну, мы пошли. Вам еще два ящика подкинем да в третий тоже.

До свету канители и хватит...

Посидев при безмолвии еще, Постников посмотрел на часы и толкнул Ионенко. Тот вскочил быстро, словно из воды выплеснулся.

— Уже?

— Ага. Снегирева сменишь.

— Тихо?

— И темно. Глаз выколи.

— Ну, тогда тихо и будет. Этого, тьмы то есть, они не любят.

— Ты любишь?

— Мне все равно. Я из шахтеров, а у нас даже при лампе все вокруг черно — уголек, сам понимаешь...

В первый месяц обороны был случай, когда в темную ночь итальянцы, по одним догадкам, выкрали наблюдателя, а по другим — сам к ним переметнулся. И случай этот, сам по себе не такой уж значительный, повлек за собой для большого участка фронта длинную цепь неожиданных происшествий и злоключений.

«Язык» или перебежчик, кто его знает, дважды перед закатом, когда уставали-валась тишина, орал через мегафон, шепелявя от нервозности: «Братцы, сдавайтесь,



тут хорошее обращение! Вино дают...» Рота ответила матюками и пулеметным рыком. В словесных очередях особенно изощрялся старшина, хвативший в свое время блатной жизни. Напоследок он пообещал «агитатору» намотать его вместе с кишками на шомпол вместо пакли, протащить через дуло автомата, а потом кинуть бешеной собаке. Итальянцы не оценили ни матерного остроумия, ни тонкой изощренности казни и накрыли роту минометным огнем. Одного солдата убило, двух ранило. Рота рассирепела. Прежде как-то само собой установилось, что, когда в тыл к итальянским окопам в небольшую ложбинку подъезжала кухня, влекомая низкорослой гнедой лошадкой, и солдаты поодиночке, но быстро получали горячий паек, их не трогали. В свою очередь, итальянцы не трогали наших подносчиков с термосами, которые тоже ходили на виду к Дону. В конце концов узнало об этом «перемирии на обед» и начальство, но смотрело на него сквозь пальцы.

Однако на следующий же день после перебранки обозленные минометчики накрыли итальянскую кухню плотным огнем, а пулеметчики, решив не отставать, устроили «подливу». У итальянцев были потери, кроме того, лошадь рванула и свалилась в ров, так что от кухни остался комок мягкого железа.

В свою очередь, итальянцы в ответном порядке подняли пальбу по подносчикам с термосами, и роте пришлось обедать вечером. Командир полка, пожилой, «из гражданки», не посочувствовал: «Сами заварили, сами расхлебывайте... Хотя, в общем, тут не дом отдыха». И пришлось батальону, чтобы не обедать ночью, когда полагалось ужинать, удлинять до обрыва ход сообщения. Спустя некоторое время итальянцы, объясняясь на ломаном русском языке, предложили восстановить «обеденный мир», но рота уже в нем не нуждалась и злорадствовала: «Ишь чего захотели, чернорубашечники!»

— А Москву не отдать в придачу?

— Поцелуй ты меня нынче, а я тебя после дождика в четверг!

— Присылайте вашего Муссолини парламентаром — потолкуем!

Матвей Ионенко, прибывший с пополнением позже всей этой истории, знал ее из ста пересказов во всех бывших и небывших подробностях — она постепенно обростала выдумками и анекдотами, — но сейчас рассуждал здраво: итальянцы темноты не любили, а когда стало задуть холодным ветром и задождило, совсем подкисли. Не до чужих «языков», свои бы целы были. И на пост он шел запросто, как на обыкновенную и уже приевшуюся работу, сожалея о том только, что и место уже хорошо угрел, и прилежался, а выспаться одним махом не удалось, придется второй заход делать. Прежде чем уйти, он тоже подсел к Васильчуку — пламя необъяснимо притягивало всех, — сказал, запоздало зевнув:

— Сон видел. Будто выхожу утром в огород, а за ночь огурцов вылезло — не сосчитать! По росе огурец особый, с хрустом!

— Огород-то где?

— Под Смоленском.

— Стало быть, огурец фрицу, а хруст тебе.

— Ничего, и сами похрустим со временем.

— В баню бы! — снова вздохнул Васильчук. — А потом таким огурчиком закусить. Летом в бане хорошо — веник свежий, духмяный, после хорошего парку в речке окунуться.

— Окунуться и осенью можно, — охладил банные идилии Постников. — Вот, допустим, прижали бы нас к Дону, а мост взорван.

— Теперь не прижмут, — не согласился Ионенко. — Вкопались вон как!

— Если танковую дивизию пустят...

— Была бы — летом пустили бы. Перетюкали наши под Сталинградом много их техники. Там воюют — так воюют!

— А мне только сын снится, — сказал Васильчук. — Жена — нет, отошла уже. Кисея ее будто заволакивает, заволакивает.

— Все померем, — вздохнул Постников. — Ты, Матвей, ступай... Снегирев-то ждет.

Но Снегирев не ждал, он тут же и забыл, что сказал ему Постников об Ионенко.

Спать ему решительно не хотелось, и разные думы, ни в какой связи одна с другой не состоявшие, толпились в его голове. Сначала ему представилось, как однажды вот в такую ночь, может, даже сегодня, он совершит подвиг, о котором заговорит весь батальон, а может, и полк, — приползут итальянцы, но он заметит, даст очередь из автомата, а потом накроет гранатами. По первой прикидке итальянцев выходило двое, затем ему показалось, что маловато, и он увеличил их до пяти. Двух он пристрелил, двух прикончит гранатой, а одного возьмет в плен. Но итальянцы не ползли. Правда, на одно мгновение ему почудился шорох, но потом, сколько ни прислушивался, больше ничего не было слышно. «Заяц, наверное, — подумал он. — Или ветер рванул...»

После этого он представил, как после войны, весь в орденах, возвращается в свой пристанционный поселок под Саратовом и его приглашают выступать в клубе. И он, рослый, — должен же он подрасти? — в пропыленной походной форме, рассказывает, как воевал, как шел от Дона до Берлина. И Катька Ивичева, самая пригожая и насмешливая девчонка в поселке, присылает в президиум записку, в которой сообщает, что будет ждать его под липами около табачного ларька. Перед уходом в армию он ей намекал, да она не пришла. Может, не поняла, может, времени не было. А он ходил часа два, слушая, как шелестят липы на свежем ветру и время от времени, мигая в просветах живой изгороди красными фонарями, постукивают на стрелках товарняки... Но еще через минуту он позабыл и о поселке, и о Катьке Ивичевой, а попытался представить себе Гитлера — что он там делает сейчас, в Берлине? Вот пробраться бы и выкрасть его планы — вот было бы! Или еще лучше — захватить его в плен... Но тут он ощутил, что залетел слишком далеко, и, чувствуя, что неплохо бы поест, увидел гречневую кашу, не рассыпчатую, а чуть размазную, и не со шкварками сала, а с топленным маслом, которое он любил больше. А так как каши все же не было, то он достал из кармана кусок хлеба, оставшийся от ужина, и начал неспешно его жевать, прикидывая в то же время, какие ему к зиме дадут валенки — белые или черные? Он уже слышал, что как только падет снег, так и будет переобмундировка. И ему хотелось белые валенки, а от полушубка он может отказаться, если дадут меховой жилет. Конечно, меховые жилеты дают только командирам. Да вдруг останутся? Не возить же назад. Ну, полушубок тоже в конце концов подходящее дело — пусть будет полушубок...

Пришел Ионенко.

— Ну как, спят макаронники?

— Спят.

— Валяя и ты посвисти носом.

— А можно мне тут остаться? За компанию.

— За компанию — это к пиву хорошо и прочему напитку. А вот ухаживать — тут одному лучше. И на посту тоже.

— Да я молча.

— Вроде чучела, значит... Молча все едино где — что тут, что у блиндажа. Ты с Максимом иди потолкуй, около печки страждет. Трудной жизни человек, придавило его, как ежа сосной.

— Семейным всем хуже.

— Не скажи. Каждая беда в своем весе ходит. И человек человеку большая разница. На одном и кол пополам ломается, другого прутом зашибить можно. Заломова под расстрел поставь, так он чего-нибудь отколет, а говорить неумогу — язык покажет. Так что...

Чем еще напутствовал бы Снегирева Ионенко, осталось неизвестным, так как события приняли новый оборот. Метрах в пятидесяти от окопов, в ничейной полосе, распарывая чернильную темноту, взметнулся треугольник света, и тут же ухнул взрыв. Это было тем более удивительно, что не было слышно ни самолетов, ни артиллерийского выстрела, ни шурхання снаряда на излете. Будто сама земля выпала в небо. И вслед за взрывом погустевшую от всплеска пламени темноту прорезал хрипящий и прерывистый, страшный крик, которого, казалось, человеческим горлом издать невозможно:

— Аа-и-аа-и-аа!..

От этого крика, темного, бессознательного, когда против боли и смерти протестует уже не разум, а сама погибающая, разодранная, исходящая кровью плоть, сами собой начинали шевелиться волосы на голове. Он звучал там, впереди, но отдавался в каждой живой душе, будоражил ее, ошеломлял, всколыхивал чувство животного страха, идущего через бесчисленные поколения от самой древности. Так, вероятно, кричал какой-нибудь предок, застигнутый во сне хищным и беспощадным зверем, кричал, чувствуя, как зубы и когти разрывают мягкие ткани живота, добираясь до внутренностей. А те, что слышали этот крик, еще теснее вжимались в свои логова и берлоги, ощущая на лице таинственное и ледящее дыхание ночи.

Взвод сорвался по тревоге, занял свои места. К Ионенко и Снегиреву прибежал Останцев.

— Что у вас тут?

— Кто его знает, — почему-то совсем тихо ответил Ионенко.

Темнота продолжала стонать:

— А-а-а-а-а...

— Не наш?

— Наши все тут. Да если бы наш, в словах бы сказался.

— Это верно, «братцы» бы крикнул, что ли.

— Стало быть, не наш.

В мелкой мороси намокшая трава не шуршала под ветром, все звуки степи погасли, и оттого стон, начавшийся звериным криком и все более переходящий в скорбную жалобу, один заполнял все невидимое пространство между черным небом и черной землей.

— Итальянский разведчик на mine подорвался, — предположил Останцев. — Наши позавчера ставили.

— Или перебежчик.

— В какую даль помирать занесло!

— Сидел бы в своем Риме. Говорят, красивый город.

— Не все и они в Риме живут. Крестьянствуют тоже.

— Так и жил бы при своей земле.

— А если погнали человека? Фашисты — они не церемонятся.

— Вытащить бы, а? Жалко все же.

— А как нас убивать — не жалко?

— Это верно... Ну, тут особое дело.

— А как ты его вытащишь? Мины ведь. Саперы разве что, так и они в такую прорву не полезут.

— А вдруг не разведчик и не перебежчик? — засомневался Останцев.

— Кто же?

— Сапер итальянский... Пришел проходы разминировать для атаки...

— Да-а, это соображение...

— Смотрите-ка тут в оба, я пошлю связного к ротному...

Не спали ни на той, ни на этой стороне. Но молчали. Тревожно и выжидающе. Кто бы не подорвался из итальянцев, об этом знали немногие, другим оставалось гадать: что произошло и что последует? Кто-то не вынес безвестности, к низким облакам взлетела осветительная ракета. Ее дрожащий свет в первое мгновение заставил зажмурить глаза. На следующие несколько секунд стала видна бурая, в мокрых отсветах степь, зеленоватое пятно проплясало на плачущих облаках, а затем словно захлопнулась крышка колодца и стало еще острее ощущение сырости. А стон, слабея, ввинчивался в уши, рождая странную для такого места жалость.

— А-а-а-а-а...

Придавленный угольной тьмой, в намокшей бурой траве одиноко и беспомощно переходил в небытие человек. Что делал он в жизни? Пахал, стоял у станка, торговал, ходил в учреждение? О чем мечтал? Кого покидает на земле — старых родителей, невесту, жену, детей? Добрым был или злым? Умным или глупым? О чем думал, вступая в полосу земли, где на каждом шагу смерть, смерть, смерть? Сотни людей,

выскочив спросонья в грязные окопы, задавали себе эти вопросы, слушая стон, и жалели погибающего, и не имели возможности, не могли ничем помочь или даже облегчить муки его. Все они уже убивали сами и видели убитых, но бывало это в противоборстве, в ожесточении — или ты, или я! — и потому уже не потрясало воображения, становилось, вопреки нравственным установлениям мирного времени, будничным делом. Эта же гибель во тьме обособлялась ото всех других своей горькой неприкаянностью и потерянностью, снимая гипноз массовых убийств, возвращала человека к человеку. Побуждала к лихорадочным размышлениям.

— Вот тебе и возлюби ближнего своего... Церквей понастроили, проповеди читали, а...

— Бандита за одну жертву судили, а тут...

— Кто войну затеял, на его бы место...

— Вот что значит по чужую землю пошел...

И неотвратимое, холодящее каждого:

— А завтра, быть может, и я...

Ионенко обернулся на всхлипывания: Снегирев плакал, сунув локти на грязный бруствер и уткнув лицо в ладони. Стало мутно и самому, подумал: «Господи, кончилось бы уже, что ли!» Он положил руку на вздрагивающее плечо Снегирева, но ничего не сказал — что тут было говорить? Подошел Постников, тоже стал рядом. Молча. И так стояли на своих местах Сыромятников и Лушилин, Останцев и Заломов, и старшина, который «шипел», выдавая гранаты, и подносчики, и все на участке роты и даже батальона.

То же было и у итальянцев, и там солдаты, взводные, ротные ловили этот затихающий в жалобе голос жизни, уходящий в сырость и мглу.

— А-а-а...

— А-а...

И казалось, что это уже стонет не человек, брошенный всеми, а сама земля, израненная, изрытая, расколоченная за лето минами и снарядами, освистанная пулями и обвита бомбами — темная, мокрая, голая, сиротливая земля войны, жалуясь на неразумие людей, которых она сама породила. Десятки миллионов лет шлифовала она трудным опытом лучшее свое произведение — человека — и не нашла защиты от сумасшедших и маньяков...

Прошла еще минута, две, три. Было около полуночи. И чьи-то нервы не выдержали: брызнула пулеметная очередь, за ней еще и еще, ударили минометы, взлетело несколько осветительных ракет, багровый свет заплескал на облаках, и все вошло в привычную норму — норму войны...



## Абдулла Каххар

(1907—1968)

### СИНИЙ КОНВЕРТ

Гвардии сержант Иркабай Мирзаев сидел у окна в госпитальной палате и задумчиво смотрел на улицу. Мимо окна кто-то прошел с полной корзиной персиков. Персики были крупные, спелые, с пушистой желтовато-красной кожицей. Иркабаю страшно захотелось попробовать вкусный плод, и он с сожалением посмотрел вслед обладателю полной корзины персиков: «Эх, подбросил бы штуки четыре!» Он живо представил себе, как осторожно снимает с персика мягкую, бархатистую кожицу, как кладет в рот сочный, мясистый плод и глотает, глотает слегка вяжущий, сладкий сок.

На другой день утром Иркабай сидел у того же окна и опять тот же самый человек прошел с персиками. Весь этот долгий день Иркабаю мерещились персики и персиковые сады. Даже ночью приснилось, будто он гуляет с девушкой в роскошном саду, а она говорит: «Смотри, какие замечательные персики! Что же ты медлишь? Срывай скорее!..»

Уже пять с половиной месяцев Иркабай находился в госпитале. С некоторых пор он начал испытывать ужасную скуку. Скука переходила в тоску. С товарищами по палате давно обо всем переговорено, со стороны никто не приходит, а выйти самому... Но куда же пойти? Ни одного знакомого в городе нет.

Хотелось поскорее вернуться на фронт. Там лучше: товарищей много, каждый день приносит интересные новости... Кроме того, со всех концов страны совершенно незнакомые люди шлют бойцам письма, подарки. Мирзаев только за один месяц, перед ранением, получил три письма и две посылки.

Как-то на Западном фронте, когда он был еще рядовым бойцом, командир отделения подошел к нему с маленькой посылочкой и сказал: «На тебе, чернобровый, черноглазый парень!» Иркабай был удивлен словами командира, но, взглянув на посылку, увидел, что эти слова были написаны на ней как адрес: «Западный фронт. Вручить чернобровому и черноглазому парню, наиболее отличившемуся в боях с фашистами».

В посылке было граммов двести хорошего табаку, маленький батистовый платочек красивой расцветки и коротенькая записка, вложенная в синий конверт: «Товарищ красноармеец! Табак курите вместе с товарищами, а платочек сохраните — востребую после войны. Латифа Гулямова».

Иркабай был так взволнован этими строками, что в тот же день написал Латифе сразу два письма. Одно из них состояло из самых изысканных приветствий и благодарностей, а в другом он намекнул на какие-то чувства, о которых можно говорить девушке только на ушко. Прошло месяца два, — ответа на письма не было. За это время разыгрались крупные бои, часть, в которой находился Иркабай Мирзаев, стала гвардейской, а сам он стал гвардии сержантом. Он снова написал Латифе, но она не ответила и на это письмо. Оставалось предположить, что он своими намеками сильно обидел девушку.

Вскоре после этого Иркабай был тяжело ранен и больше месяца лежал в прифронтовом эвакуогоспитале. Для окончательного излечения его эвакуировали в глубокий тыл, и он попал в тот самый город, где проживала Латифа. Вспомнив о девушке, Иркабай решил: «Как только поправлюсь, обязательно пойду навестить

ее». Но когда он поднялся с койки, получив возможность передвигаться с помощью костыля, эта решимость оставила его. «На что мне надеяться?— думал он.— Письма мои она оставила без ответа, платочек обещала востребовать только после войны, а это значит, что она предупреждала: «Пока не разделаешься со своими фашистами, не показывайся мне на глаза...»

В последнее время Иркабай перестал было думать о Латифе, но этот странный сон и девушка в персиковом саду, чем-то смутно напоминавшая Латифу, снова всколыхнули мысли о ней. Разве обязательно при встрече говорить: «Вот это я самый и есть — Иркабай Мирзаев!» Можно назваться товарищем Мирзаева, передать фронтовой привет от него. Кажется, она умная, хорошая девушка, с ней будет приятно поговорить, может быть, удастся погулять в городском саду или сходить в кино — это уже развлечение.

Так думал гвардии сержант Иркабай Мирзаев и решил, не откладывая, выполнить свое намерение. В первое же воскресенье, принарядившись, он посмотрел в зеркало и остался доволен собой: выданное с госпитального склада обмундирование складно сидело на его стройной фигуре, несколько побледневшее после долгого лежания в палате лицо теперь снова приобрело юношески розоватый оттенок, а пришитая к гимнастерке ленточка двух тяжелых ранений делала почетным и легкое прихрамывание на левую ногу, и даже стандартный, белого некрашеного дерева, костыль в правой руке.

Разыскав дом, где жила Латифа, Иркабай с волнением постучался в калитку. В голове мелькнула неприятная мысль: «А что, если эта Латифа — старая женщина, которая, подобно виноградине, потеряв все соки на ветке, превратилась в кишмиш?» И когда в калитке перед ним показалась сморщенная старушка, он так растерялся, что не мог слова сказать.

Старушка, моргая подслеповатыми глазами, несколько секунд молча разглядывала сержанта и вдруг, обняв за шею, поцеловала в обе щеки.

— Ах ты, голубчик, красавец мой!— заговорила она как с самым дорогим человеком.— Что это у тебя с ногами? Заходи, заходи скорей! Сюда, мой милый...— Шаркая туфлями, она торопливо пошла к низенькому крыльечку.— Эй, доченька, где ты там, ставь самовар! Иди сюда, посмотри: вот приехал с фронта...

Сердце Иркабая вздрогнуло при мысли, что сейчас он увидит Латифу.

На крыльцо вышла девушка лет семнадцати, в атласном розовом платье, с длинными черными косами, уложенными в несколько рядов вокруг головы. Она поздоровалась с фронтовиком и вернулась в дом. Иркабай с горечью подумал, провожая ее глазами: «Такую красавицу я отпугнул своим дурацким письмом!»

— И таким парням, как ты, война все еще не дает строить свой угол и исполнить свое желание,— между тем говорила старушка, готовя для Иркабая место на супе<sup>1</sup> в тени.— Ох, времечко! А все из-за этого безумного Гитлера,— гореть бы ему в огне на этом и на том свете!.. А Латифа, наверно, тоже с вами, сынок?

Из дома опять вышла девушка со скатертью в руках. Услышав последние слова матери, она улыбнулась:

— Вот с этого бы и начинала, мама... Вы с какого фронта?— обратилась она к Иркабаю.— Моя сестра на Центральном.

— Как?— удивленно воскликнул Иркабай.— Латифа на фронте? Почему она там?

— Медсестрой пошла. Уехала отсюда в мае прошлого года.

— Вот оно как!

— Да, сынок, так...— снова заговорила старушка-мать.— Сколько я говорила ей: «Не можешь ездить на коне, не умеешь стрелять из пушки,— что будешь делать на фронте?» Нет, не послушалась. Храбрая уж очень. Только и думала о войне. Писала письма красноармейцам и командирам, посылала маленькие подарки. Вот

<sup>1</sup> Суп а — глинобитное возвышение во дворе или в садике, служащее местом отдыха в жаркое время.

уж больше года прошло, как уехала, а письма все идут и идут для нее со всех фронтов. Доченька, сколько ты переслала ей писем-то? Да, помню: сто два письма.

Иркабай даже испугался: «Три моих... и еще девяносто девять!»

— И все с фронта?

— А с теми, кто в тылу, она и знаясь-то не хотела. Уж такая... Иди принеси доченька, ее карточку, пусть наш гость посмотрит... Некоторые письма дочка прочитала мне. Так рады, так благодарят ее все эти красноармейцы и командиры... Два письма написаны каким-то озорным парнем... Да уж ладно, пусть живет долго!

Иркабай густо покраснел.

Девушка вынесла из дому несколько фотографий Латифы.

— Это она снималась еще здесь,— сказала она, протягивая Иркабаю одну из карточек.

С фотографии, чуть потупясь, застенчиво смотрела молоденькая девушка. «А ну вас, молчите!»— словно говорила ее смущенная улыбка, предупреждая всякие похвалы ее красоте. Иркабай недоумевал: такая тихоня — и отправилась на фронт!

— Посмотри на эту, сынок,— указала старушка-мать на другую карточку.— Это она снималась в Москве.

«Как идет ей военная форма!..»— у Иркабая даже зарябило в глазах. Здесь Латифа была совсем другая. Она стояла с гордо вскинутой головой, глаза ее задорно поблескивали, и весь ее вид как бы говорил: «Эй, парень, поберегись!»

Иркабай задумался. Машинально он перевернул карточку и увидел фронтовой адрес Латифы.

— Вы узнали ее?— спросила старушка.

— Мамаша!— дрогнувшим голосом обратился к ней Иркабай.— Дайте мне эту карточку. Одна из посылок Латифы досталась моему близкому другу. Он раненый, лежит в госпитале, а ему очень хотелось познакомиться...

— Как его зовут?

Иркабай растерялся.

— Из тех писем, которые вы получили,— стал он объяснять, словно оправдываться,— три письма — от него. Но он не тот озорной парень, о котором вы говорили... Он...— Иркабай совсем смутился и замолчал.

— Хорошо, возьмите,— сказала сестра Латифы и улыбнулась, как будто разгадав, кто этот «он».

Иркабай положил карточку в нагрудный карман и встал. Как ни уговаривали его хозяйки остаться пить чай, он распрощался и ушел, боясь выдать себя.

Вернувшись в госпиталь, Иркабай до самого вечера составлял письмо. Написав его наконец набело, он взял синий конверт — точно такой, в каком прислала ему свое письмо Латифа,— и сделал на нем четкую надпись:

«Действующая армия. ППМ 19640-Б. Если вынесла с поля сражения более десяти раненых, вручить чернобровой и черноглазой Латифе Гулямовой».

На этот раз Иркабай сумел многое сказать в своем письме девушке, но пересказывать здесь содержание этого письма было бы, пожалуй, нескромно.

## Рачия Кочар

(1910—1965)

### МАТЬ

#### 1

Потеряв свою часть, шагали мы, трое солдат, усталые и измученные бесконечными поисками, по проселочной дороге, под дождем, смешанным со снегом. Дождь и грязь, грязь и дождь, темный горизонт. Издалека доносился до нас глухой гул.

Позади осталась Украина, впереди расстились мгlistые русские степи. На опушках лесов и на открытых полях безмолвствовали унылые деревни и хутора, на заброшенных полустанках молчаливо стояли разбитые паровозы.

Мгла сгустилась, и угрюмая ночь окутала землю.

— Не могу идти, сил больше нет,— пробормотал самый младший из нас.

Перед войной он окончил Ленинградскую консерваторию и мечтал возвратиться в родной город и взяться за любимую скрипку. Уже третий день он ничего не навистывал и молча шагал за нами.

Остановились на минутку передохнуть. Скрипач так и рухнул на стог сена.

— Не могу, ноги не мои...

Было уже темно, и мы не видели его лица, но представляли себе, какой у него жалкий вид.

Другой наш товарищ — здоровенный токарь из Харькова — подошел к нему, нагнулся, взял за руку:

— Вставай, Степа, браток, уже деревня видна, доберемся, там отдохнем.

Вдвоем мы подняли на ноги измученного скрипача и отправились дальше. Дорога становилась все длинней и длинней. Вот показались наконец крыши домов. Ни людских голосов, ни собачьего лая. Стучим в первую попавшуюся дверь. В ответ доносится слабый женский голос:

— Кто там?

— Открой, мамаша, солдаты...

Дверь открывается. Мы еще не видим хозяйки, но слышим ее голос, тихие слова:

— Спаси, господи... Отец небесный...

— Не бойся, мамаша, мы солдаты, товарищ наш болен, отдохнем немного и пойдем себе дальше.

— Заходите, заходите... Чего мне бояться, дети мои. Зайдите, погрейтесь.

Молча входим вслед за нею. Старушка поднимает фитиль керосиновой лампы, которая стоит на краю русской печи, оборачивается и вглядывается в нас. Взгляд ее останавливается на худом, измученном скрипаче:

— Ох и заморился же он... Раздевайтесь, сейчас затоплю печь, согреетесь.

Маленькая, исхудалая, высохшая женщина с платком на голове, в узких старых сапогах с длинными голенищами. Маленькие глазки, словно бледные лучики, слабо мерцают на сморщенном лице. Глядишь на нее и думаешь: как же она детей рожала, как в саду землю копала, как по воду ходила с коромыслом на плечах?

— Ох, как заморился,— повторяет старушка, ощупывая руками худые плечи скрипача.— Ляг вон там на сухом сенце...

Только сейчас мы замечаем лежащих на полу солдат, укрывшихся шинелями. Их тут пять или шесть.



— Как и вы... Неделю целую приходят и уходят, приходят и уходят, и конца нет, о господи...

Скрипач ложится и сразу засыпает.

— Схожу за дровами,— говорит старушка.

Харьковчанин идет за нею. Через некоторое время возвращаются: солдат вносит вязанку дров, а женщина — охапку сухого сена. Немного погоды в русской печи заиграло, запырало рыжее пламя.

Харьковчанин стягивает со скрипача солдатские ботинки, старушка помогает ему размотать портянки и развешивает их на печи.

Тепло расслабляет все тело, одолевает усталость.

Старушка смотрит на харьковчанина каким-то смущенным, виноватым взглядом:

— Только нечем вас накормить, родные, кроме вареной картошки... Сколько приходило вас и уходило...

Мы говорим, что у нас есть сало.

— Значит, поджарю картошку,— обрадовалась старушка.

Я наблюдаю, как эта шуленькая старушка с удивительным проворством чистит и нарезает картошку, складет ее вместе с салом на сковороду и толкает кочергой в глубь печи, обкладывая сковороду горящими поленьями.

Картошка готова. Старушка достает ее из печи, берет сковороду тряпкой и ставит на маленький стол.

— Ешьте, ребята.

И подходит будить скрипача. Солдат спит как убитый. Старушка просовывает руку под его белокурую голову, приподнимает ее и гладит лоб:

— Вставай, сынок. Вставай, подкрепись.

И вместе с харьковчанином, обняв скрипача, подводит его к столу.

Ни один из спящих на полу солдат, что пришли раньше нас, не проснулся: так крепко был их сон. Мы утоляем голод и забываем, кажется, обо всех трудностях пройденного пути, о неопределенности дальнейшей своей судьбы. Улегшись на полу, тут же засыпаем тяжелым солдатским сном.

Поутру старушка поочередно трясет нас.

— Вставайте, ребятки. Может, опоздали?

В комнате, кроме нас, никого нет. Другие солдаты проснулись раньше и уже ушли. На сковороде дымится жаренная на сале картошка.

Старушка приглашает нас к столу, а сама садится поодаль, на маленькую скамеечку, скрестив руки на груди. Сейчас ясно видны морщины на ее лице, маленькие глазки как бы наблюдают за каждым из нас в отдельности. Как мы ни просим, она не садится за стол.

— Ешьте, ешьте...

Заходит какая-то соседка, просит картошки. Старушка насыпает ей в подол картошки из большой кастрюли и опять садится молча на свое место. Шепчет, глубоко вздыхая:

— И у нее в хате солдаты...

Меня мучит совесть. Хочется хоть каким-нибудь добрым словом обласкать эту славную женщину, но я не нахожу подходящих слов.

Благодарим ее и встаем. Я достаю из кармана кусок сала, завернутый в бумагу, и кладу на стол. Старушка не замечает: в это время она своим тихим, мягким голосом напутствует скрипача.

Из ее хатки, расположенной на краю села, выходим мы прямо в поле, покрытое инеем.

Не так уж мрачен мир, как вчера.

Скрипач начинает тихо насвистывать какую-то мелодию. Он шагает впереди нас с высоко поднятой головой.

Не успели мы отойти от села, как услышали позади окликающий нас женский голос:

— Солдаты, солдаты!..

Остановились, оглянулись. Бежит к нам маленькая девочка... Нет, не маленькая девочка, а приютившая нас старушка. «Что случилось?» — думаем мы. Подбегает и протягивает сверток с салом:

— Забыли, возьмите...

Я растерянно отступаю:

— Не забыли, мамаша, оставили тебе.

— Берите, берите, вам пригодится в дороге. Я не помру с голоду. Берите...

Она тяжело дышит, почти задыхается, лицо ее стало еще бледней, глаза слезятся от холодного ветра.

— Берите...

И сует мне в карман сверток.

Мы молчим.

— Счастливого пути вам, сыны мои...

Она хочет повернуть обратно, но останавливается:

— И мои сыновья на фронте... Может, знаете одного из них, он большой командир... Ватутин Коля... Николай Федорович Ватутин. Доведется встретить — передайте, что видели меня, что я жива и здорова... Ну, счастливого пути...

И пошла обратно маленькая старушка, скользя по промерзшей за ночь земле.

## 2

В тот же день на станции Валуйки мы нашли подразделения нашей части и, присоединившись к ним, двинулись к городу Волчанску.

Шел первый, тяжелый год войны. С тех пор не раз ночевали мы в деревенских хатах, не раз лежали в окопах и траншеях под снегом и дождем, но никогда не стиралось в памяти лицо старушки из села Чепухина, которая просила передать сыну о себе, сказать, что мать жива и здорова... Имя ее сына нам не было знакомо в те дни.

Позже, когда генерала Николая Федоровича Ватутина узнал весь мир, солдат Степан Филатов рассказывал всем, как встретились мы с матерью командующего фронтом, как она приютила нас, какая она хорошая и добрая. А однажды он написал генералу Ватутину письмо, где рассказал об этом. И получил ответ, который носил в боковом кармане и чуть ли не каждый день читал солдатам.

Мы пережили сталинградские дни, двинулись с Волги на Дон, потом на Курск и подошли к Орловской дуге.

Впереди теперь была Украина.

Выиграв затем огромное сражение, войска освобождали город за городом и к концу осени подошли к Днепру.

Каждый раз, когда я слышал известия о победе наших войск, мне казалось, что впереди всех шагает сын той маленькой женщины, непобедимый и неуязвимый богатырь гигантского роста, которого охраняет, как волшебный талисман, от всякой пули и беды святая и праведная любовь матери. Она всегда с ним, во время всех наступлений и атак.

Солдатская судьба забросила меня с Украины на север.

Однажды ранней весной на опушке леса собрались солдаты нашей части послушать концерт. Неожиданно я встретился там со Степой Филатовым, которому, оказывается, некоторое время тому назад вместо ружья в руки дали скрипку.

Он был печален.

При виде меня глаза его наполнились слезами. Встреча ли со старым другом так расстроила скрипача, нервы ли расшатались или любимая девушка, чьи письма он хранил на груди вместе с письмом Ватутина, изменила ему?..

— Степа, что с тобой, Степа?

— Ватутин убит, генерал Ватутин...

Он пришел из штаба, где уже получили это печальное известие.

Концерт был отменен.

Сидя в теплой землянке, мы вспоминали прошлые дни. Степа достал из кармана уже истертое и смятое письмо Ватутина.

«Большое, большое Вам спасибо, тов. Филатов, за Ваше хорошее письмо, в котором сообщили мне, что видели мою мать...»

Бережно сложив письмо, Степа положил его на колено. Прищурился глазами, рассеянно смотрел он на противоположную стенку и, не поворачивая лица, прошептал:

— Помнишь его мать?

Немного погодя он взял скрипку. Он играл хорошо, и мне показалось, что никогда еще в жизни я не слышал такой скорбной мелодии.

### 3

Прошли годы. Кончилась война. Восстанавливались разрушенные города, зарубцовывались раны. Высохли уже слезы матерей, становились отцами и матерями те, которые были несовершеннолетними в первые годы войны. Мир огласился криками новорожденных.

Советская Украина отмечала свою тридцатую годовщину. На празднование этой даты в Киев были приглашены гости со всех концов страны.

Всякое торжество имеет свое завершение. На краю города, у величественного Днепра, на высоком холме предстояло открытие памятника тому, чье имя с уважением произносит каждый украинец. Со всех сторон текли людские потоки к прибрежному парку.

Гостям уступали дорогу, и мы подошли к памятнику, когда он был еще окутан белым покрывалом. Огромная масса народа окружала заветное место.

Опустилось покрывало, и образ, запечатленный в камне, улыбнулся миру. И все, как один, мгновенно сняли шапки. Воцарилась торжественная тишина. И вдруг в толпе пронесся шепот. Все нарастая и нарастая, он добежал до самых отдаленных краев взволнованного человеческого моря, возвратился и снова покатился вдаль: «Привели мать! Мать пришла!..»

Перед памятником, прижав руки к груди, стояла и смотрела на сына мать — все такая же щупленькая, со сморщенным лицом и маленькими глазками, в такой же одежде и в таких же крестьянских узких сапогах, в каких мы ее видели тогда в родном ее селе...

Толпа колыхалась, как волны безбрежного моря. Всем хотелось подойти, взглянуть на мать полководца.

Ее маленькие зрачки расширились, бледные старческие губы прошептали что-то. Никто не мог расслышать, что сказала она.

Мать беззвучно разговаривала с высеченным в камне образом сына, с живой душой его. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, казалось, будто два изваяния стоят друг против друга — мать и сын, и будут стоять так вечно.

Взволнованные люди смотрели на обоих, не надевая шапок, хотя был студёный декабрь...

Десять лет прошло. А мне чудится, что до сих пор у памятника сыну-герою стоит и вечно будет стоять мать.

ПОДВИГ

Несчастье случилось в шесть ноль-ноль.

Оно было записано в вахтенном журнале эскадренного миноносца с исчерпывающей жесткой точностью: «6.00. «Стремительный» подорвался на минной банке на траверзе маяка Лонгруд. По донесению командира, держится на плаву. Убитых семь, раненых шестнадцать. Командир соединения приказал: «Стремительному» остаться на месте, остальным продолжать операцию».

Это было все, что занесла в журнал вздрагивающая от волнения рука вахтенного командира «Сурового». Вахтенный журнал не знает чувств и эмоций. Он отражает только факты.

Если же рассказать последовательно, дело было так.

За несколько минут до шести командир соединения капитан второго ранга Маглидзе приказал поднять сигнал: «Поворот последовательно влево на 8 румбов». «Смелый» и «Стремительный», шедшие в кильватере за флагманом, отрепетовали сигнал. Цветные флажки резко затрепетали по ветру на ноках усов и слетели вниз. На «Суровом» одновременно с началом поворота взвился «исполнительный». Эсминец круто покотился влево. Отброшенная заносящейся кормой, сердито зашипела и заплескалась пена.

Капитан второго ранга Маглидзе перешел на левое крыло мостика, наблюдая за выполнением поворота кораблями. «Смелый», идя в кормовой струе флагмана, точно повернул в том месте, где эта струя образовывала крутой изгиб бледно-зеленой, пенистой от воздушных пузырьков воды. «Стремительный» с разбегу проскочил точку поворота, и Маглидзе поморщился. Он не любил небрежности в эволюциях. В море каждое движение корабля и человека должно быть выверено до микрона.

«Резвится, как рысак, — с неодобрением подумал он о командире «Стремительного». — А зачем резвится? Море — не ипподром и...»

Но не успел додумать. Из-под форштевня «Стремительного» упругим белым столбом рванулась кверху вода. Столб этот вспух у основания кипящим куполом.

Сквозь него сверкнуло желтое пламя, выбросив второй столб, уже черный от дыма. Он заволок весь корабль, и тотчас же в уши стоящих на мостике «Сурового» ударило плотным раскатом взрыва.

Штурман, подскочив к переднему обвесу, заметил, как судорожно скрючились пальцы командира соединения на поручнях мостика и как посинели ногти на этих стиснутых пальцах.

Туча воды и дыма опала с шуршанием и плеском. Из нее медленно выползал корпус «Стремительного». Его носовая часть была оторвана до мостика. Отделенный от корабля полубак быстро уходил в клокочущий водоворот. Изогнутый взрывом гюйшток продержался еще секунду над водой. Потом и его захлестнула волна.

«Стремительный» вышел из дыма весь и стоял с небольшим дифферентом на нос. «Суровый» и «Смелый», убавив ход, держались на последнем курсе. С них хорошо был виден исковерканный мостик «Стремительного». По завернутому в железный рулон настилу палубы под мостиком карабкалась чья-то фигура.

— Разрешите застопорить и спустить шлюпки? — неестественно громко и, от волнения пропустив титулование, спросил у Маглидзе командир «Сурового» капитан-лейтенант Голиков, не отрывая взгляда от подорванного эсминца.



— Не разрешаю!

Маглидзе резко сбросил руки со стоек, как будто обжегся.

— Удивляюсь, товарищ капитан-лейтенант! Вы не первый год на службе и должны бы знать боевые инструкции.

Капитан-лейтенант Голиков покраснел. Боевые инструкции он помнил наизусть, и знал, что они запрещают в такой обстановке задерживаться и спускать шлюпки для подачи подорванному кораблю, следующему в составе соединения. Это был суровый, прозаический закон новой морской войны, который навсегда отменил жертвенную традицию прошлого. Кодекс благородного самопожертвования был опорожен во всех флотах с того сентябрьского дня четырнадцатого года, когда подводная лодка Отто Веддигена тремя последовательными атаками отправила на дно три британских крейсера. Крейсера неподвижно стояли на месте и спасали людей с подорванного первым «Хэга». И один за другим разделили его судьбу.

Капитан-лейтенант Голиков теоретически понимал всю целесообразность суровой инструкции, но сейчас, перед лицом гибели товарища, он на мгновение усомнился в ней. Замечание командира соединения вернуло ему ясность мысли. Лучше потерять один корабль, чем три. Дело сводилось к тактической арифметике.

— Запросите «Стремительный» о повреждениях и сумеет ли он справиться?— приказал Маглидзе.

Старший сигнальщик с необыкновенной быстротой отмахал флажками вопрос. Ответ на мостике «Сурового» читали все, с тоскливым напряжением, по буквам, беззвучно шевеля губами.

— О-т-о-р-в-а-н п-о-л-у-б-а-к... Пе-ре-бор-ка первой кочегарки вдавлена. Течь незначительна... полагаю возможным удержаться на плаву своими средствами. Сдвинутые брови командира соединения разошлись.

— Отлично!— сказал он.— Передайте: «Приказываю оставаться на месте, ожидать возвращения отряда».

— Есть!

Голиков поглядел в сторону «Стремительного». Изуродованный корабль тихо покачивался на пологой зыби. Голиков подумал о командире «Стремительного» Васе Калининe, о незабвенных годах морского училища и тихо вздохнул. Скучно сидеть в одиночестве, среди пустого моря, на искаленном корабле, ожидая, что любая забредшая в район происшествия вражеская подводная лодка окончательно может отправить тебя на кормежку ракам. Надо же попытаться хоть что-нибудь сделать для облегчения этой пытки друга.

— Товарищ капитан второго ранга,— нерешительно предложил Голиков,— может быть, радировать базе, чтобы выслали поддержку?

— Не разрешаю,— вторично отрезал Маглидзе.— Операция продолжается. Натремим в эфире, немцы запеленгуют, и получится лишняя хурда-мурда. А нам нужно ставить заграждение. Это основная наша задача. Забыли, чем мы нагружены? Повезло «Стремительному», что напоролся носом. А если бы кормой?.. Ну, так пусть поскучает.

Капитан-лейтенант Голиков сразу вспомнил о грузе и ощутил противный холодок, иголочками проползший под кителем. На корме «Стремительного», как и на других эсминцах, стояли на рельсах готовые к сбросу мины. Если бы они рванули от детонации...

Голиков поежился и в раздумье потрянул головой.

«Впрочем, погода тихая, неприятельские подлодки здесь особенно не разгуляются — мелководе. А мы больше трех часов не провозимся, так что успеем вернуться и подать Васе кончик, если он продержится... А если нет? Если сдаст переборка? Шлюпки, наверно, искалечены взрывом, придется плавать с поясами и капкой. Но долго ли проплаваешь?»

Голиков сердито отвернулся от уменьшающегося силуэта покидаемого эсминца. Больно покидать товарища в беде, но этого требует железная необходимость войны. Нужно делать свое дело. Нужно думать о своем корабле и своих людях.

— За секторами внимательно смотрите! — крикнул он наблюдателям, и те одновременно отозвались не веселыми, как всегда, а приглушенно-серьезными головами:

— Есть за секторами внимательно смотрите!

Голиков искоса взглянул на командира соединения. Тот стоял, посасывая трубку, немного грузный от возраста, сорокадвухлетний человек, с неподвижным лицом, на котором ничего нельзя было прочесть.

«Каменный характер, — внутренне возмутился Голиков. — Не волнуется даже».

Но он ошибался. Штурман, который подметил внезапную судорогу пальцев командира соединения в момент взрыва «Стремительного», мог бы сказать ему об этом.

Командир соединения волновался. И со вчерашнего вечера, когда пришлось грузить мины не в оборудованной гавани, которую третьи сутки бомбили вражеские самолеты, а в глухой бухточке, где не было никаких приспособлений и мины втаскивали на палубы вручную, это волнение не прекращалось ни на секунду. Командир соединения даже не вздремнул в эту тревожную белую ночь, в сумраке которой краснофлотцы, крикая от натуги, волокли по мосткам угрюмые черные шары, начиненные гремучей смертью. Он волновался за этих трудолюбивых, как муравьи, молодых ребят, за свои корабли, за успех намеченной операции. И несчастье со «Стремительным» еще больше взволновало его прежде всего потому, что оно произошло с кораблем его любимца, самого лихого командира эсминца на всей Балтике. И еще потому, что оно ставило под угрозу результат похода. Вместо положенного количества мин приходилось теперь ставить на одну треть меньше, а это уже на треть уменьшало вероятность гибели неприятельских кораблей на заграждении. Командир соединения волновался за всех и только не за себя. О себе он привык не думать.

Он оглянулся на чуть видный за кормой силуэт «Стремительного».

Дрянной щенок! Прекрасный моряк, но чересчур самонадеян... Этому ли он, капитан второго ранга Маглидзе, учил своих командиров... Вчера он радовался, что командир «Стремительного» первым закончил погрузку мин, намного обогнав остальных... А теперь?

Маглидзе шагнул к обвесу и свирепо выколотил пепел из трубки в отрезок снарядной гильзы, приспособленный под пепельницу.

Первым обнаружил врага наблюдатель левого борта старший краснофлотец Рудняк. Его голос прозвенел неожиданно резко в тишине мостика, нарушаемой только сухим шелестом испаряемой эсминцем воды.

— Справа по носу, курсовой десять — дым!

Вытянутая рука Рудняка указала направление.

Маглидзе, Голиков и штурман разом вскинули бинокли. И в окулярах у всех троих обнаружилось одно и то же: палево-голубая, бледная полоска горизонта, дрожь нагретого воздуха над ней и в этих плывущих струйках еле заметное мутно-серое облачко.

Маглидзе опустил бинокль. Горбоносое лицо его с тяжелым подбородком — от загара оно превратилось в закопченную бронзу — еще больше затвердело и отяжелело.

— Боевую тревогу! — обронил он Голикову.

По корпусу корабля горячечным трепетом промчались звуки колоколов громкого боя. Они еще бились и дребезжали, а уже, глуша их, по палубам и трапам раскатывался грохот каблуков. Расчеты орудий торопливо снимали брезенты со снарядов и пороховых картузов. Медные головки снарядов заблестели под солнцем. Орудия медленно и бесшумно развернулись на правый борт, задрав в синеву длинные стволы. Было похоже, что эсминец, как осторожный жук, высунул наружу чуткие усики и прошупывает ими воздух. На корабле стало тихо, как в поле перед грозой.

Флагманский артиллерист, старший лейтенант Слинько, очень юный, с нежным яблочным румянцем, какой бывает только у девушек, подымался в башенку поста

управления огнем, цепляясь рукой за перила скобчатого трапа. Наверху он задержался и посмотрел в бинокль.

— Вижу мачты, товарищ капитан второго ранга,— сказал он, не опуская бинокля.

— Сколько?— спросил Маглидзе.

— Две... высокие. Судя по типу мачт — вспомогательный крейсер. А сзади еще два дыма. Копеечные у них механики, товарищ капитан второго ранга, не могут без дыма ходить, коптят, как самовары.

— Ладно,— ответил Маглидзе,— займитесь делом.

Артиллерист нырнул в люк башенки, Маглидзе вглядывался в голубеющее марево горизонта.

Вот этот день! День большого и ответственного дела. Сколько он ждал его? Двадцать лет, со дня выпуска из училища и до этого вот солнечного июльского утра. Каждый год ему, Маглидзе, приходилось осенью смотреть на такие же вот дымки, на медленно встающие из-за горизонта мачты и корпуса, давать боевую тревогу, обдумывать сближение, определять курсы противника и свои, приказывать открывать огонь, маневрировать в бою.

Но всегда враг был только условностью игры. Орудия выбрасывали пламя и гром, но пламя и гром были безвредны, как бенгальский огонь на семейном празднике. И после боя враги мирно сидели рядом в салоне комфлота, попивая чай и обсуждая процент попаданий и вероятность гибели корабля. Самые неприятные результаты ошибок выражались только в выговорах и замечаниях комфлота.

Сейчас каждая ошибка грозила катастрофой сотням людей и кораблям. И это была уже не условная, а настоящая гибель, с кровью и страданиями. И от него, командира соединения, теперь зависело, чтобы эта гибель обрушилась не на его, а на вражеские корабли. За каждой оплошностью стояла сумрачная тень смерти.

Незначительная оплошность командира «Стремительного», который проскочил из-за чрезмерной лихости на полкабельтова точку поворота, уже повлекла за собой несчастье для корабля и людей. Сейчас каждое движение должно быть предельно точным, каждая мысль мгновенно продуманной до конца. А времени думать было мало, мучительно мало. Современный морской бой дает на это не минуты и даже не секунды, а доли секунды.

Возбужденный голос артиллериста, который высунулся по пояс из люка башенки, оторвал командира соединения от размышлений.

— Товарищ капитан второго ранга,— закричал артиллерист,— я определил противника в дальномер. Вспомогательный крейсер тысяч на шесть тонн и два «ягуара». Идут курсом шестьдесят пять, кильватерной колонной. Дистанция двести двадцать.

Доложив командиру, старший лейтенант снова скрылся в люке.

Маглидзе снял фуражку и пригладил потные волосы. Потом взглянул на ходовой компас. Стрелка картушки дрожала на 190. «Суровый» расходился с противником. Нужно было воровать на пересечку курса.

— Право руля! Курс триста тридцать!— приказал он штурману.

«Суровый» накренился. Всех на мостике мотнуло к правому борту.

— Противник открыл огонь! Вижу вспышки!— крикнул Рудняк.

Штурман высоко поднял узкие мальчишеские плечи.

— Обалдели, что ли, немчики?— произнес он врасстяжку, улыбаясь толстогубым ртом.— Открыть огонь с такой дистанции.

Штурману было непонятно поведение врага. Четырехдюймовые пушки немецких эсминцев едва могли добросить снаряд на половину расстояния между врагами. Даже если предположить, что на немецком крейсере есть шестидюймовки, то и в этом случае они могли бить не дальше чем на сто тридцать кабельтовых. А дистанция была еще больше двухсот. Даже падения неприятельских снарядов еле видны.

Но командир соединения видел дальше и глубже лейтенанта и уже разгадывал секрет этой бессмысленной стрельбы. Мысль его стала холодной, ясной и как бы раз-

двоенной. Он одновременно думал и за себя и за неизвестного человека, стоящего там, на чужом мостике, и тоже старающегося угадать мысли советского командира. И важно было опередить врага в отгадывании мыслей и намерений.

— Ясно! — сказал Маглидзе. — Все ясно. На пушку берут, сукины дети, гитлеровские фокусники. В игрушки играют.

— Не понимаю, товарищ капитан второго ранга, — покосился на него штурман, — чего им хочется? Что за комедия?

— Комедия простая, как гвоздь, штурман, — ласково сказал Маглидзе лейтенанту. — Из данных своей разведки они, возможно, подозревают, что мы идем ставить заграждение, ну и берут на испуг. Авось мы срейфим и дадим драпу, чтобы не принимать бой с полным грузом мин на палубе. Вот и лупят с такого расстояния, чтобы вогнать нас в дрожь фейерверком. Понятно?

— Ну и ослы! — искренне восхитился штурман. — Вот это ослы! Чистой арийской породы!

Маглидзе продолжал наблюдать за неприятельскими кораблями. Бледно-солоненные огни залпов вспыхивали над их уже заметными корпусами. Дистанция на встречных курсах сокращалась быстро, и теперь отчетливо видны были фонтаны падений немецких снарядов, ложащихся за громадными недолетами.

— Товарищ вахтенный командир, — сказал Маглидзе, — отправить радио командующему воздушными силами базы. Пусть подошлет бомбардировщики. Веселей будет. Дайте точное место. — Вахтенный командир записал приказание в блокнот, вырвал листок, и рассыльные стелет по трапу вниз в радиорубку.

— Противник ворочает влево, — доложили наблюдатели.

— Ага, не выгорело, — Маглидзе усмехнулся, подняв брови. Лицо его осталось по-прежнему непроницаемым. — Ага, — повторил он, — не вышли штучки. Мореплаватели высшей породы дерут нах хаузе... Что ж, погоняемся! Больше ход!

Ему стало весело. Чужой человек на чужом мостике промахнулся. Игру он начал неверным ходом и потерял качество. Теперь он спасает свою шкуру, этот незадачливый игрок. Он хотел озадачить его, Маглидзе, своим нахальством и не сумел. Теперь ему приходится удирать от расплаты.

Не дать ему уйти! Не позволить ему больше ставить ставки на смерть и разрушение! Уничтожить! Вот в чем была сейчас задача.

— Самый полный ход! — скомандовал Маглидзе.

По тому, как мгновенно набран был сигнал, как мелькали руки сигнальщиков, выбирая фалы, по блеску их глаз Маглидзе понял, что на «Суровом» все захвачены одним жадным и острым желанием — не выпустить врага.

«Суровый» задрожал от напряжения машин. Оба эсминца, насадея на уходящих немцев, неслись на зюйдвест. Могуче и густо ревели форсунки, заглушая свист ветра, и над широким горлом трубы плясал и бился раскаленный воздух. Ветер стал тягучим и плотным, как резина. Он с силой влезал в ноздри, в рот, слезил глаза.

Расстояние сокращалось. В бинокли уже ясно видна была высокая корма теплохода, превращенного немцами во вспомогательный крейсер. Два эсминца, зарываясь носами в буруны, бежали за ним. Теперь их орудия молчали. Они прекратили огонь после поворота. Их игра была разгадана на мостике «Сурового». Они поняли это и ждали сближения на дистанцию действительного огня, когда им придется защищаться в схватке насмерть.

Из башенки поста управления огнем опять показался артиллерист. Ветер сорвал с него фуражку, и она висела у него на затылке, поддерживаемая подбородным ремешком.

— Дистанция сто двадцать, товарищ капитан второго ранга, — закричал он во всю силу легких, чтобы перекричать ветер и вой форсунок. — Разрешите открыть огонь?

Командир соединения посмотрел на веселое лицо артиллериста. Молодость!

Двадцать лет назад и сам он был таким, нетерпеливым и буйным. Сейчас годы и опыт лежат на плечах грузом ответственности. А пожалуй, он немного завидует



этой прекрасной и жадной молодости. Маглидзе поманил артиллериста пальцем, и тот быстро скатился по перекладинам трапа на мостик.

— Очень горячий! — сказал командир соединения, положив руку на плечо лейтенанта и любуясь юношеским задором. — Очень... Артиллерист, дорогой мой, должен быть не только хорошим артиллеристом. Он должен и рассуждать. Иногда можно не жалеть снарядов, когда массированный огонь может сразу решить судьбу боя. Иногда нужно и побережь снаряды. Они народу много стоят. Если можете гарантировать, что накроете с первого залпа, — разрешаю. Нет, — подождите. Они от нас не уйдут. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан второго ранга, — артиллерист улыбнулся. — Разрешите доложить! С этой дистанции не ручаюсь, но со ста разрешите открыть огонь?

— Добро! — ответил командир соединения и тоже улыбнулся.

Немецкие эсминцы дымилы вовсю, стремясь выжать предельный ход. Теперь они выдвинулись вперед и бежали по бокам крейсера, как две собаки, гуляющие с хозяином.

— Собаки! Песьи души! — сказал вслух Маглидзе, и неожиданно ему вспомнились гневные, полные брезгливого презрения слова Маркса о рыцарях Тевтонского ордена. Прохвосты опять лезут к русской земле? Хорошо! Они будут выкупаны в русской воде.

Внезапно бинокль больно ударил его по надбровью. В лицо пахнуло жаром и мелкой пылью пороховой гари. Грохнул первый залп «Сурового». Не отнимая бинокля от глаз, Маглидзе потер пальцем ушибленное место и следил за падением снаряда. Как справится артиллерист? И в ответ на этот вопрос у корпуса немецкого эсминца, шедшего слева от крейсера, прыгнули вверх два белых столба, а в самом корпусе мигнуло темно-красное пламя разрыва.

— Два накрытия, одно попадание! — услышал командир соединения согласный вскрик наблюдателей.

Он взглянул вниз, на полубак. Расчет носового орудия стоял на местах, ожидая ревуна для нового залпа. Лица краснофлотцев были осветлены особенным, необычным напряжением. И оно передалось командиру соединения. Он любовно смотрел на краснофлотцев. Как и командиры «Сурового», они тоже были его учениками и воспитанниками, учениками и воспитанниками оставленной за кормой большой и любимой земли. Вместе с ним они стояли на боевом посту, вместе с ним нетерпеливо ждали конца этой неутомимой, яростной погони за теми, кто осмелился стать поперек счастью родины.

Завыли ревуны. Прозрачным огненным облаком полыхнуло орудийное дуло. Пушка рванулась назад, но, сдержанная компрессором, послушно вернулась на место.

Лязнул затвор, и в ствол, шипя, ворвался сжатый воздух, выдувая нагар. Наводчик приник к козырьку прицела, вращая штурвальчик.

Командир соединения снова взялся за бинокль, ловя в окуляр серую тень немецкого эсминца. И едва поймал, как ее застлало зыбкой пеленой пламени. Она переметнулась с носа на корму, погасла, но сейчас же вновь вырвалась изнутри корпуса могучим веером, взметнув в небо кудлатую тучу распухающего рыжего дыма. Эта туча отползала назад, открывая пенящиеся водометы.

На мостике «Сурового» раскатилось «ура». Кричали наблюдатели, сигнальщики, старшины, командиры. Кричал, размахивая фуражкой, молчаливый, всегда сдержанный Голиков. И командир соединения даже удивился, поняв, что сам участвует в этом стихийном радостном хоре.

Он взглянул на часы. От первого залпа до гибели вражеского корабля прошло минута пятьдесят восемь секунд. Артиллерист правильно понимал темп морского боя, и командир соединения почувствовал гордость за своего ученика.

«Суровый» и «Смелый» перенесли огонь в второй немецкий эсминец. Он метался зигзагами, как заяц на травле, заливаемый всплесками от падений. Огни его залпов мигали с лихорадочной быстротой. Он загнанно огрызнулся.

В лицо командирю соединения хлестнула упругая масса холодной, колющей кожу влаги. Она шумно разлилась по мостику, окатывая людей. Маглидзе попятился. Отряхнув брызги с кителя, увидел опадающую вдоль борта струю вспененной воды и привычно определил: «Накрытие шестидюймовым у самого борта». Это пристреливался немецкий крейсер, защищая своего сторожевого пса. И мысль командира соединения автоматически реагировала на этот вызов.

— Перенос огня на крейсер противника, — крикнул он Голикову и, вынув платок, тщательно отер лицо от соленых капель.

Наблюдатели доложили о появлении самолетов за кормой.

На бледно-золотой от солнца восточной стороне неба прорезались чуть различимые черные черточки.

«Свой или нет?» — подумал Маглидзе.

Весь мостик неотрывно следил, как перемещались в небе эти крошечные черточки. От них зависело разрешение событий. Если самолеты окажутся вражескими, придется прекратить преследование и выпустить врага. Если свои, они могут помочь быстро закончить бой, который становится затяжным. Дальнебойные пушки крейсера заставили командира соединения оттянуться назад и держаться на предельной дистанции огня. Это расстраивало стрельбу. Снаряды эсминцев по-прежнему часто накрывали неприятеля, но попадания стали единичными. А увлекаться долгим преследованием не приходилось. Маглидзе ясно угадывал мысли немецкого флагмана. Чем дальше он завлечет советские корабли, тем выгоднее для него. Во-первых, он отвлекает их от непосредственной задачи — постановки минного заграждения. Во-вторых, затягивает их к своей базе, а оттуда уже должны спешить на помощь. Рации немецких кораблей бесперывно просили о поддержке.

Но командир соединения не намеревался доставить врагу удовольствие быть пойманным на такую глупую приманку. Если через десять минут он не прикончит немцев, — черт с ними, пусть уходят.

Самолеты приближались. Шли в боевом строю на большой высоте два звена.

Командир зенитного дивизиона, размашисто шагавший по полубаку между своими пушками, беспокойно вскинул голову к мостику и взглянул на Маглидзе.

И тотчас же послышался бодрый возглас Рудняка:

— Самолеты свои!

На мостике облегченно вздохнули. Самолеты стремительно снижались. Они пронесли над мачтами эсминцев, приветственно покачали крыльями с красными звездами и снова взмыли вверх, проблистав на развороте серебряным сверканием фюзеляжей. Они заходили на боевой курс для бомбометания и, обогнав «Суровый», тучей повисли над немецкими кораблями. Капитан второго ранга Маглидзе увидел, как второй немецкий эсминец исчез в облаке дыма и взметенной воды. На мостик «Сурового» донесло мощный удар воздушной волны.

«Суровый» полным ходом пронесся по водовороту, кружащему обломки. Среди них поплавок вертелись головы плавающих немцев. Они цеплялись за обломки, но беспощадная сила бушующей воды несла их под корпус «Сурового», и они отчаянно плескали руками по воде, стараясь отгрести в сторону.

— В дым прячутся, вояки, — сказал командирю соединения Голиков.

С кормы бегущего немецкого крейсера сползала в море, ширясь и густея, плотная, как пена, завеса белого непроницаемого дыма. Она поднялась выше мачт и скрыла крейсер. В дыму ухали грузные взрывы. Самолеты неумолимо разыскивали крейсер в непроглядной пелене.

Маглидзе отвернул рукав кителя. Девять тридцать семь. Пора возвращаться! Окончание можно предоставить самолетам.

— Прекратить огни! Отбой боевой тревоги! Боевая готовность номер два! Ворочать к точке постановки, — сказал командир соединения Голикову. И окаменелое лицо его разгладилось, помолодело. Жестокая игра в опережение чужих мыслей была выиграна.

Он представил себе томительное беспокойство и отчаяние этого чужого, угрюмо стоящего там, на мостике убегающего крейсера, в удушливом дыму завесы и взрывов, залитого водой, оглушенного, жалкого и растерзанного, и засмеялся торжествуяще и зло. Командир «Сурового» удивился. Маглидзе смеялся редко.

Эсминцы описали полукруг и спокойно уходили назад. Высоко стоящее солнце заливало палубы блеском, и вода, взлетая у штевной, рассыпалась алмазной радугой.

Но командир соединения не замечал этого. С момента поворота мысль его направилась к оставленному «Стремительному». Прошло больше трех часов после аварии, постигшей эсминец. А еще предстояло ставить заграждение. Беспокойство боя кончилось, но возникло новое беспокойство — за судьбу подорванного корабля. Оно жило и во время боя, это подспудное беспокойство, но сейчас оно становилось все острее. И командир соединения не сбавлял хода эсминцев. Он торопился. Было, конечно, большим риском оставить поврежденный корабль в таком положении. Многие на месте капитана второго ранга Маглидзе, может быть, превали бы операцию и вернулись бы в базу, прикрывая отход раненого товарища. И у кого поднялся бы голос осудить за это? Можно, конечно, не рисковать. Но разве вся морская служба не бесконечный риск? И разве без риска приходят удача и победа? Без риска нет ответственности, а к ответственности он, командир соединения, давно привык.

— Разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга,— подошел штурман.— Пришли в точку. Позвольте начинать постановку?

Командир соединения молча кивнул и вдруг сладко потянулся всем телом, как после долгой, утомительной, но приятной работы.

За полчаса до взрыва командир «Стремительного» Калинин, горячий, молодой командир, прозванный за бурный темперамент «Рысаком», имел короткий, но неприятный разговор со своим комиссаром. Причиной разговора был политрук Колосовский.

Отличный командир и дельный моряк, Калинин имел слабость полагать, что во всем мире нет корабля лучше, чем его «Стремительный». И соответственно этому требовал, чтобы на эскадренном миноносце «Стремительный» все блстело, отличалось лихим морским шиком, не говорило бы, а прямо кричало о настоящей морской подтянутости и дисциплине. Compliments своему кораблю Калинин принимал как нечто должное, как дань восхищения образцовой морской службе.

Поэтому Калинин не переносил отсутствия в людях той степени выправки и почти балетной точности в движениях, которые сам он считал неотъемлемыми и природными качествами подлинного моряка. Малейшую неловкость, отсутствие той стремительной расторопности в работе, которую командир привил всему кадровому составу эсминца, Калинин воспринимал как угрозу всем своим стараниям сделать «Стремительный» показательным кораблем, экспонатом военно-морской лихости. Это был слабый пункт командира, над которым дружески посмеивались товарищи, считая, что тут у Калинина «заедает».

С начала войны и с появлением на эсминце Колосовского сердце командира стал грызть червячок. Призванный из запаса хозяйственный работник, немолодой рябоватый человек, Колосовский, естественно, не мог сразу принять тот удалой вид, какого требовал Калинин от своих людей, и оскорблял романтическое представление командира о военном моряке. Вдобавок Колосовский заикался, а это, по мнению командира, было уже совсем нетерпимо на военном корабле, да еще таком, как «Стремительный».

И то, что Колосовский был трудолюбив и исполнительен, что он завоевал авторитет у краснофлотцев, не примиряло с ним командира, бурная натура которого мешала объективному и спокойному отношению к подчиненному.

И утром, после выхода с рейда, Калинин неожиданно и несправедливо нашумел на политрука.

С высоты мостика он заметил на палубе Колосовского, разговаривающего с краснофлотцами. Вторая пуговица кителя политрука была не застегнута, и Калинин обратился к нему тем сухим, жестяным тоном, который появлялся у него в приступах командирского гнева:

— Товарищ старший политрук, вы, кажется, изволили устроить у себя за паузой колыбельку для ветра? Застегнитесь!

Колосовский посмотрел на командира добродушными серыми глазами, покраснел и покорно застегнулся.

Калинин раздраженно отошел к штурманскому столику. Секунду спустя к нему подошел комиссар — прикурить папироску. Но, взглянув на комиссара, Калинин понял, что папироска только повод для разговора. И действительно, понизив голос, комиссар сказал командиру с дружеской укоризной:

— Опять беленишься? Пороховой у тебя характер.

Командир и сам уже понимал, что его подвел наукротимый характер, но слова комиссара только раздражили командирское самолюбие, и он перенес свою злость на товарища.

— Тогда я попрошу вас, товарищ батальонный комиссар, заняться морским воспитанием товарища Колосовского.

Комиссар удивился командирскому возбуждению и вызывающему тону. Они служили на «Стремительном» вместе три года, знали друг друга еще до этого, жили дружно, никогда не ссорились. И комиссар решил отшутиться:

— Чистый рысак ты! Скачешь без удержу!

Калинин повернулся к комиссару и, неожиданно взяв под козырек, ответил, поблуднев:

— Разрешите напомнить, товарищ батальонный комиссар, что мы находимся в боевом походе. Шутки неуместны!

Комиссар изумленно взглянул на друга и в свою очередь озлился:

— Отлично, товарищ капитан-лейтенант. Но полагаю, что ваш тон тоже неуместен.

Они разошлись в разные стороны мостика. Но, как всякий вспыльчивый человек, Калинин отходил быстро. Он подумал, что совершенно напрасно погрызся с товарищем из-за пустяков, что нужно держать в узде свой характер, и в момент поворота решительно шагнул к комиссару, чтобы восстановить отношения и извиниться за нелепую вспышку.

Но не успел он сделать и двух шагов, как что-то с невероятной силой схватило его за грудь и подняло на воздух.

Когда, оглушенный взрывом и сброшенный с мостика, он очнулся на палубе, втиснутый между вентилятором и кожухом трубы, он не сразу понял, что происходит вокруг.

На мокрой палубе, в горячей сырости пара, в дыму металась люди.

Кто-то, скрытый мраком, кричал рядом с ним:

— Корабль тонет!

Кто-то командовал и распоряжался за него, капитан-лейтенанта Калинина, хозяина «Стремительного». Это был беспорядок. Этого нельзя было допустить. Он повернулся на бок, и первое, что почувствовал, была чугунная тяжесть в левой руке. Он попробовал пошевелить пальцами, но пальцы остались мертвыми. Он не ощущал их. Он попытался взглянуть на руку, и тоже не удалось. Мешала какая-то заслонка перед глазами. Он поднес к лицу здоровую руку, чтобы отодвинуть эту заслонку, и застонал. Пальцы сразу взмокли, и он с трудом понял, что перед глазами не заслонка, а свисшая со лба лоскутом его собственная кожа.

— Корабль тонет! Спасайся!

Какой болван орет эту чушь? Разве может утонуть его «Стремительный»? Калинин решительно вскочил на ноги. На коже валялась чья-то бескозырка. Командир эсминца схватил ее и, прижав ко лбу лоскут кожи, не обращая внимания на боль, нахлобучил бескозырку. Теперь он мог видеть, хотя ресницы слипались от крови.



Сквозь пар он заметил краснофлотца на торпедном аппарате. Тот стоял с выпученными, бессмысленными глазами и дрожащими губами выкрикивал:

— Тонем! Тонем!

— Что вы мелете? Долой с аппарата!

Краснофлотец уставился на него пустым, одурелым взглядом. И вдруг этот взгляд прояснил обыкновенной человеческой тревогой при виде залитого кровью лица командира. Краснофлотец ахнул:

— Товарищ командир корабля! Вы...

— На место!— скомандовал Калинин.— Стоять по местам!

И сам тоже кинулся на свое командирское место, на мостик, карабкаясь по искореженному трапу.

— Куда лезете? Назад!— крикнул ему кто-то, когда неузнаваемая голова, покрытая бескозыркой, показалась из люка.

— Я командир эсминца... Кто здесь распоряжается?— рявкнул Калинин, выбираясь на мостик, усевшийся обломками.

Тот, кто кричал на него,— Калинин узнал в нем командира БЧ-III лейтенанта Воробьева,— взгляделся и взял под козырек.

— Виноват, товарищ капитан-лейтенант... Согласно боевому расписанию я вступил в исполнение обязанностей командира эсминца. Комиссар пропал без вести. Помощник убит. Артиллерист и штурман тяжело ранены,— отрапортовал Воробьев и нерешительно добавил:— Вы тоже ранены, товарищ капитан-лейтенант.

Командир недовольно поглядел на левое крыло мостика, где за секунду до взрыва стоял комиссар. Левого крыла не было, не было и комиссара. Калинин зажмурился.

— Исполняйте свои обязанности,— сказал он Воробьеву,— команду я.

— Но вам нужно к врачу... Санитаров!— вдруг закричал на весь мостик Воробьев.— Санитаров к командиру!

— Отправляйтесь на место!— повторил Калинин, стиснув зубы, и огляделся.

Мостик был в пятнах крови. У штурманской будки, скорчась, лежал помощник. Вахтенный командир, бледный, в висащем лохмотьями кителе, распутывал обрывки сигнальных флагов, которые окрутили его, как неводом.

Но среди обломков и крови стояли на своих местах сигнальщики и наблюдатели, и только во взглядах их, устремленных на командира, Калинин подметил недоумение и ожидание. Он понял, что люди смотрят на него, раненого командира, и ждут, что он примет то единственное решение, от которого зависит жизнь корабля и их жизнь.

— Все благополучно, товарищи,— сказал он, пытаясь улыбнуться.— Не ослаблять наблюдения.

В эту минуту с «Сурового» последовал запрос флагмана о последствиях взрыва, и Калинин приказал передать, что эсминец держится на плаву и повреждения выясняются. Он был уверен, что его «Стремительный» не может погибнуть.

Пока передавали семафор, Калинин подошел к помощнику и наклонился над ним. Окликнул. Ответа не было. Калинин попытался приподнять голову помощника. Она завалилась и деревянно стукнулась о палубу. Командир эсминца выпрямился.

«Прощай, помощник! Много вместе поплавано. Встретишь ли такого другого? И моряка и друга?»

Но грустить было некогда. Нужно было прежде всего восстановить порядок на мостике.

— Что вы смотрите, товарищи? Прибрать мостик!

Люди кинулись исполнять приказание командира. Зазвенел телефон.

— Командир эсминца слушает,— сказал Калинин, подняв трубку и чувствуя, как все в нем мутнеет от нарастающей боли.

— Говорит командир БЧ-V. Разрешите доложить положение, товарищ капитан-лейтенант. Работа аварийной группы идет успешно. Течь ликвидирована. Ставим упоры на переборку. Думаю...

— Понятно,— перебил Калинин.— Продолжайте работу. Сейчас спущусь вниз...

Он положил трубку. Вахтенный командир, наконец, выпутался из фалов. Калинин мутно посмотрел на его изодранный китель. Это тоже был беспорядок. Что бы ни случилось, моряк должен быть на мостике в исправном виде.

— Пойдите, переоденьте...— командир эсминца не кончил фразы, шатнулся и повалился на руки вахтенного.

Он очнулся в кают-компании, когда врач, наложив лубок на левую, сломанную руку, кончал бинтовать голову, со сшитой стежками кожей лба. Как только врач завязал кончики бинта, Калинин сделал нетерпеливое движение, пытаясь встать.

— Нельзя, Василь Васильич,— сердито сказал врач,— вам нужно лежать.

— Уложите вашу бабушку,— упрямо и зло огрызнулся Калинин и спустил ноги с обеденного стола, на котором подвергся перевязке.

Пока в командире эсминца есть хоть капля жизни, он должен оставаться командиром эсминца, и лежать ему непристойно. Шатаясь, Калинин побрел к выходу на верхнюю палубу. От воздуха ему стало легче. Он прислонился к надстройке и стал дышать глубоко и ровно, как на зарядке. Стало почти хорошо.

Он поднял голову к мостику и окликнул:

— Вахтенный командир!

Голова вахтенного командира показалась над изорванным обвесом.

— Остаться за меня на мостике,— сказал Калинин.— Я иду вниз.

Когда он непривычно медленно и осторожно сползал по отвесному трапу в первую кочегарку, где работала аварийная группа, его поразили взрывы смеха, несшиеся снизу.

«Что там смешного?»— подумал он с недоумением.

Заметив командира эсминца, командир БЧ-V подошел с рапортом.

— Товарищ капитан-лейтенант, работы заканчиваем. Все в порядке. Живучесть корабля обеспечена.

— Что это у вас за смех?— спросил капитан-лейтенант.

— Разрешите доложить... Старший политрук Колосовский сумел высоко поднять моральное состояние людей. Благодаря ему повреждения исправлены быстрее, чем можно было ожидать.

Командир эсминца, поморщась от боли, направился к переборке, откуда продолжали нестись раскаты смеха. И среди смеющихся краснофлотцев увидал Колосовского и не узнал политрука. Колосовский, без кителя, с засученными рукавами, управлял работой, как дирижер оркестром, переходя от одной группы к другой, ужом пролезая между механизмами, подбадривая людей, безостановочно бросая шуточки. Он даже перестал заикаться.

Калинин изумленно смотрел на простое, рябоватое лицо политрука. Сейчас оно стало неузнаваемо. Оно дышало оживлением, энергией, неисчерпаемой духовной силой русского человека, которая так подымает самых обычных и незаметных людей в грозные часы. И лица краснофлотцев тоже цвели жизнерадостной уверенностью. Это было удивительно и приятно.

— В первую минуту, товарищ капитан-лейтенант,— шепотом сказал из-за плеча командир БЧ-V,— среди команды возникла некоторая растерянность, но товарищ Колосовский сумел быстро успокоить людей, внушить бодрость...

Командир эсминца еще раз оглядел Колосовского с ног до головы, как будто впервые увидев этого человека по-настоящему, и вдруг с неожиданной теплотой сказал, протягивая ему руку:

— Объявляю вам, товарищ старший политрук, благодарность за отличное руководство. Будете представлены к награде.

Колосовский, опешив от похвалы командира эсминца, поднял руку к козырьку, забыв, что на нем нет фуражки. Но теперь даже это не только не рассердило, а, наоборот, растрогало Калинина. Он опустил эту руку и крепко сжал ее.

— Отлично работали!

Колосовский хотел ответить командиру, и вдруг от волнения его заело.

— С-с-сс,— зашипел он в тщетном желании выговорить начатое слово.

Калинин засмеялся и здоровой рукой потрепал Колосовского по плечу.

— Не трудитесь, политрук, понятно!

Краснофлотцы прыснули. Засмеялся и сам Колосовский. И командир эсминца почувствовал, что его люди вместе с ним составляют тесную, крепкую боевую семью.

— Спасибо, товарищи краснофлотцы!— голос капитан-лейтенанта дрогнул.— Спасибо за службу! «Стремительный» не пропадет с такими людьми. Счастлив, что командуя вами.

Когда он вернулся на мостик, там все было убрано. Море расстиралось вокруг — большое, теплое, голубое, мерцающая солнечной рябью. Оно было пусто. «Суrowsый» и «Смелый» давно скрылись за горизонтом. Оставалось выполнить приказ командира соединения и терпеливо ожидать возвращения отряда. Командиру «Стремительного» стало очень тоскливо. Он сел на выступ тумбы ходового компаса, закрыл глаза и тихонько засвистел «Варяга».

Во время боя краснофлотец первого года службы Алексеев стоял подающим у третьего орудия на корме «Суrowsого». Прошлой осенью Алексеев пришел на флот из тамбовского колхоза и, когда садился на пароход в Ораниенбауме с партией молодых моряков, отправляемых в Кронштадтский экипаж, смотрел на вспученную осенними ветрами воду взморья с недоверием и робостью.

По блеклой свинцовой шири мчались желтые гребни волн. Пароход, нырявший между этими гребнями, показался Алексееву ненадежным, а от скачки волн рябило в глазах и из-под ложечки подымалась к горлу противная и расслабляющая мусть.

Но это осталось позади. Теперь Алексеев не испытывал больше робости перед морем. В конце концов, оно было очень похоже на бескрайнее колхозное поле в дни созревания хлебов. Оно тоже все время колыхалось, как зреющая пшеница. Только оно было из воды и непрестанно меняло цвет. Алексеев полюбил эту сказочную смену красок.

И в этот поход он любовался морем. Из темно-чернильного, каким оно было ночью, оно постепенно превращалось в пепельно-серое, зеленовато-опаловое, розовое и, наконец, стало густо-изумрудным у самого борта корабля, все больше бледнее к горизонту и сливаясь там с сиреневой дымкой.

С первого залпа Алексеев забыл о море. Он проделывал одну и ту же несложную работу: подхватывал с палубы длинную остроносую болванку снаряда и, натухав, ловко опускал ее в уютную выгнутую люльку автоматического зарядника. Зарядник уже без помощи Алексеева со звоном втискивал снаряд в отверстие каморы. Первые дни службы при орудии Алексеев заворуженно смотрел на самостоятельную работу зарядника. Этот гнутый кусок стали казался ему наделенным своей жизнью и хитрым металлическим мозгом. Он стал уважать зарядник, как безмолвного и безотказного друга и помощника, который не подведет и не выдаст. Этот умный прибор был создан, может быть, руками такого же двадцатилетнего комсомольца в грохочущем корпусе заводского цеха. И Алексеев иногда завидовал неизвестному однолетке, создателю зарядника, и думал, что хорошо бы после службы пойти на завод и тоже делать такие замечательные вещи.

Занятый своим делом, Алексеев не замечал происходящего за пределами его пушки и не думал об опасности. Ему и некогда было о ней думать. Залп следовал за залпом, и на раздумывание не оставалось времени.

Он знал только, что болванки металла с медными остриями и кольцами, швыряемые буйной мощью пороха, должны отогнать и уничтожить те чужие корабли, что были едва различимы в морской дымке. Эти корабли лезли к берегам родины, охрану которых страна доверила Алексееву и его товарищам. Каждый из них исполнял свои обязанности у этой пушки, мигая и морщась от сухих, сотрясающих все тело ударов залпов, раскрывая рты в момент выстрела, испытывая боль в ушах, куда вбивало, как золотом, раздирающий грохот.

И Алексеев очень удивился, когда в промежутке между залпами, еще до мычания ревуна, по палубе у казенной части орудия с ревом разлилось мгновенное темное



пламя. Когда оно сникло, Алексеев увидел вспученную пузырями и почерневшую краску на щитовой броне, вмятины и рваные дыры в листах палубы, распластанное ничком тело комендора Люлько со странно раскинутыми руками.

Алексеев протер запорошенные глаза и нагнулся за очередным снарядом. Но, к своему удивлению, поднять его не смог. Онемевшая левая нога подвернулась, и он неловко сел на палубу. Оробев, он посмотрел на непослушную ногу. Брезент брюк был разорван у колена, и по палубе под коленом расплывалось блестящее по краю пятно крови.

— О-ой! — закричал Алексеев тоненьким бабьим воплем.

Над ним наклонился командир орудия старшина Форафонов.

— Чего кричишь? — сказал он Алексею. — Зацепило? На то и бой! Порядка не знаешь? Доставай пакет, перевязывай.

Форафонов ухватился за надорванную осколком штанину Алексея и с натугой разорвал ее по шву до бедра. Алексеев увидел свое развороченное мясо над коленом и испугался. Та же расслабляющая муть, какую он испытал, впервые попав на пароход, заколыхала его. Форафонов вырвал у него индивидуальный пакет. Ремешком от своих брюк он туго перетянул ногу Алексея, положил подушечку и стал бинтовать. Алексеев сидел, сжав губы, стараясь удержать неприятное цоканье зубов.

— Готово! — Форафонов шлепнул ладошкой по спине Алексея. — Ползи, товарищ, в лазарет, кланяйся доктору.

Алексеев не смог улыбнуться на шутку. Он пополз по палубе до леера, поднялся и, чуть не плача от боли в коленке, повис на леере и стал продвигаться, подпрыгивая на одной ноге. Оглядываясь на свою пушку, увидел, что расчет ее пополнен из подвахтенной смены. На его месте стоял рыжий Сережка Иванов. По прогнутаю стали щита тремели кувалды, освобождая откат пушки.

Алексееву стало досадно, что он покинул свое место. Придерживаясь за леер, он смотрел на работающих товарищей, но новая вспышка темного пламени оторвала его от леера ихватила затылком о шлюп-балку вельбота. Присев на корточки, он увидел сквозь воночий дым наполовину отбитый ствол пушки и разметанный по палубе расчет. И он почувствовал рану пушки, как свою собственную рану. Ярость залила ему глаза. Он всхлипнул и потряс кулаком в море, туда, где были враги.

И сейчас же услышал рядом грозный крик:

— Мина горит!

Алексеев повернулся. У одной из мин, приготовленных к постановке, осколком разворотило корпус. Разбросанный желтыми комьями по палубе, тротил горел, сильно коптя. Языки огня лизали корпус мины, и из нее уже шел дымок. Алексеев вспомнил занятия по минному делу. Горящий на воздухе тротил безопасен. Но в разбитой мине были запальные стаканы с гремучей ртутью и тетрилом. Раскалясь, они взорвутся, и тогда рванет тротил, захватывая и соседние мины.

Кто-то с обожженным лицом, в изорванном рабочем платье, проскочив мимо Алексея, метнулся к горячей мине и уперся в нее черными, ободранными в кровь руками, стараясь подтолкнуть к борту. Но тяжелая мина только покачивалась. Один человек не мог совладать с ней. А поблизости никого не было. Тогда, забыв о ране, Алексеев вскочил на ноги и, не хромая, побежал на помощь одинокому товарищу. В этом опаленном человеке он не узнал всегда щеголеватого Форафонова.

— Навались! — крикнул Форафонов, тоже не узнавая соседа. — Напри! Разок! Еще разик! Ухнем!

Мина толчками подавалась к борту. Последним усилием краснофлотцы перевалили ее через ватервейс, и она, высоко плеснув брызгами, исчезла в глупине.

И тут же Алексеев с воплем схватился за ногу и лег на палубу, впиваясь зубами в ладонь от нестерпимой боли.

Форафонов провел рукой по закопченному лицу, нагнулся, подхватил Алексея и, перекинув его через плечо, пошел на перевязочный пост.



Штурман захлопнул крышку ящика с хронометром и поднес руку к фуражке.  
— Постановка окончена, товарищ капитан второго ранга. Одна мина на нашей палубе была разбита осколком и загорелась. Старшина Форафонов и раненый краснофлотец Алексеев успели столкнуть ее за борт, предупредив катастрофу. Капитан второго ранга Маглидзе наклонил голову.

«Хорошие ребята, золотые ребята,— подумал он, смотря на штурмана.— Вот они, наши дети. С ними жить, драться и побеждать радостно. И умирать не страшно!»

— Добро!— коротко сказал он штурману и обернулся к командиру «Сурового».— Ложиться курсом на место «Стремительного». Идти полным ходом. Поторопимся!

Эсминцы повернули домой. Целый час командир соединения не сводил глаз с востока, где был оставлен «Стремительный». И когда наблюдатели открыли эсминец, Маглидзе впервые за двое суток ощутил голод.

— Притащите мне пару бутербродов и чаю покрепче,— сказал он вестовому и стал набивать трубку.

«Суровый» вплотную прошел мимо «Стремительного». На палубе поврежденного корабля стояла выстроенная по бортам команда, на мостике белела перевязанная голова командира. Боевой флаг «Стремительного» развевался на гафеле, приветствуя флагмана, и на «Суровом» услышали медленный медный ритм гимна.

Командир соединения опустил руку от козырька.

— Передать на «Стремительный»: «Приготовиться принять швартовы».

Флажки семафора начали свою сложную пляску в воздухе. Со «Стремительного» отмахали в ответ: «Ясно вижу». Потом флажки на его мостике взлетали долго, передавая длинную фразу:

«Прошу разрешить самостоятельно следовать на базу,— читал командир соединения.— Повреждения исправил, могу держать десять узлов без риска для корабля».

— Ну и жук!— одобрительно крикнул Маглидзе.— Подымите ему: «Флагман изъявляет удовольствие». А я пойду к раненым.

Алексеев лежал на лазаретной койке. После укола морфия и вторичной перевязки, наложенной врачом, нога уже не болела, а лишь тихонько ныла. Он лежал, положив руки под затылок, и думал, как напишет письмо Танюше Будкиной, трактористке второго стана, как расскажет про свой первый бой и рану и как Танюша станет читать его письмо всем друзьям.

Чья-то тень заслонила от него солнечный луч из иллюминатора. Алексеев нехотя повернул голову и на уровне койки увидел лицо командира соединения. Он дернулся, пытаясь привстать, но крепкая рука опустила его на подушку.

— Лежите, товарищ Алексеев, отдыхайте! Как чувствуете себя? Очень больно?

— Теперь ничего, товарищ капитан второго ранга,— ответил Алексеев,— самую чуточку. Вот когда мину спихнул, тогда в коленку так ударило, аж море заплясало.

— Как же вы так с разбитой ногой полезли мину сбрасывать?— спросил Маглидзе.

Алексееву почудилось, что начальник упрекает его. В глаза ему набежали слезы, и он виновато сказал:

— Так, товарищ же капитан второго ранга, ведь коли б она рванула,— всем крышка была б... Я и про ногу забыл, как увидел, что Форафонов в одиночку с ней мучается... Извините, коли неправильно поступил...

Он замолчал и нервно затеребил пальцами воротник рубашки. Командир соединения взглянул на стоящего рядом врача, торопливо отвел взгляд и быстро вышел.

Вечером командир «Стремительного» сидел в салоне командира соединения и докладывал соображения по ремонту эсминца.

Ему было не по себе. Он ослабел от ран. Болела рука, разламывало голову. Но он старался держаться бодро. Он ждал, что после окончания доклада командир соединения разнесет его за неудачный поворот и аварию корабля. Может быть, даже отдаст под суд. И, оттягивая эту минуту, Калинин был чрезмерно многословен. Но пришлось все же закончить. И он замолчал, опустив глаза.

— Ну что же, одобряю,— услышал он голос Маглидзе,— и благодарю за энергичные действия по обеспечению живучести корабля.

Калинин горько вздохнул.

— Эх!— произнес он печально.— Разве об этом я думал, товарищ капитан второго ранга, когда выходил в поход. Я мечтал о подвиге, а получилось черт знает что. Хоть бы выругали вы меня!

Командир соединения молчал. В салоне было слышно только посапывание раскуриваемой трубки. Воздух заволокло сладковатым голубым дымом. И Маглидзе задумчиво сказал:

— Подвиг!.. А что такое подвиг? Очень интересно! Никто не понимает. Краснофлотец Алексеев извинился передо мной за то, что совершил подвиг... Командир эсминца Калинин считает естественным оставаться командовать кораблем, когда ему самому нужна хорошая починка в госпитале...

Калинин искоса посмотрел на командира соединения, и в глазах его мелькнула лукавая искра. Он поднялся.

— Разрешите сказать, товарищ капитан второго ранга. Я тоже знаю одного командира соединения, который не замечает, что принял на себя огромную ответственность продолжать и довести до конца операцию в таких тяжелых условиях, которые были созданы аварией корабля. Вот что такое подвиг!

— Хватил!..— насмешливо проворчал Маглидзе,— бредишь, наверное, от ран, капитан-лейтенант... Езжай, выпипись... Время позднее!

*Октябрь — декабрь  
1941 г.*

## Константин Лордкипанидзе

(р. 1904/1905)

### МАЙСКОЕ УТРО

**В** начале мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда войска Приморской армии подошли к Севастополю, в солдатской газете «Вперед за Родину!» была напечатана моя корреспонденция о неожиданной встрече двух братьев-грузин, участников штурма Сапун-горы. Примерно через месяц в Симферополе, где тогда находилась наша редакция, я получил письмо такого содержания: «Уважаемый писатель! Вы правильно описали мою встречу с братом под Сапун-горой. Большое вам спасибо за это! Но, извините, вы допустили небольшую ошибку: в той суматохе неточно записали наши фамилии. В газете напечатано Заридзе, а мы Базлидзе. Может, это и не имеет большого значения, но мы с братом все-таки просим вас, если можно, исправить эту ошибку. Пишет танкист *Гогиа Базлидзе*. 18 июня 1944 года».

Дорогой Гогиа Базлидзе, чтобы искупить свою вину перед вами, я решил почти заново написать о том памятном событии в вашей жизни. Как это удалось — судите сами.

• • •

Леван Базлидзе вышел из душного полумрака санитарной палатки и сразу почувствовал непреодолимую слабость. Почти полчаса женщина-хирург возилась с его раной в голове, извлекая мелкие осколки, промывая и зашивая ее. Леван все вытерпел, не проронил ни единого звука. А вот сейчас, может, от свежего воздуха, а может, просто оттого, что иссякли силы, у него вдруг закружилась голова, подкосились ноги.

Леван припал к плечу подоспевшего санитаря и медленно опустился на землю.

Помутневшими от боли глазами он, не узнавая, оглядел поляну, залитую солнцем, и вдруг увидел, как из лесу вышли деревца алычи, все в белых весенних цветах.

«Откуда они здесь?» — удивился Леван, напрягая ослабевшее зрение, и не сразу понял: это санитарки в белых халатах. Здесь же медсанбат.

Леван сейчас увидел и раненых, лежавших в густой высокой траве. Из палатки хирурга слышались чьи-то сдержанные стоны, где-то сердито шипел примус, булькала кипящая вода, время от времени в кустах дикой сирени дремотно посвистывал соловей, а совсем рядом с Леваном вполголоса переговаривались легкораненые.

Медсанбат разместился на склоне невысокой горы, поросшей молодым дубком, остро пахли нагретые солнцем почки; внизу, в почерневшей от огня лощине, еще дымились подбитые танки, из окна железнодорожной будки временами вырывалось почти бесцветное от яркого солнца пламя.

Совсем недавно здесь прошли сто двадцать танков, огнем и гусеницами разметая все на своем пути, а сейчас было тихо, мирно, и лишь изредка то тут, то там гулко звучали одиночные выстрелы. Кто стрелял? Почему стрелял? Говорили, что это стреляют санитары, пугая попрятавшихся в окопах гитлеровцев. Но Леван знал, что это стреляют разгоряченные боем солдаты, еще не привыкшие к этой необычайной, сразу наступившей тишине.

Время приближалось к полудню, и над поляной, где лежал Леван, сгустился душный запах крови и каких-то лекарств, и только иногда слабый ветерок приносил запах дикой сирени.

Леван приподнялся на локтях и оглядел поляну: «Нет ли кого из моей роты?» Ни одного знакомого лица.

Под низкорослым дубом, в тени распряженной линейки, полулежал раненый в черном комбинезоне, с наглухо забинтованным лицом. На его повязке причудливо играли тени беспокойной листвы. Только правым глазом смотрел он сквозь узкий просвет на Левана. Бессильно откинув голову, он тяжело дышал — тонкая марля трепетала на его губах. Вдруг он всем телом подался вперед и возбужденно замахал рукой: то ли звал кого-то к себе, то ли заметался в бредовой горячке.

«Бедняга», — с внезапной грустью подумал Леван.

Короткий, приглушенный стон вырвался из груди танкиста, и он еще нетерпеливее замахал рукой, словно требуя кого-то.

Может, оттого, что Леван долго молчал, а может, оттого, что волнение танкиста передалось ему, он, не соразмерив голоса и сил своих, громко крикнул:

— Сестра, воды!

Нелегко дались ему эти два слова. Притихшая было боль снова обрушилась на него, в висках застучало, морщины резче обозначились на усталом лице, и снова выплыли из лесу белые деревца алычи. Но Леван уже знал, чем усмирить эту боль, и он, торопясь и сбиваясь, стал перебирать разрозненные, мучительно успокояющие из памяти картины утреннего боя.

Боль воспоминания... Лишь она одна сильнее раны жгла его душу.

...Светало. До начала атаки оставались считанные минуты. Отдав необходимые распоряжения бойцам своего отделения, Леван уже затянул под подбородком ремешок каски и, нащупав ногой узкие ступеньки, выглянул из траншеи.

На взрытую снарядами поляну стаями садились птицы и жадно клевали вывернутые жирные комья земли с помятой травой.

«Давно, должно быть, не пахали эту землю», — подумал Леван и так ясно увидел свою далекую Алазанскую долину и себя, идущим за пятикорпусным плугом, так ясно услышал неумолчный гомон грачей, едва поспевающих за пахарем, что сердце защемило, и он, вздохнув, спрыгнул обратно в траншею.

Перед боем лучше не оглядываться назад.

«Значит, так, — подумал он, отгоняя от себя все другие мысли, — проскочить к ложине... Откосы крутые, но щебень поможет, бежать будет легко. Главное — выйти на рубеж, а там видно будет».

Из ложины пришлось ползти по голой бурой земле, взрытой гусеницами танков. И хотя товарищей пока не было видно, но он слышал, как в овраге, позади него, шуршал под ногами щебень и временами позвякивала чья-то лопата. Отделение шло за ним.

Первая пуля, словно спичка, чиркнула по каске Левана.

«Шальная», — успокоил он себя и еще быстрее заработал локтями.

Некоторое время он еще слышал шуршанье щебня под ногами бойцов, и стук лопаты, и отдельные выстрелы, и тиканье часов в нагрудном кармане, и далекие голоса бесстрашных деревенских петухов, но вдруг все стихло, он даже не услышал собственного крика: «Вперед!» Началась атака.

Справа, совсем близко, ударил вражеский пулемет. Пули неслышно ложились почти рядом, взметая гривы пыли. И так же неслышно, роняя оружие, падали сраженные солдаты.

Пришлось залечь, но до лопаты дело не дошло. Мимо Левана, обдав его запахом горячего железа, прошел, переваливаясь с боку на бок, тяжелый танк. На борту его Леван увидел изображение скачущего оленя. Что-то очень знакомое почувствовал ему в этом рисунке, в какое-то мгновение ему страстно захотелось вспомнить, что это... Но думать об этом уже не было времени. Танк подмял пулеметное гнездо, и нужно было поднимать солдат для последнего рывка.

Что было дальше, Левану помнилось смутно. Обгоняя кого-то, он оставил



на колючей проволоке полрукава гимнастерки и крепко разодрал себе локоть. В руках беззвучно, как ему казалось, бился автомат. И хотя он бежал изо всех сил, он все время думал, что бежит слишком медленно и никогда не доберется до той небольшой горки, где засели гитлеровцы. Это было похоже на мучительный сон, когда бежишь куда-то и все не можешь добежать.

Леван раньше других одолел пригорок и ворвался во вражескую траншею.

Скольких он убил в этой схватке? Тогда, в бою, ему казалось, что он один в траншее и один убивает всех фашистов,— это обманчивое чувство сопровождало его до конца атаки.

А потом, рассказывая мне об этом бое, Леван добродушно посмеивался над собой, над этим ощущением, хотя, как признался он, в те минуты оно очень помогло ему. Леван думал тогда, что он непобедим.

Скольких же? Трех, четырех? Трудно вспомнить. Но вот последний гитлеровец поднял перед ним руки. Это произошло уже во дворе пылающей железнодорожной будки. «Что ж! Раз сдаешься — возьми!»— решил Леван и доверчиво опустил автомат. И это едва не стоило ему жизни. Фашист взмахнул рукой и метнул гранату... Хорошо, что Леван успел броситься на землю, а то и лопатой не подобрать бы его останков. И вот сиди сейчас, Леван Базилидзе, с перевязанной головой на тихой, мирной поляне, вдыхай запах сирени и лекарств и завидуешь счастью тех, кто сегодня ворвется в Севастополь.

В течение восьми месяцев Леван оборонял этот город. Здесь он отбивал атаку седьмого июня сорок второго года — самую страшную из всех вражеских атак, когда самолеты противника сбросили на горстку храбрецов несколько тысяч бомб.

Двести пятьдесят дней в Севастополе...

Здесь Леван был ранен третий раз, а на Херсонском мысу верные товарищи посадили едва живого солдата на катер, идущий к Большой земле.

Это было двадцать три месяца назад. Но не только раны он уносил из Севастополя — он твердо верил, что еще вернется сюда.

И он вернулся, опаленный жарким суховеем кубанских степей, умудренный опытом жестоких сражений; в складках его сапог залегла пыль «Голубой линии», а волосы и шинель пропитались соленым запахом двух морей.

Удивительно, но Леван никогда не думал, что его могут убить до того, как он войдет в Севастополь, что его могли убить и раньше, где-нибудь на Кубани или в Керчи. Правда, в начале войны, когда его дивизии день за днем приходилось отступать и каждая оставленная деревушка отравляла ему душу, он иногда впадал в отчаяние, и ему казалось безразличным жить или умереть.

Но когда горечь поражений сменил яростный восторг штурмов и побед, мысль, что его могут убить, как-то незаметно ускользнула из сознания. Сейчас он думал о смерти спокойно, без тревоги, как о чем-то неизбежном, но далеком.

Легкое прикосновение чьей-то руки вывело Левана из раздумья. Санитарка поднесла ему котелок с водой.

— Не мне... Вот ему дайте,— сказал Леван, показывая на раненого танкиста.

— Ему?— переспросила санитарка.

— Да, он уже давно просит.

— Как же просит, если он не может говорить?— удивилась женщина.—

Парень контужен, его вынесли из горящего танка, и он не говорит и не слышит.

— Но он так махал мне рукой... И я подумал...

Леван посмотрел на раненого танкиста и снова вспомнил танк со скачущим оленем на борту.

— Танкисты здорово дрались сегодня!— восхищенно проговорил Леван.

Санитарка приподняла голову танкиста и поднесла воду к его губам, но раненый не стал пить и еще нетерпеливее, чем прежде, помахал рукой Левану. Должно быть, эти движения были ему не под силу, и он устало откинулся назад и замер. Даже марлевая повязка на его губах перестала шевелиться. Но через минуту танкист собрал силы, расстегнул ворот черного комбинезона, достал из-за пазухи

какой-то сверток, дрожащими пальцами торопливо перебрал бумаги и протянул Левану помятый синий конверт. Леван взял его, посмотрел на адрес, потом на забинтованное лицо танкиста.

— Гоги, брат мой! Как же я тебя не узнал?— почти шепотом проговорил Леван. В руках у него было письмо матери.

По движению его губ танкист понял, что брат произнес его имя. И это было все, в чем он сейчас нуждался...

...Мне довелось присутствовать при этой встрече. Я видел, как беззвучно, по-мужски рыдал Леван. Затем он круто повернулся и ушел в палатку: мужчине среди мужчин слезы не к лицу, даже если они от такого большого счастья.

Немного успокоившись, Леван вернулся к брату и поднес к его глазу клочок бумаги. На нем было написано: «Если можешь, Гоги, напиши — было ли что-нибудь нарисовано на твоём танке».

Георгий Базлидзе взял у брата карандаш. Напряженно следил Леван за нетвердой его рукой. Не глядя на бумагу, танкист нацарапал одно слово: «Олень».

Леван улыбнулся, и на лице его разгладились жесткие, суровые морщины войны. Так вот почему взволновал его скачущий олень на борту танка! В детстве младший братишка его все свои ученические тетради заполнял вот такими скачущими оленями.

«Значит, вместе дрались»,— подумал Леван и тихо положил свою горячую ладонь на руку Георгия. И было в этом прикосновении и любовь брата, и ласка матери, и тепло кахетинской земли — было все, во имя чего они оба сражались в это солнечное майское утро.

(р. 1913)

### ОН ВЕРНУЛСЯ В ПЕСНЯХ

**Б**елые мраморные ступени лестницы, точно пенящаяся горная река, сбегали с четвертого этажа вниз. А вверх, не переводя дыхания, мчалась по этой лестнице Диляра. Добежав до своей квартиры на четвертом этаже, она нетерпеливо постучалась. Когда ей открыли, она схватила мать за руку. Увидя в глазах дочери обычный для нее беспокойный вопрос, мать сказала с грустью:

— Нет, дочка, но ты потерпи, непременно будет.

Диляра опустила голову. Значит, и сегодня нет письма от Аждара.

Два месяца прошло с тех пор, как Диляра перестала получать письма с фронта. Она была очень встревожена и лишилась сна. Как ни утешала и ни уговаривала ее мать, она не успокаивалась. По ночам она доставала все письма, полученные от Аждара за два года разлуки, и перечитывала их.

Со страниц этих писем дышала на Диляру огнем и жаром войны.

Аждар за год до войны окончил институт и поехал учителем в родное село. Диляра осталась в Баку и продолжала учиться.

В то лето, когда началась война, Диляра, по приглашению Аждара, поехала к нему в гости, познакомилась там с матерью своего жениха, побывала в школе, где мальчики и девочки последнего класса сдавали выпускные экзамены. Здесь и застала Диляру весть о начале войны.

Аждар в первый же день вызвался идти добровольцем и подал заявление в военкомат. Через десять дней был получен положительный ответ, и он вместе с Диларой выехал в Баку.

Диляра вспоминала последний вечер, проведенный с Аждаром.

Было жарко и душно. Они сидели на балконе и смотрели на погруженный в темноту город. Аждар курил и спокойным голосом говорил о своих мечтах и планах на будущее. У Диляры тревожно билось сердце. Охваченная первым волнением, вызванным войной, она в будущем видела лишь грозную опасность, нависшую над Родиной.

Наконец настала минута расставания.

— Ты не беспокойся, дорогая,— говорил Аждар, прижимая Диляру к груди.— Не бойся будущего. Победа не может повернуться к нам спиной. Много испытаний мы прошли, с успехом выйдем и из этого тяжелого испытания...

Сколько долгих месяцев прошло с того вечера! Но, наряду с тревожными ночами, она пережила немало светлых и радостных дней. За это время она трижды поздравила лейтенанта Аждара с полученными им боевыми орденами и от радости точно порхала по земле. Что может украсить грудь мужчины лучше, чем боевые ордена...

А теперь... Два месяца как прекратились письма Аждара. Вот почему Диляра, выйдя из института, стремглав бежала домой, одним духом взбегала на четвертый этаж и с мольбой заглядывала в глаза матери.

Не дождавшись ответа, она уже читала в этих глазах, что письма опять нет.

Так случилось и сегодня. От тяжести переполнявших ее тревожных мыслей голова Диляры опустилась на грудь. Мать приблизилась к ней и стала гладить ее по волосам:

— Терпи, дочка, терпи...

Диляра рассеянно подошла к окну и взглянула на город, постепенно погружавшийся в вечернюю мглу, прислушалась к вою зимнего ветра. Глубоко вздохнув, она отошла от окна и устало присела к пианино. Подняла крышку. Пальцы ее поползли по клавишам. Но только что начали складываться первые такты мелодии, как Диляра встала. Как бы боясь высказать угнетавшую ее мысль, она сказала тихо:

— Мама, я лучше поеду завтра в деревню Аждара. Может быть, мать его получает письма. Я больше не в силах терпеть.

Мать прислушалась к завыванию ветра за окном и хотела возразить. Но она вспомнила вдруг свою молодость, горечь разлуки, порывы любви и не стала отвечать дочь.

Рано утром Диляра сошла с поезда на одной из отдаленных станций. У нее не хватило терпения дожидаться колхозного грузовика, который отправлялся в село только вечером, и она вышла на шоссе, в надежде встретить какую-нибудь попутную машину. Вскоре она остановила проезжавший по дороге грузовик и вскочила в него. Недалеко от села, куда ехала Диляра, машина сворачивала в сторону, и ей пришлось сойти и продолжать путь пешком.

Вот показалась впереди деревня, раскинувшаяся на склоне горы. Из труб вился дым и подымался вверх. Сердце Диляры стало биться сильнее. Это была родная деревня Аждара, и Диляра любила ее так же сильно, как и свой город, в котором она родилась и выросла.

Она дошла до речки, замерзшей у берегов. В то памятное лето она сидела здесь с Аждаром, опустив ноги в воду. Вот за речкой тянутся невысокие холмы, покрытые лесом и кустарником. Покрытые снегом, они кажутся сейчас поседевшими.

Вот оголенные деревья около моста. Диляра вспомнила, как приятно эти деревья шелестели тогда своими листьями, будто рассказывая прохожим волшебную сказку.

И Диляра ко всему обращала теперь свой взгляд, как бы спрашивая только об одном:

«Не знаете ли вы что-нибудь об Аждаре?»

Диляра дошла до села. Первое, на что она обратила внимание, была школа, стены которой сверкали ослепительной белизной при свете зимнего солнца. Проходя мимо школы, она невольно остановилась. Ей показалось, что, взглянув на окно, она увидит Аждара, пишущего мелом на доске алгебраическое уравнение.

В школе была перемена, и дети, усевшись на перила террасы, грелись на солнце и что-то пели. Диляра стала прислушиваться. Это была какая-то новая, неизвестная ей песня. Диляра слушала, и волнение ее возрастало. Песня приковала ее к себе. Это была новая, сложенная народом песня о герое Отечественной войны.

Дети пели, и перед глазами Диляры оживал образ этого, совершающего сказочные подвиги самоотверженного героя. Сквозь дым, огонь и пламя герой шел на вражеские танки. Вдруг Диляра замерла, и сердце ее трепетно и быстро забило: этого героя звали Аждаром, школьники пели песню о своем учителе.

Глаза Диляры наполнились слезами восторга. Теперь песня овладела ею целиком, и она слушала, не отрываясь, точно зачарованная. И когда в ушах девушки прозвучали последние слова песни, глаза Диляры широко открылись, и она прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Одетый в белое зимний пейзаж в одно мгновение оделся в траурный, черный наряд. Песня передавала будущим поколениям память о герое, павшем в боях за Родину...

Диляра оторвалась от стены и, шатаясь, пошла, сама не зная куда. Беззвучно livшиеся слезы застилали ей глаза, и она шла, не видя дороги. На какой-то сельской улице незнакомая женщина взяла ее за руку. Она как бы очнулась.

— Не беспокойся, сестра,— сказала она женщине, лица которой не видела сквозь слезы, и машинально пожала ей руку.

Но женщина не оставила ее и пошла с ней рядом. Точно две сестры, они,



объятые одним горем, дошли до сакли матери Аждара. Поднялись по лестнице и вошли в комнату.

Седая мать Аждара, Гюлли-хала, сидела перед небольшим станком и ткала ковер. На ее рассеянном лице была глубокая печаль, но все же она сразу узнала Диляру.

Девушка бросилась в объятия Гюлли-хала. Старая женщина прижала к груди возлюбленную своего сына. Она была матерью, и великой силой матери обладала она. Задышавшаяся от рыданий Диляра еще не имела той стойкости в горе, которой обладала старая мать. Гюлли-хала хорошо понимала это и старалась успокоить девушку.

— Успокойся, дочка,— говорила она, сжимая ее в объятиях.— Успокойся, дорогое дитя мое.

Диляра подняла голову и заглянула в глаза матери. Гюлли-хала не плакала. Глаза у нее были сухи. Только от глаз ее вниз по щеке протянулись две светлых борозды, которые говорили о тайных слезах, в одинокие ночи пролитых матерью.

Девушка читала в глазах седой женщины глубокую скорбь, но душа ее, восстав против постигшего их несчастья, не хотела мириться с ним.

— Мама, мама!— говорила она как в бреду.— Я не могу поверить этому, мама. Я не хочу верить. Ведь он дал мне слово. Он должен был вернуться. Но почему же, почему он не вернулся? Почему, мама, почему, почему?

Мать продолжала ласково гладить голову прижавшейся к ее груди девушки. Потом она повернула задумчивое лицо к окну и, глядя куда-то вдаль, сказала голосом, проникающим в душу:

— Нет, дочка, он не нарушил своего слова. Он вернулся. Смерти не удалось преградить ему дорогу. Он опять здесь, в своем родном селе. Теперь повсюду, даже малые ребята, поют песню о нем. Он в песне вернулся в родные края, дорогая.

## Эдуард Мянник

(1905—1966)

### СТАЛЬНОЙ ТРОС

Спустя некоторое время после окончания войны мне пришлось побывать в одной маленькой деревне. Она расположилась в долине горсточкой серых, обмытых дождями и ветрами, домиков. Несколько чахлах деревьев торчали у крыш, и бедные песчаные пашни виднелись вокруг.

Рыбачья артель получила новые сети и лодки,— теперь по этому поводу был праздник. В глазах людей светилась надежда. Бородатые мужики посмеивались, посасывая трубки, и председатель артели сказал:

— Приезжайте к нам через пять лет еще раз, тогда уж не узнаете нашу деревню. Заживем, вылезем на солнышко из-под серых крыш.

На другое утро мы прошли по деревне. Внизу вздыхало свинцовое осеннее море. В море шло пробное плавание на новых лодках. Даже бабы и дети пришли посмотреть на это зрелище. В конце деревни, там, где дорога поворачивала вниз, к морю, мое внимание привлекли торчащие из земли остатки сгоревшего дома. По-видимому, это была маленькая хата, одна из таких же серых, с замшелой крышей и крохотными оконцами хат, каких не мало было на окраине деревни.

— У вас пожар был?— спросил я председателя.

— Это хижина матери Тоола,— ответил он серьезно и остановился у пепелища, почтительно сняв шапку. Лишь через несколько минут он снова заговорил:— Это воспоминание о тяжелых днях прошлого, о том времени, когда на нашей земле хозяйничали немцы.

Мать Тоола была вдова рыбака, ей было лет под шестьдесят, маленькая, юркая, всегда в движении, как чайка у воды. Двадцать лет назад ее муж погиб на тюленьей охоте. С этого времени мать Тоола жила со своим сыном, большим здоровым парнем; он был такой же хороший рыбак, как и его отец, дед и прадед.

Смерть мужа как будто усилила привязанность матери к сыну. Она заботилась о нем, окружала его той строгой любовью, которая свойственна матерям-рыбачкам, маленьким женщинам, с лицами, сморщенными от ветров и горя. Двадцатилетний Айнц был для нее все еще малым ребенком. В ее сознании никак не укладывалось, что он уже настоящий мужчина, и она ждала его в темные ночи с мерцающим огоньком у глазка своего окошка и встречала с трясущимися от счастья руками.

Но наступили тяжкие дни оккупации.

На мотоцикле приехал большой белоголовый унтер-офицер с опухшим лицом и рыбьими глазами. Он отдавал приказы, руководил рыбной ловлей, забирал уловы для немцев. Иногда он был пьян, но держался на ногах крепко. Его неподвижные глаза будто везде искали врагов. Он знал, что его ненавидят, и в часы опьянения это сознание сковывало его страхом, делало особенно злым. Страх увеличивался, когда он оставался один на омытом ветрами взморье или ехал на мотоцикле по темной проселочной дороге. Не раз он замирал, увидя тень колышущейся сети или услышав над головой шум сосен.

Однажды в ночном сумраке, мчась на мотоцикле, он увидел на краю деревни в тени домов будто вставшую на пути группу людей. Он выпалил в них всю обойму и промчался, не оглянувшись, назад.

Был тяжело ранен Айнц, который почти всегда поздно возвращался с берега. Когда рыбаки внесли его в хату, мать упала на грудь сына. Она обхватила его

руками, выла так, что сердце разрывалось, и рвала свои седые волосы. Соседям даже показалось, что мать Тоола помешалась. Что-то оборвалось в ней. Для маленькой старушки-рыбачки вся жизнь превратилась в одно безысходное отчаяние.

Айнец умер на следующий день.

Похороны устроили тихие, незаметные, как было заведено в то тяжелое время. Но вечерами было видно, что на подоконниках по всей деревне мерцали маленькие огоньки. Это был древний обычай,— так в старину зажигали в окнах огни, когда в открытом море боролось с беспощадным штормом какое-нибудь судно.

Теперь опять, как по уговору, зажгли рыбаки на окнах эти огоньки дружбы и товарищества.

Мать Тоола видела это, и по щекам ее катились слезы. Но вот она выпрямилась, голова ее гордо откинулась назад, блеск холодной стали появился в ее старых глазах. Она шагала между хат и шептала:

— Благодарю тебя, отец Кивира... благодарю тебя, семья Лаутеров... благодарю тебя, мать Элиза... благодарю, Лооди. Айнец не забудет этого никогда.— И в направлении каждого окна она склоняла свою седую голову, как будто за каждым окном стоял человек и слушал ее слова.

С этого времени говорили, что мать Тоола стала немного странной. Она часто бродила по берегу, будто искала что-то там. Но берег был пуст, по нему ходили только ветры да вода плескалась о камни. Она останавливалась, выкапывала из песка какой-нибудь камень, поднимала, взвешивая на руке. Но тут же бросала его: все камни казались или очень тяжелыми, или слишком легкими даже для ее старческой руки. Когда же она находила подходящий — зубчатый с острыми углами — камень, который мог бы стать грозным оружием в сильной руке, она долго рассматривала его. Но тоже бросала, и у рта ее появлялась тень какой-то безнадежной печали.

Потом она перестала искать камни.

Мать Тоола тихо бродила по своей избушке, возилась в сарае, в сенях, все кругом зорко осматривала. В кухне валялся старый, заржавленный топор, которым всю жизнь кололи дрова. Его притупленное лезвие и избитый обух не удовлетворили мать Тоола. Во дворе валялись вилы, косы, но они были совсем непригодны.

Как-то вечером она зашла в хижину старика Кивира.

Он один сидел дома, кусок пола краснел у открытой печи. Старый охотник на тюленей грел у огня свои усталые от работы руки. Увидя вошедшую, старик удивленно поднял глаза и сказал, указывая на ближайшую скамью:

— Садись, мать Тоола.

Она села и ждала до тех пор, пока пламя в печке почти потухло. Тогда, в темноте, она сказала:

— Хозяин Кивира, ты когда-то был на этом берегу самый знаменитый охотник на тюленей.

Старик кивнул головой.

— Да, уж был когда-то.

— Мой муж говорил, что у тебя было такое ружье, что на сто пятьдесят шагов било в глаз старого серого тюленя.

— Да, кажется, и это было,— ответил старик.

Потом они молчали, пока пламя совсем не потухло. Только угли еще тлели, вздрагивающие красные угли, как воспоминание о чем-то далеком. И тогда спросил старый Кивира, будто он только теперь окончательно собрался с мыслями:

— Почему ты все это спрашиваешь, мать Тоола? Это такие же разговоры, как гаснущие угли в печке. Теперь бы я, наверное, не смог и с тридцати шагов убить старого тюленя, и ствол ружья ржавчина изгрызла, он стал тонок, как бумажный лист. Я не знаю, уж выдержит ли такой ствол выстрел. Нет, плохие уж мы теперь стрелки — и я, и старое ружье.

В печи погасли последние угли. Изба стала темной и низкой, как дощатый ящик. Мать Тоола поднялась, постояла и сказала:

— Да-да, мне нужно идти, на дворе совсем уже ночь. Я и упасть могу, ноги мои уже не так сильны, как прежде.

— А руки еще слабее,— ответил старик из темноты.

Мать Тоола пошла по берегу. В разрыве облаков виднелась полоска тусклого лунного света. Тропинка была едва заметна, но некоторые прибрежные камни еще белели. Возле своей хижины мать Тоола повернула по старой, каменной тропинке. Но едва она ступила несколько шагов, как что-то больно ударило ее под подбородок, прямо по шее. Мать Тоола упала, сильный ожог прошел по правой руке. Она сразу же безропотно встала и начала искать перед собой в темноте то, что ее так внезапно сбilo с ног. Это была веревка, туго натянутая между двумя сваями.

— Веревка... обыкновенная веревка...— шептала она и ощупывала веревку, будто это было какое-то чудо.

И она быстро зашагала к дому, забыв обо всем остальном.

Доктор уложил руку матери Тоола на шинную повязку. Кость руки была сломана, и люди полагали, что теперь старуха не сможет больше работать. Но от этого мать Тоола не пала духом, наоборот, она стала как будто веселее. Казалось, что она нашла то, что искала на берегу, тут, между стен своей хибарки, или в темной хате старика Кивира.

Через два месяца она уже могла немного шевелить пальцами. Как-то она пришла вниз, к людям, где старые рыбаки затягивались последним дымком вечерних трубок.

— Родимые, дайте мне кусок стального троса,— попросила она их.

Мужики посмотрели в глаза матери Тоола. Они знали о ней кое-что, догадывались о терзаниях ее сердца, о ее беспокойстве, которое заставляло женщину скитаться долгие месяцы по берегу.

— Зачем тебе трос?— спросили они.

— Хочу хозяйство налаживать,— сказала старуха сквозь зубы.

— Тут нет никакого троса,— ответили мужики и стали расходиться.

Только старику Кивира захотелось чего-то еще повозиться около сараев. Когда все ушли, он вытащил откуда-то три-четыре сажени тонкой стальной проволоки и выбросил за дверь. Он еще возился в сарае, передвигая хлам с одного места на другое, но его уши слышали, как мать Тоола торопливо пробиралась по камням на дорогу. И, выйдя из сарая, старик уже не нашел проволоки.

С этого дня мать Тоола часто стояла возле своей хибарки. Именно там, где был поворот дороги, по которой на лошадях съезжали к берегу моря. Здесь проезжал и немец, белоголовый убийца с опухшим лицом и рыбьими глазами. Теперь он, видимо, боялся местных людей еще больше прежнего. Его всегда сопровождали два охотника, один из которых иногда сидел сзади на мотоцикле.

Мать Тоола часто смотрела, как мотоцикл мчался по проселочной дороге. Как ветер, пронесился он мимо старушки, опускаясь вниз к берегу или исчезая вечером в темной улице деревни. И за ним шли два охотника с винтовками, обутые в большие сапоги, которые взметали пыль на дороге. Теперь был осенний лов, они бывали в деревне каждый день. Иногда оставались до сумерек.

Это знали все мужики в деревне, это знала и мать Тоола. Но она всегда смотрела из ворот, наблюдала, подсматривала в щелку за промелькнувшим мотоциклом. Иногда она оказывалась так близко к мотоциклу, что ветер задевал ее юбку. Немец что-то кричал и размахивал револьвером, но мать Тоола не замечала его. Она подходила к столбу и делала на нем какую-то пометку. Эта пометка была немного выше ее груди.

И однажды вечером это случилось.

Было совсем серо, когда мотоцикл ехал от моря. Немец спешил, он крикнул что-то своим спутникам и дал полный газ. Мотоцикл пополз вверх по темной дороге, взял немного вправо и понесся прямо к деревне. И вдруг что-то хрустнуло, будто пила прорезала гнилое дерево. Мотоцикл завертелся, свалившись в канаву, а немец скатился на дорогу.

На место происшествия прибежали спутники немца. Они подняли унтер-



офицера и лишь тогда увидели, что половина его головы была словно отрезана. Случилось что-то непонятное, страшное, чему они не могли дать объяснение. Но в эту же минуту в нескольких шагах от них раздался громкий, торжествующий смех.

Это была мать Тоола, она смеялась, стоя в своих воротах.

Председатель рыбацкой артели посмотрел на развалины хаты и закончил свой рассказ:

— Немцы нашли туго натянутый через дорогу стальной трос и тут же застрелили мать Тоола. Потом подожгли ее хижину и бросили труп в огонь. И в эту ночь в каждом глазке окна опять горел маленький огонек.

Мир праху матери Тоола!

## Юрий Нагибин

(р. 1920)

### ВАГАНОВ

— ... То было летошний год. Еще Ваганов с нами воевал,— сказал старшина Гришин.

— Никифор Игнатьевич, а где сейчас Ваганов?— спросил Коля Куриленков, пятнадцатилетний кавалерист, сын эскадрона.

Худое, как будто вылущенное лицо Гришина с вислыми усами стало нежным.

— Алеша Ваганов врага в самое горло грызет. Он зверек не нам чета. У него война особая...

— Да ведь Ваганова убили под Архиповской,— сказал я, но осекся под тяжелым взглядом Гришина.

— Эх, товарищ лейтенант, молодой вы еще, и такие слова... Нешто Алеша Ваганов даст себя убить? Это ж подстроено все для военной тайны...

Высокий кабардин Гришина, подкидывая спутанные ноги, приблизился к хозяину и тонкой нервной губой шлепнул его по уху.

— Балуй, чертов сын...

Гришин повернулся на локоть, ухватил замшевую губу кабардина, тряхнул и отпустил. Кабардин засмеялся, обнажив розовые десны и белую кость резцов, вызеленных травой.

— Вы, товарищ лейтенант, у нас без году неделя,— стараясь быть вежливым, продолжал Гришин, но взгляд его выдавал затаенный гнев,— а я Ваганова на коня садиться учил. Вот на этого самого Чертополоха. Нет у меня права военную тайну разглашать, а все же скажу: воюет Алеша в самой неметчине, бьет врага в спину, нам путь облегчает. Вот...

Гришин поворошил золу потухшего костра, достал уголек и раскурил трубочку. Махорка, которую он получал из дому, отличалась невероятной крепостью. У меня заслезнились глаза, а Коля Куриленков зашелся в надрывном кашле. Гришин хлопнул его ладонью по узкой мальчишеской спине.

— Очнись, браток! Вот так конник: дыму не сносит! Накось, затянись разок.

Куриленков, с налившимися от натуги глазами, взял двумя пальцами трубку. Из мундштука выползал тоненькой струйкой дымок. Губы Коли скривились.

— А Ваганов курил?— спросил он с решимостью.

— Ваганов никакого баловства себе не позволял...

— Ну и я буду, как Ваганов,— поспешно сказал сын эскадрона.

— Кури, все равно таким не будешь. Как Гладких будешь, как я будешь, если, конечно, поработаешь над собой хорошенько. Вагановым родиться надо. Мы люди простые...

В словах Гришина звучала такая вера, такая убежденность в том, что Ваганов жив, что я показался самому себе мелким человеком...

Ваганов убили под Архиповской во время прорыва фронта. Увлеченный преследованием, он ворвался в деревню, занятую неприятелем. С ним был товарищ. Они могли спастись, но под товарищем убили лошадь. Он был схвачен гитлеровцами, прежде чем успел встать на ноги. Ваганов вернулся, чтобы умереть вместе с ним. Дрался он отчаянно. Уже мертвого, его всего истыкали клинками, танк протащил по его телу свою гусеницу. Ваганов был так изуродован, что никто не мог его признать, когда через час с небольшим в деревню ворвался эскадрон, ведомый самим генерал-майором Башиловым. Ваганова опознал лишь сам Башилов, его приемный отец. С бледным лицом, сведенным страшной гримасой боли, и пустыми глазами Башилов опустился на колени и поцеловал сына в обезображенный рот. Стянул с плеч бурку и осторожно, словно боясь разбудить, укрыл его.

В конце деревни еще слышалась стрельба — группа гитлеровцев засела в церковном подвале. Башилов поднялся с колен, коротким броском руки указал на церковь:

— Вперед! За нашего товарища...

Ваганова похоронили с воинскими почестями, а через несколько дней по бригаде пронесся слух, что он жив. Слух поддерживался и такими ветеранами, как Гришин, не верившими ни в бога, ни в черту, и доверчивыми юнцами, влюбленными в Ваганова. Слух стал правдой эскадрона, правдой бригады, другой правды знать не хотели...

...Я видел Ваганова однажды. Кавалерийская часть генерала Башилова провела застоявшуюся оборону противника, я был «брошен» в прорыв вместе с другими корреспондентами нашей фронтовой газеты. Как и следовало ожидать, здесь всем было не до нас. Напрасно промучившись с полдня, мы сели в прифронтной деревушке.

Я обосновался в большой чистой избе на краю деревни. Старушка хозяйка принесла горячей молодой картошки, самовар и чайник с настоем «гоноболя». Привычна, но, как всегда, до боли обидна была бедность прифронтной деревни, живущей под огнем в какой-то очумелой покорности, со своими пустыми закутками и обезголосевшими насестами. Источник жизни этих деревьев один — воинские части, прохожие и проезжие солдаты и офицеры, несущие с собой надежду, запах жизни, неизменное гороховое пюре и комбижир.

Я выложил свой припас и пригласил старушку к столу. Но она предпочла «сухой паек» и, получив его, скрылась за печку. Я присел к окну и стал пить зеленоватый и цветом и вкусом напоминающий лекарство чай.

Под окном росла береза. Она была расщеплена миной, половина ее, черная и засохшая, умерла, другая, склоненная к земле, зеленела свежим глянцевым листом. Под этой березой на скамейке собралась компания: танкист в промасленном комбинезоне, с гармонью на потертом ремне, белобрый сапер, два шофера со свежими розовыми лицами в черной рамке отмытой к вискам и шее грязи, несколько девиц в цветастых платьях и калошах. Выходя на круг, девицы снимали калоши, оттопав положенное, снова надевали их и отходили в сторону. Из кавалеров неплох был белобрый сапер. Но то ли гармонист был лишен огонька, то ли танцоры вяловаты, а только в пляске не чувствовалось размаха, она казалась бледной и натужной, как повинность.

Пошла хозяйская дочка и тяжело, с лентой, опустилась на лавку у окна. У нее было большое красивое лицо. Казалось, она ощущает свою красоту как бремя. Усталость чувствовалась в ее чуть опущенных плечах, тяжелых веках, более смуглых, чем щеки и лоб.

— Что же вы не танцуете? — спросил я.

— Очень нужно, — ответила она, не повернув головы.

Она глядела мимо пляшущих, на потонувший в рослых травах погост с тремя светлыми, белесо-матовыми липами, словно испукавшимися в молоко.

По правую руку широкая деревенская улица выливалась в большак. Близ устья большака голубела огромная лужа, в которой с надсадным воем, похожим на гуд пчелиного роя, тонул тупорылый «студебеккер». Два всадника, расплескав лужу, вынесли с околицу и, завернув коней, осадили их у нашего дома.

Один из них, кургузый, спешился, кинул поводья своему спутнику и, грузно переваливаясь на толстых ногах, заковылял к двери. Испуганно охнула, сорвавшись на низах, гармонь, вскочил танкист, отдавая честь. Как пружиной подкинуло с присядки белобрысого сапера.

— Отдыхайте, отдыхайте! — ворчливо бросил тучный кавалерист.

Шаги его глухо прозвучали по земляному полу сеней, запахнулась дверь, и я увидел красное лицо, сердитые глаза и кургузую, с наклоном вперед, фигуру грозного генерала Башилова.

Я встал.

— Кто такой? — недовольно, в упор спросил, словно выстрелил, Башилов.

— Из фронтовой газеты...

— Писатель,— усмехнулся он, показав крупные желтые зубы.— Харчуйтесь, писатель.

— Может, мне уйти, товарищ генерал?

Сердитые глаза Башилова набухли кровью.

— Сказано, харчуйтесь! Помешаете, сам выгоню!

Вскоре он вышел в голубой трикотажной рубашке и брюках с лампасами. Наклонив голову под поршенек рукомоиника, стал поливать шею с толстым вздутием у затылка, покряхтывая и ворча. Казалось, он чем-то недоволен и раздражен: вода ли недостаточно холодная, рукомоиник ли слишком скупно выпускает воду.

Дверь распахнулась, в горницу стремительно шагнул высокий кавалерист, прибывший вместе с генералом. Крыло бурки зацепилось за косяк, полы разлетелись, обнаружив в своем нутре тонкую, как тростина, юношескую фигуру.

— У Рябчика ссадина на цевочке, товарищ генерал!— сказал он звонко.

— А я тебе что говорил? Подорожнику надо приложиться.

— Сделано, товарищ генерал!— блеснул тот радостной улыбкой.

Генерал, ожесточенно вытиравший суровым полотенцем лицо и шею, вместе с высоким кавалеристом прошел за печь. Я услышал их тихий разговор.

— Испугался я нынче за тебя, Алеша. Больно уж ты горяч...

Этот голос, как будто вобравший в себя все тепло мира, поразил меня. Неужели обладатель его тот самый Башилов, чей ворчливо-недовольный бас я слышал несколько минут назад?

— Ну что ты, отец. Ты же знаешь, меня пуля не берет!

— Не берет, не берет... А только смотри, ты у меня один,— с трещинкой хрипотцы сказал голос.

Скрытая нежность — эта обычная изнанка суровых душ — казалась мне поразительной в Башилове. Один из самых лихих рубак конного корпуса, Башилов был уважаем всеми, но никем не любим. А между тем он обладал всеми качествами, которые привлекают к командиру сердца подчиненных. Он был заботлив, справедлив и совершенно не мелочен в своей требовательности. Нигде не жилось солдатам лучше, чем в бригаде Башилова, но он был замкнут и суров. Говорили, что Башилов потерял семью в первые дни войны...

Ваганова генерал подобрал на Полтавщине, когда бригада с боями вырвалась из окружения. Ваганов спал в придорожной канаве, положив голову на кулак, рядом с ним валялось странное самодельное оружие: кухонный нож, всаженный в длинную толстую палку. Мальчишка дрожал и плакал во сне, но, разбуженный прикосновением руки генерала, сразу вскочил, схватился за свое оружие со злым блеском мгновенно проснувшихся глаз. Оказалось, он поджидал гитлеровцев. Подждал двое суток и, не выдержав, уснул. Его мать и сестренки погибли от вражеской бомбы в доме, когда он лежал на огороде, чтобы лучше видеть бомбежку. Говорил мальчишка неохотно, каждое слово приходилось рвать из него чуть не клещами.

— Пропадет малец зазря,— сказал адъютант генералу,— может, возьмем его с собой?..

Генерал ничего не ответил, он только хмуро пощипывал жесткую щетину усов. Зато сказал Ваганов, бледными страстными глазами дерзко глядя прямо в лицо генералу:

— Вы тикаете — и тикайте! А мне фашистов убивать надо!

— Дурак,— с удивившей адъютанта мягкостью проговорил генерал,— убивать вышел, а сам дрыхнешь в канаве. Да и кого ты такой вот убьешь? Идем с нами, мы тебя научим воевать. Это вот,— он тронул висящую на боку шашку,— получше твоей орясины.

Мальчишка с жадностью взглянул на шашку.

— А мне такую дадите?

— Покажешь себя — свою отдам!..

Два мрачных лица: одно совсем юное, со следами недавних слез, другое — сухое и старое,— тронулись улыбкой...



Определив Ваганова во второй эскадрон, генерал, казалось, забыл о нем совсем. Только через год призвал он его к себе, показал свой знаменитый удар, размазавший человека надвое, и усыновил. В течение всего этого года генерал незаметно для окружающих внимательно следил за Вагановым. Он укрепился в своей начальной догадке, что в этом юноше горит огонь более сильный, чем в других оскорбленных душах...

— Все-таки побереги себя, Алеша,— говорил генерал.— Не век же тебе убивать. С твоей душой далеко шагнуть можно.

Я не слышал ответа Ваганова, слышал, как генерал спросил:

— Неужто не перебродил еще?

— Нет,— со смехом ответил Ваганов.— Разгуляться не пришлось. Заорали: «Гитлер капут!»— и с лошадей долой. Зря шашку вынимал: порубать-то почти и не пришлось.

Ваганов вышел из-за печи и, развязав тесемки, скинул бурку на лавку. Она легла, свернувшись, словно отдыхающий зверь. Ваганов был строен и гибок, как хлыст. Он выглядел шеголем, хотя на нем была самая обычная солдатская одежда, довольно поношенная, с крестиками штопок. Но она так ладно облегла его тело, так покорно следовала каждому движению мышц, как это никогда не бывает с казенной одеждой.

Все же вначале я увидел только очень стройного и очень молодого кавалериста. Натуру Ваганова я понял чуть позднее, почувствовав исходящую от него, как ток, нервную, страстную силу, которой была пронизана каждая клеточка его тела.

Скрытое напряжение страсти, его невероятная чуткость обнаруживались даже не в слове, не в жесте, а в чуть заметных волнах крови под тонкой кожей, невольном посверкивании глаз, взмахе ресниц, каких-то нежных тенях, пробегающих по его очень юному лицу.

Ваганов вышел из избы и присоединился к танцующим.

— Что так скучно, ребята?

— Давай веселей, если можешь,— отозвался гармонист.

— Оно конечно, нам, псковским, куда до вас, рязанских!— протянул гармонист, скинув голову и на весь размах растянул мехи. Словно вздохнула от обиды душа музыканта, разом прорвалась к живому звуку. Пошла, пошла гармонь, то обмирая в робком дыхании, то взвизываясь вызовом и задором.

У Ваганова опьянели глаза, он бросился в пляску, как в бой. В его пляске была какая-то нежная ожесточенность.

— Давай!— кричал он гармонисту.

А тот, закаменев лицом, все быстрее и быстрее бросал пальцы по клавишам, вламывал плечи, сердясь и изнемогая в борьбе с танцором.

Ваганов ударил о землю коленом перед одной из девиц. Та засмушалась для порядка и вышла на круг, заломив одну руку к затылку, другую отведя, как для защиты, и поплыла вокруг бешено кидающего в присядке ноги кавалера.

— Ходи веселей!— кричал Ваганов.

— Куда Нюшке против него держаться,— сказала красивая дочь хозяйки.

И, словно услышав эти презрительные слова, Нюшка бочком-бочком вышла из круга. Верно, и она почувствовала свое несоответствие кавалеру.

Ваганов вскочил и развел руками.

— Эх, какой все народ холодный!..

Взгляд его упал на наше окно. Лицо хозяйской дочери вспыхнуло. Словно подчиняясь молчаливому приказу, она спустила с плеч шаль и вышла на улицу. Казалось, вместе с шалью она сняла тяготившее ее бремя. Куда только девалась ленца, вся живая юность радостью вспыхнула в ней.

И все почувствовали: вот два достойных партнера, или, вернее, противника. Это слово точнее определяет характер отношений пары в русской пляске, где вызов ярче соединения, где заман ведет к отстранению, в пляске, пронизанной борьбой, гордостью, непокорством.

Она знала: противник может завихрить ее, сбить, одолеть, как Нюшку,

если она попытается сравняться с ним в быстроте. Она пошла плавно и неспешно, уравниваясь с ним в силе чувства, единственно дающего согласие в танце. Одно движение плеча, взлет ресниц — и они равны; притоп ногой, неожиданный с разлетом юбки поворот — и уж не ей, а Ваганову приходится разжигать свой огонь, чтобы не отстать в страсти.

Они были равны друг другу. Он шел всюду, куда она его звала. Путь его был не легок. Горы, реки, пропасти, дремучие леса метала она ему под ноги. Но он не боялся трудных путей. Птицей пронесился он над всеми препятствиями и, не настигая, кричал:

— А ну еще!..

И ни один из них не уступил в этом поединке. Сдался третий: гармонист.

— Дай пощадку, кавалерист,— сказал он, отнимая от гармонии упрелое до красноты лицо.

— Неужто уже все?— спросил Ваганов.— Вишь, я сухой совсем.

— Если ты и воюешь, как пляшешь, ценный ты человек,— сказал белобрысый сапер.

Ваганов засмеялся.

— Ну, воюю я с цельной душой, пляшу с остаточков..

Последнее, что я заметил, отправляясь спать на сеновал, было лицо хозяйской дочери. Прелесть его не замыкалась более в грубой определенности черт, а уходила в простор, как сияние. Я спал на сеновале. Было за полночь, когда пришел Ваганов. Он был не один. Я услышал тихий разговор.

— Спокойной ночи, хороших снов,— говорил Ваганов, вскарабкиваясь по лестнице.

— Что ж так скоро, Алеша?— с тоской проговорил грудной женский голос. Ваганов остановился, мне видна была его рука, вцепившаяся в балку.

— Нельзя мне, понимаешь, нельзя. А то пропаду совсем. Я себя ни до какой такой жизни не допускаю..

— Постой, Алеша,— просил женский голос.— Ведь, может, не свидимся больше!..

— Нельзя!— Рука Ваганова сильнее вцепилась в балку.— С вашим братом осторожней надо. А то забудешь все...

— Видать, много вы нашего брата перевидали,— ревниво сказала девушка,— то-то вы такие нежадные...

— Если дождешься, первой будешь.

— Ой ли?

— В глаза погляди — вру я?..

— А долго ждаться-то?— спросила девушка, и в голосе ее была печаль и немного насмешки.

— До победы!— Ваганов засмеялся, поцеловал девушку и быстро вскарабкался на сеновал.

Через минуту я уже чувствовал его горячее дыхание около своего лица.

...Ваганов спал, врывшись руками в солому. Сквозь окошко в крыше на него падал зеленоватый свет месяца. Ему снились какие-то сны, он улыбался, вскрикивал, не глухо, как спящий в мучительной душевной возне подсознания, а ясно и звонко; раз он вырвал руку из соломы и косо резанул воздух. Казалось, и во сне он живет с той же страстной напряженностью.

Под утро пришла хозяйская дочь, босая, на плечах старенький полушубок. Она наклонилась к Ваганову, долго глядела на него, поцеловала его закрытые глаза и сошла вниз...

Я проснулся рано, еще только светало, и подумал, что постыдно упускаю превосходный материал, сам давшийся мне в руки. Но Ваганова уже не было рядом. Я спустился вниз и увидел хозяйскую дочь, строгую, прибранную; она сидела у окна и глядела на дорогу...

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

**В**есна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрoga земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог, наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,— после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки... Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате стоял густ и тяжек, и чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили,— журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина.— Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взылась. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было

терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте...

С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшеломом перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, патлатое радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточно-прусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой, унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рошце, куда долетала канонада близкого фронта. Рошча была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его костреч, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толстой сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расплзался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разбирать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рошей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, ожидавших своей очереди,



отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.

Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормозить, приговаривая:

— Солдат, а, солдат... Солдат, а, солдат...

Она произносила это с механической однотономностью, как, наверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой роши, еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а, солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной нарковой маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони...

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посредине и снаряженным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным однокольным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь, на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на тары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим! — И, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нарस्पев: — Самосадик я садила, сама вышла про-да-а-ва-ать...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, ле-

жавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть.

Войска восточно-прусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне как в шахматах,— сказал Саша.— Е-два — е-четыре, бац!— и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.

К ноге с помощью кронштейна и блока был подвезан мешочек с песком, отчего Саша был вынужден все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас,— задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался?— басил мой правый сосед, Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать...

Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала как веревочный гамак.

Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закрывав, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролежала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. И все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому что в *меня* тоже вознзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупновских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих пахло *собственным* тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание... Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое... Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно это

доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами — и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями...

— А ты не балуй на войне,— резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.— Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом».

Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справлял и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Да какие медали... — слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел. За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Да и стрелял... А то как же. В окруженье одна попали... Вот как наслел немец-то, вот как обложил... Да и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет. Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова...

— Небось перепугался?

— Да и страшно... А то как же.

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда.

Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что... Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь,— наставлял его Бородухов.— Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не различал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить,— говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях.— Да где ж ее взять... Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как дóбро жар утешает, клюква-то.



Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, написанными послонявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольные на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкормить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползть по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увальнь с широкой спиной и детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко стриженный под машинку, был золотисто-рыжий, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что это, сынок, стоишь, говорю ему, давай, милый, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясась широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.



— Чего ему?— поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном,— разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу...— не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает,— переводил я шепот Копешкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно?— говорит.— Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены,— очистившемуся, синему, высокому — чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что?— помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые?— допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А!— Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок,— сказал Бородухов.

— Эх, братья славяне!— с горькой веселостью воскликнул Самоходка.—

Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливых — Саенко и Бугаев почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую,— упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А!— морщился молдаванин.— Ты послушай, послушай... Птица поет.—

Михай культей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику.— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михая обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были сняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазных, перепуганных гитлеровцев с задранными руками,

белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распрорванный бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культя, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду и благодаря этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволяя стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатами пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнили.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... Дены! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та яснэ ж дило...

Шаги и голоса отдалились. «Бу-бу-бу-бу...»

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конеч! Конеч, ребята!— завопил он.— Это, братцы, конец!— И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерял глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа!— ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубашку, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана...— сопел Самоходка.— Я бы тебе... вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы,— окликнул Бородухов.— Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними!— потрянул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой — колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,  
Юбка лыковая...

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога  
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на далекой Оке.

— Братцы!— Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты.— Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам!

Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.

— Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит...

Таня подседа к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи.

Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье, — повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— А-ай-ай... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михая. — Ох да страдальцы горемычны-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятны-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распродятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну, не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечны-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой...

Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробилась отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выглексивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острое, пронизывал хор:

Идет война народна-йя-яя...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на треть-



ем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас...

Оркестр смолк, и сразу же, без раздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,  
Куда топашешь?!  
До Москвы не дойдешь —  
Пулю слопашешь!

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьем ойканьем, с прихлопываньем в ладоши:

Я по карточкам жила  
Четыре годочка —  
Ненаглядного ждала  
Своего дружочка!  
Э-ой-ой-ой, ия-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.

Когда он неожиданно замолчал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаилу и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растоявшемся Михаиле сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаилу посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порывлся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришил их к широким плечам Михаила.

— Желаете с орденами?  
— У него при себе нету,— ответил за Михая Самоходка.— Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Нэ надо...— покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась однаединственная медаль «За боевые заслуги».— Чужих нэ надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница?— приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге.— Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, нэ хочу.

— Скромность тоже украшает. Так... Одну секундочку. Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуρο, не так хмуρο. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отчественная», папаша, найдется?— спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного Кавалера,— нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму,— изумленно хохотал Самоходка,— как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю?— тоже шутил старичок, морщась в улыбку.— Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша!— покатывался со смеху Самоходка.— А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим,— улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.

Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.

— Ну и дает старикан!— реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек!— жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку?— вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья.— Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы.— Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть прикидывая, какие можно к нему применить декорацию и реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь,— сказал строго Бородухов.

— Но, может быть, он желает?

— Ничего он не желает. Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю.— Старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки.— Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед...— сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие.— Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки.— Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неушто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую юдолю вытерпели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товарищи!— поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.— Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядись.

— Есть распорядиться!— Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку.— Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема часу.— Он вытер рукавом халата потный лоб.— У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывся як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, это вино досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.

Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли...— предложил Саенко.

— Да давайте.  
— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.  
— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...  
— Это само собой.— Бугаев взял Михаев стакан.— Ты давай присядь, а то не дотянись.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... за Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы посмотрели, как Бугаев, наклоняя стакан, вылил вино в пенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень,— удовлетворенно сказал Бугаев.— Это дело. Ничего, наловчишься...— Он вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить.— Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до донышка!..

— Вино пить можно. А как его теперь делать будешь?— Михай тряхнул узлами рукавов.— Вину руки нужны.

— Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет.

— А-ай-ай...— Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это...— прервал Бородухов и степенно провозгласил:— Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки.

Копешкин, глотая жижу, морщился и пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесли,— посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговееется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что пошохон выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку,— решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпихут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь,— засмеялась Таня.

— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться.— Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами.— Ребята, поехали? Нашими друзьями будете. Таковую свадьбу сварганим... Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко, а внизу Волга... Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходá идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Нэ, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что?— Михай вскинул рыжие брови.— Как что? Не был — не говори!

— Нет, брат.— Самоходка мечтательно уставился в потолок.— Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Нэ пил.



— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую. — Он сдвинул кульги, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду из пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон. — Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая доньшко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени... А пиво я люблю чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно побрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбредило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше.

Вмешался Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле», — думал я, слушая разговоры.

Лежали раненные и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю...

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копешкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну, и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые. И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то

там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житней, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракуты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прожетается молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.

Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшегося кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в затанном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечеряющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копешкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от *тих* берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже *ничто*... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытии... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт.

— Ох ты,— проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарями картинку с копешкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,— такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них...

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок,— сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне.— Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном,— сказал Саша.

— Ну... прости-прощай, брат Иван.— Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку.— Вечная тебе память...

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

Петро Панч  
(1892—1968)

ЧЕРНЫЙ КРЕСТ

**Е**лена Павловна была сельской учительницей. Накануне она выехала в район узнать, что ей делать,— приближался фронт, ночью уже было видно, как вспыхивают на западе зарницы.

В отделе народного образования Елена Павловна никого не застала. В исполкоме тоже было пусто. Она зашла к знакомому учителю, но и его не было дома. Все, кто только мог работать, отправились куда-то копать землю, чтобы рвами преградить путь вражеским танкам. Она посмотрела на свои руки — маленькие, но сильные,— и ей стало совестно: в такое время она заботится только о себе.

Когда она ехала обратно, моросил мелкий дождь, по сторонам, над черными полями, низко кружилось воронье, криком нагоняло тоску. Все чаще приходилось сворачивать с шоссе, чтобы дать дорогу автомашинам, за рулем в них сидели люди в военных фуражках. Возница усиленно погонял лошадей.

— А что, Елена Павловна, похоже, в войну въехали?

Сердце Елены Павловны тревожно забилося. То и дело проносились автомашины с бойцами, тракторы тащили орудия, в сторону от шоссе отходил куда-то полувзвод пехоты, на пригорках то появлялись, то исчезали конные. Она соскочила с подводы и робко спросила:

— Неужели?

Мимо проходила группа бойцов, и один, не останавливаясь, сказал:

— Туда не ездите, гражданка.

— А как же... ребенок, мама?

Красноармейцы уже прошли, а Елена Павловна все еще растерянно смотрела им вслед, ожидая ответа.

Возница, старый колхозник, почесал затылок:

— Оте так параграф! Что же теперь робить будем, товаришка учителька?

Видя растерянность учительницы, он сказал:

— Оно так: семь раз отмерь, один отрежь, только до Гитлера я не хочу. Буду возить красноармейцев. Пишите и деда Триполку во фронтовики.— И он повернул лошадей.

Елена Павловна машинально, как во сне, двинулась вперед по шоссе, потом вспомнила, что можно пройти напрямиком, свернула в овраг и побежала. Так она вошла в школьный садик. Уже совсем рядом жужжали пули, где-то близко рвались снаряды, но она ничего не слышала. Она думала только о своем Марке.

Когда Елена Павловна вбежала к себе в комнату, мать по-старчески стиснула губы и тихо заплакала. Возле нее сидел испуганный мальчик в матроске, при каждом выстреле он подбегал к окну. Увидев мать, он бросился к ней навстречу.

— Мама, а мы когда поедем? Дядя Костя уже уехал, и все уехали.

Елена Павловна, держась рукой за сердце, упала на стул.

— Собирайте чемоданчик... Марчика надо в шубку одеть, да скорее, наши отходят,— и глянула в окно.

В глазах у нее еще мелькали автомашины, красноармейцы, но на шоссе перед окном движение почему-то прекратилось. Совсем близко стояло нечто чудовищно огромное, забрызганное грязью. На серой стенке четко виднелся черный крест с



белыми полосками. Начиная наконец понимать, что произошло, она испуганно оглянулась на мать. Мать сидела неподвижно, она обреченно уставилась на дверь, за которой уже царил другой мир.

Елена Павловна похолодела. Страшно было подумать, что вот сейчас откроется дверь и в комнату ворвутся те, о ком она рассказывала детям как о самых страшных врагах. Они уничтожают все, чем жила и радовалась до сих пор страна. И тут она поняла, что уже нет ни в комнате, ни за окнами Советской Украины, — она отлетела, как прекрасный сон, — есть только черные кресты да солдаты с черепами на касках. Все ее знакомые и друзья, наверное, ушли с Красной Армией, одна она осталась с этими зверями.

Стало до боли тоскливо и пусто. Она завернулась в теплый платок, но лихорадочная дрожь не проходила.

От выстрела танк за окном подпрыгнул, как пес на цепи, и так же загремел цепями. Он бешено лаял на Красную Армию, которая отходила, но бежать не хотела. Большевики, сделав шаг назад, как обухом по голове, ударили противника и снова делали шаг. Немецкие танки порывались вперед, но страх перед крепким кулаком заставлял их держаться на расстоянии и прыгать в бессильной злобе. Время от времени они посылали снаряды, и те выли, как псы.

За окном мелькнуло лицо колхозного счетовода Ивана Сидоровича, тихого и услужливого человека. Елена Павловна облегченно вздохнула — не одна она очутилась в таком положении, а на миру и смерть красна. Что-нибудь вместе придумают. Но вслед за счетоводом замелькали штыки. «Так и должно быть, — подумала Елена Павловна, — забрали Ивана Сидоровича, а сейчас придут и за мной».

Теперь эта мысль уже не пугала, хотелось только, чтобы скорее все это кончилось. Точно прощаясь, она еще раз оглядела свою комнату: в ней еще был ее мир, советский.

Рука бессильно опустилась. Посмотрев на мать, Елена Павловна горько усмехнулась. Та молча сновала по комнате, прятала подальше костюмчики Марка. Слезы частым дождем катились по ее морщинистым щекам. За нею, как тень, ходил Марк. Вдруг он обернулся к матери и сказал:

— Бабушка говорит — пропала наша жизнь. Это правда, мама? Теперь немцы будут?

Елена Павловна испуганно замахала на него руками и прислушалась: по коридору гремели тяжелые шаги. Она выпрямилась, поправила платок на плечах и села у стола. Марчика притянула к себе и положила руку на его русую головку.

— Существовать, сынок, еще не значит жить. Кусаться надо, — сказала она серьезно.

Дверь распахнулась с треском, и в черном провале желтым пятном проступило длинное лицо Ивана Сидоровича. Оно усмехалось, и Елена Павловна даже зажмурилась. Показалось, будто ей только чудится, что это Иван Сидорович, но он уже на самом деле вошел в комнату, оскалясь в какой-то злорадной усмешке. За ним, как оловянные, не сгибая колен, вошли и стали за его спиной солдаты. Елена Павловна закрыла лицо рукой: в комнате стояли фашисты.

— Не пожелали или не успели, Елена Павловна? — вкрадчиво спросил Иван Сидорович.

Елена Павловна смотрела на него, широко раскрыв глаза, и молчала.

— Значит — не успели. Не удивляйтесь, пани, я этого дня двадцать лет ждал. Дайте молока солдатам... А с этим надо покончить навсегда. — Он махнул палкой по портретам вождей и сбросил их на пол.

Солдаты переглянулись и быстро о чем-то заговорили.

— Молока, слышите! — скомандовал Иван Сидорович, и вся его фигура сразу стала другой: спина выпрямилась, плечи расправились, маленькая голова на тонкой шее откинулась назад, как будто перед ним была не сельская учительница, к которой он не раз приходил просить «книжечек попроще», а гвардейский полк, если не дивизия. Он уже не опирался на палку, а играл ею, как стеклом.

Мать выступила из темного угла и сухо ответила:

— Не знаете разве, Сидорыч, что молока в колхозе нынче не выдавали.

— «Сидорыч»... — с брезгливой гримасой повторил он и деланно засмеялся. — Может, и воды нет?

Солдаты все еще стояли у порога и словно обнюхивали комнату. Белобрысый, встречаясь взглядом с Еленой Павловной, ухмылялся, показывая белые зубы. Мать внесла из кухни кружку воды. Тем временем Иван Сидорович листал левой рукой книжки, лежавшие на столе, и одну за другой сбрасывал на пол. Марк увидел свою книжечку с картинками и наклонился поднять ее. Иван Сидорович наступил на нее сапогом и, не оглядываясь, ткнул мальчика в грудь концом палки. Марк сморщился и отчаянно закричал:

— Все равно мы уедем, а ты собака и Гитлер!

Иван Сидорович поглядел на него тяжелым свинцовым взглядом и молча занес палку, чтобы ударить мальчика по голове, но Елена Павловна успела отвести удар и крикнула:

— Товарищ, как вы смеете!..

— Я вам не товарищ. Чтоб сегодня в восемь быть в клубе по-нашему, точно. А на ночь примете двух офицеров. Мы знаем, что вы беспартийная, — он скверно усмехнулся, — поладите.

Повернулся на каблуках и вышел.

Солдаты снова заговорили между собой и забегали глазами по комнате. На гвозде висела вышитая сумочка. С той же глупой усмешкой белобрысый снял ее с гвоздя и сунул за пазуху; второй солдат потянул часы, оставленные на комод. Третий, наступая учительнице на ноги забрызганными грязью сапогами, начал шарить по углам. Не найдя ничего и видя, что его спутники уже уходят, он потащил со стола скатерть. На пол посыпались оставшиеся книги, письменный прибор и стакан с водой. Из сброшенной чернильницы по полу растеклась черная лужа. Солдат сделал это с таким видом, точно в комнате, кроме него, никого не было. Остановясь перед зеркалом, он покрутил усы, подмигнул своей расплывшейся роже и, схватив шкатулку из ракушек, выбежал вслед за другими.

Елена Павловна упала головой на голый стол. Мать подошла к ней и начала гладить по плечам, вздрагивавшим под платком.

— Говорила тебе — темная душа у бродяги и глаза гадючьи. Он не товарищ... Ничего, вернутся наши... Это ненадолго, а то и жить не стоит.

За окном оглушительно заскрежетал танк, подбросил вверх тупое рыло и, словно приюхиваясь, пополз вперед.

— Чтоб тебя первой пулей пробило, проклятый!.. А на что в клуб? Не ходи, дочка, спрячься лучше. Сказал Марчик — Гитлер, и, правда, того и жди напасти.

Уже смеркалось. Елена Павловна вскочила, смахнула со щек слезы и выпрямилась.

— Теперь никуда не спрячешься, мама, разве что в лес. Присмотрите за Марком, я пойду. Сынок, слушайся бабушку всегда. — И она стала судорожно целовать его.

\* \* \*

Над входом в клуб, как и вчера, покачивался красный флаг, но, когда ветер колыхнул его, Елена Павловна увидела черную свастику, похожую на паука. Крестьяне входили в клуб молча, низко опустив головы, иной только, — должно быть, из тех, кто уже повидал таких же немцев в восемнадцатом году, — иронически усмехался.

В зале Елена Павловна забилась в самый дальний угол. Ей было холодно и невыразимо тоскливо. В оконных стеклах отсвечивало зарево далеких пожаров.

Лозунги и транспаранты были сорваны, стены зияли белыми заплатами. На сцене стоял голый стол, а перед ним, как пес на задних лапах, торчал пулемет.

Иван Сидорович с видом хозяина прошел на сцену и оттуда внимательно

оглядел собравшихся. Их было немного, а из сельского актива почти никого. Наконец он заметил учительницу и насмешливо сказал:

— Елена Павловна, вы не прячьтесь, пройдите вперед. Это только при большевиках вас затыкали в угол.

На нее оглянулось несколько колхозников, и в их глазах она увидела и укор, и черную тоску.

Елена Павловна старалась ступать твердо, как обычно ходила по этим доскам, но пол точно уплывал из-под ног, и казалось, ей никогда не дойти даже до середины зала. Но Иван Сидорович снова позвал:

— К столу, к столу, пани. Будем теперь честно работать.

Сгибаясь под тяжестью взглядов, она взошла на помост. Долговязый офицер с сухим носом стоял уже за столом. Иван Сидорович услужливо подставил ему стул и, выступив вперед, важно заговорил:

— Ну, мужики, дождались мы наконец...

— Мольшаты!— сердито стукнул офицер кулаком по столу.— Я буду разговаривал.

Иван Сидорович растерянно усмехнулся и, утратив важность, послушно спрятался за спину лейтенанта. Офицер снова стукнул по столу костяшками пальцев.

— Всем слушать приказ. Шитайте русский язык,— и протянул вперед белый листок.

Иван Сидорович выбежал вперед.

— Пани учительница охотно исполнит это. Читайте!

Елена Павловна, как осужденная, взяла бумажку. Черные строки расплывались перед глазами, но она все-таки быстро поняла: ей дали читать воззвание к украинским крестьянам, чтобы они помогли немецкой армии и снабжали ее продовольствием. Кровь прихлынула к лицу и обожгла его. Елена Павловна крепче сжала губы и посмотрела на колхозников. Сколько раз она призывала их с этого помоста крепить оборону страны, а если надо будет, жизнь отдать за свою отчизну, за родной край.

— Этот час настал,— произнесла она уже вслух, не замечая, как все больше крепнет ее голос.— Немцы ворвались в солнечную Украину, они топчут наши поля, они уничтожают родной язык, они убивают нашу радость. Они уже здесь, тянут руки к нашему горлу. Они опоганили уже наши хаты, теперь хотят опоганить души.

Листок дрожал в ее руке. Офицер медленно отстегнул кобуру, вытащил револьвер.

— Шитать русский язык!

Лицо Елены Павловны вспыхнуло. Казалось, она взбежала на баррикаду, залитую отблеском пожара, и закричала:

— Не будет этого, собаки! Думаете, советские колхозники станут вам помогать, предателями станут? Никогда этого не будет, никогда!.. Вот вам!..

Белые клочки бумаги полетели в лицо офицеру.

Пуля ударила ее под самое сердце, и ноги сразу подломились. Елена Павловна неловко наклонилась вперед и боком упала на пол. В последний миг она увидела, как Иван Сидорович метался по сцене с искаженным от страха лицом. В зале поднялся крик, потом затарахтел над самой головой пулемет.

Удары выстрелов сливались с ударами сердца, становясь с каждым мгновением медленнее, глуше, будто проваливались куда-то. Перед глазами кружились огоньки. Они росли, росли и наконец засверкали многоцветной радугой во все небо. Улыбка пересилила боль и навсегда застыла на губах учительницы.

## Константин Паустовский

(1892—1968)

### РОБКОЕ СЕРДЦЕ

**В**арвара Яковлевна, фельдшерица туберкулезного санатория, робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы — народ требовательный и беспокойный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры — одним словом, всё.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города, в Карантин. Она купила там домик под черепичной крышей и спряталась в нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с ним, с этим южным оживлением, с хриплой музыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда несло пригорелой бараниной, автобусами, треском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полынью. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в стене было видно мутноватое зеленое море и скалы. Около них весь день возился, ловил плетеной корзинкой креветок старый, всегда небритый грек Спирос. Он лез, не раздеваясь, в воду, шарил под камнями, потом выходил на берег, садился отдохнуть, и с его ветхого пиджака текла ручьями морская вода.

Единственной любовью Варвары Яковлевны был ее племянник и воспитанник Ваня Герасимов, сын умершей сестры.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, конечно, плохой. За это на нее постоянно ворчал сосед по усадьбе, бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории», Егор Петрович Введенский. Каждое утро он выходил в калошах в свой сад поливать помидоры, придирчиво рассматривал шершавые кустики и если находил сломанную ветку или валявшийся на дорожке зеленый помидор, то раздражался грозной речью против соседских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухне, слышала его гневные возгласы, и у нее замирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Петрович окликнет ее и скажет, что Ваня опять набезобразничал у него в саду и что у такой воспитательницы, как она, надо отбирать детей с милицией и отправлять в исправительные трудовые колонии. Чем, например, занимается Ваня? Вырезает из консервных жестянок пропеллеры, запускает их в воздух при помощи катушки и шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной раз и цветы — бархатцы и шалфей. Подумаешь, изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо приучать к строгости, к полезной работе. А то купаются до тошноты, дразнят старого Спирос, лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не мальчишки! А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Петрович был, конечно, неправ, она это хорошо знала. Ее Ваня — мальчик тихий. Он все что-то мастерил, рисовал, сапаявая носом, и охотно помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чистеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к тому, чтобы сделать из Вани доброго и работающего человека. В бога Варвара Яковлевна, конечно, не верила, но была убеждена, что существует таинственный закон, карающий человека за все зло, какое он причинил окружающим.



Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожиданно потребовал, чтобы мальчик учился у него делать гербарии и определять растения. Они быстро сдружились. Ване нравились полутемные комнаты в доме Егора Петровича, засушенные цветы и листья в папках с надписью «Крымская флора» и пейзажи на стенах, сделанные сухо и приятно, — виды водопадов и утесов, покрытых плющом.

После десятилетки Ваню взяли в армию, в летнюю школу под Москвой. После службы в армии он мечтал поступить в художественную школу, может быть, даже окончить академию в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти Ванины мысли. Он считал, что из Вани выйдет художник-ботаник, или, как он выражался, «флорист». Есть же художники-анималисты, бесподобно рисующие зверей. Почему бы не появиться художнику, который перенесет на полотно все разнообразие растительного мира!

Один только раз Ваня приезжал в отпуск. Варвара Яковлевна не могла на него наглядеться: синяя куртка летчика, темные глаза, голубые петлицы, серебряные крылья на рукавах, а сам весь черный, загорелый, но все такой же застенчивый. Да, мало переменяла его военная служба!

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петровичем за город, в сухие горы, собирал растения и много рисовал красками. Варвара Яковлевна развесила его рисунки на стенах. Сразу же в доме повеселело, будто открыли много маленьких окон и за каждым из них засинел клочок неба и задул теплый ветер.

Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стенку жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чужачества у него были и раньше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазывали коричневой грязью — под цвет окружающей земли — стены своих домов.

А вечером впервые не зажглись маяки. Только тусклые звезды светили в море. В домах не было ни одного огня. До рассвета внизу, в городе, лаяли, как в темном погребке, встревоженные собаки. Над головой все гудел-кружился самолет, охраняя город от немецких бомбардировщиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване. Она не плакала. Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. Иногда он уходил в дом покурить, но долго там не оставался и снова выходил в сад. Изредка с невысоких гор задувал ветер, доносил бляение коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говорила про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий гром. Потом второй, третий... По всем дворам торопливо заговорили люди — Карантин не спал. Никто не мог объяснить толком, что происходило за черным горизонтом. Все говорили только, что ночью, в темноте, человеку легче на сердце, безопаснее, будто ночь бережет людей от беды.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. Война приближалась к городу. От Вани не было ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, несмотря на старость, добровольно вернулась к прежней работе: служила сестрой в госпитале. Так же, как все, она привыкла к черным самолетам, свисту бомб, звону стекла, всепроникающей пыли после взрывов, к темноте, когда ей приходилось ощупью кипятить в кухне чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили Карантин. Они молча обходили дома, быстро заглядывали во все углы, забирали муку, теплые вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый медный микроскоп. Все это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев; многих из них Варвара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голова. Варвара Яковлевна закрыла

в доме ставни и переселилась в сарайчик для дров. Там было холодно, но все же лучше, чем в разгромленных комнатах, где в окнах не осталось ни одного стекла.

Позади генуэзской стены немцы поставили тяжелую батарею. Орудия были наведены на море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. Часовые приплясывали в своих продувных шинелях, посматривали вокруг красными от ветра глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

Однажды зимним утром с тяжелым гулом налетели с моря советские самолеты. Немцы открыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпалась черепица. Огромными облаками вспухала над городом пыль, рывками зенитки, в стены швыряло оторванные ветки акаций. Кричали и метались солдаты в темных серых шинелях, свистели осколки, в тучах перебегали частые огни разрывов. А в порту в пакгаузах уже шумел огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первым взрывы, торопливо вышел в сад, протянул трясущиеся руки к самолетам — они мчались на бреющем полете над Карантином, — что-то закричал, и по его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика и тоже смотрела, вся захолодев, как огромные ревущие птицы кружили над городом и под ними на земле взрывались столбы желтого огня.

— Наши! — кричал Егор Петрович. — Это наши, Варвара Яковлевна! Да разве вы не видите? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас в море к тому месту, где он должен был упасть, помчались, роя воду и строча из пулеметов, немецкие катера.

Тяжелая немецкая батарея была сильно разбита, засыпана землей. На главной улице горел старинный дом с аркадами, где помещался немецкий штаб. В порту тонул, дымясь, румынский транспорт, зеленый и пятнистый, как лягушка. На улицах валялись убитые немцы.

После налета пробралась из города на Карантин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок-провизор.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около стены, заросшей диким виноградом, и бессмысленно стирал тряпкой белую пыль с листьев. Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, Егор Петрович все время их ломал.

— Что же это, Егор Петрович? — тихо спросила Варвара Яковлевна. — Значит, свои своих... До чего же мы дожили, Егор Петрович?

— Так и надо! — ответил Егор Петрович, и борода его затряслась. — Не приставайте ко мне. Я занят.

— Не верю я, что так надо, — ответила Варвара Яковлевна. — Не могу я понять, как это можно занести руку на свое, родное...

— А вы полагаете, им это было легко? Великий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть...

Егор Петрович долго молчал и вытирал листья.

— Господи, господи, — сказала Варвара Яковлевна, — что же это такое? Хоть бы вы мне объяснили, Егор Петрович.

Но Егор Петрович ничего объяснять не захотел. Он махнул рукой и ушел в дом.

Перед вечером по Карантинной улице прошли трое немецких солдат. Один нес пук листовок, другой — ведро с клейстером. Сзади плелся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб около дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к объявлению не подходил. Варвара Яковлевна подумала, что, должно быть, никто и не заметил, как немцы клеили эту листовку. Она нагнула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже стемнело, и если бы не узкая желтая полоска на западе среди разорванных туч, то Варвара Яковлевна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было напечатано:

«За срыванье — расстрел. От коменданта. Советские летчики произвели бомбардировку мирного населения, вызвав жертвы, пожары квартир и разрушения. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов. Германское командование решило поступить с этим варваром как с врагом обывателей и расстрелять его. Дабы жители имели возможность видеть большевика, который убивал их детей и разрушал имущество, завтра в семь часов утра его проведут по главной улице города. Германское командование уверено, что благонамеренные жители окажут презрение извергу.

Комендант города  
овер-лейтенант Зус».

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала листовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ничего не понимала, только перебирала дрожащими пальцами бахрому старенького серого платка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра убьют где-нибудь на грязном дворе, около полуманых грузовиков! Почему-то мысль, что его убьют обязательно во дворе, около грузовиков, где воняет бензином и земля лоснится от автала, все время приходила в голову, и Варвара Яковлевна никак не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она сорвала эту листовку со столба? Чего она испугалась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед своими. Она хотела скрыть листовку от Егора Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут убить и ее, Варвару Яковлевну, за то, что она сорвала этот липкий клочок бумаги. А свои? Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда не простят ей эту убитую женщину, и несчастного старичка-провизора, и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет, дома, где все знакомо — от облупившейся краски на перилах до ласточкиного гнезда под оконным карнизом. Ведь все знают, что Ваня — ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствовала на себе недобрые пристальные взгляды, слышала свистящий шепот в спину. Как она будет смотреть всем в глаза! Лучше бы Ваня убил ее, а не этих людей. А Егор Петрович еще говорил, что это — великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и спустилась в город. Ветер свистел, раздувая над улицами золу, пепел. В черной мрачности, во мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, а только притаилась, как воровка, в подворотнях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее возненавидят свои — все равно. Лишь бы увидеть Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом умереть.

Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя себе под ноги, и не замечала, что позади нее шел Егор Петрович. Не видела она и старого Спира, пробиравшегося туда же, на главную улицу, и веснушчатую рыбачку Пашу. Варвару Яковлевну не покидала надежда, что, может быть, никто не придет смотреть, как будут вести ее Ваню. Придет только она одна, и ничто не помешает ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озябшие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в глаза. Она не подымала голову, все ждала обидного окрика. Иначе она бы увидела, как переменялся ее родной город. Увидела бы трясущиеся головы людей, сухие волосы, глубокие морщины, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афишного столба, спряталась за ним, вся съехала, ждала. Обими руками она комкала старенькую шелковую сумочку, где, кроме носового платка и ключа от сарайчика, ничего не было.



На столбе висели ключья афиш. Они извещали о событиях как будто тысячетлетней давности — симфонии Шостаковича, гастролях чтеца Яхонтова.

Люди всё подходили молча и торопливо. Было так тихо, что даже до главной улицы доносились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и придвинулась к краю тротуара. Варвара Яковлевна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мостовую, она увидела в глубине улицы серые каски, стволы винтовок. Все это медленно приближалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

Варвара Яковлевна схватилась рукой за столб, подалась вперед, вытянула худенькую шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: «Только не кричите, не выдавайте себя!» Варвара Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала голос Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся толпу. Среди серых шинелей синел комбинезон летчика. Варвара Яковлевна видела мутно, неясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула носовой платок в сумочку и наконец увидела: позади коренастого немецкого офицера шел он, ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, но на его лице уже не было того выражения застенчивости, к которому Варвара Яковлевна так привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, сдерживая дыхание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней, а многие прижимали к глазам рукава.

А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался только ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед ней расступилась, несколько рук осторожно схватили ее, вытолкнули вперед на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что он знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими, отчаянными глазами.

— Прости меня, Ваня! — сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не заметила, как быстро и ласково взглянул на нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей: «Назад!» — и выругался, и не почувствовала, как Егор Петрович и старый Спири втащили ее обратно в толпу и толпа тотчас закрыла ее от немцев. Она только помнила потом, как Егор Петрович и Спири вели ее через пустыри по битой черепице, среди белого от извести чертополоха.

— Не надо, — бормотала Варвара Яковлевна. — Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите!

Но Егор Петрович и Спири крепко держали ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну в сарайчик, уложил на топчан, навалил на нее все, что было теплого, а Варвара Яковлевна дрожала так, что у нее стучали зубы, старалась стиснуть изо всех сил зубами уголок старенького серого платка, шептала: «Что же это такое, господи? Что же это?» — и из горла у нее иногда вырывался тонкий писк, какой часто вырывается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не помнила. Он был темный, бурный, сырой — такие зимние дни проходят быстро. Не то они были, не то их и вовсе не было. Все настойчивее гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на каменных мысах, швырялся полосами дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врзался тяжелый гром, завывли сирены и снаряды, загрохотали взрывы, эхо пулеметного огня застучало в горах. Егор Петрович



вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдаленным протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

— Наши!— кричал Егор Петрович, и желтый кадык на его шее ходил ходуном, Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И десант этот был возможен потому, что советские летчики разбомбили, уничтожили немецкие батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петрович. Сейчас он возился в кухне у Варвары Яковлевны, кипятил ей чай.

— Значит, и Ваня мой тоже?...— спросила Варвара Яковлевна, и голос ее сорвался.

— Ваня — святой человек,— сказал Егор Петрович.— Теперь в нашем городе все дети — ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая семья! Ведь это Ваня спас их от смерти.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и снова заплакала, но так тихо, что Егор Петрович ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна уснула.

Чайник на кухне кипел, постукивал крышкой. Среди низких туч пробилось солнце. Оно осветило пар, что бил из чайного носика, и тень от струи пара без конца улетала, струилась по белой стене голубоватым дымом и никак не могла улечься.

ТРИ СОЛДАТА

**В** августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Минаков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненая, он держал ее на перевязке. Он без просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы подвезти до госпиталя.

Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевого мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера.

Красноармеец был молод, лет двадцати пяти — семи на вид, с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем, и с ясными глазами. Должно быть, крепкая душа была у этого бойца, если и ранение, и долгая тягость войны еще не истомили его.

— Вы который раз ранены — первый? — спросил я у красноармейца.

— Четвертый, — улыбнулся Минаков. — Два осколка от мины во мне живут: один в шее, другой в бедре... А сам я за войну пятерых уложил да подранил несколько... Это — ничего!

Он считал свои раны вполне оправданными и свое положение, по сравнению с неприятелем, выгодным.

— В эту руку уж второй раз попадают! — сказал Минаков.

— Срастется? — спросил я.

— Ну конечно, срастется! — убедительно произнес Минаков. — Место уже битое, оно привыкло заживать... Через месяц опять дома буду — в своей части.

— Когда же вы из боя вышли?

— Да нынче... Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли...

— Какие потери были в вашем подразделении?

— Потерь в людях не было, товарищ капитан... Один я подранен да еще одного бойца оглушило. А немцев тоже там мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен живьем, — в «языках» нужда была.

— Что ж, у вас большой перевес был?

Минаков смутился и застеснялся чего-то.

— Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли... Воевали теперь с расчетом и умыслом, давно ведь уж воюем и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли...

Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаться, что его батальон истощился людьми — и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведенными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата, потому что та часть, в которой служил Минаков, с пятого июля, с первого часа немецкого наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою грудь, на свое оружие ураганное давление германской армии, измотала на себе силу и обескровила немцев и затем перешла в сокрушающее наступление, уничтожая вражескую оборону противника.

И все же Минаков, видимо, стеснялся того, что его батальон был сводным, а не состоял, как прежде, сплошь из своих, привыкших друг к другу кадровых бойцов.

- Упираются немцы?— спросил я у Минакова.
- Сила у них есть...
- Что ж они не стоят?
- Веры у них не стало. А без веры солдат как былинка,— он умереть еще может, а одолеть ему неприятеля уже трудно бывает... А что смерть без дела?
- Была же у них вера...
- Была, конечно. А теперь она об нас истерлась... Теперь томиться немцы стали.

Госпиталь помещался в разрушенном поселке. Минаков сказал, чтоб остановили машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтоб не задерживать нас, быстро отворил дверцу здоровой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель и пошел выздоравливать.

Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в то время был отведен на отдых во второй эшелон.

В этом батальоне среди прочих служили два человека: один был старослужащий, сорокалетний старший сержант Прохоров, в начале войны бывший рядовым, а другой был солдат Алеев, родом татарин, пришедший в армию полгода назад. В армии есть скучные, повторяющиеся, но необходимые дела — уход за оружием, содержание в порядке своей одежды и личных вещей, исполнение нарядов по охране и обслуживанию общевойскового добра и прочее. И сержант, и рядовой боец выполняли эту работу, однако, с удовольствием, с тихим рачительным усердием...

Я подумал, что они — люди обывательской мирной жизни и сражаются, должно быть, худо.

Это наблюдение и привлекло меня к ним. Рябой и сосредоточенный Прохоров, как я услышал, к тому же был и скупой человек, и скупость его имела уже как бы неразумное значение. Он мог, склонившись на дороге, поднять комок земли и кинуть его на поле, чтобы и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растаптываться без пользы в прах ногами. Поверх головок своих сапог он обувал лапти, чтобы сапоги не снашивались столь скоро и народ как можно дольше не беднел от войны, обувая своих солдат в дорогую кожу. Позже я увидел, что ошибся, и понял, что скупость ко всем предметам, составляющим достояние родины, есть постоянное скромное выражение страстной любви к ней.

Аккуратно исполнительный, Алеев любил чистить и смазывать винтовки и автоматы, и он мог даже производить им небольшой полевой ремонт. До войны Алеев работал в машинно-тракторной мастерской по плужному делу и прицепному инвентарю.

Я спросил у Алеева, что его интересует в жизни.

— Хлебопашество,— сказал Алеев.— Я хлеб в поле любил.

— А война? На войне хлеб не сеют...

— Война против фашистов — такое же святое дело, как хлебопашество,— ответил Алеев.— Зачем будет хлеб, когда народ от немца помрет? Кто будет кушать?

Я не понял Алеева.

— На войне и погибают люди. Может, и ты и я погибнем...

— Может,— согласился Алеев.— Зато в тылу народ целым останется. Ты считай сам, я убью десять немцев, а они убили бы тысячу нашего народа, если б жить стали и по нашей земле пошли. Ты считай, сколько я людей уберегу! А сам помру — не жалко, от меня польза останется. Опять хлебопашество будет, народ рожать будет,— лучше меня будут люди.

И с терпеливым усердием Алеев склонился над своей работой: он сейчас ремонтировал расстроенный, изработавшийся автомат, причем работал он с тем же удовольствием, с каким в былое время настраивал плужную систему для трактора.

Через два дня батальон, отдышавшись в ближнем тылу, был перемещен в первый эшелон и вступил в дело.

Прохоров, Алеев и младший лейтенант Сухих назначены были идти в ближнюю разведку. Им дали задачу — разведать дорогу в дебрях минных полей на подходах к укрепленному рубежу противника. Нужно было пройти небольшое расстояние, однако пройти его следовало ночью, на ощупь, пересчитав и высмотрев каждую былинку.

Но в ту же ночь немцы, предчувствуя наш удар, открыли огонь по нашей стороне, а затем пустили свои танки в атаку. Машины врага были встречены нашим пушечным и бронебойным огнем. Сухих, Прохоров и Алеев остались одни, как сироты, в промежуточном поле, накрываемом нашим огнем. Кроме отсветов от разрывов, поле осветилось ракетами, посланными сюда нашими войсками. Сухих, Прохоров и Алеев вжались в землю, но это их положение было малополезным для боя и не обещало им самим надежного спасения. Алеев, полежав немного, сказал на ухо младшему лейтенанту Сухих:

— Так лежать — я буду изменник, давай воевать...

— Сейчас, — ответил Сухих; он следил, как, маневрируя среди собственного минного поля, проходят немецкие танки, и старался запомнить безопасные проходы.

Под светом ракеты Алеев ясно увидел заблестевшие взрыватели трех противотанковых мин.

— Прохоров, — сказал Алеев, — товарищ сержант... Бояться будем, умрем нехорошо...

Два танка с тяжелой стремительностью прошли мимо троих наших солдат.

— Нам чужого добра не жалко! — крикнул Прохоров.

Он подполз к одной мине и стал отрывать ее. Алеев догадался, в чем был смысл работы Прохорова, и подполз к соседней мине. Отрывши ее, он сказал Прохорову, чтобы сержант положил обе мины — свою и его — ему на спину, а он повезет, ползя на животе, куда нужно. Прохоров погрузил мины на Алеева и пополз с ним рядом, следя, чтобы груз лежал в покое...

С немецкого рубежа вышла новая группа танков; теперь уже оттуда шло много машин, и за ними должна быть пехота.

— Уходи! — сказал Алеев Прохорову. — А я мало побуду здесь.

Они выбрались на чистый проход, по которому до того прошли танки.

Алеев лежал ничком с минами на спине, задумав сгрузить с себя мины, когда первый же танк подойдет поближе и ясно станет его направлением.

— Нет! — крикнул Прохоров. — Риск — не расчет! Ты нам тоже не дешевый — живи!.. Соображай за мной!

К ним подполз Сухих.

— Сгружайте мины здесь! — приказал офицер. — Потом — давай сразу в сторону!

Сгрузив мины на грунт, все трое отползли подальше.

Они увидели, как засветился во мгновенном взрыве немецкий танк и даже приподнялся над землей, точно хотел взлететь; затем добавочно сверкнул из отверстий корпуса внутренний взрыв, и весь танк изувечился.

Сухих вскочил и крикнул:

— Давай за мной вперед на врага!

Все трое залезли в развалину танка, где все-таки было безопасней, чем в чистом поле. Прохоров сейчас же озаботился, чтобы не было у них за броней ничего постороннего и ненужного: он высадил наружу через отверстие люка трупы танкистов, а затем хотел спустить от греха горячее из бака, но бак был уже сплюснут и пуст.

Освоившись и разобравшись немного в стальной теснине корпуса, сжатого увечьем, трое людей опять стали слышать битву.

Танки неприятеля прошли мимо них по полю, озаренному светом ракет, и за ними мчалась пехота, припадая к земле от света и разрывов и снова стремясь вперед.

— Сечь их! — крикнул младший лейтенант Сухих и ударил из автомата по пехотинцам, бегущим вслед машинам.



Прохоров и Алеев также пустили в дело свои автоматы, и ближние немцы стали припадать к охлажденной земле, уже орошенной ночной росой.

— Живее бей! — ускорял огонь Сухих. — Спускай им душу в дырку через сердце.

Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. Немцы, умирая возле своего мертвого танка, не успевали понять источника своей гибели.

Сухих стрелял непрерывно: он мало верил, что удастся дожить до рассвета, и не хотел, чтобы бесполезно остался при нем боезапас.

Постепенно бой ушел за танками в сторону, и тогда трое русских солдат опомнились и передохнули.

— Ничего, — сказал Сухих.

— Ничего, — согласились с ним Прохоров и Алеев.

На них тихо, без стрельбы, надвинулся из тьмы немецкий танк и остановился у буксирного крюка подбитой машины.

— За своим добром приехали, — сказал Прохоров. — Это правильно.

Крышка люка прибывшего танка открылась, и из машины вылезли два немца.

Алеев хотел посечь немцев огнем, но Сухих не велел ему.

— У них пушка в машине и пушкарь внутри сидит, — сказал офицер. — Нам толку не будет.

Сцепив танки тросами, немцы подобрали трупы своих танкистов и положили их на броню здорового танка-тягача. Потом они вернулись и полезли через люк внутрь увечной машины, но здесь они остались молчать замертво в руках советских солдат.

Сцепленный танк-тягач теперь стоял близко, и пушка его была не опасна на такой дистанции. Живые немцы в здоровом танке обождали немного своих товарищей, а затем потянули больной танк в свою сторону. Пройдя небольшое расстояние, танк-тягач остановился, потому что трупы свалились с его брони на землю. Теперь ракет уже давно не было в небе и было темно, но советские солдаты прищурившись глазами ко мраку и чутко следили, что будет далее впереди них. Двое немцев показались сверху из тягача и прыгнули вниз. Они вновь подняли своих мертвых с земли и положили их обратно на машину — как было. Затем один из них, недовольно бормоча, пошел к больному танку.

— Кончай! — сказал Сухих; он сам дал краткую очередь, и враги пали мертвыми.

Прохоров и Алеев бросились к здоровому танку и забрались в него.

Но гром боя опять стал возвращаться сюда, на прежнее место. Наши части контратаковали неприятеля и повернули его обратно, откуда он вышел. Немецкая колонна танков шла теперь назад, расстроенная, словно щербатая: из нее выбили много машин, и они омертвели на поле сражения. Прохоров и Алеев, равно и Сухих, остерегаясь огня, остались сидеть за броней немецких танков, полагая, что красноармейцы разглядят, в чем тут дело, и не станут тратить прицельного огня по умолкшим машинам. Сухих сидел один с двумя мертвыми немцами, а Прохоров и Алеев были вдвоем в здоровой машине.

На рассвете в здоровый немецкий танк влез для проверки механизма советский танкист и, дав мотору обороты, повел всю сцепленную систему в русскую сторону.

На русской стороне мы вновь встретились с Прохоровым, Алеевым и офицером Сухих. Алеев явился в штаб части с ребенком на руках, цыганским мальчиком лет восьми на вид. А Прохоров тоже был не пустой: он принес мешочек семян многолетнего клевера.

Цыганского мальчика они обнаружили внутри немецкого танка. Напуганный ребенок не мог объяснить, зачем его взяли в машину, а немцы, что были с ним, все теперь умерли, и спросить было не у кого. Может быть, немцы возили ребенка с собой как амулет, как заклятие против своей смерти. А может быть, тут был расчет: дескать, когда погибнем мы, погибнешь и ты, маленький грустный звереныш,

и нам легче оттого, что и тебя после нас не будет на свете. Для человека смерть красна на миру, потому что мир по нем тоскует; для немца смерть красна, когда и мир или хоть малая живая доля его погибает вместе с ним.

Прохоров нашел мешочек с семенами внутри танка, в вещевом ящике, и решил взять его на родину в хозяйство, потому что поля войны зарастают жестким бурьяном, с листьями, как железная стружка, несъедобными для скотины, а в мешке все же были семена сладкого клевера.

Сухих отобрал цыганского мальчика от Алеева к себе на руки, осмотрел и освидетельствовал подробно тело ребенка — все ли оно было цело и невредимо после сражения — и сказал красноармейцу:

— Это хороший мальчуган: он весь теплый и живой!

## РЕДУТ ТАРАКУЛЯ

**М**ы долго шли по северной окраине Сталинграда, то и дело отвечая тихо возникавшим на нашем пути часовым заветным словечком пароля. Пробирались изрытыми задворками, поломанными садами, карабкались через кирпичные баррикады, пролезали сквозь закоптелые развалины домов, в которых для безопасности передвижения были пробиты в стенах ходы, подвернув полы шинелей, стремглав пробегали улицы и открытые места.

Наконец лейтенант Шохенко зашел под прикрытие стены, перекинул ремень автомата с плеча на плечо и, переведя дух, сказал:

— Вот и дошли. Туточка. От-то у нас в дивизии хлопцы и клычут редут Таракуля.

Он показал бесформенную груду битого кирпича и балок, возвышавшуюся на месте, где когда-то, судя по ее очертаниям, стоял небольшой приземистый особняк прочной купеческой стройки.

Происходило это в глухой час беспокойной фронтовой ночи, в ту минуту перед рассветом, когда даже тут, в Сталинграде, наставала тишина и холодный осколок луны, вонзавшийся в темное небо, серебрил седые облака низко осевшего тумана и выступавшие из него пустые коробки когда-то больших и красивых домов. Все кругом — и подрубленные снарядами телеграфные столбы с бессильно болтающимися кудрями оборванных проводов, и чудом уцелевшая на углу кокетливая нарзанная будка, вкривь и вкось прошитая пулями, и камни руин, — все солонисто сверкало, покрытое крупным седым инеем.

Мостовая была сплошь исковеркана и вспахана разрывами снарядов и мин. Россыпи стреляных гильз звенели под ногами то тут, то там. Просторные воронки авиабомб, заиндевшие по краям, напоминали лунные кратеры. На ветвях израненного тополя чернели ключья чьей-то шинели. Все говорило о том, что место это совсем недавно было ареной долгой и яростной схватки и центром ее был этот совершенно разрушенный дом.

— Редут Таракуля, — повторил лейтенант Шохенко, которому, видимо, очень нравилось звучное название, и, нагнувшись, показав на прямоугольные отдушины в массивном, хорошо сохранившемся каменном фундаменте, пояснил: — А то амбразуры. Подывиться, який вэлький сэктор обстрила на обе улицы. От скриз них и держали воны наступ целого нимэцкого батальона. Вдвоем — батальон. Вдво-о-о-ем!

В голосе лейтенанта, человека бывалого и, по-видимому, отнюдь не склонного к восторженности, слышалось настоящее восхищение мастера и знатока. И мне живо вспомнилась во всех подробностях история этого дома-редута, слышанная мной в те дни в Сталинграде от разных людей, удивительная история, в которой, как солнце в капле воды, отразились величие и трагизм битвы.

Бойцы-пулеметчики Юрко Таракуль и Михаил Начинкин, оба переплывшие со своим пулеметным взводом Волгу уже полтора месяца назад и, стало быть, имевшие право считать себя здешними ветеранами, получили приказ организовать пулеметные точки в этом особнячке, на перекрестках двух окраинных улиц. Особняк несколько выдавался перед нашими позициями и мог послужить хорошим, прочным авангардным дотом. Центр боя в те дни перекинулся западнее, к Трактор-

ному заводу. Удара здесь не ждали, и сооружение пулеметных точек было лишь одной из мер военной предосторожности.

Получив приказ, Начинкин, спокойный, неторопливый, как и все металлисты по профессии, и маленький, подвижной, постоянно что-нибудь насвистывавший, напевавший, а то и приплясывавший при этом молдаванин Таракуль добрались до дома и обстоятельно его осмотрели. Им, давно оторванным от мирной жизни, позабывшим запахи жилья, было радостно-грустно ходить по пустым, хорошо обставленным комнатам, слушая эхо своих шагов, рассматривая уже забывавшиеся предметы мирного быта, по которым в свободную минуту всегда так тоскуется на войне. И хотя дом этот, очутившийся на передовой, был обречен на пожар или разрушение, они почему-то аккуратно вытерли о половичок ноги, перед тем как войти в квартиру, и двигались осторожно, точно боясь запачкать полы, покрытые мохнатыми коврами пыли.

Для пулеметных гнезд облюбовали угловые комнаты: отсюда из окон можно было следить за всем, что происходило на скрещивающихся улицах, ведущих к неприятельским позициям. Одна из этих комнат была столовой. Они вытащили из нее обеденный стол, диван, стулья, осторожно отодвинули в сторону звенящих посудой тяжелый буфет и принялись разбирать печь, чтобы кирпичом ее заложить окна и сделать в них амбразуры. На пути к Сталинграду они немало уже повоевали. Организация пулеметных гнезд была для них делом не новым.

Силач Начинкин, работавший до войны токарем на Минском машиностроительном заводе, старался не очень следить за паркетными полами и потому ходил на цыпочках, выламывая и огромными охапками поднося кирпич. Его напарник, насвистывавшая песенку, ловко укладывал в окне кирпичи «елочкой», чтобы прочнее держались.

Бой гремел поодаль. Хрустальная люстра, отзываясь на каждый выстрел, мелодично звенела подвесками. Звенела от глухих выстрелов посуда в буфете да дверь слегка открывалась и закрывалась, когда где-то бомбардировщики опорожняли свои кассеты. Но все это не беспокоило бойцов, как не беспокоит горожанина лязг и скрежет трамвая под его окном, а сельского жителя — мычанье коровы или верещанье кузнециков в траве его усадьбы.

Они делали свое дело, лишь изредка, по военной привычке, высовываясь из окон и осматриваясь. Мало разрушенные улицы были пустынные, точно вымерли.

Первая амбразура была уже готова. Установив в ней пулемет и подтащив ящики с патронами, солдаты принялись за вторую, в соседней комнате. Но, притащив очередную охапку кирпича, Начинкин вдруг увидел, что Таракуль не работает, а прильнул к пулеметному приделу и, весь напрягшись, смотрит через него на улицу. «Немцы!» — догадался Начинкин. Он осторожно положил кирпич на пол и выглянул из-за незаконченной кладки во второе окно.

Пятеро чужих солдат с автоматами, озираясь и прижимаясь к стене, крались вдоль улицы по направлению к особняку. Начинкин схватил было стоявшую в углу винтовку, но Таракуль вырвал ее у него из рук.

— Не спугивай — разведка. За ними еще будут. Подпустим, а потом сразу... — шепотом сказал он и прикинул к пулемету.

Начинкин, стараясь ступать как можно неслышней и даже сдерживая учащенное дыхание, быстро установил свой пулемет в незаконченной амбразуре соседней комнаты и стопкой положил заряженные диски.

Наверное, в любой другой точке гигантского фронта, очутившись в такой обстановке, двое солдат, оторванных от своей части, немедленно отошли бы на свои позиции, тем более что никто не приказывал им защищать этот дом. Но дело было в Сталинграде, в разгар великой битвы, и этим двоим как-то даже в голову не пришло отступить. Они легли у пулеметов, подщелкнули диски и стали наблюдать.

Не дойдя до угла, немцы посовещались, осмотрели перекресток. Один из них тихонько свистнул и махнул рукой. На улице показались автоматчики — человек тридцать. Так же крадучись, и этим двоим как-то даже в голову не пришло отступить. Со стороны дома они представляли удобную мишень. Пулеметчики слышали, как шуршит битая штукатурка под ногами неприятелей, как раздаются



чужие, звучащие почему-то зловеще, слова непонятной речи. Вот немцы снова вы-  
слали вперед разведчиков, и те вперебежку бросились к дому.

Две короткие очереди распороли воздух. Потом еще две. Несколько немцев  
упало, остальные побежали, не понимая, откуда стреляют. Отбежав, они остано-  
вились и точно растаяли в развалинах.

— ЕСТЬ! — победно крикнул Таракуль, сверкая желтыми белками горячих  
цыганских глаз.

В припадке радости он даже вскочил и отбил по паркету лихую чечетку. Начинкин только покачал головой и молча показал ему на остов большого камен-  
ного дома напротив, отлично видимый сквозь амбразуру. Не трудно было разли-  
чить в темных провалах окон осторожно суетившиеся фигуры. Вскоре, одновремен-  
но с двух улиц, к перекрестку мелкими перебежками, прижимаясь к подворотням,  
к воронкам, скрываясь за телеграфными столбами, хлынули чужие солдаты. Они  
подходили к дому сразу с двух сторон.

Таракуль оторопел. Их было много, и, что особенно ему показалось тогда  
жутким, они были не только перед ним, как он привык их видеть тут, в боях в городе.  
Они были с боков, заходили сзади. Первое, что захотелось сделать бойцу, — это  
бежать, бежать как можно скорее, бежать к своим. Пока еще не поздно, вырвать-  
ся из этого суживающегося полукольца, спастись и спасти свое оружие. Но он  
увидел, что его напарник деловито переносит пулемет в соседнюю комнату, и  
понял, что тот хочет прикрыть фланг. Спокойный поступок товарища сразу привел  
его в себя.

Преодолевая этот охвативший его инстинктивный страх, Таракуль припал к  
пулеметному прицелу и стал короткими очередями стрелять по тем, что пытались пе-  
ребежать дорогу. Те, что засели в развалинах напротив, открыли стрельбу. Но за  
кирпичной кладкой Таракуль чувствовал себя почти неуязвимым. И оттого, что пу-  
ли, поднимая известковые облачка, отлетали, рикошета со злым визгом, не при-  
нося ему вреда, страх его прошел и, как это бывает в острые моменты на фронте,  
сменился чувством уверенности, даже спокойствия. Когда немцы — много нем-  
цев там, на улицах — побежали назад, перепрыгивая через убитых, обходя своих  
раненых, побежали, подгоняемые паникой, преследуемые огнем его пулемета, он  
испытал даже радость: ага, не нравится! Теперь Таракуль уже хладнокровно и  
расчетливо бил им вслед... И всякий раз, когда серая фигурка, точно споткнувшись,  
падала на землю, он выкрикивал:

— ЕСТЬ! Гутен морген!

А в соседней комнате работал, именно работал, пулемет Начинкина. Бывший  
токарь, верный своему непоколебимому хладнокровию, умел даже в острое боевое де-  
ло вносить элемент расчета. Он стрелял экономно, очередями патрона по три, по пять  
и то только тогда, когда в прицеле мельтешило несколько фигурок. Он первым от-  
бил атаку на улице, на которую была обращена его амбразура. С винтовкой при-  
шел он на помощь товарищу и, устроившись рядом с ним, так же тщательно прице-  
ливаясь, начал стрелять по тем, кто сидел в доме напротив. Оттуда отвечали из ав-  
томатов. Пули клевали штукатурку. Комната наполнилась известковой пылью. Пу-  
леметчики прилегли на пол. Потом стрельба стихла.

— Ну, действуй тут, — сказал Начинкин и пополз к своему пулемету.

Когда атака была отбита и настала тишина, Таракуль, в свою очередь, на-  
вестил приятеля. Теперь он осознал свою силу и от избытка этой силы, желая чем-то  
выразить радость, распиравшую его грудь, звонко хлопнул Начинкина по спине. Тот  
сердито отбросил его руку. Он свертывал сигарку, и Таракуль заметил, что человек  
этот, который еще недавно подбодрил его своей деловитостью, хладнокровием,  
сейчас бледен, и пальцы у него дрожат, табак сыплется на колени.

— Видал! Видал, как они!.. Как мы их!

— Чего ты радуешься, думаешь, отошли и все... Еще придут... — И вдруг  
спросил: — А ты женатый? Дети есть?

— Холостой, — отвечал Таракуль, не расслышав даже как следует вопроса. —  
Как они драпанули!

— А я женатый... четверо у меня ребятишек-то... Ну, чего здесь сидишь? Давай, давай к пулемету!

И они снова расползли по комнатам, каждый к своей амбразуре.

Слова Начинкина сбылись. Действительно, бой только начинался. Через час неприятель предпринял еще одну вылазку, потом две короткие, напористые — одну за другой. Пулеметчики вылазки отбили. Они действовали все сноровистее, и мечта продержаться вдвоем до того, пока на завязавшуюся перестрелку подоспеют подкрепления, не покидала их. Позиция была удобная, с положением они освоились, если вообще человек может освоиться с таким положением. Все больше и больше серых фигур, похожих на брошенные кем-то узлы старой одежды, оставались лежать в нейтральной полосе, на пустынной мостовой, поросшей травкой, уже поухлой от утренних морозов.

Убедившись, что атакой дом не взять, немцы подтянули минометы. Из сада, что был напротив, они стали бросать мины по дому. С десяток их разорвалось в верхнем этаже. Все там было разрушено, переворочено, расщеплено, перемешано с обломками штукатурки. Но когда снова бросились в атаку, опять заработали два пулемета, и две смертоносные завесы преградили атакующим путь. Пулеметчики переждали обстрел в узенькой ванной комнате и, как только разрывы смолкли, через развалины подползли к своим амбразурам.

Трудно сказать, что думал о них неприятель. Померещилось ли ему, что они имеют дело с целым гарнизоном или что наткнулись на замаскированный дот, или просто упорство его защитников сломало наступательный дух, — трудно сказать. Но они отказались от попыток прорваться к дому атакой. Подвезли три орудия и стали обстреливать дом прямой наводкой.

После каждого выстрела Таракуль кричал приятелю в соседнюю комнату:

— Я жив, а ты?

И тот спокойно и брюзгливо, словно отмахиваясь от комара, отвечал:

— А мне что сделается!

Но после одного, особенно гулкого разрыва, встряхнувшего весь дом и наполнившего его душным облаком известковой пыли, Начинкин не ответил товарищу. Таракуль бросился к нему. Среди обломков мебели, штукатурки, кирпича, разбросав раненые ноги, лежал грузный пулеметчик. Он пытался подняться, но не мог и все падал назад, широко раскрыв рот, точно даваясь воздухом.

— Ранен, — сквозь зубы процедил он.

«Что же делать?» — пронеслось в мозгу Таракуля. Выходит, остался один. Бежать? А тот, раненный? А пулеметы? Да и как убежишь с таким верзилкой на плечах?! Мозг работал быстро, точно, как всегда в минуты надвинувшейся смертельной опасности. В следующее мгновение Таракуль уже волочил друга вниз, в подвал, куда они еще вначале снесли ящики с патронами, как выразился хозяйственный Начинкин, «на всякий случай». Сюда же перетащил Таракуль пулеметы, диски. Он установил пулеметы в том же порядке, как и наверху, высунув стволы в прямоугольные узких, продолговатых отдушин.

Сектор обстрела теперь стал меньше, но зато массивные своды старинного купеческого подвала надежнее прикрывали. Когда все было сделано, Таракуль почувствовал страшную усталость. Он лег на пол и некоторое время лежал неподвижно, прижимаясь разгоряченным лбом к холодному камню.

В это время раздался нарастающий вой самолета, глухие взрывы, от которых все здание подпрыгнуло, и страшный треск над головой. Это рванула серия авиабомб. Немцы вызвали на помощь пикировщики, и взрывная волна обрушила дом. Груды кирпича, щебня завалили подполье, но массивные своды подвала выдержали.

Таракуль и его раненый товарищ остались живы, оглушенные, контуженные, погребенные под обломками, отрезанные от мира. Придя в себя, Таракуль осмотрелся и обошел подвал.

— Могила, — сказал он глухо, обращаясь к товарищу, который с закрытыми глазами лежал прислоненный спиной к стене.

Начинкин открыл глаза.

— Дот,— ответил он, посмотрел на одну амбразуру, на другую и добавил:— Да еще какой дот-то, только вот гарнизон маловат, полтора бойца.

При всей безвыходности положения, в котором они очутились, у них теперь было одно преимущество: они могли не опасаться нападения с тыла. Груда развалин надежно закрывала их от снарядов. Разве только прямое попадание авиабомбы грозило им. А кто из бывалых солдат боится прямого попадания!

Юрко Таракуля обуяла жажда деятельности. Он получше установил пулеметы в амбразурах, поставил под ними ящики, чтобы можно было сидеть. Ящик с патронами волоком подтащил к раненому товарищу, который вызвался заряжать диски. Сам же Таракуль, бегая от одной амбразуры к другой, следил за тем, что делается на улице.

Должно быть, сильно поразили они немцев своим упорством. Еще долго после того, как дом был разбит авиацией, не решались они к нему приблизиться. Когда же наконец снова поднялись в атаку, их встретил огонь все тех же пулеметов, упрямо бивших теперь откуда-то из-под развалин...

Стреляли Таракуль и его раненый товарищ. Но раненый, хотя и слыл в роте человеком железным, быстро слабел и, лишаясь сознания, бессильно оседал у амбразуры. Тогда Таракуль бегал от одного пулемета к другому и простреливал обе улицы, то одну, то другую. В сыром и холодном подвале ему было жарко. Он сбросил шинель, потом гимнастерку, потом рубашку и, по поясу голый, с черным от пороховой гари и пыли, изможденным лицом, на котором по-негритянски сверкали глаза и зубы, с мокрыми свалявшимися кудрями, отстреливался бешено и самозабвенно, пока Начинкин приходил в себя и, держась за стену, поднимался к пулемету.

Два дня мерялись силами два советских бойца, похороненные под развалинами, и целое немецкое подразделение, снова и снова пытавшееся наступать на бесформенную груду кирпича и штукатурки, превращенную солдатской волей в крепостной бастион. Разрушенный дом костью в горле врезался в немецкую позицию. А может быть, обладание этими развалинами стало для противника делом престижа.

Все труднее и труднее было гарнизону дома. Уже больше суток прошло с тех пор, как по-братски разделен последний сухарь, отыскавшийся в вешевом мешке запасливого Начинкина, доели заплесневелые булки, найденные ранее в буфете и захваченные на всякий случай с собой в подвал. Не было воды. По ночам они слизывали языком иней, оседавший на камнях подвала. Давно была докурена последняя щепотка табаку, вытряхнутая из уголков карманов. И, что всего хуже, на исходе были патроны.

— Вызовут танки, вот тогда плохо будет,— сказал Начинкин, когда они, вскрыв цинку с патронами, снова набили опустевшие диски.

Начинкин был совсем слаб. Тугая пружина дискового механизма все время выскальзывала из его рук.

— Что ж, пропадать — так с музыкой! — ответил Таракуль, сверкая своими желтыми белками.

Он тоже слабел от голода и недосыпания, но еще держался и только иногда, чтобы сэкономить энергию, на целые часы замирал, точно каменел, у амбразур так, что в эти минуты казалось: живут у него только глаза и уши.

— У тебя в голове все музыка. Не с музыкой, а с толком. Что без толку-то шуметь, кому она нужна, такая музыка! Жизнь-то человеку, чай, одна отпущена!

Начинкин не переставал трудиться над зарядкой дисков. Иногда, в горячую минуту, он даже ухитрялся с помощью друга подниматься к пулемету, садиться на ящик в нужную минуту и стрелять. Но мысль о смерти все чаще приходила ему на ум. И ему хотелось сказать товарищу, этому молодому молдавскому виноградарю, с которым судьба свела его, что-то большое, значительное, мудрое, что созрело в такие минуты в его душе и что никак, ну никак не хотело складываться в слова.

— Человек не должен умереть, пока он не сделал все, понимаешь? Все,



что мог... Как есть все,— сказал он наконец, мучаясь нехваткой слов и опасаясь, что друг не поймет его.

Он заставил Юрко затвердить адрес его семьи и фамилию доброго знакомого, директора того завода, на котором он работал перед войной. Он взял с него слово, что, ежели тот вернется с войны, обязательно разыщет его семью и расскажет жене об этих вот часах, что найдет он и директора и поведаст ему о том, как погиб в Сталинграде минский токарь.

С этим директором у Начинкина были какие-то сложные отношения. Они были когда-то чуть ли не друзьями, но в первые дни войны, когда завод эвакуировался на восток, токарь отказался ехать с заводом. Он заявил, что останется и будет защищать город. Вот тут-то директор и сказал ему что-то такое обидное, чего Начинкин никак не мог ни забыть, ни простить. Повесть очевидца о том, как сражался солдат Начинкин, должна была посрамить директора и опровергнуть его обидные слова.

Но — как истые бойцы — о смерти они между собой не говорили, даже слова этого избегали, и все больше гадали о том, когда и откуда ждать им выручки.

А в выручку они верили, несмотря ни на что.

И действительно, теперь, когда из-за нехватки патронов слабели во время атак голоса их пулеметов, сзади дружно бухали минометы, и черный густой забор частых разрывов вырастал перед домом, как бы преграждая врагу путь к нему.

Голодные, изнывающие от жажды, измотанные бессонницей, они слушали этот близкий и грубый гром, как голос друзей, обещавший поддержку. Он, этот грохот, точно связывал их со своими, от которых их отделяла гора навалившегося щебня и десятки метров смертоносного пространства ничейной земли.

На третью ночь под самое утро случилось диковинное. Таракулю, дремавшему с открытыми глазами у амбразуры, послышался вдруг странный человеческий голос. Подумав, что бредит, он приложил лоб к холодному, заиндевевшему камню, слизнул иней, отдававший плесенью. Нет, это не обман слуха: голос действительно звучал. Юрко взглянул на товарища. Начинкин спал, держа в одной руке диск, в другой — горстку патронов.

Нет, говорят, действительно говорят... Картонный, какой-то нечеловеческий голос упрямо долдонил знакомые русские и вместе с тем малопонятные, чужие слова: что-то о хлебе, мясе, масле. Таракулю стало страшно. Он растолкал спящего товарища. Начинкин прислушался. Тень улыбки коснулась его почерневших, запавших губ.

— Фрицы! Это они нам с тобой кричат, нас агитируют.

— Стафайтесь... Фам путет отшень каршо кушайт! — выкрикивал картонный голос из предрассветной тьмы.

— Куском хлеба купить хотят. И где? В этом городе... Дубье! — тихо сказал Начинкин. — Гляди, что фашизм с человеком сделал. Выше своего брюха уже и подняться не могут. А ведь разумными людьми были, вон дизель они изобрели.

Когда отхлынул страх непонятного, Таракулю почувствовал прилив неудержимого бешенства. Он прилег к пулемету и пустил на голос длиннейшую очередь. Он стрелял, пока не выскочил на каменный пол и не прозвенел в наступившей тишине последний патрон.

Вспоминая потом о днях этого невиданного поединка, Юрко Таракулю никак не мог точно сказать, сколько времени они обороняли дом. О последнем дне он вообще ничего не мог вспомнить, кроме того, что стреляли из обоих пулеметов на шум и на шорох, не видя перед собой ничего, кроме перекрещивающихся улиц, не думая ни о чем, кроме того, что нужно во что бы то ни стало удержаться. Только эта мысль отчетливо и жила в его затуманенном сознании.

Они держались до тех пор, пока где-то вдали не услышали сквозь частую стрельбу «ура», которое приближалось и нарастало, пока по обломкам тротуара не застучали тяжелые шаги наступавшей пехоты и в амбразурах отдушин не замелькали неуклюжие милые кирпичные сапоги.



Тогда он бросил пулемет, стал трясти совсем ослабевшего друга и кричал только одно слово:

— Наши, наши!

Свежий, подтянутый из резерва полк, ночью переправившийся через Волгу, отжал немцев, очистил перекресток и смежную улицу. Бойцы из взвода лейтенанта Шохенко подбежали к разрушенному дому. Из амбразур до них донеслись слабые голоса. Пришлось вызвать саперов, долго разгребать и даже подрывать камни, чтобы извлечь Начинкина и Таракуля. Кто-то, кажется саперный начальник, руководивший этими раскопками, шутя назвал развалины особняка «редутом Таракуля». С легкой руки название это так и прижилось, было перенесено на военный план.

...И вот наконец собственными глазами удалось мне осмотреть это необыкновенное место. Мы засветили фонарики и сквозь пробитую саперами брешь спустились в подвал. Синеватый свет луны сверкающими косыми брусками просачивался в амбразуры и белыми пятнами расплывался по полу среди густой россыпи стреляных, уже позеленевших гильз. В углу валялись окровавленные бинты. Тут, должно быть, лежал Михаил Начинкин. Сквозь амбразуры отчетливо виднелись на аспидно-черном фоне неба посеребренные инеем обломки стен, напоминавшие театральные декорации. Над ними остро и холодно сверкали звезды. Тяжело покачивалось над землей зарево пожара.

Когда глаз привык к полутьме подвала, стала различима надпись, сделанная на серой, покрытой крупитчатым инеем стене. Лейтенант осветил ее фонариком. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть».

— Це наш комиссар написав,— сказал лейтенант; он прочел вслух:— «Выстояв, они победили смерть».

— Страшно им, наверное, было в такую вот ночь вдвоем перед лицом врага.

— Страшно? Не тэ слово. Такэ слово тут мы забулы... От одиноко — да,— сказал Шохенко,— одиноко — то погано, дужэ погано на виини. А що до страху, такого слова в циим мисти нэмае.

И мне захотелось для тех, кто много поколений спустя будет изучать эпопею обороны города, где было позабыто слово «страх», как можно подробнее записать историю этого обычного сталинградского дома, записать такой, какой слышал ее от лейтенанта Шохенко, от Таракуля, от Михаила Начинкина, которого я разыскал за рекой в палатке медсанбата, и от их боевых друзей.

(1915—1979)

## ПЕХОТИНЦЫ

**Ш**ел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было и мокро, однако не так уж холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли?— спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начинает,— сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести.— А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты старший лейтенант Савин, он с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три, и надо опять его настигнуть. Савин обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник,— говорил он,— должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да лопатку, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.

— Ишь какое лето паскудное!— сказал Юдин Савельеву.

— Да,— согласился Савельев.— Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще доводить надо,— возразил Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак

нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают,— сказал Савельев.

— Да,— согласился Юдин.— А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может,— сказал Савельев.— Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под земли высывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят,— и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев оказался прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого врага. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилometре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы по приказанию старшего лейтенанта Савина развернулись редкой цепью.

Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. Наверное, вот-вот перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевого мешок оттягивал Савельеву плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.

Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебежали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переметный, то минометный, то пулеметный, огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут начали рыть немцы, а потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по

команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии, — ответил Юдин. — Этого, маленького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так чтобы очень, а из строя выбыл.

В это время над их головами прошли снаряды «катюш», и сразу холмы, на которых засели немцы, заволочили сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.

Савельев с сожалением поглядел на мокрый окоп и сдвинул с шеи ремень автомата. Несколько минут он, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего метров двести, а то и меньше, оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударят прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.

Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щечкой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полтораста, стоят наши легкие пушки и прямо с открытого поля бьют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, лежавший через четыре человека слева от него, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, хватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец, но знал, что если спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — мокрую от дождя гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом; и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец,



появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые сверкающие глаза.

— Убитый?— спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего.

Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.

— Вставай! Вставай, ты! Хенде ниht,— сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял его за шиворот одной рукой и поставил в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту,— приказал Егорычев,— а я пойду,— и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия «катюш».

Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга разметаны в траншею и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

«Наверное, хотел спрыгнуть, да не успел»,— подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не поспевают»,— с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте,— сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый Савельеву автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток,— обратился к нему Савельев.

— Сержант!— окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика.— Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдин, товарищ старшина?— спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и все, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый».

Егорычев указал Савельеву место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то,— сказал Егорычев, занимавшийся рядом установкой пулемета.— Как их «катюшами» накрыло, видал?

— Видал.

— Как «катюшами» накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их!— повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-

удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенное восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе «kozyрек», как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин?— обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть,— весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете?— обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай,— согласился Егорычев.

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой взметнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи пожалуйста!— удивился Егорычев.— Махорку-то не просыпали?

— Нет, не просыпали, товарищ старшина!— отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать сигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку; он думал, что осталось на две завертки, а теперь выходило, что остается только на одну.

Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали прямо в окоп, в стоявшую на дне воду.

— Наверное, заранее пристрелялись,— сказал Егорычев.— Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом окопе, близко, но за поворотом. Их никого не задело. Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.

Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Который час, товарищ старшина?— спросил Савельев.

— А ну, который?— в свою очередь, спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было определить: оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет,— сказал он.

— А по-твоему, Юдин?— спросил Егорычев.

— Да уж полдень небось,— сказал Юдин.

— Четыре часа,— сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа?— переспросил он.

— Вот тебе и «неужто»,— ответил Егорычев.— С минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдин?— удивился Савельев.

— Ничего,— спокойно сказал Юдин.— Ранило меня.

Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

«Пожалуй, перебита»,— подумал Савельев.

— Как вышло-то?

— Там Воробьева ранило,— пояснил Юдин.— Я его перевязывал, и аккурат ударило. Воробьева убило, а меня... вот видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури на дорожку,— предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую сигарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял сигарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище.— Юдин поднялся.

Зажав сигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это...— сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что «это»?

— Ты поправляйся и обратно приходи.

— Да нет,— сказал Юдин.— Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поньры проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

«Привык, наверное, я к нему»,— глядя вслед, подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и прыгнуть вниз. Не успел он это сделать, как танки открыли огонь,— не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронбойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву и самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное — сиди и жди,— сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил.— Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шел слева, другой — прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был «тигр», — а тот, который шел на Савельева, — обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе, Савельеву показалось, что этот танк самый большой. Савельев приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронейщик Андреев.

Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом, и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.

Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и прыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство; хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронейку в ту сторону, где находился танк. — Горит! — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, вперед ли они идут или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шепотом Андреев. — Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк, — сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился его словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом.

— Ну что же, представим, — сказал Матвеев. — Молодец! — И пожал руку Савельеву. — Как же вы его подбили?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается, — напомнил старший лейтенант.

— А я принес. Я вам четыре медали в роту принес. Прикажете, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант и старшина.

Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «мирно».



— Красноармеец Савельев,— обратился к нему капитан Матвеев,— от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу!— ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну, вот,— сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными.— Поздравляю и благодарю вас. Воюйте!— И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.

— Слушай, старшина,— попросил Савельев, когда все остальные ушли.— Привинти-ка.

Егорычев достал из кармана перочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю!— сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется.

Егорычев полез в карман, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею. На крайний случай берег.

Они свернули по сигарке и закурили.

— Что же это, затихло?— удивился Савельев.

— Затихло. А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели,— я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем.— И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем, чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и вышли на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него — наш тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру «120». «Сто двадцать, сто двадцать»,— подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли вперед, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков была цифра «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что ж, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно,— рассердился Юдин.— Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в ту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что вот они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, пережатой поясом.

«Такое дело — война,— подумал Савельев,— нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощения просить поздно».

В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подававшуюся под ногами трясины. Он немного не дошел до берега, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завывала другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото то слева, то справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлопанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.

Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришлось в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз сегодня кончался восьмисотый день войны.

*25 сентября 1943 г.*

## Леонид Соболев

(1898—1971)

### СОЛОВЕЙ

**Н**а фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по груди в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь,— неуловимые, смелые, быстрые «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди попрыгали под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружались, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, крик утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в

залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат его валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжело и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.



ВЫСОТА

**Я** долго тогда выпрашивал у них, как все это было и что они испытывали... Но так и не смог занести в мою записную книжку ничего, кроме их имен да кратких биографий.

Разве вот это: что на площади у канала они были впереди пехоты на тридцать метров, а в рейхстаге, когда разыскивали ход наверх, с ними был замкомбата Берест. И еще: что поставили во столько-то часов. Только это... Подробности, по-видимому, казались им вроде бы ненужными, неуместными и как бы несовместимыми с торжественным актом установления Знамени Победы.

Но, может быть, я теперь расскажу все это за них.

Они были в здании, где еще сражались. И вверху, над ними, и внизу, на первом этаже, все еще шел бой... Ориентироваться было трудно. Окна замурованы. Темень! И нельзя разобрать в темноте, куда какой ход ведет и куда ставить. Никто им этого не сказал... Ведь надо не просто куда-нибудь, а повыше. Чтоб далеко было видно всем.

Но вот она, лестница. Как раз то, что им нужно! А рядом, с площадки, еще одна. Эта выводит прямо на крышу. Как светло еще здесь! Они думали, что давно уже глубокая ночь! Как хорошо, что крыша плоская... Куда же привязать? Над карнизом — бронзовое изваяние. Всадник. Нет, над всадником нельзя. Получится, что это он держит знамя... Опять гремят по крыше осколки. Надо поторапливаться! А что, если туда, на купол... Как редки эти железные ребра! И лестница перебитая и оторвана, надо карабкаться по каркасу... И непрочные и уж очень ржавые переплеты. Но лучше не смотреть вниз. Там провал зала, висишь, как над ущельем. Только холодок у сердца... И — что это?— вроде цел, не ранен, а из-под ног уходит крыша... С купола — на площадку. Еще лезть! Кружится голова (какие они верхолазы!). Вот и площадка. Да! Только не смотреть вниз... Привязали, притянули. Привязали ремнем, притянули чехлом. Все молча. Только теперь они посмотрели на него. С каким грохотом оно развertyвалось там вверху, над ними. Каким сразу оно стало сильным. Теперь им надо быстрее пробраться к своим.

А они и не знали, что ставят Знамя Победы.

## Александр Твардовский

(1910—1971)

### «КОСТЯ»

**Р**ожь едва начинала наливать, когда мы вступили в Витебск, и у нее было еще неполное зерно, а фронт гремел западнее Вильнюса, в глубине Белоруссии и на литовских землях.

Светло-зеленая в низинах и более светлая на взгорках, рожь пахнет в такую пору и хлебом и сеном. Запах этот был особенно явствен там, где она, потоптанная, просыхала на горячей песчаной пыли объездов. Местами у обочин она была не просто потоптана или примята и даже не то чтобы обмолочена до срока, а смолота гусеницами и колесами, смолота вместе с мягкой остью еще подслеповатого колоса, молодой соломой и корнями. А местами по ней шли черные плещи от бомбовых разрывов,— веером лежит она далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжелым сбросом земли. И еще больней видеть, как она, светло-зеленая во все поле, вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-желтая, перезрелая без поры, зряшная. Колос обгорел, молочно-нежное и мягкое, как муравьиное яйцо, зерно пересохло и сплющилось...

Но все это уже не вызывало гнетущего чувства, знакомого по сорок первому году. Все было по-иному. Жестокая стопа войны на этот раз задела кромку хлеба и трав только там, где дорога для нее оказалась слишком узка. Там и сям она проложила свой след, оставила отметины огня, и тотчас за ней, в тылу, смыкались поля и луга, леса и заросли в своем могучем спокойствии цветения и роста.

Под вечер длинного и жаркого июльского дня, особенно растянувшегося для меня из-за больших переездов по незнакомым местам, я искал свое фронтовое хозяйство на окраине живописного западно-белорусского городка.

Ни одной нашей машины здесь не оказалось: или они еще не прибыли, или уже снялись и следовали за фронтом, а я с ними разъехался.

Воинских частей поблизости уже не замечалось, даже движение на шоссе становилось слабее,— все подбиралось, подтягивалось к передовой. Словом, мне некуда было деваться. Так я набрел на девушку, сидевшую на ступеньках крыльчeka во дворе большого деревянного не то школьного, не то больничного дома, обращенного забитой крест-накрест парадной дверью к дороге.

Девушка была в потертой неформенной кожаной курточке, перепоясанной ремешком, и сидела она, держась обеими руками за ремень немецкой полуавтоматической винтовки, как бы повиснув на нем, и, припав щекой к стволу оружия, тихо покачивалась. Она подняла голову, когда я к ней подошел, и с приветливой протяжностью в голосе пригласила садиться, чуть подвинувшись на ступеньке. Я сел, закурил и сразу почувствовал большую сладость хоть такого отдыха и приятную свежесть вечера, которая здесь, в этом дворике, заслоненном от жаркой и пыльной дороги, была гуще и ощутимей еще потому, что внизу, под огородом, слышалась речка. На всей вокруг земле, по которой только что отгрохотал валом катящийся вперед фронт, устанавливалась мягкая, ровная тишина и прохлада добро-го, хотя еще пыльного вечера. Только шумела вода недалеко, в проломе подорванной плотины. В шуме ее было что-то дремотно-мягкое, успокоительное. Лицо девушки, бледное, с матово-золотистыми песчинками веснушек, светлыми, будто зеленоватыми от глаз ресницами и неяркими губами, было не то чтобы знакомое мне, как лицо, но знакомо по общему своему тону и выражению.

— Си-жу,— сказала она протяжно и как бы вызывающе, но, впрочем, вполне дружелюбно по отношению к собеседнику.— Сижу. Раненых охраняю. А как же!— Похоже было, что молоденькая и маленькая девушка привычно предполагает во взрослом человеке снисходительную насмешливость к ней с ее полуавтоматом и гранатой-«лимонкой», привязанной бечевкой к поясу.— А как же! Здесь наши раненые партизаны лежат,— кивнула она на дверь, что была за нами, но оборачиваясь, а лишь вскинув головой и не выпуская из рук ремня винтовки.

Я не торопился уходить, отдыхая от дороги, от своих неудачных поисков и даже от мысли: «Где же я все-таки буду ночевать?» И, может быть, связывая неуволимую, но чем-то приятную знакомость обличья девушки, ее протяжную, хотя вроде как не чисто русскую речь со всей скромной и очень приветливой красотой этого края, со светло-зеленой рожью, с говором женщин в освобожденных деревнях и с какими-то своими, отдаленными воспоминаниями, я спросил ее, не местная ли она.

— Белорусская?— переспросила и улыбнулась она.— А что? Што я на гетой мове говорю? Нет, товарищ начальник. Это оттого, что я здесь два года — меж белорусов да с белорусами,— вот и все.— Я — заброшенная,— добавила она, помолчав, и вздохнула, как будто слово это означало именно покинутость, сиротство ее, а не просто способ, каким она очутилась здесь, в недавнем глубоком тылу немцев.

В это время послышался слабый, глухой звук, как будто внутри помещения швырнули мячом в стену; я бы и не обратил внимания, но девушка сразу прислушалась и, с добродушной досадой покачав головой, сказала:

— Надо идти.

Она наклонилась, опустив винтовку к плечу, и обеими руками снизу вверх провела ниже колена по ноге, аккуратно и экономно перевязанной узким бинтом. Она была ранена и ступала этой ногой нетвердо.

Я решил посмотреть ее партизанский госпиталь. В коридоре и пустой проходной комнате было навалено сено, закиданное обрывками бумаг, какой-то разноцветной рванью, тряпьем, окурками. Сено было прошлогоднее, откуда-нибудь с чердака, и пахло не сеном, а смешанным стылым запахом, какой остается надолго в стенах любого помещения после фашистских солдат.

В следующей комнате, кое-как прибранной, в углах, противоположных по диагонали, лежали двое раненых. Здесь было скучно, и сразу охватило то напряженное и неловкое чувство, которое приходит, когда осматриваешь такие места: стараешься удержаться от излишнего выражения участливости и в то же время хочешь, чтобы не очень заметно было твое здоровье, завидная свобода тела, не отягченного страданием.

Лежащий лицом к двери больной с повязкой на голове вежливо отозвался на приветствие и даже захотел привстать на постели, запахивая землисто-бледной рукой ворот нижней рубашки. Другой, остававшийся слева, когда я оглянулся на него, поспешно заговорил, указывая на своего товарища, со злобой и торжеством:

— Вот он, пожалуйста. Лежит. Я его знаю. Я его даже очень, слишком хорошо знаю, предателя.— Он вскинулся, быстро перебрав обеими руками по одеялу, точно ища чего-то.

Он лежал в застиранной, совсем потерявшей цвет армейской гимнастерке с отложным воротничком, какие еще носили у нас в первый период войны.

— Убью!— шепотом сказал он, истратив все силы в первом порыве.

Я снова взглянул на того, к кому обращались эти угрозы. На лице раненого была улыбка, как бы призывающая не относиться всерьез к словам товарища, но был и страх и желание упредить неправильное заключение нового человека, объяснить что-то.

— Вот весь день так,— сказал он, не жалуясь, а скорее смягчая резкость выпада своего соседа.

Девушка в это время подняла с полу солдатский ремень, берестовый порт-

сигар, кружку из консервной банки, еще что-то, разбросанное, как будто здесь играли дети.

— Перестань, Прохоров, лежи смирно. Последний раз говорю.

— Костя! Дай мне винтовку. Я с ним лежать не буду, я его все равно чем-нибудь...

Я не понял, кто же здесь Костя, и подумал, что больной немного бредит. Мы вышли из нежилой, насыщенной пылью старого сена духоты на крыльцо.

Я спросил у девушки, что такое происходит между ее больными.

— Видите, я Прохорова знаю, а того — почти не знаю. Может быть, он, правда, сперва был полицаем, а потом в отряд пришел, а может, он и в полициях был по заданию. Этого я знать не могу, — это все разберется. А раненый есть раненый.

Это был уголок того особого мира, о котором до этого летнего наступления я знал только понаслышке да по описаниям, которые в большинстве делали понаслышке же. И мне все было дорого, что могла рассказать мне моя новая знакомая.

— Теперешнее мое ранение пустяковое, — начала она своим нарочито протяжным и будто усталым голосом. — А в правой ноге у меня осколок с прошлого года. В лесу было трудней заживлять рану. И вообще было трудное положение. Мы их до того довели, что они стали бросать против нас фронтовые части. А это, знаете, совсем другое дело, чем тыловые да всякие полицейские. Они нас окружали, огромную территорию окружили, пустили в ход артиллерию и всякую технику. Пошли цепью, прочесом по болотам, по лесам, ничего не пропуская. Тогда я была ранена в этих боях. Рана была тяжелая, но хуже всего, что я долго на снегу пролежала — можно умереть без всякого ранения.

Она неожиданно усмехнулась и как будто поежилась. От реки снизу шла вечерняя свежесть, хотя деревянные ступеньки крыльца еще были теплы на ощупь. В этой свежести, за которой уже начинается ночь, множество запахов раннеиюльской поры — красного и белого клевера, рябинника, медуницы, просто сена и ржи, пахнувшей сеном и хлебом, — почти перебивало остывающий дух городских пожарниц за рекой, железной гари и тяжелый, всегда отдельный среди всех запахов, запах трупов. Я слушал девушку, и все то, что она говорила о глухой зиме сорок третьего года, о своем первом ранении, представлялось давним, далеким, таким, каким здесь, в Западной Белоруссии, казалась зима подмосковной обороны или только что минувшая зима жестоких боев на линии Витебск — Орша. Я слушал, хотя продолжал думать о том, где мне сегодня ночевать.

— На войну я попала обманным путем. Я жила в Туле, училась. Мы с подругой подделали повестку, будто бы повестка из военкомата. И мама поверила, хотя слез было много. Первое время я была санитаркой, а потом мы с подругой расстались: я запросилась в спецшколу — захотела к партизанам. А то на фронте — и убьют, не увидишь, кто в тебя стрелял...

И она опять засмеялась, словно желая отстранить всякое предположение об особых высоких мотивах ее желания попасть к партизанам и свести все к причуде.

— Вы ничего не слышите?

Я прислушался, стараясь отвлечься от шума воды.

— Да, стреляют. Только это не фронт. Фронт вот где, — указал я по дневной памяти, — и слишком далеко, пулемет не услышишь.

— Ихний станкач бьет, — спокойно определила она. — Прорываются где-нибудь. Я не знаю, что теперь им, немцам, делать, которые в лесах остались. Мы в лесу были дома — и то тяжело. Я, конечно, имела специальность. Я в боях была, только когда они на нас шли. А так — я подрывник. У меня счет — шесть эшелонов. А как же! — протянула она опять в нарочито горделивом тоне, хотя и без всякой видимой заботы о том, верю я ей или не верю. — А как же! Я по установке рапиды. Что такое рапиды? Она — вот такая, — показала мне девушка в темноте приблизительно размеры полевого тефалона.

За шумом воды на подорванной плотине, все отчетливее различая стрельбу в тылу, мы услышали вскоре новый, приближающийся от фронта звук...



— Костя! — послышался из окна знакомый раздраженный и беспокойный голос. — Что он там летает?

— Ну, летает, а тебе что? Лежи, не шуми, — громко и строго сказала девушка. И, обратясь ко мне, как бы отозвалась на мой подразумевавшийся вопрос.

— Костя? А это мое партизанское прозвище. Смешное? А я привыкла. Я под этим именем и в сводке Информбюро выступала. А как же? — И, прислушиваясь, поспешила объяснить беспокойство Прохорова. — Знаете, наши ребята ничего не боятся, но самолетов не любят. Я сама скажу: боюсь до смерти. — Звук самолета стал отдаляться, и она заговорила с оживлением и даже веселостью. — Меня один вокруг колодца гонял. Днем. С одной стороны сухо — колодец на скате, а с другой лужа, грязь. Вывалилась вся, как чучело. И не могу догадаться платок спрятать, платок на мне красный. Ну, так вот... Рапида устанавливается так, чтобы произошло соединение, когда колесо паровоза в этой данной точке соприкасается с рельсом. Это дело несложное, но при установке нужна большая аккуратность и большое, — с наставительной серьезностью девочки-ученицы подчеркнула она, — большое присутствие духа. Да. Потому что такой участок дороги всегда охраняется. Тут и обход регулярный, и вышки с пулеметами, и гарнизоны, — вы видели, каких они тут крепостей понастроили, сколько одной проволоки накручено. А второе — что на полотне человек очень заметен издали даже. Я первый раз, когда влезла на полотно, думала, что я три часа там возилась, а это всего полторы минуты. Что это он — опять?

Мы вместе прислушались. Самолет шел обратно на той же высоте, даже как будто ниже.

— Транспортный, — легонько тронула она меня за руку. — Слушаем, слушаем, а это же транспортный. Это он своих окруженцев ищет. Почему только он их здесь ищет? Хотя здесь лесок порядочный.

— Страшно? — спросил я, чтобы обратить ее к рассказу.

— Да, нехорошо, конечно, если они здесь так близко. Главное, они оба лежачие, — кивнула она на дверь. — А вы про другое говорите страшно? Я расскажу. Я расскажу, как первый раз была на задании.

Я очень хотел слушать, но меня отвлекал еще один запах, кроме запахов разных цветов и гари, — запах знакомый и даже приятный, но как-то не идущий к окружающей нас обстановке.

— Запах? — подняла она свое бледное личико, на котором теперь не видны были песчинки веснушек. — Это хлебом пахнет.

— Нет, хлебом, рожью, это отдельно, а вот еще чем-то.

— Я вам говорю: хлебом пахнет, а не рожью.

— Да, пожалуй, верно, горелым хлебом.

— Не горелым, а печеным хлебом. Это вы в лесу без хлеба не сидели, а то бы не путали, — усмехнулась она. — Тут, наверно, недалеко походная хлебопекарня. Да слушайте вы, — с каким-то даже испугом наклонилась она ко мне, — вы просто есть хотите. А я тут болтаю. Это мы сейчас организуем.

Я поспешно отказался, очень довольный тем, что неподалеку должна быть полевая хлебопекарня. Это как-никак воинская часть, а следовательно, мне уже нечего было задумываться о ночлеге и прочем.

— Было это зимой, в сорок третьем году, — продолжала девушка. — Мы тогда находились в распоряжении «Истребителя», но где этот «Истребитель» находится, я не знала, конечно. Мы получили задание от нашего командира. Со мной пошли двое хлопцев. Они выпили, потому что очень волновались, а я ничего. Если я иду на смерть, значит, на смерть — зачем еще заранее изнуряться? — Это было сказано с той же беззаботностью относительно моего доверия или недоверия.

— Страшнее всего знаете что? Ждать взрыва. Страшно, что вот он сейчас ухнет над тобой, и страшно, что никакого взрыва не будет. А мы уползть далеко не могли, мы должны дожидаться взрыва и, как положено, обстрелять подорвавшийся эшелон зажигательными, добавить паники. Но еще страшнее, что взрыва не будет, что что-нибудь не так. А пока его нет, как бы там все аккуратно ни было сделано —

все равно как бы ничего еще не сделано. Словом, такое состояние, что лежишь и рублишь зубами,— ждешь. А когда по звуку от земли слышишь, что поезд идет и рельсы еще за два километра начнут пощелкивать, так это все равно что как на тебя бомба идет и по звуку ждешь — вот сейчас, вот сейчас. Н-ну! Дайте мне папироску, если есть еще. Я отнесу Прохорову, он спокойнее будет.— Я дал несколько папирос для раненых. Она наклонилась к спичке, держа папиросу в вытянутых с детской старательностью и еще более побелевших губах, и я опять увидел ее веснушки и слабо очерченные светлые брови. Она легко поднялась и, легонько опираясь на винтовку, ушла с прикуренной папиросой и быстро воротилась.

— Ну, вот. Слушайте. Как мы смотрели на всякий эшелон, что шел в ту сторону, к вам, к фронту! Мы по радио почти все сводки слушали, знали, что там делается, под Вязьмой или где. И вот, глядишь, несется туда составище — танки, пушки, ящики с боеприпасами, бомбы — одна к одной в сквозных футлярах. А ты глядишь и считаешь. Да если бы польза, самому поперек рельсов броситься,— с радостью! И это не то что я такая сознательная, а всякий наш человек так только мог думать, и вы сами так бы думали и так бы переживали.

Она достала откуда-то из рукава курточки платочек, — как-то странно и трогательно было видеть это,— и, заслоняясь рукой, вытерла глаза, стараясь заслониться и этим жестом, и своей беззащитной улыбкой из-под руки.

— Да. Эти двое хлопцев, что со мной были, они действительно волновались, а одного, по кличке Олег, кашель разобрал. Не может остановить кашель. Тогда я велела этому вот, Прохорову,— кивнула она на дверь,— полушубок расстегнуть и чтоб Олег ему в за пазуху кашлял. Но все равно мне кажется, что слышно за версту — бьет, как из бочки. И они просят: разреши нам еще из фляги потянуть,— как дети, право. А я — нет и нет. Нет, вы лучше после выпейте. И это все шепотом. А тут поезд — слава тебе господи — как по расписанию. А то уже минут десять оставалось до очередного обхода охраны. Н-ну!

Она глубоко вдохнула и выдохнула воздух. Воспоминания эти, по-видимому, были ей самой в новинку. Она как будто вернула в свою Тулу, стала опять девочкой, дочкой своей мамы, и рассказывает о том чудесном и страшном, что она испытала за эти два с лишним года в далеком партизанском краю, уже сама немало дивясь тому, что ей пришлось испытать.

— Взрыв был такой, что, правду сказать, я думала, что ни земли, ни неба не осталось на свете. Это и был первый мой эшелон и, может, самый серьезный из всех шести эшелонов. Двадцать восемь пульманов, как один,— к черту, и дорога на сутки из строя вон. О нем и в сводке Информбюро сообщали. Ну, ладно. А что было потом, после взрыва! Конечно, если бы мы не были в мертвом пространстве, под насыпью, где взрывная волна прошла над нами, то нас бы сдуло, как пыль, хотя бы мы находились за тысячу метров. На хуторе, где нас ждали сани, обе двери — и входную с улицы, и ту, что во двор,— снесло с петель... Дали мы, правду сказать, не глядя куда, несколько очередей по всей этой громозде на насыпи и под насыпью и — бежать. Хлопцы меня подхватили за рукава. Я и ноги не успевала переставлять — волокут. Но уже слышим — с наблюдательной вышки ударил пулемет, а вся эта луговина у них пристреляна. Соображаем, что напрямик нам не добежать до хутора,— у пули стали посвистывать близко. Мы к речке — и бежать по речке, по льду,— речка петляет, это нам куда дальше, но зато мы как в траншее,— за берегами, за кустами нас не видно. Правда, бежать еще труднее, чем по полю: где лед, а где снегом перемело так, что по грудь, а где и вода под снегом. Добежали. Плюхнулась я в сани, только могла сказать, что, мол, хлопцы, погоняйте. Привалили они меня шубами, сами сверху,— и по тройке... Н-ну! — опять вскинула она голову с небогатой гривкой русских прямых волос, и я, уже присмотревшись к ее лицу в темноте, увидел, что на нем словно бы заиграла краска, а в голосе слышалось взволнованность как бы вновь переживаемого счастья первой удачи в самом ее разгаре.— Н-ну!.. Кони застоялись, намерзлись, с места взяли, только вожжи держи. Случись что-нибудь — завертка раскрутится или попадись что-нибудь на дороге,— дух вон и нам и коням. Знаете, сани не все по дороге, а моментом от дороги ползья отры-

ваются и опять об дорогу: тых-тых-тых! Летим. Один вожжи держит,— Прохоров. Олег его обхватил за пояс, за него держится. Лежу, слышу — кричат чего-то, просунулась из-под шубы — поют, поют и не разберешь что: «Эй, гей, ге-гей! Дай!» Одним словом, мчится тройка удалая. Я за руку одного ухватила, дергаю: не сходите с ума. Правда, перестали, но езда — все та же. Рвем, рвем, вся задача — подальше угнать, пока по свежему следу не брослись. А когда едешь один в поле зимней ночью, это всегда так: чудится, что и еще кто-то едет впереди либо сзади, и треск такой же идет от саней, и кони храпят. И нам, понятно, казалось, что за нами гонятся, вся окрестность гремит и стонет. Давай, го-ни. Н-ну!..

Восемнадцать километров так! Теперь можете вы это представить: ночь, снег, лес поваленный и неубранный по сторонам дороги,— это немцы так вырубали. Ночь, снег, иней, глушь невозможная, ни огонька в деревнях, ничего, тыща верст от фронта, вражий тыл, и вот мчится наша тройка удалая, а позади — я два раза поглядела,— позади над лесом, над таким белым лесом, он аж синий, над лесом уже зарево, зарево...

Я хорошо представлял себе эту зимнюю картину, хотя был глубокий летний вечер с дымными звездами,— предвестием жары,— и этим успокоительным, все более затихавшим бормотаньем воды в проломе.

— Потом я точно сознание потеряла от всех этих переживаний или укачалась, угрелась, может, даже задремала, а только слышу, мы стоим, и меня зовут: «Костя, Костя, вылезай, Костя...» Вижу, кони не выпряжены, стоят во дворе, и коровником пахнет, а за стеной бу-бу-бу,— говор густой мужской, разный. Меня позвали, позвали и ушли. Там двери хлопают, слышится даже, что печка топится, жарится что-нибудь, а мне неохота-неохота из саней вылезать: угрелась, лежу. Потом кто-то: «Ах, вот где она. Где ты тут?»— распоясал шубу, взял меня за плечи, приподнял и, знаете, как-ак меня толкает. Правда.

Она засмеялась, но как-то неуверенно, и опустила голову, вытягивая и словно поглаживая ремень винтовки.

— Ну и что же?

— Ну и все. Все уже рассказала вам, что надо и что не надо. Первый раз, когда идешь на задание, то, конечно, все это переживаешь, запоминаешь. Потом легче. Сколько уже?— поднесла она левую руку к глазам, подсунув этим движением рукав своей курточки к локтю.— Дело к часу.

— Кто же это был, если можно спросить?

— Кто? А кто же его знает,— протянула она с нарочитой своей интонацией.— Правда, поцеловал, положил обратно,— она так и сказала: «положил обратно»,— накрыл шубой и вернулся в избу. А я лежу и думаю: кто ж бы это такой был? Я догадалась, что мы приехали в штаб «Истребителя», но я там никого не знала. Подумать, что Олег или этот Прохоров,— нет. Во-первых, от них бы самогоном пахло, а во-вторых, я бы не позволила. То есть я бы и этому не позволила, но он это сам и так внезапно, что я даже предположить ничего не могла. Приподнял за плечи, наклонился, смотрит в лицо, близко так посмотрел,— глаза добрые, даже задумчивые немного,— поцеловал — и все. И еще то,— голос девушки, как мне показалось, дрогнул и замедлился,— и еще то: никакой грубости он не позволил, ничего такого. А ведь я тогда была совсем еще девочка — девятнадцать неполных. То есть, как это вам сказать,— опять осторожно достала она свой платок.— Я была не среди чужих людей, люди все были свои, но ведь меня все это время никто и по имени не звал — все: «Костя, Костя», а какой же я Костя? Пустяки, в общем. Не знаю я, куда мне вас девать, вы же очень устали. С большими положить — вы сами не захотите, а еще негде.

Я сказал, что отлично устроюсь у хлебопеков.

— Ладно, идите.— Она поднялась вместе со мной.— Я с вами прощаюсь, только зайду погляжу на ребят.

И, чуть-чуть волоча ногу, опять прошла в дверь своего госпиталя. Я подождал ее на дороге под слабой тенью тополевой аллеики.

— Все отлично,— вскоре вышла она.— Вы знаете, этот Прохоров, он ранен

был еще в первый день войны, в Бресте. И в плену был. И бежал раненый. И в партизанах был много раз ранен. Конечно, ему обидно лежать с тем, кто, может, позже начал воевать. Но он, знаете, какой. Он душу отдаст. Он меня подобрал, когда я первый раз была ранена. Он, знаете,— торопилась она сказать все самое лучшее об этом человеке,— он кадровый...

Стали прощаться, и я еще раз решил спросить у нее, неужели она так и не узнала, кто ее поцеловал, когда лежала в санях. Она вздохнула и тихо, с грустной насмешливостью к своей будто бы проявленной слабости, сказала:

— Я, конечно, тогда вскоре вылезла из саней и пошла в хату. Почему пошла — думайте, как хотите. Пошла. Захожу, сидят разные люди; кто закусывает, кто курит, и самогоночка на столе, но особого шума нет; за столом сидит один, видимо прибывший сверху, как говорят, сидит в гимнастерке без знаков различия, но с депутатским значком Белорусского Верховного Совета. Я это все рассмотрела потом подробно. Сидит, курит, записывает что-то в блокнот. А напротив него молодой парень, даже сказать — красавец, но с одной рукой. Это был знаменитый человек, его все очень уважали, я только не могу еще вам теперь сказать его фамилию. Но я же хорошо помню, что приподняли меня за плечи двумя руками. А подумать на депутата — нет. Не то чтоб уже так стар, но, знаете, солидный уже — не то. Нет. Я всех там осмотрела, засмеется кто-нибудь, на зубы гляжу, точно по зубам хочу угадать. И потом должен был этот, кто выходил к саням, посмотреть на меня как-нибудь, я так понимаю. Но меня встретили все хорошо, даже приподнялись, потеснились, усадили и стали угощать, как героиню дня, что ли, но никто не сказался... Ну, все-таки до свидания.

Больше мы не видались. Я переночевал в полевой хлебопекарне, где меня угощали чудесным хлебным квасом, и утром, в кабине трехтонки, груженной хлебом, поехал опять по дороге к фронту. Опять пошла рожь, местами потоптанная, местами хваченная огнем разрывов, рожь, бледно-зеленая, но все более светлая по песчаным взгорьям.



РУКИ

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.

Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двуужильный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами,— уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо рыботать. Дорога зовет. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать — самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То напоздает туман, то дохнет с Ладоги ветер, какого он нигде не видел,— пронзительный, ревуший, долгий. То начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо вырывать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большаков остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке стекает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привести к месту пустую цистерну? Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять долго и просто смотреть — этому делу не поможешь.

Он, проваливаясь в снег, пошел к кабинке. Политрук сидел, подняв воротник полушубка, утонув замерзающий нос в согретую его дыханием овчину.

— Товарищ политрук,— позвал Большаков,— придется побеспокоить.

— А что, разве мы приехали уже?— спросил политрук, мгновенно пробудившись.

— Выходит, приехали,— сказал Большаков.— Цистерна течет. Что будем делать?

Политрук вывалился из кабинки. Он протирал глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать руку об руку, соображая, потом сказал:

— Поедем до первого пункта, там сольем горючее, в ремонт пойдем. Так?

— Да оно как бы и не так,— сказал Большаков.— Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту срочно везем. Как же его просто сольешь? Его не сольешь.

— А что ты можешь?— сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка вдоль разошедшегося шва.

— Разрешите попробовать — чеканить его буду, — ответил Большаков.

Он открыл ящик со своими инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицы, он просачивался под рукав гимнастерки. Большаков, слезывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздыхнув, он пошел на свое место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошел смотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной.

Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина, ему казалось, что все это снится: дремущий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок — пятьдесят; но если бросить чеканить через каждые десять — двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватается зубило, а щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые странные пространства, огромные, неохватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему было не страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стучался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него, замерзшего, жила одна непонятная радость: он твердо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал он, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя, — сказал он.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

— В Ленинград вез, фронту, — ответил он громко, на всю землянку.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак, — протянул он, — в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажем...

## РУССКИЙ ХАРАКТЕР

**Р**усский характер!— для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь,— мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься,— который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит Золотую Звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезет из башни танка,— бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесить. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тыфу, бестолковый! — скажет третий. — Любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит, вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, пока старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, кричит, полный газ!» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил, — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра из всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, другой выскочит

без сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — и проутюжил, остальные руки вверх — и Гитлер капут...

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев. — Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощущивал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. — «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстанавливаю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск, для полного восстановления здоровья, и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеной ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавль покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльцо, постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще



у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив его по кудрявой голловке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в ордене, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, уroda, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, — он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот придет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую шель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые свет-

лые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга — свежа, нежна, весела, добра, красива, так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее локтя ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сирым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи — кажется мне, что приехал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын, — разве бы он не открылся... Чего ему скрывать, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приехал, гордиться нужно. Уговаривает меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал, — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне — прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, — все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, — есть где-нибудь еще красавицы, но одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

## Михаил Шолохов

(1905—1984)

### СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

*Евгении Григорьевне Левицкой,  
члену КПСС с 1903 года*

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на углой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, выдавший вида «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодочку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихонерских степей, тонувших в сиреновой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, по-

быстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездил, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбил. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леднику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил:— А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:



— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горяшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выволома из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милоч, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятешек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротнo: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цыгейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришта как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцатый второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома умерли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотничьей артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскоре женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желаннее ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не наругит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьетса, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний пере-

гон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не победился. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленный или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмельись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще две девочки... Тут я от товарищей отколовся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека — приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйста в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посеркивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают, и я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся мы с тобой... больше... на этом... свете»...

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще

на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня было дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хонишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прошу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал кручѐнку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахом писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлася! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину, как ружью под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя воня много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к ло-



паткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало по-пахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и basta!» — «Ну, — говорит, — ду! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю воню! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попада. Долго я по земле на животе слозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в ключья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него человечески дошло, что означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Какое это было переживание? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, приподнял такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, шупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — показывает на дорогу, на



заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были хорошие, по-казывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заржал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упал я, — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падаты! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и происнялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не видел. Скрипел зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смиренный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненные есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило

одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу,— говорит,— осквернить святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, трети всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлжности. «Нет,— думаю,— не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— думаю,— не справится этот парнишка с таким толстым меринном. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежащего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Поддержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже жулика, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придрежал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тошального, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыские шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустились с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадет, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтора грамма зрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух



человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, попишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжили; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белокурый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навывкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой ээсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог соорудить: перед тем как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, — уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрошался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидели в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргает, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так



точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услышал эти слова, — меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливоенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдете, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, и я после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечая, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помятче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил вразяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германию скулу набок и фашисты перестали

пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером,— шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясали нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте»— была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в зад у плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусувает и выпивает; когда в добром духе, и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну,— думаю,— ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутсы. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямик туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики высочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пуле-

метов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропорол пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Мильты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накрыли, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый, и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуясь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдать: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, стюар Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получить!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий,



я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удуше давит.

Мы закурили. В залитом водой лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сержки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа; Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он сначала в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и, свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно



что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играет.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с усталка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький обормыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему виду, голодный. Высунул я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убили в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свистель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно дать! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жметса ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и задилась сле-

зами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазину. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порывлась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуть, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишь на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добыть, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморозил я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом спился с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командированы в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу,

тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти,— сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться,— слезает с меня и бежит сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть,— они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменял рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

## Илья Эренбург

(1891—1967)

### СЛАВА

**Н**а поле боя, рядом с трупами, с покaleчeнным оружием, с обрывками газет и ключьями белья, валяются письма — в розовых и голубых конвертах или сложенные треугольником, на линованных листочках, вырванных из тетради, или на обороте накладной. Они похожи на лепестки. Человеку, занятому нечеловеческим делом, они напоминают о жизни. Люди на войне говорят о разном: о дожде, о каше, о верных и неверных женах, о пройдохливом бухгалтере колхоза; они не говорят о войне.

Как умел рассказывать Лукашов о своем доме! Даже недоверчивые умилялись: Ново-Ильинское казалось раем. Там обрыв над речкой; ребятишки полощутся в воде и кричат; а над обрывом дом Лукашова. Полногрудая сероглазая Маша, раскрасневшись, стоит у печи. Ходики стучат, будто сердце бьется... А мед, душистый мед! Под ледяным ветром калмыцкой степи рассказывал Лукашов про пасеку, и людям мерещилась гречиха в цвету. Среди метели жужжали пчелы, или «пчелки», как говорил Лукашов.

Много верст прошел Лукашов. Был яркий осенний день, и песок сверкал, как снег. Река показалась Лукашову такой широкой, что он вздохнул. А товарищи весело кричали: шутка ли дойти до Днепра! Лукашов нашел среди лозы скверную лодчонку. Его мучило нетерпение. Капитан сказал: «Украинцы просятся...» Лукашов рассердился: «Я вот тамбовский...» Он торопился, как будто на том берегу — его дом.

Плыли они долго: течение относило лодку. У Лукашова руки были в крови. Немцы стреляли, и река фыркала. Потом осколок пробил корму; вода засвистела. Лукашов пустился вплавь; на лбу его вздулись жилы.

«Доплыл», — восхищенно говорили товарищи. Имя Лукашова повторяла телефонистка; оно вошло в хату, где четыре генерала сидели над картой; долетело до Москвы, проникло в накуренные комнаты редакций, спустилось в наборные, а наутро пошло колесить по необъятной стране.

Прочитав газету, Маша заплакала. «Глупая, — сказал отец, — чего плачешь? Видишь, чин у него какой?» Она ответила: «Это я сдуру», — и улынулась, а слезы текли и текли. Она вспомнила мужа, как он читал газету: «Война в Испании...» Образ Лукашова расплывался, и от этого хотелось еще сильнее плакать.

Вечером на сыром песке сидели люди. Небо было в огнях, зеленых и оранжевых.

— Переправу долбит, — сказал Лукашов и, закурив, начал рассказывать: — Приехал пионерлагерь. Вожатая с ними, киевская. Разве я тогда думал, что судьба сюда приведет?.. Вечером ребята разожгут костер и поют. И она пела. Бывает у человека такой голос — дрожь берет. А Маша смеялась. У нее всегда так — схватит за сердце и смеется. Я спрашиваю: «Откуда песни такие?» А она...

Загрохотал мотор. Все подтянулись, думали — генерал. Но из машины вышел незнакомый офицер, спросил, где Лукашов. Это был Дадаев, военный корреспондент и писатель. Лукашов подошел к нему:

— Здесь, товарищ майор.

Дадаев улыбнулся:

— Замечательно! Я от газеты. Да и сам хочу поговорить по душам...



Лукашову стало неуютно: слава его томила; он рвался в безвестность, как птица в зеленую темь леса.

Дадаеву сказали в редакции: «Нужно показать героев переправы». Он стал расспрашивать Лукашова; тот отвечал коротко и сухо: доплыл, потом подоспели другие. Обычно словоохотливый, он притих. Он знал, что товарищи теперь горючат: «Повезло — о нем Дадаев напишет», и от этого было тосчно, хотелось поскорее вернуться к друзьям, досказать про вожатую. А Дадаев не унимался, чем-то привлекая его этот скромный, спокойный человек.

Писателям нравятся люди, которых они никогда не смогут описать; а жизнь в книгах Дадаева была громкой и бурной. Он не умел говорить шепотом, не разбирался в оттенках; войну он видел жестокой и прекрасной. Он был смел и, выбирая самое опасное место, дразнил смерть.

Многие считали Дадаева злым, но он мог, оттолкнув друга, обласкать первого встречного: люди для него были только частью пейзажа. Он был одарен, писал занимательно, писал то, что от него требовали, — не от угодливости, а от глубокого равнодушия, которое скрывалось за горячими речами и безрассудными поступками. Он не любил ни той женщины, из-за которой пытался кончить жизнь самоубийством, ни старика отца. Любил ли он искусство? Он думал только о нем. Испытывая творческую неудачу, он терзался, как злополучный игрок; ставкой была слава. Когда приятель его упрекнул в тщеславии, он серьезно и печально ответил: «Может быть, и слава — тщета...»

Он гордился умением раскрывать сердца: прославленный ас признался ему, что он суеверен, как бабка; седой полковник посвятил его в свои сердечные неурядицы. Почему же не мог он разгадать этого человека с голубыми доверчивыми глазами?

— Вы с Голубенко поговорите, он в ту ночь три раза переправлялся.

Дадаев улыбнулся:

— Я про вас хочу написать. Жена ваша прочитает...

Лукашов вздрогнул: он забыл, что перед ним писатель.

— Засмеется. А стосковалась — ведь третий год...

Наконец-то Дадаев узнал его тайну, услышал и про Машу, и про пчел, которые жужжат.

Стало светло от ракет; близко разорвалась бомба. Дадаев курил и рассеянно улыбался. А Лукашов прижался к песку. Он думал: почему Дадаева не пугает смерть?

— Вы, товарищ майор, семейный?

— И да и нет.— Дадаев встал.— Ладно, поговорили. Мне еще нужно на КП.

— Лучше переждите до утра — дорога-то лесом... Еще не прочистили. Вчера грузовую обстреляли...

Дадаев пожал плечами:

— Доеду.

Он пошел к капитану; тот попросил:

— Если есть местечко, подкиньте Лукашова — его полковник требует.

Темно было и в поле; но, добравшись до леса, они почувствовали, что въехали в ночь. Фары вырывали из темноты то глетчеры песка, то деревья, похожие на исполинов. Мир казался невиданным.

Лукашов сидел рядом с Дадаевым. Ему хотелось поговорить, но он боялся, что наскучил писателю. Зачем его вызывает полковник? Снова будут спрашивать... Сжимая автомат, Лукашов глядел в ночь: лес жил.

Вдруг убьют Дадаева?.. За два года Лукашов присмотрелся к смерти, но от мысли, что могут убить знаменитого писателя, он взволновался. Вспомнил, как весной убили подполковника Анохина, и все говорили, что погиб замечательный инженер. Лукашов тогда отнес в штаб его документы, а среди них фотографию — маленькая девочка с косичкой...

Лукашов ежился: ночь была сырой и холодной.

— Товарищ майор, отдыхаете?

Дадаев не ответил. Он чувствовал себя разбитым, словно услышал потрясающую исповедь. А что рассказал ему Лукашов?.. Дадаев усмехнулся: придется писать о пчелах... Потом он задремал.

Очнулся он от выстрелов.

Лукашов заслонил Дадаева. Машина не остановилась. Схватив автомат, Дадаев почувствовал кровь. Дадаев дал очередь. Из темноты еще стреляли. Потом наступила тишина. Дадаев стал ошупывать Лукашова. Он крикнул: «Стой!» Но шофер по-прежнему гнал машину. Дадаев расстегнул гимнастерку Лукашова: сердце не билось. Дорога была в ухабах. Лукашов подпрыгивал и падал на соседа. И впервые за войну Дадаев испытал тот ужас, от которого воют собаки и несут лошади.

Когда пришло извещение о смерти мужа, Маша не вскрикнула, не заплакала. Она пошла к обрыву, постояла и вернулась. Долго она не могла осознать происшедшее: прибирала, шила, съездила в город, чтобы оформить документы. Ей казалось, что муж жив. Прежде он представлялся ей далеким, а теперь она с ним разговаривала, прижималась к нему. И вдруг — не было для того повода — она закрыла лицо руками и беззвучно заплакала: поняла, что он никогда не вернется. Она как будто взошла на гору — увидела свою прошлую и настоящую жизнь; знала, что придется работать, разговаривать; может, и выйдет за другого; но будет это не прежняя Маша; а счастье, настоящее счастье, позади.

О смерти Лукашова мне рассказал Дадаев. Он был в тот вечер непривычно печален; говорил:

— Я пробовал это описать, не вышло. Насчет пчел получилось нарочито, как в басне. Очевидно, это не моя тема... А странно, Лукашов — первый человек, который умер у меня на руках. Кстати, о пчелах. Почему поэты любили сравнивать себя с пчелами? Не похоже. Люди не цветы, а книги не мед. Вообще наше дело — лотерея: иногда соврешь, а читатели плачут, а с Лукашовым я действительно все пережил — и получился рассказ о пользе пчеловодства.

Он пил; это было густое вино юга, от которого люди с легким сердцем веселяют; Дадаев от него еще больше помрачнел.

— Вам это покажется смешным, но я часто думаю о смерти. Должно быть, я слишком рано узнал славу. Это женщина из мрамора. Вместо глаз у нее ямы... Мне холодно, как тогда Лукашову...

Сейчас горячий летний полдень. От зноя воздух дрожит. Я думаю о Лукашове. Он мне кажется живым, и я хотел бы сказать об этом Маше. Я не знаю, в чем он продолжает жить, — в ее ли сердце, или в громе наступления, или, может быть, в жужжании пчел, которые тяжелеют над цветущими полями; но я знаю, что он не умер и не мог умереть.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОВЕСТИ

Чингиз Айтматов. Ранние журавли . . . . .	7
Владимир Богомолов. Зося . . . . .	59
Василь Быков. Дожить до рассвета. <i>Перевод с белорусского автора</i> . . . . .	87
Борис Васильев. А зори здесь тихие... . . . .	162
Леонид Леонов. Взятие Великошумска . . . . .	220

### РАССКАЗЫ

Виктор Астафьев. Сибиряк . . . . .	289
Юозас Балтушис. Секунды тишины. <i>Перевод с литовского И. Капланаса</i> . . . . .	300
Александр Бек. В последний час . . . . .	303
Миервалдис Бирзе. Она хотела выглядеть красивой. <i>Перевод с латышского Ю. Каппе</i> . . . . .	309
Юрий Бондарев. Из книги «Мгновения» . . . . .	313
Емилиан Буков. Молчание. <i>Перевод с молдавского П. Сиркеса</i> . . . . .	318
Евгений Воробьев. Небо в блокаде . . . . .	323
Николай Грибачев. Около полуночи . . . . .	331
Абдулла Каххар. Синий конверт. <i>Перевод с узбекского А. Садовского</i> . . . . .	341
Рачия Кочар. Мать. <i>Перевод с армянского Н. Агамаляна</i> . . . . .	344
Борис Лавренев. Подвиг . . . . .	348
Константин Лордкипанидзе. Майское утро. <i>Перевод с грузинского Б. Корнеева</i> . . . . .	363
Энвер Мамедханлы. Он вернулся в песнях. <i>Перевод с азербайджанского Азиза Шарифа</i> . . . . .	367
Эдуард Мянник. Стальной трос. <i>Перевод с эстонского Н. Кооля</i> . . . . .	370
Юрий Нагибин. Ваганов . . . . .	374
Евгений Носов. Красное вино Победы . . . . .	379
Петро Панч. Черный крест. <i>Перевод с украинского Б. Турганова</i> . . . . .	396
Константин Паустовский. Робкое сердце . . . . .	400
Андрей Платонов. Три солдата . . . . .	406
Борис Полевой. Редут Таракуля . . . . .	411
Константин Симонов. Пехотинцы . . . . .	418
Леонид Соболев. Соловей . . . . .	427
Василий Субботин. Высота . . . . .	429
Александр Твардовский. «Костя» . . . . .	430
Николай Тихонов. Руки . . . . .	437
Алексей Толстой. Русский характер . . . . .	439
Михаил Шолохов. Судьба человека . . . . .	443
Илья Эренбург. Слава . . . . .	460

**Повести. Рассказы/Подгот. текста Л. Полосиной.— М.: Худож. лит., 1985.— 463 с., ил. («Победа»).**

В сборник вошли повести и рассказы советских писателей о Великой Отечественной войне. В этих произведениях рассказывается о героической борьбе народа на фронте и в тылу врага, о величии характера советских воинов, которые не только отстояли в жестоких сражениях свободу и независимость Родины, но и завоевали десятилетия мирной жизни.

П 4702010200-007  
028(01)-85 2-85

ББК 84Р7  
Р2

## **Победа**

### **ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ**

Составитель

ЛИДИЯ ИВАНОВНА ПОЛОСИНА

Редактор

В. БЕЛОВА

Художественные редакторы

С. ДАНИЛОВ, А. МАКСИМОВ

Технический редактор

Л. ПЛАТОНОВА

Корректоры

Т. КАЛИНИНА, И. ФИЛАТОВА

ИБ № 3946

Сдано в набор 21.02.84. Подписано к печати 8.10.84.  
А 074 47. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип. № 1. Гар-  
нитурa «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л.  
40,6. Усл. кр.-отт. 82,25. Уч.-изд. л. 46,37. Заказ 219.  
Изд. № III-1706. Тираж 75 000 экз. Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство  
«Художественная литература», 107882, ГСП, Москва,  
Б-78, Ново-Басманная, 19

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома  
при Государственном комитете СССР, по делам изда-  
тельств, полиграфии и книжной торговли, 143200,  
Можайск, ул. Мира, 93







